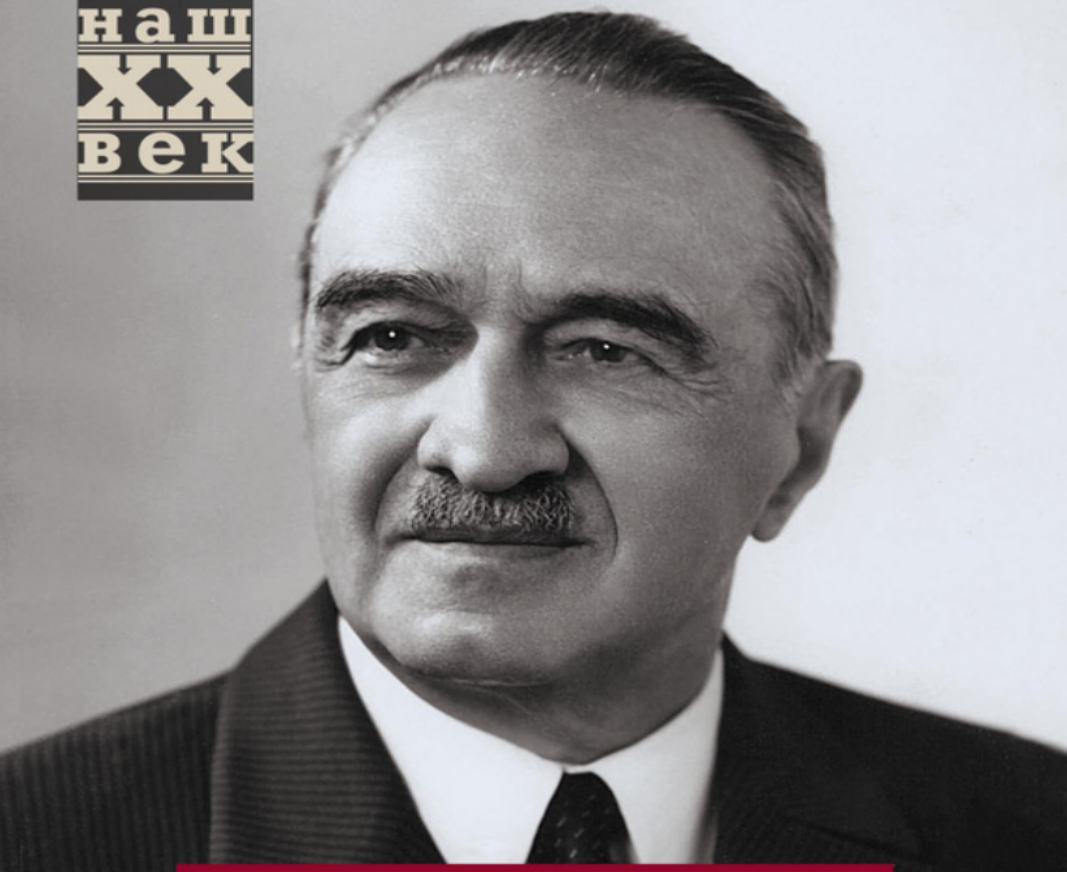
наш XX век



АНАСТАС ИВАНОВИЧ

МИКОЯН

★

ТАК БЫЛО

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МИНУВШЕМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Более полувека Анастас Ивановича Микоян – выдающийся государственный деятель советской эпохи – был свидетелем и участником многих больших общественно-политических событий и потрясений в нашей стране. Воспоминания Микояна, подготовленные на основе многочисленных мемуарных записей и архивных документов, являются уникальным свидетельством из первых рук о более чем шестидесятилетнем периоде нашей истории. Микояну довелось повидать немало интереснейших людей. Побывал во многих странах мира, встречался с руководителями правительств этих стран, с их общественно-политическими, культурными и другими деятелями, а также с обыкновенными, простыми людьми.

- Анастас Ивановича Микоян
  - ○
  - ○ Жизнь, отданная народу
  - ○ От автора
  - ○ Глава 1
  - ○ Глава 2
  - ○ Глава 3
  - ○ Глава 4
  - ○ Глава 5
  - ○ Глава 6
  - ○ Глава 7
  - ○ Глава 8
  - ○ Глава 9
  - ○ Глава 10
  - ○ Глава 11
  - ○ Глава 12
  - ○ Глава 13
  - ○ Глава 14
  - ○ Глава 15
  - ○ Глава 16
  - ○ Глава 17
  - ○ Глава 18
  - ○ Глава 19
  - ○ Глава 20
  - ○ Глава 21
  - ○ Глава 22
  - ○ Глава 23
  - ○ Глава 24

- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 35
- Глава 36
- Глава 37
- Глава 38
- Глава 39
- Глава
- Глава 41
- Глава 42
- Глава 43
- Глава 44
- Глава 45
- Глава 46
- Глава 47
- Глава 48
- Глава 49
- Глава 50

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

○ 18

Анастас Ивановича Микоян
Так было. Размышления о минувшем

Не тот заслуживает внимания, кто подмечает, где споткнулся сильный, или рассуждает, как человек, совершающий поступки, мог бы поступить лучше. Честь тому, кто смело устремляется в гущу событий, чье лицо покрыто пылью, потом и кровью, кто, ошибаясь и проигрывая, дерзает снова и снова – ибо не бывает свершений без неудач.

Только тот, кто действует, тот, кому знакомы великий энтузиазм и великая преданность делу, кто не жалеет себя во имя достойной цели, испытывает в лучшем случае триумф успеха, а в худшем – горечь напрасных усилий. И он никогда не будет в одном ряду с теми холодными и робкими душами, что не знают ни побед, ни поражений.

Теодор Рузвельт

Составление, предисловие, примечания и общая редакция д. и. н. С.А. Микояна

Жизнь, отданная народу

«Ввести единицу устойчивости – один Микоян», как говорили мои друзья-физики, или «пройти путь от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», как говорят многие, – все это не значило, что Анастас Иванович Микоян бессловесно подчинялся или постоянно бездумно соглашался с Лениным, Сталиным, Хрущевым, Брежневым. Я бы даже начал этот перечень со Степана Шаумяна, лидера революционного Закавказья, первого человека, которым мой отец восторгался и под чьим руководством работал вдохновенно и с полной отдачей, не жалея сил и здоровья, не боясь смерти, но и не теряя собственного достоинства, умея отстаивать свое мнение.

Если попытаться кратко суммировать причины его «непотопляемости» и беспрецедентного политического долгожительства, можно начать с его собственного ответа одному иностранцу: «Коротко говоря, мне просто повезло». Ему действительно всю жизнь везло. Его могли убить на турецком фронте в 1915 г., в Баку в 1918 г., когда во время перестрелки с расстояния 25–35 м были убиты выстрелами в голову двое из четверых бойцов его отряда, сражавшихся рядом с ним, а он сам был ранен. Смерть обходила его несколько раз при обороне Баку от турецких войск осенью 1918 г. Его могли прикончить эсеры в Красноводске или Ашхабаде после падения Бакинской коммуны в конце 1918 г. Его могли передать деникинской контрразведке в результате двух арестов в Баку и одного в Тифлисе в 1919 г. (и деникинцы непременно бы его расстреляли), если бы не находчивость и настойчивость его друга Георгия Стуруа, находившегося с ним вместе в тюрьме. Те же деникинцы могли перехватить лодку, в которой он добирался до Астрахани в конце 1919 г. Его могли унести кровавые ураганы 1937–1938 гг.

Его мог убить отчаявшийся солдат, стрелявший в его машину, выезжавшую из Спасских ворот осенью 1941 г. В его кабинет в Кремле или во Внешторге могла попасть немецкая бомба, ибо он никогда при воздушной тревоге не уходил в бомбоубежище. В 1943 г. его вагон стоял на станции Дарница под Киевом, которую регулярно бомбила немецкая авиация. Он мог утонуть во время шторма возле Курильских островов в 1945 г. Он был бы уничтожен Сталиным в 1953 г., если бы тот прожил еще несколько месяцев. Его могли бы убить на улицах Будапешта в 1956 г., когда он велел водителю открытого бронетранспортера провезти его по местам самых ожесточенных боев (пули стучали по бортам машины беспрерывно, сыпались сверху из окон домов).

Он мог утонуть в ледяных водах Атлантики в январе 1959 г., когда два из четырех двигателей самолета, летевшего по маршруту Нью-Йорк – Копенгаген, загорелись над океаном. Лайнер чудом дотянул до ближайшей военно-морской базы США, где срочно расчищали от двухметрового слоя снега посадочную полосу. В ноябре 1959 г., после возвращения из Мексики, выяснилось, что еще 20 минут полета – и самолет потерпел бы аварию из-за некачественной сборки турбины. В 1963 г. в Кремлевской больнице после небольшой операции ему влили кровь донора, больного гепатитом. Выход из тяжелейшей болезни в 68 лет был настолько трудным, что он признался брату Артему, что начал терять надежду на выздоровление.

Только в октябре 1978 г., в возрасте около 83 лет, ему не повезло: он простудился, затем началось воспаление легких, перешедшее в отек легкого, и организм не выдержал.

И все же: почему при всех лидерах ему везло в политической жизни? Выскажу свое личное мнение, не претендуя на исчерпывающий ответ.

Он никогда не стремился вверх, на высшие посты. Напротив, всегда упорно отказывался от повышений, а соглашался, лишь подчиняясь партийной дисциплине. Поэтому ни один «первый» не видел в нем личной опасности для себя.

Всецело преданный работе, он к тому же обладал поистине «компьютерной» памятью, был прекрасным организатором, всегда находившим выход из безвыходной, казалось бы, ситуации, блестящим и энергичным руководителем, справлялся с любыми заданиями, которые ему давались сверх и без того громадной нагрузки. И не старался изобразить успех как некий подвиг, просто работал и не выпячивал своей роли.

В спорах с руководителями, стоявшими выше его, – Шаумян, Ленин, Сталин, Хрущев, – был тактичен, старался не доводить разногласия до резкой конфронтации, умел выявлять расхождения и высказывать свое мнение, не роняя престижа лидера, с которым спорил.

В 20-х гг. искренне хорошо относился к Сталину, уважал и ценил его, и тот, как прекрасный психолог, это видел.

С середины 30-х гг. и позже, будучи свидетелем разнузданных сталинских репрессий, оказался способным на компромиссы со своей совестью, хотя и спорил со Сталиным из-за арестов, но не затевал с ним борьбы, поскольку она не имела никаких шансов на успех.

К другим руководителям, членам политбюро и правительства, проявлял лояльность, никогда не интриговал, не старался выставить их в дурном свете.

Обладал редкой силой воли, удивительным даром убеждения, основанным на сильном характере, остром живом уме, логике, знаниях и опыте.

Умел жестко и настойчиво отстаивать свою точку зрения и находить аргументы, заставлявшие оппонентов уступать. Это проявилось особенно наглядно, когда он защищал Хрущева от нападок в 1956 и 1957 гг. Это же не раз проявлялось в спорах в Президиуме ЦК при Хрущеве в ходе обсуждения некоторых инициатив последнего. Жизнь доказывала правоту Микояна, что вызывало невольное уважение к его суждениям и со стороны самого Хрущева.

Умел также находить компромиссы, которые предотвращали принятие решения, неправильного с его точки зрения.

Скорее всего, в этом, возможно, неполном перечне можно найти противоречия – но разве они не являются неизбежным спутником характера каждого человека (если он имеет характер)?

Нелегко было вместить в один том основное и наиболее интересное из огромного литературного и документального наследия Анастаса Ивановича Микояна. Надеюсь, в дальнейшем окажется возможным восполнить пробелы, возникшие из-за недостатка места, а также и потому, что не все известные мне записи моего отца были переданы из Президентского архива в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). Именно материалы этого учреждения главным образом и были использованы. Большим подспорьем оказались также многочисленные записи, сделанные лично мною в разные годы под диктовку А.И. Микояна и хранившиеся все минувшие годы у меня дома. Их я тоже использовал, насколько позволил объем книги. Кое-что записывали или рассказывали мне старшие братья и сын Владимир.

В основе первых глав настоящей книги лежат выпущенные Госполитиздатом в 1971 и 1974 гг. два тома воспоминаний А.И. Микояна. Надо сказать, что второй том нес на себе зримый отпечаток тяжелой руки редакторов и цензоров ЦК КПСС. Я помогал отцу в его работе и имел возможность наблюдать иногда абсурдный, а иногда вполне осмысленный «прессинг» бывшего члена политбюро, попавшего в немилость к брежневскому окружению (впрочем, нисколько не сожалеющего об этом). Главными причинами немилости были верность курсу на преодоление последствий сталинского режима в обществе и лояльность к Н.С. Хрущеву до самого конца его политической карьеры.

Впрочем, Брежнев и Черненко не особо скрывали свои личные

обиды на отца. Микоян открыто назвал Черненко нечестным человеком, предложил ему уволиться из аппарата Верховного Совета и «добровольно положить партбилет на стол». Тот спешно «уволился» с канцелярской работы в ВС под защиту Брежнева на должность зав. общим отделом ЦК, что позже проложило ему путь в генеральные секретари ЦК КПСС. Брежнев же не мог простить Микояну, что в 1964 г. Хрущев, задумав повысить роль Верховного Совета как подлинного парламента и реорганизовать с этой целью его Президиум, сказал при всех, показывая пальцем в сторону Брежнева, тогдашнего Председателя Президиума, даже не глядя на него: «Но этот с такой задачей не справится! Или я, или ты, Анастас. Я кроме Секретариата ЦК еще и в Совмине председательствую. Придется тебе, Анастас». Конечно, форма обидная, но не от Микояна же это исходило. Брежневу же нравилась должность в ее традиционной конструкции, когда можно было не работать, а лишь по два-три часа – и то не каждый день – вручать ордена и принимать иностранных послов (а в свободное время заниматься охотой и иными увеселениями). Но, именно лишившись этой должности, Брежнев по иронии судьбы стал вторым лицом в Секретариате партии, а потом и Генеральным секретарем. Эта должность ему понравилась еще больше.

Даже личная порядочность отца по отношению к Хрущеву в момент его отставки и государственный подход к вопросу о смене лидера, когда Микоян предложил хотя бы на год сохранить за Хрущевым пост Председателя Совета министров, чтобы разом не дискредитировать того, кого только что все восхваляли, вызвали недовольство и опасение Брежнева и его окружения. Отец поздравил Хрущева с новым, 1965 г. Разговор подслушали, записали на пленку и тут же донесли в Кремль, где и этот факт вызвал раздражение. Их решили поссорить, что и начали делать при помощи клеветы через своих людей в обоих домах.

У Микояна было несколько столкновений с новым «коллективным» руководством после отставки Хрущева. Брежнев как руководитель не вызывал у него ни уважения, ни личных симпатий. Удручали ограниченность, безразличие к делам, способность менять точку зрения в зависимости от того, кто зайдет к нему последним. Именно так объяснил мне отец суд над писателями Даниэлем и Синявским. Микоян долго говорил с Брежневым, настоял на том, что они не будут преданы суду. Как нередко он поступал для достижения главной цели, предложил компромисс – в крайнем случае ограничить дело «товарищеским судом» в Союзе писателей СССР. Брежнев согласился, но потом дал себя переубедить зашедшему к нему позже Микояна

тогдашнему «главному идеологу» Суслову. И писатели немало времени провели в заключении.

Работать в подобных условиях становилось бессмысленным. Отец решил уйти, сказал: «Это не та команда, где я могу работать». Брежнева это вполне устроило.

После выхода на пенсию Микоян оставался несколько лет членом Президиума Верховного Совета СССР, появлялся на трибунах, и неизменно его встречали аплодисментами, более продолжительными, чем те, которых удостаивался сам Брежнев. Кстати, эта самая продолжительность аплодисментов так же нервировала тщеславного Леонида Ильича, как и сохранявшийся авторитет Анастаса Ивановича. И он принимал меры. С 1973–1974 гг. по указанию из Кремля Микояна никуда больше не избирали. Даже на очередной съезд КПСС дали только гостевой билет в ложу, подальше от публики. (Иначе, как старейшему делегату, ему пришлось бы поручить открыть съезд – такова была установившаяся традиция.) Когда он вышел в фойе, его увидели и устроили подлинную овацию. По выходе из Дворца съездов венгерский лидер Янош Кадар догнал его, чтобы дружески приветствовать.

Отца раздражало словоблудие по телевизионным каналам и в газетах по поводу «верного ученика Ленина» – Брежнева.

Часто из-за этого он просил нас выключить телевизор. В весьма резкой форме отверг совет своей секретарши (сотрудницы КГБ) воздать публично хвалу новому вождю, упомянув в статье или выступлении его «выдающуюся» роль, сравнить его с Лениным, используя собственную биографию «от Ильича до Ильича», чтобы вернуть себе почет, вновь быть избранным в ЦК и Верховный Совет, появляться в президиумах и на трибунах. Вторжение в Чехословакию в 1968 г. принял крайне отрицательно. Сразу же сказал: «Это катастрофа!»

Отношение Брежнева и других к Микояну не было тайной для партийного идеологического аппарата. Работники Института Маркса, Энгельса и Ленина прекрасно знали, куда дует ветер. Человеку, состоявшему 45 лет в ЦК и 40 лет в политбюро, надлежало не вспоминать то, что помнилось, а повторять то, что опубликовано в официальной истории КПСС. Это в полной мере относится и к «Воспоминаниям» Микояна, опубликованным в те годы. Правда, первый том был в большей степени свободен от предвзятого редактирования. И описываемый период не столь острый, да и авторитет Микояна в 1970 г., все еще члена Президиума Верховного Совета, сдерживал цензоров. Второй том получился гораздо хуже: там вмешательство редакторов-цензоров присутствовало повсеместно. Однако отцу мешал и «внутренний

редактор» – он, как автор, очень хотел увидеть книги изданными именно в своей стране, и потому сам был вынужден пойти на умолчания и компромиссы.

Благодаря архивным материалам и моим личным записям удалось в значительной мере нейтрализовать последствия подобного редактирования.

Третий том, начинавшийся с периода после 1924 г., находился в работе в «Политиздате», когда отца не стало, он умер 21 октября 1978 г., не дожив месяца до 83 лет. Через несколько недель меня вызвали в издательство и сообщили, что книга исключена из планов, а вскоре я узнал, что это было личное указание Суслова, побаивавшегося отца до самой его смерти и теперь осмелевшего. Сравнение диктовок отца с текстом, подвергшимся экзекуции редакторов, показало, что в ряде случаев мысли автора были искажены до неузнаваемости. Аналогичная картина наблюдалась и в некоторых статьях, посвященных периоду Великой Отечественной войны. Например, в «Военно-историческом журнале» уже после смерти Микояна вышла статья «В канун войны», открывавшаяся пространным рассуждением о том, как эффективно готовился СССР к нападению Гитлера, хотя у отца статья начиналась с убедительного материала о том, как плохо страна подготовилась и насколько иначе сложился бы ход военных действий, если бы руководство страны и армии заблаговременно, хотя бы с августа 1939 г., предприняло серьезные меры по подготовке к отражению агрессии и если бы Сталин не лишил армию командного состава массовыми и необоснованными репрессиями. Готовивший статью к публикации очень уважаемый мною историк Г.А. Куманев объяснил мне, что ему было ясно сказано: Политуправление армии и Институт военной истории не пропустят публикацию без «нужного» введения. Мне все же на стадии верстки удалось вставить туда абзац о прострации Сталина в первые дни войны, о чем отец рассказывал также и Куманеву.

Таким образом, неопубликованные диктовки и домашние рассказы А.И. Микояна стали основой для описания его жизни после 1924 г. Диктовки обычно им просматривались, после перепечатки редактировались, сверялись с документами. Иногда автор отмечал по тексту, что именно хотел бы сверить. Порой встречались слова «диктовка по этому вопросу имеется», означавшие, что она не попала в фонды РЦХИДНИ и где находится – пока неизвестно. То ли Президентский архив не все передал, то ли она оказалась в домашнем архиве Черненко (он любил копаться в архивах и кое-что брал к себе – об этом есть письменные свидетельства даже в архивных документах отца).

Мои записи за ним почти стенографически воспроизводят то, что он рассказывал в домашней обстановке. Их стиль и терминология более раскованны. Иногда это очень заметно. Некоторые из них он читал и делал небольшие поправки, высказывал пожелания, что именно следовало добавить.

Естественно, особенности языка и стиля автора сохранены, равно как и его замечания о том или ином персонаже, в то время жившем или даже еще работавшем, а ныне покойном.

Особо следует сказать о внешнеполитических миссиях А.И. Микояна, которых было очень много. Сотни раз мне приходилось слышать за границей, будто бы Микоян был министром иностранных дел Советского Союза. Дело в том, что Н.С. Хрущев, как и Сталин, был очень высокого мнения о способностях Микояна – в том числе и дипломатических.

Эти миссии, например в Китае в феврале 1949 г., до победы революции в этой стране, начались еще при Сталине. В особо важных случаях Никита Сергеевич также предпочитал посылать за рубеж именно его, а не министра (этот пост занимал Шепилов, затем Громыко). География его поездок обширна: Австрия, Афганистан, Бирма, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гвинея, ГДР, Дания, Индия, Индонезия, Ирак, Китай, Куба, Мали, Марокко, Мексика, Монголия, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, США, Финляндия, Франция, ФРГ, Югославия, Япония. В некоторых из них отец бывал неоднократно. В ряде поездок мне посчастливилось сопровождать его в качестве личного секретаря. К сожалению, большой и интересный материал об этих поездках пришлось оставить за рамками данного издания. По объему он требует отдельной книги, которая, как я надеюсь, появится. Здесь же кратко упоминаются лишь некоторые из них. Исключение сделано для описания поездки по США в 1936 г., поскольку она связана прежде всего с работой А.И. Микояна по созданию пищевой промышленности в нашей стране.

Важнейший отрезок жизни и работы отца пришелся на период, когда лидером нашей страны был Н.С. Хрущев, а Микояна называли за границей «человеком № 2 в СССР», так как он занимал пост первого зампреда Совмина СССР (Хрущева) и был активнейшим членом Президиума ЦК (политбюро). Именно на это время падает большая часть его зарубежных миссий, и именно тогда Микоян непосредственно участвовал в судьбоносных эпизодах нашей и мировой истории.

Как историк не могу не отметить странный феномен: читая воспоминания Хрущева, можно подумать, что Микояна или вовсе

не было тогда, или он появлялся несколько раз для того, чтобы сыграть какую-то неопределенную роль, либо сомнительную с точки зрения Хрущева, либо плохо ему запомнившуюся.

Я хорошо знал Никиту Сергеевича, много раз бывал в его доме. Чаще просто приезжал как друг Сергея и Рады, его детей. Бывая с отцом в Пицунде, общался с ним и там. Я согласен с мнением отца, что Хрущев – самородок, человек с сильной волей, необходимой лидеру. Отец сравнивал его с необработанным алмазом, имея в виду недостаток образования и воспитания. Мне импонировали многие его личные качества, хотя и слабости также были заметны.

Все это делает для меня нелегким объяснять феномен умолчания и негативного упоминания о моем отце или начисто неверного описания его роли Хрущевым в воспоминаниях, надиктованных на пленку. Мне известно несколько причин, объясняющих подобное недоброжелательное (причем несправедливо недоброжелательное) отношение к моему отцу после отставки Никиты Сергеевича. Здесь потрудились и власть имущие, и люди из его окружения, использовавшие определенные слабости характера Никиты Сергеевича: любовь к лести, нетерпимость к возражениям, ревность к тем, кто умеет что-то лучше его, иногда – нелояльность к бывшим соратникам или чисто эмоциональная готовность к недоверию без веской причины. Например, поведение Микояна до и во время снятия Хрущева было безупречным с точки зрения друга, соратника и политического деятеля. В этой связи изображение А.И. Микояна в дешевеньком политическом кинотриллере «Серые волки» как человека, предавшего Н.С. Хрущева, является безответственным и злым вымыслом. Думаю, Хрущев не простил отцу того, чего не мог простить самому себе. Что не поверил информации офицера КГБ о сговоре других членов Президиума ЦК, что верил льстецам типа Воробьева, секретаря Краснодарского обкома, и другим, утверждавшим, что никакого сговора никто и не замышляет. Он был слишком самоуверен, не допуская мысли, что те, кого он собрал в Президиуме ЦК по принципу личной преданности, способны объединиться против него самого. Узнав о заговоре от своего сына Сергея, он ничего не предпринял, поручил Микояну встретиться с «источником информации», а сам улетел в Пицунду. Уже там, выслушав пересказ А.И. Микояна, все равно не поверил и даже не стал читать запись беседы.

Но даже если бы мой отец поверил в заговор больше, чем Хрущев, что он мог сделать? У него не было тех рычагов власти, которыми владел первый секретарь. Конечно, простить себе самому легче. Удобно, а для некоторых и привычно винить в

своих собственных ошибках кого-то другого. Боюсь, что в этом – основная причина умолчаний и прямой неправды о Микояне в воспоминаниях Никиты Сергеевича. Отец же, напротив, многое ему прощал во имя дружбы (которую они понимали несколько по-разному). Хотя бы то, что Никита Сергеевич не пришел на похороны нашей мамы Ашхен Лазаревны, вопреки своему обещанию в телеграмме в Гавану от 3 ноября 1962 г. Микоян вел в это время крайне важные и напряженные переговоры с Фиделем Кастро в связи с Карибским ракетным кризисом. Мне же Хрущев на следующий день после похорон сказал в Большом Кремлевском дворце, что не любит ходить на похороны: «Это ведь не на свадьбу прийти, верно?» В любом случае Бог ему судья.

К тому же отношения между отцом и Никитой Сергеевичем не всегда были только лишь дружескими, проникнутыми общей борьбой за преображение страны после сталинского произвола, исказившего смысл понятия «социализм», столь близкого и дорогого им обоим. Они были не только соратниками. Довольно часто их разделяли различные взгляды на те или иные крупные или менее значительные вопросы экономики, внешней и внутренней политики. Микоян был, пожалуй, единственным в Президиуме ЦК, кто спорил с Первым секретарем открыто на заседаниях, а еще чаще – с глазу на глаз, во время совместных прогулок на Воробьевых горах и за городом. Ликвидация Академии наук, перевод 8—10-х классов средней школы в фабрично-заводское обучение, ликвидация приусадебных участков колхозников, вооруженное подавление волнений в Польше в октябре 1956 г., отказ от Потсдамских соглашений, чтобы передать Западный Берлин под контроль ГДР… Сколько еще подобных, мягко выражаясь, необдуманных намерений Никиты Сергеевича отец пресекал на стадии их рождения в голове беспокойного реформатора?

Как выясняется из архивных материалов, протоколов ЦК и политбюро, а также личного архива Микояна, он полемизировал даже со Сталиным. При всем его благоговении перед Лениным, были случаи несогласия и с ним. Дважды он подавал в отставку с поста наркома при Сталине, обращаясь с просьбой перевести на более низкую должность или работу вне Москвы, что не было принято политбюро. Два-три раза он предупреждал Хрущева, что намерен подать в отставку, если тот будет продолжать принимать единоличные решения или навязывать наиболее губительные по последствиям идеи членам Президиума ЦК, чтобы представить их «коллективными».

Мой отец, безусловно, нес ответственность за политическую

обстановку в стране. Этого снять с него нельзя, я и не пытаюсь. Но не надо упрощать историю или примерять к ней сегодняшние мерки. А.И. Микоян всю жизнь, в том числе в периоды репрессий, стремился заниматься полезной обществу хозяйственной работой и, насколько мог, старался оставаться в стороне от сталинской «мясорубки» или даже притормозить репрессии, а также конкретно кого-то спасти. Некоторые такие случаи упоминаются в этой книге. А став по настоянию Сталина наркомом внешней торговли, он спас сразу тысячи людей, ибо Сталин выполнил условие Микояна не разрешать НКВД вмешиваться в работу руководимого им наркомата. На целых 10 лет Наркомвнешторг стал «островом безопасности» в стране, где царил произвол репрессивных органов. Лишь однажды, в 1948 г., МГБ убедило Сталина в необходимости ареста одного сотрудника Внешторга.

Мне могут, естественно, возразить, что из тех, кто не был репрессирован, честно поступил, может быть, только Орджоникидзе, покончив жизнь самоубийством. Да, честно. Но абсолютно ли правильно? Ведь если все честные люди добровольно ушли бы из жизни, они лишь облегчили бы задачу Сталина, а в верхних эшелонах власти не осталось бы тех, кто после его смерти разоблачал репрессии и отпускал невиновных из ГУЛАГа, кто освободил общество от кошмара сталинского режима.

Анастасу Ивановичу конечно же приходилось идти в этот страшный период на сделки с совестью. Но не следует забывать, что, будучи еще совсем молодым политиком, он попал в орбиту сталинской магии воздействия на людей (о которой свидетельствует даже Уинстон Черчилль). Сталин умело и тактически безупречно возглавлял тогда оппозицию Троцкому, в чем его поддерживали ключевые фигуры партии, опасавшиеся диктаторских наклонностей последнего. Тогда, в начале 20-х гг., отец видел в Сталине не только руководителя, но старшего друга, чтобы не сказать старшего брата. Став жертвой этой магии, он все же не ослеп полностью, как Молотов или Каганович. В целом веря показаниям подсудимых на процессах 1937–1938 гг., он не мог поверить в виновность многих из тех, кого знал лично с самой лучшей стороны. С 1936 г. до конца 40-х гг. его лояльность к Сталину явно противоречила его взглядам и принципам. Капкан захлопнулся: уже ничего нельзя было радикально изменить. «В последний раз мы могли его убрать в 1927 г. Как он делал несколько раз и раньше, Сталин предложил свою отставку, когда отдельные ведущие члены политбюро оказывались против него. Но он всегда точно рассчитывал момент и соотношение сил. Будущие его жертвы оставляли его на месте генсека, считая, что

он еще понадобится им для сведения счетов между собой», – сказал мне как-то отец. Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Рудзутак и другие вершители судеб страны видели в Сталине лишь орудие для решения своих задач (как и Троцкий несколько раньше) и не считали его опасным. А Микоян тогда вовсе и не хотел его устранять, да и был не столь значительной фигурой, чтобы инициировать подобную акцию.

Как-то в 70-х гг., на годовщине смерти Льва Степановича Шаумяна, его большого друга, почти брата, жена писателя Данина, у которой был репрессирован отец, довольно резко высказалась о периоде репрессий, имея в виду, скорее всего, ответственность Анастаса Ивановича за это. В семье Шаумянов моего отца любили и уважали безмерно. Разговор попытались перевести на другую тему, но Микоян не позволил этого, сказав: «Все мы были тогда мерзавцами». И долго еще рассказывал об обстановке в те страшные годы.

Я думаю, что в последние годы жизни Сталина Анастасу Ивановичу стало невмоготу подчинять свое достоинство и принципы самодурству «великого вождя всех времен и народов». Об этом свидетельствует и его поведение в связи с моей женитьбой на Алле Кузнецовой, дочери Алексея Александровича Кузнецова, героя обороны Ленинграда, снятого Сталиным с поста секретаря ЦК за «антипартийные действия» и обреченного им на гибель. Иначе как мужественным, смелым, поведение моего отца не определишь. Я до сих пор испытываю благодарность к нему за спасение детей Кузнецова от репрессий. Я счастлив, что он принял Аллу как родную дочь, в то время как Каганович назвал его сумасшедшим и убеждал не допустить женитьбы, а семья Косыгина (кстати, родственники жены Кузнецова) нас с Аллой просто перестала замечать. (Правда, на Косыгина были тоже «подготовлены» показания заключенных, о чем Сталин сам ему сообщил.) Известно, что за три-четыре месяца до своей смерти Сталин объявил пленуму ЦК, что не доверяет Микояну и Молотову (на этом пленуме отец выступил против намерения генсека ввести новый налог на крестьянство, что вызвало крайнее возмущение Сталина). Это означало неминуемые репрессии против них в ближайшем будущем. Сталин намеревался начать с их исключения из ЦК и из партии на следующем пленуме. А отец продолжает высказывать неугодные вождю мысли на тех заседаниях, куда он все еще ходит. В эти месяцы он держит в кабинете, в ящике стола заряженный пистолет (о чем он рассказывал моему сыну Володе), объясняя это тем, что, избежав ареста путем самоубийства, надеялся смягчить неизбежный удар

по семье. В самом же предстоящем аресте у него сомнений не было. По-видимому, в тот период такой же пистолет у него хранился и дома.

Таким, по моему мнению, Микоян и был: мужественным, порядочным, отзывчивым, лояльным к соратникам.

Я уже говорил, что отцу был абсолютно чужд карьеризм. Причем от выдвижения на более высокие посты он отказывался исходя не из ложной скромности, а из желания принести большую пользу стране на работе, которую он уже освоил и с которой справлялся. Он стал высокообразованным благодаря учебе, самообразованию, чтению, любознательности, я бы сказал, дотошности, умению внимательно слушать и запоминать и редкому по богатству жизненному опыту. Это был человек с умом и памятью, работавшими как компьютер, необычайно трудоспособный и собранный, бесконечно преданный делу, в которое верил, и в то же время – мудрый, открытый новым идеям, обладавший широтой взглядов и чувством юмора. Недаром его зарубежные поездки, в том числе и в страны, с которыми СССР был в конфронтации, заканчивались с неизменным успехом.

Аверелл Гарриман, бывший посол в СССР и крупный политический деятель США, говорил мне: «Это единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать». Шарль де Голль сказал ему, что считает его «исторической личностью международного масштаба». Премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон называл себя учеником Микояна в деле международных переговоров. Известный шведский экономист и государственный деятель послевоенной Европы Гуннар Мюрдаль как-то сказал мне: «Мне с ним было легко… Он не скрывал трудностей, вел прямой, открытый разговор и потому убеждал… Вы говорите о неуступчивости Микояна. Это не совсем точное выражение. Твердость – да. Но я предпочитаю в партнере по переговорам твердость в сочетании со здравым смыслом, с разумным подходом к делу». Жена Мюрдаля, тоже активный политический деятель, добавила: «Он умел влиять на людей, обладал неким магнетизмом. Внутренняя сила плюс откровенность – это действовало. К тому же он умел говорить не очень приятные вещи так, чтобы не вызвать обиды». Кстати, в 1947 г. Мюрдаль и Микоян согласились, что СССР должен вступить в «план Маршалла». Но Сталин не пошел на этот шаг, который мог бы изменить весь ход послевоенной истории.

Один американский биограф пишет: «Люди, которые знали Микояна, особенно в его пожилом возрасте, помнят его как теплого, гостеприимного и остроумного человека. Иностранцы, имевшие с ним официальные отношения, вспоминают его не

только как жесткого переговорщика, но и как обаятельного, культурного и остроумного собеседника…»

Я, сопровождая отца в поездках в Эстонию, Туркмению, Таджикистан и на Украину, видел, что его уважение к любой малой и немалой нации в Советском Союзе (тогда весьма редкое качество в Кремле) вызывало к нему искренние симпатии и дружеское отношение. То же имело место и в Польше, Венгрии, Румынии и других странах – «младших братьях» СССР по социалистическому лагерю (как я видел сам и как мне рассказывали Отто Гротеволь в ГДР, Янош Кадар в Венгрии, Юзеф Циранкевич, Ян Османьчик в Польше и многие другие). То же происходило в Марокко, Гане, Бирме и других странах, привыкших к тому, что великие державы тяготели скорее к диктату, чем к равноправным отношениям. И конечно, далеко не каждый мог завоевать дружбу и доверие Фиделя Кастро. После длительных и трудных переговоров с Кастро во время Карибского кризиса Хрущев сказал мне об отце: «Только он, с его воловьим упорством, мог добиться успеха. Я бы давно хлопнул дверью и улетел».

Отец в то же время обладал повышенным чувством собственного достоинства, был самолюбивым, нередко вспыльчивым и тогда очень резким. Не терпел неправды в работе и в жизни. Сохранял с молодости уважение и несколько наивную веру в рабочий класс. Для того чтобы не порывать прямой связи с рабочими, он еще в конце 20-х гг. фактически нарушил решение ЦК о переходе наркомов на партийный учет в свои наркоматы и остался на партучете на заводе «Красный пролетарий», куда ходил на партсобрания всю свою жизнь в Москве. Иногда был излишне доверчивым к людям только из-за их рабочего происхождения. Или – к чиновникам, которые «не имеют права врать», как он говорил, но которые все-таки врали. В личной жизни он не всегда хорошо разбирался в людях (хотя прекрасно видел сильные и слабые стороны работников, с которыми имел дело). Порой проявлял технократизм, больше думая о росте производства (и доверяя в этом «экспертам»), чем о сохранении окружающей среды, как в случаях с озерами Байкал и Севан или с работой китобойной флотилии «Слава».

Живя и работая в обстановке политических интриг, опасных для самой жизни жертвы интриги, умел быть выдержанным и осторожным, подчас отставляя прямолинейность и даже строгую принципиальность в сторону, не позволяя сделать себя бессмысленной жертвой или избегая конфликтов, в которых победитель был известен заранее. Почти всегда чувствовал и не переступал ту невидимую грань, за которой спор мог перейти в

непоправимую и бессмысленно гибельную конфронтацию.

Он был твердым и порой чрезмерно требовательным и жестким прежде всего к себе самому, но также и к тем, с кем работал. Вместе с тем был гуманным, испытывал угрызения совести, обладал чувством сопереживания и всегда был готов помочь людям.

Сочетание этих подчас противоречивых качеств (и возможно, каких-то еще, не упомянутых мною) делает Анастаса Ивановича Микояна совершенно неординарной, масштабной государственной личностью, заслуживающей вместе с тем простого человеческого уважения.

Как сказал мне уже после его смерти простой рабочий на заводе в Москве, случайно узнав, кто был моим отцом: «Перед таким человеком можно только снять шляпу!» Не столь образно, но столь же искренне выражали восхищение и уважение к Микояну сотни других людей, знавших и не знавших его лично. Один из работавших с ним, будущий зампред Совмина СССР И.В. Архипов сказал: «Да что там говорить, мы просто влюблены были все в Анастаса Ивановича». Министр энергетики П.С. Непорожний вспоминал, что, когда Микоян был в Совмине, можно было пойти к нему по любому вопросу и знать, что уйдешь с определенным ответом: «да» или «нет», и если «да», то дело будет сделано. «Теперь, – говорил он в 70-х гг., – вопрос направят в бюрократические каналы, где он и увязнет». Тем, кто не был лично знаком с Микояном, я очень благодарен за то, что даже в советском закрытом обществе они сумели понять, кто есть кто.

Меня не особенно тревожат периодические нападки малообразованных злопыхателей или недостаточно добросовестных авторов на биографию и образ отца. Англичане говорят: «Люди, живущие в стеклянном доме, не должны бросаться камнями». Сомневаюсь, что многие из тех, кто упрекает Микояна, что он решительно не противостоял Сталину в годы репрессий, когда-либо возражали своему директору или начальнику, рискуя возможным продвижением. А в те сталинские годы результат решительной конфронтации мог быть только один: пуля в затылок и гибель сотен сослуживцев и близких.

Что касается легенды о «27-м бакинском комиссаре», таинственным образом избежавшем расстрела (с намеком на некий «компромат»), то она была распространена несведущими или же недобросовестными авторами. На открытом процессе 1925–1926 гг. вся трагическая история расстрела была подробно, с доказательствами и документами рассказана многими людьми, и в том числе старшим сыном Степана Шаумяна – Суреном, находившимся до и во все время ареста в Закаспии вместе с

Микояном. Показания исполнителя воли британского командования эсера Фунтикова также представляют достаточный документальный материал для тех, кто хочет знать правду.

Многочисленный клан Микоянов ежегодно встречается 25 ноября, в день рождения Анастаса Ивановича. Одновременно отмечается и день рождения его жены Ашхен Лазаревны, который близок к этой дате. О ней я просто не могу не рассказать подробнее. Именно она оказывала не видимую никому поддержку нашему отцу в его многотрудной жизни и борьбе. Именно она воспитала пятерых его сыновей в соответствии с его и своими взглядами и традициями семьи.

Наша мама была скромным, застенчивым, добросердечным, ранимым, честным и наивным человеком. Семья была основным ее делом и интересом. А в семье на первом месте был муж, ее Арташ, как она его называла. Мы счастливы, что она, наша мама Ашхен, была главным человеком в его жизни, а он – в ее. Когда в воскресенье он долго спал, мы могли ходить только на цыпочках. Каждое утро она приготавливала ему одежду, подбирала галстук, пришивала болтавшиеся пуговицы, сводила пятнышки, которые другие просто бы не заметили. То, что подавалось на стол, предназначалось прежде всего для него: тыквенная каша, спаржа и сельдерей из нашего огорода, морковно-яблочное суфле, отварная рыба, чернослив. Мама делала так, что мы все это понимали и одобряли. Лишь он не понимал и угощал чем-то нас, удивляясь нашим отказам. Честно говоря, его диета нас не очень-то привлекала. Однако, если, уходя на работу, он оставлял спаржу или сельдерей на блюде, мама перекладывала их мне или брату Степе, зная наши вкусы.

Пронести такую любовь незапятнанной через все 42 года совместной жизни и почти 50 лет с начала влюбленности подростков, воспитанных в строгих кавказских традициях, преодолеть временную разлуку, голод и холод, испытания суровой ранне-большевистской и опасности позднесталинской эры – наверное, было непросто. Они выдержали все ведомые нам (и еще больше – неведомые) трудности подчас жестокой действительности. Они так и не зарегистрировали свой брак, но прожили всю жизнь в любви и верности. Мы с братьями, когда их вспоминаем, шутим, что отпущенные небом на наш род семейные добродетели родители взяли себе почти целиком, оставив нам совсем немного.

Я не хочу сказать, что между ними не было размолвок, каких-то обид. Чаще всего они происходили в результате недоразумений, но иногда были связаны с работниками

НКВДМГБ. Один раз сам Берия обвинил перед Сталиным всех жен членов политбюро в том, что они бесплатно пользовались услугами ателье Управления охраны – это ателье было и небольшим магазином. Мама, как в высшей мере аккуратный человек, десятками лет хранила все квитанции. Ее обидело больше всего то, что муж поверил работникам МГБ, а не ей. Симпатии ее к Берии это тоже не прибавило. Молча она положила перед мужем картонные коробки с квитанциями. Отец потом торжественно их продемонстрировал Сталину, Берии и другим в политбюро, сказав: «Не знаю насчет жен других товарищей, но моя жена за все платила!» Зато она потом дня два с ним почти не разговаривала.

Однажды, в середине 50-х гг. он тоже с ней в течение нескольких дней сухо и даже сердито разговаривал. Она не могла понять, в чем дело. Но меня больше всего удивили ее слова, сказанные своей младшей сестре Айкуш и услышанные мною: «Если он меня больше не любит, пусть скажет, я уйду». Им обоим было уже за 60. Во-первых, я и думать не мог тогда, что любовь может играть такую роль в их возрасте, тем более что у них уже было восемь внуков. А во-вторых, я понял, как же они до сих пор любят друг друга и насколько они цельные люди, что без любви она и сейчас не представляет себе жизни в его доме. Оказалось, он был недоволен тем, что она решительно высказалась против того, чтобы пригласить в гости старого друга-одноклассника, архитектора Каро Алабяна вместе с его новой женой, актрисой Людмилой Целиковской, только что ушедшей к нему от прежнего мужа (Юрия Любимова или Михаила Жарова, не помню уже точно). Старо-кавказские традиции наша мама преодолевала с трудом.

Большинство размолвок он улаживал очень просто: «Ашхен, улыбнись. Ну, пожалуйста, улыбнись». И сам широко улыбался, глядя в ее большие карие глаза. Если она все еще дулась или продолжала спор, он говорил: «Нет, я ничего не скажу, ничего не буду есть и вообще делать, пока ты не улыбнешься. Только улыбнись!» Тут уж мама неизбежно сдавалась – и улыбалась. Конфликт был исчерпан.

Нервные нагрузки, испытываемые обоими, не могли оставаться бесследными, однако они не разбили единства семьи, доверия, взаимопонимания и самой любви. О его нагрузках можно и не говорить – они очевидны. Но представьте себе жену, каждый божий день и каждую ночь, уже под утро (таков был сталинский режим) ожидавшую своего мужа с работы, чтобы накормить, успокоить, обогреть его душу, вернуть к жизни. В течение более пятнадцати лет эти ожидания можно было бы

сравнить с тем, как ждут мужей с фронта: вернется или нет? Хуже! Если он не вернется, значит, скоро придут брать и ее саму, и сыновей.

Мама всегда его ждала. Если и засыпала, то одетая, на кушетке. Если он ехал с работы, надо было приготовить чай, что-то перекусить. Если же он ехал от Сталина, то кормить было не надо. Зато тем более он нуждался в ее внимании, в живой душе семьи, которой она всегда у нас и была. Она, наверное, прекрасно понимала, что после тяжелого дня, до предела насыщенного работой, и особенно после половины ночи, проведенной за сталинским ужином, полностью непредсказуемой и порой переполненной стрессом, ему надо расслабиться, поговорить о делах домашних с близким человеком.

Возвращения Володи (второго по старшинству сына, погибшего под Сталинградом) с войны она ждала много лет после ее окончания, ибо ей сказали, что он пропал без вести. Она до конца своих дней не могла упомянуть его имени без слез. А когда арестовали Ваню в его 15 лет? Он ведь просто не пришел к ужину летним вечером 1943 г. Она думала – утонул в Москве-реке, попал под машину и тому подобное. Звонили в больницы, морги, милицию Одинцовского района. Наконец, раньше обычного, приехал отец и сказал: «Не волнуйся, Ваня жив. Его арестовали». Неплохая формула для той эпохи: «Не волнуйся, его арестовали», не так ли? Скоро и меня, 14-летнего, также взяли во дворе на нашей даче и так, чтобы я не смог предупредить маму, привезли во внутреннюю тюрьму МГБ. В конечном счете мы дешево отделались: полгода во внутренней тюрьме на Лубянке и один год «административной высылки» в Таджикистан. У мамы же установилось высокое кровяное давление, напрямую связанное с нервами.

Думаю, ее не переставала мучать мысль, что она послала Володю на смерть, когда поощрила его настойчивое желание отправиться на Сталинградский фронт летом 1942 г., хотя командование оставляло его на подступах к Москве, отправляя под Сталинград нашего старшего брата Степана. Володю, в его 18 лет и после всего лишь нескольких месяцев ускоренной летной подготовки в эвакуированном из Крыма Качинском училище (где Степан учился больше года), сочли неготовым для опаснейших боев с опытными асами гитлеровской авиации на главном направлении сражений. Но Володя настаивал, чтобы отец вмешался в решение ВВС, и мама его поддержала. Такова была единственная протекция А.И. Микояна кому бы то ни было из своих сыновей за всю его жизнь.

А за семь месяцев до этого Степана сбили в боях под

Москвой. Он сумел посадить самолет на поле, покрытое снегом. Из горящего самолета он выбрался сам, но потерял сознание. Деревенские мальчишки вытащили его из снега в сорокаградусный мороз, на санях доставили в госпиталь с сильнейшими ожогами. Мама каждый день приезжала к нему и вместе с медсестрами ухаживала за ним. Когда Степан поправился, врач сказал маме: «Это вы его выходили».

Высокое давление привело к двум инфарктам. В 1962 г., когда мы с отцом были на Кубе, она скончалась. Весть об этом пришла, как я уже говорил, в момент напряженных переговоров с Фиделем Кастро в его кабинете. Отец поехал в дом, где нас разместили, и прошел к себе. Часа через два позвал меня. Он лежал навзничь поперек широкой кровати. Я никогда не забуду его лица в этот момент. Я услышал глухой, еле узнаваемый голос и слова: «Мама умерла, тебе нужно лететь в Москву на похороны». – «А как же ты?» – спросил я. «Мне нельзя прерывать дело такой важности». По правде говоря, я не думал о деле. Я спрашивал его и себя: как он будет здесь один? Как он перенесет это горе? Но он нашел в себе силы довести переговоры до конца.

Для нашего отца огромное значение имели семья, дети, внуки, правнуки. Каждый выходной вся семья собиралась вместе по установленной им традиции. Возможно, именно семья в первую очередь напоминала ему о вечном человеческом начале, о доброте, об интересах всех семей, составляющих в итоге понятие народа, понятие, ставшее безликим и подчас пустым в худшие времена эпохи, в которую он жил. И чем старше он становился, тем больше семья значила в его жизни.

И последнее. Я, конечно, сознаю, что не все факты из прошлого, приведенные автором, будут обязательно в равной степени интересны нынешнему молодому читателю. Однако из мозаики этих фактов складывается общая картина, дающая представление о нашей недавней истории, о людях, создавших могучую державу, с которой считался весь мир, об их ответственном отношении к делу, к судьбам страны.

К великому сожалению, молодое поколение россиян в большинстве своем остается сегодня в полном неведении относительно своего недавнего прошлого. С большой помпой празднуем юбилей Пушкина, но забываем его слова о «любви к отеческим гробам». А без этого не может быть и достойного настоящего.

Книга, предлагаемая читателю, – из тех, что, противодействуя «распаду связи времен», помогает восстановлению преемственности поколений, росту патриотизма и любви к своей

отчизне.

Я признателен дирекции и работникам РЦХИДНИ, особенно Г.А. Юдинковой, которые оказали мне большую помощь при подготовке книги. Также благодарен Л.В. Сучковой, которая набрала на компьютере почти две тысячи страниц с машинописного и рукописного текста. Я же посвятил этому тексту полтора года труда, который принес мне творческую радость. Должен признаться, что моя сыновняя гордость за отца, автора книги, еще более возросла после того, как я прочитал то, что ранее скрывалось за семью печатями.

За десятки лет моей работы в области истории, политических наук и журналистики не было у меня более интересного, захватывающего занятия, чем работа над настоящей книгой.

Серго Микоян,
доктор исторических наук

От автора

Более полувека я был свидетелем и участником многих больших общественно-политических событий и потрясений в нашей стране. Мне довелось повидать немало интереснейших людей. Побывал во многих странах мира, встречался с руководителями правительств этих стран, с их общественно-политическими, культурными и другими деятелями, а также с обыкновенными, простыми людьми. Не без сомнений взялся за перо.

Я не писатель. Эта книга – лишь воспоминания о лично пережитом, увиденном и услышанном. Мои воспоминания всего лишь честный рассказ о событиях, свидетелем и участником которых я был, о людях, с которыми я работал и встречался в своей жизни. Мои воспоминания – не история, которая должна быть всесторонним и глубоко научным анализом всей совокупности фактов и событий общественной жизни.

В далекие и бурные революционные годы никто из нас, как правило, не вел дневников или хотя бы простых записей происходящих событий, многочисленных встреч и бесед. У большинства из нас не сохранилось ни текстов собственных выступлений, ни даже их конспектов. Мы их обычно тогда и не писали: речи читались не по бумажке, а произносились с ходу, часто в порядке импровизации.

Мы не собирали и не хранили документы и материалы «для истории»; сама история делалась при нашем участии.

Любые воспоминания неизбежно носят субъективный характер. События описываются здесь такими, какими я их запомнил, как воспринимал их в давние или более поздние дни. Попутно я высказываю и свое сегодняшнее отношение к некоторым из них.

Вот почему некоторым фактам и событиям, которые тесно связаны со мною лично, я уделяю больше внимания, чем другим, может быть и более важным с точки зрения истории. Назвав многих из тех, с кем меня свела судьба в моей жизни, других я даже не упомянул в своих воспоминаниях, хотя они, несомненно, вполне заслуживают этого. В памяти моей более чем за полвека не могли сохраниться имена всех этих людей. К несчастью, большинство из тех, кого я упоминаю, погибли или пострадали в годы сталинских репрессий.

Вообще же воспоминания, если они правдивы, ценны, помоему, прежде всего тем, что дают читателю конкретный

исторический материал, увиденный глазами людей того времени.

Личные переживания, как мне кажется, небезынтересны для любого читателя, который обычно хочет знать, как воспринимали те или иные события их непосредственные участники, что они тогда думали, чем руководствовались в своих поступках. Все это помогает не только лучше узнать и глубже понять сами факты и события, но и получить определенное представление об атмосфере, в которой они происходили, о настроениях людей тех дней, об их надеждах и чаяниях, об их радостях и огорчениях…

Если читатель найдет это в предлагаемых воспоминаниях, я буду вправе считать, что цель моя достигнута.

Глава 1
Становление

Первые мои воспоминания связаны с моей родной деревней Санаин, расположенной в одном из живописных уголков Армении.

Высоко над крутыми скалами по обе стороны ущелья раскинулись несколько плато в сотню гектаров пашни. За этими плато возвышаются горы, покрытые лесом. А за ними – необозримые альпийские пастбища. И все вокруг покрыто зеленой травой и множеством дикорастущих цветов.

У самых склонов гор сразу же после плато ютилась наша деревня. Помню маленькие домики, тесно лепившиеся друг к другу.

В годы моего детства это была одна из многих отсталых деревень далекой национальной окраины царской России. Кругом бескультурье, забитость, бесправие. Только поп и монах Санаинского монастыря были грамотными.

Здесь я родился, тут прошло мое детство. Наш род – Микоянов – жил в этой деревне издавна, по крайней мере с начала XIX в. В небольшом домике, имевшем две комнаты, подвал и веранду, размещались две семьи: наша и дяди Гево. Впереди дома по склону горы находились два небольших домика с общей плоской крышей, служившей нам одновременно двором: там жили дядя Гриша и дядя Велихан.

Отношения в нашей семье были всегда самые теплые. Не помню, чтобы мать или отец ссорились между собой. Они обычно не повышали голоса, даже когда делали нам, детям, какиелибо замечания. Родители никогда не поднимали на детей руку.

В то время мало у кого из крестьян водились деньги, а если и были, то всегда в обрез. Хозяйство было натуральное: каждый обеспечивал семью продуктами со своего огорода. Тогда сами ткали, сами шили себе одежду, обувь, шапки. Деньги были нужны лишь на уплату налогов, на покупку чая, сахара, тканей, керосина, спичек. Поэтому у нас в деревне было только несколько дворов, где пили чай с сахаром, да и то вприкуску.

Я родился, когда моего деда Нерсеса уже не было в живых. Но я хорошо помню свою бабушку Вартитер, что в переводе на русский язык значит «лепесток розы». Внешность не соответствовала ее имени: она была крупной женщиной высокого роста, со строгим лицом, ходила всегда в длинном, до пола, черном платье, опираясь на палку.

Мой отец Ованес, проработав несколько лет в Тифлисе, во многом внешне стал походить на тамошних цеховых мастеров. Одевался аккуратно, носил не кавказскую папаху, а городскую фуражку. У него был широкий серебряный пояс, обувь тоже городская.

Будучи неграмотным, отец тем не менее всегда хранил в кармане записную книжку и карандаш. В этой книжке он делал ему одному известными «иероглифами» записи: сколько дней он проработал, сколько ему должен заплатить хозяин и т. п.

Пока я был в семье самым маленьким (третьим), отец все время возился со мной. Лет через пять родилась младшая сестра, и, когда она стала что-то лопотать, отец все свободное время уделял ей. Еще через пять лет родился пятый ребенок – мой младший брат Артем, которого дома звали Анушаван (впоследствии он стал авиаконструктором); на этот раз отец все свое внимание обратил на него, хотя, конечно, относился он и к нам всегда по-отечески и любил нас.

Когда младший брат стал чуть старше, отец стал поручать ему пасти наших двух коз. Должность козопаса была незавидной. Вспоминаю, как в свое время мне приходилось заниматься этим делом: козы бегали по крутым каменистым горным склонам, покрытым кустарником и лесом, так быстро, что я еле успевал их догонять. Мы носили тогда самодельную обувь (типа кожаных мокасин без твердой подошвы). От беготни по каменистым склонам обувь эта быстро стиралась. Ходить было больно, пальцы сбивались о камень до крови. Я, правда, подкладывал под носок и пятку кусочки кожи, но это мало помогало, так как эти кусочки при ходьбе быстро съезжали со своих мест.

Недалеко от нашего дома находился древний Санаинский монастырь, основанный в X в. Мы играли во дворе монастыря и иногда встречали жившего там монаха. Раз я увидел, что монах читал какую-то книгу. Я ею заинтересовался. Монаху это понравилось, и он начал учить меня грамоте. Через несколько месяцев я стал читать и писать по-армянски.

В это время к нам в деревню неожиданно приехал какой-то интеллигентный армянин. Видимо, скрывался в нашей глухой деревне от преследований властей. Вскоре он обратился к сельчанам с предложением открыть у нас школу. Отец и двое других крестьян согласились сложиться по 4 рубля, с тем, однако, чтобы он учил за эти 12 рублей не только их детей, но и других детей деревни. Записалось в школу ребят двадцать. Он учил нас писать, читать, учил арифметике, много занимался с нами физкультурой. Большое внимание уделял нашему общему воспитанию: учил, чтобы мы следили за собой, были опрятными,

мыли руки перед едой, полоскали рот после еды, благо родник был рядом с нашей школой, чтобы мы ходили в чистой одежде – словом, прививал нам элементарные навыки культуры. Вскоре наш хороший, добрый учитель уехал из деревни, и школа закрылась. Целый год мы не учились, а меня уже стало безудержно тянуть к книгам.

Однажды к нам в деревню приехал епископ Тифлисской епархии. Он поселился в монастырском доме, но решил его расширить и достроить. Отец был занят на этом строительстве, я напросился помогать ему.

Епископ как-то спросил меня, умею ли я читать. Я ответил, что немного умею, но очень хочу учиться, а школы у нас нет. На это он сказал, что не обязательно учиться только здесь, в деревне, можно устроиться в Тифлисе. Я, конечно, очень обрадовался и тут же рассказал отцу об этом разговоре. Тот подошел к епископу и стал говорить, как бы он был рад, если бы его сын мог учиться в Тифлисе. Епископ ответил: «Привезите своего сына осенью, я устрою его учиться в Тифлисскую духовную семинарию».

Счастью нашему не было границ. В конце августа 1906 г. отец повез меня в Тифлис. Там отец нашел женщину, которая жила с сыном в одной комнате. Отец сговорился с ней: за 6 рублей в месяц она взяла меня в «нахлебники». Потом отец попросил Мартироса Симоняна, нашего родственника, написать прошение о моем приеме в семинарию, поскольку сам был неграмотный. Отец говорил, Мартирос записывал. Вот его перевод с армянского:

ВЫСОКОЧТИМЫМ ПОПЕЧИТЕЛЯМ АРМЯНСКОЙ НЕРСЕСЯНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

От жителя села Санаин Ованеса Микояна

Покорное прошение

Я не стану отнимать драгоценное время у г-д попечителей своим длинным письмом, но скажу, что и я отец, и у меня благие намерения по отношению к своим сыновьям, я беден, забитый крестьянин, но и я желаю, чтобы мой сын стал грамотным, и очень верю, что он – мой сын – благодаря попечителям однажды станет полезным и для себя, и для своих крестьян. И поэтому с большим трудом, сладкими надеждами привел сына в город и прошу гг. попечителей устроить моего сына Анастаса в одном уголке Нерсесянской семинарии; он родился 12 октября 1895 года. Свидетельство о рождении представлю в ближайшее время. Сын мой умеет читать и писать, и добавлю, что он очень способен.

Из-за неграмотности Ованеса Микояна по его просьбе написал *Мартирос Симонян*.

11 сентября 1906 года
г. Тифлис

Меня допустили к приемным экзаменам.

В семинарии был тогда одиннадцатилетний срок обучения: четыре подготовительных и семь основных классов. После проверки знаний я был принят во второй подготовительный класс.

Я чувствовал себя в городе очень одиноким, оказавшись впервые вне родительского дома. Женщина, у которой отец устроил меня на жилье, относилась ко мне неплохо, но теплых отношений у нас так и не сложилось. Сын моей хозяйки и его товарищи смотрели на меня свысока, как на «деревенщину», частенько зло подсмеивались надо мной, один раз даже побили. Терпение мое лопнуло. Вспомнив о Мартиросе Симоняне, я пошел к нему и, рассказав ему все о своей нелегкой жизни, попросил купить мне билет и отправить домой, к родителям. Приехав в деревню, я заявил родителям, что в Тифлис больше не поеду. Помню, каким угрюмым стал отец, как плакала мать. «Поедем обратно, к тете Вергуш», – сказал он мне.

Отец уговорил двоюродную сестру моей матери, тетю Вергинию Туманян, жившую в Тифлисе, взять меня к себе. Дети у тети Вергуш были хотя и моложе меня, но быстро со мной подружились. Я и представить, конечно, не мог, что старшая из них, Ашхен, много позже станет моей женой.

В семинарии встретили меня хорошо: скоро мне стало там легко и приятно. Желание учиться было у меня, как я уже говорил, огромное. Учеба давалась легко. Не повезло мне только с пением. Оказалось, я безбожно фальшивил, потому что у меня был плохой слух.

В ту пору я, естественно, не задумывался над смыслом богослужения: сомнений в том, что Бог есть, у меня не появлялось. Так продолжалось до второго класса семинарии, когда я столкнулся со священником – нашим учителем Закона Божь его.

Назидания священника ни в чем меня не убеждали. Я стал часто спорить на уроках. Это раздражало священника. В споры втягивались и мои товарищи по классу. Я стал таким яростным спорщиком по вопросу о Боге, что мои товарищи стали звать меня уже не Анастас, а Анаствац, что по-армянски значит «безбожник». В ходе всех этих дискуссий и особенно размышлений наедине я как-то окончательно разуверился в существовании Бога. Правда, продолжал исправно учить то, что называлось у нас Законом Божьим. Формально по этому предмету я не был отстающим

учеником. Мне поставили тройку и перевели в следующий класс. Эта тройка так и осталась в выпускном аттестате.

В то время родители не тратили на меня ни одного рубля. Учился я хорошо, и Армянское благотворительное общество, которое занималось обеспечением особо нуждавшихся семинаристов, предоставляло мне бесплатные обеды и оплачивало комнату, в которой я жил вместе с тремя другими учениками. Кроме того, я немного подрабатывал и сам, занимаясь с отстающими учениками-одноклассниками, имевшими обеспеченных родителей. За это репетиторство мне перепадало от 3 до 9 рублей в месяц, а по тем временам для скромной жизни это было не так уж плохо.

Моя троюродная сестра Ашхен, дочь тетки Вергинии, неплохо училась в школе. Но как-то учитель ее незаслуженно обидел. Ашхен была очень самолюбивой: она обиделась и перестала заниматься. Посыпались новые замечания, и, чем чаще она их получала, тем хуже училась, хотя была довольно способной ученицей. Кончилось дело тем, что она осталась на второй год, а на следующий учебный год получила по четырем предметам переэкзаменовки. Тетя Вергиния попросила меня взять Ашхен с собой в деревню и подготовить ее за лето к переэкзаменовкам, иначе ее могли бы исключить из школы.

Занимался я с ней по два-три часа во второй половине дня: утром она выполняла полученные от меня задания. Я был с ней очень строг, никаких бесед на посторонние темы не вел. Ашхен, со своей стороны, была очень старательной, добросовестно выполняя все задания.

Должен сказать, что Ашхен очень нравилась моему отцу. Он охотно с ней разговаривал, был с ней приветлив и внимателен.

Я уже говорил, что рано пристрастился к книгам. Читал все, что попадало под руку, первые годы в семинарии – только армянские книги, так как не знал еще русского языка.

С большим интересом читал исторические романы армянского писателя Раффи «Давид-бек», «Самуэл» и другие. Меня увлекала романтика борьбы армянского народа против чужеземных угнетателей, и романы Раффи оставили заметный след в моем сознании.

С увлечением знакомился я с творчеством классика армянской литературы Ованеса Туманяна – моего великого земляка и родственника, которого мне посчастливилось впоследствии узнать лично. Меня особенно привлекали в его книгах описания близких мне мест и людей родного района Лори.

В языке Туманяна я встречал много слов и выражений нашего лорийского диалекта.

Я познакомился с книгами Ширван-заде, Пароняна и других авторов. Зачитывался стихами зачинателя армянской пролетарской поэзии старого революционера Акопа Акопяна и мужественными стихами Шушаник Кургинян, воспевавшей героизм людей революции и гневно осуждавшей царизм. Очень нравились мне тогда – в переводе Кургинян – стихи популярной итальянской поэтессы Ады Негри.

Потом у меня появился интерес к естествознанию. К тому времени я уже настолько овладел русским, что мог свободно читать любые книги. Вначале я читал популярные брошюры по естествознанию, потом книги К.А. Тимирязева «Жизнь растения» и Ч. Дарвина «Происхождение видов», «Происхождение человека и половой отбор». Они произвели настоящий переворот в моем представлении о возникновении и развитии жизни на Земле. Эти книги положили начало моему сознательному атеизму.

На формирование моего сознания, несомненно, оказала влияние та социальная среда, из которой я вышел. Наша деревня расположена в двух километрах от Алавердского меднохимического комбината – старейшего предприятия среди действующих медеплавильных и медеэлектролитных заводов страны. В 1970 г. ему исполнилось 200 лет.

В 1801 г. район этого завода перешел из подчинения Персии в состав России. Тогда же с Урала туда прибыли специалисты, которые взамен «азиатского способа» выплавки меди внедрили свой, более передовой метод. В 1888 г. завод с рудником был отдан в концессию французской акционерной компании. Он производил 3800 т меди в год, что составляло $^1/_4$ часть выплавки меди всей России.

Отец мой работал на этом заводе плотником, а старший брат Ерванд молотобойцем. Одно время наша семья жила в бараке на территории завода, занимая одну комнату. В других комнатах барака на нарах спало по 5–6 человек. Еще ребенком я видел, как плохо жили рабочие завода, какими измученными возвращались они домой после непосильного 12-часового рабочего дня. Я не могу забыть и того, как мой старший брат поднимался на крутую гору в деревню после работы. Обессиленный, буквально валился на койку, чтобы отдышаться. А с рассветом он был снова на ногах и шел на работу.

На заводе, в невероятно трудных условиях, работало около трех тысяч человек, в том числе около тысячи иностранных рабочих – выходцев из Северного Ирана, которых использовали на самой черной работе. Шахтерами, как правило, работали греки,

жившие вблизи шахты в деревне. Состав рабочих был многонациональный. Но никаких межнациональных распрей не было. Рабочие в подавляющем большинстве своем были безграмотными.

Контрастом нищенскому существованию рабочих была роскошная жизнь представителей высшей администрации. Они занимали хорошие дома с теннисными кортами (тогда я и увидел их впервые). Жены инженеров разъезжали на прекрасных лошадях. Инженеры и высшая администрация завода человек пятнадцать – были французы. Конторскими служащими были армяне, русские и другие.

Обо всем, что я видел, я рассказывал товарищам по семинарии. Искал объяснения существующему и в книгах, особенно по революционной истории.

Как-то я увидел у одноклассника одну из книг многотомной «Истории Рима» Моммзена и заинтересовался ею и трудами по истории. Книга Жана Жореса «История Великой французской революции» захватила меня. Я выписывал в отдельную тетрадку все важнейшие факты, даты, по нескольку раз перечитывал эти свои записи и в конце концов запомнил их наизусть. Французская революция оставила в моем сознании неизгладимый след острыми событиями и в особенности яркими фигурами своих вдохновителей и вождей – Марата, Дантона, Робеспьера и других. Я буквально ими бредил.

Позднее ко мне попал первый том сочинений Д.И. Писарева. После этого я, что называется, залпом прочел все четыре тома его сочинений. В формировании моего мировоззрения Писарев сыграл большую роль. Я почувствовал, как многое для меня прояснилось; я как бы очистился от многих старых предрассудков. Появилась большая уверенность в себе, стало вырабатываться чувство критического подхода ко многим явлениям действительности. Одним словом, Д.И. Писарев заставил меня повзрослеть. Книги В.Г. Белинского и Н.А. Добролюбова возбудили огромный интерес к русской классической литературе и помогли преодолеть сложившийся у меня тогда неправильный взгляд на художественную литературу. До этого я любил читать главным образом исторические книги, считая, что только в них отображены подлинные факты, события и люди. Художественная литература интересовала меня мало. Знакомство же с произведениями Белинского и Добролюбова раскрыло мне глаза на многое.

Я с жадностью стал читать романы И.С. Тургенева и И.А. Гончарова. «Накануне», «Рудин», «Обломов» были проглочены мною мгновенно. Потом пришло знакомство с книгами Льва

Толстого. Огромное впечатление произвели на меня «Воскресение», «Хаджи-Мурат», «Хозяин и работник». Помню, с каким волнением читал я «Овод» Э. Войнич! После «Овода» я познакомился с романом Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Чернышевский привел меня к сочинениям Фурье, Томаса Мора, Сен-Симона и Роберта Оуэна. Конечно, многое в их работах я воспринимал еще очень наивно, упрощенно, но читал книги великих утопистов с захватывающим интересом. Большой интерес вызвала книга Вересаева «Записки врача». С увлечением читал Гаршина.

Видимо, я еще не способен был чувствовать музыку русского стиха, и Пушкин понравился мне тогда не своей бессмертной поэзией, а прежде всего прозой. Я с упоением зачитывался «Историей Пугачевского бунта», «Капитанской дочкой», «Дубровским». Из иностранной литературы читал Диккенса, Джека Лондона, Виктора Гюго, Александра Дюма, Ибсена и хорошо запомнил «Разбойников» Шиллера.

В 1911–1912 гг. и до нашей семинарии докатилась революционная волна, вызванная новым подъемом рабочего движения. Помню, как много всяких разговоров было среди учащихся старших классов о разных политических партиях! Были эти разговоры, конечно, и среди моих одноклассников. Мы спорили между собой и в конце концов решили, что, для того чтобы не допустить ошибки в выборе, к какой партии примкнуть, нам нужно самим самостоятельно изучить необходимую революционную литературу. Для этой цели мы образовали политический кружок. Не помню точно, по чьему совету мы решили начать с изучения книги Каутского «Экономическое учение Карла Маркса».

Собирались мы, шесть человек, регулярно в течение всего 1912/13 учебного года. Главу за главой прочитали всю книгу Каутского, попутно обсуждая, кто как что понял.

В следующем учебном году кружок наш расширился до 14 человек: мы приняли небольшую группу учеников из младшего класса, а кроме того, ребят из другого литературного кружка. Пришлось повторить изучение экономической теории Маркса, но уже по книге Богданова. Параллельно мы, «старики», читали и другую марксистскую литературу – книгу Бебеля «Женщина и социализм» и Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

Как-то до нас дошли слухи, что кружки, подобные нашему, организованы в некоторых тифлисских гимназиях, коммерческом училище, где обучались на русском языке представители разных национальностей, а также в дворянской гимназии, где учились

преимущественно грузины. Мы решили установить связь с ними, и весной 1914 г. состоялось первое заседание представителей всех этих кружков – по одному от каждого. Заседание проходило на квартире гимназистки Люси Люсиновой – впоследствии московской студентки-коммунистки, геройски погибшей на октябрьских баррикадах в Москве и похороненной у Кремлевской стены.

Люся играла на этом собрании очень активную роль. Это была умная, начитанная, теоретически достаточно подготовленная девушка, к тому же обладавшая красивой внешностью и обаянием. Мне она тогда очень понравилась.

В ту весну 1914 г. в моих руках оказалась книга Н. Ильина «Развитие капитализма в России». Произошло это при таких обстоятельствах. Как-то я зашел на квартиру к своему дальнему родственнику, Данушу Шавердяну, работавшему в Тифлисе присяжным поверенным (и, как я узнал немного позднее, состоявшему в подпольной большевистской организации).

Поговорив с ним о своей жизни, я рассказал ему о наших занятиях. Дануш уже знал о существовании политического кружка в семинарии и относился к этому одобрительно. Прощаясь, он протянул мне какую-то книгу и сказал: «Вот, Анастас, прочитай-ка это повнимательнее!» Он тут же пояснил мне, что настоящая фамилия автора этой книги – теоретика и руководителя социал-демократов (большевиков) – УльяновЛенин, который иногда выступает под псевдонимом Н. Ильин. Так впервые, благодаря Шавердяну, я открыл для себя Ленина.

Той же весной 1914 г. я жил со своими двумя товарищами по семинарии в одной комнате, которую мы сообща оплачивали владельцу квартиры. Как-то я задержался в гостях у товарища, жившего далеко, на окраине Тифлиса. Вдруг ко мне прибегает запыхавшийся и взволнованный сосед по комнате и рассказывает, что только что у нас были полицейские, искали меня, потом произвели обыск, забрали какие-то бумаги, тетради и, узнав, где я нахожусь, отправились за мной, видимо для того, чтобы арестовать.

На свою квартиру я, понятно, заходить не стал, опасаясь засады, а пошел к товарищу, переночевал у него, а на следующий день взял железнодорожный билет и уехал в деревню.

В архивах сохранился любопытный документ – ордер, выданный 22 мая 1914 г. начальником Тифлисского губернского жандармского управления полковником Пастрюзиным, на право производства у меня «самого тщательного и всестороннего обыска».

Я вообще никак не мог понять, почему полиция решила

произвести обыск, а тем более арестовать меня. Единственное, что я мог предположить, – это возможный донос о нашем кружке и о том, что я читаю кое-какую нелегальную литературу. Не найдя у меня ничего особо предосудительного, полицейские, видимо, успокоились.

Когда началась империалистическая война, я был в деревне на каникулах после окончания пятого класса семинарии.

Новый учебный год начался как обычно. Но события на фронте всех нас волновали.

Война на турецком фронте касалась непосредственно армян: с успехами русского оружия связывались надежды на освобождение от турецкого ига западных армян, а их там жило около двух миллионов. Начались формирования добровольческих армянских дружин для отправки на фронт. Среди учащихся семинарии шли обсуждения и споры – идти или не идти на фронт.

Мы, группа наиболее воинственно настроенных учащихся, приводили в пример болгар, которые выступили на стороне русских войск против Турции в борьбе за свое национальное освобождение. Помню, что для утверждения своей позиции мы ссылались и на благородный поступок знаменитого английского поэта Байрона, который смело выступил в поддержку войны греков за их национальное освобождение от султанской Турции и, несмотря на свою хромоту, пошел добровольцем на фронт.

Записавшись добровольцем, я с группой учащихся семинарии в один из ноябрьских дней 1914 г. сел в воинский эшелон на станции Навтлуг и благополучно добрался до пограничного города Джульфа. Там в течение одной недели прошли небольшую подготовку, после чего нас отправили на фронт для пополнения дружины Андраника, которая находилась на территории Персии около границы с Турцией.

Среди армян имя Андраника было окружено ореолом славы. Как потом мы убедились, он и среди бойцов пользовался непререкаемым авторитетом.

Наше прибытие на фронт совпало с наступательными действиями на этом участке. Местность была гористая, бездорожная. В горах лежал снег. Большого сопротивления противник нам не оказывал. Во всяком случае, ожесточенного характера бои не носили. В течение ряда дней наше наступление продолжалось весьма успешно. Мы заняли много мелких сел по 10–15 дворов, расположенных в ущельях. Все было заброшено. Кругом невероятная бедность.

После мы получили команду начать отступление. Говорили, что южнее турецкие войска в обход перешли в контрнаступление.

Мои товарищи – одноклассники, с которыми я вместе прибыл на фронт, решили вернуться домой, жалуясь на трудности похода и усталость. Начальство против их ухода не возражало. Мое же самолюбие не позволяло к ним присоединиться: я считал мальчишеством, пробыв на фронте меньше месяца и ничего здесь не сделав, уйти.

После небольшого отдыха наша дружина вступила на территорию персидского Азербайджана, в районе города Хойя. Личный состав дружины был почти весь из бакинских рабочих. Люди были простые, хорошие. Ко мне они относились с уважением, хотя я был моложе их всех. Они рассматривали меня как интеллигента, но ценили, что я, как рядовой солдат, веду себя точно так же, как и они, перенося все тяготы военной службы.

Вскоре наша дружина участвовала в большом сражении на персидской территории с наступавшими турецкими войсками. На нашем участке фронта действовали наряду с русскими частями три армянские дружины. Мы занимали выгодные оборонительные позиции, хорошо окопавшись на высоких холмах. Турецкие позиции находились, наоборот, на равнине.

С раннего утра началось ожесточенное сражение. Несмотря на большие потери, турецкие войска продолжали наступать. Сидя в окопах, мы стреляли в них из винтовок. Видели, как под нашим огнем падали наступавшие турецкие солдаты.

Турки шли цепями. По нашим позициям била турецкая артиллерия, но снаряды большей частью разрывались за окопами. И тем не менее наши потери были значительны, особенно от шрапнели. Но, конечно, они не шли в сравнение с тем количеством трупов, которые лежали перед нами. К вечеру, когда стемнело, турецкие цепи подошли вплотную к подножию холмов, в нескольких сотнях метров от наших окопов, и залегли там. Перестрелка прекратилась. Наступило затишье.

Через некоторое время, когда мы уже успели поесть, использовав передышку, поступил приказ готовиться к ночному штыковому бою: командование считало, что турки не будут ждать рассвета, а, пользуясь темнотой, предпримут штыковую атаку.

Надо сказать, что в первых боях я уже привык немного к военной обстановке. Как и другие бойцы, я находился в хорошем настроении и не чувствовал особого страха, хотя не скрою – предстоящий штыковой бой меня мало устраивал. Я не был ему еще обучен и поэтому сказал своим товарищам, что мне трудно орудовать штыком. Попросил у одного из них, на время ночного боя, его револьвер: мне хотелось идти в бой не со штыком, а с револьвером. Скажу по совести, мне как-то претила даже мысль о

том, что я должен буду воткнуть штык в тело человека. Получив револьвер, я успокоился.

Нам было приказано спать в окопах по очереди, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Должно быть, товарищи жалели меня и поэтому не будили. Только с восходом солнца я открыл глаза.

Никаких турок не было видно. За ночь они отступили, унеся с собой раненых. На поле боя остались только трупы убитых.

Это было самое большое сражение, которое мне пришлось тогда наблюдать. Понеся большие потери, турки отступили. Мы находились уже на турецкой территории.

Второе крупное сражение произошло, когда мы подходили к городу Вану, одной из древних столиц Армении. Это сражение было, как мне казалось, менее кровопролитным, чем первое, турецкие войска и здесь потерпели серьезное поражение.

Мое физическое состояние в это время стало сильно ухудшаться. Дело в том, что я с детства не ел мяса. Стоило мне на фронте съесть кусок мяса, как на моей коже появилась сыпь, меня тошнило. Только в 1918 г., уже в Баку, я постепенно приучил себя к мясной пище. До фронта я питался молочными продуктами, особенно сыром, который я ел с хлебом три раза в день. На фронте же такой возможности не было. Я жил буквально на хлебе и каше, очень исхудал, появились признаки дистрофии. Длительные походы вконец изнурили мой организм. А тут случилась новая беда: на подступах к Вану я заболел острой формой малярии. Меня замучила лихорадка, сопровождаемая очень высокой температурой.

В начале апреля 1915 г., через несколько дней после вступления в Ван, меня вместе с другими больными и ранеными эвакуировали – сначала в Ереван, а оттуда в Тифлис, где поместили в госпиталь для раненых армянских дружинников.

В середине мая я вышел из госпиталя и чувствовал себя вполне окрепшим.

Еще в госпитале меня поразило и ошеломило сообщение о трагедии, постигшей западных армян в апреле 1915 г. Реакционное правительство младотурок учинило над ними зверскую расправу, уничтожив около полутора миллионов мирных жителей-армян. Это был первый случай геноцида в современной истории.

Я осмысливал происходящие события и очень нуждался тогда в добром совете и разъяснениях компетентного человека. Появилась потребность повидать Шавердяна: я видел в нем своего старшего советчика и наставника. Шавердян принял меня очень приветливо. Он подробно рассказал о ленинской оценке

происходящей войны. Потом достал из какого-то ящика отпечатанную на тонкой папиросной бумаге газету «Социал-демократ», изданную в Женеве, со статьей Ленина «Война и российская социал-демократия». Кроме того, Дануш подарил мне брошюру Ленина «Что делать?».

В ленинских работах я нашел ответы на многие мучившие меня тогда вопросы. Особенно увлекла меня книга «Что делать?», которая и определила мои политические взгляды.

Дануш был искренне рад моему, как он сказал, прогрессу. Это еще более окрылило меня, и я решил открыть ему свою мечту: «Знаете, Дануш, я хочу вступить в вашу партию». Дануш улыбнулся и сказал, что не стоит очень торопиться, надо получше подготовить себя к такому решительному шагу. Он предложил мне обязательно прочитать несколько ленинских работ, в частности книгу «Шаг вперед, два шага назад» и работу «О праве наций на самоопределение». И посоветовал познакомиться с брошюрами Шаумяна и Сталина по национальному вопросу, а также с книгой Плеханова «Наши разногласия». Я сказал, что скоро уезжаю в деревню и собираюсь там, кроме того, начать изучение первого тома «Капитала» Маркса.

Моему приезду мать была бесконечно рада. Отец тоже был доволен, но он не любил бурно выражать своих чувств. Мать очень боялась, как бы меня не убили на фронте.

В то лето я поработал довольно плодотворно. Прежде всего, конечно, прочитал и даже законспектировал книги, которыми снабдил меня перед отъездом в деревню Шавердян. Однако настоящие трудности начались у меня, когда я приступил к изучению первого тома «Капитала» Карла Маркса. Помню, что, прочитав первую главу, я многого просто не понял. Однако решил не сдаваться. Стал читать второй раз. Кое-что стало яснее. Тогда я решил попытаться изложить письменно то, что мною было прочитано. Читал вновь и записывал. Постепенно я привык к его стилю и манере изложения, и дальнейшее чтение шло уже вполне нормально.

Вернувшись в Тифлис в конце августа, я, естественно, первым делом решил навестить Шавердяна, поделиться с ним результатами своей учебы. Расставаясь, Шавердян дал мне очередную порцию книг по марксистской теории и составил довольно большой список книг, которых у него в личной библиотеке не оказалось: он сказал, чтобы я сходил с этим списком в городскую библиотеку имени Пушкина к работавшей там коммунистке Джаваире Тер-Петросян (сестре знаменитого Камо), которая, по словам Шавердяна, достанет для меня все рекомендованные им по списку книги. Впоследствии я делал это

неоднократно, и Тер-Петросян стала моей второй «благодетельницей» по части снабжения марксистской литературой.

Как-то я напомнил Шавердяну о его обещании помочь мне вступить в партию. «Ну что ж! – ответил он. – Теперь ты, по-моему, уже достаточно созрел для этого. Тебя хорошо знают наши активисты. Можно подумать и о твоем приеме».

И действительно, в ноябре 1915 г. я был принят в партию. Мне сразу дали и партийное поручение: вести пропагандистскую работу среди учащейся молодежи. Главными вопросами наших собеседований стали актуальные проблемы войны, задача борьбы за свержение самодержавия, национальный вопрос.

Перед началом нового 1915/16 учебного года я пришел в семинарию и попросил у администрации разрешения поступить в тот же шестой класс, из которого я ушел при отъезде на фронт. При этом я дал обязательство пройти программу шестого класса за первое полугодие, а со второго полугодия перейти в седьмой класс и закончить его вместе со всеми, то есть фактически за один год пройти два класса.

Выпускные экзамены прошли у меня вполне успешно. Лишь по злосчастному пению да Закону Божьему остались стабильные тройки, хотя по трем другим религиозным предметам я получил пятерки. Только по русскому языку мне поставили – и притом справедливо – четверку: подвела устная речь. У меня тогда почти не было разговорной практики на русском языке, хотя по русской литературе и письменной работе я имел отличные отметки.

Возвращаясь ко временам учебы в семинарии, невольно удивляешься, как много ее воспитанников, и в первую очередь учеников нашего класса, впоследствии стали видными советскими и партийными деятелями! Тому были, конечно, свои причины.

Во-первых, в семинарию поступали дети из необеспеченных или малообеспеченных семей. Состоятельные родители отдавали своих детей в гимназии, реальные или коммерческие училища, где было платное обучение. Поэтому в семинарии создавалась более однородная по своей материальной обеспеченности демократическая среда, наиболее восприимчивая к революционным идеям.

Во-вторых, время, в которое мы учились, было периодом нарастания революционных сил между двумя русскими революциями. Революция шла к своему подъему. Марксистский кружок, который мы организовали в 1912 г., впитывал все новых и новых способных и революционно настроенных юношей. Все они к 1915–1918 гг. вступили в РСДРП и вели в ней активную

деятельность.

Значительную роль играло и то обстоятельство, что преподавание в семинарии находилось на достаточно высоком уровне. Большинство наших учителей получили высшее образование в Германии, Швейцарии и Франции. Многие из них придерживались либерально-демократических взглядов.

Вообще же следует сказать, что, хотя наше учебное заведение и именовалось духовной семинарией, по своей учебной программе, пожалуй, семинарией в точном смысле слова не было. Среди учителей был только один священник, преподававший Закон Божий. Было еще четыре религиозных предмета, но они не занимали более двух часов в неделю. Остальное время было целиком посвящено изучению общеобразовательных предметов: математики (включая алгебру и геометрию), географии, литературы, физики, химии, ботаники, зоологии, психологии и физиологии. По сравнению с гимназией у нас был обязателен только один иностранный язык: французский или немецкий – по выбору. Помимо современного армянского языка мы изучали еще и древнеармянский. Кроме того, преподавались история и география Армении и педагогика.

Все это имеет свое объяснение. Дело в том, что при царском строе запрещалось иметь гимназии и высшие учебные заведения с преподаванием не на русском языке. Исключения допускались лишь для некоторых церковно-приходских школ, духовных семинарий и духовной академии. Поэтому на Кавказе в обход царского закона учебные заведения, формально называвшиеся духовными семинариями, по существу были армянскими или грузинскими гимназиями, дававшими законченное одиннадцатилетнее среднее образование. Правда, аттестат нашей семинарии не давал права поступать в вузы России. Зато в Европе с таким аттестатом беспрепятственно принимали в высшие учебные заведения.

Наша семинария была создана еще в 1824 г. католикосом Нерсесом, имя которого и носила. На армянском языке она именовалась Тифлисская Нерсесянская армянская духовная школа. Мне неизвестно ни одного случая, чтобы кто-либо из выпускников нашей семинарии тех лет выбрал бы себе духовное поприще.

Многих из моих одноклассников нет уже в живых. Некоторые из них, Алиханян, Стамболцян, Костанян, Бальян, Гардашьян, Акопян, Еремян, Маркарян, к сожалению, стали жертвами репрессий 1937–1938 гг. Все они посмертно реабилитированы, и честь их полностью восстановлена.

Еще не закончив всех выпускных экзаменов, я, как и другие

мои однокашники, много думал о том, что буду делать после окончания семинарии. В то время главной задачей я ставил продолжение политического образования и революционную работу. А для этого мне надо было еще два-три года целиком посвятить учебе. Мне казалось, что только после этого я, чувствуя себя в какой-то степени теоретически подготовленным марксистом, смогу более уверенно и активно участвовать в революционной борьбе.

С этой целью я решил, как ни парадоксально это звучит, поступить в Армянскую духовную академию. Она находилась в древнем городке Эчмиадзине близ Еревана и была единственным в Армении высшим учебным заведением, куда абитуриенты из семинарии принимались без экзаменов. Обучение было бесплатным. Более того, студенты находились на полном обеспечении и жили в интернате. Последнее обстоятельство было для меня немаловажным, принимая во внимание мое незавидное материальное положение.

В создавшейся обстановке академия для меня была идеальным решением вопроса. Хорошие отметки в аттестате зрелости служили известной гарантией, что меня в академию примут. Такое же решение приняло и большинство семинаристов – моих товарищей по марксистскому кружку.

18 сентября 1916 г. я получил уведомление, что меня приняли в число студентов 1-го курса академии, а через два дня я подал прошение тифлисскому воинскому начальнику об отсрочке от призыва в армию до окончания обучения в академии. Просьба была удовлетворена.

В академии, кроме ректора и преподавателя греческого языка, все были гражданскими, а не духовными лицами. Изучали мы в основном историю древней Армении Средних веков и Нового времени; историческую географию Армении; армянскую литературу и язык – начиная с древних времен.

Я довольно быстро освоился в новой обстановке и уже через несколько дней разработал план своих занятий – и по основной программе академии, и по изучению марксистской литературы. С однокурсником Арамом Шахгальдяном мы раздобыли керосиновую лампу, вставали обычно в три часа ночи (когда все еще спали), отправлялись в ту аудиторию, в которой занимался весь наш курс, и работали там до 7 часов утра, до завтрака. Я изучал тогда третий том «Капитала» Маркса. После первого тома «Капитала» второй и третий тома усваивались мною довольно легко. Потом, вслед за третьим томом, я прочитал две неоконченные тетради Маркса, вошедшие, как известно, в четвертый том «Капитала» («Теория прибавочной стоимости»).

Сидели мы с Арамом на последней парте, в самом конце аудитории. Рядом стояла этажерка для книг: в ней-то мы и хранили десятка полтора книг Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова и других авторов. Вспоминаю, как во время общих курсовых занятий я незаметно вытаскивал два экземпляра книги Каутского «Аграрный вопрос» (на немецком и русском языках) и с увлечением читал, одновременно убивая двух зайцев: постигая содержание книги и овладевая немецким языком, чтобы иметь возможность читать классиков марксизма в подлинниках. Занятия эти шли у меня довольно успешно.

Вскоре по приезде в Эчмиадзин мы организовали марксистский кружок. В него вошли все товарищи, прибывшие из Тифлиса, и двое окончивших Шушинскую семинарию. Мы регулярно получали еженедельную газету «Пайкар», выходившую в Тифлисе на армянском языке, и активно обсуждали статьи, которые в ней публиковались. Это меня увлекало.

В декабре 1916 г. я написал свою первую статью и направил ее в редакцию «Пайкара». Статья была острой, полемической, направленной против печатного выступления одного видного дашнакского деятеля по национальному вопросу. Она появилась в «Пайкаре» без всяких изменений со стороны редакции, но цензура основательно поработала над ней ножницами.

Я к тому времени с работами Адама Смита знаком не был, но Туган-Барановского уже читал. Когда у нас начались дискуссии, пришлось взяться и за Адама Смита. Помню разгоревшиеся споры вокруг теории трудовой стоимости. Студент 3-го курса Манукян отстаивал взгляды австрийского экономиста Бем-Баверка, который выдвинул «теорию предельной полезности». Для неподготовленного человека эта работа была более доступна, нежели теория прибавочной стоимости Маркса.

Я обратился за помощью к профессору нашего курса Ашоту Иоанесяну. Мне было известно, что он – подготовленный марксист, доктор наук, получивший образование в Германии. Он дал мне австрийский журнал «Маркс штудиум», в котором была опубликована статья на эту тему. С помощью словаря я одолел ее.

Кстати, должен сказать, что Ашот Иоанесян после победы советской власти стал секретарем ЦК Компартии Армении. Пройдя через репрессии 30-х гг., он выжил и стал действительным членом Армянской академии наук, вел большую научную работу в области истории армянской общественной мысли.

В свое время он оказал всем нам, и мне в частности, большую помощь, познакомил с Геворгом Атарбекяном – членом большевистской партии, который жил тогда в Эчмиадзине, с тем

самым Атарбекяном, который впоследствии прославился в борьбе с контрреволюцией в 1918–1919 гг. на Северном Кавказе.

Все эти встречи и знакомства со старыми, опытными и образованными марксистами во многом способствовали нашему росту – тогда еще очень молодых коммунистов.

Мой товарищ по академии Погосян отлично владел грузинским языком. Я попросил его научить меня читать, писать и говорить по-грузински, считая, что это может очень пригодиться мне в предстоящей революционной работе. В течение нескольких месяцев я так усердно занимался с Погосяном, что мог уже без большого труда читать на грузинском языке газеты, которые выписывал мой товарищ.

Потом мы условились с Товмасяном из Шуши, что он, работая над совершенствованием своих знаний в азербайджанском языке, будет обучать этому языку и меня. Впоследствии это пригодилось мне в практической работе.

Ректором нашей академии был отец Гарегин – человек лет сорока пяти, ниже среднего роста, с симпатичным лицом и красивой бородой. Он был очень спокойный и уравновешенный человек. Ректор решил заинтересовать нас письменностью и древнеармянской литературой. Пригласил нас как-то в монастырь, где хранились древние рукописи. То, что мы там увидели, нас поразило. Мы не представляли, что у армян существует такое ценное собрание старинных рукописей, с необычайной красотой и любовью написанных на папирусах, пергаментах и коже, богато иллюстрированных талантливыми художниками. Поражало разнообразие и свежесть красок. Мы искренне благодарили ректора за то, что он все это нам показал и дал при этом подробные и интересные пояснения. Все эти богатства теперь находятся в Матенадаране – известном хранилище древних рукописей в Ереване.

Помню, как-то зимой ректор зашел к нам и сказал, что в воскресенье состоится богослужение, которое будет совершать сам католикос Георг V. Все мы обязаны были там присутствовать. Мы чинно отстояли на богослужении, но, когда в конце подошла наша очередь целовать руку у сидевшего на троне католикоса, мы, как и уговорились заранее, подойдя к нему, вежливо поклонились и, не прикоснувшись к его протянутой руке, отошли в сторону.

В стенах академии начались пересуды. Раздавались голоса о нашем изгнании из академии. Другие считали, что если все раскроется и царской полиции станет известно, что в духовной академии существует очаг большевизма, то это послужит поводом для закрытия академии; они предлагали шума по этому поводу не

поднимать. Так это дело и было замято.

Может быть, здесь уместно сказать, что второй раз в своей жизни я встретился с католикосом армянской церкви много лет спустя, совсем уже в иных условиях. В 1958 г. я был в Ереване на встрече с избирателями перед выборами в Верховный Совет СССР. Руководители республики устроили прием в Большом зале.

Я заметил в конце зала нескольких духовных лиц. Мне сказали, что это новый католикос всех армян Вазген I со своей свитой, что он образованный и умный человек, хорошо относится к советской власти и пользуется уважением не только среди наших, но и зарубежных армян.

Я налил бокал вина и вместе с руководителями республики пошел через весь зал к этой группе. Подойдя к католикосу, я поздоровался и, улыбаясь, сказал в шутливом тоне, что чувствую за собой какую-то вину перед армянской церковью, поскольку я не оправдал ее надежд и усилий, потраченных на мое обучение. «Говоря на экономическом языке, – сказал я, – из меня, студента армянской духовной академии, получился «брак производства».

Все рассмеялись. Католикос улыбнулся и сказал: «Вы ошибаетесь! Мы не только этим не огорчены, но даже гордимся тем, что такой человек, как вы, вышел из стен нашей академии. Побольше бы нам такого «производственного брака»!»

В конце 1916 г. Ашот Иоанесян сообщил нам, что на днях созывается нелегальное межпартийное совещание, на котором будет обсуждаться аграрный вопрос и перспективы его разрешения в условиях Эриванской губернии. Ашот советовал всей нашей группе принять участие в этом совещании. Мы охотно согласились.

Помню, что собрались мы вечером в каком-то мрачном, полуподвальном помещении. Присутствовало человек около тридцати. Там были меньшевики, эсеры и большевики.

В информации, которую сделал незнакомый мне человек, было сообщено, в каком тяжелом положении находится армянское крестьянство, стонущее под гнетом помещиков. Тогда в деревнях, где жили и армянские, и азербайджанские крестьяне, подавляющее большинство среди помещиков составляли азербайджанцы: так уж сложилось это исторически. Говоря о путях разрешения аграрного вопроса, докладчик стоял на узконационалистических позициях. Он предлагал армянскому крестьянству организоваться обособленно. Он связывал это с недавно состоявшимся решением Государственной думы, которая назначила комиссию по изучению положения крестьян в Эриванской губернии. Во главе этой комиссии был член Думы кадет Аджемов, армянин по национальности.

Я попросил слова и выступил резко против позиции докладчика, говоря о его ошибочном узконационалистическом подходе к решению важнейшей проблемы классовой борьбы крестьянства с помещиками. Я высмеял его надежды на решение такого вопроса через думскую комиссию Аджемова. Говорил я о том, что земельный вопрос имеет значение не только для армянского, но и для азербайджанского и для грузинского крестьянства. Вместо сепаратных действий в рамках Армении я предлагал объединить все революционные силы Закавказья для общей борьбы за ликвидацию помещичьего землевладения, подняв на эту борьбу трудовое крестьянство всех национальностей.

Как помнится, мы ни до чего не договорились и закончили бесславно это первое и последнее межпартийное совещание.

Мировая война вскрыла и обострила все основные противоречия империализма. Вместо обещанной скорой победы последовало поражение царской армии на ряде фронтов. Русская армия несла огромные потери в людях. Явной для всех стала плохая подготовленность царского режима к войне. Это действовало на настроение солдат, а через них – на весь народ.

Начались серьезные экономические затруднения. Ощущалась нехватка продовольствия. Чудовищно росли цены на предметы первой необходимости. Стало не хватать хлеба. В стране усилилась общая разруха. Повсеместно зрело недовольство народа войной. Наряду с этим продолжалось невиданное обогащение кучки фабрикантов и спекулянтов, наживавших миллионные состояния на военных поставках. В промышленных центрах страны начались стачки, забастовки, массовые народные демонстрации, для подавления которых царское правительство стало широко применять оружие, уже во многих городах пролилась кровь. В стране назрела подлинная революционная ситуация.

Однако обо всем этом мы знали понаслышке. Вот почему для нас было даже несколько неожиданным сообщение по телеграфу о свержении самодержавия, создании Временного буржуазного правительства и образовании Совета рабочих депутатов. Нашей радости не было границ!

В Эчмиадзине не было никаких промышленных предприятий и поэтому не было и рабочего класса. Здесь находился только запасной батальон, состоявший по преимуществу из русских великовозрастных солдат, обремененных семьями, мечтавших о дне, когда кончится война.

Мы пошли в этот батальон и организовали там солдатское собрание. Я рассказал о значении падения самодержавия, о

задачах революции, призывал покончить с войной. Говорил, что народ сам должен решать теперь все вопросы революции, и в том числе вопрос о войне и мире. Солдат особенно вдохновило требование прекратить войну. Была принята короткая резолюция и образован солдатский комитет батальона. У солдат же создалось такое впечатление, что, раз они проголосовали против войны, значит, война должна немедленно кончиться. С радости они напились.

Надо сказать, что еще в начале войны царское правительство ввело сухой закон по всей России. Этот запрет не распространялся только на Кавказ, потому что вино, особенно у грузин и армян, всегда было неотъемлемой частью быта. Поэтому вино продавалось здесь свободно.

Я решил уехать, но порывать с академией официально не собирался, не желая терять права на освобождение от воинской повинности. Я заявил ректору, что сдам экзамены осенью, так как вынужден уехать по своим делам в Тифлис. То ли ректора устраивало, что он на время избавляется от одного из смутьянов, то ли по другим соображениям, но он дал мне на это согласие. Я торопился в Тифлис, где разгорались революционные события.

Глава 2
В рядах революционеров Тифлиса и Баку

В Тифлисе я сразу же пошел к Шавердяну, чтобы узнать у него все новости партийной жизни. Он сказал, что завтра должно состояться первое легальное собрание большевиков в Народном доме Зубалова.

На заседании присутствовало около 250 человек. В президиум были избраны Алеша Джапаридзе, Миша Окуджава и Амаяк Назаретян. Главной темой был вопрос об объединении большевиков с меньшевиками. В обоснование объединения приводили тот факт, что после свержения самодержавия создалась новая ситуация: ряд тактических разногласий был снят самой жизнью в результате завоевания народом широких демократических свобод и политических прав. После долгого обсуждения большинством голосов было принято решение об объединении.

Мне приходилось много раз выступать на собраниях тифлисских учащихся на армянском языке по проблемам мира и русской революции.

Тифлисский большевистский центр заседал и размещался тогда в здании городской управы; меньшевистский комитет – в бывшем дворце наместника. Наибольшей активностью выделялись Махарадзе (он вел заседания), Окуджава, Торошелидзе, Назаретян, Кавтарадзе, Мравян, Ханоян, Думбадзе и другие.

В конце марта 1917 г. на одном из заседаний, где я присутствовал, обсуждалось присланное из Баку письмо Шаумяна. Он сообщал об общей обстановке в Баку и в конце письма просил направить к ним нашего старого большевика Мравяна для усиления политической работы среди рабочих-армян. Однако Мравян сказал, что ехать в Баку не может.

После заседания я зашел к Шавердяну. «Дануш! Вы хорошо меня знаете, – сказал я. – Как по-вашему, смогу ли я справиться с той работой, о которой пишет Шаумян?» Подумав, Дануш ответил: «Если ты действительно хочешь поехать в Баку, это уже полдела. Обстановка там очень сложная. Но я уверен, что ты справишься». Я подтвердил свое желание. «Поезжай! – тогда уже твердо сказал мне Шавердян. – Я даже помогу тебе: Шаумян – мой близкий друг. Я дам к нему рекомендательную записку. Там тебя

устроят на какую-нибудь службу, чтобы ты мог зарабатывать на жизнь и одновременно заниматься партийной работой».

И он тут же написал на своей визитной карточке несколько строк Шаумяну, запечатал карточку в конверт и передал мне.

Международное и внутреннее положение Бакинского района было в те годы очень сложным. Бакинская нефть раньше, чем иранская, привлекла внимание мирового капитала: почти 15 процентов всей мировой добычи нефти падало на Баку. К 1917 г. здесь орудовали крупнейшие иностранные компании – Нобеля, Ротшильда и другие, а также русские, азербайджанские и армянские нефтепромышленники. Большие трудности возникали перед нашей партией в связи с национальными противоречиями, постоянно разжигаемыми и царизмом, и шовинистами из армянской и азербайджанской буржуазии. Это ослабляло фронт борьбы рабочих против капитализма, расшатывало единство рядов бакинского пролетариата.

В начале Февральской революции, после свержения царя, Россия наконец получила политические свободы. Миллионы людей были вовлечены в активную политическую борьбу. Им не так легко было разобрать, какая партия и программа лучше. В Баку кроме общероссийских партий были и местные националистические партии: «Мусават», имевшая влияние в азербайджанской части населения; «Дашнакцутюн», действовавшая среди армянских рабочих; «Гуммет» – азербайджанская организация социал-демократов, примыкавшая к большевикам; «Адалет», работавшая среди тружеников-нефтяников из Персии. Однако наибольшее количество членов привлекли к себе эсеры. Этому способствовала прежде всего архиреволюционность этой партии.

В Баку я приехал в конце марта 1917 г. Я знал, что большевики пользовались большим доверием и авторитетом среди бакинских рабочих еще в дореволюционную пору. Когда 7 марта 1917 г. (сразу после Февральской революции) в Баку был образован Совет рабочих депутатов, на первом же его заседании возник вопрос о председателе Совета. Большевики составляли там явное меньшинство, и, несмотря на это, председателем Бакинского совета был избран – и притом заочно – большевик Степан Шаумян, находившийся в то время еще в пути из царской ссылки. Конечно, немалую роль здесь сыграл личный авторитет Шаумяна.

До этого я там никогда не бывал. Внешне город поразил меня своей хаотичной застройкой и запущенностью. Современный Баку – это большой индустриальный и портовый город. Таким

величественным и благоустроенным, каким этот город стал за годы советской власти, тогда, в 1917–1918 гг., он не мог грезиться нам даже в мечтах.

Сейчас, например, очень трудно представить себе Баку с допотопной конкой, в которую иной раз впрягались сами пассажиры, чтобы помочь лошади втащить вагон в горку, или с перезвоном колокольцев, прикрепленных к шеям верблюдов, лениво шествующих небольшими караванами по тогдашним пустырям. Трудно сегодня представить Баку и без зелени парков и садов, без самой обыкновенной канализации и водопровода. А именно таким захудалым, утопающим в пыли и мусоре городом и был Баку в годы моего первого с ним знакомства. Шагая по улицам и путаным переулкам этого старого города, я не мог даже и представить себе тогда, что вскоре мне придется пережить здесь один из самых ярких революционных периодов своей жизни.

Прямо с вокзала я отправился на Меркурьевскую улицу (ныне улица Шаумяна), где тогда помещался Бакинский комитет РСДРП. Там я представился секретарю комитета Котэ Цинцадзе. «Вам придется подождать, – ответил мне Цинцадзе. – Обычно Шаумян днем работает в Совете и только к вечеру приходит сюда к нам». Я сел в угол и стал ждать.

Вскоре в комнату буквально ворвался человек средних лет, с портфелем и направился прямо к Цинцадзе. Я его сразу узнал. Это был Алеша Джапаридзе, которого я совсем недавно видел на легальном собрании большевиков в Тифлисе. Как сейчас помню его мужественное, волевое лицо с небольшой бородкой и усами.

Он поздоровался с Цинцадзе и стал ему говорить: «Понимаешь, Котэ, получается очень нескладно. На нефтепромысле Манташева подготовлено организационное собрание рабочихармян для вовлечения их в профсоюз. Там на месте это собрание организует один наш хороший партиец, лезгин Мухтадир. А выступать на армянском языке некому».

Цинцадзе задумался и минуту спустя ответил, что такого товарища у него сейчас нет. Потом взгляд его упал на меня, и он совершенно неожиданно сказал: «Вот приехал товарищ из Тифлиса. Может быть, он подойдет?» Джапаридзе быстро подошел ко мне, поздоровался, расспросил, кто я, откуда и зачем приехал, а потом сказал: «А почему же не подойдет? Подойдет!»

Я стал возражать, говоря, что человек я новый, обстановки не знаю, вряд ли справлюсь, в профсоюзах никогда не работал. Но Алеша настаивал: «Справишься. Выступишь и скажешь об общих задачах революции, о значении организации рабочего класса, о роли профсоюзов, а Мухтадир завершит собрание и проведет запись рабочих в профсоюз. Собрание состоится в Забратах, во

дворе школы Союза нефтепромышленников. Когда подойдешь к школе, найди Мухтадира и скажи, что ты от Джапаридзе».

Расспросив, как туда добраться, я сел в пригородный поезд и доехал до конечной станции Сабунчи. Оттуда пошел пешком и вскоре был уже в Забратах. Действительно, около школы я увидел толпу рабочих. Их было человек сто. Мухтадир открыл собрание и предоставил мне слово. Говорил я минут пятнадцать – двадцать примерно по той программе, что мне подсказал Алеша. Потом призвал всех рабочих вступить в профсоюз. Мухтадир тут же стал записывать желающих, получать вступительные взносы и выдавать квитанции.

Так, с благословения Джапаридзе началась моя политическая работа в Баку, и я впервые выступил как профсоюзный деятель.

Поздно вечером я опять зашел в Бакинский комитет партии и на этот раз застал там Шаумяна. Рассказав ему о цели своего приезда, я передал ему конверт от Шавердяна. Тот написал Шаумяну на обороте своей визитной карточки следующее:

> «Любимый Степан! Предъявитель сей записки – Анастас Микоян является новокрещеным эсдеком (социал-демократом. – А.М.), в достаточной степени подготовленным. Направляю его к тебе для борьбы против дашнаков. Он очень способный парень. Прошу уделить особое внимание. О здешнем положении дел он расскажет тебе.
>
> *Твой Дануш».*

Шаумяна я раньше никогда не видел, но много слышал о нем и от Шавердяна, и от других старых большевиков. Я знал, что Степан – один из наших признанных большевистских лидеров, пользующийся безграничным доверием Ленина. Знал я также и то, что Шаумян стал на революционный путь еще в юные годы, когда учился в Тифлисском реальном училище.

В 1902 г. вместе с Кнунянцем Шаумян возглавил первую армянскую социал-демократическую организацию – «Союз армянских социал-демократов», сразу же вошедшую в состав РСДРП. Осенью того же года Шаумян поступил на философский факультет Берлинского университета. Он посещает партийные собрания немецких социал-демократов, знакомится с их видными деятелями. В 1903 г. Шаумян вместе с Лениным работал в Женеве по изданию марксистской литературы на армянском и грузинском языках, и здесь завязалась их прочная дружба.

До сих пор я нахожусь под огромным впечатлением, которое произвел на меня Шаумян в день нашего первого знакомства.

Это был мужчина роста немного выше среднего, стройный и очень красивый, с легко запоминающимся, умным, интеллигентным лицом, по которому часто пробегала добрая и, я бы даже сказал, нежная улыбка. Его несколько бледному лицу с голубыми глазами – что довольно редко встречается среди кавказцев – очень шли темные усики и аккуратно подстриженная маленькая бородка (между прочим, стараясь потом во всем подражать Шаумяну, которого очень уважал и любил, я в свои молодые годы даже и стригся довольно долго «под Шаумяна»).

Шаумян был человек очень спокойный и уравновешенный. Он не был многоречив: чувствовалось, что всегда тщательно обдумывал каждое слово. Все было взвешенно, логично и убедительно.

Однако возвращаюсь к нашей первой встрече.

Прочитав записку Шавердяна, Шаумян сказал: «Ну вот и хорошо, что вы приехали! Нам сейчас очень нужны хорошие партийные пропагандисты, а Шавердян вас хвалит. Постараемся вас устроить и на какую-нибудь службу. На первое время хотя бы телефонистом. Работа эта немудреная, особых знаний и опыта не требует». И тут же написал письмо своему знакомому на промыслах Манташева, прося его устроить меня телефонистом в свою контору. Однако эта попытка, как и две последующие, не удалась. Денег на гостиницу у меня не было. Пришлось ночевать на столе, застеленном газетами, в Бакинском комитете партии.

Цинцадзе выдал мне из средств комитета небольшое денежное пособие на еду. Его мне хватило дней на десять. А тем временем я стал выполнять отдельные поручения комитета партии – ездить по районам, ходить на собрания, беседовать с рабочими, выступать с речами. Вскоре товарищи из комитета, видимо убедившись, что я могу быть полезным партийным работником, взяли меня на платную работу, и я стал пропагандистом Бакинского комитета партии.

Каждый день с раннего утра и до позднего вечера я находился в нефтепромысловых районах Сабунчи, Балаханы, Забрат, Биби-Эйбат. С промысла на промысел меня возил пожилой неграмотный дагестанец Казы Мамед, до фанатизма преданный делу революции.

Первое время собрания проводились нами главным образом среди рабочих-армян в помещении столовой, до и после обеда. Я был тогда очень загружен этой работой. Главной задачей выступлений было сплочение рабочих вокруг нашей партии, разъяснение необходимости борьбы за прекращение войны и заключение справедливого мира, за переход всех помещичьих земель в руки крестьян, за рабочий контроль над производством,

за переход власти к Советам рабочих депутатов.

Ашхен сохранила несколько моих писем, написанных в тот период. Ниже привожу одно из них:

«30.12.1917 г.

Ашхен!

Пишу письмо… Правда, пишу с большим опозданием. Наверное, тетя беспокоится. Наши домашние тоже, конечно, беспокоятся. Сегодня им тоже напишу письмо. Я очень рад (и ты, наверное, рада?), что тебе дали достаточно длительный отпуск. Мне остается только пожелать (но, может, и напрасно?) весело провести время. Ты свое время старайся использовать и для чтения. Между прочим, я записан в Пушкинской библиотеке. Мой читательский билет, кажется, у Гайка или Маник. Прочитай «Историю Французской революции» Глоса. Некоторые книги Максима Горького мне здесь дадут и я пошлю тебе. Можешь пользоваться и книгами, которые лежат в моей корзине.

О чем еще написать? Да, не думай, ради бога, что эти строки я пишу для наставления. Пишу, потому что тебе что-то другое не могу написать. Ну, а если это и наставление? Ведь у всех старых людей есть привычка и право наставлять других.

Так или иначе, верно, конечно, что я твой старик, и у меня появляется желание давать тебе наставления.

Передай привет тете Габо, Гайку и детям. Привет также Астхик и Арусяк. Им также я обещал написать письмо, но до сих пор не написал. Сейчас тем более не могу написать, поскольку в школах каникулы, а я знаю только школьный адрес Арусяк, и, к сожалению, не знаю домашнего адреса. Ничего, я сделаю так? Напишу тебе, а ты передашь им.

Я очень хорошо себя чувствую. Особенно после приезда Георгия[1]. Целыми днями я занят, а если выдается свободное время (что очень редко бывает), проводим его с Георгием. Время, в отличие от Тифлиса, здесь проходит так, что забываешь себя, свое «я» сливается в общее с товарищами, живешь жизнью общего и забываешь личную жизнь. А это великое дело, особенно или только в те времена, когда личная жизнь не является утешительной, а скорее всего пустая, неопределенная и безнадежная.

Преимущество Баку для меня, по сравнению с

Тифлисом, в том, что окружающая жизнь полностью захватывает. Днем до трех часов работаю в редакции газеты «Известия Советов рабочих и солдатских депутатов». После работы вместе с Георгием идем в кооперативную столовую обедать (должен сказать, что очень хороший, чистый и вкусный обед дают). После обеда сразу садимся на поезд, идущий в сторону рабочих поселков, которые иногда находятся на расстоянии 10–15 верст. Иногда приходится очень долго идти пешком. Например, на этой неделе два дня назад, когда падали крупные хлопья снега и было достаточно холодно, а под ногами грязь, в сопровождении одного рабочего мы прошли по нескольким заводам и организовывали там лекции и митинги.

Впечатляюще смотрятся Балаханы. Этот огромный нефтяной мир, где возвышается лес черных огромных вышек, одна к другой, и многочисленные механизмы, грохочущие и свистящие. Нефтяным маслом окрашенный, странный, оригинальный, впечатляющий лес, с рабочими, также пропитанными нефтью, и составляет этот город нефтяных вышек. Город, в котором, кроме грязных рабочих, никого не встретишь. Пройдешь верст 10 и более, а кругом одни заводы и рабочие. Нет роскошных или нарядных домов, оранжерей, садов, парков, разукрашенных дам или толстопузых господ. Иногда только фаэтон промчится рядом, везущий управляющего или инженера, и внесет диссонанс в жизнь рабочего города. Шагаем по грязи. Валит снег. То бьет по лицу, то как бы нежно целует лицо, от нашего тепла тает, и вода медленно стекает с нас на землю. Шагаем по грязи, по мягкой смеси снега и грязи. Впереди шагает карабахский богатырь, рабочий Микаэл, который с 1905 г. работает в нашей партии. Работает без устали. Своей работой, энергией воодушевляет нас. Местные рабочие передают нам, внушают нам свои чувства и надежды, дают нам смысл жизни, а мы даем их чувствам содержание.

После того как мы прошли 4 версты, наконец дошли до нужной нам нефтяной вышки, ориентир которой нам был дан «Мирзоев 9-я группа». Рабочие сидят вокруг огромной нефтяной печи. Мы подходим, садимся с ними и греемся. Как хорошо после холода и снега посидеть у горячей печи, расслабиться от тепла и впасть в мир собственных романтических грез и размышлений.

Постепенно подходят другие рабочие: измученные, в грязной и истрепанной одежде… Тут я начинаю выступать. Вначале я не знаю, что буду говорить, и даже о чем. Но после того, как начинаю «Товарищи рабочие!», слова текут друг за другом сами. Говорю, говорю, выражая как бы за них их боль и протест, зародившиеся в их сердцах. Кажется тебе, что ничего еще и не сказал, что многое еще надо сказать, выразить наши общие чувства, идущие от души, высыпать огонь, который горит внутри тебя, чтобы зажечь этим огнем слушателей. Вдруг твой товарищ шепчет на ухо «заканчивай» и показывает на часы.

Рабочие окружают нас, задают вопросы, просят приходить еще. Угощают нас чаем и куском хлеба, не пожалев поделиться своим фунтом хлеба.

Довольные тем, что мы вдвоем, что делаем дело, которое дает нам ощущение радости жизни счастливых людей, снова направляемся в путь – на другой завод в трех верстах отсюда. Темнеет. Опять шагаем по грязи и лужам, уже ничего не видя из-за сумерек и крупного снега. Доходим до «5-й группы Мирзоева»…

Наконец возвращаемся на вокзал, садимся в вагон, в нем кроме нас – никого. Выбираем купе потемнее. От усталости растягиваемся на сиденьях. Радостное и приподнятое настроение сменяется размышлениями – у каждого о своем. Мои мысли уносят меня далеко. Настроение становится неопределенным, иногда даже с мрачными нотками, иногда с нежными, но безнадежными мыслями.

Но, конечно, я пишу глупости. Когда на Кавказе яркие и светлые надежды покрываются черными тучами, как будто нагнетающие картину ада, то надо в это время думать, как прекратить сползание в ад – и больше ни о чем.

В Баку, как и в целом на Кавказе, сейчас очень тревожное положение. Баку это узел, где соединяются и борются друг с другом и ищут решения все национальные и классовые противоречия…

Обо всем этом я еще напишу тебе через несколько дней. Только скажи тете, что ничего опасного для меня нет и я чувствую себя хорошо.

Сегодня, вот прямо сейчас, я иду выступать с лекцией. Времени поэтому больше нет.

А. Микоян».

Но по-прежнему денег у меня хватало еле-еле только на еду. О квартире нечего было и думать. Поздно вечером, когда работа в комитете кончалась, я расстилал на столе газеты, сооружал себе из кипы разных бумаг подобие подушки и ложился спать. Одеяло было не нужно: стояла жаркая погода, к тому же и спал я не раздеваясь. Было условлено, что вставать я должен рано, часов в шесть, приводить в порядок помещение, потому что утром в комитет по дороге на работу приходили рабочие-активисты, чтобы забрать по нескольку экземпляров газеты «Бакинский рабочий» – для распространения среди рабочих на промыслах. Я никогда не высыпался. И тем не менее с каким-то особым теплом всегда вспоминаю это время.

Как-то в мае 1917 г. меня пригласил к себе домой Шаумян. Жил он тогда на окраине города, в домике, который стоял на самом склоне горы. Тут я впервые увидел жену и детей Степана: у него было трое сыновей и одна дочь.

Шаумян и его семья очень тепло, по-дружески встретили меня. Он как-то сразу проявил ко мне доверие и расположение. Помню, он предложил включиться в работу редакции еженедельной газеты «Социал-демократ» на армянском языке. Степан был редактором этой газеты, но из-за большой нагрузки по основной работе не мог уделять газете должного внимания и времени. Поэтому он хотел, чтобы я, хорошо знавший армянский язык, помог ему в редактировании газеты. Так я начал работать в газете и впоследствии стал даже ее фактическим редактором, не прекращая, однако, вести и организационно-пропагандистскую работу.

В ту пору душой солдат, властителем их дум был военный комендант Баку прапорщик Авакян, смелый, самоотверженный человек. Помню, в июньские дни, когда спадала жара, на площади Свободы начинались бесконечные митинги. Солдаты соорудили на площади специальный деревянный помост, на нем трибуну, с которой Авакян и выступал иногда по два-три раза за вечер. Внешний вид у него был необычен: черный плащ, на голове какой-то странный убор – ни офицерский, ни солдатский. Он был высокого роста и очень худой. Мне он казался похожим на Мефистофеля.

И вот на одном из солдатских митингов я выступил и рассказал о позиции большевистской партии. Мои слова были выслушаны с напряженным вниманием. Потом раздались разные выкрики: одобрения и недовольства. К трибуне стала приближаться группа воинственно настроенных солдат. Поднялся

шум. Но я уже закончил выступление, сошел с трибуны и, не задерживаясь, скрылся. Товарищ, который был вместе со мной, потом говорил, что я хорошо сделал, уйдя вовремя, так как со мной хотели расправиться.

В то время мы еще организационно не размежевались с меньшевиками: у нас была единая организация. Однако в самом составе Бакинского комитета партии большевики и численностью (из девяти членов комитета семь были большевиками), и влиянием были сильнее меньшевиков.

После первых же апрельских выступлений Ленина, вернувшегося в Россию из эмиграции, стало ясно, что задача перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую настоятельно требовала разрыва с меньшевиками. Но у нас это дело затянулось.

Помню, в начале мая из Петрограда приехали Миха Цхакая и Филипп Махарадзе. Они участвовали в VII (Апрельской) Всероссийской партийной конференции большевиков, проходившей под руководством Ленина.

Встреча с ними состоялась на квартире члена Бакинского комитета Виктора Нанейшвили. Миха Цхакая подробно рассказал, как был организован выезд из Швейцарии Ленина и группы большевиков, в которую входил и сам Миха Цхакая. Шаумян сообщил, что в ближайшее время большевики собираются отколоться от меньшевиков. Вскоре на объединенном заседании Бакинского комитета было принято решение о созыве Общебакинской партийной конференции.

На конференцию прибыла делегация от меньшевиков в составе Исидора Рамишвили и Богатурова. Исидор Рамишвили со своей белой бородой был похож на пророка. И говорил он, как пророк: «Товарищи, не уходите от нас, давайте оставаться вместе, в одних рядах марксистов. Если вы уйдете, то еще больше полевеете… а меньшевики еще больше поправеют… Если мы сегодня разойдемся, то никогда больше не сойдемся. Призываю вас, товарищи, восстановить единство наших рядов!» Речь Рамишвили, хотя он произнес ее очень вдохновенно и красиво, не была, однако, поддержана никем. Раскол был окончательно завершен.

К концу июля 1917 г. здоровье мое резко ухудшилось. Сказались перегрузка работой, постоянное недоедание и недосыпание. Как-то по приглашению Шаумяна я вновь зашел к нему на квартиру. Он подробно расспросил меня о работе, о моих впечатлениях, поинтересовался, почему я так плохо выгляжу. Выяснив, в каких условиях я живу и как приходится работать, он предложил мне немедленно уехать в деревню к родным,

набраться сил, поправиться и только после этого вернуться вновь к работе. По совету Шаумяна я и его сын Лева выехали к родным, в свои деревни, расположенные неподалеку в районе Лори, чтобы отдохнуть и окрепнуть.

Когда наш поезд въехал в узкое Лорийское ущелье реки Дебет, мы все время восхищались красотой дикой природы, гигантскими скалами, протянувшимися по обеим сторонам ущелья. На этих скалах каким-то чудом росли не только маленькие, но и большие деревья. Река Дебет – небольшая, но очень быстрая, на крутых порогах сплошь покрыта пеной. Воздух становился все свежее. Мне казалось, что в мире не может быть более красивого места. Я доехал до станции Алаверды, а Лева поехал дальше.

Мать, встретив меня, как всегда, с распростертыми объятиями, не знала, что ей делать от радости. Отец, конечно, радовался не меньше, но внешне был сдержан. Особенно были счастливы мои младшие сестра и брат. Младшему брату Анушавану вот-вот должно было исполниться 12 лет. Он вытянулся, был худой, щуплый, как и я в свое время, учился в школе.

Первое время я действительно набирался сил. Наслаждался чистым горным воздухом, теплыми, солнечными днями. Много спал, неплохо питался. Немного читал. Когда начал поправляться, стал все чаще беседовать с односельчанами. Они изменились. Раньше мысли о политике и не приходили им в голову. Теперь все их интересовало: что где происходит, что будет дальше? Я, конечно, связался с партийной организацией нашего завода, выступал на общих рабочих митингах с сообщениями о политической обстановке в стране.

После первых же моих выступлений вся деревня узнала, что я большевик. Узнала об этом и моя мать. Как-то она подсела ко мне и начала примерно такой разговор: «Ты такой у меня ученый, умный, а кругом говорят, что ты большевик. Есть же, как я слыхала, много хороших партий: дашнаки там, эсеры, меньшевики. Самые почтенные и уважаемые люди нашей деревни стали на сторону этих партий. А ты вступил, говорят, в самую плохую партию, стал большевиком. Ведь ты умный человек, брось большевиков, перейди в другую партию!»

Говорила она так просяще, что я стал обдумывать, как бы мне получше ответить, не обидев ее. «Майрик (мамочка), – сказал я, – ты можешь отказаться от христианской религии и стать мусульманкой?» Мать сразу встрепенулась, перекрестилась и взволнованно сказала: «Что ты, сынок, что ты говоришь, разве это можно! Скорее я умру, но никогда этого не сделаю». Тогда я ей

сказал: «Я тебя понимаю. Пойми и ты меня. Большевики – это моя вера, такая же, как для тебя христианство. Я не могу от них отказаться». Это на нее повлияло, и она никогда больше к этому вопросу не возвращалась.

С 1923 г. она жила со мной в Ростове, а потом в Москве, в Кремле, очень довольная тем, что ее сын пользуется в стране большим уважением. В Москве в церковь она не ходила, разговоров о религии в семье вообще не велось. Я уж думал, что она вообще перестала верить в Бога.

Когда в январе 1959 г. я возвращался из поездки в США на самолете Скандинавской авиакомпании, над океаном отказали два мотора из четырех. Самолет едва не оказался в холодных водах Атлантики. Сведения об этом как-то дошли до моей матери. Вернувшись домой, я спросил у нее: «Ну, как ты живешь, майрик?» Как обычно, она ответила: «Хорошо. Я вот только очень беспокоилась о тебе и все время молилась Богу, чтобы ты живым вернулся из этой страны!»

Я удивленно посмотрел на нее и спросил: «Майрик, а разве ты еще веришь в Бога?» – «А как же без Бога?» – просто ответила она.

Отец мой в свои шестьдесят лет к революционным разговорам относился скептически. Как-то совершенно неожиданно он без подковырки сказал мне: «Знаешь, на заводе появились какие-то там социал-моциалы. Про тебя говорят, что и ты такой же. Одумайся! Ведь вы еще мальчишки, а хотите свергать таких почтенных, сильных хозяев. Ничего у вас из этого не получится!» Я ответил, что он глубоко ошибается, что хозяева – не такие уж почтенные люди, как ему кажется, все они живут за счет пота рабочих. А мы скоро станем гораздо сильнее их.

Отец умер в 1918 г. от воспаления легких в возрасте 62 лет.

В конце августа 1917 г., окрепший, полный сил и энергии, я приехал в Тифлис. К тому времени некоторые из моих школьных товарищей решили поступить в высшие учебные заведения. Они стали уговаривать и меня последовать их примеру, утверждая, что скоро пролетарская революция окончательно победит и для строительства социализма потребуются высокообразованные люди. Однако я отказался от идеи поступления в вуз, решив продолжать свое образование в «Университете Революции». И никогда потом об этом решении не жалел.

Товарищи по марксистским кружкам предложили мне взяться за создание большевистского Союза молодежи на Кавказе, куда могла войти молодежь любой национальности. Учредительное собрание Союза молодежи состоялось в клубе на Авлабаре.

Собрание прошло на большом подъеме. После обсуждения Устав и Манифест, предложенные инициативной группой, были одобрены. Мы избрали временный комитет союза «Спартак». Название «Спартак» было заимствовано у революционного союза, созданного в Германии Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Слова в названии «социалисты-интернационалисты», а не «социал-демократы большевики» были тоже не случайны: такое название могло облегчить приток в союз тех левых элементов, которые еще не самоопределились как большевики, но склонялись к нашей тактике в революции. Грузинские же меньшевики приступили к организации общенационального Союза грузинской молодежи. То же самое сделали армянские националисты во главе с дашнаками.

Поселился я, как и в школьные годы, на квартире Лазаря и Вергинии Туманян, и с радостью встретился с Ашхен.

Работа в Тифлисском комитете партии все разрасталась, а ни одного освобожденного руководящего работника в комитете не было. С мест ежедневно приезжали представители низовых партийных организаций, но днем застать никого в комитете не могли. В связи с таким ненормальным положением Тифлисский комитет партии принял в середине сентября 1917 г. решение, по которому я стал секретарем Тифлисского комитета партии и сразу же с головой окунулся в свои обязанности, связанные главным образом с решением многочисленных оперативных организационных вопросов. После Кавказского партийного съезда был избран новый состав бюро Тифлисского комитета партии, и я вновь был избран его секретарем.

Руководство работой Тифлисского комитета осуществляло бюро комитета. Председательствовал обычно Филипп Махарадзе. Наше основное внимание было обращено на подготовку Общекавказского съезда партии. Открытие его состоялось 2 октября 1917 г. Я участвовал в работе съезда (он работал нелегально) как делегат от партийных организаций районов Алаверды, Манеса и Ахпата, где был избран местными большевиками.

Съезд уделил большое внимание докладам делегатов с мест. Так, Кавтарадзе выступил как делегат от Тифлиса. От Баку выступил Георгий Стуруа. Я выступал с докладом о положении в Алаверды, Манесе и Ахпате. Сообщение о положении во фронтовых частях сделал Корганов. С обстоятельным докладом на съезде выступил Дануш Шавердян. По национальному вопросу на съезде выступал Торошелидзе.

Шаумян прибыл на наш съезд с небольшим опозданием, но активно включился в работу. Он выступил по докладу Шавердяна,

дав правильное направление его обсуждению. Шаумян подчеркнул, что «в нашей агитации мы должны указывать на то, что если до созыва Учредительного собрания не произойдет новая революция, то она может произойти после его созыва, если оно окажется не в силах разрешить задачи, поставленные революцией».

Шаумян выступил с критикой путаных и устаревших положений, содержащихся в выступлении Торошелидзе по вопросу о самоопределении наций. Предложив создать в Закавказье три территориальные национальные автономные области, он высказался за федеративный характер связи этих автономных областей с Россией.

К сожалению, большинство делегатов, догматически придерживаясь устаревших положений программы, не поддержали Шаумяна. Я тоже не понял и не поддержал его, хотя считал себя человеком, понимающим национальную политику нашей партии. Это было нашей политической ошибкой, как выяснилось позже.

Для работы нам, конечно, нужны были деньги. Наша партийная касса тогда находилась в трудном положении. Кроме членских взносов да кое-каких незначительных поступлений от платных лекций, никаких других доходов не было. В связи с такой бедностью партийной кассы вспоминается эпизод, связанный с Михой Цхакая. После возвращения из Швейцарии Цхакая приехал в Тифлис и устроился жить в доме для престарелых: там содержали бесплатно. Когда был поднят вопрос о назначении Цхакая хотя бы небольшого денежного пособия, скромный и невероятно щепетильный в денежных делах Цхакая категорически заявил, что «материально устроен вполне удовлетворительно». Так он и остался жить в доме для престарелых, пока в середине 1919 г. пришедшие к власти меньшевики не арестовали и не посадили его в Кутаисскую тюрьму – тоже на «бесплатное содержание».

В то время оборонческие настроения в солдатских массах стали ослабевать. Особенно после провозглашенного Керенским наступления, сразу же потерпевшего позорное поражение. Временное правительство ввело на фронтах смертную казнь, что не могло не вызвать всеобщего возмущения.

В сентябре – октябре почти на всех солдатских митингах нам, большевикам, удавалось одерживать верх в спорах с меньшевиками и правыми эсерами по вопросам войны и мира. К октябрю 1917 г. большинство солдат не только Тифлисского гарнизона, но и частей и гарнизонов всего Кавказского фронта

встали на сторону большевиков. За эсерами оставались юнкерские и офицерские школы, служащие военного аппарата фронта, отдельные воинские подразделения и почти все офицерство.

Солдатская масса была готова с оружием в руках добиваться установления советской власти на Кавказе. Что же касается местного населения, то здесь соотношение сил было далеко не в нашу пользу. Положение осложнилось тем, что через два дня после выстрела «Авроры» Кавказский краевой комитет партии в Тифлисе своим большинством без участия Шаумяна принял специальное обращение, в котором ориентировал партийные организации края не на завоевание власти, а на «безболезненный и мирный переход» ее к Советам, хотя условий для этого в крае не было.

Воспользовавшись ошибочным решением крайкома партии, меньшевики перешли к активным действиям. Они пытались вытеснить из Тифлиса некоторые большевистски настроенные войска, препятствовали вступлению в город новых революционных частей, возвращающихся с фронта, создавали в противовес им национальные полки и в союзе с помещиками и капиталистами укрепили силы контрреволюции.

Объявив военное положение в Тифлисе, меньшевики напали на арсенал, который охранялся большевистски настроенными солдатами, и овладели им. Захваченное оружие они использовали для вооружения своих воинских частей.

Прибыв в эти критические дни в Тифлис, Шаумян начал сразу же активно выступать за революционную тактику. Разногласия, возникшие в крайкоме партии, вынудили Шаумяна 23 ноября телеграфировать Ленину. Но телеграммы были перехвачены меньшевиками и до Ленина не дошли. Тогда Шаумян направил Камо с письмом к Ленину, а сам уехал в Баку. Спустя месяц Камо привез в Тифлис мандат о назначении Шаумяна чрезвычайным комиссаром Кавказа.

В конце ноября 1917 г., когда Шаумян собирался уехать в Баку, он посоветовал мне вернуться туда же, где советская власть победила и где предстояла большая работа по ее укреплению. Я последовал его совету. Ашхен была, правда, недовольна моим отъездом.

Влияние большевиков среди бакинского пролетариата очень сильно возросло после всеобщей забастовки рабочих нефтепромыслов, удачно проведенной в сентябре 1917 г. под руководством Алеши Джапаридзе и Вани Фиолетова.

15 октября 1917 г. состоялось расширенное заседание Бакинского Совета совместно с представителями

промысловозаводских комиссий, полковых, судовых и ротных комитетов. Большинство участников заседания было уже на стороне большевиков и поддерживавших их левых эсеров. Шаумян предложил собранию объявить себя временным расширенным Бакинским Советом рабочих и солдатских депутатов.

26 октября 1917 г. в Баку пришло известие, что революционные силы Петрограда свергли Временное правительство и провозгласили в России власть Советов. Большевики встретили это известие общим ликованием. На заседании Бакинского Совета было принято постановление о том, что «высшей властью в городе Баку является Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов». Так, без вооруженной борьбы в Баку был провозглашен переход власти в руки Бакинского Совета рабочих и солдатских депутатов.

После Октября главное внимание уделялось укреплению вооруженной опоры Совета. При Бакинском комитете была создана боевая партийная дружина, в промысловых районах организовывались отряды красногвардейцев. В Каспийской военной флотилии большинство матросов поддерживало советскую власть.

Дело в том, что в связи с объявлением демобилизации и изданием Декрета о передаче земли крестьянам солдаты бакинского гарнизона, в большинстве своем состоявшие из крестьян Центральной России, стали уезжать на родину. Остатки старой армии, поддерживавшие советскую власть, таяли изо дня в день и наконец совершенно распались. Встала задача создания новой революционной армии.

Работа по организации армии широко развернулась примерно в конце февраля – начале марта 1918 г. Ее возглавил старый большевик Григорий Корганов, пользовавшийся огромным авторитетом среди солдат Кавказского фронта. Его заместителем стал Борис Шеболдаев, тоже большевик с дореволюционным стажем. Были созданы интернациональные батальоны, полки, вспомогательные войсковые части, сформировано три бронепоезда. К июню 1918 г. в районе Баку удалось собрать 13 тыс. красноармейцев, сформировать их в батальоны, объединить в четыре бригады и в основном закончить формирование штаба корпуса.

Для подготовки командных армейских кадров в Баку была создана инструкторская школа во главе с очень способным военным организатором, членом Военно-революционного комитета Солнцевым, прибывшим с турецкого фронта.

Войсковые части Красной армии по своему составу до мая

1918 г. были интернациональными. Но в Баку существовали тогда и национальные советы – армянский и азербайджанский. Из демобилизованных солдат и офицеров эти советы создали и свои собственные национальные воинские части. Азербайджанские национальные вооруженные силы были объединены в так называемую «Дикую дивизию». Опираясь на нее, азербайджанские буржуазно-помещичьи круги подняли в марте 1918 г. восстание против Бакинского Совета рабочих депутатов. Однако в ходе трехдневных уличных боев это восстание было подавлено.

В то же самое время реакционные банды имама Гоцинского из Дагестана пошли походом на Хачмас и придвинулись вплотную к Баку. В их составе был полк «Дикой дивизии», прошедший школу мировой войны. В день, когда восстание в Баку было подавлено, они находились еще в 15 км от города и соединиться с восставшими не успели. Части Красной армии численностью около 2 тыс. человек отбросили их далеко от Баку, освободили районы Азербайджана, захваченные Гоцинским, а также дагестанские города Дербент и Петровск (ныне Махачкала). В результате этой победы было открыто сухопутное сообщение между Северным Кавказом и Баку, столь необходимое для доставки хлеба населению.

В уличных мартовских боях я был ранен и находился в военном госпитале. Шаумяну стало известно, что скоро я выхожу из госпиталя, но у меня по-прежнему нет квартиры. Он буквально потребовал, чтобы я поселился в его новой квартире, и я долгое время жил у Шаумяна фактически как член его семьи. Это дало мне возможность часто общаться с Шаумяном и с людьми, которые приходили к нему. В результате я оказался в курсе многих партийных и государственных дел, что, несомненно, способствовало моему политическому росту.

Среди писем, которые Ашхен удалось сохранить, есть два письма, которые здесь уместно привести.

> *«.3.1918*
> *Баку*
> Ашхен!
>
> Почему не пишешь, чтобы хотя бы письмами утешить меня. Или ты пишешь, но из-за отсутствия почтовой связи я не получаю. Ты знаешь, после приезда в Баку я получил всего 4 письма: одно от священника, одно из нашего дома, одно от Гранта и одно от тебя. Там ты писала, что скучаешь, что жалеешь о закрытии школ, что хотела бы работать. Если это так, почему не напишешь хотя бы одно письмо?

Я здесь не имею родственников, ни к кому не хожу. Имею несколько товарищей, с которыми работаем да работаем.

Ты знаешь как было бы здорово, если бы я получил вдруг от тебя письмо.

Если писание писем тебе не доставляет удовольствия, в чем я уже убежден, то пиши хотя бы для того, чтобы я получал от тебя информацию. Если ты все еще без работы и письма писать не удается, хотя бы напиши, о чем ты думаешь. Лениться не хорошо.

Передай привет всем, особенно Гайку (я понял, что его не взяли в армию), также Айказу, Маник. Как живет дядя Габо[2]? Он много работает. Как двигается его дело?

Привет также Астхик. Пусть не сердятся, что я им писем не пишу. Они больше виноваты, ведь они намного младше меня. Очень благодарен, что ты взяла мои туфли у сапожника, я-то думал, что они уже пропали.

О положении в Баку вам, наверное, не так интересно знать. Напишу в другом письме. Сейчас должен заканчивать письмо, потому что спешу.

Остаюсь твой А. Микоян.

«Ашхен!

Ты видишь, как во мне сильно чувство предвидения. 10–15 марта я написал тебе письмо, в котором говорил, что скоро начнется война с контрреволюционерами. Действительно, не прошло 5–6 дней после написания того письма, как в Баку тюркские (азербайджанские. – Ред.) беки восстали против советской власти. Еще за неделю до этого восстания я прекратил свою агитационную работу, перестал посещать рабочие собрания и целиком переключился на дела вооружения и создания боевых отрядов. Надо было организовать несколько отрядов, верных партии, которые смогли бы активно противостоять восставшим. Боевые действия начались вечером 19 марта (в субботу). В воскресенье они продолжались. С вечера субботы бои шли на берегу моря. «Дикая дивизия» со стороны моря стреляла в наших бойцов. Мы тоже вышли на морское побережье. С моим маленьким отрядом большевиков я тоже принимал участие в боях. В этот раз потерь с нашей стороны не было. Бой продолжался недолго. Но в воскресенье вечером бои возобновились, на этот раз в городе и фактически по всему городу. Были вырыты окопы. В этот

вечер наш отряд находился в резерве. Я вместе с несколькими товарищами предприняли разведку, которая требовала смелости. Мы провели ее удачно.

На следующий день, в понедельник, уже с 5 часов утра по нашему приказу было начато наступление. Военные действия носили классовый характер, поскольку во главе с нашей стороны был Военно-революционный комитет. Однако неграмотная масса обывателей старалась придать всем этим событиям национальный характер. Между прочим, хочу уточнить, что до воскресного дня партия Дашнакцутюн и Армянский национальный комитет объявили о своем нейтралитете. Но многие их солдаты не остались нейтральными, а активно участвовали в боях.

Ты помнишь, я тебе писал, что все мои чувства были против военных действий прежде всего потому, что в здешних условиях гражданская война может приобрести национальный характер. В этом смысле до понедельника все шло нормально, особенно после того заявления Дашнакцутюна. Военные действия однозначно носили гражданский характер. Поэтому мы с энтузиазмом продолжали сражаться в понедельник. Мне дали отряд из 12 человек, и мы, с нашим партийным знаменем впереди, сумели выбить противника из окопов. Наш отряд бесстрашно продвигался вперед, хотя нас было всего несколько человек. В одной руке держали шапку, в другой винтовку, кричали «вперед!». Руководил бойцами я. Не хочу давать описания наших боев, потому что это будет звучать как хвастовство. Но товарищами своими я очень доволен. Пули угрожающе свистели вокруг нас. Мы брали одну позицию за другой. В моем отряде были жертвы. Например, когда мы, 4 человека, захватили ворота крепости, которые обстреливались с двух сторон. До вражеских позиций было 30–40 шагов. Мы просто целились в головы и стреляли, как и наши противники. В результате до подхода подкрепления нам из нас 4-х двое были убиты выстрелами в лоб. Я был легко ранен в ногу, и еще какая-то шальная пуля попала мне в бок. Появилась кровь, но я еще час после этого участвовал в бою, поскольку санитарки не могли подойти так близко, было слишком опасно. В конце концов я очень легко отделался. Со мной был также Петров, который очень хорошо сражался. С ним ничего не случилось. Мы наступали по всему фронту. Тюрки все время отступали

и предлагали перемирие. В понедельник вечером мы согласились на перемирие. Наши условия, скорее наш ультиматум, тюрки полностью…»

(Продолжение письма не сохранилось.)

В апреле 1918 г. Бакинский Совет рабочих и солдатских депутатов образовал Бакинский Совет народных комиссаров, куда вошли только большевики и несколько левых эсеров.

Председателем Совнаркома был утвержден Шаумян, народными комиссарами Джапаридзе, Нариманов, Фиолетов, Колесникова, Везиров, Зевин, Каринян и другие. На бакинского губернского комиссара Азизбекова была возложена труднейшая задача привлечения на сторону советской власти основной массы азербайджанского крестьянства, находившегося в значительной степени под влиянием беков, ханов, мусаватистов и реакционного духовенства. Провозглашенный Лениным Декрет о передаче земли крестьянам взбудоражил и азербайджанские крестьянские массы.

В апреле 1918 г. Бакинский Совет народных комиссаров издал свой Декрет о передаче всех помещичьих земель крестьянам.

Вопрос о национализации банков встал в Бакинском Совнаркоме недели через три после мартовского восстания. Национализацию Русского банка для внешней торговли пришлось осуществлять мне, по мандату Совнаркома. В составе отряда, участвовавшего в этой операции, был второй сын Шаумяна – Лев, в то время 14-летний подросток (впоследствии – первый заместитель главного редактора Большой Советской Энциклопедии).

По совести говоря, до той поры о банках вообще у меня было весьма приблизительное представление, хотя я уже прочитал книгу известного немецкого экономиста Гильфердинга «Финансовый капитал». Сам я в банках не бывал – не было надобности.

Были национализированы и остальные банки, которых насчитывалось в городе что-то около десяти.

Встал вопрос о национализации нефтяной промышленности в Баку. Начиная с февраля 1918 г. этот вопрос был предметом неоднократных обсуждений. Некоторые руководящие работники высказывали опасение, как бы в результате национализации не сократилась добыча нефти, столь необходимой для Советской России: они считали, что инженерно-технический персонал и администрация нефтепромыслов, крепко держась за своих хозяев,

пойдут против национализации и будут проводить саботаж; у нас же тогда своих инженерно-технических кадров почти не было.

От количества нефти, отправляемой тогда из Баку, во многом зависела участь советской власти в России. Шаумян несколько раз советовался с Лениным по этому вопросу. Ленин поддерживал Шаумяна в решении о немедленной национализации. Было принято соответствующее решение Совета народных комиссаров. Однако представители нефтяных фирм, сидя в Москве, вели соответствующую работу, в том числе и среди специалистов ВСНХ. Оттуда была даже получена телеграмма о временной задержке национализации, а телеграмма из Главнефти фактически отменяла ее.

В мае 1918 г. Бакинская партийная конференция приняла решение немедленно национализировать нефтяную промышленность, хотя Декрет о национализации еще не был получен из Москвы. Совет народных комиссаров принял соответствующее постановление. Был образован Бакинский Совет Народного Хозяйства, в подчинение которому и передали всю нефтяную промышленность. Одновременно Совнарком провел национализацию Каспийского торгового флота, занимавшегося перевозкой нефти в Астрахань.

Во главе Бакинского Совнархоза был поставлен Ваня Фиолетов – большевик, много лет являвшийся одним из руководителей профсоюза рабочих нефтяной промышленности. К слову сказать, Фиолетов был одним из тех, кто выступал вначале тоже против национализации нефтяной промышленности. Однако, когда вопрос был решен окончательно, он всей душой отдался этому делу. Все опасения насчет того, что национализация приведет к упадку добычи и вывоза нефти, не оправдались. Наоборот, добыча не сократилась, а вывоз нефти – что было в то время особо важно – резко увеличился.

Вскоре после того, как националистические партии оторвали Закавказье от Советской России, положение осложнилось. Этому способствовало и то, что Турция, нарушив свои обязательства по Брестскому мирному договору, двинула свои войска в Закавказье. Красная армия отступила к Баку, и правые партии выдвинули вопрос о приглашении англичан.

Летом 1918 г. над Бакинской коммуной нависла серьезная военная угроза. Немецко-турецкое командование начало поход в Закавказье, чтобы захватить Баку – кладовую нефти.

Следует напомнить, что в ту пору в Закавказье советская власть существовала лишь в Баку, его пригородах и в нескольких уездах Бакинской губернии. В остальном Закавказье

господствовала власть контрреволюционного Закавказского комиссариата, возглавляемого грузинскими меньшевиками, азербайджанскими мусаватистами и армянскими дашнаками. В феврале 1918 г. они созвали Закавказский сейм, который состоял из меньшевиков, мусаватистов, дашнаков, эсеров и кадетов. Сейм создал свое правительство во главе с меньшевиком Чхеидзе и объявил независимой Закавказскую республику, тем самым юридически оформив ее отделение от Российской Советской Республики.

Вскоре Закавказский сейм открыто вступил в переговоры с Германией и Турцией. Было объявлено об образовании Грузинской республики во главе с лидером грузинских меньшевиков Жордания. Правительство Грузии дало разрешение на проход немецких войск через территорию республики в Баку. Вскоре азербайджанские и армянские помещики и капиталисты также объявили об образовании своих государств.

Большевики Закавказья развернули широкую кампанию против сейма.

Следует отметить, что раньше не только социалистические, но и все буржуазные закавказские партии не требовали в своих программах выхода из России, за исключением небольшой реакционной пантюркистской группы в Азербайджане и Дагестане, которая упорно добивалась присоединения к Турции. Грузинская партия федералистов и армянская партия дашнаков требовали федеративного положения в составе России. Меньшевики вместе с большевиками до Октябрьской революции высказывались за единство республиканской России с областным самоуправлением. Это предусматривалось и в программе РСДРП.

Теперь положение изменилось. Правящие круги Турции добивались включения Азербайджана в состав своего государства. Выступившим турецким войскам всячески помогали азербайджанские помещики, правительство которых находилось в Елизаветполе и держало в своем подчинении те районы Азербайджана, где не было советской власти.

Когда в начале июня 1918 г. было принято решение о наступлении Красной армии, мне разрешили уехать на фронт. Я был назначен комиссаром 3-й бригады, которой командовал известный дашнак Амазасп.

Положение мое было не из легких. Мне, почти не имевшему военного опыта, предстояло знакомиться с командными кадрами и солдатами в ходе самого наступления. Нужно было завоевать доверие своих подчиненных. Кроме того, я должен был участвовать как в принятии решений о проведении военных операций, так и в их непосредственном осуществлении.

В течение первого месяца мы продвинулись довольно далеко вперед. Успешно наступая, мы вскоре подошли к уездному центру Геокчай. В это время турки ввели в бой свежие части и ударили во фланги наших войск. Чтобы не допустить окружения своих передовых частей, мы должны были вывести их из города. Началось отступление с боями.

Участие в этих боях стало для меня хорошей военной школой. В частях меня узнали и, судя по всему, признали. Пожалуй, больше всего солдатам пришлось по душе то, что, в отличие от командира бригады Амазаспа, я долго не засиживался в штабе, а большую часть времени проводил в окопах среди солдат – то в одном, то в другом батальоне.

С начала отступления я шел с арьергардом, в последних рядах отступающих войск, чтобы не допустить среди солдат паники. Отступая, мы перешли через перевал и закрепились на другой его стороне. Вершина была в руках турок. Позиция их была более выгодной. К тому же у нас не было резервов. Командир бригады Амазасп и командующий отрядом бывший полковник царской армии Казаров все время повторяли, что турки при поддержке кавалерии могут ударить по нашему левому флангу, отрезать нас от тыла и разгромить. Мы ждали подкрепления. Отряд Петрова, прибывший из России, ожидался через день-два в Шемахе.

Заняла позицию на фронте и дружина из нескольких сот молокан – русских крестьян Шемахинского уезда. Это была подмога.

Вдруг, когда мы находились в штабной палатке, командир бригады стал жаловаться, что у него сильно заболел живот и он не в силах больше оставаться здесь. По наивности я поверил. Он взял коня, телохранителей и уехал. Только позже я догадался, что болезнь Амазаспа была выдумкой.

На следующий день утром турки усилили огонь. Командующий отрядом Казаров убеждал, что единственный выход – отступить до Шемахи, а затем до Маразы; но это нужно сделать только ночью.

Вдруг, еще до обеда, он заявил мне, что тоже плохо себя чувствует и должен уехать в госпиталь в Шемаху. Это меня возмутило: вчера заболел командир бригады, а сегодня – командующий отрядом! Старшим оказался я – комиссар, почти не имеющий военного опыта, да еще в роли командира. Но делать было нечего. Я понимал, что в создавшихся условиях моя главная задача состоит в том, чтобы выстоять до темноты, а ночью организованно отойти к холмам перед Шемахой.

В это время поступило сообщение, что турецкие войска

начали подозрительные передвижения на левом фланге. Конная сотня Сафарова стояла в резерве. Мы с ним договорились: он выведет свою сотню из оврага, чтобы дезориентировать противника, и инсценирует передвижение. Ему это успешно удалось: он двинул сотню по склону горы, как бы в обход турецких позиций.

Я направился к батальону, занимавшему нашу центральную позицию. Он имел две цепи окопов. Побеседовав с солдатами, я не заметил у них особой тревоги.

Мы находились во второй линии окопов; бой шел на первой линии, до которой было около трехсот метров. Путь к ней шел через овраг. Часть этого пути простреливалась противником, а сам овраг был в относительной безопасности. Стал спускаться в овраг. Только сделал несколько десятков шагов, как с разных сторон засвистели пули. Я упал на землю, как бы убитый. Свист пуль некоторое время продолжался. Инстинктивно я стал потихоньку придвигать к себе близлежащие камни, чтобы спрятать за ними голову, не то можно было погибнуть даже и от шальной пули. Потом воспользовался затишьем, вскочил и быстро побежал вперед. Пули засвистели снова. Я опять упал. В это время я подумал, что вообще, выскочив в овраг, я сделал глупость, проявил горячность: ведь меня могли легко убить или ранить. И все это в такой момент, когда нет ни командира бригады, ни командующего отрядом.

Турки, видимо, решили, что я убит, и перестали стрелять. До безопасной зоны оставалось не более двух десятков шагов. Я вновь рванулся вперед и ввалился в овраг. Чувство какого-то облегчения овладело мной. Я стал спокойно подниматься по склону горы к передовым окопам. Находившиеся там солдаты оборачивались, удивлялись, откуда я взялся. Выяснилось, что настроение у солдат хорошее, патроны и хлеб есть, жалоб особых нет. Солдаты расспрашивали меня об общем положении на фронте.

Командиры рот мне очень понравились, им можно было верить. Мое появление у них, судя по всему, тоже произвело хорошее впечатление. Но они по-товарищески журили меня за то, что я подверг себя такой опасности и к тому же неправильно выбрал путь. Оказывается, надо было идти через овраг чуть дальше: там простреливалось значительно меньшее расстояние. Один из красноармейцев, который хорошо знал именно этот, менее опасный путь, проводил меня. Отпуская меня, командир роты предупредил, что, когда я достигну опасной зоны, они откроют сильный ружейный огонь и тем отвлекут от меня внимание турок. Так все и произошло. Я благополучно вернулся

назад.

С наступлением темноты наши части стали сниматься и организованно отходить в сторону города Шемахи. Турки не заметили отступления и не преследовали нас. Наши части расположились на холмах перед городом.

В Шемахе я застал командующего отрядом Казарова. По его виду никак нельзя было сказать, что он серьезно болел. Я не знал еще тогда, что он уже давно за моей спиной договорился с Амазаспом о сдаче фронта. Но тогда подозревать их в предательстве у меня не было оснований.

На следующее утро я проверил, как идет эвакуация раненых. Проследил, чтобы их всех удалось вывезти.

В середине дня вдруг подбегает ко мне командир одной роты и докладывает, что его солдаты без разрешения снялись с позиции и уходят по соседней улице в сторону Баку. Мы с ним побежали на ту улицу. Увидя толпу солдат, действительно идущих в направлении Баку, я выхватил револьвер и закричал: «Стой, стрелять буду!» Уверенности в благополучном исходе своего поступка у меня не было. Я понимал: их много, они вооружены, а нас двое, я к тому же угрожаю револьвером; что им стоит убить нас? Однако я еще раз крикнул. Солдаты остановились и по моему приказу вернулись обратно.

Как раз в этот момент в Шемаху прибыла часть отряда Петрова. В моем распоряжении оказалась надежная группа матросов, к тому же на грузовике и с пулеметом.

Когда стемнело, мы подняли пехоту, оставив конницу в арьергарде, на подступах к Шемахе. Тут я впервые стал серьезно думать о странной позиции командующего отрядом и заболевшего командира бригады. У меня мелькнула мысль: а нет ли у них какого сговора, уж очень дружно они «заболели» и как-то подозрительно схожи были их рассуждения.

Совершенно промокший, уставший, в эту ночь я впервые в жизни спал, сидя верхом на коне. Засыпая, я вдруг чувствовал, что падаю, сразу просыпался. И так много раз.

В Маразах я остановился отдельно от командующего отрядом, в крестьянской избе. Поскольку из Баку мне обещали, что скоро приедет Шеболдаев, я спокойно лег спать.

Встаю на другой день и вижу: все войска построены. Впереди на конях командующий отрядом и неожиданно появившийся командир нашей бригады. Оказывается, уже дана команда двигаться в сторону Баку, прибыть в район водокачки, в нескольких километрах от станции Сумгаит.

Я был поражен: как это без меня, комиссара, было принято такое решение? Чем оно вызвано? Ведь турок не видно, зачем же

так поспешно отступать? С этими вопросами я обратился к Амазаспу. Он ответил: «Командую бригадой я, и сам отвечаю за свои действия» – и двинул коня вперед. Я остановился, ошеломленный всем происшедшим.

Вскоре я встретил командира конной сотни Сафарова и предложил ему вместе с его сотней остаться в моем распоряжении. Он охотно согласился. Мы направились с ним на телеграф, чтобы немедленно сообщить о происшедшем в Баку. Сафаров согласился, что столь поспешный отход отряда ничем не оправдан. Тут я вспомнил и сопоставил все поступки и рассуждения командующего отрядом и командира бригады за последние дни. Получалась цепь заранее продуманных действий. Предательство! Придя к такому выводу, я направил в Баку в адрес Шаумяна телеграмму: «Вопреки моим усилиям по приказу Амазаспа отошел обоз, а за ним постепенно двинулась пехота. Виновники должны быть преданы суду».

В то утро из Баку в мое распоряжение неожиданно поступила легковая машина. Она оказалась весьма кстати. Сразу поехал на железнодорожную станцию Сумгаит, где имелась телеграфная связь с органами управления фронта. Получив гарантию, что продовольствие в нашу часть будет обязательно доставлено, я вернулся в расположение бригады.

Подъезжая к зданию водокачки, где был размещен штаб бригады, я увидел около дороги несколько сот отдыхающих на земле красноармейцев. Машина моя была открытая, я сидел на заднем сиденье. Вдруг вижу, как один из красноармейцев лениво поднялся с земли и, опираясь на винтовку, обратился к шоферу, требуя остановить машину. Почему он обратился с этим вопросом к шоферу, а не ко мне, комиссару? Шофер не подчинился, машина продолжала двигаться. Тогда я приказал шоферу остановить машину и, выйдя из нее, строго спросил красноармейца: «В чем дело, что случилось?»

Подошли еще несколько бойцов. Первый красноармеец, смущаясь и волнуясь, спросил: «Правда ли, товарищ комиссар, что вы предали нашего командира Амазаспа военному суду?»

Этот вопрос крайне удивил меня. Откуда они могли узнать о моей телеграмме Шаумяну? Сразу мелькнула мысль: «Против меня, видимо, что-то задумано Амазаспом, так как без него солдаты ничего не могли знать о телеграмме». Я ответил не сразу, а в свою очередь задал встречный вопрос: «Вы видели турок, когда уходили из Маразов?» – «Нет, – отвечают, – не видели». – «Зачем же тогда вы так поспешно отступали? Ведь у вас не было ни хлеба, ни воды. Почему же, – продолжаю я, – не дожидаясь доставки продовольствия и воды, вы были переведены

на новые позиции? Если военные обстоятельства требовали отхода, то и тогда надо было подождать продовольствия. Турки находились далеко, прямой опасности столкновения с ними не было. Все эти вопросы и требуют разъяснения. Поэтому я и попросил военный суд разобраться, кто в этом виноват». В это время нас уже окружали десятки красноармейцев. Началась обычная мирная беседа солдат с комиссаром.

Во время этого разговора я увидел, что метрах в ста – ста пятидесяти от нас стоит Амазасп в окружении нескольких своих приближенных и пристально смотрит в нашу сторону. Вдруг двое его телохранителей-кавалеристов побежали в нашу сторону, растолкали окружавших меня красноармейцев, и один из них, размахнувшись, ударил меня плетью по голове и шее. Я инстинктивно схватился за револьвер. Тот тоже выхватил маузер. Но тут вмешались красноармейцы и разняли нас, предотвратив неизбежное кровопролитие. Я молча сел в машину и уехал. Я думал: как могло получиться, что Амазаспу стала известна моя телеграмма Шаумяну? Но так и не смог тогда найти ответа.

В Сумгаите первым делом я постарался достать газету «Бакинский рабочий», чтобы узнать новости. И вдруг в номере за 22 июля вижу дословный текст своей телеграммы Шаумяну. «Как это могло произойти? – возмутился я. – Амазасп не арестован, не предан суду, а телеграмма опубликована в газете?»

Позже, в Баку, выяснилось, что моя телеграмма была передана в газету по неопытности секретарем Шаумяна Ольгой Шатуновской, которая хотела обнародовать факт предательства дашнаков на фронте.

В той же газете я прочитал сообщение, которое взволновало меня еще больше: оказывается, накануне во всех районах Баку состоялись массовые митинги, на которых обсуждался вопрос о приглашении английских войск в Баку. Только большевики выступили против, за – меньшевики, эсеры и дашнаки.

О том, что бакинские эсеры были в те дни тесно связаны с англичанами, впоследствии достаточно красноречиво рассказал в своих мемуарах английский генерал Денстервиль, возглавлявший в Баку английские оккупационные войска. «Связь с Баку, – пишет этот генерал, – у меня была налажена при посредстве почти ежедневных курьеров. Наши друзья социал-революционеры были в состоянии в скором времени свергнуть большевиков, установить новую форму правления в Баку и пригласить на помощь англичан».

Рабочие Баку, измученные голодом, напуганные нашествием турок, предпочли тогда английское зло немецко-турецкому и на митингах выступали за приглашение английских войск.

Приехал я в Баку 25 июля. В этот день заседал Бакинский Совет, на котором присутствовали члены районных советов, судовых комитетов и представители Красной армии. В обстановке острой борьбы незначительным большинством одержала верх резолюция о приглашении английских войск в Баку и образовании нового коалиционного правительства с участием всех партий, представленных в Совете (258 голосов, против 236). Сыграл свою роковую роль и переход группы моряков Каспийской военной флотилии – частью обманутых, частью подкупленных английской агентурой – на сторону правых партий.

Многие из нас выступили в Бакинском комитете партии против решения об уходе народных комиссаров со своих постов. Было принято предложение власти не сдавать. Утром того же дня в нашу поддержку прошли и митинг, и мощная демонстрация на площади Свободы.

Вечером в переполненном зале оперного театра состоялось собрание бойцов и командиров бакинского гарнизона. Выступая на этом собрании, Шаумян сказал, что «революционный фронт стиснут с двух сторон – извне и изнутри. Бакинцам надо ждать помощи только из России!».

Шаумян, информировав Ленина о положении и о мерах, которые принимаются на месте, просил его оказать в кратчайший срок помощь свежими войсковыми частями. В ответ на эту просьбу была получена телеграмма Ленина: «Насчет посылки войск примем меры, но обещать наверное не можем».

Такой неопределенный ответ был вполне понятен и объясним: 1918 год был крайне тяжелым для Советской России – советская власть билась в смертельной схватке с восставшей контрреволюцией и иностранной интервенцией 14 государств.

Как член Бакинского комитета партии, я участвовал в те дни во всей партийной, политической и военной работе. И все же я стремился поскорее вернуться на фронт. Остро переживая наши общие трудности, я (чего греха таить!) никак не мог забыть чувства личной обиды, оскорбления и предательства Амазаспа. В категорической форме я потребовал от Шаумяна немедленно арестовать Амазаспа и назначить вместо него одного из командиров батальонов. «Тогда я немедленно вернусь на фронт, и уверен, что на нашем участке фронта мы организуем оборону Баку», – сказал я. Шаумян понимал и разделял мои настроения и в то же время убеждал не торопиться: «У нас нет такой силы, чтобы это осуществить. Амазасп знает о твоем требовании предать его суду и наверняка принял меры самозащиты».

Когда было принято решение не сдавать власти в Баку, оставаться и сражаться здесь до конца, мы решили эвакуировать в

Астрахань членов семей партийных и советских работников. Как и до этого, я жил на квартире Шаумяна. Екатерина Сергеевна всячески тянула с отъездом, не желая оставлять мужа и двух сыновей-подростков – Сурена и Леву, участвовавших в боевой дружине большевиков. Не хотела уезжать также и жена Джапаридзе Варвара Михайловна, имевшая на руках двух маленьких дочерей – Елену и Люцию. Приходилось и ее уговаривать ехать. В конце концов удалось заставить их собрать необходимые вещи.

Вечером 29 июля мне позвонил по телефону Шаумян: «Тревожные вести. Турки прорвали фронт, а наши войска отступили до Баладжар – первой железнодорожной станции от Баку. Поезжай туда сам, посмотри, что происходит, прими возможные меры и сообщи нам».

Я позвонил на железнодорожную станцию, чтобы мне подготовили паровоз для поездки на фронт. Приехав в Баладжары, я направился в служебный салон-вагон штаба фронта. Начальник штаба Аветисов был опытный командир, бывший офицер царской армии, полковник, много старше меня. Однако он находился в состоянии почти что паники. На столе лежала карта фронта, на которой были обозначены позиции. Я сказал ему: «Ваше положение обязывает вас знать, как обстоят дела на фронте. К тому же на карте я вижу обозначения расположения наших сил и противника. Прошу не волноваться и доложить спокойно».

В таком же возбужденном состоянии Аветисов мне ответил, что обозначения на карте ровно ничего не значат, так как на фронте хаос. Я стал расспрашивать, какими воинскими частями он располагает на подступах к Баку. Он назвал несколько батальонов, два бронепоезда и отряд Петрова и добавил, что правый фланг нашей обороны оголен в результате предательства отряда Бичерахова.

Я предложил Аветисову приняться за восстановление связи с частями фронта и решить вопрос о переброске некоторых из них на участок фронта, оголенный Бичераховым. Потом с комиссаром штаба Ганиным и бригадным комиссаром Габышевым мы связались с Шеболдаевым и попросили его срочно прислать из Баку пополнение для отряда Петрова. Кроме того, просили направить две-три роты из числа вновь мобилизованных рабочих, которые проходят обучение. Шеболдаев обещал по возможности выполнить просьбу. Он сообщил, что Бичерахов, выполняя желание своих казаков, направляется с ними на Северный Кавказ.

Поспав несколько часов, мы поднялись и вышли на станцию. Приятно было узнать и увидеть самим, что группе

революционных моряков удалось навести порядок на станции.

Тем временем нам сообщили, что отряд Петрова стойко сдерживал на своем участке атаку турок и в кровопролитной схватке отбил ее. В связи с этим стало еще более необходимым немедленное пополнение наших частей. Оно ожидалось с часу на час.

Я находился у Аветисова, когда зашел человек с железнодорожной станции и сказал, что сейчас как раз можно соединиться по телефону с Шаумяном.

Я сразу же спросил Шаумяна, что происходит, что нам делать. Шаумян ответил, что политическое положение оказалось сложнее военного, что идут непрерывные заседания, бесконечные совещания представителей правых партий, Центрокаспия и Армянского национального совета. Они договорились послать корабли за англичанами в персидский порт Энзели. Более того, Армянский национальный совет не только отказывается послать на фронт против турок несколько хорошо организованных частей, но и требует начать мирные переговоры с турками и уже связался по этому поводу со шведским консульством как с посредником. Делается это под благовидным предлогом: все равно фронт не удержать, а мирные переговоры могут спасти армянское население от резни, которая может произойти в случае захвата турками Баку. «Мы будем продолжать борьбу», – сказал Шаумян. И вдруг он добавил то, что меня особенно поразило: «Аветисов еще вчера ночью сообщил Армянскому национальному совету, что через три-четыре часа турки займут Баку, и поэтому он предложил поднять белый флаг. В связи с этим национальный совет требует от Совета народных комиссаров дать приказ фронту поднять белый флаг».

Это меня так возмутило, что я по телефону крикнул: «Какой белый флаг?! Мы здесь никакого белого флага поднимать не собираемся и не поднимем!» – «Совнарком тоже против поднятия белого флага», – сказал Шаумян.

После окончания разговора по телефону Аветисов в крайне возбужденном состоянии заявил мне: «Нет, господин комиссар, белый флаг поднять придется. Мы заставим его поднять вас лично, как комиссара!»

Я тоже был уже взбешен до предела, достал револьвер и сказал, чеканя каждое слово: «Господин полковник! Эта затея с белым флагом у вас не пройдет! Вы не должны забывать, с кем имеете дело, и знать, что в этом револьвере для вас хватит пули!»

Аветисов побледнел, боясь, что я здесь же на месте застрелю его. Но я его только предупредил. Он это понял и молча вышел.

Стало темнеть. Турки подняли на занятую ими высоту орудие

и начали обстрел Баладжар. Стало ясно, что наш штаб оставаться в Баладжарах больше не может. Тогда мы вызвали к себе прибывшего начальника военных сообщений кавказской армии Арведадзе. Посоветовавшись, решили начать поочередное отправление в Баку воинских составов.

Было около 11 часов ночи, когда наш поезд остановился на станции Баку. Взяв с собой карабин, я вышел на перрон. На станции было спокойно, никакой суматохи, как будто все идет нормально. Встречаю на перроне комиссара бронепоезда левого эсера Ашота Тер-Саакяна, бывшего московского студента, которого я знал раньше как хорошего революционера. Он сразу мне в упор: «А знаешь, в Баку переворот!» – «Не верю, – ответил я, – пойду в ревком». – «Будь осторожен, могут арестовать!» Но все же я пошел.

Ревком помещался в гостинице «Астория», на площади Свободы. Иду по улице. Никаких изменений не чувствуется. Около ревкома все по-прежнему. Те же часовые у подъезда. С подчеркнуто уверенным видом вошел я в здание, поднялся на второй этаж, открыл дверь в одну из комнат. Вижу, сидит Полухин, член коллегии Военно-морского флота. Это был матрос высокого роста, лет тридцати пяти, всеми очень уважаемый. С ним – начальник бакинской школы командных кадров Солнцев. Они спокойно разговаривали. «Что вы здесь делаете?» – спрашиваю их. «Да мы тоже только что зашли в ревком и узнали, что наши товарищи эвакуировались в Астрахань». – «Неужели это верно?» – «К сожалению, – отвечают, – факт».

Потом они рассказали мне, что власть захватили в свои руки меньшевики, эсеры и дашнаки, образовавшие 1 августа 1918 г. от имени тогда уже прекратившего свое существование Центрокаспия так называемую «Диктатуру Центрокаспия и временного президиума Исполнительного комитета Совета». Каспийский флот уже направил суда за англичанами в Энзели. Словом, контрреволюция победила. Главой правительства назначен меньшевик Садовский, а командующим войсками – Бичерахов. «Нам остается одно, – сказали они, – во что бы то ни стало добраться в Советскую Россию, где мы будем еще нужны».

А я останусь в Баку, перейду на нелегальное положение и буду вести партийную работу, решил я.

После этого я прошел через коридор и благополучно миновал часовых. Я был доволен, что выбрался из этого здания на свободу. Прошел по Телефонной улице к многоэтажному дому, реквизированному нами под казармы для партийной дружины. Поднялся на второй этаж. Вижу, в большом зале на паркетном полу спят люди. Было около полуночи. Среди спящих узнал

своего близкого товарища еще со школьной скамьи, а теперь комиссара отряда Артака Стамболцяна. Меня взяло зло: коммунисты, а в такой момент спокойно спят, в том числе и Артак. С досады я ударил его ногой в бок. Он вскочил и, еще не понимая, в чем дело, уставился на меня. «Где Шаумян, Джапаридзе, Азизбеков?» – спросил я его. «Не знаю».

Мы немедленно подняли дружину, приказав всем разойтись по домам так, чтобы не попадаться на глаза контрреволюционерам, ждать распоряжений. Я спросил Артака, нет ли у него адреса, где мне можно было бы остановиться. Где он думает устроиться сам? Он назвал адрес кого-то из товарищей по своей дружине. Мне он предложил остановиться на квартире Татевоса Амирова.

Так я и сделал. Когда проснулся, Амиров был уже на ногах. Оказывается, он успел побывать в городе и принес мне новость: все пароходы, на которых пытались выехать наши товарищи и с ними отряд Петрова, возвращены в Баку. Сейчас они стоят на Петровской пристани.

Я немедленно пошел туда.

Придя на пристань, я узнал, что к пароходу, на котором находился Шаумян, подошел катер с представителями Центрокаспия, потребовавшими выдачи и ареста Шаумяна, Джапаридзе и Шеболдаева. Джапаридзе на этом пароходе не было, Шеболдаеву удалось, смешавшись с командой, скрыться в трюме, Шаумян был арестован и перевезен на военное судно «Астрабад». Оставшиеся на пароходе товарищи, причалив к берегу, сообщили о случившемся Петрову и Амирову, которые сразу же поехали в Центрокаспий. Там они предъявили ультиматум с требованием немедленного освобождения Шаумяна, пригрозив в противном случае прибегнуть к помощи своих отрядов. Шаумян тут же был освобожден.

Я встретился с Шаумяном, чтобы узнать, как все случилось. Он рассказал мне, что к вечеру 31 июля положение в городе крайне обострилось. Аветисов постоянно докладывал, что через три-четыре часа турки будут в Баку. В связи с чем вместе с Армянским национальным советом упорно настаивал на поднятии белого флага. «Мы, – говорил Шаумян, – честно говоря, даже думали, что он уже поднят в национальных частях или вот-вот это будет сделано без нашего согласия. Эсеры, меньшевики и дашнаки фактически уже создали свое контрреволюционное правительство. Начальник штаба отряда Петрова сообщил нам, что отряд понес в боях большие потери и на фронте дело окончательно проиграно. В этих условиях, – продолжал Шаумян, – фактически в минуты вторжения в Баку турецких войск

мы сочли невозможным развязывать гражданскую войну. Поэтому Совет народных комиссаров решил сложить полномочия и эвакуировать воинские части и государственное имущество Советской России на пароходах в Астрахань».

Позже выяснилось, что под нажимом англичан Центрокаспий пригрозил Армянскому совету, и тот, ожидая помощи англичан, не поднял белого флага и даже направил на фронт воинские части, которые еще не были в боях.

1 августа турки продолжали сильную атаку на Баку, стремясь захватить город. Наконец они прорвались через Волчьи ворота в район Биби-Эйбата. Войска Центрокаспия бежали.

Посоветовавшись с другими руководителями, Шаумян предложил Петрову выгрузить на сушу артиллерию и открыть огонь с пристани по Биби-Эйбату, где находились турки, и, кроме того, направить на этот участок фронта, находившийся в нескольких километрах от пристани, группу красноармейцев и матросов.

Обстрел застал турок врасплох. Они понесли большие потери и отступили. Когда в районах Баку узнали, что комиссары и отряд Петрова находятся на Петровской площади, рабочие, красноармейцы – группами и поодиночке, кто с оружием, а кто и без него – стали собираться и записываться в отряд. С 400 человек он вырос до двух, потом до трех тысяч.

Точно не помню – 2 или 3 августа была созвана партийная конференция, чтобы обсудить создавшееся положение и решить, как быть дальше. После долгих споров конференция постановила: вооруженные силы в Астрахань не эвакуировать, а, наоборот, используя перелом в настроении бакинцев в пользу большевиков, вновь взять власть в свои руки. Практически это было возможно.

Глава 3
Падение Бакинской коммуны

Но 4 августа к пристаням Бакинского порта начали подходить корабли с английскими войсками, приглашенными в Баку руководителями «Диктатуры Центрокаспия». Высадившись на берег, английские солдаты стали дефилировать по главным улицам Баку. В последующие дни английские войска продолжали прибывать, но их было все еще очень мало: в Баку прибыло около тысячи солдат вместо обещанных и разрекламированных эсерами 16 тыс.

Однако общее положение оставалось все еще очень неясным. 10 августа 1918 г. собралась вторая (после падения советской власти в Баку) партийная конференция. Выступая на ней, Шаумян сообщил, что, по имеющимся сведениям, турки перебрасывают свои новые части с Месопотамского фронта для нанесения решительного удара по Баку. «Пока нет сведений, – говорил он, – идут ли нам на помощь советские войска из Центральной России: ввиду крайне тяжелого положения на Волге нам очень трудно рассчитывать на эту помощь». (Много позже я узнал, что Сталин задерживал в Царицыне некоторые части, направленные в Баку.) «Захватить власть, – продолжал Шаумян, – у нас еще хватит сил, но вот удержать ее и выстоять в борьбе с турками, с одной стороны, и английскими вооруженными силами – с другой – нам вряд ли удастся». Поэтому он предлагал вывезти наши войска из Баку через Астрахань в Россию, сохранив их тем самым и для участия в боях на Волге, и для подготовки к дальнейшему возвращению через полгода-год в Баку для восстановления здесь советской власти. Это предложение Шаумяна было поддержано большинством. За предложение об эвакуации наших войск в Астрахань на конференции было подано 22 голоса, против – 8 голосов, в том числе и мой.

Вскоре после партийной конференции состоялось заседание Бакинского комитета партии, где обсуждался вопрос о том, кого из членов Бакинского комитета следует оставить для руководства подпольной работой. Все единогласно высказались за то, чтобы не оставлять ни Шаумяна, ни Азизбекова, ни Джапаридзе, ни Фиолетова, ни Корганова – их слишком хорошо знали в лицо.

На следующее утро, придя к Шаумяну, я сказал, что хочу остаться для нелегальной работы в Баку как член Бакинского комитета партии. «Хорошо, – согласился он, – но для тебя это вдвойне опасно: помимо всего прочего, Амазасп дал указание

своим головорезам уничтожить тебя. Тебе нужно вести себя вдвойне осторожно». Я ответил, что меня уже предупредил командир конной сотни Сафаров. «Все же тебе долго оставаться в Баку нельзя, – продолжал Шаумян, – поэтому, как только мы прибудем в Астрахань, сразу же пришлем тебе замену».

Первое организационное совещание оставшихся в Баку подпольщиков мы устроили еще до отъезда в Астрахань наших старших товарищей. Между нами были распределены обязанности, условились, где кого искать, определили создание подпольной типографии, явочные квартиры и т. п.

Бакинский комитет партии вступил в переговоры с представителями «Диктатуры Центрокаспия», чтобы получить их согласие на беспрепятственный выезд отряда в Астрахань. Меньшевики были рады избавиться от такой значительной большевистской силы и сразу дали на это согласие. Одновременно комиссар Каспийской военной флотилии от Центрального Совнаркома Полухин договорился с командой корабля «Ардаган» о том, что она берет на себя обязанности по охране и обеспечению безопасности всей эвакуации.

14 августа 1918 г., во второй половине дня, 17 пароходов, на которые были погружены наши воинские части и техника, один за другим стали отчаливать от пристани Баку. Первым ушел «Колесников», на котором находились народные комиссары и многие другие ответственные работники. Мы стояли на пристани и махали им руками, провожая своих друзей, как мы тогда думали, в добрый путь.

Каковы же были наши удивление и тревога, когда мы узнали, что все корабли были окружены около острова Жилого военной флотилией «Диктатуры Центрокаспия» и насильно возвращены в военный порт, войска разоружены и на этих же кораблях отправлены в Астрахань. Бакинские же комиссары и другие руководящие работники (35 человек) во главе с Шаумяном арестованы и заключены в тюрьму.

Списки арестованных были опубликованы в газетах «Диктатуры Центрокаспия», которые злобно клеветали на наших комиссаров, стремясь оправдать свое вероломство.

Мы немедленно собрались и решили, что главная задача – спасти наших товарищей, над которыми нависла угроза расправы. Было принято решение: в качестве экстренной меры договориться с представителями партии левых эсеров и левых дашнаков о предъявлении «Диктатуре Центрокаспия» совместного ультиматума. В нем предлагалось немедленно освободить всех арестованных товарищей и предоставить им возможность выезда в Астрахань, поскольку они были задержаны в нарушение взятых

властями обязательств. В случае, если с головы наших товарищей упадет хотя бы один волос, предупреждали мы, в отношении всех членов «Диктатуры» будет применен личный террор.

Взяв подписанное нами обращение, я и представители от левых эсеров и дашнаков (мы с ними тогда образовали «Бюро левых партий») направились в «Диктатуру Центрокаспия» и потребовали свидания с ее председателем Садовским. С Садовским мы были до этого знакомы. Я передал ему наше обращение. Когда он кончил его читать, я сказал: «Вы хорошо знаете партии, от имени которых написано это обращение. Можете не сомневаться в нашей способности осуществить указанную здесь угрозу. Если вы арестуете нас до выхода из этого здания, ничто не изменится. В каждой из наших партий уже созданы группы террористов, которые будут действовать согласованно, как только наступит необходимый момент».

Все это произвело на Садовского большое впечатление. Он стал оправдываться, уверять нас, что жизни арестованных ничто не угрожает. Мы хорошо понимали, что предатели никакого доверия не заслуживают, на их слова полагаться нельзя и наш ультиматум может только временно задержать расправу. Чтобы спасти арестованных товарищей, нужно было развернуть широкую политическую борьбу.

В эти дни в городе появился Георгий Стуруа, видный бакинский партийный деятель. Последние месяцы он находился на Северном Кавказе в качестве уполномоченного Бакинского Совета народных комиссаров по заготовке и доставке хлеба в Баку. Это был человек с крутым складом характера, настойчивый, волевой, опытный конспиратор, прошедший хорошую школу подпольной работы при царизме.

Мы сформировали новый состав Бакинского комитета партии большевиков. Учтя создавшуюся обстановку, решили вовсю развернуть легальную работу: систематически выступать на собраниях, в рабочих организациях и т. п. – и наряду с этим сохранить и укрепить строго законспирированную партийную организацию как в центре, так и в районах. Решили мы и вопрос подпольной типографии для печатания прокламаций и листовок.

Партии меньшевиков и эсеров, чувствуя волнения в народе в связи с арестом бакинских комиссаров, созвали в августе 1918 г. конференцию фабрично-заводских комитетов и правлений профсоюзов, чтобы укрепить свое положение среди рабочего класса.

Я выступил на конференции, говорил и доказал на ряде фактов полную зависимость «Диктатуры Центрокаспия» от английского командования, показал, какой огромный вред

нанесло Баку предательство эсеров, меньшевиков и дашнаков. «Наших руководителей, – говорил я, – запрятали за тюремные решетки, закрыли наши газеты, запретили выступать среди военных и рабочих, прикрывая все это фальшивыми лозунгами «демократии».

В поддержку нашей линии от партии дашнаков выступил Нуриджанян и от большевиков Блюмин.

Чтобы свести на нет впечатление от наших выступлений, с клеветническими речами выступили Садовский и меньшевик Багатуров, которые были поддержаны своими приспешниками, составлявшими большинство на конференции. Эсеры предложили в резолюции выразить полное доверие действиям «Диктатуры Центрокаспия», меньшевики – объявить бакинских комиссаров предателями и врагами народа.

После этой конференции мы, договорившись с левыми эсерами и левыми дашнаками, подготовили новое письменное обращение от имени наших трех левых партий, в котором требовали немедленного освобождения из тюрьмы бакинских комиссаров. Мы отнесли этот документ Садовскому, который только сказал, что о нашем обращении доложит «Диктатуре». На следующий день газеты сообщили, что правительство Центрокаспия отклонило наши требования и передало арестованных комиссаров в распоряжение своей чрезвычайной комиссии, которую возглавляли работники «Диктатуры Центрокаспия» Васин и Далин.

Первой нашей заботой было как можно скорее установить связь с арестованными товарищами, узнать об их состоянии, оказать им помощь в питании. Мы стали собирать средства и закупать продукты. Организацию этого дела возложили на Агамирова и секретаря-машинистку Шаумяна Степанову, которая здравствует и в наши дни, проживая в Москве. Степанова поддерживала связь с арестованным Коргановым, который был избран заключенными их старостой.

Включилась в работу и Варвара Михайловна – жена Джапаридзе, которая после эвакуации в Астрахань оставила там двух своих маленьких дочерей на попечение жены Шаумяна, а сама возвратилась в Баку.

Мне удалось получить разрешение на одну встречу с Шаумяном. Он стоял по одну сторону решетки, я – по другую. Выглядел утомленным и бледным, но был искренне рад, что оставшаяся на воле молодежь, такая еще зеленая, много и хорошо работает.

Вскоре нам удалось добиться освобождения из тюрьмы сына Шаумяна – Левы, как малолетнего. Несколько позже удалось

взять на поруки и его старшего сына Сурена, которому было 17 лет.

От Сурена мы узнали подробности о том, как были задержаны пароходы у острова Жилого. Их окружили суда Каспийской военной флотилии, которые, направив дула своих орудий, предъявили ультиматум о возвращении в Баку. Шаумян и другие отклонили это требование как незаконное. В ответ по ним открыли огонь. Были жертвы. Пароходы были пригнаны в Баку и разоружены. Бакинские комиссары, а с ними и некоторые другие работники арестованы и заключены в тюрьму.

Желая подвести демократическую базу под существовавшую тогда в Баку власть и одновременно начисто избавиться от большевиков в Совете, меньшевики и эсеры затеяли выборы нового состава Бакинского Совета рабочих депутатов, назначив их на 28 августа 1918 г.

Мы хорошо подготовиться к ним не имели возможности. Избирательная кампания проводилась меньшевиками с нарушением элементарных демократических прав нашей партии. Большинства мы не получили. Однако рабочие Баку сумели избрать в Совет 28 депутатов-большевиков, в том числе девять арестованных бакинских комиссаров – Шаумяна, Джапаридзе, Зевина, Фиолетова, Азизбекова, Басина, Корганова, Малыгина и Богданова. Были избраны также Стуруа, я и другие коммунисты. Из числа левых эсеров и левых дашнаков было избрано семь депутатов, в том числе нарком Везиров.

Все это совпало с новой атакой турецких войск на Баку. Атака была отбита. Турки, а также английские части понесли большие потери. Однако вскоре турки все же заняли одну из высот, поставили на ней артиллерию и стали систематически обстреливать Баку.

Когда депутаты собрались в здании исполкома, в него попал снаряд. Меньшевики предложили перенести заседание в помещение ресторана на Морской улице. Ресторан этот находился на первом этаже дома в несколько этажей, с фасадом, выходящим в сторону моря, что гарантировало относительную безопасность. Расставили стулья, стол для председателя. Мы, большевики, и вместе с нами левые эсеры и левые дашнаки сидели компактно в левой стороне зала.

После того как стали известны результаты выборов, мы передали «Диктатуре Центрокаспия» письменное требование освободить арестованных комиссаров, избранных депутатами Бакинского Совета.

5 сентября на заседании Бакинского Совета по поручению фракции большевиков выступил Георгий Стуруа с категорическим

требованием такого же характера.

Через три дня в «Бюллетене Центрокаспия» было опубликовано сообщение, что «на заседании Совета представитель большевиков Стуруа, а вслед за ним Микоян, Бекер и левые эсеры-интернационалисты Тер-Саакян и другие возбудили вопрос о немедленном освобождении томящихся в заключении бывших народных комиссаров, прошедших по партийным спискам в Совет».

Но несколько лидеров меньшевиков и эсеров выступили против освобождения арестованных комиссаров.

На втором и третьем заседаниях Совета, состоявшихся 10–11 сентября, столкновения между двумя лагерями Совета крайне обострились.

Получив слово, я по поручению фракции большевиков начал оглашать нашу декларацию. С негодованием отвергали мы ничем не обоснованные, клеветнические обвинения, выдвинутые против арестованных бакинских комиссаров, и требовали немедленного их освобождения.

Меня часто прерывал звонок председательствующего. Мешали исступленные выкрики с мест наиболее оголтелых противников. Наконец на меня стали набрасываться с угрозами, а председатель Осинцев, размахивая председательским звонком, чуть ли не бил меня по носу. Тогда, не сдержавшись, я сделал попытку выхватить револьвер, который почти всегда носил с собой заткнутым за поясной ремень. К счастью, его там в этот день случайно не оказалось. Поняв мое намерение, несколько человек направили на меня пистолеты. Тогда я сунул руку в карман брюк. Думая, что я полез за револьвером, на меня набросились и схватили за руку. Когда мою руку вытащили, в ней оказался… носовой платок.

Все левое крыло депутатов, подняв над головами стулья, двинулось к столу президиума на мою защиту. Началась общая потасовка.

На следующий день утром 11 сентября мы прочитали в «Бюллетене диктатуры» сообщение, которое привело нас в ярость: в связи с окончанием работы военно-следственной комиссии арестованные бакинские комиссары предавались военному суду. Специально для этого случая было утверждено временное положение о военно-полевом суде. По всему было видно, что готовилась расправа. Тогда мы решили переключить всю свою работу на немедленное освобождение наших товарищей.

На третьем заседании Совета по поручению фракции большевиков я сделал внеочередное заявление о новом акте беззакония, допущенном «Диктатурой», предании военно-

полевому суду вождей бакинского пролетариата, избранных к тому же в Совет. «За судьбу и жизнь бакинских комиссаров, – заявил я, – будут своими головами отвечать лидеры господствующих в Совете партий». Выступивший от меньшевиков Айолло вновь клеветал на бакинских комиссаров и на нашу партию. Тогда взял слово Георгий Стуруа. Он говорил очень резко. Обвиняя правые партии в том, что они становятся палачами революционеров, он заявил, что им не уйти от ответственности перед рабочим классом и историей.

14 сентября, рано утром, когда я еще спал на балконе у Мартикяна, прибежала Варвара Михайловна Джапаридзе и сказала, что меньшевики и эсеры убегают из Баку, скоро в город войдут турки, надо немедленно спасать арестованных. В нашем распоряжении оставались считаные часы.

Мне, как члену Бакинского Совета рабочих депутатов, было поручено пойти к властям «Диктатуры Центрокаспия» и потребовать освобождения наших товарищей из тюрьмы. В случае отказа добиться их эвакуации, чтобы не оставлять туркам на растерзание. Кроме того, мы организовали боевой отряд из шести-семи человек, который возглавлял старший сын Шаумяна. Вооружили их револьверами и гранатами. Договорились, что, если мне не удастся добиться освобождения наших товарищей, этот отряд при появлении в городе турок, не ожидая никаких дополнительных указаний, нападет на тюрьму и освободит арестованных. Для этого отряду было предложено все время находиться в районе Баиловской тюрьмы. Договорились с командованием советского парохода «Севан» доставить освобожденных из тюрьмы в Астрахань. Мы условились, что к вечеру «Севан» станет в районе Баилова у причала, недалеко от тюрьмы.

Я поехал в Центрокаспий. Там узнал, что ночью остатки английских войск бежали из Баку на пароходах. Наконец вечером появился член «Диктатуры Центрокаспия» Велунц. Я прямо-таки напал на него, заявив, что они трусы и мерзавцы, если оставят наших товарищей на растерзание туркам, что все это черное дело фактически делается их грязными руками. «Вы, Велунц, – сказал я ему, – будете головой отвечать за это».

Велунц заявил, что не имеет права освободить людей из тюрьмы, но и не хочет оставлять арестованных туркам. И эвакуировать арестованных он не имеет никаких возможностей. Тогда я заявил, что могу это сделать сам, поскольку являюсь членом Бакинского Совета депутатов трудящихся. Неожиданно Велунц со мной согласился и сказал, что даст соответствующее указание заместителю начальника контрразведки Далину. Я

попросил его написать об этом письменный приказ. С этим документом я пошел к Далину. «Этого я сделать не могу, – сказал мне Далин, – у меня нет пароходов, да и отправить арестованных не с кем: нет для них охраны». На это я ответил ему, что у нас в резерве стоит пароход, который мы можем для этой цели предоставить. Тогда он заявил, что у него нет конвоя – отпустить же арестованных фактически на волю он не может. На это я заявил ему: «Мне, как члену Бакинского Совета депутатов, избранному при вашей власти, даны полномочия сопровождать и эвакуировать арестованных. Я пойду в тюрьму и все сделаю сам».

Но он продолжал настаивать, что ему нужны солдатыконвоиры; без этого он не может выполнить указание об эвакуации. Еще до этого я заметил, что в здании ЧК находилось несколько старых солдат из рабочих. Я подошел к ним, стал просить пойти со мной в качестве охраны. Сперва они отказывались, ссылаясь на то, что торопятся к своим семьям, поскольку турки уже врываются в город. Но все же мне удалось их уговорить. «Вы только дойдете до тюрьмы, – сказал я им, – а там можете идти куда хотите».

Далин в конце концов подписал распоряжение о том, что члену Бакинского Совета А. Микояну поручается вместе с приданной ему охраной эвакуировать из Баку арестованных бакинских комиссаров. С «приданной охраной» я отправился пешком из центра города на Баилов, к зданию тюрьмы. Было часов восемь-девять вечера.

У дверей тюрьмы стоял ее начальник, сильно возбужденный. Я подошел, показал документ и попросил выдать в мое распоряжение арестованных. Он очень этому обрадовался. Я буквально вбежал в тюремный коридор и увидел, что все мои товарищи стояли в камерах у дверей как бы в ожидании чего-то. Они уже слышали артиллерийские и винтовочные выстрелы.

Я громко сказал, что сейчас они будут освобождены, выведены из тюрьмы и посажены на пароход «Севан», прибывший из Астрахани.

Однако отряда Сурена по-прежнему нигде не было. Не оказалось в условленном месте и парохода. Встречные сказали мне, что «Севан» захватили войска «Диктатуры Центрокаспия» и куда-то угнали. Оставался единственный выход: идти в город и искать, где можно скрыться.

В это время турки уже обстреливали Баилов ружейно-пулеметным огнем. Пули свистели над нашими головами. Мы шли, укрываясь за стенами домов. Когда подошли к району набережной, то увидели людей, спешивших попасть на стоящие у причала пароходы. Повстречавшийся Татевос Амиров сразу же

сказал Шаумяну: «Вы можете эвакуироваться из Баку на пароходе «Туркмен».

Все мы направились к пристани. Пароход был набит беженцами и вооруженными солдатами. По распоряжению Амирова верхняя палуба и кают-компания были отведены для бакинских комиссаров и тех, кто был с ними. Там же устроился и сам Амиров. Вскоре к нам присоединились Сурен Шаумян и его отряд. Вместе с нами также были Лев Шаумян и жены наших товарищей.

Когда наконец «Туркмен» отчалил от пристани и вышел из бакинской бухты, я подошел к Степану Шаумяну и сказал, что капитаны всех пароходов имеют предписание идти в Петровск, куда эвакуировалось правительство Центрокаспия и где орудовал Бичерахов. Чтобы уйти от опасности, я предложил Шаумяну уговорить капитана «Туркмена», пользуясь покровом ночи, постепенно отделиться от каравана и взять курс прямо на Астрахань.

Шаумян поставил вопрос на обсуждение. Все отнеслись к этому предложению одобрительно. Шаумян повел разговор с капитаном один на один. Капитан оказался сговорчивым человеком: сам он латыш, семья его живет в Риге и он рвется в Астрахань, надеясь оттуда пробраться к родным. Он только попросил, чтобы Шаумян обеспечил ему самому возможность эвакуации из Астрахани в Латвию. Шаумян, как представитель центральной власти, дал ему полную гарантию.

Погода была хорошая, море спокойное. Мы вышли на палубу и увидели, как постепенно наш пароход удаляется от огней других пароходов каравана. Вскоре мы оказались в открытом море.

Однако наше ликование продолжалось недолго. Оказывается, судовой комитет, состоявший из эсеров, узнав, что мы изменили курс и идем в Астрахань, собрался и принял решение повернуть на Красноводск. «Матросы говорят, – сказал капитан, – что в Астрахани голод, а, по их данным, в Красноводске продовольствия хватает, и поэтому они отказались идти в Астрахань».

Выяснилось, что и беженцы, находившиеся на пароходе, и многие солдаты тоже поддерживают решение судового комитета.

Таким образом, против нас оказалась не только команда парохода, но и вооруженные солдаты и беженцы, фактически занимавшие весь пароход (кроме верхней палубы).

Только позже мы узнали, какую бешеную агитационную кампанию против нас развернули среди беженцев и солдат находившиеся на «Туркмене» дашнакские командиры, успевшие

спеться с двумя английскими офицерами из отряда генерала Денстервиля, тоже оказавшимися на нашем пароходе.

Нетрудно представить, какое тяжелое настроение создалось у всех нас. Думали, гадали: что можно предпринять? До этого я не принимал участия в обсуждении создавшегося положения, так как полагал, что более опытные товарищи и без меня найдут правильное решение. Но когда они стали обсуждать, каким путем избежать захода в Красноводск, я не сдержался и сказал, что, учитывая опасность, которая нам грозит, если мы попадем в оккупированный англичанами Красноводск, надо силой заставить команду подчиниться нам и продолжать курс на Астрахань. «Но где взять такую силу?» – задали мне вопрос. «У начальника отряда Амирова, – ответил я, – найдется на пароходе десятка два верных ему вооруженных людей, которых он может незаметно по одному вызвать на верхнюю палубу и с их помощью разоружить всех тех военных, которые не хотят идти в Астрахань, а их оружие передать нам. Вооруженные, мы сможем добиться от команды подчинения, пригрозив на всякий случай выбросить в море тех, кто будет наиболее яростно сопротивляться».

Алеша Джапаридзе, наиболее экспансивный среди нас, закричал на меня: «Ты что, зверь, что ли? Как это – выбросить в море?»

Надо сказать, что я любил, даже больше – обожал Алешу, но его слова показались мне тогда очень обидными. Я ничего ему не ответил. Остальные товарищи тоже молчали. Наступила гнетущая тишина. Тогда я подумал: зачем кипячусь? Ведь они опытнее меня, знают, что делают! И, чувствуя себя каким-то разбитым, подавленным и усталым, лег под стол в кают-компании и скоро заснул.

Спал очень долго – сказались усталость и напряжение последних дней. Проснулся, когда был уже день. В каюткомпании никого не было. Вышел на палубу. Море было совершенно спокойно. Солнце приятно грело. Некоторые наши товарищи сидели на палубе группами по два-три человека, разговаривали, другие спокойно прогуливались по палубе.

Весь этот внешний покой – и природы и людей – резко контрастировал с той внутренней тревогой за нашу общую судьбу, которая не покидала лично меня, да, думаю, и многих моих друзей.

Однако длительный сон успокоил мои нервы. К тому же я был еще очень молод, первый раз в жизни оказался на пароходе в открытом море и буквально наслаждался чудесным водным пейзажем, синим небом и лазурной гладью Каспийского моря, освещенного ярким солнцем.

К вечеру 16 сентября, еще засветло, мы подошли к рейду Красноводска, где были остановлены портовым баркасом «Бугас» с какими-то вооруженными военными. Они приказали нашему капитану стать на якорь на рейде якобы для проведения карантина. С парохода разрешили сойти только двум английским офицерам и армянину с Георгиевским крестом, который заявил, что «имеет сообщить местным властям важные сведения».

Все это было для нас первым тревожным сигналом. В нормальных условиях пароход должен был спокойно войти в порт и стать на разгрузку. Здесь же что-то готовилось. И все же в нашем сознании теплилась еще смутная надежда, что английское командование, представляющее, так сказать, цивилизованное европейское государство, будет руководствоваться в своих поступках установленными нормами международного права, и все закончится без трагедии.

Утром к нашему пароходу вновь подошел баркас. По его приказу «Туркмен» двинулся к пристани Урфа в нескольких километрах от Красноводска. По обеим сторонам причала стояли шеренги солдат в туркменских папахах с винтовками, а перед ними – три-четыре офицера, отряд милиции и местная эсеровская боевая дружина. В стороне была расположена английская артиллерийская батарея, а по пристани расхаживали английские офицеры, среди которых были и те два, которые накануне сошли с «Туркмена»; однако открыто они ни во что не вмешивались. Кроме того, на пристани были чиновники из правительственного аппарата во главе с Кондаковым и армянин с Георгиевским крестом, о котором я говорил выше.

Мы собрались в кают-компании. Шаумян сказал, что, видимо, нас будут арестовывать, поэтому надо сейчас же спуститься вниз, смешаться с пассажирами-беженцами, попытаться проскочить через контрольные пункты, пробраться в город и скрыться от властей, с тем чтобы потом добираться до Астрахани или Ташкента, где была советская власть.

Тогда я сообщил всем (до этого об этом знал только Шаумян), что у меня находятся деньги из партийной кассы. Шаумян предложил раздать их всем поровну. Помнится, каждому досталось что-то по 500 рублей, что равнялось примерно месячному жалованью среднего служащего.

Нижняя палуба была забита людьми; негде было, как говорится, яблоку упасть. Мы смешались с публикой. Было очень тесно. Близко около себя никого из наших товарищей я не увидел.

Когда «Туркмен» подошел к пристани и был поставлен трап, стали выпускать пассажиров. Внешне казалось, что идет обычная проверка. Люди медленно проходили один за другим. Подошла

моя очередь. Меня обыскали быстро. Одет я был в суконную гимнастерку, подтянутую ремнем, галифе и сапоги, на голове форменная фуражка без кокарды. В руках тоже ничего не было. Только за поясом в складках у меня был револьвер. Я был тогда очень худым и надеялся, что при обыске револьвера у меня не обнаружат. Так и случилось. При первой проверке я поднял руки вверх, какой-то военный быстро ощупал меня и, ничего не обнаружив, отпустил.

Пройдя шагов двадцать – тридцать по пристани, я увидел второй пункт проверки. Меня вновь бегло ощупали и, ничего не найдя, пропустили дальше. Документов не спрашивали: пассажирами были беженцы, спасавшиеся от турок, и, естественно, у большинства документов не было. Пройдя еще шагов десять, я увидел, что есть и третий пункт проверки.

Когда я подошел к третьему пункту проверки, кто-то схватил меня за плечо. Обернувшись, я увидел чиновника порта в белоснежном форменном кителе и морской фуражке. «Идите за мной», – сказал он.

Когда он подвел меня к краю пристани, где стоял небольшой портовый пароходик «Вятка», я неожиданно на палубе увидел сидящих и тихо беседовавших между собой Шаумяна и Джапаридзе. Там же находились Фиолетов с женой и жена Джапаридзе.

Все обернулись, но посмотрели на меня без удивления: оказалось, что на этом пароходе уже находится много наших товарищей. Они стали рассказывать, кто и при каких обстоятельствах был задержан. Оказалось, что среди беженцев были провокаторы (в первую очередь человек с Георгиевским крестом), знавшие в лицо многих наших товарищей, которых полиция задерживала и препровождала на «Вятку».

Скоро число арестованных достигло 35 человек. Пришло начальство с вооруженными людьми, и начался обыск. Подходила и моя очередь. Я все думал, что мне делать с кольтом, спрятанным под гимнастеркой. Пока шел обыск, я решил где-нибудь его спрятать. Попросился вниз в туалет, хотел поискать там какоенибудь местечко для этого. Но там стоял часовой, пришлось вернуться назад. Раздосадованный тем, что с кольтом придется расстаться, я решил хоть как-то насолить полицейским.

«Ваши вещи?» Я сунул руку за пояс и резким движением выдернул кольт. Видимо, полицейским показалось, что я собираюсь стрелять. В страхе они отпрянули от меня, а один с криком: «Что вы делаете?!» – схватил меня за руку. Как – что я делаю? – ответил я «возмущенно». – Отдаю вам единственную вещь, других у меня нет!»

После окончания обыска нам объявили, что мы арестованы и находимся в распоряжении Красноводского стачкома (так называлось правительство города, руководимое эсерами). Шаумян заявил протест против насилия, сказав, что за нами нет никакой вины, а кроме того, местное правительство не имеет к нам никакого отношения и тем более не имеет права нас арестовывать, поскольку мы еще даже не ступили на территорию Закаспия. Старший из чиновников, Кондаков, сказал, что не имеет намерения вступать в дискуссию, так как выполняет распоряжение своего правительства.

Когда Кондаков куда-то удалился, мы стали обсуждать, какие меры можно принять в создавшемся положении. Я высказал мнение, что мне следует использовать положение члена меньшевистско-эсеровского Бакинского Совета и имевшееся у меня официальное разрешение на эвакуацию арестованных комиссаров и послать телеграмму «Диктатуре Центрокаспия» в Петровск, с тем чтобы они потребовали отправить нас из Красноводска в Петровск.

Шаумян согласился, но сказал, что этого мало. Необходимо всем официальным представителям советской власти, арестованным Центрокаспием, так же прямо обратиться к «Диктатуре Центрокаспия» по радио. Шаумян вызвал представителя местной власти и потребовал, чтобы он принял радиотелеграмму для передачи в Петровск. Согласие было получено, и мы это сделали.

Местные власти приняли наши телеграммы, но у нас не было уверенности, что они их передадут. Шло время, ответа не поступало.

Вечером наш пароходик двинулся к городской пристани. Нам сообщили, что, поскольку в тюрьме на всех арестованных мест не хватит, некоторые из нас будут помещены в городском арестном доме. Начальник красноводской полиции Алания зачитал список арестованных, которые подлежали помещению в этот дом. В этом списке значились Шаумян, еще 11 мужчин и пять арестованных с нами женщин. Меня в списке не было.

Я подошел к Шаумяну и сказал, что хочу находиться вместе с ним, так как не исключена возможность организации побега, а в таком деле я мог бы быть полезным. Шаумян ответил: «Хорошо, попробуй».

Обратившись к Алания, я сказал, что очень прошу поместить меня не в тюрьму, а в арестный дом. Он внимательно посмотрел на меня и, не спросив ни о чем, согласился. Я очень этому обрадовался.

Красноводск – город маленький. Арестный дом оказался

недалеко от пристани, и нас пешком под конвоем быстро туда доставили. Мужчин разместили в одной камере, женщин – в другой.

Дом был одноэтажный, в нем шесть камер – по три с каждой стороны коридора. Во дворе находился небольшой домик, где жил начальник арестного дома. Камера, в которую нас поместили, была со сплошными нарами вдоль одной стены. Асфальтовый пол. Не было ни матрацев, ни подушек, ни одеял и никакой мебели, кроме обычной тюремной параши в углу. Старшие товарищи, устроившись на нарах, легли спать, а кто помоложе – человек шесть – легли прямо на пол.

Прошло три томительных дня. В Красноводске стояла удушливая жара. В камере было крайне тесно. На прогулки не выпускали, кормили плохо. Однако не это нас волновало – большинство были в тюрьме не впервые, обстановка была привычной. Чувствовалось, что каждый про себя думает о неопределенности нашей судьбы.

В первый же день пребывания в арестном доме, под вечер, дверь камеры открылась, вошел плотный мужчина в полувоенной форме лет под пятьдесят, и с ним еще два или три человека. Как потом мы узнали, это был глава красноводского контрреволюционного правительства Кун со своей свитой.

Они стали выяснять, кто из нас Шаумян, Джапаридзе, Азизбеков. Каждого осматривали, как бы изучая. Джапаридзе спросил о причинах нашего ареста, о предъявляемых обвинениях. Они ответили, что сами не знают. О нашем аресте они-де донесли правительству Закаспийской области и ждут ответа, что с нами делать.

В первом часу ночи с 19 на 20 сентября нас разбудили. Пришел опять Алания с группой каких-то высших чинов. Некоторые из них были явно навеселе. Как потом мы узнали от надзирателя, среди них были председатель эсеровского закаспийского правительства в Ашхабаде Фунтиков, Кун и еще несколько членов их правительства.

Алания объявил, что по решению закаспийского правительства часть арестованных сегодня будет переведена в Ашхабадскую центральную областную тюрьму, где их будут судить, а остальные будут освобождены. Он стал зачитывать список товарищей, подлежащих переводу в Ашхабадскую тюрьму. Все мы встали с мест.

Когда список был зачитан и меня в нем не оказалось, я понял, что попал в группу, подлежащую освобождению. Подойдя к Шаумяну, я сказал, что хочу просить, чтобы меня включили в их группу: меня не покидала мысль об организации побега.

Посмотрев на меня, Шаумян ответил: «Попробуй».

Обратившись к Алания, я сказал, что хочу быть с товарищами, переводимыми в Ашхабад. Он ответил, что не имеет права вносить какие-либо изменения в список.

Тогда Шаумян, отведя меня в сторону, сказал: «Это ничего, что твою просьбу отклонили. Вас освободят – ты вместе с Суриком и Левой (сыновья Шаумяна) постарайся пробраться в Астрахань, оттуда – в Москву, встретишься с Лениным, расскажешь ему обо всем, что здесь с нами произошло. От моего имени вы сделаете предложение арестовать нескольких видных правых эсеров и меньшевиков, объявить их заложниками и предложить закаспийскому правительству в обмен на нас».

Я ответил, что, конечно, все это сделаю. Тогда Шаумян подошел к Сурику и Леве, положил им руки на плечи и сказал: «Вам надо вместе с Анастасом добраться до Астрахани, а затем в Москву, к Ленину. Передайте маме, – сказал он, – чтобы она не волновалась. Скоро мы будем вместе».

Мы стали тепло, по-братски прощаться. В те минуты мы не сомневались, что всех нас освободят, и нам в голову даже не могла прийти мысль, что на следующий день наших товарищей уже не будет в живых. Только во взгляде Шаумяна, когда он со мной прощался, я почувствовал какую-то скрытую тревогу.

Чем руководствовалось закаспийское правительство и представители английского командования, составляя список 26 из 35 арестованных товарищей, видно из письменного показания, данного в июне 1925 г. Суреном Шаумяном, допрошенным в качестве свидетеля на процессе по делу Фунтикова:

«В середине августа 1918 года мы были арестованы в Баку правительством англо-эсеро-меньшевиков. В числе арестованных были кроме 25 погибших впоследствии товарищей еще: Мудрый, Месхи, я – Сурен Шаумян, Самсон Канделаки, Клевцов – итого 30 человек.

Тюремным старостой был Корганов (из 26), у которого находился список всех арестованных, по которому он раздавал провизию, принесенную нам товарищами с воли.

За несколько дней до занятия турками Баку и нашим «освобождением» из тюрьмы заболел дизентерией тов. Канделаки, и его поместили в тюремную больницу. Поэтому из списка довольствующихся он был вычеркнут.

Я был освобожден за два дня до эвакуации из Баку на поруки. Моя фамилия также была вычеркнута из списка.

Месхи, Мудрый и Клевцов с нами на Красноводск на наш пароход не попали и на каком-то другом судне вместе с

беженцами попали в Петровск (к бичераховцам), а оттуда пробрались в Советскую Россию.

Когда нас арестовали в Красноводске, у старосты тов. Корганова при обыске случайно нашли список, о котором я говорил выше. После этого уже стали арестовывать и вылавливать из общей массы беженцев (600 чел.) по этому списку.

Кроме имевшихся в списке арестовали еще нескольких товарищей, а именно: 1) Анастаса Микояна, 2) Самсона Канделаки, 3) Варвару Джапаридзе, 4) меня, 5) моего младшего брата – Леона, 6) Ольгу Фиолетову, 7) Татевоса Амирова, 8) Марию Амирову, 9) Сатеник Мартикян и 10) Маро Туманян. Всех перечисленных красноводские власти не знали и арестовали лишь по указаниям провокаторов из числа беженцев. Лишь Татевоса Амирова они знали как известного советского партизана, поэтому его впоследствии добавили к цифре «25», и таким образом получилась цифра «26».

Этим объясняется то обстоятельство, что такие видные большевики, как Анастас Микоян и Самсон Канделаки, остались живы, тогда как в число 26-ти попали несколько работников незначительной величины (Николайшвили, Метакса, младший Богданов) и даже случайные товарищи (Мишне), арестованные в Баку по недоразумению. Будучи случайно арестованными в Баку, они попали в список старосты, впоследствии оказавшийся проскрипционным.

Не будь у тов. Канделаки дизентерии – попал бы и он так же, как попал бы и я, если бы меня не освободили на поруки накануне эвакуации.

Красноводские же эсеры рассуждали так, что раз лица, перечисленные в списке, были арестованы в Баку, значит, это и есть то, что им нужно, и их следует уничтожить.

В случае, если бы этого списка у старосты не нашли, то могло бы случиться, что 1) расстреляли бы всех арестованных 35 человек или 2) расстреляли бы наиболее крупных работников, фамилии коих им были известны…»

Точно в таком же положении, как Канделаки, оказался и член Военно-революционного комитета кавказской Красной армии Эммануил Гигоян, ныне здравствующий. Он был арестован в Баку вместе со всеми, но также не оказался в списке, обнаруженном у Корганова, ввиду того что заболел и попал в тюремную больницу.

Что касается меня, то я вообще никуда не выезжал из Баку, а как член Бакинского комитета партии был оставлен там для нелегальной партийной работы и при контрреволюционной власти, и после победы турок. Находясь на свободе, я принимал

меры к спасению арестованных товарищей. Именно потому, что в Баку я арестован тогда не был, фамилии моей не было ни в упоминаемом выше списке тюремного старосты, ни в аналогичном списке, опубликованном в газетах, по которым позднее, в Красноводске, были арестованы бакинские комиссары. В этом списке не было имен и жен комиссаров – большевичек Варвары Джапаридзе и Ольги Фиолетовой, которые в Баку тоже не арестовывались.

Так сложились обстоятельства, вследствие которых трагическая судьба 26 бакинских комиссаров миновала нас троих – Канделаки, Гигояна и меня, ответственных работников Бакинской коммуны, а также Варвару Джапаридзе и Ольгу Фио летову.

Проводив товарищей, ночь мы спали спокойно. Проснулись бодрые, полные надежд. В ожидании освобождения мы думали о том, как, выйдя на свободу и связавшись с местными товарищами, будем искать какой-либо транспорт до Астрахани.

Через два-три дня в камеру попали ашхабадские газеты за 20 сентября. В газете содержалась угроза, что закаспийское правительство расправится с комиссарами, отомстит большевикам «за их зверства в России» и не остановится даже перед их четвертованием. Это вызвало у нас большую тревогу за судьбы наших товарищей.

Примерно через неделю один новый арестованный сообщил о слухе, будто арестованные бакинские комиссары переданы английскому командованию, которое переправило их в Индию. Мы ломали головы над тем, что лучше: суд в Ашхабаде, грозящий смертным приговором, или отправка в Индию? Нам казалось, что отправка в Индию лучше, ибо выигрывалось время для их обмена.

Прошло еще около месяца, и в нашу камеру пришла ужасная весть. Проводник с железной дороги рассказал красноводским товарищам, что был в поезде, на котором везли бакинских комиссаров, и стал очевидцем, как на рассвете 20 сентября между станциями Ахча-Куйма и Перевал, на 207-й версте от Красноводска, комиссары были выведены из вагона в пески и частью расстреляны, а частью зарублены.

В тот трагический день, 20 сентября 1918 г., по злодейскому плану, составленному эсеровскими наймитами сообща с английским командованием и по указке последнего, пали смертью храбрых:

Степан Шаумян – чрезвычайный комиссар Кавказа, председатель Бакинского Совнаркома, член Учредительного собрания; **Прокофий Джапаридзе** (партийная кличка Алеша) – председатель Бакинского Совета рабочих, крестьянских,

солдатских и матросских депутатов; **Мешади Азизбеков** – бакинский губернский комиссар; **Иван Фиолетов** – председатель Совета народного хозяйства; **Мир-Гасан Везиров** – народный комиссар земледелия; **Григорий Корганов** – комиссар по военно-морским делам Бакинского Совнаркома; **Яков Зевин** – народный комиссар труда; **Григорий Петров** – председатель центральной военной власти в Баку, командир отряда; **Владимир Полухин** – комиссар по военно-морским делам из Центра; **Арсен Амирян** – редактор газеты «Бакинский рабочий»; **Сурен Овсепян** – редактор газеты «Известия Бакинского Совета»; **Иван Малыгин** – заместитель председателя Военно-революционного комитета Кавказской армии; **Багдасар Авакян** – комендант города Баку; **Меер Басин** – член Военно-революционного комитета Кавказской армии; **Марк Коганов** – член Военно-революционного комитета; **Федор Солнцев** – военный работник; **Арам Костандян** – заместитель народного комиссара продовольствия; **Соломон Богданов** – член Военно-революционного комитета; **Анатолий Богданов** – советский служащий; **Арменак Борян** – советский работник, журналист; **Эйжен Берг** – матрос; **Иван Габышев** – бригадный комиссар; **Татевос Амиров** – командир кавалерийского отряда; **Ираклий Метакса** и **Иван Николайшвили** – коммунисты, назначенные партией для личной охраны Шаумяна и Джапаридзе; **Исай Мишне** – делопроизводитель Военно-революционно го комитета, беспартийный.

Более полувека прошло со дня трагической гибели бакинских комиссаров. Но время не стерло, да и не может стереть светлые образы этих бесстрашных рыцарей революции.

Не могу не вспомнить вновь Степана Шаумяна. Сколько нереализованных человеческих возможностей ушло вместе с ним! Когда он погиб, ему было всего лишь сорок лет. А Степан был богато наделен самыми разными талантами крупного общественного и государственного деятеля: образованнейший человек, выдающийся организатор, блестящий оратор, человек идейно непоколебимый, решительный, смелый, принципиальный в политике и вместе с тем очень гибкий в вопросах стратегии и тактики классовой борьбы. В некоторых тогдашних газетах Шаумяна иначе и не называли, как «кавказский Ленин». И в этом было немало правды.

Шаумян счастливо соединял в себе высокие достоинства профессионального революционера с мягким, каким-то поособому очаровательным характером. Он располагал к себе каждого честного человека, с ним было легко, под его руководством каждый мог найти применение своим силам.

В конце августа 1920 г. из Баку в Закаспий была направлена специальная комиссия, в составе которой были Сурен Шаумян, старый бакинский революционер Гандюрин и другие, чтобы перевезти останки погибших товарищей и похоронить их с почетом в Баку.

Похороны состоялись 8 сентября.

Всех волновал вопрос: кто же прямой виновник? Кто фактически и юридически несет ответственность за это злодеяние?

Арест комиссаров в Баку, предание их там военно-полевому суду были проведены «Диктатурой Центрокаспия», лидерами трех политических партий правых эсеров, меньшевиков и дашнаков, действовавших с согласия и по прямому указанию командования английских оккупационных войск, возглавляемых генералом Денстервилем и консулом Мак-Доннелом.

После ареста бакинских комиссаров в Красноводске руководитель местной контрреволюционной власти Кун направил радиотелеграмму в Петровск «Диктатуре Центрокаспия» и командующему ее войсками Бичерахову. Кун просил их согласия на предание арестованных военно-полевому суду и сразу же получил ответ Бичерахова о том, что он, Бичерахов, и «Диктатура Центрокаспия» согласны на это. Но уже через три дня закаспийское правительство, возглавляемое правым эсером Фунтиковым, по указанию английского командования воровски, тайком, без суда и следствия, зверски уничтожило их.

Как же все это могло получиться? Ведь эсерам – для оправдания – нужна была хотя бы видимость законности. К тому же, играя в демократию, они обязательно постарались бы «оформить» расправу с большевистскими комиссарами.

Мы недоумевали: почему и нас не допрашивают и не предъявляют никаких обвинений?

Начальник полиции Алания отделывался ничего не значащими фразами. Все это давало нам основание делать вывод, что местная контрреволюция действовала под давлением своих английских хозяев. А тем никакие наши допросы были не нужны. Поэтому – и отсутствие протокола допросов бакинских комиссаров, и поспешность, с какой была учинена ночная расправа над ними в пустыне, и тщательное сокрытие самого убийства, и, наконец, тот факт, что после этой расправы никого из нас, оставшихся в тюрьме, не допрашивали, – все это звенья одной цепи. Английское командование не хотело оставлять никаких следов, никаких документов, свидетельствующих о его причастности к совершенному преступлению. Как показал Фунтиков на суде в 1926 г., Тиг-Джонс, торопясь расправиться с

комиссарами, всячески «подбадривал» эсеров, обещал помочь им замести следы преступления: от лица своего командования заверил их, что выдаст официальную справку об увозе комиссаров в Индию.

В марте 1919 г., когда мы только что вернулись из тюрьмы, в Баку появился Вадим Чайкин. Это был видный юрист, член Центрального комитета партии эсеров, избранный по их спискам в Учредительное собрание от Туркестана. Он добивался встречи со мной, и мы встретились на нелегальной квартире.

Чайкин сообщил, что находился более месяца в Закаспии, стараясь выяснить все фактические обстоятельства расправы над бакинскими комиссарами. Делал он это не только как профессиональный юрист, но и как член партии эсеров, желая лично убедиться, принимал ли кто-либо из членов его партии, входивших в правительство, участие в этом убийстве. Он хотел первым разоблачить их, осудить и тем самым смыть позорное пятно, дискредитирующее всю партию эсеров, в которую он верил.

Чайкин считал твердо, что, не будь за спиной закаспийского эсеровского правительства английского командования, само это правительство не осмелилось бы на преступление. Он заявил мне, что считает своим моральным долгом организовать в международном масштабе кампанию по разоблачению и привлечению к судебной ответственности всех действительных виновников этого злодеяния – как граждан России, так и англичан.

Надо сказать, что это были не пустые слова. Чайкин сразу начал активно действовать в этом направлении в Баку и в Тифлисе. Он направил 3 апреля 1919 г. в Лондон письмо председателю палаты общин с обвинениями в совершении уголовного преступления главой британской миссии в Ашхабаде капитаном Реджинальдом Тиг-Джонсом и председателем Закаспийского разыскного бюро Семеном Дружкиным, генералом Маллесоном, высшим дипломатическим и военным представителем Великобритании в Туркестане и Персии, генералом Томсоном.

Конечно, ни английский парламент, ни английские судебные органы, ни тем более английское военное командование не захотели расследовать это дело.

Следствие по делу об убийстве 26 бакинских комиссаров началось у нас в 1925 г. Весной 1926 г. выездная сессия Верховного Совета СССР рассмотрела в Баку дело Фунтикова. В состав суда входили: председатель суда Камерон (Москва), члены суда Мир Башир Кусумов, Анашкин И.И., видные бакинские

рабочие, государственным обвинителем выступал Сергей Кавтарадзе.

Многие лица, причастные к убийству бакинских комиссаров, сумели бежать за границу еще до победы советской власти в Закаспии и в Закавказье. Но один из главных виновников и непосредственный исполнитель расправы над бакинскими комиссарами, Федор Фунтиков, был пойман в 1925 г. и предстал перед судом.

Верховный Суд СССР установил, что Фунтиков в 1918 г. при поддержке английского командования, ставившего задачей захват Закаспийской области войсками империалистической Англии, вооруженную борьбу с войсками Советского Туркестана, свержение там советской власти и захват его богатых хлопком областей, организовал и 24 июля 1918 г. осуществил убийство девяти комиссаров Ашхабада. Вместе с другими членами партии эсеров и представителями английского командования в лице генерала Маллесона и начальника штаба английских экспедиционных войск в Закаспии Реджинальда Тиг-Джонса подготовил и осуществил убийство Степана Шаумяна и вместе с ним еще 25 человек.

За совершенные преступления предатель Фунтиков был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Мне кажется, что в моих воспоминаниях о давно прошедших днях следует рассказать и о некоторых более поздних эпизодах, которые произошли не так давно.

В августе 1966 г. я получил письмо от сына английского генерала Маллесона. Вот что писал мне Маллесон-младший, подполковник королевского военно-морского флота в от ставке:

«Более чем по одному случаю Вы ставили в вину британскому военному командующему на Юге планирование этого массового убийства. Человек этот был моим отцом – генералмайор сэр Уилфред Маллесон (умер в 1946 г.). Хочу заверить, что из всего им когда-либо рассказанного мне вытекает его полная невиновность в этом. Насколько ему было известно, это задумали и исполнили сами белогвардейцы. Пишу Вам потому, что не хочу, чтобы Вы до конца жизни думали, что мой отец организовал убийство ваших товарищей».

Никаких объективных материалов в подтверждение невиновности своего отца Маллесон-младший не представил; вопрос им не был изучен. Он писал со слов отца, который старался, естественно, обелить себя в глазах сына и общественности.

Маллесон-младший не успокоился на этом и направил новое

письмо примерно аналогичного содержания в редакцию журнала «Советский Союз» в связи с тем, что незадолго до того в этом журнале была опубликована запись беседы с сыном Шаумяна Львом Степановичем о гибели 26 бакинских комиссаров, ответственность за которую он также возложил на английских офицеров.

В третьем номере журнала «Советский Союз» за 1967 г. был опубликован ответ Льва Шаумяна господину Маллесону-младшему, в котором, в частности, говорилось: «В Баку, в Ашхабаде, Красноводске контрреволюционеры находились в прямой зависимости от воли и решений английских офицеров. Не без самодовольства писал генерал Маллесон, что в те дни он со своими офицерами «в течение примерно восьми месяцев фактически держал под контролем территорию к востоку от Каспийского моря, равную половине площади Европы». Генерал получил официальную санкцию «поддерживать временное правительство Закаспия против большевиков». Все это писал генерал Маллесон в статье 1933 г. («Фортнайтли ревью»), а в 1922 г. в журнале Центрального азиатского общества он откровенно утверждал: «…Я совсем не боялся ответственности и был уверен на основании полученных сообщений, что наши превосходные войска не будут иметь трудностей и расправятся как следует с большевистским сбродом».

Далее Лев Шаумян привел любопытный документ – свидетельство бывшего председателя Временного исполнительного комитета Закаспийской области Фунтикова:

> «…Представитель английской миссии в Ашхабаде Тиг-Джонс, глава миссии, говорил мне лично до расстрела комиссаров о необходимости расстрела, а после расстрела выражал удовольствие, что расстрел в соответствии с видами английской миссии произведен.
>
> *г. Ашхабад, 1919 г., марта второго дня, 4 ч. 35 м.»*

Год, день, час – очень важная деталь в заявлении Фунтикова: ведь он написал это собственноручно, когда английские войска еще хозяйничали в Ашхабаде.

Следует подчеркнуть, что Тиг-Джонс, будучи начальником штаба английских экспедиционных войск в Закаспии, говоря об участи бакинских комиссаров, выражал не только свое мнение, но и мнение своего непосредственного начальника – генерала Маллесона.

Английский офицер Эллис в своей книге «Закаспийский эпизод», вышедшей в 1967 г. в Лондоне, также пытается реабилитировать миссию Маллесона. Сам автор был не только

офицером в составе миссии, но и находился в то время в Ашхабаде. Однако реабилитации у него не получается. Напротив, приводимые факты, даже при всех умолчаниях и «поправках», внесенных им, убеждают в обратном.

Эллис пишет, что Дохов, представитель ашхабадского правительства при Маллесоне, утром 18 сентября попросил немедленной встречи с генералом и «очень возбужденно» сообщил о только что полученной телеграмме из Ашхабада. Эсеровское правительство извещало об аресте комиссаров во главе с Шаумяном и запрашивало Маллесона, какие принять меры в о тношении арестованных. «Генерал Маллесон ответил, – говорится в книге, – что он считает, что ни при каких обстоятельствах комиссарам не должно быть позволено совершить переезд по железной дороге до Ашхабада». Генерал предоставил директории «решать, какие именно меры предложить для предотвращения этого». На языке британских лицемеров это было предписание «уничтожить». И это рассматривается как реабилитация!

Капитан Тиг-Джонс также, по свидетельству Эллиса, был полностью осведомлен об этом разговоре и обо всех событиях, происходивших после нашего ареста в Красноводске. Ему была немедленно послана – следовательно, за два дня до расстрела – телеграмма по этому поводу. Он поддерживал постоянный контакт в течение этих двух дней с Фунтиковым, Зиминым и другими ашхабадскими главарями. А каков был контакт правительства Фунтикова с англичанами, известно нам непосредственно от Маллесона, который «держал под контролем» всю Среднюю Азию. Он писал правду – англичане осуществляли непосредственное руководство деятельностью директории.

Наконец, в книге «Закаспийский эпизод» рассказывается, что Маллесон тогда же, утром 18 сентября, сообщил своему начальству в Симлу – в штаб-квартиру вице-короля Индии – об аресте бакинских комиссаров и о принятых им мерах.

Все это дает основание предполагать, что архивы тогдашних английских властей в Индии могли бы дополнительно пролить свет на подлинный ход событий. Интересно, что соответствующие папки документов значатся в описи нынешнего Национального архива Индии (к которому 15 августа 1947 г. перешли архивы правительства вице-короля). С этим фактом случайно столкнулся мой сын Серго, находясь в научной командировке в Дели в 1969 и 1970 гг. Когда он попытался ознакомиться с этими документами, выяснилось, что соответствующих папок в архиве не существует – они либо изъяты, либо уничтожены[3]. Если роль миссии Маллесона была столь невинной, как пытаются до сих пор

утверждать некоторые, то зачем английским властям потребовалось накануне предоставления Индии независимости уничтожать или изымать архивные документы о деятельности миссии?

Временное поражение пролетарской революции в Баку было неизбежным следствием того, что Баку явился ареной столкновения двух мировых воюющих империалистических коалиций, стремившихся овладеть и бакинской нефтью, и важным стратегическим узлом для господства над Ближним Востоком.

Глава 4
В тюрьмах Закаспия

Итак, в ночь на 20 сентября 1918 г. в нашей тюремной камере остались только четыре человека: два сына Шаумяна – Сурен и Лева, Самсон Канделаки и я. В женской камере арестного дома продолжали оставаться Варвара Джапаридзе, Мария Амирова, Ольга Банникова (жена Фиолетова) и Сатеник Мартикян. Вскоре в нашу камеру поместили еще двух арестованных – братьев Амировых – Александра и Арменака.

Несколько дней мы тщетно ожидали обещанного освобождения из тюрьмы. Вскоре убедились, что оно было очередным обманом, и перестали задавать вопросы.

Когда мы узнали о трагической гибели товарищей, собственные судьбы уже перестали нас волновать. Мы были подавлены этим известием. Кроме того, нас мучило сознание, что мы лишены возможности участвовать в борьбе за победу советской власти.

Не помню точно, в конце октября или в начале ноября 1918 г. в нашу камеру привели еще одного арестованного. Оказалось, что это бакинец Ибрагим Абилов. В Баку я слышал о нем, хотя никогда не встречал. Оказывается, Абилов приехал в эти края по поручению советских властей из Астрахани для выяснения судьбы бакинских комиссаров.

Мы узнали, что из трех товарищей, направленных в Красноводск из Астрахани, двое сидят вместе с нами в арестном доме, но третий – Артак Стамболцян – сумел проскользнуть через все рогатки и препоны обысков и досмотров и обвести вокруг пальца красноводскую полицию. Артак вообще был смел до дерзости, ловок и мог всегда выйти из любого, казалось бы, безвыходного положения.

Крайне плохие условия нашей жизни в арестном доме, скудное, на грани голода питание вконец подточили наши силы. Постоянное недоедание особенно остро сказалось на моем физическом состоянии, потому что еще до прибытия в Красноводск я был сильно истощен. У меня стали болеть десны. Я почти совсем не мог есть черствый хлеб. Наконец я обратился с просьбой направить меня к какому-нибудь зубному врачу.

Однажды под охраной часового меня препроводили в частный городской зубоврачебный кабинет. Со мной поздоровалась врач – молодая женщина приятной внешности. Она была предупреждена о том, кто я, поэтому у меня не было надобности представляться.

Ее имени и фамилии я тоже не спросил. Она внимательно меня осмотрела и сказала: «Единственное лечение для вас – свежие фрукты и как можно больше времени проводить на воздухе». Я удивился и подумал: «Не издевается ли она надо мной? Ведь она же знает, что я арестант!» Но она говорила вполне серьезно.

Бывают же в жизни такие случаи! Через сорок один год после этих событий случилось так, что эта женщина-врач, живя в Америке, случайно увидела меня. В 1959 г. во время поездки по США я попал в Чикаго в один из дней, когда в большом концертном зале этого города выступал наш знаменитый советский ансамбль «Березка» под руководством Н. Надеждиной.

Известный организатор выступлений советских артистов в Америке господин С. Юрок любезно прислал мне билеты в отдельную ложу. После концерта я зашел за кулисы, приветствуя и поздравляя наших замечательных девушек.

Впоследствии я получил от редактора одной из газет штата Висконсин Фреда К. Стейнке такое письмо: «Уважаемый г-н Микоян! Я уверен, что прилагаемая статья окажется для вас интересной».

В газете было помещено интервью Юдит Шуйской, той самой женщины – зубного врача, которая меня осматривала в 1918 г. в Красноводске. Она была на выступлении «Березки» и по глазам узнала во мне своего давнишнего пациента.

Интервью довольно точно передавало детали нашей встречи.

В начале ноября уже к вечеру объявили, что через два часа нас переводят из Красноводска в город Кизыл-Арват. Мы были поражены: какой смысл переводить, да еще так спешно, из арестного дома одного города в такой же дом другого города? Вспомнили, что бакинских комиссаров из нашей камеры выводили под тем же предлогом, а по дороге расстреляли. Мы без колебаний пришли к выводу: судьба наша решена, этой ночью с нами поступят так же, как с нашими товарищами.

Было уже темно. Пешком по улицам города нас привели на железнодорожную станцию, погрузили в теплушку, оборудованную для перевозки почты. Одна треть вагона была отгорожена и предназначалась, очевидно, для почтовых служащих. Всех женщин и мужчин посадили вместе в грузовую половину вагона, а в другой его половине расположилась охрана. Нас разделяла перегородка с небольшим окном, в котором была решетка.

Скамеек или нар не было. Поэтому мы сидели и лежали на полу: женщины – в одной стороне, мужчины – в другой. Через щели в тонких стенах вагона дул сильный ветер, пронизывая до

костей. Особенно холодно было мне, одетому только в гимнастерку военного образца, сапоги и военную фуражку.

У других товарищей были пальто. Сурен Шаумян был одет, как и я, в военную форму, но у него, к счастью, была еще шинель. Лева не расставался со своей черкеской, которая на этот раз очень ему пригодилась. От холода я дрожал и потому лег между Левой и Суреном, чтобы хоть немного согреться.

Меня волновало тогда только одно: если нас выведут на расстрел до восхода солнца, не подумают ли наши убийцы, что я дрожу от страха, а не от холода? Мне хотелось, чтобы с нами расправились после восхода солнца, когда будет теплее. Тогда я и другие товарищи, немного отогревшись, смогли бы держаться с большим достоинством.

Все больше и больше росла уверенность, что нас везут на расстрел. Дополнительное подтверждение видели и в том, что нас поместили вместе с женщинами, тогда как арестованных женщин и мужчин обычно не сажают вместе ни в камеру, ни в вагоны. К тому же в нашей половине вагона не было ни параши, ни уборной, что вызывало глубочайшее возмущение и одновременно стыд.

Медленно тянулись часы. Каждый думал о своем. В голове у меня все время проносилась мысль, как хорошо было бы послужить революции хотя бы еще годика два-три и уж если погибнуть, то в открытом бою!

Вспоминал я свою семью. Особенно меня волновало, что мать, наверное, уже решила, что мы погибли. Она, вероятно, уже слышала, что бакинских большевиков расстреляли, но не могла знать, что я еще жив. Вспомнил своих сестер и братьев.

Вспомнил, конечно, и свою троюродную сестру Ашхен. Уже в 1913 г., за четыре года до Февральской революции, я понял, что мои чувства к ней больше чем к сестре. Но по старинному армянскому обычаю троюродный брат не может жениться на троюродной сестре. Народный обычай требовал «семи колен», а здесь не хватало одного колена. Конечно, я давно уже был атеистом, но народные обычаи имели свою силу. Я понимал, что родители и родственники будут против нашего брака и осудят меня за него.

Я все больше и больше любил Ашхен, и мне становилось труднее скрывать свои чувства. Мне захотелось объясниться ей в любви, но я как-то испугался и не сделал этого, хотя видел ее хорошее отношение ко мне. А вдруг она откажет мне? Мужская гордость не позволяла рисковать своей честью.

Четыре года я не осмеливался признаться ей в своем чувстве: вел себя строго и отчужденно. Однако в 1917 г. летом я не

выдержал и объяснился Ашхен в любви. Она сказала, что и сама давно любит меня, только всегда поражалась моему черствому, сухому отношению к ней.

Предвидя все трудности и опасности моего участия в революционной борьбе, я сказал Ашхен, что нам надо немного подождать с женитьбой: ведь в предстоящей борьбе я могу погибнуть, а она может остаться вдовой, да еще, возможно, с ребенком. «Вот когда все успокоится, революция победит, тогда мы с тобой и поженимся», – говорил я. Ашхен со мной согласилась. Она все уже хорошо понимала: за три месяца до этого Ашхен вступила в партию большевиков. Мы условились, что о нашем решении никто не должен знать. Она училась тогда в последнем классе Тифлисской армянской женской средней школы. Через год окончила учебу и уехала преподавать в армянскую деревню, в район Сухума.

И вот, пока поезд вез нас, как нам казалось, в последнее путешествие, я думал об Ашхен. Я утешал себя тем, что поступил правильно, не женившись на ней. Так ей будет легче.

Наконец через много часов поезд остановился на неизвестной нам станции. Через щели вагона мы хорошо слышим разговоры. Вот послышалась команда: «Отцепи вагон!» Все ясно.

Однако через несколько минут совершенно неожиданно вагон наш тронулся. В углу раздался облегченный вздох, и среди общего молчания Ольга Фиолетова произнесла: «Ну, еще живем!» У нас впервые мелькнула мысль: «А возможно, нас везут не на расстрел, а действительно переводят в другой город?»

Наконец поезд остановился на станции Кизыл-Арват.

Теперь мы уже не сомневались, что со станции нас повезут по улицам города в арестный дом. Было уже светло. Но нас неожиданно повели в сторону от городских улиц, и вскоре мы очутились в овраге – русле высохшей реки. И вновь у всех мелькнула мысль: не ведут ли на расстрел? Мы настолько были в этом уверены, что даже не стали спрашивать охрану, куда нас ведут. Пройдя овраг, мы оказались на другой стороне города. Открылись ворота в глинобитной стене, и нас ввели в небольшой одноэтажный каменный дом. Мужчин и женщин поместили в разные камеры.

К нашему счастью, внутри камеры была печь, которая к тому же топилась не из коридора, а из камеры. Наконец-то мы избавлялись от холода по ночам и могли сами, по своему желанию, топить печь саксаулом, которого вдоволь было сложено у печки.

В этой тюрьме нас порадовало, а особенно меня, что с едой стали выдавать головки сочного лука (это было полезно для моих

кровоточащих десен) и к чаю давали очень вкусный кишмиш. Так или иначе, но здоровье мое стало несколько улучшаться.

Когда мы вышли из тюрьмы, чтобы впервые за несколько месяцев идти в баню, нас ожидал еще один приятный сюрприз. Недалеко от тюремных ворот мы неожиданно увидели Артака.

Через подставных лиц из местного населения Артак ухитрился прислать нам и арестованным женщинам передачу, состоявшую из вкусно приготовленных блюд армянской кухни. Это позволило нам наладить обмен записками, написанными эзоповым языком, из которых мы узнавали интересовавшие нас сведения и в свою очередь задавали некоторые вопросы.

Через три недели нас привезли в Ашхабадскую тюрьму. Наша новая камера во всех отношениях была хуже тех, в которых мы сидели в Кизыл-Арвате и Красноводске. Очень маленькая, сырая и темная, где-то под потолком узенькое окошечко, через которое еле-еле пробивался свет. Время было холодное, камера не отапливалась.

Но Ашхабадская тюрьма, где мы просидели зиму 1918/19 г., имела то преимущество перед арестными домами, что здесь регулярно, один раз в день, выводили на часовые прогулки вместе с уголовниками. Надзиратели были русские. На высоких, почти крепостных стенах, окружавших тюрьму, службу несли солдаты англо-индийской армии – сипаи. Когда нас выводили на прогулку, эти бородачи в белых чалмах смотрели на нас с тюремной стены, держа наготове винтовки и пулеметы.

Несмотря на строгую охрану, к нам просачивались отрывочные сведения о положении дел на воле, и мы живо обсуждали их.

Мы узнали о капитуляции Турции, а затем Австро-Венгрии и Германии перед Антантой, а потом и об окончании мировой войны. Нам рассказывали, что с приходом к власти в Закаспии эсеровского правительства жизнь народа не только не улучшилась, как было обещано его главарями, а стала еще хуже. Английские оккупационные власти не очень-то раскошелились на оказание материальной помощи своему «союзнику». Наоборот, они буквально до основания подчистили все склады в Красноводске, где хранились хлопок, кожа, шерсть и другое сырье, предназначенное для вывоза в Советскую Россию. Все это англичане безвозмездно вывезли в персидский порт Энзели.

Положение внутри Закаспия быстро менялось. Банда правых эсеров, возглавляемая Фунтиковым и Седых, без суда и следствия арестовала и расстреляла нескольких советских комиссаров и активных деятелей из числа левых эсеров. Сотни других большевиков и левых эсеров были арестованы, большинство из

них с помощью англичан высланы в Энзели и Петровск на расправу господствовавшей там контрреволюционной власти.

Но даже правительство Фунтикова теперь (несмотря на «официальный договор»!) не устраивало англичан, так как не все они были согласны на отторжение Средней Азии от России. Тогда областное правительство, состоявшее из правых эсеров и кадетов, было свергнуто. Фунтиков, Седых и другие очутились в тюрьме. Все это было сделано английским экспедиционным командованием. Вместо правительства Фунтикова была учреждена так называемая Директория. Во главе Директории, которую именовали также «Комитетом общественного спасения», первоначально был поставлен генерал Крутен, а через несколько дней непосредственный палач бакинских комиссаров Семен Дружкин, старый английский агент. В Директорию, состоявшую из шести человек, было введено два туркмена из числа реакционных баев.

Как-то в нашей камере появился в сопровождении охраны и еще каких-то неизвестных нам лиц глава Директории Дружкин. Мы спросили его, почему нас продолжают держать в тюрьме, какие обвинения нам предъявляются. Дружкин ответил на это: «Мы держим вас как заложников. Если большевики в Ташкенте расстреляют задержанных ими правых эсеров, то мы расстреляем вас».

Мы жили в камере очень дружно.

За время пребывания в тюрьме в нашей камере побывали разные люди. Большинство оставили по себе добрую память.

Но на всю жизнь я сохраню светлые воспоминания о детях моего друга Шаумяна. Разместившись на одной узкой железной кровати вместе с Суреном Шаумяном, я часто думал, какой это замечательный парень! Сурен и Лева были готовы разделить участь своего отца: спокойствие не покидало их. Все лишения тюремной жизни они переносили с большим достоинством, не хныкали, не жаловались.

В Ашхабадской областной тюрьме заболевание моих десен сильно обострилось: сказалось исчезновение лука из пищевого рациона. Друзья потребовали от начальства, чтобы меня немедленно перевели в больницу. Через день наше требование выполнили.

Больничное арестантское отделение не походило на тюрьму. А главное, впервые за много месяцев я с мылом вымылся в ванне, снял свое грязное белье, надев чистое, больничное. Мое обмундирование взяли для дезинфекции. Внимательно осмотрев меня, больничный врач установил, что у меня цинга.

Через день-два в больнице появился Артак Стамболцян и

попросил свидания со мной. Еще через несколько дней он пришел уже вместе с Топуридзе, которого я хорошо знал. Это был замечательный конспиративный работник нашей бакинской организации, умевший отлично организовывать сложную технику партийного дела, налаживать связи, места явок. Топуридзе привез нам от Бакинского комитета партии 30 тысяч рублей для поддержки арестованных товарищей и организации нашего побега, передал также бакинские газеты и листовки, которых нам так недоставало.

Судя по всему, было ясно, что если в первый раз англичане прибыли в Баку как «приглашенные» и верховодили всеми делами за спиной «Диктатуры Центрокаспия», то во второй раз они вступили в Баку уже как настоящие оккупанты-победители.

В своих приказах командующий войсками генерал Томсон объявил: «Всякое лицо, выполняющее то, что я сочту идущим в ущерб порядку, спокойствию или безопасности граждан, подлежит наказанию, а более серьезные преступления будут разбираться специальным судом, уполномоченным выносить смертный приговор». В декабре 1918 г. оккупанты установили на центральной площади Баку виселицы. В середине декабря в тюрьмы была брошена большая группа рабочих – известных профсоюзных и политических деятелей.

Собравшаяся рабочая конференция представителей фабзавкомов постановила начать всеобщую политическую забастовку протеста. Забастовка охватила многие предприятия. Ни мусаватистское правительство, ни английское оккупационное командование не ожидали столь решительных действий со стороны бакинского пролетариата.

Забастовка, приняв боевой характер, усиливаясь и разрастаясь, продолжалась более четырех дней. Английское командование вынуждено было пойти на попятную – вернуть отправленных в Энзели деятелей рабочего движения, освободить из тюрем политзаключенных, а также не мешать проведению рабочих собраний. Победа вдохновила рабочие массы, вселила в них веру в свои силы. Рабочие фактически отвоевали свободу собраний и право деятельности своих организаций.

Все это нам рассказал Топуридзе, а многое мы прочли в газетах, которые он нам привез.

От него мы узнали также, что бакинские коммунисты предложили рабочей конференции выдвинуть перед английским командованием требование об освобождении из Закаспийской тюрьмы членов семей погибших бакинских комиссаров и всех заключенных там бакинских большевиков. Рабочая конференция так и поступила.

27 февраля 1919 г. нам сообщили, что мы освобождаемся из тюрьмы и будем отправлены в Баку. Радости нашей не было границ.

Ехали мы из Ашхабада в бодром, приподнятом настроении, радуясь, что самые тяжелые испытания остались позади. Мы чувствовали себя готовыми выдержать любое новое испытание и буквально жаждали революционной работы.

В дороге нас как будто никто не охранял. Но на красноводскую пристань шли уже под конвоем. Только мы поднялись по трапу на пароход, как сразу же оказались в лапах английской охраны. После долгих пререканий с солдатами к нам подошел английский офицер с переводчиком. Переводчик изложил офицеру наши протесты против ареста, а потом сообщил следующее: «Господин офицер просит передать вам, чтобы вы не волновались. Вы вовсе не арестованы, вы только находитесь под покровительством его величества короля английского Георга Пятого». После этого они удалились. До нас не сразу дошел лицемерный смысл и поразительная нелепость заявления английского офицера.

Наконец пароход причалил. Но английская охрана не выпускала нас с корабля.

Прошло более часа. Вдруг мы видим – в порту появились люди. Они предъявили пароходному начальству документ о нашем освобождении, который, как мы потом узнали, Президиуму постоянной рабочей конференции удалось с большим трудом буквально вырвать у английского командования.

Впоследствии нам стало известно, что Москва принимала меры по организации нашего обмена. В дело обмена арестованных включился выдающийся армянский писатель, председатель Кавказского товарищества армянских писателей в Тифлисе Ованес Туманян.

Так закончились наши скитания по тюрьмам Закаспия в период английской оккупации.

Глава 5
Бакинское подполье при английской оккупации

Итак, мы снова в Баку. Я уже любил этот город ветров, «черного золота» и вечных огней. Баку – это город моей революционной юности. Все самые яркие и светлые воспоминания молодости связаны у меня с этим городом.

Фактическим хозяином города уже совершенно открыто выступало оккупационное английское военное командование генерала Томсона, под дудку которого плясало и местное помещичье-буржуазное националистическое правительство Хойского. Правда, наряду с этим существовала постоянно действующая легальная организация рабочих – Бакинская рабочая конференция, в Президиуме которой большинство составляли меньшевики и эсеры.

Нефтяная промышленность переживала в ту пору острейший кризис. Добываемую нефть трудно было сбывать, так как Баку был отрезан от Советской России, а она являлась основным потребителем бакинской нефти. Зарплата рабочих на промыслах снижалась, а дороговизна в городе непрерывно росла. Кризис тяжело ударил и по работникам водного транспорта: большинство нефтеналивных судов Каспийского флота было поставлено на прикол. В городе росла армия безработных. Возмущение среди бакинских рабочих становилось всеобщим.

В этих условиях рабочие нефтяных промыслов, торгового порта, матросы настаивали на проведении рабочей забастовки.

Мне казалось, что начать забастовку в реально сложившихся в тот момент условиях было нежелательно и преждевременно. Когда я, человек свежий, стал высказывать свое мнение, кое-кто из членов комитета партии как-то даже несколько растерялся. Помню, что я внес тогда предложение: сохраняя в силе решение Бакинской рабочей конференции о проведении забастовки, не торопиться с определением ее конкретных сроков; использовать остающееся время для самой тщательной и всесторонней подготовки. После длительного обсуждения Бакинский комитет партии принял мои предложения.

Мне было поручено выступить на Бакинской рабочей конференции 11 марта с большой программной речью от большевиков и подробно рассказать об обстоятельствах гибели бакинских комиссаров, разоблачить не только роль английского

командования, но и подлинное лицо эсеров, меньшевиков и дашнаков, чтобы подготовить обстановку, при которой будет легче лишить эти партии большинства в Президиуме рабочей конференции.

Когда я заявил, что «руки господ лидеров меньшевиков и эсеров, сидящих в этом зале, обагрены кровью бакинских комиссаров», среди делегатов началось большое волнение. Все встали с криками: «Палачи! Позор! Долой эсеров, меньшевиков и дашнаков!» Я заметил, что при этом лица многих покрылись смертельной бледностью.

В конце концов конференция большинством голосов приняла наше предложение об избрании нового состава Президиума рабочей конференции и поручила ему образовать Центральный стачечный комитет, в который должны войти все члены Президиума конференции и по два представителя от каждого района. Персональным голосованием в новый состав был избрания.

Надо сказать, что поведение нефтепромышленников, азербайджанского буржуазного правительства в отношении рабочих к тому времени становилось все более провокационным. Промышленники, чувствуя поддержку английского оккупационного командования, перестали платить рабочим заработную плату.

Обстановка накалялась. 15 марта собрался Центральный стачечный комитет совместно с районными стачкомами. От большевиков выступили Гогоберидзе и Мирзоян. Они присоединились к тем, кто предлагал объявить всеобщую экономическую забастовку, если рабочим в течение двух-трех дней не будет выплачена зарплата.

Член азербайджанского парламента Пепинов сообщил, что англичане взяли из банка на свои нужды 100 миллионов рублей и в результате в банке не осталось денег.

Под угрозой всеобщей забастовки азербайджанское правительство известило Президиум рабочей конференции о том, что им приняты экстренные меры. И действительно, вскоре зарплата была выдана.

20 марта исполнялось шесть месяцев со дня трагической гибели 26 бакинских комиссаров. В связи с этим Бакинский комитет партии внес на обсуждение рабочей конференции предложение объявить 20 марта днем траура, провести однодневную забастовку, а также митинги и собрания, посвященные памяти погибших товарищей. Конференция единодушно приняла это предложение.

Почти на всех предприятиях работа в этот день была прекращена. Город бурлил. Мне довелось в тот день выступить в Черном городе, в столовой Нобеля. Столовая вмещала около тысячи человек. При рассказах о том, как погибли бакинские комиссары, многие рабочие плакали. После окончания митинга я направился в Маиловский театр, где тоже выступил на массовом митинге. Прилегающие улицы были запружены народом.

Митинг был здесь в полном разгаре. Возбуждение достигло высшего предела, когда один из выступавших сообщил, что прямые убийцы Шаумяна, Джапаридзе и других комиссаров – Дружкин и Алания – доставлены английским военным командованием в Баку для дальнейшего следования через Батум в Англию и в данный момент находятся на пароходной пристани. Тысячеголосый митинг загудел. Раздались голоса, предлагающие идти к зданию английского военного командования и требовать выдачи убийц, а в случае отказа – разгромить здание.

Поняв, что такой необдуманный, стихийный порыв неизбежно закончится кровопролитием, ибо английскому 15-тысячному гарнизону не стоило большого труда расстрелять безоружную рабочую демонстрацию, мы решили воспрепятствовать этому опасному шагу. Мы предложили послать делегацию от участников митинга к английскому командованию с требованием выдать убийц для проведения над ними законного суда.

Английское командование отказалось их выдать. Видимо, эти люди достаточно много знали о роли британских властей. Англичане все же перехитрили нас и, как потом стало известно, отправили их на бронеавтомобиле через Шемаху на станцию Аджи-Кабул. Им удалось посадить Дружкина и Аланию в поезд незамеченными и отправить в Батум.

В апреле на одном из заседаний Бакинского комитета партии я неожиданно узнал, что товарищи уже давно создали при Бакинском комитете партии боевую группу.

С одной стороны, это меня обрадовало. Но в то же время я был поражен, когда участники этой группы Гигоян, Ковалев и Алиханян сказали, что надо лишь решать вопрос о том, когда начать вооруженное восстание для захвата власти в Баку. Еще больше меня удивило то, что многие члены партийного комитета поддержали предложение о восстании. После долгих споров члены комитета поручили мне вместе с боевой группой уточнить положение и свое мнение доложить на следующем заседании комитета.

Когда вместе с этой тройкой я стал разбираться во всех их делах, то просто поразился, как можно было говорить серьезно о восстании при том ограниченном количестве оружия и столь

малочисленных людских кадрах, которыми они располагали.

На заседании Бакинского комитета партии в присутствии этой тройки я заявил, не раскрывая деталей, что у боевой группы нет реальной силы, способной на вооруженное восстание, высказал свое мнение и о политической стороне этого вопроса. «Если бы, – говорил я, – у нас и было достаточно вооружения и боевых групп, то и тогда мы не в силах сейчас сами одолеть имеющийся в Баку 15-тысячный гар низон английских оккупационных войск и несколько тысяч азербайджанских солдат. А когда Советская Россия сможет прийти к нам на помощь, никому из нас не известно».

Поэтому я предложил, чтобы боевая группа продолжала работу по собиранию сил и оружия, а вопрос о вооруженном восстании был отложен до более подходящего времени. Мне показалось, что члены комитета партии не только согласились со мной, но даже были довольны такой постановкой вопроса.

В марте 1919 г. нам удалось провести Бакинскую партийную конференцию, первую после гибели бакинских комиссаров. Состояние партийной работы все еще не соответствовало общему подъему рабочего движения. Конференция приняла решение: немедленно взяться за восстановление партийных ячеек на предприятиях. Много внимания конференция уделила вопросу о работе среди мусульманских рабочих, которая нуждалась в значительном улучшении.

Конференция поручила Бакинскому комитету партии послать своих представителей в Тифлис для обсуждения крайкомом всех текущих вопросов, и в том числе о созыве в ближайшее время Общекавказского партийного съезда, но не в Тифлисе, а в Баку.

Гогоберидзе, Анашкин и я выехали в Тифлис для участия в заседании краевого комитета партии и выполнения решений, принятых Бакинским комитетом партии.

Хожу по улицам старого Тифлиса. Смотрю на дома, разглядываю витрины магазинов, всматриваюсь в лица проходящих людей. Все вокруг как будто и не изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Но одно не похоже на прежний Тифлис – как и в Баку, беззаботно разгуливают группами и в одиночку английские солдаты и офицеры. Появление на улицах английских солдат в непривычных здесь шотландских юбках становится предметом шуток окружающих. Однако англичане ведут себя довольно мирно и даже добродушно; население отвечает им тем же.

Заседание крайкома было созвано по всем правилам конспирации. Мы все давно не виделись, поэтому встреча была

радостной и теплой. По-братски обнялись, вспомнили общих друзей. Тифлисские товарищи с большим интересом ждали от нас подробной информации о положении дел в Баку.

Самым главным, если можно так выразиться, лицом в крайкоме был тогда Филипп Махарадзе, к которому я давно уже питал чувство глубокого уважения. В Филиппе было какое-то особое обаяние. Среднего роста, с красивыми чертами лица, синими глазами и длинной бородой, он производил впечатление библейского пророка, какими их рисовали древние живописцы.

В ту пору в крайкоме партии работал – и я часто встречался с ним – Дануш Шавердян. Дануш пользовался общей любовью и уважением. К несчастью, он был репрессирован в 1937 г. и погиб.

Очень приятной была для меня встреча с товарищем Мравяном, на плечах которого лежала тогда основная тяжесть работы по руководству коммунистическими организациями Армении. Осенью 1915 г., когда я, в свои 20 лет, только что вступил в большевистскую партию, Мравян помогал мне в первых шагах моей партийной деятельности.

Я рад был также встрече и с Мамия Орахелашвили, с которым впервые познакомился в октябре 1917 г. на заседании Кавказского краевого съезда партии.

Вспоминаю курьезное обстоятельство, связанное с Торошелидзе: его жена была меньшевичкой, и больше того – как активный политический деятель входила в состав Центрального комитета партии меньшевиков Грузии. Когда я приехал в Тифлис и узнал об этом, был необыкновенно удивлен. Смеясь от души, я спрашивал: «Неужели они никогда так и не говорят между собой о политике? А если говорят, то как им удается конспирировать свои партийные дела друг от друга?» И действительно, казалось весьма странным, если не сказать противоестественным, что член подпольного крайкома большевистской партии и активный член ЦК партии меньшевиков живут под одной крышей как муж и жена.

Однако Торошелидзе всегда производил на меня хорошее впечатление, и я безоговорочно доверял ему. После окончательной победы советской власти в Грузии Торошелидзе продолжал с успехом работать.

В Кутаисской тюрьме сидели арестованные меньшевиками видный член крайкома партии, выдающийся деятель и ветеран партии Миха Цхакая и старый большевик Мдивани.

С Бесо Ломинадзе я впервые встретился на заседании крайкома, где он представлял тогда Тифлисский комитет партии. Он был моложе меня; в 1917 г. на политической арене его еще не было.

Очень сердечной была у меня встреча с Георгием Стуруа. Нас так много с ним связывало! Позади была совместная работа в Коммуне и бакинском подполье, тюрьма, многие испытания, которые обнажают все качества человека. Мы бесконечно друг другу доверяли и любили друг друга, как брат брата.

Кроме встреч с руководящими партийными деятелями в Тифлисе, я виделся тогда со многими своими бывшими одноклассниками. В подавляющем большинстве они стали уже за это время коммунистами. Я был рад этим встречам.

Надо ли говорить, как рада была моя тетя Вергиния Туманян, а также ее муж и дети, что я вернулся живой и здоровый! Меня окружили большой заботой, сделали все, чтобы, несмотря на очень большую работу, которую мне приходилось тогда вести, три дня, проведенные в Тифлисе, стали в каком-то смысле днями отдыха.

Очень хотелось поехать в Санаин и повидаться с матерью, братьями и сестрами. Однако от такой поездки пришлось отказаться – дела в Баку не терпели задержки.

Не удалось повидать и Ашхен. Она находилась недалеко от Сухума, в небольшой армянской деревне, где работала учительницей. Зная, что она огорчена моим длительным отсутствием, я отправил письмо, в котором просил ее после окончания учебного года вернуться в Тифлис и известить меня об этом, чтобы я тоже приехал туда.

Вспоминая те давние времена, хочу несколько подробнее рассказать о семье Туманян.

Жили они в собственном доме, в одном из самых заброшенных районов Тифлиса – в Сурпкарапетском овраге.

Моя тетя Вергиния Туманян хотя нигде и не училась, но умела писать и читать. Конечно, она не разбиралась в тонкостях политики, но всей душой была за революцию и большевиков. Муж ее, Лазарь (по паспорту – Габриел) Туманян, был человеком более грамотным. Он работал приказчиком, мечтал стать владельцем лавки, берег для этого каждую копейку. Лазарь Туманян был трудолюбив, добропорядочен, честен; наверное, это и было главной причиной его неуспеха в «бизнесе». В отличие от жены революцией и социализмом он не интересовался. Зато от корки до корки ежедневно прочитывал армянскую консервативную газету «Мшак». Жена его фактически господствовала в доме. Муж любил ее и противоречить ей не решался.

Я рассказал тете Вергинии о всех злоключениях в моей жизни за последние полтора года, а также, насколько можно было ей знать, о том, как развертываются революционные события в Баку. Когда я ей сообщил, что здесь у нас происходят тайные

заседания, она отнеслась к этому одобрительно.

Как-то Филипп Махарадзе рассказал мне, что меньшевики стали настойчиво за ним следить. Он непрерывно менял свои нелегальные квартиры, но все же опасался, как бы не попасть в тюрьму. Я спросил тетю, согласится ли она приютить у себя на квартире одного видного грузинского коммуниста, очень хорошего товарища, которого преследуют меньшевики. Без всяких колебаний она согласилась. Я сказал ей честно: «Имей в виду, дело это опасное. Если он провалится, то и вам всем может здорово попасть». Она ответила, что не боится. Тогда я спросил: «А как посмотрит на это твой муж?» – «Не беспокойся, – сказала она, – он возражать не будет».

До декабря 1919 г. Филипп Махарадзе продолжал благополучно жить в доме Туманянов. Он вел кипучую революционную работу. Но как-то Филипп пренебрег правилами конспирации, вышел в дневное время из дома. Его сразу же узнали на улице и арестовали. С его бородой (он не мог расстаться с нею даже в интересах конспирации!) не узнать Махарадзе было невозможно человеку, который хотя бы раз видел его раньше. У Филиппа был паспорт Лазаря Туманяна. Полиция раскрыла нелегальную квартиру, произвела обыск, нашла и изъяла ряд важных партийных документов. Хозяин квартиры и его 17-летний сын-гимназист Гайк (позже его стали называть Гай; это и стало его именем по документам), исполнявший отдельные поручения Филиппа и мои, были арестованы. Однако Вергиния Туманян и после этого продолжала заботиться о Филиппе. Через моего 13-летнего брата-школьника Анушавана (Артема), который в то время тоже жил у них, она посылала в тюрьму передачи своему мужу, сыну и Филиппу.

Вергиния Туманян была не только умным, передовым человеком, но и отличной матерью. Она родила семерых детей. Трое из них умерли от инфекционных болезней; три дочери и сын вступили в Коммунистическую партию. Гай Туманян по окончании Коммунистического университета им. Свердлова начал свою службу в Красной армии в Главном разведывательном управлении. Окончил Военную академию. Был в Китае, в Испании, когда там шла гражданская война. Всю Отечественную войну провел на фронтах в качестве члена военного совета танковой армии и на Дальнем Востоке – в боях за освобождение Маньчжурии. Ныне генерал-лейтенант запаса, кандидат наук, преподает философию в одном из московских вузов.

Когда я стал работать в Москве, Вергиния Туманян и ее муж вместе с моей матерью подолгу жили у меня. Муж Вергинии умер в возрасте 80 лет. Сама она и моя мать жили дружно, как родные

сестры, и умерли в одну неделю, когда Вергинии было 86, а матери 93 года. Все трое похоронены рядом на Новодевичьем кладбище.

Мы вернулись в Баку и доложили комитету партии об итогах своей поездки. За время нашей поездки в Тифлис накопилось немало всяких дел. Коммунистам, работавшим в Бакинском совете профсоюзов, без особого труда удалось провести решение о созыве съезда профсоюзов Закавказья, Дагестана и Закаспия. Съезд открылся в Баку 7 апреля, а 11 апреля в Тифлисе – съезд профсоюзов Грузии. Несмотря на это, между Баку и Тифлисом все еще продолжались переговоры о созыве Общекавказского съезда профсоюзов. Собравшийся в Баку съезд решил направить в Тифлис для окончания переговоров своего делегата. Была выдвинута моя кандидатура. 13 апреля мне было предоставлено слово для выступления на съезде профсоюзов Грузии.

В сокращенном виде мое выступление так изложено в сохранившихся протокольных записях съезда:

«Слово предоставляется представителю бакинцев тов. Микояну, который призывает пролетариат Грузии выйти из узких рамок своего государства и найти пути для объединения всего рабочего класса.

Далее оратор говорит о необходимости идти вместе пролетариату Тифлиса и Баку, несмотря на принципиальные расхождения во взглядах наших партий…»

Поскольку меньшевиками все было уже предрешено заранее, это мое обращение от имени бакинского пролетариата ничего, конечно, изменить уже не могло. Призыв к объединению всех партий в социалистический фронт и прекращению партийной вражды был отвергнут.

Партийная работа в Баку продолжала развиваться вширь и вглубь. Однако она страдала от отсутствия связи с советской Астраханью и с ЦК партии. Мы не получали центральных партийных газет. Партийная касса была пуста, и пополнить ее было неоткуда.

По всем этим причинам мы стали искать пути к установлению связи с Астраханью. Решили купить рыбацкую лодку, чтобы на ней отправить своего представителя с письмом в Астрахань.

Лодка удачно пробралась в Астрахань и во второй половине мая вернулась в Баку. Нам привезли партийную литературу и какую-то сумму «николаевских» денег, которые в Советской

России были к тому времени отменены, а в Закавказье ценились еще достаточно высоко. Привезли также письмо С.М. Кирова, прибывшего в Астрахань в начале 1919 г. и руководившего там всей работой. Сергей Миронович писал нам, что в Астрахани нет бензина и поэтому имеющиеся там самолеты бездействуют, в то время как деникинцы безнаказанно бомбят Астрахань. Такое же положение было и в других районах Советской России.

Мы немедленно взялись за организацию покупки бензина и лодок: это была бы наша лучшая помощь Красной армии.

Вскоре под руководством Давлатова товарищи Губанов, Рогов и Сарайкин организовали знаменитую морскую экспедицию Баку – Астрахань.

Закупать бензин в Баку было очень трудно: его продажа находилась под неусыпным контролем английского военного командования. Вывозить же бензин из Баку по морю (кроме Персии) вообще было категорически запрещено. Благодаря умению Давлатова и его товарищей нам удалось за лето отправить в Астрахань двенадцать парусных лодок с бензином.

Но самый путь от Баку до Астрахани был сопряжен со смертельной опасностью. Дельта Волги охранялась военными судами деникинцев. Эти суда все время шныряли по морю. Помню, одна из наших первых лодок верстах в тридцати пяти от Астрахани попала таким образом в руки деникинцам и ее экипаж был расстрелян. Погиб в октябре 1919 г. и председатель ЦК союза водников Федя Губанов, лодка которого из-за неблагоприятной погоды попала под Петровском в руки деникинцев. Он был замучен ими и брошен в море. Вместе с ним деникинцы уничтожили всю команду лодки. Так же трагически погиб Буниат Сардаров, возвращавшийся из Астрахани в Баку.

Из двенадцати отправленных нами к концу лета лодок погибло четыре. Много товарищей погибло тогда у нас. С великой горестью я вспоминаю о них.

Между тем революционные события в Баку нарастали с невероятной быстротой. Одна за другой возникали перед нами политические проблемы, острые вопросы тактики и стратегии.

Мы были уверены, что главное для нас состоит в том, чтобы закрепить руководство рабочим движением в Баку, готовить, вооружать и обучать боевые отряды рабочих для восстания и захвата власти. Рассчитывали, что сможем приурочить вооруженное восстание к началу навигации, когда к нам на помощь смогут подойти советские военные корабли из Астрахани.

Я задавал себе вопрос: какую конкретную государственную форму должна принять советская власть на Кавказе, какой территорией себя ограничить? И вот, раздумывая обо всем этом,

мы пришли к выводу, что в предстоящей борьбе нам надо провозгласить лозунг «Да здравствует Советский Азербайджан!» – и под этим лозунгом вести массы на восстание.

Для русских коммунистов такая постановка вопроса была столь неожиданной, что они не сразу могли понять, почему выдвигается этот лозунг. Я разъяснял, что все национальности, проживающие в Азербайджане, будут иметь равные права и равные возможности для развития своей культуры.

После заседания комитета мы встретились с Караевым, Гусейновым и Агаевым. Они были очень обрадованы нашим решением: оно облегчало борьбу с мусаватистами. Бакинская партийная конференция одобрила наш лозунг. Он стал боевой программой Бакинской партийной организации.

Вскоре мы поехали в Тифлис на очередное заседание Кавказского краевого комитета партии. Тифлисские товарищи, узнав о нашем решении, были крайне недовольны. Они продолжали стоять на старых позициях и не хотели признавать никаких самостоятельных государств в Закавказье, хотя эти государства уже реально существовали, и не считаться с этим фактом было невозможно и неразумно.

Приближалось 1 Мая. Нарастал новый подъем рабочего движения в Баку. В связи с этим все мы по горло были заняты рассмотрением и решением массы вопросов, поступавших со всех сторон. Но, несмотря на это, мы заблаговременно начали серьезную подготовку к предстоящей первомайской демонстрации.

Когда огромная масса людей из всех районов потекла со всех улиц на площадь Свободы, картина получилась довольно впечатляющая. Мы шли очень довольные тем, что наша демонстрация протекает так мирно и организованно.

Вдруг вдали навстречу нашему шествию показались два английских танка. Быстро переговорив между собой, мы, члены Президиума, решили: не отступать ни шагу, если даже танки будут идти на нас. Крепко взялись за руки, еще громче запели и продолжали свой путь. Танки подходят все ближе и ближе. Наступила минута крайнего напряжения. И в последний момент, когда до столкновения оставалось каких-то несколько метров, танки неожиданно свернули в сторону, остановились и дали нам дорогу.

Так, поднимаясь по Садовой, мы подошли к двухэтажному дому с балконом. В этом особняке Тагианосова располагался английский военный штаб. На балконе стояли английские офицеры и смотрели на демонстрацию. Оценив обстановку, мы сразу же приняли решение – организовать перед английским

штабом митинг. Я поднялся на один из грузовиков и произнес краткую речь, направленную против военной интервенции английского империализма и его союзников. С досадой подумал я о том, как жаль, что английские офицеры не знают русского языка и что мы не взяли с собой переводчика.

Вдруг, когда я закончил свою речь, на грузовик вскочил молодой парень, видимо студент, и попросил разрешения перевести речь на английский язык. Говорил он громко, уверенно, убежденно. Но англичане никак не прореагировали на эту речь.

Надо сказать, что демонстрация, как и вообще все празднование 1 Мая в том году, произвела огромное впечатление не только на рабочих, но и на городских обывателей, которым казалось, что уже «пришли большевики».

Водники и железнодорожники сообщили, что англичане хотят направить Деникину оружие и боеприпасы. По нашей рекомендации транспортники саботировали этот приказ оккупантов. Таким образом, мы вступили в прямой конфликт с английским военным командованием.

Вечером 2 мая после заседания Бакинского комитета партии состоялась Общебакинская партийная конференция, на которой после моего доклада было принято решение о проведении всеобщей стачки.

5 мая состоялось заседание стачечного комитета, избранного рабочей конференцией. Понимая, что члены Центрального стачечного комитета, несмотря на все средства конспирации, все же могли быть арестованы, мы решили создать запасной комитет и заранее определили его персональный состав. В стачкоме первого состава должны были работать пять человек: Губанов, Караев, Микоян, Стуруа и Чураев. Во главе запасного стачкома мы утвердили Гогоберидзе. Кроме того, опять-таки на всякий случай, мы организовали еще и третий состав стачкома во главе с Анашкиным.

Как было условлено, ровно в 3 часа ночи погас свет. Забастовка началась.

Бакинские электростанции – а их было три: на Баилове, в Белом городе и Балаханах – должны были сыграть решающую роль в забастовке. Во-первых, нельзя не учитывать огромного психологического воздействия на население внезапно наступившей полной темноты в городе, а во-вторых, отключение электроэнергии лишало возможности работать всякого рода штрейкбрехеров, если бы таковые нашлись.

Не находя рабочих, правительственные чиновники стали арестовывать и изгонять из квартир их жен и детей. Репрессии

усиливались. Однако если они и влияли в отдельных случаях на некоторых мусульман-рабочих, то совершенно не достигали цели в отношении сознательных рабочих, которых все это только еще более озлобляло.

Полиция усиленно разыскивала членов стачечного комитета. Мы работали день и ночь. Иногда приходилось в течение дня по нескольку раз менять места заседаний исполкома стачкома. В районах все время шли аресты членов местных стачечных комитетов.

8 мая Центральный стачечный комитет получил предложение от Министерства труда азербайджанского правительства прийти на переговоры. Предварительным условием этих переговоров мы поставили: освобождение всех арестованных, немедленное прекращение репрессий и неприкосновенность нашей делегации.

Министерство дало согласие, и мы – Караев, Чураев и я – три представителя, избранные стачкомом, пошли вечером в министерство труда. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в большой зал заседаний. Председательское место за столом занял министр Сафикюрдский, справа от него по его приглашению сели мы, напротив представители капиталистов: три тучные, пожилого возраста персоны. Один из них был русский, другой – азербайджанец, а третий – армянин. Чуть поодаль сидели фабричные инспектора, а также член парламента Абилов. Особняком держался представитель английского командования капитан Уолтон.

Капиталисты выступали по очереди и горячо спорили, считая неприемлемым ряд важных пунктов договора. Однако и они заявляли, что если не будет разрешен вывоз нефти в Астрахань, то не будет подписан никакой коллективный договор. Таким образом, в одном вопросе мы были с ними едины. В то же время это означало прямой конфликт с английским командованием, запрещавшим вывоз нефти в Астрахань по политическим соображениям: не давать горючего советской власти. Для транспортировки же ее в другие места не было никаких технических средств. Нефтепромышленность Баку была в тупике.

Прения шли долго, около трех часов. Никаких практических результатов не предвиделось. Тогда я заявил министру примерно следующее: мы понимаем, что вывоз нефти – это поддержка не только бакинской нефтяной промышленности, но и Советской России, и мы за такую поддержку, потому что лучшим другом азербайджанского народа являются не английские империалисты, а Советская Россия. Здесь экономические интересы Азербайджана и Советской России полностью сходятся. Теперь вы отклоняете это ввиду того, что английское командование против. Где же

тогда независимость Азербайджана? Сафикюрдский пробормотал что-то очень невразумительное о том, что «нельзя не считаться с реальным положением». На этом переговоры закончились.

Еще в начале стачки ряд эсеров и меньшевиков, отстраненных от выборных должностей, предложили нам свои услуги для различных поручений. Мы на это согласились, тем более что некоторые эсеры уже работали у нас по таким же поручениям. В Баладжарах у нас тогда не было своего работника, и эсер Ребрух был послан туда в качестве нашего уполномоченного. Надо сказать, что эсеры, пришедшие к нам, в первые дни довольно исправно выполняли все задания стачкома. Но чем напряженнее становилась борьба, тем быстрее скатывались они к анархическим действиям. В Баладжарах, например, они предлагали разобрать рельсы, взорвать путь, чтобы помешать движению поездов, они предлагали также взорвать линию электропередачи в город и т. п.

Понятно, что все эти предложения были нами решительно отвергнуты.

Как-то во время заседания Центрального стачкома я вышел в соседнюю угловую большую комнату, где тоже была контора профсоюза, и вдруг увидел полицейских, направивших на меня со всех сторон дула маузеров. Раздался окрик: «Стой!» Я тут же бросился обратно в комнату заседания и сообщил товарищам, что мы окружены полицией. В суматохе нам удалось, к счастью, все бумаги уничтожить. В общей сложности нас оказалось человек сорок: кроме членов стачкома в комнате находились представители из районов, молодые рабочие-связисты и работающие на ротаторе, который мы к тому времени приобрели для выпуска листовок.

Нас вывели на улицу, окружили большим нарядом полицейских и повели в жандармское управление. Там началось выяснение наших фамилий. По дороге мы сговорились между собой, что основные руководители стачки – Чураев, Анашкин и я – возьмут на себя всю ответственность. Большинство товарищей, которых полиция знала плохо или совсем не знала в лицо, должны были скрыть свои настоящие фамилии и отрицать участие в руководстве стачкой. Остальные, которым опасность не угрожала, фамилии свои могли назвать.

Среди нас был недавно приехавший из Тифлиса Георгий Стуруа. Полиция знала, что он входит в состав стачкома, но не знала его в лицо. Начальник сыскного отделения спросил: «Кто здесь Стуруа?» Мы ответили, что Стуруа уже уехал обратно в Тифлис. При опросе он назвался Ахабадзе.

После окончания процедуры выяснения личности арестованных начальник сыскного отделения заявил, что мы

пятеро – Чураев, Мирзоян, Коваль, Анашкин и я – изолируемся от всех остальных арестованных. Кроме того, мне и Ковалю было объявлено, что мы арестованы по распоряжению английского штаба за подготовку вооруженного восстания и потому находимся в распоряжении английского командования. Нас пятерых повели в сыскное отделение полиции. Остальные товарищи остались в жандармском управлении, не зная, что с ними будет дальше. Пока нас вели по улице, наша молодежь следила, куда нас ведут.

Нас поместили в темной и грязной, с разбитыми окнами комнатушке сыскного отделения. Но все мы настолько устали, что тут же улеглись на полу, чтобы хоть немного поспать. В течение последних пяти дней я спал, может быть, всего лишь несколько часов. Но и тут поспать не удалось. Из соседней комнаты послышались страшные крики и вопли. Полицейские избивали там каких-то арестованных. Думалось, что скоро очередь может дойти до нас.

Наконец вызвали в кабинет к начальнику бакинской сыскной полиции Фаталибекову. Он стал спрашивать, кто мы такие. Мы назвали свои фамилии. Фаталибеков начал допрос с Чураева и Коваля, стараясь уязвить их самолюбие и добиться, чтобы они признали себя большевиками. Он говорил им: «Вы трусы, вы никогда не сознаетесь, а нам вся эта канитель надоела». Особенно зло он нападал на Коваля, упорно заявлявшего, что он не большевик. Видимо, у Фаталибекова было указание англичан арестовать Коваля во что бы то ни стало, независимо от его участия в стачке. Мы заступились, заявив, что из нас пятерых только трое являются большевиками: Мирзоян, Анашкин и я. Чураев же социал-демократ, меньшевик, а Коваль – беспартийный. Тогда он взял с нас подписку, что мы трое большевики, а Коваль и Чураев никакого отношения к партии большевиков не имеют.

После Фаталибекова нас передали на допрос к его помощнику Бачурину, царскому полковнику. Он никак не мог понять, что такое рабочая конференция, Президиум конференции, рабочий клуб, стачком, безбожно путал все эти понятия, но допросил каждого из нас подробно и без грубостей.

Наконец часам к двум ночи вся эта канитель закончилась. Бачурин созвонился со штабом английского военного командования и, запросив, как дальше поступить со мной и Ковалем, находившимися в непосредственном распоряжении английского военного командования, получил распоряжение направить всех в тюрьму.

Часа в три-четыре ночи нас повели в центральную тюрьму и посадили всех в одну камеру на пятом этаже. Это был корпус для

смертников и вечных каторжников. Камеры здесь были с толстыми стальными дверьми, с маленькими отверстиями для глаза – волчками. На требование дать кровати нам ответили отказом. Расположились на цементном полу, но спали как убитые.

На следующий день в камеру пришел вице-губернатор. Мы снова потребовали кровати. Я в шутку сказал тогда вице-губернатору, что лучшее оборудование тюрьмы необходимо в его личных интересах, ибо, почем знать, может быть, вместо нас сюда сядет впоследствии он сам. Не знаю, подействовал ли именно этот аргумент, или просто он оказался разумным человеком, но, во всяком случае, кровати нам предоставили.

Вскоре к нам стали поступать через уголовных заключенных записки от товарищей, арестованных за активное участие в забастовке: в этой тюрьме их сидело уже около 200 человек. В тот же день нас перевели к товарищам на второй этаж. Условия здесь были несравненно лучше: арестованные свободно общались друг с другом и гуляли по коридору. Некоторое время спустя вместе с продуктами мы получили с воли письмо от товарищей и листовку, выпущенную новым стачкомом – он приступил к работе уже через час после нашего ареста.

Большей радости мы себе тогда не могли представить.

Бакинский комитет партии при участии Филиппа Махарадзе после долгих споров решил снять основные требования забастовки, поставив, однако, обязательным условием немедленное освобождение всех арестованных и прекращение репрессий. На это было получено согласие азербайджанского правительства.

Я все время думал: на основании каких фактических данных мне предъявлено обвинение в подготовке вооруженного восстания?

К слову надо сказать, такое же обвинение Ковалю было полнейшим недоразумением. Коваль никогда не был коммунистом, занимаясь узкопрофсоюзными делами. Видимо, его спутали с Ковалевым, который действительно входил вместе со мной и некоторыми другими в военную комиссию Бакинского комитета партии. Какие же у англичан есть улики против меня?

Потом я вспомнил: за несколько дней до забастовки в наш рабочий клуб зашли трое рабочих и сообщили мне в присутствии Ковалева, что в порту находится баржа с 3 тысячами винтовок и другим вооружением, что о существовании этой баржи правительство ничего не знает и, так как баржа не охраняется, этим оружием можно воспользоваться. Все это показалось нам маловероятным, и мы никак не реагировали. Когда вскоре

правительство опубликовало в газете сообщение, что баржа с оружием принадлежит рабочей конференции, мы поняли, что, видимо, среди тех трех рабочих, которые приходили к нам со своим сообщением, оказался провокатор, подосланный к нам военным комендантом города Григорьевым, хотевшим поймать нас в ловушку.

Теперь я вспомнил всю эту историю с баржей и решил, что меня и Коваля хотят как-то связать с ней, чтобы состряпать на нас дело и предать английскому военно-полевому суду, что по тем условиям означало расстрел.

Все эти вопросы тогда горячо обсуждались в узком кругу членов Бакинского комитета, находившихся в тюрьме. Строились разные планы нашего с Ковалем спасения. Автором и душой планов был неутомимый, настойчивый и очень изобретательный Стуруа.

Вскоре тюремная администрация объявила о скором освобождении большинства арестованных из нашей группы. Но надо мной продолжала висеть смертельная опасность. Мы все были уверены, что рано или поздно недоразумение с Ковалем разъяснится, ему легко доказать, что он – не Ковалев. Со мной же дело обстояло много хуже. Поэтому Стуруа выдвинул такой план моего освобождения: выйти из тюрьмы под видом другого товарища. Мне лично не хотелось, чтобы за меня хоть как-то пострадал кто-то другой. Однако товарищи не дали мне даже возможности рассуждать по этому поводу. Стуруа заявил, что тот, кто останется в тюрьме вместо меня, не пострадает, разве что отсидит в тюрьме лишних пару недель. «Тебе же, Анастас, – говорил он, – неминуемо грозит смертная казнь».

Решение было принято. Охотников остаться в тюрьме вместо меня нашлось довольно много, но нужно было найти наиболее подходящего по внешности. Таким оказался Гриша Степанянц, технический работник Бакинского комитета партии. Стуруа принялся изменять мою внешность. Откуда-то появились старые тупые ножницы, которыми он стал подстригать мою бородку и усы, буквально выдергивая волос за волосом. Затем меня переодели в одежду Степанянца, а мою одежду отдали ему.

Однажды вечером, около 10 часов, когда обычно тюремные камеры запирались до утра, в наш корпус неожиданно вошли несколько человек из тюремной администрации. Все мы, арестованные, тут же, конечно, высыпали из своих камер и собрались в коридоре. Один из начальников объявил, что сейчас все арестованные, за исключением 10 человек, имена которых назовут, будут освобождены из тюрьмы. Комендант тюрьмы стал называть имена тех, кто подлежал освобождению. Каждый из

названных должен был откликнуться и отойти в сторону, на указанное место, ближе к двери. Когда была названа фамилия Степанянца, я откликнулся, вышел вперед и стал среди освобождаемых.

Когда было закончено перечисление фамилий, всех нас, освобождаемых, вывели из тюремного корпуса в контору. Вошли в контору. Она была плохо освещена: над столом висела одна лампа, свет от которой падал только на стол. Это меня очень устраивало. За столом сидел помощник начальника тюрьмы, перед которым лежала раскрытая толстая книга с фамилиями арестованных. Он стал вызывать нас поодиночке, задавать вопросы и сличать ответы с теми записями, что были сделаны в тюремной книге (фамилия, имя, отчество, место рождения, губерния, уезд, волость).

Зная примерно характер вопросов, обычно задаваемых в подобных случаях, я еще днем получил у Степанянца эти сведения.

И вдруг я услышал, что у первого же вызванного спрашивают его бакинский адрес. Я понял, что не смогу ответить на этот вопрос. Немедленно шепнул об этом Стуруа. Мелькнула мысль заявить, что, так как моя квартира находится далеко и ночью заперта, попросить остаться переночевать в камере, а утром «освободиться». Так мы со Стуруа и решили поступить.

Когда очередь к помощнику начальника тюрьмы дошла до меня, я обратился к нему с вопросом: «Нельзя ли мне остаться переночевать в камере?» Тот направил на меня электрическую лампочку, чтобы получше разглядеть, кто с ним разговаривает. «Как ваша фамилия?» – спросил он. «Я Степанянц», – ответил я и подумал: «Вот сейчас он меня узнает и…» Но он не узнал. «Подождите», – сказал он.

Чтобы прикрыть меня, три или четыре наших матроса тоже попросились остаться на ночевку, заявив, что их суда находятся в море и им некуда идти ночью. Им разрешили. Я успокоился.

Но по всему было видно, что не успокоился неугомонный Георгий. Он все время пытался придумать какой-нибудь другой выход из создавшегося положения и во что бы то ни стало вызволить меня из тюрьмы немедленно.

Через несколько минут он подошел ко мне и тихо сказал: «Поповянц внешне очень похож на тебя. Сейчас его только что проверяли. Я уговорю его остаться вместо тебя, а ты выйдешь на волю сегодня же».

Это было для меня настолько неожиданно и казалось таким маловероятным, что я не нашелся что сказать.

А Стуруа, даже не дожидаясь моего ответа, подошел к

Поповянцу и начал его уговаривать, чтобы он «стал» Степанянцем и остался ночевать в тюрьме.

Поначалу Поповянц не захотел этого делать, даже возмутился, но Стуруа очень убедительно внушал ему: «Микояну грозит смертная казнь, а тебе, если ты и останешься под именем Степанянца переночевать в тюрьме, ничего не грозит. Ну, может быть, посидишь лишнюю неделю-две в тюрьме, и все. К тому же тебе, как меньшевику, нетрудно будет освободиться».

Уже не возражая по существу, Поповянц сказал: «Как же я могу заявить, что я Степанянц, когда я только что говорил, что я Поповянц?» – «Хорошо, – ответил Стуруа, – тогда за тебя ответит другой».

Стуруа потребовал, чтобы я разыграл эту сцену. Поэтому, когда среди выходящих на волю назвали фамилию Поповянца, я вышел и встал вместе с освобождающимися. Когда же назвали «мою» фамилию – «Степанянц», Поповянц не шелохнулся, за него откликнулся другой товарищ, а он остался среди тех пяти человек, которым разрешили переночевать в тюрьме.

Перед тем как открыть перед нами тюремные ворота, нас вновь сосчитали уже просто «по штукам» – все было в порядке. Открыли ворота, и мы вышли на волю. Я облегченно вздохнул: наконец-то!

Все быстро разошлись в разные стороны, чтобы вновь не попасть в лапы полиции. Мы со Стуруа пошли вдвоем, выбирая глухие переулки, и добрались до конспиративной квартиры Каспаровых.

Как потом мы узнали, наши пятеро товарищей, оставшихся ночевать в тюрьме, вернулись в камеру, подождали около часа, как мы и договорились раньше между собой, и, поняв, что мы уже находимся в безопасности, вызвали надзирателя и заявили, что среди них нет Микояна.

Разобраться во всей этой путанице не было никакой возможности. Тогда взбешенный надзиратель ушел, заявив, что никто из пятерых освобожден не будет. В конце концов их освободили, а помощник начальника тюрьмы был арестован.

В архивах сохранился протокол, составленный 15 мая 1919 г. начальником Бакинской центральной тюрьмы № 1. В протоколе описываются события, связанные с моим побегом из тюрьмы.

Глава 6
Продолжаем борьбу

Шел 1919 г. Положение молодой Советской республики было тяжелым. Именно в эти дни, 29 июля, Ленин с большой тревогой говорил: «Мурманск на севере, чехословацкий фронт на востоке, Туркестан, Баку и Астрахань на юго-востоке – мы видим, что почти все звенья кольца, скованного англо-французским империализмом, соединены между собой».

С каждым днем мы все острее чувствовали необходимость установления живой, непосредственной связи с Москвой, с Центральным комитетом партии, с Лениным. Но нас с Москвой разделял фронт контрреволюции.

Письмо в ЦК партии и Председателю Совнаркома Ленину с информацией о положении в Закавказье и о наших задачах, которое я написал, было отпечатано на полотне. В нем говорилось, что из-за годичной оторванности Закавказья от Центра мы лишены директив и помощи в нашей борьбе. «А Вы или вовсе не знакомы с настоящим положением вещей в Закавказье, – писал я, – или же неправильной информацией безответственных лиц введены в заблуждение и поэтому не гарантированы от серьезных ошибок во внешней политике по отношению нашего края. Пользуясь маленькой возможностью, информирую Вас…» Письмо-доклад Ленину было довольно пространным.

Было решено направить вместе с приехавшим из Астрахани юношей Тиграном Аксендаряном технического секретаря бюро крайкома партии 20-летнюю коммунистку Шуру Берцинскую. Она пользовалась у всех нас полным доверием. Была она небольшого роста, хрупкая, миловидная, по виду моложе даже своих двадцати лет: просто девчонка, гимназистка.

Вот они-то, Тигран и Шура, и должны были вручить письмо Центральному комитету партии, лично товарищу Ленину. (Надо сказать, что для страховки мы «продублировали» Тиграна и Шуру, направив в Москву с аналогичным письмом третьего курьера – опытного коммуниста Хорена Боряна.)

Тиграну и Шуре было поручено передать письмо лично Ленину. Они успешно выполнили это поручение и уже в июле 1919 г. вернулись в Баку.

Весной 1917 г. от Степана Шаумяна и Алеши Джапаридзе я впервые услышал о Серго Орджоникидзе. Они работали с Серго в партийных организациях Закавказья еще до революции.

Товарищи говорили о нем как о принципиальном и мужественном революционере, неутомимом организаторе масс. Уже тогда из их рассказов в моем представлении сложился яркий образ Серго, овеянный революционной романтикой.

Из пятнадцати лет подпольной деятельности восемь лет провел Орджоникидзе в тюрьмах, на каторге и в ссылке. Тюрьмы Тифлиса, Сухума и Баку, Шлиссельбургская крепость, сибирская и якутская ссылки не сломили железную натуру Серго, а явились университетами борьбы, еще более закалили его идейную убежденность. Ни разу он не отступил и не согнулся.

Хочу рассказать о Серго Орджоникидзе как о человеке, вместе с которым я работал многие годы и оставался дружен до самой его смерти.

Серго был человек очень целеустремленный. Его душевный склад, взгляды политические и философские, его поступки и образ жизни – все было едино, слитно, крепко сцементировано.

Он хорошо разбирался в сложнейших политических и экономических вопросах. Был большим знатоком партийной политики и тактики, методов борьбы партии и рабочего класса. Невольно возникал вопрос: откуда это было у него? Ведь по образованию он был всего лишь фельдшер.

Мне кажется, что здесь и проявляется одна из наиболее ярких черт этого выдающегося человека. Будучи с детства весьма одаренным, Серго учился всегда в ходе революционных событий, в жесточайшей борьбе существовавших тогда политических партий, в процессе преодоления внутрипартийных разногласий, в подпольных кружках, в упорной самообразовательной работе, при встречах с самыми разными людьми – личных, на собраниях, заседаниях, конференциях, съездах. Он жадно глотал знания, прочно впитывал их в себя. Тюрьмы и ссылки тоже стали для него великолепным университетом жизни и знаний: я поражался списку книг, которые Серго прочитал, находясь в Шлиссельбургской крепости.

Серго был человеком активного действия, интересовался всем. Очевидно, именно поэтому Серго так ярко проявил себя в самые тяжелые годы борьбы нашей партии.

Конец 1918 г. В Баку пала советская власть. В Закавказье вступили германо-турецкие войска: образовалось три буржуазных национальных государства, враждебные Советской России. На Северном Кавказе немцы и деникинцы открыли фронт против большевиков. Орджоникидзе находился в это время во Владикавказе. Он – чрезвычайный комиссар Юга России и руководитель комитета обороны Терской области. Перед ним возникает вопрос: отступать ли ему вместе с войсками на

Астрахань или остаться с местными партизанскими отрядами рабочих и горцев и продолжать борьбу здесь, на месте? Серго решает остаться и сражаться до конца, хотя надежд на победу мало: в тылу – меньшевистская Грузия, враждебная Советской России, наступают банды белогвардейцев.

Серго был обаятельным человеком. Он не был прирожденным оратором, но обладал исключительным даром сразу вступать в тесный, прямо-таки душевный контакт с аудиторией и покорять ее своей искренностью, прямотой и простотой. Обычно спокойный и выдержанный, он становился, однако, неузнаваемым, когда ему приходилось сталкиваться с явной несправедливостью, интриганством или ложью. Тогда он закипал негодованием и яростью и мог совершить поступок, в котором потом искренно раскаивался.

Хочу обратить внимание еще на одну особенность Серго: он не умел таить злобу, был очень отходчив, никому не мстил.

Встречи с Орджоникидзе стали у меня более частыми после моего переезда в Ростов, куда я был назначен секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). Я, естественно, интересовался тогда работой Серго и вообще делами закавказских компартий, поскольку мы «жили» рядом: многие северо-кавказские проблемы перекликались и были родственны аналогичным проблемам Закавказья. Встречи и беседы с Серго были особенно полезны для меня, потому что он лучше меня знал Северный Кавказ, Дагестан. Обычно, когда приходилось ехать в Москву на пленумы ЦК партии, на съезды Советов, мы с Ворошиловым (который также работал тогда в Ростове) присоединялись к Орджоникидзе и Кирову, проезжавшим через Ростов. Ехали мы в одном вагоне и обратно возвращались тоже вместе. В этих поездках всегда происходили дружеские, задушевные разговоры, оживленный обмен мнениями, как это всегда бывает между близкими товарищами по работе.

Тогда на Северном Кавказе возникало много сложных национальных, сословных и других проблем, вызывавших трения и острые конфликты. Ориентироваться во всех этих вопросах мне было довольно трудно, особенно в начале работы на Северном Кавказе, а Серго работал в этом крае почти все годы гражданской войны и непосредственно после победы, накопил богатый опыт, хорошо знал местные кадры, в частности товарищей, которые нередко довольно остро конфликтовали. Поэтому я пользовался малейшей возможностью встречи и связи с Серго, чтобы посоветоваться с ним по тому или другому сложному вопросу.

В июле 1926 г. на пленуме ЦК ВКП(б) кандидатами в члены политбюро были избраны Орджоникидзе, Киров и я. Все мы

работали до этого на Кавказе. Киров сразу после пленума был направлен в Ленинград секретарем обкома партии.

Некоторое время спустя ЦК принял решение перевести Орджоникидзе из Закавказья на Северный Кавказ, на пост секретаря Северо-кавказского крайкома партии. Против его перевода в Ростов в ЦК поступил протест от членов Закавказского крайкома партии, настаивавших на оставлении Серго в Закавказье. Сталин, однако, настоял на своем, и ЦК оставил в силе прежнее решение.

Уже тогда было очевидно, что если и надо было переводить Серго из Закавказья, то, конечно, только на руководящую всесоюзную работу, к которой он был тогда уже вполне подготовлен. Так и получилось. Не прошло и двух месяцев, как политбюро приняло новое решение – выдвинуть Орджоникидзе на пост народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции и председателя Центральной контрольной комиссии партии.

Это новое назначение было очень удачным и полезным для партии. Серго, будучи всегда последовательным сторонником ленинской политики и решительно борясь с оппозицией, умел проявлять необходимую терпимость к заблуждавшимся. Серго старался возможно объективнее рассмотреть тот или иной вопрос, не обостряя без особой нужды разногласий.

В 1929 г. на V Всесоюзном съезде Советов был утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Встала задача мобилизовать все силы для осуществления программы индустриализации страны. Серго ждала новая работа: в ноябре 1930 г. он был назначен председателем ВСНХ.

Вскоре все отрасли тяжелой промышленности вошли в Наркомат тяжелой промышленности. Наркомом стал Орджоникидзе.

Когда страна приступила к строительству гигантов черной металлургии, мощных шахт, новых машиностроительных заводов, важнейшей задачей стала подготовка кадров производственно-технической интеллигенции, способных освоить передовую технику и обеспечить необходимые формы хозяйственного руководства предприятиями. Нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе внес огромный вклад в решение этой задачи. Его личные данные во многом способствовали тому огромному подъему творческих сил работников тяжелой промышленности, который и создал предпосылки для выполнения и перевыполнения пятилетнего плана.

Серго умел подбирать талантливых людей, особенно из молодежи, оказывая им всяческую поддержку: Завенягина, Тевосяна, Лихачева, Ванникова, Зальцмана, Устинова и многих

других.

В тот период становилась на путь коренного технического перевооружения пищевая промышленность. Она остро нуждалась в соответствующем оборудовании и машинах. Орджоникидзе оказывал в этом неоценимую помощь, и мне, руководившему в те годы снабжением и пищевой промышленностью, не раз приходилось пользоваться его энергичной поддержкой в практическом решении вопросов пищевого машиностроения. Смежные вопросы мы решали на совместных заседаниях, без всякого бюрократизма.

В заключение мне хотелось бы еще раз указать на исключительные качества Серго как товарища. Он трудно сходился с людьми, но дружил по-настоящему, умея всегда проявить какую-то по-особенному любовную заботу о товарищах.

Мне хотелось подчеркнуть, что Серго был и выдающимся человеком. Говоря словами Горького, Человеком с большой буквы. Самоубийство его в 1937 г. – на совести Сталина.

В январе 1919 г. наша 11-я армия, ведя ожесточенные бои на Северном Кавказе с превосходящими силами деникинской «добровольческой армии», вынуждена была отступить. Основные красноармейские части 11-й армии во главе с командующим Левандовским ушли в калмыцкие степи и Астрахань. Другие во главе с Орджоникидзе героически сражались до последнего патрона в предгорьях Кавказа и прошли в горы. В горных аулах Серго сколачивал партизанские отряды из ингушей и осетин, а в начале мая через Кавказский хребет и труднодоступные Хевсурские горы перебрался в Тифлис, где жил на нелегальном положении.

В Баку Серго приехал с женой, Зинаидой Гавриловной, неразлучной своей подругой на фронтах Гражданской войны и в дальнейшей жизни. Поженились они с Зиной еще в якутской ссылке. С ними также приехала, направляясь в Москву к своим дочерям Елене и Люции, жена погибшего бакинского комиссара Алеши Джапаридзе – Варвара Михайловна.

Приехал с ними и легендарный Камо (Тер-Петросян), профессиональный революционер, который собирался в Москву, к Ленину. У него было много планов боевых действий, которые он хотел доложить Ленину, чтобы получить его одобрение. Он мечтал, например, с группой товарищей пробраться в расположение деникинского штаба и взорвать его. Орджоникидзе любил Камо и три года спустя тяжело переживал его гибель под колесами автомобиля.

Пребывание Орджоникидзе в Баку было организовано по всем правилам конспирации. Из наиболее проверенных членов Союза

молодежи была создана его охрана. На конспиративных квартирах каждый вечер устраивались встречи с узким кругом партийных работников. Мы подробно информировали его о положении дел и о своих планах; ко всему этому Серго проявил живой интерес. К тому же он хотел собрать побольше свежей информации, чтобы рассказать в ЦК Ленину о положении в Баку и во всем Азербайджане.

Я спросил Серго, знали ли грузинские меньшевики, стоявшие в то время у власти, о его пребывании в Тифлисе и не пытались ли его арестовать. Он ответил улыбаясь, что им, конечно, было известно о его приезде. Лидер меньшевиков Ной Жордания, которого Орджоникидзе хорошо знал еще во времена царизма, счел нужным окольным путем передать Серго, чтобы он не появлялся на улицах, так как его могут арестовать англичане.

Наши встречи с Серго и другими партийными товарищами происходили главным образом по ночам, с соблюдением больших предосторожностей, на моей нелегальной квартире.

Серго пробыл в Баку четыре дня. 13 июня днем он с группой товарищей отплыл в Астрахань на рыбацком баркасе. Путешествие прошло благополучно.

Раза два был у меня в те дни Камо. Тогда я впервые с ним близко познакомился, хотя и до этого знал уже о некоторых его героических делах и о том доверии, которым он пользовался у Ленина.

В жизни Камо был очень скромным человеком, держался просто, о себе рассказывать не любил. Можно привести бесчисленное количество примеров дерзостной смелости Камо. Однако, пожалуй, самым изумительным его подвигом была симуляция сумасшествия, к которой он прибег, после того как, находясь по поручению партии в Берлине, был выдан правительством Вильгельма II жандармам русского царя, закован ими в цепи и помещен в Тифлисскую психиатрическую больницу. Он симулировал свое якобы безумие в течение почти трех лет, ввел в заблуждение самых опытных врачей-психиатров и в конце концов, обманув всех своих охранников, все же бежал из больницы.

Тогда, при нашей встрече, Камо очень интересовался тем, как нам удалось организовать Советскую республику на Мугани. Он все сомневался: «Как это вы доверяете всем этим товарищам, ведь они находятся в окружении белогвардейцев, могут изменить, могут оказаться предателями, могут струсить». И предложил такой план. Он поедет в Ленкорань нашим уполномоченным с группой товарищей, но переоденется в белогвардейскую форму. Ночью неожиданно он захватит ленкоранских руководящих

товарищей и поведет их якобы на расстрел. Если кто из них струсит, начнет просить пощады или выдавать, то он их расстреляет, а тех, кто будет держаться стойко, оставит; тогда, говорил Камо, можно абсолютно быть уверенным, что люди прошли проверку и не подведут.

Я не хотел затевать с ним спора, хотя такой «метод» проверки людей отверг начисто. Я сказал ему: «Всех этих товарищей я хорошо знаю. Мы доверяем им полностью, тем более что уже было немало случаев, когда они проявили себя боевыми, преданными большевиками. К тому же такой метод проверки не вызывается необходимостью и был бы оскорбительным для наших товарищей». Камо был явно разочарован.

Впоследствии, когда Камо получил в Москве согласие на организацию отряда для проведения диверсий против Деникина и его штаба, он подобрал нужных ему людей, и вот тогда, желая проверить всех этих людей, он применил к ним тот самый «метод», который я отверг. Специальная группа близких Камо людей, переодетая в форму белогвардейских солдат и офицеров, неожиданно напала где-то в лесу на его отряд во время учебных занятий. Бойцы отряда были разоружены и поставлены в один ряд – якобы для расстрела тех, кто из них окажется коммунистом. Тем же, кто «раскается» или объявит себя противником коммунистов, была обещана пощада.

Однако в отряде трусов не нашлось. Но зато один заявил, что является агентом Пилсудского, отпорол подкладку френча и вытащил оттуда соответствующий документ.

Камо был очень доволен, что ему удалось таким образом обнаружить предателя. На одного из них вся эта «операция» так сильно психически подействовала, что он тяжело заболел, – это был Федор Аллилуев, сын видного большевика Сергея Аллилуева, брат будущей жены Сталина – Надежды.

Когда Ленину стал известен этот «метод» проверки людей, он очень рассердился на Камо.

В начале июля мы получили сообщение из Астрахани, что Красная флотилия в боях с превосходящими силами английских и деникинских судов потерпела поражение у форта Александровского (ныне Шевченко). Таким образом, надежда на приход к нам в этом году флота и войск с севера окончательно отпала.

Оценив сложившуюся обстановку и учитывая прежде всего уроки поражения в Ленкорани, мы решили новых очагов восстания не организовывать, а поддержать, насколько это будет возможным, существующие, главные из которых были в Дагестане

и Чечне. Эти восстания Деникин так и не смог подавить. Долго продержались повстанцы в Зангезуре и Карабахе, а также в Казахском уезде Азербайджана. В этих районах под знаменем советской власти очень дружно выступали совместно азербайджанские и армянские крестьяне.

Мы наладили дополнительную отправку в Астрахань бензина. Кроме того, создали разветвленную сеть нашей разведки на территориях, занятых Деникиным, организовали сбор ценной информации и передачу ее командованию Красной армии через наших агентов, систематически переходивших линию фронта.

Мы добились того, что набеги горских партизанских отрядов Дагестана и Чечни на ближайшие к ним тылы деникинской армии стали более частыми и производились значительными силами.

В конце июня совершенно неожиданно в Баку появился Борис Шеболдаев, который при Бакинской коммуне был заместителем наркома по военно-морским делам. Мы были очень рады такому пополнению своих рядов. Шеболдаев был несколько старше нас, к тому же имел военный опыт. Его появление у нас, особенно в тот момент, когда нам предстояло организовывать военную разведку, было очень кстати.

Мы тщательно обдумали организационную сторону работы этой разведки. Весь северо-кавказский тыл Деникина разбили на округа – Ростов, Краснодар, Армавир, Грозный. В каждом из таких округов было решено иметь главного резидента с группой разведчиков, обеспеченных необходимыми шифрами и средствами связи. Шеболдаев стал во главе общего штаба разведки, причем ему было предоставлено право лично подбирать нужных людей.

В связи с победами Деникина у нас возник ряд тактических проблем. Деникинская реакция угрожала не только революционному пролетариату России, но и существованию закавказских национальных республик.

Меньшевики, ненавидя большевиков, радовались победам Деникина. Однако полная победа Деникина не устраивала и их, так как в случае, если бы белогвардейцы добились своего, вряд ли бы они стали церемониться с меньшевиками.

Деникинская угроза волновала и ту националистически настроенную часть населения Закавказья, которая в победе деникинцев видела угрозу своим национальным завоеваниям. Поскольку же против Деникина боролись только большевики и Советская Россия, недоверие к ним сменялось определенной симпатией.

Из Тифлиса к нам приехали тогда Герасим Махарадзе, Урушадзе и еще третий представитель, фамилию которого я не

запомнил. Мы понимали, что успешное проведение тактики единого фронта позволит нам также найти доступ в ряды пролетариата других республик Закавказья. Такая тактика в конечном счете явится серьезной поддержкой борьбы пролетариату всей России.

После отъезда из Баку делегации Тифлисского Совета выехала в Тифлис делегация Бакинской рабочей конференции. В ее состав входили Стуруа, Губанов и я.

В Тифлисе мы немедленно связались с крайкомом партии и обсудили перспективы организации единого фронта. Многие тифлисские товарищи были настроены пессимистически.

Однако через неделю заседание Тифлисского Совета все же состоялось. Меньшевики выдвинули трех ораторов: Герасима Махарадзе, Джугели и Арсенидзе.

Помню, в зале преобладали депутаты с кокардами и погонами. На галерку же, несмотря на применявшийся меньшевиками «фильтр», пробралось довольно много рабочих. Были среди них и коммунисты. Поэтому если внизу зал был настроен против большевиков, то галерка почти вся была за нас.

Первым из бакинских представителей выступал я. Мне хотелось в спокойных тонах, без всяких личных выпадов обосновать нашу позицию и опровергнуть все то, что говорилось здесь грузинскими меньшевиками. Но выступление Айолло, руки которого были в крови 26 комиссаров, вывело меня из равновесия. Я решил, не вступая в дискуссию, одной резкой фразой рассчитаться с ним, и сказал: «Прежде чем отвечать на высказанные здесь возражения против единого фронта и излагать нашу платформу, я должен заявить, что считаю ниже своего достоинства отвечать на хулиганские выступления подлого провокатора Айолло – этого изверга, давно выброшенного бакинским пролетариатом за борт революции».

Еле успел я окончить эту фразу, как раздался невообразимый шум в зале, аплодисменты и возгласы одобрения на галерке. Несколько человек, сидевших в первых рядах зала, поднялись с мест и с криками «Провокатор!», «Лжец!», «Избить его!», «Убить!» набросились на меня – кто с поднятыми кулаками, а кое-кто даже выхватили револьверы. Начался невероятный хаос. С трудом членам президиума удалось успокоить своих не в меру разбушевавшихся коллег по партии.

Уже в более спокойных тонах я стал опровергать один за другим аргументы выступавших до меня меньшевистских ораторов, сосредоточив внимание на том, что деникинская опасность нависла сейчас не только над Советской Россией, но и над всеми народами Закавказья.

Следующим от нас выступал Георгий Стуруа. Во время его содержательного, спокойного выступления я с сожалением думал, как это я поддался на провокацию Айолло и по своей горячности дал повод меньшевикам устроить скандал в самом начале наших выступлений!

Меньшевик Джугели оспаривал мое утверждение, что меньшевистское правительство Грузии ведет тайные переговоры с представителями Деникина. «Таких переговоров мы не ведем, – говорил он. – Мы ведем переговоры с английским командованием». Это его «опровержение» скорее походило на подтверждение тех сведений, которые мы имели.

Через некоторое время мы узнали, что английское командование установило так называемую «демаркационную линию» между деникинскими «владениями», с одной стороны, и Грузией и Азербайджаном – с другой. В архивах сохранилось сообщение английского командования, в котором говорилось, что «генералу Деникину предписано не допускать перехода его войск на юг от этой линии, а Кавказские государства не должны продвигаться на север от нее. Кавказские государства должны воздержаться от всяких агрессивных действий против добровольческой армии и содействовать генералу Деникину по крайней мере снабжением нефтью и другими припасами для Каспийского флота, одновременно воздерживаясь от снабжения ими большевистских сил». Это сообщение было подписано генерал-майором Кори, командующим британскими силами в Закавказье.

Наши попытки создать единый фронт борьбы с деникинщиной в Закавказье закончились безрезультатно.

Вряд ли надо говорить, сколь важную роль по тогдашним условиям подполья играли конспирация, надежность и преданность людей, у которых мы встречались, чьи квартиры нередко становились боевыми штабами нашего подполья.

С начала 1919 г. основной конспиративной квартирой бакинских большевиков-подпольщиков стала квартира Каспаровых. Она не знала ни одного провала.

Удивительной была вся семья Каспаровых. О Розе Каспаровой хочется рассказать особо. Она вернулась в Баку из Петербурга весной 1917 г. Еще в августе 1917 г. вступила в ряды большевиков. В марте 1918 г. – в дни мусаватистского мятежа против советской власти – Роза работала в лазарете. Впервые я встретил ее именно там (она перевязывала тогда и мою раненую ногу). Красивая, жизнерадостная, заботливая, всегда с улыбкой, она буквально пленяла сердца раненых бойцов, радуя их своим

присутствием. В конце лета 1918 г., когда турецкие войска подошли к стенам Баку, она добровольно уехала на передовые позиции. Под огнем противника выносила раненых. Все ее искренне полюбили. Вместе с бойцами она оставалась на передовых позициях до последнего дня обороны Баку. После падения Бакинской коммуны Роза работала в подполье.

Осенью 1919 г. мы получили сведения, что Роза, Катя Румянцева, Сурен Магаузов и еще несколько наших товарищей арестованы в Армавире. Лично для меня это было большим ударом. Некоторое время я даже избегал появляться в квартире Каспаровых: мне все казалось, что я виноват перед ними.

Вскоре всех арестованных перевезли в Пятигорск. Несмотря на тяжкие избиения и пытки, белогвардейской своре так и не удалось вырвать у молодых коммунистов ни одного слова признания, не удалось сломить их дух.

Удивительны по стойкости и мужеству письма Розы, посланные из тюрьмы родным и товарищам. После пыток и избиений она пишет: «У нас есть надежда на выздоровление, постарайтесь сделать так, чтобы не повесили, а все остальное ерунда». В другом письме (матери) Роза писала: «Страстно не хочется умирать, не пожив! Ведь я почти еще не жила и вдруг – умереть! Ну, долой мрачные мысли, а то еще подумают, что я боюсь смерти. Ерунда! Ни разу со дня ареста я не заплакала, даже не прослезилась, и так будет до конца…»

Незадолго до прихода Красной армии, 20 февраля 1920 г., в Грозном Роза и Катя были повешены. Вслед за ними был казнен и Сурен Магаузов.

За несколько часов до казни Сурену удалось послать друзьям на волю два письма, написанные на лоскутках материи, оторванных от рубашки. Поразительные письма! Какая сила духа и мужества!

Привожу здесь оба этих письма:

> «Милая Тамара, посылаю последний товарищеский привет. 12 часов. Жду смерти, но чувствую себя бодро. Жизнь – в полном смысле этого слова не изведанная для меня область. Не успел осуществить свои последние желания. Сижу отдельно от Розы. Она чувствует себя геройски. Всех осужденных к повешению – 16 человек. Привет товарищам. Целую всех крепко. Сурен».

> «Милые друзья! Судьбе моей нужно было стать свидетелем смерти моих славных товарищей. Тяжело мне без моей милой и славной Розы. Она погибла смертью храбрых: смело, без ропота и без страха она шла

к эшафоту. Погибла и молодая работница Катя».

Я позволил себе это небольшое отступление от основной темы моих воспоминаний, считая моральным долгом сказать хотя бы несколько добрых слов о совсем еще молодых людях, которых мне пришлось встретить на своем жизненном пути.

Кажется, в конце июня 1919 г., приехав в Тифлис на заседание краевого комитета партии, я решил хотя бы на два-три дня заехать в родную деревню, повидаться с близкими.

Я не был здесь более года, полного бурных событий, трагических и радостных переживаний. Возвращался, можно сказать, другим человеком. Все вокруг казалось мне необычайным, неповторимо прекрасным: нигде не видел я такой красоты, столь близкой моему сердцу, гор, покрытых лесами, диких скал и бурных речек.

К середине дня прибыли в Алаверды. Сойдя с поезда, я встретил у станции знакомого односельчанина, и мы вместе отправились вверх.

Отца я в живых не застал. Он умер за год до этого. Мы с матерью бросились друг к другу, у нее по щекам текли слезы. Она все время благодарила Бога за то, что он сохранил ее сына живым. Собралась моя многочисленная родня; каждый спрашивал, всем приходилось отвечать.

Я пошел на кладбище, на могилу отца. Я чувствовал вину перед ним. Весной 1918 г., когда железнодорожное сообщение между Тифлисом и Баку было очень ненадежным и все ожидали, что оно вот-вот оборвется вообще, я получил телеграмму из деревни. В ней сообщалось, что отец серьезно болен и хочет, чтобы я приехал с ним попрощаться. Сыновний долг обязывал меня немедленно поехать, но это означало, что я был бы лишен возможности вернуться обратно в Баку; бросить же революционную работу в Баку с риском не вернуться обратно я не мог. К тому же не было уверенности, что я застану его в живых. Теперь, стоя перед могилой отца, я мысленно просил у него прощения.

Семью нашу в то время содержал мой старший брат. За два года до Первой мировой войны его призвали в армию, где он прослужил более шести лет и вернулся на родину в конце 1917 г. Теперь работал плотником – по профессии отца. По тем временам семья жила неплохо: при отце у нас в хозяйстве были лишь две козы. Теперь появилась и корова. Младший брат Артем закончил к тому времени сельскую четырехклассную школу, и я решил устроить его для дальнейшего обучения в Тифлис. С сентября 1919 г. брат стал жить у Вергинии Туманян в Тифлисе и ходить в

армянскую школу.

Вечером мы всей семьей сели за стол на веранде ужинать. Появился сын соседа, с которым мы в детстве были друзьями. Он подошел ко мне, поздоровался, а потом отвел в сторону и сказал, что он служит в милиции «нейтральной зоны» (которая была создана англичанами между Арменией и Грузией после неудачной попытки грузинских властей военной силой «прихватить» эту местность) и пришел предупредить, что его начальство решило меня арестовать. Он предложил мне бежать этой же ночью. Я его поблагодарил. Мы продолжали ужинать, никому ничего не сказав.

Когда все разошлись и настало время сна, я сказал матери и старшему брату, что должен уехать этой же ночью. Они были очень огорчены и никак не могли понять, что же произошло. Тогда я вынужден был объяснить, что, если не уеду этой же ночью, меня арестуют. Муж моей младшей сестры Акоп помог добраться до станции, незаметно сесть в поезд. Я благополучно прибыл в Тифлис, а потом – в Баку.

В июле 1919 г. я вновь приехал в Тифлис на заседание краевого комитета партии. Место для заседания было выбрано на окраине города, в последнем ряду домов на склоне горы МамаДавыд, в доме портного Раждена, проверенного, но ничем особенно не известного коммуниста. Я шел к Раждену спокойно. Не доходя до места, я решил проверить, не тащится ли за мной «хвост», вошел в магазин, пробыл в нем минуты две-три, потом вышел на улицу. Не увидев ничего подозрительного, пошел далее уже более уверенно.

В доме Раждена я застал Георгия Стуруа и Славинского из Владикавказа. Прошло несколько минут – и вдруг в дом входят двое полицейских. Старший из них обращается ко мне: «Вы Микоян?» – «Да», – отвечаю я. «Вы арестованы». – «За что?» – «Имею указание начальника особого отряда Кедии» (это был меньшевистский отряд по преследованию коммунистов, пользовавшийся очень дурной славой). Полицейский объявил арестованными и двух других товарищей.

Георгий Стуруа, который в таких случаях бывал необыкновенно находчив, тут же начал разговаривать с полицейским, фамилия которого была Липартия. Он уговаривал его, чтобы меня не арестовывали. Говорил он по-грузински, иногда переходя на русский: «Меня и этого товарища вы можете арестовать – мы не возражаем, пойдем с вами в тюрьму, – но Микояна вы ни в коем случае не должны арестовывать». Объяснял, что за Микояном следят деникинцы и английское военное командование и, если его арестуют, меньшевистское

правительство передаст его англичанам, те – Деникину, и он будет казнен. «А ведь вы знаете, – говорил он, – что через непродолжительное время, может быть даже через полгода, большевики победят на Кавказе. Вот тогда и станет известным, что вы, Липартия, виновны в аресте и смерти Микояна. Тогда вам придет конец. Поэтому в первую очередь подумайте о самом себе».

Полицейский начал объяснять, что должен беспрекословно выполнить приказ начальства. «Тем более, – сказал он, – что, когда Микоян проходил по улице, Кедия смотрел из окна и, узнав его, поручил мне идти за ним и арестовать. Как же я могу не арестовать его и вернуться ни с чем?» На все эти рассуждения полицейского Стуруа находил какие-то новые доводы. Так мы и пошли все вместе. Георгий и на улице продолжал все время твердить, что меня нельзя арестовывать и что полицейскому это потом припомнится.

Наконец у полицейского появились какие-то нотки колебания. Он сказал: «У меня семья, как же я буду ее содержать, если меня прогонят с работы?» Стуруа сразу же сориентировался и ответил, чтобы тот об этом не беспокоился, так как ему будет оказана нужная материальная помощь. Липартия замолчал. Тогда Стуруа сказал: «Тебе и твоему товарищу будет дано 5 тысяч рублей. Если вы, отпустив нас сейчас, придете вечером к Казенному театру, там будет стоять девушка. Вы подойдете к ней, скажете свою фамилию, и она вручит вам эти деньги».

Липартия согласился, и мы все трое разошлись по разным переулкам в свои конспиративные квартиры. Помню, это произошло в тот момент, когда мы уже подходили к зданию судебной палаты – недалеко от штаба Кедия.

Свое обещание мы выполнили. Вечером Липартия получил обещанную сумму. Эти деньги ему передала моя невеста Ашхен, которая была на летних каникулах в Тифлисе.

Любопытно, что лет через пятнадцать после этого я получил письмо от Липартии. Он описывал все, что тогда с нами произошло, и просил меня письменно подтвердить, что он действительно освободил меня от ареста, – это было нужно ему для получения пенсии.

Одним из главных очагов революционных событий того времени был Дагестан. Там сложилась довольно крепкая партийная организация. Под знаменем советской власти успешно развивалось повстанческое движение. Смелые и решительные набеги партизанских отрядов Дагестана на тылы деникинской армии наносили ей весьма существенный урон. Активную революционную борьбу вели железнодорожники Дагестана и

портовики Петровска.

Большевики Дагестана всегда были тесно связаны с Бакинским комитетом партии. Большевистские организации Азербайджана оказывали большую помощь дагестанским товарищам, отправляя им оружие, деньги, литературу, посылая людей. Следует отметить особую роль во всей этой работе члена нашего крайкома Гамида Султанова. Среди передовых бакинских рабочих и коммунистов было немало выходцев из отдаленных аулов Дагестана. Они поддерживали связь с земляками, активно влияли на них.

Но горское контрреволюционное правительство решило перейти в наступление и разом покончить со «смутой». Выследив, когда руководители подпольной большевистской организации собрались на конспиративное заседание, полиция схватила их и бросила в тюрьму. Состоялся военно-полевой суд. В результате пять лучших товарищей – Уллуби Буйнакский, Абдул Багаб Гаджи Магома-оглы, Абдурахман Измаилов, Саиб Абдул Халимов и Маджит Али-оглы – были приговорены к смертной казни.

Следует сказать несколько слов о роли местного духовенства в общей борьбе дагестанцев. Оно было расколото на две группы. В противовес реакционному духовенству во главе с имамом Гоцинским, отражавшему интересы эксплуататорской верхушки, в Дагестане были духовные лица, стоявшие на стороне революционной бедноты, нередко даже координировавшие свои действия с коммунистами, например Али-Гаджи Акушинский и Узун-Гаджи.

В Баку мне приходилось в то время работать в строго конспиративных условиях. Я не принимал участия ни в каких легальных собраниях. Бывал только на конспиративных пленарных заседаниях Бакинского комитета партии, которые обычно устраивались в рабочих районах. Заседания эти проходили, как правило, в клубах, за сценой, причем для маскировки во время заседаний в клубном зале проводились репетиции групп рабочей самодеятельности.

Заседания же бюро Бакинского комитета партии (ввиду малочисленности его состава) проводились на городских конспиративных квартирах: то у Каспаровых, то в квартире Черномордика или еще у кого-либо из наших надежных товарищей.

В то время я жил у Черномордика. Однажды ко мне зашел Гогоберидзе с двумя товарищами. Один из них – Авис Нуриджанян, которого я хорошо знал по работе в Баку, другой – Юрий Фигатнер, с которым познакомился недавно. Он нелегально прибыл к нам с Северного Кавказа, где был народным

комиссаром Терской республики.

Мы долго обсуждали вопросы текущей политики. Встреча затянулась, стояла невыносимая жара, в квартире было трудно дышать. И тогда Гогоберидзе предложил: «Пойдем искупаемся в море. Думаю, что никакой опасности нет. Вряд ли, Анастас, полиция ждет тебя в морской купальне!» Жара настолько нас «расплавила», что я принял это соблазнительное предложение.

Купание нас освежило и приободрило, и мы совсем забыли о нестерпимой жаре, к тому же она стала спадать. Но зато появилось чувство голода. Мы вспомнили, что еще не обедали.

И тогда инициативный Гогоберидзе убедил нас пойти в ресторан «Тилипучур», в котором он уже раньше бывал. Гогоберидзе повел нас через весь зал к свободному столику, стоявшему в несколько затененном углу. Заказал бифштексы «с кровью» и, как помнится, кахетинское вино. Ели мы с большим аппетитом, настроение было преотличное. Мы забыли о какой-либо опасности. Покончив с бифштексом, мы уже подумывали: а не повторить ли нам?

В это время в зале неожиданно появился пристав с двумя полицейскими. Стало ясно, что мы попались. Я лишь успел, пока к нам через зал подходил пристав, шепнуть Гогоберидзе, чтобы он затеял с ним спор по поводу нашего ареста, так как только в этот момент вспомнил, что у меня в кармане лежит несколько конспиративных документов. Лихорадочно думал, как от них избавиться.

Тем временем Гогоберидзе в острой и резкой форме протестовал против своего ареста, поскольку он являлся тогда председателем рабочей конференции Баку и поэтому был, так сказать, лицом неприкосновенным. Пристав, конечно, смотрел на него, а двое полицейских смотрели то на пристава, то на Гогоберидзе. Тогда я незаметно достал из кармана документы и подсунул их под скатерть стола.

Только после этого я облегченно вздохнул. Теперь я мог уже разыгрывать из себя кого угодно. Надо сказать, что среди спрятанных под скатерть документов находился мандат, который был написан на маленьком куске белого полотна. В нем указывалось, что выдан он товарищу Эшба, командируемому ЦК партии на Кавказ для ведения партийной работы. Эшба, как и Нестор Лакоба, был общепризнанным руководителем коммунистов Абхазии.

Наконец, прервав перепалку с Гогоберидзе, пристав обернулся ко мне с вопросом, кто я такой. Я ответил: «Учитель, беспартийный, приехал из Тифлиса в поисках работы. Фамилия моя Тер-Исраелян (на эту фамилию у меня имелся паспорт). Был

на приеме у председателя рабочей конференции с просьбой устроить на работу. Он обещал помочь и пригласил меня отобедать с ним». Остальные дали ему аналогичные ответы. Держались мы тихо, спокойно. Нас вывели из ресторана и в сопровождении полицейских повели в ближайший, кажется пятый, участок полиции. По дороге я лихорадочно соображал, какую же квартиру мне назвать при допросе как свое местожительство?

В участке к допросу приступил уже другой пристав. Гогоберидзе повторил ему все то, что он говорил в ресторане, и вновь потребовал своего немедленного освобождения, ничего не говоря о нас. Мы трое, каждый в отдельности, рассказали приставу свои «легенды», которые как будто бы не вызвали со стороны пристава никаких подозрений: он принял все на веру. Но нас не освободили. Ночь и половину следующего дня мы провели в участке.

Наконец в середине дня нас посадили в два фаэтона и под охраной повезли на окраину Баку, в Баиловскую тюрьму. Там нас всех четверых поместили в одной небольшой камере. На койках были только голые доски: матрасов и подушек не было. Но это нас особенно и не огорчило. Лежать на досках нам было привычно. А одеяла не были нужны, так как стояла страшная жара. Кормили очень плохо, пока через два дня товарищи не наладили передачу нам продуктов на имя Гогоберидзе. Ему удалось к тому же установить хорошие отношения с одним из надзирателей: он уговорил его передать на волю по определенному адресу письмо, пообещав хорошо заплатить за эту услугу. Письмо было написано эзоповым языком. Смысл же состоял в том, чтобы товарищи приняли меры для нашего освобождения.

Еще до нашего ареста нам стало известно, что в этой тюрьме сидит арестованный дней десять назад Борис Шеболдаев. По своему характеру он был очень спокойный и выдержанный, никогда не раздражался, в спорах не горячился, говорил обдуманно, не любил лишних слов. Это был прекрасный человек.

Надзиратель, о котором я уже говорил, оказался человеком порядочным. Он не только отнес тогда наше письмо, но и доставил ответ. И так делал не раз.

Товарищи с воли наметили два варианта нашего освобождения, и оба были очень рискованными.

Меня все время мучила мысль о том, как это я, нарушив правила конспирации, согласился с предложением Гогоберидзе. Конечно, я не мог особенно упрекать Левана, потому что гораздо большая ответственность за происшедшее ложилась на меня: я

был старше Левана и по возрасту – мне было 24 года, и по опыту политической работы, а поэтому должен был проявить большую осмотрительность. Все эти тягостные мысли, однако, развеивал тот же Гогоберидзе. Жизнерадостный, веселый, он всегда вносил оживление, много шутил, и это нас приободряло.

Третий наш товарищ по камере Юрий Фигатнер был серьезным, сосредоточенным, не шутил и не любил, а может быть, не понимал шуток. Угрюмо устремив взгляд в потолок камеры, лежа на койке, он подолгу о чем-то думал. Он опасался, как бы ему не пришлось разделить трагическую судьбу хорошо известного ему коммуниста Анджиевского, председателя Пятигорского Совета рабочих депутатов. Анджиевский был арестован мусаватистскими властями, передан английскому командованию, которое, в свою очередь, переправило его на Северный Кавказ – к деникинцам, на расстрел.

Однажды вечером, часов около десяти, старший надзиратель открыл дверь нашей камеры и сказал: «Господа! Приготовьтесь, вас должны перевести из Баиловской в Центральную тюрьму». Это неожиданное сообщение всех нас сильно встревожило. Мы знали, что обычно в 8 часов вечера ключи от дверей всех тюремных камер передавались начальнику тюрьмы и только на следующий день в 7 часов утра они возвращались обратно надзирателям, которые вновь могли открыть камеры.

Надзиратель ушел, а мы стали обмениваться мнениями: что бы все это могло означать? Пришли к единому заключению, что это не перевод в Центральную тюрьму. Скорее всего, нас хотят отсюда вывести, чтобы ночью посадить на пароход и передать англичанам.

Скоро появились начальник жандармского управления, надзиратели и много полицейских, заполнивших весь коридор, и потребовали немедленно выйти из камеры. Нас тесно окружили полицейские и повели через коридор в контору тюрьмы. Через несколько минут видим: вводят Бориса Шеболдаева. Новая неожиданность! Никакого общего дела у нас с ним не было. О нем нас ни разу не допрашивали. Вообще в разговорах с нами фамилия его не упоминалась.

И вот тогда, в тюремной конторе, мы еще больше утвердились в мнении, что нас собираются не просто переводить в другую тюрьму, а хотят вместе с Шеболдаевым передать английской военщине. Когда Бориса Шеболдаева ввели в контору, вид у него был довольно заспанный. Он осмотрелся по сторонам, увидел нас, провел рукой по лицу, издав какой-то непонятный звук, и сказал: «А, теперь я все понимаю!» Ясно, что и он заподозрил что-то неладное. Однако мы даже не поздоровались с

ним, делая вид, что незнакомы.

Стоим в ожидании, что будет дальше. Вдруг входит какой-то надзиратель с длинной толстой веревкой и спрашивает у начальства: «Эта годится?» Я не удержался и в шутку спросил: «Вы что, господа, повесить нас собираетесь?» На мою реплику начальник тюрьмы ответил: «Наручники находятся в Центральной тюрьме, у нас их сейчас нет. Поэтому вместо наручников мы свяжем вас всех вместе этой веревкой». Так и сделали. Каждому из нас заложили руки за спину, связали их веревкой и одновременно привязали друг к другу.

После этого гуськом, под усиленной охраной вывели на улицу. Там был приготовлен грузовик. Вместе с нами в кузов забрались и полицейские.

Дорога, по которой мы ехали, проходила по набережной. Когда наш грузовик подъезжал к пристани, мы все ждали, что вот-вот он остановится и нас погрузят на корабль. Когда же, не замедляя хода, мы проехали мимо и направились к Центральной тюрьме, на душе стало гораздо легче.

Нас провели на 5-й этаж, в корпус вечных каторжан и смертников, где мне уже приходилось раньше сидеть. Здесь нам развязали руки. Арестанты в соседних камерах проснулись и глядели на нас через дверные отверстия. Вдруг из одной камеры раздался голос: «Товарищ Микоян?» На счастье, рядом не было полицейских. Я тут же подошел к двери этой камеры и очень тихо сказал: «Я не Микоян, а Тер-Исраелян». Видимо, меня поняли, потому что больше из этой камеры не раздалось ни звука. Все это произошло так быстро и тихо, что надзиратели ничего не заметили. Нас повели дальше и поместили в камеру, расположенную в конце коридора.

В тюремном корпусе, где мы находились, арестованные сидели в камерах-одиночках. Нас же пятерых посадили в одну такую камеру. Мы спали прямо на бетонном полу.

И в Баиловской тюрьме, и здесь нас, как, впрочем, и других арестованных, на прогулку во двор не выпускали: весь день мы находились в камере. Только выходя в туалет, мы видели других заключенных-уголовников: они относились к нам с почтением, как к «политикам». К тому же Гогоберидзе был известен всему городу, пользовался большим уважением, а мы были его товарищами.

У меня из головы не выходила мысль о тех документах, что я оставил под скатертью стола в ресторане. Не было сомнения, что при уборке официанты их обнаружили и если передадут в полицию, то наше положение серьезно осложнится. Потом оказалось, что официанты при уборке действительно нашли

документы, но ни администрации, ни полиции их не передали. Один из официантов отнес их в Рабочий клуб и отдал секретарю рабочей конференции для передачи Бакинскому комитету партии. Хочется отметить, что в ресторане среди служащих не было ни одного коммуниста.

Как-то через день зашел в наше отделение старший надзиратель еще с каким-то типом. Надзиратель подошел к нашей камере и, обращаясь ко мне, спросил: «Вы Микоян?» Я, как говорится, глазом не моргнув, отвечаю: «Откуда вы это взяли? Я Тер-Исраелян. А с Микояном даже не знаком». В наш разговор вмешался Гогоберидзе: «Разве вы не знаете, что Микоян давно в Тифлисе? Он бежал из этой тюрьмы и сейчас находится там». На этом разговор окончился.

Когда они ушли, мы стали обсуждать этот случай. Было ясно, что кто-то меня узнал, но вот кто? Особенно беспокоился Гогоберидзе. Он предлагал передать на волю записку, чтобы кто-нибудь срочно встретился с надзирателем и пригрозил ему, что если он что-либо донесет о сидящих в тюрьме политических арестованных и их положение в связи с этим ухудшится, то ответит за это головой, а если даст обещание не делать этого, то получит деньги. Так и было проделано. Впоследствии выяснилось, что меня узнал именно он, но обещал сослаться на свою ошибку.

Еще через два-три дня сообщили, что Гогоберидзе из тюрьмы освобождается. Прощаясь с нами, он сказал, что примет меры к скорейшему нашему освобождению.

Прошла неделя. И вот надзиратель сообщает нам, что трое из нас освобождаются, а в тюрьме остается только Борис Шеболдаев, вопрос о котором еще не решен. Такое сообщение о Борисе было очень неприятно, тем более что его дело было прямо связано с деятельностью нашей военной разведки. Мы были сильно обеспокоены за его судьбу.

Отпуская нас на волю, начальник тюрьмы заявил, что нас высылают за пределы Азербайджана.

Представительство Грузии выдало въездные визы всем троим. Решено было ехать порознь, чтобы не бросаться в глаза. Опасаясь, что азербайджанское правительство все же знает, что Тер-Исраелян – это Микоян, и захочет по дороге расправиться со мной, товарищи решили, чтобы меня до границы сопровождал член парламента Караев. Караев должен был ехать как депутат по служебным делам в приграничный район. Ехали мы в одном купе как люди незнакомые. Меня сопровождал до границы азербайджанский полицейский, но, видя, что рядом со мной сидит член парламента, в купе не заходил, а почти все время стоял в коридоре. Выйдя к нему в коридор, Караев завязал с ним

оживленную беседу на азербайджанском языке и, видимо, расположил его к себе. Когда мы с Караевым, уже «познакомившись», заказали чай, то не забыли и полицейского. Все складывалось очень неплохо.

Всю дорогу оставаясь вдвоем в купе, мы вели с Караевым теплую беседу. Это был очень симпатичный, интеллигентный, простой человек и очень приятный собеседник.

У грузинской границы нам предстояла пересадка в другие, грузинские вагоны. По указаниям, которые имел сопровождавший меня полицейский, он должен был официально передать меня полицейским властям Грузии. Это было, конечно, для меня очень нежелательно. Поэтому Караев опять пригласил моего полицейского в купе для чаепития. Полицейский был очень польщен таким внимание депутата парламента. В конце беседы, когда полицейский окончательно размяк, Караев объяснил ему, что, вообще говоря, он должен проследить, чтобы высылаемый действительно выехал за пределы Азербайджана: этим он выполняет свой служебный долг. И совсем не обязательно передавать меня «с рук на руки» полиции Грузии. Мой полицейский легко согласился с этим.

Пробыв несколько дней в Тифлисе, я снова, но уже с другим паспортом вернулся в Баку и включился в подпольную партийную работу.

А в это время Гогоберидзе и Караев по поручению крайкома партии бились над освобождением из тюрьмы Бориса Шеболдаева. Были пущены в ход разные средства воздействия и на прокурора, и на других начальствующих лиц, от которых зависело это дело. По всему было видно, что серьезных компрометирующих материалов против Шеболдаева у властей не было. Через некоторое время нам удалось добиться освобождения Шеболдаева из тюрьмы.

После того как лозунг независимого Советского Азербайджана был провозглашен как знамя борьбы, меня больше всего стал волновать вопрос организационно-партийный.

После долгих споров и обсуждений мы пришли наконец к общему мнению: все коммунисты Азербайджана независимо от их национальной и религиозной принадлежности должны входить в единую Коммунистическую партию.

В Грузии сохранялся старый порядок подчинения всех местных организаций непосредственно Кавказскому крайкому партии, без общегрузинского партийного центра.

В несколько особом положении находились коммунисты Армении. Дело в том, что еще в середине 1918 г. группа

коммунистов Армении во главе с большевиком поэтом Айкуни образовала в Тифлисе Коммунистическую партию Армении западных армян, ушедших из Турции в связи с отходом русских войск. Когда террор грузинского правительства против коммунистов усилился, группа перебралась на Северный Кавказ, затем в Москву, выступая там в качестве Центрального комитета Коммунистической партии Армении. На I конгрессе Коминтерна они выступили как самостоятельная партия.

В июне или июле 1919 г. к секретарю рабочей конференции обратился Шига Ионесян – член правления Каспийского кооперативного объединения – с просьбой устроить ему свидание со мной по важному вопросу.

Придя ко мне, Ионесян изложил интересный план. «Скоро, – рассказывал он, – предстоят перевыборы правления нашего кооперативного объединения. В нынешнем составе правления единственный представитель большевиков – это я, большинство же составляют меньшевики и эсеры. Большевики имеют реальную возможность получить на выборах правления большинство голосов, – заявил Ионесян, – если проведут необходимую подготовительную работу. В объединении насчитывается несколько тысяч членов. Многие из них очень инертны и даже не посещают собраний. На перевыборном собрании, например, вряд ли их будет больше 10–15 процентов. Если бы в самое ближайшее время, – развивал свой план Ионесян, – в наш кооператив вступили 800–900 большевиков и все они присутствовали на перевыборном собрании, то наверняка большинство голосов было бы на стороне коммунистов и, таким образом, переход руководства объединением в руки коммунистов был обеспечен».

Из беседы с Ионесяном я понял, какую большую ошибку допускаем мы, недооценивая работу в кооперации. А ведь кооперация – это огромные массы трудового народа, занятого в хлебопекарнях, на товарных складах, в магазинах, закупочных пунктах. Кооперация – это и возможность легально посылать людей в разные районы! Как все это превосходно можно было поставить на службу нашей нелегальной партийной работе! Как великолепно можно использовать те же пекарни или товарные склады для хранения оружия, магазины – для хранения и распространения партийной литературы! Как удачно можно расставить по кооперативам наших партийных организаторов, которые при разъездах наряду со служебными обязанностями могут выполнять партийные поручения, устанавливать связи, явки и т. п.!

Результат беседы был немедленно доложен Бакинскому комитету партии. Тут же было принято решение – призвать в

кооперацию до тысячи коммунистов и членов молодежной коммунистической организации – Интернационалистического союза рабочей молодежи города Баку и его районов.

На перевыборном собрании в Каспийском объединении было обеспечено надежное большинство коммунистов. При голосовании нового состава правления и ревизионной комиссии прошел список, предложенный нами.

Глава 7
Поездка к Ленину

Партийные организации и революционное движение в Баку в середине 1919 г. уже в значительной степени оправились после поражения, понесенного в 1918 г. Нужна была поездка в Москву для доклада о положении дел и получения необходимых указаний. Кавказским крайкомом партии было решено, что в Москву с докладом в ЦК надо ехать мне. Признаться, я был рад, когда товарищи выдвинули мою кандидатуру. Я предвкушал радость личной встречи с Лениным. В Баку стало известно, что в Москве должен собраться VII Всероссийский съезд Советов. Мне выдали мандат на этот съезд.

Путь в Москву был один: на рыбацкой лодке пять-шесть дней по Каспию в Астрахань. Удалось раздобыть официальные документы на пятерых пассажиров, якобы отправляющихся в Персию. Но, придя на пристань и заметив возню полицейских около наших лодок, я ушел с пристани, не подходя к лодке.

После этой несостоявшейся поездки новой группе было поручено особенно конспиративно подготовить отправку лодки уже не с Бульварной, а с другой пристани.

Через несколько дней, как и было условлено, я выехал из Баку нелегально, на парусно-моторной рыбацкой лодке под видом торговца, везущего табак в Энзели (Персия). Мое появление на пристани было обставлено по всем правилам конспирации. Пришел в самый последний момент перед отправкой лодки. Одет я был соответственно, под купца. Провожали меня два партийных работника, тоже по внешнему виду очень похожие на обыкновенных рядовых торговцев, которых тогда много было на пристани.

Наш отъезд происходил в яркое, солнечное утро. Путь предстоял длинный и опасный. Мотор на лодке был очень слабый; вся надежда была на паруса, а при спокойной погоде они находились бы в бездействии. Кроме того, мы знали, что деникинские военные корабли, господствовавшие тогда в Каспийском море, в штормовую погоду, как правило, стояли в портах. На наше счастье, некоторое время спустя после того, как мы вышли из порта, начался шторм.

Лодка была небольшая, волны гигантские. Сидишь на корме, оглянешься назад – и кажется, будто огромная четырехметровая стена пенистой морской воды вот-вот навалится и поглотит тебя.

Первая большая опасность могла ожидать нас в пути от форта

Александровска до кизлярских берегов: здесь самая узкая горловина Каспийского моря, и любой проходящий корабль мог заметить нашу лодку. Незаметно проскользнули Александровск и плыли почти целый день. По мере приближения к Волге на глазах менялся цвет морской воды: сперва она была темно-синей, потом стала желтеть – это уже проступала волжская вода. Значит, мы близко от устья.

Деникинские военные корабли особенно тщательно патрулировали вход в дельту Волги. Отправляясь в путь, мы предусмотрительно припрятали в лодке три боевые винтовки, маузеры и гранаты. Если бы деникинцы нас захватили, мы оказали бы им достойное сопротивление и, уж во всяком случае, не продали бы дешево свою жизнь.

Перед самым заходом солнца мы увидели вдали корабль. Он быстро приближался, мы еще никак не могли распознать, белый это корабль или наш, красный.

Раздался предупредительный выстрел и требование поднять флаг, поскольку мы шли вообще без всякого флага. Подумав, я приказал поднять белый флаг. Матросам я объяснил, что белый флаг хорош тем, что формально означает отказ от сопротивления. Корабль не станет стрелять. Когда он подойдет и окажется, что он наш, красный, то все закончится благополучно. Если же окажется, что это деникинский корабль, тогда мы все равно сможем пустить в ход оружие, уничтожить как можно больше врагов, не сдавшись живыми. Корабль приближался. Мы зорко вглядывались: есть ли офицерские погоны? Смотрим, никаких погонов не видно. Значит, красные! К нам в лодку спрыгнули три моряка без знаков различия, один из них был командир. Я представился, сказал, что еду из Баку в Астрахань с поручением к Кирову, а докладывать о подробностях не могу.

Это была моя первая встреча с Кировым. До этого мы были знакомы только по переписке. Встретились как хорошие, давние знакомые. Я подробно рассказал ему все, что собирался говорить в ЦК партии. Человек живой, пытливый, умный, ясно и четко мыслящий, Киров мгновенно разобрался во всех тонкостях этих вопросов. За дни пребывания в Астрахани и частого общения с ним мы близко узнали друг друга и стали навсегда друзьями.

В моей памяти Киров тех дней остался исключительно собранным, подтянутым, цельным человеком, обладавшим к тому же очень твердым характером. Он и по внешнему своему облику необычайно располагал к себе людей. Невысокого роста, коренастый, очень симпатичный, он обладал каким-то особенным голосом и необыкновенным даром слова. Когда он выступал с трибуны, то сразу покорял массы слушателей.

В личных беседах и на узких совещаниях он был немногословен. Но высказывал свои мысли всегда очень ясно, четко, умел хорошо слушать других, любил острое словцо и сам был отличным рассказчиком.

Выяснилось, что Киров ведет оживленные переговоры с Лениным по телеграфу, регулярно сообщая о положении дел, запрашивая указания, передавая в Центр поступающую в Астрахань информацию с Кавказа. В первый же день моего приезда Сергей Миронович послал Ленину телеграмму о моем прибытии в Астрахань и предстоящей поездке в Москву. Киров сообщил Ленину и об услышанном от меня.

Во время пребывания в Астрахани я неожиданно узнал, что в городе находится большая группа армян-коммунистов во главе с Айкуни, которая собирается ехать на Кавказ. Было устроено собрание этих товарищей, где с докладом выступил Айкуни, а я – с контрдокладом.

Я заявил, что коммунисты Армении и Закавказский крайком партии не признают ЦК Компартии Армении, который возглавляет Айкуни. Он и его группа не имеют никакой связи с местными парторганизациями в Армении, работой которых сейчас руководит недавно созданный Арменком, не признающий группу Айкуни. Айкуни и его ЦК не избраны коммунистами Армении. Я заявил, что товарищи, которые собираются ехать на Кавказ, вполне могут рассчитывать на хороший прием и поддержку, если спокойно и дисциплинированно войдут в ряды местных партийных организаций. Неожиданно подавляющее большинство присутствовавших на собрании коммунистов поддержало меня.

Регулярного сообщения с Москвой не было. Поезда ходили не чаще одного раза в неделю. Уехать иначе можно было лишь с какой-либо оказией. «Такая оказия есть, – сказал мне Киров. – Через несколько дней сюда должен прибыть со своим поездом член Реввоенсовета республики Смилга с группой военных работников. Он пробудет в Астрахани день-два, и ты вполне сможешь с ним уехать в Москву».

Так все и произошло. 26 октября я уехал в Москву в том поезде, с которым возвращался Смилга. Киров телеграммами сообщил Ленину и Стасовой о моем выезде в Москву.

Добирались мы до Москвы что-то около двух недель. Железнодорожный транспорт находился тогда в катастрофическом положении. Подвижной состав был разбит. Порядка на путях не было. Остановки следовали одна за другой. Весь этот вынужденный долгий путь я продолжал обдумывать свой доклад Центральному комитету партии. Много думал о

предстоящей и так волнующей меня первой встрече с Лениным.

Приехал я в Москву, когда положение в Советской России было очень тяжелым. Шла Гражданская война, вспыхивали контрреволюционные мятежи. Повсюду свирепствовали голод, эпидемии.

Центральный комитет партии размещался тогда в здании на Воздвиженке. Меня направили в комнату, в которой работала Елена Дмитриевна Стасова.

Приветливо улыбнувшись, она попросила меня присесть и подождать, пока она кончит разговор с товарищем. Через несколько минут я уже отвечал на ее вопросы.

Расспросив, как я доехал, Стасова направила меня к Владимиру Ильичу, в Кремль. Сказала, что Ленин дал поручение: как только я появлюсь в городе, сразу же доставить меня к нему. В тот же день вечером он принял меня в своем кабинете.

Когда я открыл дверь в кабинет Ленина, он, приветливо улыбаясь, встал из-за письменного стола и вышел мне навстречу. Дружелюбно и просто пожал руку. Ленин предложил мне сесть на стул, стоявший у письменного стола, и сам вернулся на свое место: «Рассказывайте, рассказывайте».

Когда я начал говорить, Ленин сразу как-то преобразился: весь превратился во внимание, улыбка сошла с лица, выражение глаз стало серьезным, пытливым. Я слышал, что Ленин человек простой, но не представлял его себе таким, каким увидел. Он сразу же создал атмосферу непринужденной деловой беседы. Поначалу я сильно волновался, но вскоре собрался и смело, без смущения стал ему докладывать.

Рассказал о больших успехах большевиков Азербайджана за полугодие, прошедшее с весны 1919 г., о сплочении бакинского пролетариата вокруг нашей партии, о сочетании подпольной партийной работы с легальными формами деятельности.

Я говорил о том, что нам все-таки удалось занять ведущее положение в профсоюзах, а также в рабочих клубах районов Баку, превратив их в базы для развертывания массовой политической работы среди рабочих, в пункты связи и явок партийных организаций, как нам удалось, вопреки усилиям меньшевиков, получить большинство на перевыборах правления Каспийского кооперативного объединения, взять управление им в свои руки.

Еще по пути в Москву я все время думал о предстоящей встрече, о том, как лучше сделать доклад Ленину. Решил сначала привести одни только факты, потом их проанализировать, обобщить и сделать выводы. Так я и поступил. Владимир Ильич с жадностью слушал меня, когда речь шла о фактах. Но как только я пытался перейти к выводам, он меня вежливо прерывал,

вставал, ходил по комнате, расспрашивал о дополнительных фактах. Подходил к карте: «А ну, посмотрим, где Дагестан, где Карабах, где Чечня?» Смотрим. «Сколько там партизанских отрядов?» – вновь спрашивает Ленин. Отвечаю и опять начинаю обобщать. Ленин снова задает вопросы, уточняет. Наконец я понял, что мне надо подробнее рассказывать о фактах и не стараться делать выводы: Ленин сам их сделает, и, конечно, лучше меня.

Я доложил Ленину о политическом положении в республиках Закавказья, в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабарде. Отметил, что наиболее революционная ситуация сложилась в Азербайджане, особенно в Баку. После трагической гибели Ленкоранской Советской республики наиболее сильно антиправительственное движение развернулось в Казахском уезде и в Карабахе. А в Дагестане, Чечне и Кабарде идет партизанская борьба против деникинских войск.

Ленин задал вопрос: каково экономическое положение в буржуазных республиках Закавказья?

Я ответил, что относительно благополучно положение в Грузии. Азербайджан, владея огромными запасами уже добытой нефти, но лишившись российского рынка, переживает депрессию. Самое тяжелое положение в дашнакской Армении. При общей бедности населения экономическое положение отягощено еще и тем, что там около 300 тысяч армян-беженцев, пришедших из Западной Армении вместе с отступавшими русскими войсками, очутились в ужасных условиях. Широко рекламируемая помощь Англии и Америки на деле ничтожна, народ голодает.

Ленин спросил, каковы взаимоотношения между националистическими правительствами Закавказья. Я ответил, что они грызутся между собой, их раздирают территориальные споры. В Грузии соотношение общественных сил развивается в нашу пользу.

Вдруг Ленин, хитро усмехнувшись, спрашивает: «А как осуществляют демократию грузинские меньшевики?» Я ответил, что никакой демократией в меньшевистской Грузии и не пахнет. Наоборот, там жестоко подавляют крестьянские восстания, возникшие в некоторых уездах. Арестовали и держат в тюрьмах без суда и следствия большую группу наших партийных товарищей. Арестован и сидит в Кутаисской тюрьме известный Ленину по швейцарской эмиграции Миха Цхакая. Конечно, нет и речи о свободе печати. Большевики работают подпольно.

Ленин очень горячо реагировал на мой рассказ и высказался примерно так: «Я этих меньшевиков хорошо знаю! От них другого нельзя ожидать».

Рассказал я Ленину о том, что партийные организации Закавказья успешно готовятся к вооруженному восстанию и ждут указаний ЦК о времени его проведения. Мы хотели бы приурочить восстание к моменту приближения Красной армии к Кавказу.

Я сказал далее, что в Азербайджане сейчас кроме РКП(б) существуют две коммунистические организации: «Гуммет» и «Адалет». Представители всех коммунистических организаций после некоторых споров пришли к выводу о том, что теперь надо иметь единую коммунистическую организацию для всех, независимо от национальной принадлежности. Но это единодушное мнение коммунистов Азербайджана находится в противоречии с принятым в июле этого года в Москве решением ЦК, согласно которому «Гуммет» признается самостоятельной Коммунистической партией Азербайджана с правами областного комитета партии. Коммунисты Армении и Кавказский крайком РКП(б) не признают и возглавляемый Айкуни ЦК Компартии Армении. Он и его группа не имеют никакой связи с местными парторганизациями Армении.

По наивности я думал, что Ленин прямо в ходе беседы или сразу по ее окончании даст мне определенные ответы на поставленные вопросы, выскажет свое мнение и соображения по ним. Но Ленин сказал, что все эти вопросы надо изучить и обсудить в ЦК, а потом уже принимать по ним решения. Для этого надо, чтобы я все изложил в письменном виде, что я позже и сделал.

Что же касается объединения коммунистов в одной организации по территориально-производственному принципу, независимо от их национальной принадлежности, Ленин сказал, что это совершенно правильно. Правильно также, чтобы в организовавшихся на окраинах России самостоятельных государствах коммунистические организации работали в виде самостоятельных компартий, входящих в состав РКП(б).

Эта первая встреча и беседа с Владимиром Ильичом Лениным никогда не изгладится из моей памяти.

После беседы с Лениным я вернулся на Воздвиженку, где мне дали направление в третий дом Советов (Божедомский переулок, позже Делегатская улица, где находятся Президиум Верховного Совета и Совет министров РСФСР). В Москве я был впервые, ни трамваи, ни другой городской транспорт не работали, и, чтобы добраться до места, мне дали автомобиль.

В тот же день мне удалось узнать, где живет семья Шаумяна. Оказалось, что она занимает квартиру во дворе этого же дома, и я зашел к ним. Екатерина Сергеевна Шаумян настояла на том,

чтобы я перебрался к ним. И вновь, как в Баку, квартира Шаумяна стала для меня родным домом.

А на следующий день после беседы с Лениным Стасова приняла меня и попросила проинформировать и ее о работе нашей организации, о политической обстановке на Кавказе, о вопросах, требующих решения ЦК. От этой беседы остались в памяти деловитость, конкретность и сдержанность, с которыми она вела наш первый большой разговор.

В 1920 г., уже после победы советской власти в Азербайджане, Елена Дмитриевна приехала к нам в Баку в качестве секретаря Кавказского бюро ЦК РКП(б). В течение нескольких месяцев до моего отъезда с Кавказа мне довелось работать с ней рука об руку. Вместе с ней мы входили в состав возглавляемого Серго Орджоникидзе оргбюро по созыву в Баку съезда народов Востока.

Елену Дмитриевну невозможно было представить без дела. Такой Стасова была всю жизнь. Помню, году в 1964-м, узнав, что Елена Дмитриевна в больнице, я навестил ее. Она подробно расспрашивала меня о работе Президиума Верховного Совета СССР, председателем которого я стал.

Как-то летом 1966 г. мне позвонила Ольга Шатуновская и сообщила, что Елена Дмитриевна плохо себя чувствует и хочет, чтобы я заехал к ней. Встревоженный, я немедленно вместе с Шатуновской поехал к Елене Дмитриевне. Она лежала в постели в своей небольшой спальне. Говорила с трудом, сказала, что ей хочется послушать музыку Бетховена. У нее в доме не оказалось ни проигрывателя, на пластинок, ни магнитофона. В этом же доме жила семья моего старшего сына Степана. Я позвонил по телефону, и моя внучка Ашхен принесла проигрыватель и несколько пластинок Бетховена. Было видно, что музыка доставила Елене Дмитриевне огромную радость и некоторое облегчение.

31 декабря 1966 г. я решил вновь заехать к Елене Дмитриевне и поздравить ее с Новым годом, но нашел ее в безнадежном состоянии. Она была без сознания и с трудом дышала. Молодая медицинская сестра делала ей массаж, стараясь поддерживать дыхание и сердечную деятельность. Вскоре появились врачи. Все их попытки предотвратить смерть оказались тщетными.

Стало известно, что 22 ноября 1919 г. в Москве открывается II Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока. Мне захотелось в качестве гостя присутствовать на этом съезде, чтобы получить информацию и поучиться на опыте этих организаций решению национального вопроса. Съезд собрался в

Кремле, в Митрофаньевском зале, который вмещал около 80 делегатов.

В день открытия съезда делегатов приветствовал Ленин. Его выступление произвело огромное впечатление на присутствующих, особенно на меня, потому что я впервые слушал публичное выступление Ленина.

Я был еще на нескольких заседаниях этого съезда. Он продолжался почти 10 дней. Запомнились очень резкие споры и столкновения взглядов выступавших. Чувствовалось, что налицо большой разнобой во взглядах при разрешении конкретных вопросов национальной политики, и дело дошло даже до создания группировок, занимавших непримиримые позиции. В частности, это касалось отношений между татарами и башкирами.

Время шло, я торопился вернуться на Кавказ. 4 декабря, после окончания VIII партийной конференции, увидев Ленина в коридоре, когда он шел к себе в кабинет, я подошел к нему и сказал, что кавказские вопросы не продвигаются вперед, мне надо торопиться на Кавказ и прошу ускорить их рассмотрение. Ленин одобрительно отнесся к моей просьбе и сказал, что примет необходимые меры.

20 декабря меня пригласили в Кремль на заседание политбюро ЦК. В нем участвовали три члена политбюро, четыре члена оргбюро, Аванесов от Наркомнаца и я. Сталина в Москве не было. Это было объединенное заседание политбюро и оргбюро. Вел его Ленин, проходило оно в маленьком, скромно обставленном, уютном кабинете Ленина.

Я пробыл в Москве около двух месяцев. В начале января 1920 г. с группой товарищей – Михаилом Кахиани, Владимиром Ивановым-Кавказским и Ольгой Шатуновской – я выехал из Москвы, возвращаясь в Баку через Ташкент и Красноводск, который в то время был уже освобожден Красной армией; путь через Астрахань был закрыт из-за льда.

От Самары до Ташкента мы ехали больше месяца поездом с Фрунзе, командовавшим тогда войсками Красной армии в Средней Азии. В Ташкенте я впервые встретился еще с одним замечательным большевиком-ленинцем Куйбышевым. Он прибыл в Туркестан в конце 1919 г. в составе специальной комиссии ЦК партии, созданной для упрочения советской власти в этом крае, где еще продолжали бесчинствовать белые басмаческие банды. Впоследствии я много и часто встречался с Валерианом Владимировичем, и то наше первое знакомство переросло в прочную дружбу, продолжавшуюся до его смерти.

Из Ташкента я через Ашхабад отправился в Красноводск. В

Ашхабаде в те дни проходил съезд представителей трудящихся. По предложению Фрунзе я приветствовал съезд от имени бакинского пролетариата, поздравив туркменских трудящихся с победой.

В Красноводске наши товарищи приготовили баркас, пригнанный ими из Баку. Так как в Каспийском море все еще орудовали деникинские военно-морские силы, баркас был предусмотрительно вооружен пушкой и пулеметом.

Направлялись мы к побережью Азербайджана, чтобы нелегально пробраться в Баку для подготовки вооруженного восстания против мусаватистского правительства. В море компас у нас испортился, мы сбились с пути и долго не могли определить, где находимся. Ранним утром стали приближаться к Петровску. Рассуждали мы при этом так: если в порту судов нет – порт освобожден, белые ушли. Вскоре мы увидели, что на рейде и в порту никаких плавсредств нет: значит, путь свободен.

Пришвартовались благополучно. Нас встретили красноармейцы, и от них мы узнали, что штаб 11-й армии находится на станции в специальном поезде. В штабном вагоне я вновь встретился с Серго Орджоникидзе и Кировым, которые тут же познакомили меня с командующим армией Левандовским и членом Военного совета армии Механошиным.

11-я армия подошла к самой границе азербайджанского буржуазного государства. Левандовский подготовил армию к дальнейшим боевым действиям, расположив передовые части по левому берегу реки Самур и сосредоточив здесь отряд бронепоездов.

Глава 8
На бронепоезде – в Баку

Через день после нашего прибытия в Петровск нелегальным путем сюда пробрался из Баку и Ломинадзе. Он рассказал о готовности бакинских большевиков к вооруженному восстанию. Большие надежды возлагались, конечно, на помощь Красной армии.

Левандовский ознакомил всех нас с приказом командующего Кавказским фронтом Тухачевского и члена Реввоенсовета фронта Орджоникидзе, обязывающим наши войска пересечь 27 апреля границу Азербайджана и пойти на помощь бакинским рабочим. В связи с этим мы поручили Ломинадзе немедленно нелегально возвратиться в Баку, чтобы сообщить бакинским товарищам о дне готовности Красной армии оказать им помощь.

Вспоминаю, какую озабоченность проявлял тогда Серго по поводу того, чтобы не допустить взрыва мусаватистами бакинских нефтяных промыслов. А они могли пойти на такой отчаянный шаг, видя, что их карта бита. Орджоникидзе говорил нам, что по этому вопросу он имеет специальное указание Ленина. Поэтому мы обязали Ломинадзе, чтобы он, вернувшись в Баку, поставил в качестве одной из важнейших задач Бакинской партийной организации предотвращение возможности взрыва нефтепромыслов.

Левандовский информировал нас о сложившейся военной обстановке. Согласно разведывательным данным, мусаватистское правительство Азербайджана располагало 30-тысячной армией: 20 тыс. были размещены у границ Армении, а 10 тыс. рассредоточены по гарнизонам ряда населенных пунктов. Армия Азербайджана незадолго до этого осуществила резню армян в Шуше, в Карабахе. Непосредственно же на линии соприкосновения с нашей армией было немногим больше 3 тыс.

Тогда же нами был разработан и детальный план согласованных действий наших войск.

Желая поскорее попасть в Баку, я обратился к Левандовскому с просьбой помочь мне войти в город с первыми воинскими частями. Он сказал, что первым в Баку должен вступить бронепоезд. Именно ему дано задание прорваться впереди остальных войск в район нефтепромыслов Баку, чтобы помочь бакинским рабочим обеспечить охрану этих жизненно важных объектов. «Поэтому, – сказал мне Левандовский, – если вы хотите попасть в Баку раньше, то вам следует отправиться с этим

отрядом».

Выехав из Петровска к месту стоянки бронепоезда, я встретился в районе Дербента с командующим группой бронепоездов Ефремовым и военным комиссаром этой группы Дудиным. Бронепоезд «III Интернационал», на котором находился командный пункт Ефремова, стоял в 200–300 м от моста через пограничную с Азербайджаном реку Самур, маскируясь в лесу. Поэтому с другого берега его не было видно.

Был теплый весенний день 26 апреля, деревья уже покрылись листвой.

Ефремов прочитал приказ Левандовского. Он был очень кратким. Приказывалось прорваться в Баку, закрепиться на бакинских нефтепромыслах и, опираясь на поддержку рабочих отрядов, охранять промыслы от возможных поджогов до подхода основных сил 11-й армии.

Ночь на 27 апреля. Погода стояла теплая, тихая, ярко светила луна.

Красноармейцы заняли свои места в вагонах. Мы с Ефремовым находились на орудийной площадке бронепоезда. Впереди поезда была прицеплена платформа, на которой стояли два заранее проинструктированных красноармейца. Ефремов держал часы в руках и ровно в ноль часов десять минут приказал начать движение.

Въехали на мост, подходим к азербайджанскому посту. Там ничего не понимают. «Что происходит?» – спрашивают. «Едем в Баку. Хотите, поедемте с нами», – отвечаем им.

Тем временем два красноармейца соскочили с передней платформы и перерезали телефонные и телеграфные провода, идущие от караульного помещения к станции Ялома. Бронепоезд пошел вперед.

Когда уже рассвело и наступил день, мы с движущегося поезда видели, как по обеим сторонам железнодорожного полотна крестьяне обрабатывают свои поля, пашут, сеют. Поезд наш шел с поднятым красным стягом. Крестьяне неизменно приветствовали нас возгласами и поднятием рук. Мы восклицали в ответ: «Да здравствует Советский Азербайджан!», «Да здравствует дружба между азербайджанским и русским народами!».

У станции Худат дал о себе знать мусаватистский блиндированный поезд. Из-за холма он открыл огонь по нашему бронепоезду, но стрелял неметко – не было ни одного попадания. Мы не отвечали: цели не было видно, расходовать снаряды понапрасну не хотели.

Когда мы подъехали к Баладжарам, уже стемнело. По нашему

поезду был открыт артиллерийский огонь. Ефремов приказал десантному отряду высадиться и продвигаться вдоль железной дороги по обеим сторонам бронепоезда. Впереди поезда шли несколько красноармейцев и проверяли, не заминирован ли путь. Поезд шел медленно и только в полночь прибыл в Баладжары.

Ночью из Баку мне позвонил Камо и сообщил, что наши товарищи предложили азербайджанскому правительству под угрозой восстания мирно сдать власть коммунистам. Те, видя боевое настроение бакинских рабочих, а также узнав о занятии Баладжар нашим бронепоездом и общем подходе частей Красной армии, решили выполнить это требование.

В ночь на 28 апреля они освободили из тюрьмы всех арестованных большевиков и сдали власть.

К 6 часам утра 28 апреля наш бронепоезд благополучно прибыл на Бакинский вокзал. Встречал нас Камо. Вместе с ним поехали на автомашине к зданию азербайджанского парламента, где уже несколько часов заседали члены Военно-революционного комитета и ЦК Компартии Азербайджана.

Мы появились в Баку, когда старой, буржуазной власти уже не было, а новая, советская власть еще не установилась. Поэтому на улицах нам встречались полицейские, которые продолжали нести свою службу, не зная еще, что власть в городе переменилась. На рассвете открывались лавки, казалось, жизнь идет своим чередом.

Местная Красная гвардия взяла на себя охрану нефтепромыслов и нефтескладов, а также заботу о поддержании в городе необходимого порядка. Для этого она располагала оружием, нелегально накопленным здесь ранее, а также присланным с Туркестанского фронта по распоряжению Фрунзе.

В ночь на 29 апреля 1920 г. состоялось провозглашение советской власти в Азербайджане во главе с временным правительством – Военно-революционным комитетом и его председателем Н. Нариманов.

30 апреля в Баку начали входить части 11-й армии. До этого в течение двух дней наш бронепоезд «III Интернационал» был единственной воинской частью в Баку.

В город прибыли Орджоникидзе, Киров, Левандовский, Механошин. Орджоникидзе вручил Ефремову орден боевого Красного Знамени.

Всего два-три дня, проведенные вместе с Ефремовым, оставили глубокий след в моем сознании. Бывают в борьбе, в жизни такие моменты, когда за несколько дней узнаешь человека лучше, чем иногда за много лет совместной работы. Я проникся

глубоким уважением и товарищеской любовью к этому ранее незнакомому мне человеку, обаятельному в обращении с людьми, бесстрашному в бою, спокойному и решительному, внушающему к себе доверие товарищей и подчиненных.

В последующем Михаил Григорьевич Ефремов стал командующим Орловским военным округом. Затем был репрессирован, еще перед войной, прямо из тюрьмы вернулся в строй (каким-то чудом Сталин внял блестящей характеристике, которую я дал Ефремову при зачтении Сталиным его письма из тюрьмы). Командовал армией. Погиб при организации прорыва вражеского фронта на западе от Москвы. В Вязьме ему поставлен памятник.

Наступило 1 Мая. Основная масса пехоты в это время входила в город. С раннего утра по улицам шли колонны красноармейцев, утомленных, в пыли, но радостных, воодушевленных. Со всех районов, с промыслов, с заводов рабочие с семьями заполнили улицы города. Началось настоящее братание населения с красноармейцами. Объятия, всеобщее ликование. Это был замечательный, радостный Первомай в Баку. Повсюду – на перекрестках и площадях – возникали митинги.

В течение нескольких дней во всех центрах Азербайджана расквартировывались красноармейские части. Красная армия дошла до границ меньшевистской Грузии и дашнакской Армении.

Однако мирная обстановка в Азербайджане продержалась недолго. Уже в двадцатых числах мая азербайджанские феодалы, которые собрались в губернском городе Гянджа вместе с бежавшими из Баку министрами, контрреволюционным офицерством и чиновничеством, подняли вооруженное восстание. Завязались уличные бои, в ходе которых мятеж был подавлен. Но не прошло и двух недель, как разбитые части мятежников перебрались в Карабах и подняли там новое восстание. Оно было также подавлено. Через некоторое время начались контрреволюционные волнения в некоторых других уездах. Скоро и с ними было покончено.

Как нам стало потом известно, после прихода Красной армии в Азербайджан начали возрастать повстанческие настроения в Александрополе (ныне Ленинакан) – крупном городе Армении. Под давлением масс Александропольский горком партии попросил разрешения Арменкома начать организованное восстание для свержения дашнакского правительства. 10 мая в Александрополе Военно-революционный комитет провозгласил советскую власть в Армении.

В тот же день знамя восстания было поднято в Карсе. Затем в Сарыкамыше, Кавтарлу, Нор-Баязете, Шамшадине, в Идживане. Потом оно перекинулось и в Зангезур. Во всех этих местах революционные комитеты провозгласили свержение дашнакского правительства и объявили об установлении советской власти в Армении. Обо всем этом армянские коммунисты сообщили в Баку и Кавбюро ЦК с большим опозданием. Вскоре к нам поступило печальное сообщение о том, что повстанцы через три дня в Александрополе, а затем и в других районах были разбиты, многие участники восстания были арестованы, 11 же руководителей, в том числе Алавердян, Мусаелян, Гарибджанян, Гукасян, как мы узнали позже, расстреляны.

Получив сообщение об этом от армянских товарищей с просьбой оказать армянским повстанцам Казахского уезда помощь, я немедленно дал телеграмму Серго. Она сохранилась в архиве Орджоникидзе, вот ее текст:

> *«Записка по проводу из Шуши*
> *Председателю Каввоенсовета Кав. фронта*
> *тов. Орджоникидзе*
>
> 20 к утру у нас будет делегация от армянских повстанцев. Они по телеграфу передают о разгроме повстанцев в Александрополе и просят оказать вооруженную помощь повстанцам армянского Казахского уезда.
>
> Телеграмма от Карахана заявляет, что Россия берет на себя посредничество между Арменией и Азербайджаном. Временно все спорные территории занимаются русской Красной армией в пределах Армении согласно просьбе восставшего народа. Сообщите, какие меры считаете возможным принять немедленно.
>
> *Микоян».*

К сожалению, вопрос был перед нами поставлен, когда в главных центрах восстание уже было подавлено.

Майское восстание трудящихся Армении хотя и кончилось поражением, но подготовило победоносное восстание в ноябре того же года во всей Армении.

После ликвидации всех очагов контрреволюции в Азербайджане Серго Орджоникидзе, возглавлявший Кавбюро ЦК, взялся совместно с ЦК Компартии Азербайджана за осуществление политических и экономических мероприятий. Вскоре был издан декрет Азербайджанского ревкома о

конфискации помещичьей земли, ее национализации и передаче в пользование трудовому крестьянству.

В двадцатых числах мая 1920 г. была вторично национализирована бакинская нефтяная промышленность – более 250 предприятий частных фирм. На их базе было организовано государственное объединение «Азнефть». Надо было как можно быстрее наладить вывоз огромной массы накопившихся запасов нефти морем в Россию, где свирепствовал топливный голод. Путь через Астрахань уже был открыт, началась навигация. Одновременно надо было увеличить добычу нефти. В выполнении этих важных задач кроме местных товарищей большую помощь оказал прибывший из Москвы Серебровский. Старый большевик, опытный инженер и талантливый организатор, Серебровский возглавил «Азнефть».

Красная армия одержала крупные победы. Гражданская война шла к концу.

В сентябре 1920 г. был созван Первый съезд народов Востока. Организаторами этого съезда явились Исполком Коминтерна и часть делегатов, прибывших в Москву в конце июня 1920 г. на II Всемирный конгресс Коминтерна. Основную организационную работу по подготовке съезда вел Серго Орджоникидзе вместе с Еленой Стасовой. Я также был в курсе всех вопросов, так как входил в состав организационного бюро. Местом созыва съезда единодушно был выбран город Баку.

На съезд ожидалось прибытие делегатов от народностей бывшей Российской империи, включая Закавказские республики и Дагестан, делегатов от северо-кавказских народностей, от народов, живших в Туркестанской республике, от Хивы и Бухары, от Башкирии, от татар и калмыков, от Китая, Индии, Афганистана, Персии, Турции, Японии, от арабов, курдов.

Было решено привлечь на съезд не только коммунистов, но и представителей национальных революционных организаций и беспартийных, антиимпериалистически настроенных деятелей стран Востока.

На съезд прибыл 1891 делегат, в том числе 1273 коммуниста.

В качестве гостей приехали представители ряда коммунистических партий из Европы и США: из Венгрии – Бела Кун, из Англии – Квелч, из Франции – Россмер, из Америки – Джон Рид и др. Китай был представлен на съезде восемью делегатами, из них Ван был избран в члены созданного Совета действия и пропаганды на Востоке.

Съезд происходил в исторический момент. Страна только что пережила громадную волну иностранной интервенции. Англия начала вступать с нами в мирные переговоры. Это был как раз тот

период, когда Красная армия потерпела неудачу в Польше, что вновь окрылило капиталистов. Но именно в этот момент они неожиданно встали перед фактом, что волна антиимпериалистической борьбы перекинулась из России на Восток.

Съезд начал свою работу 1 сентября 1920 г. Накануне собрался Бакинский Совет, на котором было доложено о проведенной работе по подготовке к съезду. Так как ожидалось прибытие поезда с представителями Коминтерна и делегациями компартий ряда стран, депутаты решили организованно встретить гостей. Поезд пришел ночью. Все депутаты Совета, многочисленные рабочие делегации отправились его встречать. Прямо с вокзала гостей привезли в театр, где возобновилось заседание Совета. Закончилось оно в пятом часу утра. Слушали приветственные выступления представителей Коминтерна. Один за другим выступали с пламенными речами ораторы.

Джон Рид в своей яркой речи сказал, в частности:

«Я представляю здесь революционных рабочих одной из великих империалистических держав, Соединенных Штатов Америки, которая эксплуатирует и угнетает народы колоний.

Вы, народы Востока, народы Азии, еще не испытали на себе власти Америки. Вы знаете и ненавидите английских, французских и итальянских империалистов и, вероятно, думаете, что «свободная Америка» будет лучше управлять, освободит народы колоний, будет их кормить и защищать.

Нет. Рабочие и крестьяне Филиппин, народы Центральной Америки, островов Карибского моря – они знают, что значит жить под властью «свободной Америки».

Он говорил об участи Филиппин, Кубы. О последней он сказал: «Куба была освобождена от испанского господства при помощи американцев. И сейчас она является независимой республикой; но американские миллионеры владеют всеми сахарными плантациями, за исключением маленьких участков, которые они предоставляют капиталистам Кубы, которые и управляют страной. И как только рабочие Кубы пытаются избрать правительство, которое не в интересах американских капиталистов, Соединенные Штаты Америки посылают солдат на Кубу, чтобы заставить народ голосовать за своих угнетателей».

Это выступление Джона Рида было последним на коммунистических форумах. Он умер в том же 1920 г. в России, заболев тифом. Отдавая дань американскому революционеру, советские люди похоронили его в Москве на Красной площади, у Кремлевской стены. Написанная им книга «10 дней, которые потрясли мир» издана миллионами экземпляров.

Незабываемое впечатление производили и речи выступавших на съезде, и сам зал. Делегаты, охваченные одним общим порывом, встали, и некоторые, потрясая имевшимся оружием, клялись рука об руку с европейскими рабочими бороться против угнетателей.

Летом 1920 г., когда страна приступала к мирному строительству, появилась новая военная угроза советской власти: войска белогвардейского генерала Врангеля, перевооруженные Антантой, перешли в наступление. Вновь вспыхнул этот опасный очаг Гражданской войны.

Имея решение Центрального комитета партии о направлении на работу в президиум Нижегородского губкома партии, я попросил ЦК изменить это решение и направить меня на врангелевский фронт. Однако Центральный комитет оставил свое решение в силе.

В конце сентября 1920 г. я переехал в Нижний Новгород. Период моей жизни в Закавказье закончился.

Глава 9
В Нижнем Новгороде

Решение ЦК о переводе в Нижний Новгород было как гром среди ясного неба. Надо было ехать в новый, незнакомый край, о котором я имел тогда лишь самые общие понятия, не выходящие за пределы школьного учебника по географии.

Уезжал я из Баку с большим сожалением – не хотелось покидать бакинских друзей, вместе с которыми было пережито много трудных испытаний, сроднивших нас как братьев по общей борьбе.

На пути к Москве нашему поезду, в котором ехали и возвращавшиеся со съезда народов Востока делегаты Коминтерна Бела Кун, Джон Рид и другие, давали «зеленую улицу». И тем не менее двигались мы очень медленно, и объяснялось это не только тогдашними скоростями на железных дорогах. В ряде районов, через которые приходилось проезжать, еще действовали остатки белогвардейских банд, обстреливавших поезда и надолго прерывавших их движение. Узнав о наших путевых трудностях, Серго Орджоникидзе, находившийся тогда временно на Кубани, выслал для сопровождения бронепоезд.

Приехав в Москву, я уже не стал просить приема у Ленина, считая это неуместным и нетактичным. С выпиской из решения оргбюро ЦК направился в Секретариат ЦК к Крестинскому, чтобы получить у него необходимую информацию и указания. Пришел я в приемную, попросил доложить, чтобы меня принял. Я полагал, что, раз доложили, что прибыл, сразу же меня Крестинский и примет. Но секретарь, доложив ему, вышла. Заходит к нему один работник аппарата, другой – я молчу, не возмущаюсь.

Крестинский знал, что ЦК назначил меня председателем Нижегородского губкома. Около получаса я ждал, потом начал возмущаться про себя: почему меня заставляют ждать, что это такое – демонстрация? У меня все кипело внутри, молодой был, не привык к таким вещам. Смотрел злыми глазами на тех, кто заходил к Крестинскому. Вдруг через полчаса Крестинский сам выходит из кабинета: «А, товарищ Микоян, вы приехали из Баку, очень рад». Под руку ввел меня в кабинет. Это еще больше меня возмутило. Я был с ним официален, спросил только, что нужно делать. Он сказал, что нужно ехать в Нижний. Ничего конкретного сказать не мог. Минут пять был у него. Я высказал желание ознакомиться с некоторыми материалами. Он порекомендовал: «Зайдите к заведующим отделами, поговорите с

ними». Кроме того, Крестинский предложил мне задержаться в Москве, чтобы присутствовать на IX Всероссийской партийной конференции, которая должна была открыться на следующий день. «Перед отъездом в Нижний это, пожалуй, будет для вас очень полезно», – сказал он.

Это предложение меня очень обрадовало. Хотелось вновь увидеть и услышать Ленина. Уж он-то, конечно, будет говорить о самом главном.

IX Всероссийская партийная конференция проходила 22–25 сентября 1920 г. в Свердловском зале Кремля. Ленин выступил с политическим отчетом Центрального комитета партии. С тех пор прошло 55 лет, но я хорошо помню, что именно благодаря выступлениям Ленина и великому его умению создавать вокруг себя атмосферу доверия, взаимного уважения, сплочения и единства делегаты конференции разъезжались тогда по домам с каким-то приподнятым настроением.

Конечно, причины, вызывавшие идейные разногласия, нельзя было устранить так быстро. Но заботливое и бережное отношение Ленина к партийным кадрам, в том числе заблуждавшимся, ошибавшимся, которое так отчетливо проявилось на той конференции, раскрыло для многих из нас еще одну замечательную грань облика Ленина как вождя партии.

Споря с оппозиционерами, он использовал все возможные средства и меры товарищеского воздействия, чтобы сохранить их для партии.

Вот почему примерно через месяц, 26 октября 1920 года, он пишет проект постановления политбюро ЦК партии, в котором считает необходимым «как особое задание Контрольной комиссии рекомендовать внимательно-индивидуализирующее отношение, часто даже прямое своего рода лечение по отношению к представителям так называемой оппозиции, потерпевшим психологический кризис в связи с неудачами в их советской или партийной карьере».

Эти строки нельзя читать без волнения. В них умение Ленина сочетать партийную принципиальность с бережным и внимательным отношением к тем коммунистам, которые в тот или другой период революции ошибались и, заблуждаясь, расходились с партией. В этом и заключалась суть ленинского отношения к партийным кадрам. Каким контрастом ему стало сталинское отношение к людям через каких-нибудь десять лет!

Помню, как внимательно слушал Ленин Луначарского и всех выступавших депутатов. На его лице можно было увидеть какое-то особое внутреннее удовлетворение от того, что и как говорил Луначарский.

После этого памятного выступления Луначарского я встретился с ним и с Максимом Горьким в домашней обстановке у вдовы Степана Шаумяна – Екатерины Сергеевны.

Инициатором встречи был легендарный Камо. Незадолго до этого он познакомился с Алексеем Максимовичем и сразу проникся к нему горячей симпатией. Горький ответил Камо взаимностью. Не случайно один из самых лучших очерков, в котором талантливо воссоздан обаятельный образ Камо, написан именно Алексеем Максимовичем. С Луначарским Камо связывала старая дружба.

В те трудные, холодные и голодные дни Камо решил порадовать друзей и по кавказскому обычаю лучше угостить их. Он знал, какие вкусные армянские блюда умела готовить Екатерина Сергеевна. Как-то он пришел к ней и сказал: «Если я достану все, что нужно, вы приготовите нам хороший плов и свои тающие во рту слоеные пирожки?» Екатерина Сергеевна, конечно, согласилась, но с недоумением спросила: «Камо, а где же ты достанешь продукты?»

Не знаю, где и как, но Камо раздобыл рис, мясо, масло, муку. У друзей, только что приехавших из-за границы, он достал даже две бутылки французского коньяка.

И вот в назначенный день, взяв у Авеля Енукидзе машину, Камо стал свозить гостей к Екатерине Сергеевне. Сначала Алексея Максимовича и Луначарского, потом Миху Цхакая, Филиппа Махарадзе и Сергея Яковлевича Аллилуева. Немного позже приехал и Енукидзе.

Присутствие Горького на квартире семьи Шаумяна не было случайным. Дело в том, что Шаумян любил и очень высоко ценил Горького. В работе Лондонского съезда партии участвовали как Шаумян, так и Горький. Несомненно, они там встречались. Горькому хорошо была известна выдающаяся роль в революции члена ЦК и чрезвычайного комиссара Кавказа Шаумяна как при царском режиме, так и после его свержения и его трагическая участь. Поэтому Горький питал симпатию к семье Шаумяна.

Пока Камо собирал гостей, Алексей Максимович и Анатолий Васильевич сидели в комнате и оживленно беседовали. Тут же были Лев Шаумян и я. Горький неторопливо и, как всегда, обстоятельно говорил о молодых писателях и внимательно прислушивался к рассказам Луначарского о литературных делах. Надо сказать, что к Анатолию Васильевичу Горький относился с большой теплотой и уважением.

В их разговоре я не участвовал, пока ко мне не обратился с вопросом Горький: «Вы, кажется, недавно с Кавказа? Что там происходит в литературной жизни?»

Откровенно говоря, я смутился, так как ничего не мог ему ответить: мне тогда не приходилось близко сталкиваться с литераторами. Выручил Лев Шаумян, рассказав о Василии Каменском, Сергее Городецком, Рюрике Ивневе, с которыми он встречался в Тифлисе. Шаумян говорил, что эти поэты часто выступают с лекциями, читают свои стихи, в общем, ведут себя очень достойно и, судя по всему, настроены вполне просоветски.

Тут Екатерина Сергеевна пригласила всех к столу, на котором была расставлена самая разномастная посуда: тарелки, кружки, чашки, стаканы разных цветов и размеров – словом, все, что только удалось ей собрать у соседей.

Вечер прошел очень оживленно и интересно. В течение нескольких часов я внимательно слушал и присматривался к Горькому и Луначарскому, впервые встретившись с ними, да еще в такой непринужденной обстановке. Оба они произвели на меня огромное впечатление, правда, каждый по-своему. Поразили прежде всего и своей эрудицией, и каким-то особым обаянием. Таких людей нельзя было не полюбить.

Последние годы Анатолий Васильевич часто и тяжело болел: у него обнаружилось серьезное заболевание сердца и глаз.

В августе 1933 г., когда ему стало лучше, он был назначен первым полномочным представителем СССР в Испании. Но по дороге в Мадрид неожиданно обострилась болезнь сердца, и Луначарский был вынужден задержаться во Франции. А в декабре 1933 г. с юга Франции, из города Ментоны, к нам пришла печальная весть, что Анатолий Васильевич Луначарский скончался.

Нельзя без волнения читать переписку Анатолия Васильевича со своим единственным сыном (тоже, кстати, Анатолием), опубликованную в «Комсомольской правде». Это на редкость задушевные письма самого близкого друга, любящего и нежного отца, умного и проникновенного воспитателя, педагога.

Сын с честью пронес по жизни эстафету, принятую из рук отца. Будучи человеком широко образованным, совсем еще молодым, он успел проявить себя талантливым литератором. С началом Великой Отечественной войны молодой писатель комсомолец Анатолий Луначарский добровольцем ушел на фронт. Участник обороны Севастополя, он потом неоднократно находился в опаснейших военных операциях под Новороссийском. За боевые заслуги военное командование наградило Анатолия Луначарского медалью «За оборону Севастополя» и орденом Отечественной войны II степени.

Однако своевременно получить эти награды Анатолий Луначарский не смог: долгое время он считался пропавшим без

вести, и только спустя некоторое время удалось установить, что он погиб смертью храбрых в сентябре 1943 г. при высадке десанта морской пехоты в районе Новороссийска.

Обо всем этом я узнал в 1965 г., когда в дни всенародного празднования двадцатилетия Победы над фашизмом мне пришлось как Председателю Президиума Верховного Совета СССР в торжественной обстановке вручать правительственные награды А.А. Луначарского его семье – вдове Елене Ефимовне и дочери Анне Анатольевне Луначарским.

На IX Всероссийской партийной конференции я впервые встретился с Молотовым. Незадолго до этого его отозвали из Нижнего Новгорода, где он был председателем губисполкома, и перевели в Донбасс, там его избрали секретарем губкома.

Мы познакомились. Я сказал, что направлен в Нижегородский губком, и попросил рассказать об обстановке в Нижнем.

Там крупная партийная организация, рассказывал Молотов, в основном состоящая из рабочих. Почти все члены губкома – дореволюционные коммунисты, тоже из рабочих. Но обстановка сложная, резко проявляются местнические настроения: работников из других губерний принимать не желают. Среди партийцев немало случаев морального разложения, злоупотребления спиртными напитками, несмотря на сухой закон (тогда в стране были еще полностью запрещены производство и продажа спиртных напитков). В заключение Молотов сказал, что работать в Нижнем мне будет трудно.

То, что он рассказал, показалось мне тогда чем-то противоестественным. В моем сознании как-то не укладывалось, чтобы в организации, состоящей из рабочих, среди коммунистов могла сложиться столь безрадостная обстановка. Но, конечно, возражать я не стал, решил сам во всем разобраться на месте.

Приехал я в Нижний Новгород в самом начале октября 1920 г. Поезд пришел днем. Телеграммы я никому не давал, и встречать меня было некому. Подхватив чемодан, в котором лежало все мое немудреное «хозяйство», сунув под мышку подушку, завернутую в байковое одеяло, я вышел на привокзальную площадь. Вокруг озабоченные, куда-то спешащие люди. Транспорта никакого не видно. Спрашиваю, где находится губком. Говорят – в кремле. Указали дорогу, и я направился по мощенной булыжником улице – навстречу своей новой жизни.

Шел мимо неприглядных, приземистых, теснившихся друг к другу домов. На их фоне ярким пятном выделялось бывшее здание ярмарки на берегу Оки. На другой стороне реки сверкали купола церквей. У причалов стояли пароходы, баржи. Через Оку

наведен разводной понтонный мост. Я шел по его разбитому деревянному настилу, опасаясь, как бы не провалиться в воду. Несколько раз переспрашивал дорогу: путь неблизкий, а транспорта так я и не встретил.

Кремль казался неприступным, как будто только что выдержал осаду. Мимо прошел отряд красноармейцев. Вид у них изможденный и какой-то потрепанный: кто в сапогах, кто в лаптях и обмотках.

Губком помещался на первом этаже большого белого здания, которое громко называлось Дворцом Свободы (бывший дом нижегородского губернатора). Пришел к секретарю губкома Кремницкому. Сложил в уголок пожитки, представился. Подал выписку из решения ЦК партии, пояснив, что ЦК направил меня для работы в президиуме Нижегородского губкома.

Кремницкий поздоровался и спокойно сообщил, что пленум губкома ликвидировал пост председателя губкома и вместо президиума организовал бюро губкома, секретарем которого остался он, Кремницкий, что все посты в бюро губкома заняты. Вот тебе и раз!

Видимо, не желая иметь во главе губкома нового для них работника из Центра и в то же время не рискуя пойти на прямое нарушение решения ЦК партии, местные руководители прибегли к хитрости в виде «организационной перестройки».

Сделать это было довольно легко, так как в те времена не существовало единой организационной структуры местных руководящих партийных органов.

Местные руководители рассчитывали, что, оказавшись перед таким фактом, я не соглашусь на работу меньшего масштаба и уеду обратно в распоряжение ЦК, а руководство партийной организацией останется по-прежнему в руках сложившейся местной группировки.

Я заявил Кремницкому, что вопрос о моей работе должен решаться бюро и пленумом губкома, исходя из постановления ЦК, и какое бы решение принято ни было, уезжать из Нижнего не собираюсь. Говоря все это, мысленно я расценивал складывающуюся обстановку примерно следующим образом: если соглашусь с Кремницким, значит, окажусь действительно бюрократом, каким он, очевидно, и рассчитывал меня увидеть; он решит, что я гоняюсь за высокими постами, а коль скоро место председателя губкома не существует и меня не изберут в бюро губкома, то я не останусь здесь и уеду. При таком положении я оказался бы действительно в роли зазнавшегося бюрократа, каким никогда не был и каких органически не терплю. Поэтому я решил настаивать, чтобы мне дали любую партийную работу, и

ни при каких условиях не уезжать из Нижнего, так как такой отъезд представлялся мне просто позорным.

Кремницкий, не ожидавший такой реакции, растерялся и смог только сказать, что бюро губкома состоится через несколько дней.

На первых порах поместили меня в общежитии. Отнес я туда свои пожитки и задумался. Предстояли пять дней без дела – первый случай в моей взрослой жизни. Но я был молод, полон сил и юношеского задора. А кроме того, все случившееся считал делом весьма принципиальным. Поэтому, поразмыслив, решил не терять свободного времени и начать самостоятельно знакомиться с городом. Направился в кремль. Деревья сбросили почти весь свой летний наряд, и я шагал по осенним листьям, как по яркому восточному ковру. Вид с Откоса поразил своей красотой, необъятными голубыми далями, синеющей внизу Волгой. Нижний начинал мне нравиться.

А чем же живут люди этого города? Пошел в горком партии, познакомился. Встретили меня там хорошо. «Нет ли, – спрашиваю, – каких поручений? Не нужен ли где оратор на политические темы?»

Райкомовцы обрадовались, сказали, что дело, конечно, найдется. Ораторов не хватает. Узнав, что я только с IX Всероссийской партконференции, все заинтересовались, что там происходило. И сразу предложили сегодня же выступить на совещании руководителей женотделов партийных комитетов.

После этого ходил я и в Береговой район. Смотрел на пароходы у пристаней. Грузчики носили с барж мешки, ящики, катили бочки. Доносился запах рыбы и соли. Зашел на «Миллиошку», где обитали портовые рабочие, и ужаснулся, как тяжело и скученно они там живут.

Побывал и в Канавине, и в Сормове. Заглянул в редакцию «Нижегородской коммуны». Много выступал на партийных и рабочих собраниях, рассказывал о IX партконференции. Хотя говорил я с довольно сильным кавказским акцентом, слушали внимательно. Однажды, после продолжительных аплодисментов, ко мне подошел один мой новый хороший знакомый и со смехом рассказал о реакции своего соседа, стоявшего в задних рядах: «Хорошо говорит человек, зажигательно! Жаль только, что не по-русски!» После этого эпизода я стал упорно работать над своими произношением и акцентом.

Так еще до обсуждения и решения вопроса в губкоме я включился в практическую работу, встречался с коммунистами и беспартийными рабочими города, с их активом.

Наступил наконец и день 5 октября. Как только началось

заседание бюро, стало ясно, что члены бюро уже знают от Кремницкого о нашем разговоре, о моей позиции и вопрос этот ими обсужден и предрешен. Одним словом, обстановка складывалась таким образом, что для меня в бюро губкома работы не было.

Все это меня возмутило, но я сдержался и спокойно сказал, что, не включая меня в работу бюро губкома, они фактически отменяют решение ЦК. Поэтому необходимо, чтобы губком сообщил о создавшемся положении в ЦК партии, решение которого о назначении в Нижний я, таким образом, не могу выполнить не по своей вине. «Сам этого делать я не буду», – решительно заявил я членам бюро и действительно ничего тогда не написал в ЦК.

Такая позиция, видимо, смутила губкомовских руководителей, и они решили вынести вопрос о пополнении состава губкома на окончательное решение своего пленума, приняв при этом такое постановление: «За выбытием тт. Кузнецова, Хахарева и Романова предложить губкому ввести тт. Фадеева, Батырева и Микояна, последнего согласно предложению ЦК». Такая оговорка свидетельствовала о желании местных руководителей «подставить» меня на выборах.

Когда через три дня на пленуме губкома стал обсуждаться вопрос «о пополнении бюро губкома», в поддержку моей кандидатуры выступили и очень уважаемый в Нижнем старый член партии Таганов, и молодой секретарь городского райкома, член губкома Иконников. Но четыре члена бюро губкома (Челышев, Ханов, Храмов и Воробьев) высказались против моего избрания, ссылаясь на то, что мне будет дана другая работа. При голосовании из десяти членов пленума губкома только двое поддержали мою кандидатуру.

Правда, на этом же заседании меня кооптировали в состав членов губкома и рекомендовали в состав президиума губисполкома. Таганов и Иконников внесли даже предложение о моем назначении председателем губисполкома, поскольку эта должность была тогда свободна. Однако и на этот пост местные руководители имели свою кандидатуру – Ханова. При голосовании я опять получил два голоса, и Ханов стал председателем губисполкома.

Помню, как поразило меня, приехавшего с Кавказа, отсутствие у нижегородских руководителей чувства элементарного гостеприимства. Мне не предоставили ни квартиры, ни даже комнаты в гостинице. Меня явно хотели выжить. Какое-то время я ночевал в общежитии для приезжих, где получил койку в общей комнате. Уже потом, как члену

президиума губисполкома, мне выделили служебную комнату в здании губисполкома, куда я и перебрался из общежития. Здесь работал и тут же ночевал, используя стол вместо кровати, как когда-то в Баку. Только через месяц мне наконец-то предоставили хорошую комнату в доме бывшего нижегородского губернатора, где в квартире с общей кухней и ванной жили пять других работников губкома и губисполкома (Таганов, Карклин, Залкинд, Троицкий и Столбов).

Мое настроение тех дней хорошо передает письмо, посланное мною 14 октября 1920 г. Екатерине Сергеевне Шаумян. (Мне приятно отметить, что это и другие письма бережно хранились Екатериной Сергеевной. В день моего семидесятипятилетия сын Шаумяна Сергей подарил мне их, доставив большую радость.) «Как и следовало ожидать, – писал я, – здешние «верхи» сразу же заняли ко мне скрыто враждебную позицию как к «назначенному генералу», который хочет ими «верховодить». И в общем создалась очень неприятная обстановка. В первые дни мне никакой работы не давали, и после десятидневных размышлений они решили, пользуясь решениями последней Всероссийской конференции о назначенстве, вопреки направлению ЦК дать мне такое место, где бы я не мог влиять и руководить партийной работой. Они назначили меня в президиум губисполкома. И если целых десять дней у меня не было почти никакой работы, то за последние два-три дня дел появилось много: мне дали самые важные и трудные отделы губисполкома – совнархоз, финансовый, продовольственный и земельный отделы, а также гублеском, губтоп и пр. Работаю, посмотрим, что из этого выйдет».

На меня возложили также руководство губернской газетой, проведение кампании «Помощь фронту», а в начале ноября назначили заведующим агитпропотделом губкома, поручили вдобавок руководство союзом молодежи и национальным отделом.

Ни от каких обязанностей, которые мне предлагали, я не отказывался, только удивлялся, что за человек Ханов! Все экономические отрасли работы исполкома он взвалил на мои плечи. Работой ЧК и губвоенкома руководило непосредственно бюро губкома. Отдел образования возглавлял член губкома Таганов – учитель, хорошо знающий свое дело. Самому же Ханову практических дел, по существу, не оставалось.

Я предполагал тогда, что он перегружает меня или для того, чтобы иметь козла отпущения на случай обнаружения недостатков в работе, или по своей лености, о чем ходили слухи, а возможно, что и по двум этим причинам, вместе взятым.

Как бы то ни было, но я, что называется, с головой окунулся во всю эту груду порученных дел. Со многими из них я столкнулся тогда впервые. Не чувствуя себя достаточно подготовленным, чтобы решать их самостоятельно, а тем более с ходу, я – в особенности в первое время – старался больше прислушиваться к тому, что предлагали практические работники. Работал с увлечением, чувствуя, как обогащает меня эта кипучая многосторонняя деятельность. И хотя проработал в губисполкоме сравнительно недолго, но должен сказать, что приобрел там довольно большой практический опыт хозяйственного руководства, который во многом пригодился в дальнейшем.

Приближалась третья годовщина Октябрьской революции. Положение в Нижнем было тяжелое. С продовольствием было очень трудно. В Баку, например, я не видел такой нехватки продуктов питания. И все же, повторяю, основной костяк канавинских, сормовских и других рабочих губернии твердо стоял за Советы – за свою власть. Они работали в заводских цехах по полторы и по две смены подряд. Зачастую они выходили еще и на воскресники. В ту пору можно было увидеть такие объявления в газете: «Назначается воскресник по распилке дров для детских домов. Всем ячейкам РКП Городского райкома в полном составе прибыть в воскресенье к 9 часам утра в помещение Горрайкома, где будут даны пилы, топоры и назначения на работу».

Было в те дни и холодно и голодно. Не хватало сил. А затянут какую-нибудь революционную песню или шутник какой-нибудь развеселит людей – вроде и сил прибывает и будто теплей становится. Навсегда запомнил я эту бодрость духа, стойкость и революционную сознательность нижегородских рабочих.

Напряженное положение создалось в ту осень и в военном гарнизоне. В казармах находилось свыше 50 тыс. красноармейцев. Это были войска Запасной армии республики и Приволжского военного округа. Среди них почти 17 тыс. – бывшие дезертиры, вновь возвращенные в армию.

Плохо было со снабжением гарнизона: в первую очередь довольствие шло в действующую армию. В казармах невероятная теснота, скученность, не хватало матрацев, постоянные перебои с кипятком, освещением. Не все были обеспечены теплой одеждой и особенно обувью, даже лаптей не хватало. Все это вызывало среди красноармейцев сильное недовольство. А командование во главе с начальником гарнизона губвоенкомом Ительсоном, не считаясь ни с чем, внедряло солдатскую муштру, систематически проводило длительные и утомительные учения на холоде, не сообразуясь с физическими возможностями бойцов.

Положение становилось все более напряженным. Вскоре

после моего приезда в Нижний на бюро губкома был поставлен вопрос «О настроениях в гарнизоне». Чтобы усилить политическое влияние в Запасной армии, губком решил использовать самые разнообразные формы агитации. В октябре для красноармейцев была организована «живая газета». В ней участвовали многие работники губкома и губисполкома, журналисты из «Нижегородской коммуны», артисты городского театра. Однако наладить положение в гарнизоне не удавалось.

Условия жизни красноармейцев оставались тяжелыми. Звучали все более тревожные речи. В казармах появились рукописные прокламации против большевистских Советов.

В этих сложных условиях городской райком партии по своей инициативе решил провести районную беспартийную конференцию. Этим немедленно воспользовались эсеры и меньшевики. Они выдвинули делегатами на конференцию наиболее недовольных, предварительно подготовив их.

Конференция открылась 31 октября в здании городского театра (ныне Театр драмы им. Горького). Я наблюдал, с какой угрюмой сосредоточенностью посланцы красноармейских частей заполняли зал. По тому, как они занимали ложи, амфитеатр, балкон, размещаясь какими-то кучками, чувствовалась невидимая рука «дирижера».

Открывая конференцию, секретарь горрайкома Иконников никак не предполагал, что произойдет дальше. В ответ на его предложение о составе президиума зал зловеще зашумел. Раздались выкрики: «Большевиков не надо!» В результате в президиум избрали только беспартийных, но среди них, как потом выяснилось, оказались и меньшевики.

Однако это не помешало выступить с докладом о текущем моменте и о помощи фронту стойкому большевику Шмелеву. Шмелев – умный оратор. Говорил он просто, доходчиво, со своеобразным нижегородским говорком. Вслед за ним на сцену один за другим стали подниматься заранее подготовленные меньшевиками и эсерами делегаты от частей. Они выходили в потрепанных шинелях, в лаптях.

Все ораторы приводили вопиющие факты из жизни своего гарнизона. Они говорили, что красноармейцы не получают установленных норм продовольствия, обуви и одежды. Многие казармы не отапливаются, в окнах нет стекол. Спят зачастую на голых нарах, без тюфяков. Помещения переполнены, бездействует водопровод, бойцы не имеют возможности вымыться в бане, госпитали забиты больными.

Обстановка в зале накалялась. С мест то и дело раздавались злобные выкрики. Когда Иконников предложил продолжить

конференцию в один из ближайших дней, раздался свист, топот ног. Из амфитеатра кричали, чтоб немедленно голосовалась резолюция по докладу.

Первой на голосование шла резолюция, предложенная горрайкомом. Она не прошла. После этого президиум поставил на голосование следующую резолюцию: «Заслушав доклад о текущем моменте, районная беспартийная конференция постановляет: принимая во внимание положение страны, требовать прекращения войны и роспуска армии, а борьбу с врагами вести словами, а не оружием».

Мы, небольшая группа большевиков, сидели в зале все вместе и впервые так близко – лицом к лицу – столкнулись с ситуацией, когда коммунисты потеряли политическое влияние на представителей гарнизона, а эсеры и меньшевики сумели повести конференцию за собой и добиться принятия резолюции, направленной фактически против нашей линии.

Во время перерыва, когда мы обсуждали все эти вопросы, председатель губисполкома Ханов, не отличавшийся особой политической дальновидностью, внес предложение дать команду чекистам оцепить зал, провести проверку делегатов, арестовать смутьянов, а саму конференцию считать распущенной. И я, и Иконников, и другие товарищи категорически отвергли его предложение.

Члены губкома и президиума губисполкома решили немедленно обратиться к рабочим города, чтобы, опираясь на их помощь, оказать воздействие на красноармейскую массу гарнизона. Обращение встретило самый дружный отклик и поддержку. На заводах подобрали коммунистов, наиболее подготовленных для массовой политической работы. Многих из них направили в казармы вместе с женами, чтобы помочь привести в порядок казарменные помещения, организовать уборку, стирку, застеклить окна, наладить питание, отопление. Подобрали хороших, знающих, вдумчивых пропагандистов, которые смогли бы добиться необходимого перелома в настроениях.

3 ноября зал театра заполнили делегаты гарнизона. Но среди них появились уже и новые люди из частей, которые не присылали своих представителей на первое заседание, и посланцы заводов, работавшие в казармах. Общая обстановка на конференции была уже не так накалена, как в первый день. Рабочие поделились своими впечатлениями о посещении казарм, рассказали о том, что сделано для улучшения быта красноармейцев.

В настроениях большинства делегатов конференции уже

наметился определенный перелом. Мы решили дать возможность высказаться всем, кто хотел: это, несомненно, внесло определенное успокоение. Заседание продолжалось несколько часов.

Когда приступили к голосованию новой резолюции, откудато из зала в президиум поступила записка без подписи, с поправками явно антибольшевистского направления. Красноармейцы зашумели: «Кто предлагает? Пусть выйдет на сцену!»

И тогда около стола президиума появился человек, один вид которого решил исход «поединка». Перед голодными, оборванными людьми стоял субъект в шляпе и галошах. Ему не дали сказать ни слова, раздались свист и крики: «Долой! Снимай шляпу! Скидывай галоши!» Значительным большинством голосов отвергли его поправку и приняли новую резолюцию. Мы победили, но успокаиваться было рано: предстояло сделать еще очень многое, чтобы по-настоящему нормализовать положение в гарнизоне.

Глава 10
Признание чужака

Сразу после конференции состоялся пленум губкома партии. Я выступил на пленуме довольно резко. Напомнил, что о положении в гарнизоне и о возможном там контрреволюционном выступлении своевременно предупреждал на заседании губкома начальник особого отдела ЧК Бурцев, но члены бюро губкома недооценили тогда всей серьезности создавшейся обстановки. Принятые решения не были выполнены командованием гарнизона, губком же не проверил их исполнение.

Вспоминая сейчас все это, хочу сказать, что в губкоме работали в общем-то неплохие люди, но очень уж неопытные. Поэтому-то они и растерялись поначалу. Но перед лицом реальной опасности товарищи проявили необходимую сплоченность. У большинства из них, казалось, не осталось и следа от групповщины. Тут же на пленуме они, например, по своей инициативе предложили «ввиду сложившегося положения» включить Иконникова и меня в состав бюро губкома.

По моему предложению приняли решение «отстранить военкома, сместить начальника политотдела, сменить часть комсостава, изъять ненадежный, вредный элемент из гарнизона».

Решение, конечно, необычное, даже, можно сказать, чрезвычайное. Сместить военкома мог только командующий войсками Запасной армии Гольдберг, но он в тот момент находился в Казани, а сложившаяся у нас обстановка диктовала необходимость принятия срочных мер. Поэтому президиум губисполкома пошел на этот незаконный с формальной стороны шаг. Новым военным комиссаром назначили Барского, а начальником политотдела – Иконникова.

Смещение губвоенкома по решению нашего губисполкома вызвало резкий протест Гольдберга. Он запретил военкому Ительсону сдавать дела, и тот отказался нам подчиниться. Тогда я внес предложение временно арестовать губвоенкома и начальника политотдела, что ЧК и было сделано. Принимая такое крайнее решение, мы, конечно, хорошо понимали, что рискуем попасть под трибунал. Но мы решили, что это лучше, чем бездействовать в такой опасной обстановке.

Гольдберг немедленно обратился с жалобой на нас в Реввоенсовет, ЦК и СТО. Через день в Нижний прибыла из Москвы чрезвычайная межведомственная комиссия, которую возглавлял член Реввоенсовета республики Данишевский. В состав комиссии

входили Катанян (от ЦК партии), Резовусский и Плятт (от ВЧК), а также Пузицкий (от Ревтрибунала республики) – люди, облеченные большими полномочиями. Приехал из Казани и Гольдберг. Чрезвычайная комиссия в Нижнем несколько дней изучала обстановку, ежедневно встречаясь с партийным и советским активом.

Не скрою, все это время мы очень волновались. И успокоились только после того, как узнали, что в результате комиссия не только не предала нас суду, но и оправдала все наши действия. А вскоре мы узнали, что и Владимир Ильич с пониманием отнесся ко всем нашим вынужденным действиям.

Через несколько дней губком снова вернулся к рассмотрению вопроса о гарнизоне. Барский и Иконников доложили, что общее положение в гарнизоне улучшилось. На этом же заседании губкома Кремницкий сообщил, что, поскольку Храмов и он, Кремницкий, отзываются из Нижнего, а член бюро Челышев, как член ЦКК, должен работать в Москве, надо избрать новый постоянный состав губкома. Он назвал кандидатуры Ханова, Козина, Микояна, Попова и Жеханова. Первых трех избрали единогласно.

Вскоре из Москвы вернулся старый большевик Ищенко. На бюро губкома он рассказывал: «Я доложил Совету обороны о создавшихся настроениях в Нижнем. Ленин отнесся к этому вопросу серьезно. Отношение Троцкого – не сочувственное. Сделал я доклад и секретарю ЦК Крестинскому. Все это оказало влияние на выезд в Нижний комиссии Данишевского.

Все было уже предрешено, поскольку Ленин не возражал против действий местных органов».

Итак, дело было закончено. Неожиданно для нас Гольдберг, увидев все на месте собственными глазами, предал суду трибунала почти всех членов прежнего руководства гарнизона.

Уже много позже узнали мы о любопытном факте. Оказывается, за несколько дней до тревожных событий в нашем гарнизоне некоторые белогвардейские газеты, выходившие за рубежом, уже сообщали о военном мятеже в Нижнем Новгороде и о создании там эсеровского правительства.

По существу, события, происходившие осенью 1920 г. в Нижнем, отражали настроения, уже тогда назревавшие в ряде районов и вылившиеся затем в кронштадтский мятеж, который начался под лозунгом «Советы без большевиков!».

Нарастание таких настроений своевременно не учли партийные организации ни в Нижнем Новгороде, ни в Кронштадте. Но в Нижнем они начались не с организованного мятежа, а с выражения резкого недовольства, с которым нам

удалось справиться мирным путем. В Кронштадте же эти настроения, вовремя недооцененные местной партийной организацией, вылились в открытый контрреволюционный мятеж, который пришлось ликвидировать силой оружия.

В Нижний ко мне пришла радостная весть, что 29 ноября 1920 г. на моей родине в Армении провозглашена советская власть. 2 декабря 1920 г. «Правда» опубликовала телеграмму Ленина председателю Военно-революционного комитета Армении Саркису Касьяну. VIII съезд Советов от имени молодой Советской Армении приветствовал Тер-Габриэлян – первый председатель СНК республики.

Победа советской власти в Армении означала возможность установления неразрывного союза с Советской Россией, что являлось единственной надежной гарантией самого физического существования армян.

Армения в течение многих веков подвергалась многократным завоеваниям иностранных захватчиков, грабивших и разрушавших накопленные армянским народом богатства его материальной и духовной культуры. Сотни тысяч армян не раз подвергались прямому физическому истреблению. Многие из них погибали в неравном бою с захватчиками. Тысячи талантливых армян – мастеровых и квалифицированных рабочих – насильственно угонялись в страны, захватывавшие Армению.

А сколько десятков и сотен тысяч армян были вынуждены в те времена убегать из родных мест в чужие края, чтобы спасти свою жизнь! Западные армяне – первыми в истории – стали жертвой беспрецедентного геноцида со стороны Турции в апреле 1915 г.

Вот почему Советская Армения, установив тесную связь с Советской Россией, решила вопрос своей жизни и смерти. Каждый допропорядочный армянин понимает, что гарантией физического существования армянского народа и сохранения им своей национальной государственности является неразрывная связь с Россией. И не случайно, когда в годы Гражданской войны Армения оказалась отрезанной от Советской России, многие армяне самоотверженно сражались в рядах Красной армии. Советская республика, пройдя через тяжелейшие испытания, выстояла. Таков был главный итог пройденного пути. Наступила уже не передышка, а целая историческая полоса мирного развития.

Новый период выдвигал и совершенно новые задачи в области внутренней и внешней политики партии и государства. Определяющими становились вопросы хозяйственного строительства, создания экономического фундамента социализма. Надо было разработать пути восстановления

сельского хозяйства. Здесь главное в изменении отношения рабочего класса к крестьянству. Эти вопросы были предметом обсуждения VIII съезда Советов, делегатом которого я был от Нижегородской губернии.

Съезд открылся 22 декабря 1920 г. Душой съезда был Ленин. Отношение к Ленину делегатов – а большинство из них видело Ленина впервые, ибо многие до этого находились в подполье, на окраинах, – было исключительно хорошим. Открыто проявлялась искренняя любовь к нему, уверенность, что все, сказанное им, – истинная правда.

Еще до начала VIII съезда мы узнали, что в ЦК партии и в центральных профсоюзных кругах идет дискуссия и ожесточенная борьба разных точек зрения. Выступая на коммунистической фракции V Всероссийской конференции профсоюзов, Троцкий, говоря о кризисе профсоюзов, бросил крылатую фразу о необходимости «перетряхнуть профсоюзы», требовал их «огосударствления», милитаризации, ссылаясь на опыт руководства находившегося под его влиянием (он был в ту пору и наркомом путей сообщения) профсоюза транспортных рабочих и его ЦК (Цектрана).

К концу работы VIII съезда Советов мы неожиданно поздно вечером узнали, что по окончании его состоится дискуссионное собрание коммунистической фракции съезда совместно с ВЦСПС и руководством московских профсоюзов. Большой театр едва вмещал прибывших в Москву делегатов съезда. К ним теперь прибавилось несколько сот работников профсоюзов. Еще задолго до начала заседания многие стояли у стен, в проходах, в разных уголках зала.

Мне удалось заранее занять очень удобное место – в третьей ложе справа. Было хорошо видно все, что происходило вокруг: как волновались собравшиеся, какой острый интерес проявляли они ко всему.

Когда после оппозиционеров начал выступать Ленин, в зале наступила необычная для той бурной ночи тишина. Все, кто присутствовал тогда в зале, не могли не видеть, как Ленин с нарастающей силой, шаг за шагом овладевал умами и чувствами большинства собравшихся. Это выражалось и в напряженном внимании, с которым его слушали, и в аплодисментах, которые раздавались в наиболее острые моменты его речи. Владимир Ильич не пользовался эффектными ораторскими приемами, говорил просто, понятно. Покоряла железная логика его суждений.

Расходились мы поздно ночью, удовлетворенные, исполненные уверенности, что и нам на местах удастся, опираясь

на ленинские высказывания, нанести поражение оппозиционным фракциям.

Перелом в ходе дискуссии наступил 14 января после опубликования ленинской платформы в виде проекта постановления X съезда партии – «Роль и задачи профессиональных союзов».

Дискуссия проходила повсеместно, в том числе и у нас в Нижнем. Особенно активизировалась «рабочая оппозиция» в Сормове. Среди тех, кто подписал их платформу, был и директор Сормовского завода Чернов. Он некоторое время жил в Латинской Америке. В Россию вернулся после Февральской революции. Производил впечатление человека политически подготовленного, образованного. Выступал толково, аргументированно, хотя подчас и демагогично. Администратором и хозяйственником он был, несомненно, способным и, по моим наблюдениям, неплохо справлялся с обязанностями директора такого крупного завода, как Сормовский.

Анархо-синдикалистские взгляды он привез в качестве «багажа» из эмиграции, где участвовал в рабочем движении. Критикуя его позицию, я, в частности, старался делать это так, чтобы не подорвать его авторитета как директора завода. Тем более что у нас не было никаких оснований и намерений снимать его с этого поста.

В середине января я выступал перед сормовскими рабочими-коммунистами с докладом о VIII Всероссийском съезде Советов. Рассказал, как съезд обсуждал задачи восстановления народного хозяйства страны, перехода к мирному строительству, о плане электрификации России.

В резолюции, принятой на собрании единогласно, говорилось: «Заслушав доклад о работе VIII Всероссийского съезда Советов, общее собрание Сормовского райкома РКП постановляет: всеми силами стараться проводить в жизнь все его постановления». Однако следующая фраза хотя и отражала характер некоторых выступлений, тем не менее явилась неприятной неожиданностью: «В отношении же группировок линию поведения «рабочей оппозиции» считаем правильной и впредь будем поддерживать ее».

Помню, как сам я тяжело переживал тогда эту нашу неудачу на собрании в Сормове. Мне все казалось, что как докладчик я не сумел убедительно разоблачить всю фальшь и антиленинскую сущность «рабочей оппозиции». Как же изменить все эти нездоровые настроения среди сормовичей?

Решили собрать общее собрание всего крупнейшего рабочего района – Сормова. Нам необходима была во что бы то ни стало

победа ленинской линии в этом районе, чтобы уверенно чувствовать себя на губернской конференции.

Сторонники Шляпникова вели себя и здесь весьма самоуверенно. Мы хотя и очень волновались, но не подавали вида. Пожалуй, больше всех нервничал тогда Иконников. Уже несколько дней он не вылезал из Сормова: ходил по квартирам старых коммунистов, беседовал с ними, разъяснял, убеждал. И на собрании он сидел в самой гуще сормовских рабочих-коммунистов.

После докладов от «рабочей оппозиции» и от троцкистов докладчиком от сторонников «платформы десяти» выступил я. Старался говорить попроще, сознательно обостряя суть разногласий, опираясь для большей убедительности на примеры из местной сормовской жизни.

Мое выступление встретило шумное одобрение собрания. Оппозиционные лидеры были в растерянности.

После нескольких выступлений рабочих было принято предложение прекратить прения. Первой голосовалась платформа «рабочей оппозиции», собравшая меньше четверти голосов. Все остальные голоса были отданы ленинской «платформе десяти».

Вспоминая работу в Нижнем, я с неизменным теплом думаю о замечательных рабочих людях Сормова. На Сормовском заводе и вообще в этом районе я бывал довольно часто: приходил на партийные и рабочие собрания, выступал с докладами.

Я был тогда прикреплен от губкома к Сормовскому заводу и поэтому, естественно, интересовался не только сугубо партийными, но и производственными делами заводского коллектива. Помню, с какой большой ответственностью создавали сормовичи самые первые советские танки. Это было личное задание Ленина, он внимательно следил за выпуском боевых машин. Сормовичи построили тогда 15 танков и первый из них назвали «Борец за свободу товарищ Ленин».

Как сейчас, вижу лица многих сормовских рабочих. Среди них было тогда немало людей пожилых, прошедших революцию 1905 года. Основной костяк сормовцев составляли стойкие в своих убеждениях, прямые и принципиальные рабочие. Слова их были весомы. К выводам своим они подходили обычно не спеша, взвешивая обстоятельно все за и против. Это были люди твердые и надежные.

Предстояли выборы губкома и делегатов на X партийный съезд. Как обычно, выборам на конференции предшествовало заседание так называемого «сениорен конвент» (совета старейшин), на котором происходило предварительное обсуждение кандидатур, выдвигаемых в новый состав губкома, а

также делегатов на партийный съезд, после чего список кандидатов в состав губкома и делегатов на съезд выносился на окончательное обсуждение и решение конференции.

И тут мы с Иконниковым допустили серьезную тактическую ошибку. Удовлетворенный тем, что конференция после острой борьбы внушительным большинством поддержала ленинскую платформу и не одобрила работу старого состава губкома, я решил не участвовать в работе «сениорен конвент», хотя и имел на это право как член президиума конференции. Мне казалось неудобным участвовать в обсуждении своей кандидатуры при определении будущего состава губкома. Так же поступил и Иконников.

А в это время руководители старого состава губкома всеми правдами и неправдами пробрались на заседание «сениорен конвент» и, хорошо зная всех делегатов – участников этого заседания, сумели, воспользовавшись нашим отсутствием, протащить список своих кандидатов в новый состав губкома.

Узнал я обо всем этом только на другой день рано утром от А.А. Андреева (в будущем – член политбюро). Он зашел ко мне на квартиру, сел и неожиданно сказал: «Ну, твоя песня спета. В Нижнем тебе делать больше нечего. Вчера вечером большинством голосов тебя и Иконникова провалили при выдвижении в состав губкома». Это меня взорвало «Никуда я не уеду! Меня направил сюда Центральный комитет партии, здесь я буду работать!»

Как только Андреев ушел, я созвонился с Иконниковым и Бусаревым и попросил их срочно зайти. Обсудив план действий, мы решили тут же связаться с наиболее влиятельными делегатами конференции – сторонниками ленинской платформы и разъяснить им, что, избрав губком по списку, предлагаемому «сениорен конвент», они тем самым поручат исполнение принципиально правильных решений конференции людям, политические позиции которых были осуждены этой же конференцией.

Наша агитация оказалась успешной: губернская конференция двумя третями голосов проголосовала за наш список. При выборах делегатов на X съезд партии ленинцы также одержали внушительную победу.

На X партийный съезд нижегородская делегация посылала своих представителей с решающим голосом. Из них шесть стояли на ленинской платформе (Коршунов, Микоян, Таганов, Тер, Тимофеев и Шмонин). По нашему предложению от «рабочей оппозиции» был избран Челышев, а от троцкистов – Яркин.

На первом же заседании нового совета губкома меня избрали его секретарем. Только теперь, после пяти бурных месяцев,

насыщенных борьбой с местнической группировкой, «рабочей оппозицией» и троцкистами, смог я приступить к той работе, для которой был направлен в Нижний решением оргбюро ЦК партии осенью 1920 г.

К моменту созыва X съезда в подавляющем большинстве губернские партийные конференции (за исключением самарской) отдали явное предпочтение ленинской линии.

Ленин все дни съезда вел невероятно активную, буквально титаническую работу. Он выступал 20 раз. Важнейшим был доклад о нэпе.

Нынешнему поколению, наверное, трудно представить себе обстановку, в которой проходили в те времена, например, губернские съезды Советов.

Зал филармонии с его белыми колоннами и длинными рядами венских стульев переполнен делегатами съезда. Делегаты – в гимнастерках, поношенных пиджаках и кофтах, в шинелях, каких-то шубейках, изможденные недоеданием, кутающиеся от холода. Однако взгляните в их горящие глаза, устремленные на кумачовые полотнища, на сцену. Прошло всего лишь три с небольшим года после Октябрьской революции. Эти люди недавно вернулись с фронтов Гражданской войны. Пришли от станков – из цехов заводов и фабрик.

Председатель губисполкома объявляет губернский съезд открытым. Где-то наверху духовой оркестр мощно грянул «Интернационал». Люди встают. Потом председатель говорит о тех, кто погиб, кого нет сегодня с нами. И в зале звучит «Вы жертвою пали…».

Первый на съезде – доклад губкома «О текущем моменте».

Чувствуя приподнятую атмосферу, я понимаю, что должен держаться на заданной торжественным открытием ноте и вместе с тем говорить просто, доступно для малограмотного рабочего и неграмотного крестьянина – словом, должен «зажечь массы».

Подхожу к самому краю сцены и запросто, доверительно обращаюсь к делегатам: «За последнее время приходится довольно часто менять содержание доклада о текущем моменте. Если раньше нужно было агитировать за советскую власть, то теперь нет таких рабочих или крестьян, которые бы выступали против идей советской власти. Если недавно страна была окружена десятками фронтов и мы были как бы в кольце, то сейчас по всей территории восстановлена Россия рабочая и крестьянская. Если еще недавно капиталистические государства не верили, что большевики удержатся, то теперь они стали понимать, что большевиков не так-то легко подавить даже силой».

Затем говорю о том, что особенно всех волнует:

«Если бы могли хорошо кормить рабочих, мы смогли бы увеличить производство на сто и больше процентов. Те заводы, где рабочие получают ударный паек (хотя и этот паек скудный!), производят часто на 50, а то и на 100 процентов больше.

Поэтому первое условие восстановления нашей промышленности и преодоления голода – это восстановление крестьянского сельского хозяйства. Вот эта ближайшая связь между сельским хозяйством и промышленным производством и заставляет нас направить сейчас максимум усилий на этот фронт».

Все мы работали тогда, что называется, от зари до зари, а частенько приходилось трудиться и «после зари». Этого требовали неотложные дела, время, в которое мы жили.

Приходилось ежедневно встречаться с десятками людей, вести телефонные разговоры, присутствовать на всевозможных заседаниях и совещаниях, рассылать циркулярные письма.

Тогда ведь радио не было, телефонная и почтовая связь (в особенности с периферией) сильно хромала. Циркуляры писали почти по каждому злободневному вопросу: о работе посевкомов, о проведении сплава леса, о помощи семьям красноармейцев в засеве их полей, о подготовительной кампании и ходе выборов в городской и Сормовский Советы, о ходе посевной и уборочной кампаний, о привлечении крестьян для работы в РКИ, о помощи огородным коммунам рабочих и т. п. Составление циркуляров требовало уйму времени; писали мы главным образом по вечерам, а то и ночью.

Тысячи забот сваливались на наши головы буквально каждый день, с утра до ночи – то в губкоме, то в районах, на заводах, на собраниях, на различных заседаниях.

В филармонии я бывал, но не на концертах: обычно там проходили общие собрания коммунистов Городского района. Доводилось бывать и в драматическом театре, но не на спектаклях: там проводились более крупные собрания, губернского, так сказать, масштаба – съезды, конференции.

Чем же мы занимались в те редкие вечера, когда не было никаких заседаний и собраний? Конечно же работой: писали статьи в «Нижегородскую коммуну», обдумывали планы и тезисы предстоящих докладов и выступлений. Проводили беседы с кем-нибудь из приезжавших в Нижний уездных работников. Часок-другой вырывали на чтение.

Пожалуй, здесь уместно рассказать, как вообще мы жили в те годы, как был организован наш быт.

Глава 11
Приезд Ашхен

Примерно через месяц после приезда в Нижний мне дали комнату в квартире бывшего нижегородского губернатора, где к тому времени жили еще пять работников губкома и губисполкома, занимавшие по комнате. Только у секретаря губисполкома Троицкого, имевшего троих детей, было две комнаты.

Должен сказать, что, несмотря на тесноту, у нас ни разу не возникало никаких конфликтов. Объяснялось это, видимо, тем, что каждый занимался своим делом. Мы много работали, жили дружно. Да и женщины подобрались у нас достаточно культурные и выдержанные. Они жили нашими общими интересами: в их лице мы имели подлинных друзей, товарищей.

Вскоре я вызвал с Кавказа Ашхен. Мы давно любили друг друга и собирались пожениться. Она приехала вместе со своим младшим братом Гаем, который тогда еще не окончил гимназию. По моему совету он поступил работать на Сормовский завод, а через год начал учиться в Свердловском университете в Москве.

Оба они устроились в моей комнате: отделили ширмой кровать для Ашхен, а Гай занял кушетку. Комната – узкая и длинная, с одним окном. Но главное теплая, а для нас, южан, не привыкших к холодам, это было большим счастьем. К тому же у нас не было никаких хлопот с отоплением, потому что наша голландская печка топилась из соседней комнаты. С приездом Ашхен комната приобрела более жилой вид, стало по-домашнему уютно.

Вспоминаю, как обсуждали мы тогда с Ашхен вопрос о нашей женитьбе. Время было неспокойное, назревали революционные события в Германии: поговаривали, что скоро туда начнут посылать наших партийных работников для помощи немецким товарищам, и я по молодости был уверен, что буду среди них. В этих условиях мне не хотелось связывать браком ни Ашхен, ни себя. Ведь кто знал, как сложится жизнь. Мало ли что могло случиться со мной! Поэтому решили с оформлением брака немного обождать.

Но Ашхен надо было работать. Я посоветовал ей сходить в райком партии и попроситься на работу. Убедившись, что Ашхен – грамотная и толковая женщина, товарищи дали ей работу в аппарате.

Так мы прожили примерно до весны. Когда же стало ясно, что

ехать никуда мне пока не придется, вновь возник вопрос о нашей женитьбе. В те времена еще не было ныне существующих общепринятых правил регистрации браков. И перед нами возник вопрос: будем ли мы как-то «регистрировать» наши супружеские отношения? Если будем, то как быть, например, если мы вдруг разлюбим друг друга? Ведь тогда нам придется рассказывать о своих сугубо личных чувствах и отношениях совсем посторонним людям. По тем временам такие рассуждения были вполне понятны и объяснимы.

Я был против регистрации, Ашхен согласилась со мной. Просто решили объявить своим родным, друзьям и товарищам, что мы муж и жена. В таких отношениях мы и оставались всю нашу жизнь вместе.

Вскоре Гай переехал в заводское общежитие.

Наш семейный быт наконец-то начал налаживаться.

Мы прожили с Ашхен более сорока лет, до конца ее жизни, оборвавшейся осенью 1962 г. Не помню случая, когда бы мы с ней крупно поссорились или повысили голос друг на друга. Все вопросы мы обсуждали и решали спокойно, относясь друг к другу с большим уважением и любовью.

Лишь один случай не могу забыть до сих пор.

Как-то ночью я вернулся из Сормова, где проводил партийное собрание. Очень устал, был голоден. Обычно Ашхен, приготовив для меня ужин, ждала моего возвращения. Так было и на этот раз. Я сел за стол. Ашхен подала, как помню, в глиняном горшочке пшенную кашу, которая показалась мне очень невкусной и сильно подгоревшей. В другой раз это прошло бы незамеченным. Но тут я совершенно неожиданно вспылил: «Что это ты мне дала? Это же не каша, а какой-то каменный песок, о который все зубы сломать можно!»

Ашхен с удивлением посмотрела на меня и, не чувствуя за собой никакой вины, тихо сказала: «Я не знала, Анастас, когда ты придешь. Мне хотелось, чтобы каша была горячей. Ты пришел в час ночи, ну вот она и пригорела! К тому же нам две недели не дают масла. Молока тоже не было, вот я и сделала кашу на воде. Поэтому она и не такая вкусная!»

Спокойно сказанные слова Ашхен как будто обдали меня холодной водой. Стало стыдно за свою вспышку. Я был зол на себя, но в то же время по «кавказской старинке» – из ложной мужской гордости – не хотел признать свою вину и извиниться перед женой.

Помню, я заболел воспалением легких и недели две пролежал в постели. Чувствовал себя плохо, очень ослаб. Врач сказал, что мне нужно усиленное питание, так как начался процесс в легких.

А откуда его взять? Паек тогда все мы получали очень маленький. На рынке купить что-либо было невозможно, потому что деньги цены не имели: продукты на рынке шли только в обмен на какой-нибудь товар. Мысль о том, чтобы попросить для себя «подкрепления» в губкоме, даже не приходила в голову.

Имущество у нас было самое скромное. Обменять на продукты было нечего. Все мои личные «ценности» состояли из подаренных в ЦК партии Азербайджана (при отъезде из Баку) одеяла, подушки да ручных женских часов, выданных мне из имущества, конфискованного в ту пору у бакинской буржуазии. Вот их-то Ашхен и предложила пустить в обмен.

Я возразил. Хотелось, чтобы часы остались у Ашхен («Мало ли что может случиться», – подумал я тогда, понимая, что болезнь у меня довольно тяжелая). Тогда Ашхен предложила отнести на рынок мужские ботинки, которые она только что получила в счет своей зарплаты (в то время в связи с обесцениванием денег иногда практиковалась и такая форма зарплаты – выдавать кое-что натурой). Я согласился, тем более что ботинки не подходили мне по размеру.

Потом Ашхен рассказывала мне, как она стеснялась появиться на рынке с «товаром». Завернув злосчастные ботинки в газету, она очень долго стояла на базаре в ожидании покупателя. Крестьяне, не видя, что у нее в свертке, проходили мимо. Тогда соседка посоветовала Ашхен вынуть ботинки из газеты и показать их крестьянину, который продавал мясо. Это подействовало. В обмен на ботинки Ашхен получила, кажется, два килограмма мяса. Так состоялся ее первый и последний торг на базаре.

Вспоминаю время, когда мы ждали нашего первенца. Врачи говорили, что Ашхен надо усиленно питаться, а продуктов по-прежнему не хватало. Я очень боялся за жену и будущего ребенка. Что же мне с ними делать здесь? Обдумав все, я предложил Ашхен уехать на время родов к ее матери в Тифлис, где у нее мог быть и уход, а главное – лучшее питание.

Сперва Ашхен сказала, что к матери ехать она не может. Дело в том, что, когда мы стали жить вместе как муж и жена, Ашхен написала об этом своей матери. Вскоре пришел ответ, полный возмущения. Мать чуть ли не проклинала Ашхен за такой, как она писала, «недопустимый» брак по старым армянским обычаям между троюродными братом и сестрой. Но я знал мать Ашхен – строгую, но в общем-то хорошую и справедливую женщину. Поэтому был уверен, что она ее примет. И потом, вряд ли найдется вообще мать, сказал я Ашхен, которая закроет дверь перед дочерью, если к тому же дочь беременна. Подумав, она решила поехать в Тифлис.

Воспользовавшись тем, что мне надо было тогда по делам ехать в Москву, я захватил Ашхен с собой и уже из Москвы отправил ее в Тифлис со своими знакомыми кавказскими товарищами, возвращавшимися из Москвы домой. Как я и предполагал, мать приняла Ашхен очень сердечно.

В качестве угощения у нас в Нижнем обычно предлагался стакан чая (сахар появлялся на столе довольно редко). Что же касается чего-нибудь покрепче, то следует напомнить, что в те годы действовал сухой закон. Находились, конечно, любители спиртного, доставшие разными окольными путями самогон.

С этим злом надо было бороться. Но как?

С речами на сей счет мы решили не выступать. Нам казалось, что немалую роль должен сыграть тут личный пример. Для меня никакой трудности это не представляло: и на Кавказе, где никогда не было сухого закона, я редко пил даже виноградное вино, не говоря уж о водке. Здесь же, в Нижнем, учитывая обстановку, вообще решил не брать вина в рот, надеясь, что этому последуют и другие товарищи.

Вспоминается еще один эпизод тех дней. Прихожу как-то домой поздно вечером после длительного заседания бюро губкома. Ашхен вскипятила чайник и с таинственным видом ставит на стол стеклянную банку с медом. На вопрос, откуда взялся мед, ответила: «Его принес какой-то человек и сказал, что для тебя. А кто он – я не спросила». Упрекнув ее («А может, это взятка?»), я предложил отдать злополучный мед нашему дворнику-женщине: «У нее много детей, мед пойдет им на пользу!»

Много позднее, работая уже в Москве, я рассказал об этом эпизоде одному нижегородцу. Он долго смеялся: «Так этот мед мы тебе и прислали! Знали, что болен, а просто так принести – не возьмешь. Решили передать, не сказав от кого. Уж очень ты тогда худой был. И все ж, выходит, не прошел наш номер!»

Был у нас в губкоме свой «выезд»: летом – фаэтон, зимой – сани. И на всех – одна «лошадиная сила».

Запомнилась командировка в Васильсурск. Для такой дальней поездки я получил «спецобмундирование»: доху и огромные валенки. Люди понимающие дали совет – напихать в них побольше сена, а ноги к тому же обернуть в газеты. Забрался в сани, закутался в доху, нахлобучил папаху, и отправились мы в путь. Ехали по ледяному полю Волги – другой дороги не было.

Бегут сани, скрипят полозья, дремлется. Возница посвистывает, покрикивает. Оглянется – не заснул ли я. «Бежать надо», – говорит. Соскочит сам с саней, бежит и мне велит, чтобы не замерзнуть. А покидать насиженное место не хочется. Но

делать нечего. Бегу, поглядываю, чтобы не угодить в прорубь (крестьяне обычно отмечают проруби еловыми ветками или палками).

Заснеженные, поразительной красоты леса тянутся вдоль берегов Волги. Тишину нарушает только скрип полозьев да понукание возницы, подгоняющего заиндевевшую лошадь.

Стало еще морознее. У меня ресницы, брови и усы заиндевели, встречный ветер не давал возможности поднять лицо. И все же удивительно хорошо было это зимнее путешествие!

А потом – Васильсурск: на высоченной горе лепятся домишки, еле видные в сугробах. Устроились мы на ночлег в хорошо натопленной избе. К тому же разместили нас около самой печки. Вот тут-то и понял я, как приятна в мороз русская печка!

После X Всероссийского партийного съезда прошел месяц. Был он очень напряженным – члены бюро губкома находились в постоянных поездках по заводам и районам. Доклады, заседания, выступления, совещания, встречи с людьми, беседы, споры.

Еще с ранней весны губком вплотную занялся вопросами сельского хозяйства. Но нельзя было забывать и о рабочем классе: очень обострилось положение с продовольствием, на некоторых заводах возникли волнения. Как-то в губком позвонили из Сормова и сообщили, что рабочие бросили работу, собрались на площади и требуют секретаря губкома.

Надо сказать, что сормовичи работали тогда на оборону и получали усиленный продовольственный паек: на каждого работающего полагалось в месяц 45 фунтов муки, 15 фунтов овощей, 1 фунт соли, $^1/_4$ фунта мыла, $^1/_4$ фунта суррогатного кофе и 2 коробки спичек. Муку и соль рабочие получали регулярно, хотя в муке иногда бывало и много отрубей.

Когда я поехал на завод, митинговавшие уже «выговорились». Поднялся на трибуну, сколоченную из досок. Один из рабочих показал мне образец муки, которую им только что выдали: «Разве это мука? Посмотрите сами – одни отруби!» Я ответил: «Да, мука действительно плохого качества, но другой муки у нас сейчас нет, а если бы была, то вы, сормовичи, получили бы ее в первую очередь. А пока надо терпеть». Я стал разъяснять, в каком тяжелом положении находится республика. Однако очень скоро заметил, что хотя рабочие меня вроде и понимают, но объяснения мои их не удовлетворяют. Когда я кончил говорить, тот же рабочий заявил: «Тогда мы пошлем делегацию к Ленину. Он ценит и уважает сормовичей и обязательно нам поможет». Я высказался против посылки такой делегации: «На днях я еду в Москву по делам и обещаю вам этот вопрос поставить перед

наркомом продовольствия и заместителем Председателя Совнаркома Цюрупой».

Однако рабочие настаивали на своем: «Говорить в Наркомпроде не о чем, ведь Наркомпрод-то и посылает нам сюда плохую муку! Без Ленина этот вопрос не решить!» Видя, что сормовичей не переубедишь, я пообещал зайти в Москве и к Ленину. Только после этого собравшиеся разошлись и приступили к работе.

В Москве я отправился прежде всего к Цюрупе. Я объяснил ему обстановку в Сормове, и он сразу обещал помочь. Обращаться по этому поводу к Ленину не пришлось. И вскоре действительно в Нижний пришла хорошая мука.

Сохранился в памяти и другой эпизод. Как-то в губкоме раздается телефонный звонок из Канавинского райкома партии: на заводе «Салолин» рабочие прекратили работу, фактически объявили забастовку, требуют, чтобы я прибыл к ним. Перед рабочими этого завода у меня были, так сказать, двойные обязательства секретаря губкома и их депутата в горсовете.

Собрание началось прямо в цехе. Рабочие стали жаловаться на слишком маленький паек, который они тогда получали; требовали его увеличения до уровня, установленного сормовским рабочим, что означало повышение нормы хлеба каждому на 9 фунтов в месяц.

Высказались два-три человека, а потом рабочие потребовали, чтобы выступил секретарь губкома.

«Претензии ваши понятны, – начал я. – Однако до нового урожая государство не располагает такими запасами хлеба, которые позволили бы нам так сильно увеличить нормы хлебного пайка, как вы хотите. Даже в нынешних размерах выдавать хлеб аккуратно приходится с большим трудом. Говорю вам совершенно честно и искренне: надо ждать нового урожая. Если будет хороший урожай, положение, конечно, исправится».

Не успел я закончить, как вдруг слышу женский голос: «Хорошо вам так говорить, когда вы сами обжираетесь!» Сказано это было громко, хотя говорившую не было видно: она стояла за спинами рабочих.

Надо сказать, что в то время я был очень худой, да и перенесенное воспаление легких давало о себе знать. Вообще вид у меня был далеким от «обжирающегося». Я попросил, чтобы женщина, выкрикнувшая реплику, вышла вперед.

Это была молодая особа лет тридцати, с ярким румянцем на щеках, редкой для того времени упитанности. Видимо, дома у нее не так уж было голодно: многие рабочие завода имели своих коров и огороды. Да и родственники в деревнях помогали. Честно

говоря, я не мог не порадоваться ее внешнему виду: и вообще приятно, что человек так хорошо выглядит, а в данной ситуации ее цветущий вид меня устраивал, так сказать, вдвойне.

Кивнув в ее сторону и улыбаясь, я обратился к рабочим с вопросом: «Поглядите на нас и скажите – кто из нас обжирается?» Раздался взрыв хохота. Подождав, пока стихнет смех, я обратился к собравшимся с просьбой приступить к работе, а с прибавкой пайка потерпеть до лучших времен.

Все разошлись по местам, и работа возобновилась.

Надо сказать, что новой экономической политике, принятой на X партийном съезде, в первый же год не повезло. Ее проведение совпало со стихийным бедствием – сильной засухой и неурожаем 1921 г. В некоторых наиболее засушливых районах страны урожай тогда почти полностью погиб. Голод охватил более 30 губерний с населением свыше 30 млн человек. Особенно плохо было в Поволжье. Количество голодающих в одних приволжских губерниях исчислялось более чем в 17 млн человек.

Считалось, что от голода умерло тогда около 3 млн человек. Проведение новой экономической политики в районах, пораженных засухой, осложнилось: крестьяне не могли воспользоваться здесь системой продналога: у них не было не только хлебных излишков, чтобы продать их на рынке, – хлеба не хватало на собственное пропитание. Никакого продналога здесь собрать было невозможно, а это сильно ударило по общему хлебному балансу государства.

Советское правительство энергично взялось за организацию помощи голодающим районам как непосредственно продовольствием, так и семенным фондом.

На III сессии ВЦИК в мае 1922 г. М.И. Калинин докладывал, что государство послало в эти районы в общей сложности около 12 млн пудов продовольствия. Более 800 тыс. человек было эвакуировано в другие губернии. Мы отправили туда более 50 млн пудов семян. На средства от собранного специального гражданского налога и на изъятые церковные ценности за границей были произведены большие, исчисляемые сотнями тысяч пудов закупки муки.

Но одной государственной помощи было недостаточно, и партия возглавила всенародную борьбу с голодом. В результате добровольных пожертвований трудящихся городов и крестьян областей, не пострадавших от засухи, были собраны значительные средства, направленные на борьбу с голодом. Внутри самой России собрали более 5 млн пудов хлеба и других продуктов. Кроме того, к каждой голодающей губернии прикрепили урожайную, которая и помогала ей из своих запасов.

Большую роль в этом всенародном движении сыграла созданная в июле 1921 г. при ВЦИК Всероссийская центральная комиссия помощи голодающим (Помгол) во главе с Калининым.

На призыв о помощи Советской России горячо откликнулись международный пролетариат и многие прогрессивные зарубежные деятели. Одним из первых и наиболее активных организаторов такой помощи стал знаменитый норвежский ученый Нансен. Немалая работа была проделана заграничным комитетом для организации международной рабочей помощи голодающим Советской России (позднее Межрабпом), основанным в 1921 г. при участии Клары Цеткин, Альберта Эйнштейна, Ромена Роллана, Анри Барбюса и некоторых других передовых общественных деятелей и представителей мировой науки, литературы и искусства.

Одним из представителей Помгола за границей была Мария Федоровна Андреева – жена Максима Горького. Она выступала там с лекциями, в которых призывала зарубежную общественность оказать помощь голодающему населению России.

В августе 1921 г. советское правительство заключило договор с американской организацией АРА об оказании помощи голодающим. (АРА – Американская администрация помощи – была создана в США в 1919 г. под председательством Гувера, ставшего позже президентом США, для оказания продовольственной и всякой иной материальной помощи европейским странам, пострадавшим во время Первой мировой войны.) Экономическая помощь, оказанная нашей стране в те годы, была достаточно ощутимой. От заграничных общественных организаций (АРА, английские квакеры, шведский Красный Крест, организация Нансена, Международный рабочий комитет, Международный совет помощи детям, германский Красный Крест, британские тред-юнионы и другие) было получено около 27 млн пудов продовольствия, главным образом пшеницы, муки, кукурузы и других продуктов. Ленин писал в 1922 г., что эта помощь «в значительной мере помогла Советской России пережить тяжелые дни прошлогоднего голода и побороть его». Калинин говорил на III сессии ВЦИК, что в результате организованной борьбы с голодом около 10 млн населения вырвано из рук голодной смерти.

В Нижегородской губернии засуха и недород захватили шесть юго-восточных уездов – нашу основную зерновую базу. И без того ограниченные продовольственные пайки для трудящихся становились все более скудными, да к тому же и выдавались они не всегда полностью.

Дело доходило до того, что из-за продовольственных

затруднений некоторые цехи и даже отдельные предприятия прекращали работу.

В июне 1921 г., обсуждая создавшееся в губернии положение на бюро губкома, мы вынуждены были пойти на крайние меры и принять такое решение: «Ввиду катастрофического состояния с делом снабжения предприятий продовольствием и топливом разрешить временно массовые отпуска голодающим рабочим от двух недель до двух месяцев путем временного сокращения, а в крайнем случае и закрытия ряда предприятий, с концентрацией скудных запасов продовольствия для снабжения наиболее важных предприятий».

Однако трудности продолжали нарастать.

9 июля 1921 г. мы разослали всем укомам и райкомам партии решение бюро губкома о концентрации промышленности, с тем чтобы нерентабельные предприятия передать в аренду рабочим артелям, кооперативам и даже частным лицам.

Последствия засухи давали себя знать долго. И весной следующего года обеспечение семенным фондом пострадавших уездов улучшилось не намного. Казалось, что из создавшегося положения нет выхода.

А вместе с тем на складах губернии лежали семена яровых зерновых культур, но они были забронированы за Центром; воспользоваться ими без согласия Центра мы не имели права. Зная об отрицательном отношении Наркомпрода к использованию их зерновых резервов для сева по нашей губернии, мы все же решили обратиться в политбюро ЦК с просьбой о помощи нам семенным зерном из фондов, забронированных Наркомпродом. Вскоре последовало разрешение выдать нам из этих фондов 200 тыс. пудов зерна.

В конце июля 1921 г. ЦК партии назначил меня уполномоченным ВЦИК по проведению сбора продналога по нашей губернии. В связи с этим меня вызвали в Москву. Там я зашел к Цюрупе, который ведал тогда всеми вопросами продовольствия, в том числе и сбором продналога. Мы сели за маленький и низкий круглый столик, стоявший несколько в стороне от его письменного стола у стены. Нам подали кофе и отдельно молоко и несколько прозрачных кусочков лимона.

Тут вот и произошел маленький конфуз. Кофе я тогда вообще не пил. Помню, как-то один раз попробовал черный кофе в гостях, но он мне не понравился. А тут вдруг – кофе, молоко и еще неизвестно каким чудом – лимон! Пить кофе мне не хотелось, но отказаться было как-то неудобно. Я добавил в кофе молока и опустил в чашку ломтик лимона. Молоко сразу свернулось. Я понял, что сделал что-то не то, но, как говорится, вида не подал.

Однако Цюрупа заметил мою неловкость и очень мягко спросил у меня, какой я люблю кофе – с молоком или с лимоном. Немножко подчеркнутое им «или» и дало мне понять, в чем я ошибся. Я смутился и ответил, что мне сейчас кофе вообще пить не хочется – «ни так, ни эдак». А чтобы поскорее замять эту неловкость, предложил Цюрупе продолжить наш разговор.

Вернувшись в Нижний, я информировал губком о своей беседе с Цюрупой и занялся работой губпродкома и его комиссаров в уездах. Приходилось много выезжать, проверять, как идет сбор продналога, хотя он и был очень небольшим.

В те годы особое значение приобрело развитие кустарной промышленности. К этому нас обязывали опубликованные в первой половине 1921 г. декреты советского правительства о потребительской и промысловой кооперации.

Я поближе познакомился с состоянием промыслов, особенно лапотных и ложкарных, наиболее развитых и процветавших в нашей губернии. Раньше я о них знал только понаслышке и лишь теперь понял, что оба промысла имеют у нас широчайшие возможности дальнейшего развития, поскольку их продукция встречает огромный спрос, а опытные кадры и сырье есть на месте.

Таким образом, значительное расширение кустарной промышленности в губернии представлялось мне задачей практически вполне выполнимой, а это, в свою очередь, должно было существенно повлиять и на общее развитие местного товарооборота.

Руководство комиссией по кустарной промышленности бюро возложило на меня. Вскоре нам удалось организовать новый, работоспособный союз кооперативной промышленности, а также создать необходимый резерв сырья для снабжения кустарей и их артелей, что быстро дало свои положительные результаты.

Помню, что мы очень много занимались в то время вопросами выдвижения и воспитания новых руководящих партийных кадров, что имело особый смысл, поскольку от нас постоянно забирали на руководящую работу в другие губернии многих ценных работников.

Дважды приезжал в Нижний по заданию ЦК А.А. Сольц из ЦКК. Оба его приезда – в августе и ноябре 1921 г. – были связаны с жалобами в ЦК и ЦКК на решения губернской комиссии по проверке и чистке Нижегородской партийной организации. Оба раза Сольц со свойственной ему скрупулезностью изучал все материалы губернской комиссии, беседовал с каждым подавшим жалобу, перепроверял факты, обоснованность предъявленных им обвинений. ЦК и ЦКК приняли доклад Сольца к сведению, а

решения Нижегородской губернской комиссии по проверке и чистке нашей организации утвердили.

19 декабря 1921 г. открылась XI Всероссийская партийная конференция, на которой я присутствовал как делегат от Нижегородской организации. Все мы были уверены, что вновь увидим и услышим Ленина, который действительно собирался быть на этой конференции: нам стало известно, что он даже заполнил делегатскую анкету.

Однако в день открытия конференции мы узнали, что из-за болезни Ленина на конференции не будет. Поэтому с повестки дня конференции был снят ранее намечавшийся общеполитический отчет ЦК партии, с которым он должен был выступать. Меня избрали в числе пяти других делегатов членом секретариата XI партконференции. Я внимательно слушал выступления, слова не брал, считая, что еще недостаточно подготовлен для этого.

Нас всех тогда больше всего волновало состояние здоровья Ильича. И как мы были счастливы, когда буквально через несколько дней вновь увидели Ленина на IX Всероссийском съезде Советов! Кому из нас тогда могло прийти в голову, что это последний съезд Советов, на котором был Ленин.

Встреченный бурной овацией и возгласами делегатов съезда: «Ура!», «Да здравствует наш вождь товарищ Ленин!» – Ленин, приступив к своему отчетному докладу, сказал: «Первый раз мне приходится давать такой отчет в обстановке, когда прошел целый год и ни одного, по крайней мере крупного, нашествия на нашу советскую власть со стороны русских и иностранных капиталистов не было».

Ленин доложил съезду о тех чрезвычайных мерах, которые принимает правительство, чтобы помочь крестьянству в снабжении семенами для посевов и дать хлеб для голодающих.

В частности, он заявил, что достигнуто соглашение о закупке за границей (включая американскую помощь) в течение первых трех месяцев на 60 млн золотых рублей продовольствия для голодающих и семян. Это, конечно, мало, говорил он, но принесет облегчение в преодолении отчаянной нужды. Мы надеемся добиться расширения посевов весной с большим успехом, чем было этой осенью. И привел цифры.

Затем Ленин сделал очень важный вывод в отношении дальнейшей работы ВЧК в условиях новой экономической политики. Ленин поставил вопрос об изменении функций ВЧК, сказав, «что та обстановка, которая у нас создалась, повелительно требует ограничить это учреждение сферой чисто политической».

Глава 12
В Сибирь по поручению Ленина

После моего возвращения из Москвы прошло всего несколько дней. И вот неожиданно 12 января на мое имя пришла телеграмма с предложением немедленно выехать в ЦК. Для решения вопроса о моей поездке собралось бюро губкома. Из телеграммы не было ясно, с какой целью меня вызывают и надолго ли. Бюро разрешило мне выехать, но в случае долгого отсутствия я должен был сообщить губкому о причинах задержки. Исполнение обязанностей секретаря до моего приезда было возложено на Рыжова. В тот же день вечерним поездом я выехал в Москву и 13 января был в столице. В ЦК мне сказали, что меня хочет видеть Сталин и что мне следует пойти к нему на квартиру в Кремль. Он жил в здании, на месте которого теперь стоит Дворец съездов. Сталин занимал две комнаты на втором этаже.

Принял он меня приветливо. Сказал, что вызвал и беседует со мной по поручению Ленина. Речь идет о работе по подготовке к очередному XI съезду партии. Условия, сказал Сталин, в которых идет подготовка к XI съезду, коренным образом отличаются от тех, которые были накануне X съезда. На горизонте не видно никаких разногласий и открытых группировок или политических платформ. Главная опасность может идти от Троцкого и его сторонников. Пока они ведут себя тихо. Но от Троцкого можно всего ожидать. До съезда остается еще два месяца. Он может выкинуть какой-нибудь политический трюк, хотя, судя по всему, это теперь маловероятно. Надо полагать, что он пойдет на съезд без разногласий, без платформ, демонстрируя полное единство.

При отсутствии платформ и разногласий делегаты будут отдавать свои голоса за кандидатов в центральные органы партии по соображениям только их персональных достоинств, предавая забвению прошлые принципиальные разногласия. И если в таких условиях в ЦК будет избрано относительно много бывших троцкистов, то это представит опасность для дальнейшей работы ЦК. Потом Троцкий сможет всячески затруднять работу ЦК. «Поэтому, – сказал Сталин, – мы озабочены тем, какие делегаты приедут на предстоящий партийный съезд и много ли среди них будет троцкистов. В этом отношении нас беспокоит Сибирь. Там еще довольно много троцкистов, они пользуются определенным доверием и влиянием в своих организациях, и поэтому есть опасность, что многие из них окажутся в числе избранных делегатов съезда. Вот почему, – сказал он в заключение, Ленин

поручил мне вызвать вас, рассказать об этой обстановке, и если вы разделяете такой взгляд на положение дел в партии, то попросить вас съездить в Ново-Николаевск (ныне Новосибирск. – *А. М.*) к Лашевичу, чтобы передать ему от имени Ленина все, что я вам здесь сказал».

Я без колебаний заявил, что согласен отправиться в Сибирь с этим поручением, но мне надо хотя бы на один день заехать в Нижний Новгород. Сталин согласился. Кроме того, он сказал, что ехать в Сибирь мне следует как бы по личным, семейным делам, и особо предупредил, что обо всем, сказанном им, следует передать только лично Лашевичу. «Дело в том, – сказал Сталин, – что секретарем Сибирского бюро ЦК сейчас работает Емельян Ярославский. Во время профсоюзной дискуссии он выступал против Троцкого, занимая правильные, ленинские позиции. Его нынешние настроения и позиции нам пока неизвестны. Поэтому, – сказал Сталин, – передайте поручение ЦК только Лашевичу: он сообщит, кому найдет нужным, и сделает практические выводы, чтобы среди сибирских делегатов оказалось поменьше троцкистов».

Я собрался было уходить, как вдруг дверь тихо открылась (это было вечером, уже темнело) и вошел Ленин. Поздоровался и, улыбаясь, смотря на Сталина и на меня с присущим ему одному прищуром глаз, в шутку сказал: «Вы что, все свои кавказские дела обсуждаете?»

Сталин ответил, что передал мне все, о чем было условлено, что я согласен и поеду через день к Лашевичу.

Я был смущен этой неожиданной встречей с Лениным и, попрощавшись, поторопился уйти.

Я находился под хорошим впечатлением от этой встречи со Сталиным. Спокойный, доброжелательный тон беседы, то, что провести ее со мной Ленин поручил Сталину, а не кому-либо из секретарей ЦК (в то время Сталин не был еще секретарем ЦК), а главное – то, что Ленин запросто зашел к Сталину, особенно расположило меня к нему.

Заехав на день в Нижний, я вернулся обратно в Москву, получил в ЦК соответствующую экипировку для защиты от сибирских холодов и в тот же день уехал поездом в Ново-Николаевск.

Лашевича на месте не оказалось: он был в отъезде. Я, понятно, решил ждать его возвращения. Не зная точно, когда он вернется, сидел в гостинице, усердно читал книги, отдыхал и скучал. Через несколько дней вернулся Лашевич. Я тут же с ним встретился и рассказал о поручении, которое мне дано для него от имени Ленина.

Внимательно выслушав меня, он очень обрадованно сказал: «Хорошо, что вы приехали. Мы, как провинциалы, ничего подобного даже не предполагали, и наверняка немало бывших троцкистов было бы у нас избрано на съезд. Но теперь мы это учтем. Передайте в Москве, чтобы Ленин не беспокоился за Сибирь».

Поездка в Сибирь заняла в общей сложности больше трех недель. Вернувшись, я снова побывал у Сталина, рассказал о выполнении данного мне поручения, об общем положении в партийных организациях Сибири, о своих впечатлениях, о людях, с которыми пришлось познакомиться.

На XI съезде партии в марте 1922 г. меня вместе с Енукидзе и Кировым избрали в секретариат съезда. Президиум съезда возглавлял Ленин, который выступил с политическим докладом ЦК. В своем выступлении на съезде в прениях по докладу Зиновьева об укреплении партии я поддержал тезис Ленина о размежевании работы Советов и партии, критиковал Зиновьева за его предложение переводить хороших работников из губкомов на хозяйственную работу, говорил о важности роли фабрично-заводских ячеек при нэпе.

По окончании XI съезда партии у меня состоялась беседа со Сталиным по его инициативе. Он сказал, что каждому руководителю, и мне в данном случае, необходимо подготовить такого работника, который мог бы при необходимости нас заменить. Он спросил, кто заведующий Орготделом губкома. Тогда секретарь был один – в его отсутствие его заменял заворготделом. Я сказал, что эту должность у нас около года занимает Коршунов. Он из сормовских рабочих, дореволюционный член партии, политически подготовленный. Пользуется влиянием среди сормовчан. Однако у него нет широкого кругозора. Ему трудно анализировать положение и ставить задачи.

Сталин тогда сказал, что в таком случае он предлагает направить на работу в Нижегородский губком Угланова из Ленинграда. Там он работал заворгом губкома, критиковал Зиновьева и с ним не поладил. Зиновьев старается от него избавиться. Вместе с тем он способный, растущий партийный работник. Он выходец из приказчиков. Дореволюционный коммунист, с большим организационным опытом руководящей партийной работы. «Он мог бы заменить Коршунова, – сказал Сталин, – а со временем, когда пустит корни в организации и когда настанет время тебе уехать на другую работу, сможет безболезненно тебя заменить». (В ходе этой встречи мы со Сталиным перешли на «ты».)

Вскоре это было осуществлено. Угланова я ранее не знал и даже о нем не слышал. Теперь получил возможность познакомиться с ним, присмотреться к методу его работы, характеру, умению держать себя в коллективе, общаться с партийными товарищами, выступать на партийных собраниях. Как я убедился, он не отличался теоретической подготовкой, но умел свободно разбираться в текущей политике партии. Он чувствовал мое хорошее отношение и тем же отвечал мне.

Работал он не покладая рук. У нас надолго установились хорошие, товарищеские отношения, но особенно близкими они никогда не были. Возможно, это объяснялось некоторыми особенностями характера Угланова: на работе, да и в личном общении, он вел себя как-то несвободно, скорее даже напряженно. Кроме того, он был лишен чувства юмора и порой обижался даже на шутки вполне безобидные.

На XIII губернской партийной конференции его и меня избрали в состав губкома. Пленум нового состава губкома избрал меня секретарем, а Угланова заместителем.

В мае 1922 г. мне впервые довелось присутствовать как кандидату в члены ЦК на его пленуме.

Пленум проходил в зале заседаний Совнаркома. Члены и кандидаты в члены ЦК сидели за длинным столом, а Ленин занимал председательское место. Он держал в руках карманные часы и строго следил за соблюдением регламента выступавшими. Обстановка строго деловая, никаких посторонних разговоров, которые могли бы помешать ведению заседания. Для докладов Ленин давал, помнится, три минуты, в особых случаях – семь минут (например, Рудзутаку, который докладывал о Генуэзской конференции), выступавшим в прениях – одну-две минуты. Докладчики опытные: умея объяснить суть вопроса коротко, они вполне укладывались в установленный Лениным жесткий регламент.

И тогда, и позже я убедился, как важно для политического руководителя ценить время, не говорить лишнего, уметь коротко излагать самую суть дела и, не допуская пустопорожних прений, уметь вовремя передать вопрос в деловую комиссию, назначив короткий срок для ее работы и представления проектов решений. Только этим и можно, пожалуй, объяснить, почему так много самых разных вопросов рассматривал Ленин за самые короткие сроки.

Я всегда поражался, с каким вниманием относился Ленин к вопросам, которые возникали «в низах».

Ленинское внимание по чисто организационным вопросам проявилось тогда в таком мероприятии, как Нижегородская

ярмарка. Знаменитая Всероссийская ярмарка, насчитывавшая столетие своего существования, с 1917 г. не работала. Склады ее были заброшены.

Для восстановления ярмарки в Нижний Новгород с мандатом Совета труда и обороны приехал старый большевик Сергей Малышев. Это был пятидесятилетний мужчина среднего роста, с длинной, пышной черной бородой, напоминающий старомодного купца. Малышев рассказал нам, что во всех делах, связанных с ярмаркой, он заручился поддержкой Ленина. Она должна быть проведена с 1 августа по 15 сентября. Для участия в ней хотели привлечь купцов из Ирана, Афганистана и других соседних стран Востока, как это бывало в старые времена. В ярмарке примут участие частные торговцы, но главная роль отводилась государственным промышленным и торговым предприятиям, а также кооперации.

Мы, конечно, обещали Малышеву всяческую поддержку. По тем временам это была нелегкая задача: мы были бедны во всем, а сроки давались весьма жесткие.

Уже переехав в Ростов-на-Дону, я узнал, как хорошо удалось ему подготовить и открыть Нижегородскую ярмарку. Не случайно Малышев в дальнейшем стал председателем Всесоюзной торговой палаты.

И еще к одному нижегородскому мероприятию Ленин имел непосредственное отношение. Еще в 1918 г. по его указанию была организована Нижегородская радиолаборатория.

В первые же дни своей жизни в Нижнем Новгороде я заметил на Откосе трехэтажное здание, на крыше которого торчали какие-то металлические стержни с натянутыми между ними проводами. Сейчас любой дошкольник, взглянув на эту несложную «технику», без особого труда объяснит, что это антенны. А тогда все это казалось чем-то очень непонятным и даже таинственным.

В этом трехэтажном здании, бывшем общежитии семинаристов, располагалась Нижегородская радиолаборатория, ставшая вскоре знаменитой на весь мир. Работали в ней удивительные люди – страстные, неистовые энтузиасты, для которых радио было делом и смыслом всей жизни. Душой лаборатории являлся ее руководитель – известный ученый Михаил Александрович Бонч-Бруевич.

Боюсь утверждать определенно, но по моим наблюдениям, кроме самих работников лаборатории, мало кто тогда в Нижнем конкретно представлял себе реальные перспективы этого дела. И тем не менее все испытывали к лаборатории чувство особого уважения, зная, как внимательно следит за ее успехами Ленин, какой заботой он всегда ее окружает.

При всей нашей занятости текущей политической работой и мы время от времени проявляли интерес к «чудесам», создаваемым на Откосе. Особенно памятным осталось первое посещение лаборатории. Нас, работников губкома и губис пол кома, пригласили присутствовать при уникальном эксперименте.

Время морозное, все кутались в шубы, пальто и полушубки. Собрались в какой-то большой комнате. В центре стоял громоздкий ящик, в котором что-то мигало и трещало.

Забудьте хотя бы на минуту все, что вы знаете о современном радио и телевидении, и тогда вы поймете, как более пятидесяти лет назад мы смотрели на этот таинственный ящик, с нетерпением ожидая чуда.

И «чудо» свершилось: ящик заговорил!

«Алло, алло, говорит Москва! Говорит Москва!» – услышали мы из ящика. Это в Москве заработал радиопередатчик, собранный в нашей Нижегородской радиолаборатории. А мы в Нижнем слышали голос Москвы! Восторгу нашему не было границ. Каждый ощущал себя свидетелем рождения новой эпохи в области отечественной техники (и не только, конечно, техники) – эпохи беспроволочного телефона.

Так впервые в своей жизни я услышал радио.

Я помню, как-то в разговоре, происходившем в Нижнем, М.А. Бонч-Бруевич привел ленинские слова из письма к нему, которые теперь уже стали широко известны: «Газета без бумаги и «без расстояний», которую Вы создаете, будет великим делом».

Через месяц во время майской партийной конференции состоялась другая моя встреча со Сталиным, также по его инициативе, но теперь уже о моей новой работе.

Он начал с того, что попросил подробно рассказать, как работает Угланов, какое у меня сложилось впечатление. Я ответил так, как думал. Тогда он сказал, что я проделал большую работу в Нижнем Новгороде. Организация поздоровела, стала сплоченней, и если Угланов, как видно из моих слов, уже «пришелся ко двору», то без ущерба для работы там мне можно перейти на новое место, и у ЦК есть намерение выдвинуть мою кандидатуру на работу в качестве секретаря Юго-Восточного бюро ЦК ВКП(б).

Подумав, я ответил, что, по совести говоря, мне хочется еще хотя бы полгода-год поработать в Нижегородской губернии. Это будет полезно для моего роста как партийного работника. Я только стал входить в курс хозяйственной политики, чувствую, что у меня еще недостаточно опыта для руководящей губернской работы, хотя я успел вникнуть в вопросы руководства промышленности, сельского хозяйства, советского строительства,

но не во всем сумел разобраться.

Я возражал против предложенного поста секретаря ЮгоВосточного бюро ЦК ВКП (б). Это очень большая и ответственная работа, к которой я считал себя не подготовленным.

Юго-Восток России – это Северный Кавказ, огромный край. Много сложных проблем, связанных с казачеством, горскими национальностями и их взаимоотношениями между собой. Это огромный сельскохозяйственный край, а как раз опыта сельскохозяйственной работы у меня было мало. Только то, что успел приобрести, работая здесь. Я боялся провалить эту работу и не оправдать надежды ЦК.

Да мне и не хотелось тогда уезжать из Нижнего. Я только что начал по-настоящему «влезать» во все нижегородские дела, меня узнали коммунисты и беспартийные рабочие, на последней партийной конференции мне выразили полное доверие. Работал я с большим увлечением, и дела у нас пошли как будто неплохо. В этих условиях срывать меня с места и посылать на совершенно новую, притом очень большую, работу, с которой я к тому же мог и не справиться, казалось делом несвоевременным.

Поэтому я высказал Сталину свои доводы против назначения меня секретарем Юго-Восточного бюро ЦК партии.

Сталин ответил: «Не преувеличивай трудности. Конечно, они там есть». Он подробно рассказал, что сейчас секретарем там Виктор Нанейшвили, которого я должен хорошо знать по работе в Баку. Он старый большевик, бывший учитель. В работе сохранил характер и навыки учителя – больше поучает, разъясняет. Объединить организационно край ему не удалось. Кроме Ставропольской и Терской губерний, все остальные организации не поддерживают бюро ЦК, считая его излишним звеном между ними и ЦК. «Мы же считаем, – продолжал Сталин, – что при плохих средствах связи, неокрепшем аппарате ЦК трудно из Москвы руководить и разрешать специфически сложные вопросы этого края. Это не лишнее звено, а на данном этапе необходимый орган ЦК в крае».

На первых порах главная задача будет политическая, партийная работа. С ней можно справиться с моим опытом.

В отношении хозяйственной работы ЦК готов дать в край, в бюро ЦК крупных работников. «В частности, мы можем направить Эйсмонта – опытного хозяйственного работника и еще других. Вообще, после ознакомления с положением на месте будет ясно, каких еще работников нужно направить в край. ЦК жалеть людей для этого края не будет».

Опровергать эти аргументы я, конечно, не мог. Они были

убедительными. Однако я заявил, что не хочу ехать на эту работу еще и по другой причине: «В состав Югвостбюро входит Ворошилов, командующий военным округом. Я с ним нигде не работал и лично его не знаю. Он известный политический деятель, старый большевик, член ЦК партии, намного старше меня. Я же кандидат в члены ЦК. У него уже сложилось, наверное, по всем местным вопросам свое мнение, и по многим вопросам, естественно, у него будет своя позиция. Я не буду ему уступать в таких случаях, буду проводить линию, которую считаю правильной. На этой почве у нас неизбежно возникнут конфликты. Я его уважаю и не хотел бы вступать с ним в конфликты. А приспосабливаться я не могу».

Сталин стал успокаивать меня, что ничего этого не случится: «Можешь действовать самостоятельно и не опасаться». Он хорошо знает Ворошилова как толкового, умелого товарища. Ворошилов не будет мешать, а, наоборот, будет помогать. К тому же он лично поговорит с ним об этом. Вообще Сталин умел уговаривать.

Мне ничего не оставалось, как дать согласие на предложение ЦК.

К концу беседы Сталин обратил внимание на то, что я крайне исхудал и у меня болезненный вид. Это было, конечно, результатом жизни на тогдашнем полуголодном пайке и начавшегося туберкулезного процесса в легких, но я Сталину сказал лишь о том, что за месяц до этого я около двух недель лежал в постели с воспалением легких с высокой температурой.

Он предложил использовать период до перехода на новое место работы и, сдав дела в Нижнем Угланову, поехать на месяц в дом отдыха ЦК на берегу Балтийского моря недалеко от Риги. «Там хорошее питание и спокойная, размеренная жизнь, там можно быстро подлечиться».

Я вернулся в Нижний, рассказал членам бюро о своей беседе в ЦК и вскоре, получив решение о моем отзыве из Нижнего и назначении секретарем Юго-Восточного бюро ЦК, уехал отдыхать на Рижское взморье. Ашхен жила еще на Кавказе у матери, поэтому поехал я один. В ту пору дом отдыха принадлежал консульству РСФСР в буржуазной Латвии, с которой у нас установились тогда нормальные дипломатические и торговые отношения. Отдыхало не больше двадцати работников из Москвы и Петрограда.

Сосновый лес, высоченные сосны, стволы которых испытали силу балтийских ветров. Смотришь на них и чувствуешь какую-то особую мощь и силу. Рядом с домом – песчаный пляж. Но купаться в море не пришлось: стояла холодная погода. Тишина и покой, мягкий климат, свежий воздух, обильная еда, крепкий сон

и длительные прогулки помогли мне: вскоре я почувствовал себя окрепшим.

Глава 13
На Северном Кавказе

Как и два года назад, когда я направлялся в незнакомый мне Нижний Новгород, так теперь по дороге в Ростов я думал о том, что ждет меня здесь.

Юго-Восток России (иначе говоря, Северный Кавказ), где мне предстояло работать, был не только огромным, но и очень сложным краем, имеющим много особенностей, населен людьми разных национальностей: помимо русских и украинцев тут жили народности Дагестана – аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки и другие, а также осетины, ингуши, чеченцы, адыгейцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы.

Современный читатель, наверное, с трудом сможет представить себе даже территориально Юго-Восточный край, потому что с тех пор районирование нашей страны несколько раз менялось, распадались старые и возникали новые области и республики, исчезло и само понятие «Юго-Восточный край».

А в те годы на территории этого края размещались нынешние Ставропольский и Краснодарский края (включая Карачаево-Черкесскую и Адыгейскую автономные области), Ростовская область, а также Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская и Северо-Осетинская АССР. Тогда это были: Донская и Кубано-Черноморская области, Ставропольская губерния, Терский округ, Дагестанская и Горская автономные республики, а также Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская автономные области.

Остановившись в ростовской гостинице, я в тот же день отправился в Югвостбюро ЦК.

Как я и ожидал, Нанейшвили принял меня очень радушно, по-дружески. Он уже знал о решении ЦК по поводу освобождения его от работы, но, будучи человеком дисциплинированным, сдержанным и хорошо воспитанным, никак и ничем не выразил своего неудовольствия по этому поводу. В откровенной беседе я сказал Нанейшвили, что неохотно согласился на перевод сюда из Нижнего и не уверен, что справлюсь с работой, которую он тут выполнял. Я не стал чрезмерно занимать его вопросами, решив для себя несколько иначе познакомиться с обстановкой. Только попросил его хотя бы ближайшую неделю продолжать выполнение обязанностей секретаря Югвостбюро ЦК, чтобы дать мне возможность познакомиться с жизнью города, с краевыми работниками, почитать протоколы, письма, поступающие с мест, а

также директивы ЦК.

Общее впечатление от Ростова у меня осталось тогда довольно тяжелое. Бросалась в глаза общая запущенность и какая-то заброшенность. Всюду еще были видны последствия Гражданской войны: груды разрушенных домов, следы снарядов и пуль на многих стенах. Большинство домов, особенно муниципальных, давно уже не ремонтировались. На улицах было очень грязно.

Мне встретилось большое количество беспризорных, просящих милостыню. Кое-где, прямо на улицах, попадались даже трупы людей, умерших, как мне говорили, от голода: они прибыли сюда из голодающих районов края. Меня поразило, как люди спокойно проходили мимо трупов, – видимо, это стало для них привычным зрелищем. Глядя на все это, нетрудно было понять, что местные руководители не проявляют необходимой заботы о городе и его жителях.

Это было настолько явно, что в своем первом же выступлении на заседании Донского комитета партии я резко критиковал городские власти за эти упущения и потребовал от них немедленно навести в городе порядок, оказать помощь беспризорным, устроить их в детские дома, на работу, подкормить. Это было тогда вполне нам под силу: уже поступал хлеб нового урожая.

В течение недели я знакомился с делами, читал протоколы заседаний бюро ЦК и его переписку с местными организациями и центром, а главное, конечно, беседовал с партийными работниками, уполномоченными различных наркоматов РСФСР по Юго-Восточному краю, с руководителями и сотрудниками Крайэкономсовета и других организаций. Во время этих бесед присматривался к людям, старался выяснить их сильные и слабые стороны, знания, опыт, отношение к делу – ведь мне предстояло с ними работать.

Вместе с тем, не изучив еще как следует во всех деталях обстановку, я старался не спешить со своими советами или предложениями, понимая, что такие рекомендации могли быть слишком поспешными и могли принести делу скорее ущерб, нежели пользу. Одним словом, я не торопился «руководить», а больше прислушивался к тому, что мне говорили.

23 июня впервые был на заседании Югвостбюро ЦК. На этом заседании кроме меня, Нанейшвили и Лукоянова (члена Югвостбюро ЦК) присутствовали работники аппарата бюро, руководители Донского обкома партии и некоторые краевые советские работники. Вел заседание Нанейшвили. Я на этом заседании не выступал.

Вопросы, выдвигаемые на обсуждение Югвостбюро ЦК, нередко бывали случайными, в большинстве случаев плохо или совсем не подготовленными, а потому и решения, принимаемые по таким вопросам, имели слишком общий, декларативный характер. Помню, что все это произвело тогда на меня, как на работника, привыкшего к иным методам партийной работы, тягостное впечатление.

1 июля 1922 г. на заседании Югвостбюро ЦК мы распростились с Нанейшвили. Я поблагодарил его за оказанную помощь, и мы дружески расстались, после чего я уже непосредственно приступил к исполнению обязанностей секретаря бюро ЦК.

Наблюдая за работой аппарата и порядком проведения заседаний бюро, нельзя было не отметить низкую дисциплину среди краевых работников. На примере уже первых заседаний бюро, прошедших с моим участием, стало окончательно ясно, что готовились они наспех. Кроме того, очень возмутило отношение к этим заседаниям со стороны вызываемых на бюро краевых и местных работников. Многие из них являлись с большим опозданием, а иные и вообще не присутствовали, считая, видимо, эти заседания для себя необязательными.

На следующий день я вызвал к себе «нарушителей» и, побеседовав с каждым в отдельности, немногословно, но строго разъяснил им всю нетерпимость такого их отношения к партийной работе. Ограничившись на первый раз устным внушением, я предупредил их, что в случае повторения подобных фактов бюро вынуждено будет вынести им партийные взыскания. Надо сказать, что такой разговор принес большую пользу. С тех пор обстановка заметно изменилась и заседания бюро стали проходить нормально.

Обдумывая ближайшие задачи краевой партийной организации, мы понимали, что главное внимание надо обратить на ускоренное восстановление разрушенного сельского хозяйства края. Северному Кавказу, как одной из главных житниц страны, отводилась особенно большая роль. Из этой центральной задачи вырисовывались в основном три важнейших конкретных вопроса: проведение сбора продналога и организация свободной закупки у крестьян излишков хлеба, подготовка и проведение озимого сева, а также зябевая пахота, чтобы обеспечить урожай следующего года.

Кроме того, важной проблемой была борьба за ликвидацию бандитизма в крае, поскольку без этого нельзя было укрепить советскую власть, успешно решить стоящие перед нами хозяйственные задачи и вообще оздоровить и стабилизировать

политическую обстановку.

И без того напряженная обстановка в крае осложнилась в июле 1922 г. в связи со вспышкой холеры. Я впервые столкнулся с такой серьезной эпидемией. Из сообщений с мест вырисовывалась безотрадная картина. В крае, как я уже говорил, ожидался хороший урожай. Но его уборка только еще начиналась, поэтому последствия голода продолжали свое разрушительное действие. Люди были истощены, здоровье их подорвалось, они физически ослабли. А тут еще эта эпидемия.

Надо было срочно развертывать дополнительную сеть медицинских учреждений, набирать медицинских работников, закупать медикаменты. Борьба с холерой требовала мобилизации всех сил и средств.

Посоветовавшись с товарищами, я передал по прямому проводу в Москву записку на имя секретаря ЦК, в копии – Совнаркому, наркомам здравоохранения и финансов с просьбой разрешить использовать 25 % собранного в крае общегражданского денежного налога на борьбу с эпидемией холеры. В конце этой записки добавил, что «неполучение ответа в течение 48 часов будет считаться согласием».

Ни разрешения, ни отказа мы не получили. Подождав двое суток, мы приняли следующее решение: «Ввиду истечения срока ответа от ЦК РКП(б) на запрос бюро об использовании 25 % настоящее постановление провести в жизнь немедленно».

Конечно, мы понимали, что это шаг неправомерный. Но чувство ответственности за положение в крае взяло верх.

Видимо, поняли это и в Москве: никаких неприятностей не последовало. Необходимые меры на местах были приняты. Эпидемия холеры быстро пошла на убыль.

Через месяц после моего приезда декретом ВЦИК была образована Адыгейская автономная область. Из горских народов адыгейцы были наиболее экономически обеспеченными. С кубанскими казаками – жителями соседних станиц – они жили дружно. Не помню случая, чтобы мы когда-нибудь обсуждали вопрос о бандитизме среди адыгейцев. Во главе ревкома Адыгеи стал уважаемый адыгейцами Хакурате, серьезный, рассудительный коммунист. С руководством Адыгейской автономной области мы работали согласованно. Никаких трений у нас не было. Местонахождение ревкома было временно определено в Краснодаре. В последующем областным центром автономии стал Майкоп.

Организация сбора продналога являлась для нас важнейшей задачей наступавшей осени 1922 г. Она требовала особого внимания, осторожного подхода, чтобы какими-либо

непродуманными или поспешными мерами не вызвать недовольства среди крестьян. Мы хорошо понимали, сколь трудным было положение крестьянства в нашем крае, но республике было тогда во много раз тяжелее: нужда в хлебе для рабочих, отдававших все силы, чтобы выбраться из разрухи, была поистине огромной.

Правительство обязало нас собрать по Юго-Восточному краю в качестве продналога 48 млн пудов хлеба. Цифра эта была по тем временам, прямо скажем, немалая, но вполне реальная. Размеры, или, как тогда говорили, ставки взимаемого налога, определенные заранее, исходили из так называемого среднего урожая. Но по многим районам края урожай ожидался значительно выше среднего, и поэтому крестьянство в своей массе восприняло налог благожелательно.

Однако враждебные элементы распускали слухи, что такие невысокие ставки даны только для начала и, как только крестьяне их выполнят, им предъявят дополнительный налог.

Правительство приняло в том году решение предоставлять крестьянам за досрочную сдачу продналога 10-процентную скидку. Это было большим стимулом для успешного выполнения государственного плана сбора продналога. Словом, сбор налога должен был идти более или менее нормально. Именно поэтому мы решили с самого начала кампании полностью отказаться от применения вооруженной силы, к чему до этого здесь приходилось, как говорят, нередко прибегать.

Мы считали возможным, и то лишь в самых крайних случаях, использовать отряды ЧОН (части особого назначения, состоявшие из вооруженных коммунистов и комсомольцев) для охраны хлебных складов, особенно в районах, подверженных налетам бандитов. Что же касается привлечения регулярных воинских частей, то мы заблаговременно предупреждали местные организации, чтобы они на них не рассчитывали.

Первые же дни проведения продкампании показали, что сбор налога проходит в общем нормально, хотя уже на первых порах мы столкнулись с технической неподготовленностью к приемке большого количества зерна: на ссыпных пунктах и элеваторах не хватало хлебохранилищ, трудно было с транспортом. Зерно зачастую складывалось буртами на землю и хранилось так под открытым небом из-за несвоевременной подачи вагонов и нехватки брезента. Крестьянам иногда приходилось по нескольку дней стоять в очередях около хлебоприемных пунктов, чтобы сдать налог.

Некоторые товарищи, ссылаясь на хороший урожай, предлагали ввести помимо основного продналога

дополнительное налоговое обложение населения. Но это был уже явный перегиб. Пришлось мне выступить и сказать, что мы не имеем права самовольно устанавливать какие бы то ни было надбавки к общегосударственному налоговому обложению.

Бандитизм в крае тоже шел на убыль. Однако эти успехи явились результатом не только хорошей работы наших войск и органов ГПУ по ликвидации наиболее оголтелых банд. Первые ощутимые результаты новой экономической политики, реальная помощь нашего правительства, оказанная крестьянству во время весеннего сева, хорошие виды на урожай, укрепление на местах советского аппарата и законности, общее сужение их социальной базы – все это явилось причиной начинавшегося разложения ряда политических банд и перехода некоторых из них на путь обычного, уголовного бандитизма.

Но это никак не могло нас успокаивать. Предстояла еще упорная и длительная борьба с бандитизмом.

С отчетным докладом Юго-Восточного бюро на пленуме выступали двое: Лукоянов (о работе бюро с апреля по июнь 1922 г.) и я (о работе фактически за один месяц – июль). Я старался не только рассказать о том, что мы уже сделали, но и заглянуть вперед – поговорить о ближайших задачах краевой партийной организации.

«Нечего скрывать, – говорилось в моем докладе, – у многих жителей, даже у коммунистов, нет еще правильного понимания новой экономической политики. Еще не везде осуществляется революционная законность. Это приводит к тому, что у иных людей пропадает доверие к органам советской власти. В Горской республике, например, под флагом «борьбы с проклятым капитализмом» в условиях новой экономической политики, что называется, душат мелких лавочников. В Дербенте наложили контрибуцию «на местную буржуазию» в размере 50 млрд рублей и сажают людей в тюрьму, потому что они не в силах справиться с таким обложением. В Ставрополе дело дошло до того, что руководители ГПУ не считаются с губкомом. Имеются случаи морального, бытового и политического разложения среди коммунистов. Все это ставит перед нами задачу всемерного укрепления партийных организаций и советского аппарата на местах».

В докладе большое место заняли вопросы агитационной, пропагандистской и просветительской работы. Горские народы, кроме осетин и кумыков, тогда еще не имели своей письменности. Процент неграмотных и малограмотных был у нас очень высок. Газет и журналов было мало. Читали их у нас тогда только в городах, в деревню они попадали редко, и то с большим

опозданием.

В самых первых числах августа 1922 г. я выехал в Москву для участия в работе XII Всероссийской партийной конференции.

В конце мая 1922 г. у Ленина случился первый приступ болезни. Все мы, делегаты, собравшись в Кремле, с особым волнением ждали сообщения о здоровье Владимира Ильича.

В первый же день работы конференции, 4 августа 1922 г., делегатов проинформировали, что, по заключению авторитетнейших врачей, как русских, так и иностранных, здоровье и силы Владимира Ильича восстанавливаются. Все мы тогда облегченно вздохнули и с каким-то особенным подъемом, бурно и долго аплодировали по поводу этого радостного сообщения.

Во время конференции у меня, да и у ряда других делегатов, возникло недоумение, почему Сталин, в ту пору уже Генеральный секретарь ЦК партии, держался на этой конференции так подчеркнуто скромно. Кроме краткого внеочередного выступления – рассказа о посещении Ленина в связи с нашим приветствием, – он не сделал на конференции ни одного доклада, не выступил ни по одному из обсуждавшихся вопросов. Это не могло не броситься в глаза.

Зато Зиновьев держался на конференции чрезмерно активно, изображая из себя в отсутствие Ленина как бы руководителя партии. Он, например, выступал с двумя докладами – об антисоветских партиях и о предстоящем IV конгрессе Коминтерна.

Открыл конференцию Каменев. Казалось вполне естественным, чтобы с заключительной речью выступил Генеральный секретарь ЦК партии. Однако слово для закрытия конференции было предоставлено Ярославскому.

Ретивость Зиновьева я объяснил тогда его особой жадностью ко всяким публичным выступлениям и его стремлением непомерно выпячивать свою персону – этим он уже «славился».

Никаких особых разногласий в руководстве тогда не было, и в связи с этим чувствовалась общая удовлетворенность делегатов оттого, что они продолжают дружно работать и теперь, во время вынужденного отсутствия Ленина.

Особое внимание было уделено кооперации. Наиболее мощной у нас была тогда потребительская кооперация, объединявшая как крестьян, так и рабочих и выполнявшая задачи непосредственных торговых связей между городом и деревней. Членство рабочих в потребкооперации было тогда обязательным. Положение в потребительской кооперации, а также задачи партийных организаций в области ее дальнейшего укрепления

были в общем ясны. Гораздо хуже было в сельскохозяйственной, промысловой и кредитной кооперациях. На конференции шла речь о том, чтобы уничтожить дух вражды, нездоровой конкуренции и разлада, который существовал тогда между этими видами кооперации.

Конференция определила ряд практических мер в этой области: допускалось добровольное слияние отдельных видов кооперации в смешанные кооперативы и союзы, намечалось создание совместных предприятий на акционерных или договорных началах, планировалась совместная торговая сеть и взаимное хозяйственное обслуживание на основах коммерческой целесообразности и организация совместных учебных курсов, издательств и т. п.

Партия подчеркивала роль кредитной кооперации, которая наряду с государственным сельскохозяйственным кредитованием приобретала особое значение для дальнейшего развития как сельскохозяйственной, так и промысловой кооперации.

Сразу же после XII партийной конференции, 8 августа, состоялся очередной (Августовский) пленум ЦК партии.

Помню, что большой интерес на этом пленуме вызвал доклад о международном положении, с которым выступил Литвинов. Горячие споры развернулись о нашей внешней торговле, в частности о путях дальнейшего расширения ее оборота, что стало тогда одной из важнейших государственных задач, а также о монополии внешней торговли.

Нам было сообщено, что политбюро ЦК еще в июне 1922 г. образовало для решения этого важного вопроса специальную комиссию под председательством Каменева. Комиссия политбюро предлагала разграничить в законодательном порядке регулирующие и чисто коммерческие функции Наркомвнешторга и предоставить ряду хозяйственных органов право самостоятельно вести торговые операции с внешним рынком «под общим контролем Наркомвнешторга».

Таким образом, центр тяжести осуществления внешнеторговых операций переносился на хозорганы других наркоматов и местные хозорганы, получившие для этого соответствующее разрешение СТО. Все эти предложения комиссии внешне выглядели безобидно, а по существу значительно ослабляли монополию внешней торговли.

В работе пленума принимал участие и нарком внешней торговли Красин. Он внес на рассмотрение свои поправки к проекту директив ЦК о торговых операциях наших хозяйственных органов за границей. Отстаивая в главном ленинскую линию монополии внешней торговли, Красин проявлял определенную

гибкость. Однако, зная, что представители хозорганов за границей под влиянием местнических и ведомственных интересов или даже в силу своей малой компетенции в коммерческих делах могут совершать сделки, не соответствующие государственному плану или коммерчески невыгодные, Красин требовал предоставления полпредам и торгпредам права вето на такие сделки. В случае же особо грубых нарушений Красин предлагал лишать отдельные хозорганы права непосредственного ведения торговых операций за границей.

Против монополии внешней торговли на пленуме выступили Сокольников, Фрумкин, Пятаков, Бухарин, Зиновьев. Сталин высказался за то, чтобы предложения комиссии с некоторыми поправками Красина в основном принять.

Большинство присутствовавших на пленуме членов и кандидатов в члены ЦК, особенно работавшие на местах (в том числе и я), тогда еще плохо разбирались в тонкостях сложных внешнеторговых отношений, к тому же нам было заявлено, что предложения Красина не противоречат проекту директивы, который представила комиссия политбюро. Предложения комиссии были одобрены.

Через день после августовского пленума состоялось заседание оргбюро ЦК партии, где я выступил с докладом о положении на Юго-Востоке России. Рассказал, с чем столкнулся, приехав в Ростов, что успел узнать и увидеть за месяц работы.

Члены оргбюро одобрительно отнеслись к нашим предложениям, внимательно и заинтересованно обсудили насущные нужды края. В результате было принято решение о мерах помощи Югвостбюро ЦК. В частности, и это было тогда для нас особенно важно, решили направить к нам в качестве председателя Крайэкономсовета и члена Югвостбюро ЦК Н.Б. Эйсмонта, работавшего до этого членом президиума ВСНХ. Кроме него для укрепления Донской партийной организации оргбюро решило командировать в Ростов на должность председателя Донского облисполкома опытного советского работника Патрикеева.

ЦК принял также наше предложение утвердить членом Югвостбюро ЦК Гикало, одного из героев Гражданской войны на Северном Кавказе, пользующегося в крае большим влиянием и доверием. О подвигах Гикало в годы борьбы с деникинской контрреволюцией в Терской области и о том, какое огромное доверие питали к нему чеченские партизаны, ходили легенды.

Обстановка на Северном Кавказе была сложной. Уровень развития населения, особенно в горах, низкий. Иногда Гикало в интересах дела приходилось идти чуть ли не на авантюру.

Рассказывали, например, такой комический случай. Как-то в партизанском отряде, руководимом Гикало, среди чеченцев появились колебания. Гикало не смог убедить партизан и поднять их в наступление. Тогда он задумался и через некоторое время заявил: «Поскольку имеются разногласия, я спрошу у Ленина, как нам поступить». Он отошел в сторону, воткнул в землю большую палку, приставил к ней ухо и громко, чтобы было слышно отряду, говорит: «Москва, Москва, товарищ Ленин, это говорит Гикало. У нас разногласия: наступать или нет? Как быть? Дайте указания». Затем несколько раз повторил: «Да-да. Значит, товарищ Ленин, говорите, наступать? Понял, понял – наступать, так и скажу». Разногласия прекратились. Отряд пошел в наступление и добился успеха.

Я вернулся в Ростов окрыленный поддержкой ЦК, зная к тому же, что в составе Югвостбюро появились новые, так нужные нам тогда крепкие коммунисты, на которых можно было, как это выяснилось очень скоро, вполне положиться.

К тому времени произошло радостное событие у нас в семье: 12 июля 1922 г. в Тбилиси жена родила сына. Это был наш первенец. Ему дали имя Степан в честь Степана Шаумяна.

Я собрался ехать к жене. Наше бюро разрешило мне такую поездку, но она несколько раз откладывалась. Одним словом, выбрался я только в конце августа, имея в своем распоряжении всего пять-шесть дней, что было в обрез, если учесть, что почти все это время должно было уйти на дорогу туда и обратно.

Жена с радостью рассказала, что Серго Орджоникидзе, неизвестно откуда узнав, что она родила сына и должна выписываться из больницы, приехал, чтобы отвезти ее домой.

Ашхен впервые тогда встретилась с Серго, и он сразу поразил ее своей простотой, отзывчивостью и добротой. Из-за плохой дороги машина, на которой они ехали, не могла подъехать к дому и остановилась довольно далеко от него. Серго взял ребенка на руки и донес его до самой квартиры. Ашхен была этим очень тронута.

Мне тогда же хотелось увезти жену и сына в Ростов. Но мать Ашхен стала меня отговаривать, прося оставить их на время у нее, чтобы они как следует оправились под ее присмотром. Я стал колебаться.

Пошел к Серго. Произошла радостная, дружеская встреча. Я поблагодарил его за внимание и заботу о моей семье, рассказал ему о жизни в Ростове, о тамошней обстановке, о своих впечатлениях, о трудностях. Серго хорошо знал Северный Кавказ и дал мне несколько полезных советов, особенно в отношении

северо-кавказских горских народов.

Узнав, что я собираюсь увезти в Ростов жену и сына, Серго говорит: «Зачем тебе в такую жару, да еще при плохом железнодорожном сообщении, везти сейчас с собой жену с маленьким ребенком? Есть лучшая возможность это сделать, и тебе надо ею воспользоваться. В Боржоми сейчас отдыхает Ворошилов. К концу сентября он должен вернуться в Ростов. Поедет он в служебном вагоне командующего округом. Места там достаточно, и он, конечно, с удовольствием возьмет с собой твою жену с ребенком. Я с ним договорюсь».

Перед отъездом в Ростов мне удалось выкроить один день для поездки в родное село Санаин, повидать мать и родных. Впервые моя нога ступила тогда на советскую армянскую землю. Сам по себе этот факт был уже очень радостным для меня.

Мать не ожидала меня, не знала, что делать от радости.

Прежде всего по традиции она пошла купить барашка, чтобы устроить настоящий шашлык для меня, родных, соседей и всех, кто зайдет в дом. Сказать правду, я не большой сторонник таких пиршеств. Но возражать не стал. Собралось много товарищей-ровесников.

В ожидании обеда мы решили пройтись по селу. Зашли во двор древнего монастыря, сооружение которого, как гласит история, длилось с середины X по XIII столетие. Тысячу лет назад (в 972 г.) была создана Санаинская школа, а потом книгохранилище и академия, где помимо теологии изучались история, философия, естествознание и другие науки. Не случайно у нас в Санаине были впервые переведены на армянский язык произведения Платона, Аристотеля и других выдающихся деятелей древнегреческой культуры.

Наша Санаинская школа – одна из древнейших в Армении. По сохранившимся историческим данным, она была основана армянским ученым Диоскаросом Санаинским. Здесь учился родившийся в нашем селе в 1712 г. Саят-Нова, ставший потом знаменитым в Закавказье поэтом, писавшим на армянском, грузинском и азербайджанском языках. В начале XIX века в Санаинской школе преподавал великий просветитель армянского народа Хачатур Абовян.

Большое впечатление, как и в детстве, произвела на меня архитектура Санаинского монастыря.

Мать была очень рада, что хорошо всех угостила. Однако вечером нам пришлось с ней расстаться. Она была огорчена моим скорым отъездом. В сопровождении товарищей я отправился на железнодорожную станцию, чтобы вернуться в Тбилиси, а потом и в Ростов.

Орджоникидзе сдержал свое слово. Когда Ворошилов, возвращаясь из Боржоми, заехал в Тбилиси, Серго попросил его взять с собой мою жену и сына. Ворошилов охотно согласился. Мы с Буденным встречали их на ростовском вокзале, где и состоялось мое знакомство с Климентом Ефремовичем и его супругой Екатериной Давыдовной.

Помню, когда, вернувшись с вокзала, мы выходили из машины, Буденный бережно взял моего малыша на руки и понес его в квартиру; своих детей у него тогда не было, и видно было по всему, что делает он это с большим удовольствием. На второй или третий день после приезда Ворошилов пригласил меня и Ашхен к себе домой на обед. Я узнал от хозяйки много нужного и полезного для себя.

Уже первые встречи с Ворошиловым развеяли мои опасения насчет того, как сложатся у нас отношения. Я проникся к нему доверием и уважением как к хорошему товарищу, обаятельному человеку. Это отношение к нему я сохранил на всю жизнь.

Глава 14
Моя семья

В Ростове я жил в бывшем купеческом одноэтажном особняке, состоящем из четырех комнат. Одну из них занимал руководитель Югвостбюро профсоюзов Сенюшкин (а после него – Захар Беленький с женой), в двух других комнатах жили мы с женой и сыном, а четвертая комната использовалась как наша общая столовая.

Меня все время не покидала мысль забрать к себе мать и младшего брата Артема (Анушевана). Дело в том, что после смерти отца в 1918 г. все заботы о них легли на плечи старшего брата Ерванда, которому мне уже давно хотелось помочь.

В свое время Ерванд работал около трех лет молотобойцем в кузнице Алавердского завода, принадлежавшего французской компании. Мне приходилось бывать у него на работе, и я видел, что это был каторжный труд, в особенности летом. В узком горном ущелье, где находился завод, всегда было жарко и душно. К этому добавлялась еще нестерпимая жара в самой кузне, где брату приходилось по 12 часов подряд бить тяжелым молотом по раскаленному докрасна металлу.

Потом Ерванда призвали в армию, а когда подошел срок его демобилизации, началась Первая мировая война, и он попал рядовым на фронт. Домой Ерванд вернулся в начале 1918 г. с Георгиевским крестом, полученным за храбрость, проявленную им на фронте. После армии решил переквалифицироваться и по примеру отца стать плотником. Прокормить семью ему было трудно, а я был лишен возможности в тех условиях помочь ему. Совесть меня мучила, что все заботы о матери, как и о младшем брате, лежат на плечах Ерванда.

Я, конечно, мог перевезти к себе мать немедленно, но меня удерживало от этого то, что, живя в деревне, она с братом все-таки была обеспечена хлебом, молоком и картошкой, а в городах России, в том числе и у нас в Ростове, тогда было еще очень голодно. Да и с жильем, как я говорил, было не оченьто свободно, и поэтому приходилось ждать.

Осенью 1923 г. в одном из ростовских коммунальных домов мне была предоставлена четырехкомнатная квартира. К тому времени и с продовольствием стало гораздо лучше. Вот тогдато мать с Артемом и перебрались ко мне.

Мать была довольна переездом. Бывало, по вечерам или в праздничные дни, когда я работал у себя в кабинете, она

тихонько приходила ко мне, садилась где-нибудь в уголке и молча по нескольку часов сидела, смотрела на меня и о чем-то думала.

Вначале это мне не мешало, но потом, через несколько дней, я как-то сказал ей: «Майрик (мама)! Ты уж, наверное, достаточно насмотрелась на меня. Пойди к себе, отдохни, а я кончу работать, тогда мы с тобой вместе и поужинаем и поговорим».

Видно было по всему, что такой совет не очень пришелся ей по душе. «Сынок, – сказала она мне, – я ведь очень по тебе соскучилась. Много лет мы с тобой вместе не жили». Как мог, я обласкал ее, и она хоть и нехотя, но последовала моему совету.

Вообще надо сказать, что семья наша была очень дружной. Моя младшая сестра Астхик вышла замуж за медеплавильного мастера Акопа, и они вырастили четырех детей. Она работала директором небольшой текстильной фабрики. Умерла в возрасте 66 лет от инфаркта. А вслед за ней умерла и старшая моя сестра, 78-летняя Воскеат. Она была колхозницей, а в последние годы – до самой смерти – заведовала детскими яслями в совхозе.

Несколько подробнее мне хотелось бы рассказать о моем младшем брате Артеме. Артем был моложе меня на десять лет. Свою трудовую жизнь он начал вскоре после переезда ко мне в Ростов, осенью 1923 г. Он слабо знал тогда русский язык и поэтому не мог быть принят в очередной класс русской школы. Мы решили, что он должен окончить школу ФЗУ и идти работать на завод. «Пройдешь школу рабочего класса, – сказал я ему, – получишь специальность, заодно овладеешь как следует русским языком, а там перед тобой широкая дорога. Остальное уж целиком зависит от тебя самого!»

Он так и сделал. Поступил в ФЗУ, потом стал работать учеником токаря сперва на заводе «Красный Аксай», а затем в Главных железнодорожных мастерских имени Ленина. Там его приняли и в ряды Коммунистической партии.

Артем был волевым, целеустремленным и вместе с тем скромным человеком. Желая как можно скорее начать самостоятельную жизнь, он через два года уехал в Москву, поступил токарем на завод «Динамо», а заодно, желая учиться дальше, стал студентом вечернего рабфака. В 1927 г. его перевели на партийную работу в Октябрьский трамвайный парк. Два года он служил в армии, а демобилизовавшись, поступил на московский завод «Компрессор».

В 1931 г. Артема направили в числе 1000 коммунистов учиться в Военно-воздушную академию имени Жуковского, которую он закончил в 1937 г. После этого и определился его дальнейший жизненный путь инженера-конструктора: проработав

некоторое время военпредом и начальником конструкторского бюро на одном из авиазаводов, он стал с 1940 г. главным конструктором нового авиационного конструкторского бюро.

За три десятилетия под его руководством создано несколько поколений самолетов-истребителей – от поршневого МиГ-3, участвовавшего в Великой Отечественной войне, до современных сверхзвуковых скоростных реактивных само летов-истребителей, явившихся, по общему признанию, большим вкладом в дело повышения обороноспособности нашей Родины.

Небольшая деталь. Артем очень рано поседел. Как-то в беседе с ним я сказал: «Ты моложе меня, а уже седой, с чем это связано?» Он ответил: «Знаешь, Анастас, работа у меня очень нервная. Часто сталкиваешься с неожиданностями: то одно, то другое. В нашем деле почти любая неудача связана с человеческими жизнями. Каждую такую неудачу на испытаниях самолетов, а тем более катастрофу воспринимаешь как личную трагедию. Вот откуда у меня седые волосы».

Да, это было так. Наверное, это и подорвало его сердце. Он умер 66 лет (в декабре 1970 г.), в расцвете творческих сил.

У нас с братом всегда были хорошие, дружеские отношения. И хотя оба мы всегда были очень заняты, все же выкраивали в воскресные дни время, чтобы встретиться и поговорить по душам.

Хочу сказать объективно, что Артем был обаятельным человеком. Простой, скромный, добрый, он умел хорошо разбираться в людях, был к ним внимателен, всегда прислушивался к мнению товарищей по работе, а в неизбежно возникавших спорах умел находить истину. Одной из характерных его черт было стремление идти вперед, не останавливаться на достигнутом. Это был в полном смысле слова человек-новатор. Не случайно ему удалось сплотить замечательный коллектив работников конструкторского бюро, многие из которых проработали под его руководством 25–30 лет и продолжают успешно работать и сейчас.

Характерная особенность: за всю свою жизнь он ни разу ни о чем меня не просил. У нас в семье вообще это как-то не было принято. А он стремился быть самостоятельным всегда и во всем.

Год спустя после его отъезда из Ростова меня перевели в Москву, назначив наркомом внешней и внутренней торговли СССР. Я с женой и тогда тремя детьми получил небольшую квартиру в Кремле, из четырех комнат, с длинным и узким полукоридором-полукомнатой. Артем работал на заводе «Динамо». Я предложил ему жить у меня. Он наотрез отказался. Я уговаривал, но ничего из этого не вышло. Артем заявил, что завод дал ему место в общежитии. «Отсюда, из Кремля, – сказал он, –

мне очень далеко ходить на работу. Живя в общежитии, я по воскресеньям буду обязательно навещать тебя». Я согласился. Только через много лет я узнал, что никакого общежития у него тогда не было, что он снимал угол у старика-дворника, жившего в полуподвале. Таков был Артем. Меня всегда радовал его жизненный оптимизм, его настойчивость, стремление к достижению поставленной цели.

Незадолго до смерти Артем вернулся из поездки в Армению. Он восхищался переменами, происшедшими в Ереване и в родной деревне Санаин.

Вспоминая Артема, многие его друзья говорят, что одной из замечательных его особенностей было то, что он, достигнув высокого положения в нашем обществе, не зазнался. Ведь чего греха таить, иногда слабые люди, достигнув высокого положения, действительно портятся. Известно, что есть разные металлы, разные сплавы. Одни быстро ржавеют. Но есть и хорошая, подлинно нержавеющая сталь! Если исходить из такого сравнения, то нельзя не признать, что Артема ржавчина не коснулась. Он был из нержавеющего сплава.

Артем был хорошим семьянином. Жена его Зоя Ивановна, сын Ованес, две дочери, Наташа и Светлана, – все вместе составляли дружную семью.

Осенью 1923 г. мой годовалый сынишка Степан заболел дизентерией. Вначале особой тревоги это не вызвало. Но потом болезнь стала развиваться, ребенок сильно исхудал, хотя лечил его известный в Ростове детский врач профессор Меренес.

Мы с Ворошиловым должны были ехать в Москву на Октябрьский пленум ЦК партии. В день отъезда жена позвонила мне на работу и в полном отчаянии сообщила, что Меренес не пришел утром к ребенку, хотя о его плохом состоянии ему было сообщено. Я постарался по телефону успокоить жену и обещал ей немедленно разыскать другого врача. Было очень странно, что врач внезапно прервал лечение ребенка, заблаговременно не сообщив об этом ни матери, ни мне и даже не прислав вместо себя другого врача, если почему-либо сам не мог приехать. Мне не хотелось говорить с ним при жене. Поэтому, послав за ним машину, я попросил его заехать ко мне на работу.

Он приехал. Я спросил у него, почему он перестал лечить ребенка. Ответ был для меня совершенно ошеломляющим. «Если вы станете на общегосударственную позицию, – сказал он, – то согласитесь, что я поступаю правильно. Ваш ребенок абсолютно в безнадежном состоянии, и спасти его невозможно. Если я буду продолжать ездить к нему, это будет только бесполезной тратой

времени, которое я могу более разумно использовать для лечения других тяжелобольных детей, которых еще можно спасти. Вы ведь знаете, – добавил он, – как много у меня таких пациентов в городе».

Вначале я был просто потрясен и возмущен таким ответом. Потом, подумав, понял, что в его рассуждениях есть логика. Сказал, что претензий к нему не имею.

Проводив Меренеса, я попросил управляющего делами Югвостбюро Ефимова, поскольку вечером я должен был уезжать в Москву, срочно поискать в городе другого детского врача. Честно говоря, делал я все это скорее для того, чтобы хотя бы немного успокоить жену, потому что после разговора с таким опытным доктором, как Меренес, я потерял всякую надежду на спасение сына. Я попросил Ефимова, если в мое отсутствие случится несчастье, чтобы он в порядке товарищеской помощи взял на себя все необходимые заботы, потому что жена может растеряться и не в силах будет что-либо сделать.

Закончив самые срочные дела, я отправился домой. Квартира моя находилась километрах в двух от места работы. Обычно я ходил пешком, а иногда садился на трамвай и доезжал до дома. Я делал это ради прогулки, а кроме того, это всегда давало возможность видеть какой-то кусочек жизни и быта ростовчан. На этот раз мне было не до этого. Иду, погруженный в мрачные мысли, по улице и вдруг совершенно неожиданно встречаю старого школьного товарища Саркисяна, которого не видел до этого больше пяти лет. Здороваюсь, спрашиваю: «Что ты здесь делаешь?» Оказывается, он год назад окончил медицинский факультет Ростовского университета.

Я рассказал ему о своей беде. Он стал меня успокаивать: «Не отчаивайся, завтра утром я приведу к тебе домой одного молодого врача, который лечит детей не хуже Меренеса. Недаром он является его ассистентом». Он проводил меня до дому. Я попросил его зайти к нам, тем более что с Ашхен он был знаком тоже со школьных лет. Ему удалось как-то успокоить мою жену. Он пообещал на другой же день привести врача, который, с его точки зрения, делает чудеса.

Ашхен приободрилась и с надеждой смотрела на ребенка, который производил тогда действительно ужасное впечатление – кости и кожа. Он настолько ослаб, что не имел сил даже плакать. Временами казалось, что у него начинается агония.

Вечером я должен был уехать в Москву. Отменить эту поездку я никак не мог: пленум ЦК был очень важный – шла речь о сохранении единства в партии. Словом, вместе с Ворошиловым я уехал. Уехал с тяжелым чувством. Нетрудно понять состояние, в

каком я находился в Москве, тем более что от телеграфных запросов жене (телефонной связи тогда с Ростовом еще не было) я воздерживался, боясь еще больше разбередить ее и без того измученное материнское сердце.

Вернувшись домой и открывая дверь в квартиру, я услышал плач ребенка. Значит, жив! Действительно, сынишка уже поправлялся. Ашхен спокойно, но с укоризной спросила: «Что же ты не прислал ни одной телеграммы?» Понимая, что она права, я не стал оправдываться, сказав только, что надеялся на нее и на помощь Саркисяна.

На наше счастье, Саркисян действительно нашел хорошего врача. Им оказался молодой специалист по фамилии Осиновский. Осмотрев внимательно ребенка, он расспросил Ашхен о ходе болезни и сказал, что хотя ребенок болен очень тяжело, тем не менее положение его не безнадежно и он попытается его спасти, если Ашхен будет делать абсолютно все, что он предложит. Началась упорная борьба за жизнь ребенка. Через несколько дней наступил мучительный кризис, закончившийся благополучно. «И вот, – радостно сказала Ашхен, – теперь наш малыш вне опасности. С каждым днем он все больше и больше набирается сил».

Помню, что Ашхен была готова чуть ли не молиться на молодого врача и на Саркисяна, чудом появившегося у нас дома в самый критический момент. До конца своей жизни она с благодарностью вспоминала их.

Сейчас Саркисян живет в Сухуми. Когда я бываю на юге, то всякий раз мы встречаемся.

У нас с Ашхен пятеро сыновей, которых мы старались воспитать строго, чтобы они были скромными и честными. Ввиду моей перегруженности работой воспитанием детей фактически целиком занималась (и очень хорошо!) одна она. Война застала старшего – Степана курсантом военно-летного училища, остальных – учениками средней школы. До наступления призывного возраста трое из них ушли в армию добровольцами. Таким образом, четверо моих сыновей оказались в авиации. В этом кроме юношеского задора сказалось и влияние моего брата, авиаконструктора.

Второй наш сын, Владимир, летчик-истребитель, погиб в сентябре 1942 г. в воздушном бою под Сталинградом. Ему было 18 лет. Старший сын уже 33-й год продолжает летать на военных самолетах, из них более 20 лет летчиком-испытателем. Имеет звание генерал-лейтенанта авиации, почетное звание заслуженного летчика-испытателя. Ему присвоено звание Героя Советского Союза в 1975 г. Третий сын, Алексей, – генерал-

лейтенант авиации, продолжает летать на боевых самолетах, занимая командную должность. Имеет почетное звание заслуженного военного летчика. Четвертый сын, Вано, в конце войны стал авиационным техником, а уйдя в запас, перешел на авиаконструкторскую работу. Сейчас он заместитель главного конструктора фирмы «МиГ». Младший, Серго, участия в войне принимать не мог по возрасту. Он кандидат исторических наук, работает главным редактором журнала «Латинская Америка» Академии наук СССР.

Глава 15
Проблемы казачества. Чечня

Большое социально-политическое значение имел вопрос о вовлечении в советское строительство трудового казачества края – донского, кубанского и терского.

В казачьих станицах жили и иногородние, приехавшие из разных районов России и Украины в поисках заработка, земли. Иногородние, как и угнетенное казачество при царе, первые стали на сторону советской власти, заполнили своими частями первые формирования красноармейских частей, дали много талантливых военачальников из своей среды, вроде Ковтюха и др. Поэтому они и в сельсоветах и других органах власти занимали руководящее положение. Казаков почти не было в руководящих органах страны и на местах, их считали антисоветски настроенными.

Собственно, вначале так и было – действовали казачьи банды, уничтожавшие руководителей советской власти и терроризировавшие советские органы.

В 1922 г., когда я приехал в край, на заседании в штабе округа мы с Ворошиловым, краевым уполномоченным ГПУ Андреевым обсуждали каждую неделю сводки, доклады начальника штаба округа Алафузова – бывшего царского полковника, добросовестно служившего в Красной армии, о положении казачьих политических банд.

На стене висела большая географическая карта края, на которой флажками обозначалась меняющаяся дислокация банд с указанием числа сабель в каждой из них. Таким образом мы имели возможность наглядно видеть, как шла ликвидация банд в течение недели.

Много мы слышали на этих совещаниях и трагического. Орудовавшие у нас банды были хорошо вооружены и в основном состояли из белогвардейских офицеров, казаков, не успевших удрать за границу. Они собирали под свои знамена все враждебные и недовольные советской властью силы. Их охотно поддерживали кулаки, купцы, зажиточная часть казачества.

Бандитизм носил ярко выраженный политический характер. Бандиты убивали местных руководителей советской власти, беспощадно расправлялись с коммунистами и беспартийными активистами, поджигали здания советских учреждений и терроризировали их работников.

Деревня, истосковавшаяся по самому элементарному порядку, в подавляющем своем большинстве постепенно

становилась враждебной всем этим бандам. Из банд стали уходить крестьяне и казаки, заблуждавшиеся или обманутые главарями бандитских шаек. Крупные банды стали распадаться на более мелкие. Было уже немало случаев, когда отдельные банды целиком разоружались и переходили на нашу сторону.

Мы призвали руководителей местных партийных организаций приостановить конфискацию имущества добровольно сдающихся бандитов, вернуть им то имущество, которое еще не распределено, и позаботиться о возвращении ранее отобранной земли и наделении новой, не задевая при этом интересов тех крестьян, которые получили земли бандитов и имеют на них посевы. Разумеется, все это они должны были проводить, имея в виду лишь одну цель – искренно сдавшихся бандитов не толкать обратно в бандитизм из-за невозможности наладить свое хозяйство.

К концу 1922 г. политический бандитизм в крае был в основном ликвидирован. В деревнях как русских, так и национальных областей жить стало намного спокойнее, и крестьяне, собрав в том году хороший урожай, начали более энергично восстанавливать свое хозяйство.

Для нас стало ясно, что такую большую прослойку казачьего крестьянства нельзя держать в изоляции от советской власти, что только вовлечение трудовых масс в советское строительство сломит реакционное, антисоветское настроение верхушки казачества, приблизит его к советской власти.

Для этого надо было пойти на ряд уступок, вполне совместимых с принципами советской власти. Прежде всего надо было включить при выборах представителей казачества в станичные Советы и другие органы советской власти вплоть до области. Удалось добиться места казака – заместителя председателя в области и др. Это встречало сопротивление со стороны актива иногородних, потому что им пришлось потесниться, чтобы уступить места казакам. Но это было правильно, а главное – необходимо.

Во время поездок в станицы, встреч и бесед со старыми казаками и молодежью я старался узнать их обычаи и традиции, причины их недовольства. И у меня сложилась программа уступок, связанных с их обычаями. Без учета этого было бы трудно доказать казакам, что они такие же равноправные граждане, как и другие народы.

Горцы, например, приезжали в Ростов в черкесках, в папахе, с серебряным поясом на узкой талии, с кинжалом, иногда серебряным, с револьвером или шашкой и так ходили по улицам Ростова. Казаки же были лишены этого права, что было им очень

обидно. Наконец, казаки даже кубанки носить стеснялись, хотя эти кубанки были похожи на меховые шапки горцев. На первомайских и октябрьских праздниках казачья молодежь не участвовала в демонстрациях, это ее не интересовало, а популярная среди казаков джигитовка не применялась. Стало ясно, что надо казакам разрешить носить кинжалы, реабилитировать шапку-кубанку и джигитовку.

На одном большом митинге я стал с некоторым юмором по этому поводу высказываться откровенно. Я сказал: «Казаки недовольны тем, что их лишили возможности носить кинжалы. Вначале это было правильно, так как казачество в основном было против советской власти, а теперь положение другое – пусть носят себе на здоровье, только соседа в бок не пыряют».

Тогда же я сказал, что считаю неправильным пренебрежительное отношение к кубанке – она гораздо лучше кепки хотя бы потому, что кепка английского происхождения. «Я считаю, – говорил я, – что нам можно брать у англичан йоркширских свиней, но зачем менять кубанку на английскую кепку – непонятно».

В беседах выяснилось, что молодежь готова участвовать в революционных празднествах, но им скучно ходить пешком мимо трибун. Вот если бы им разрешили в казачьей форме да на конях джигитовать мимо трибун – это другое дело. «Так давайте пойдем по этому пути! – говорил я. – И наконец, нехорошо, что казаки не выдвигают своих представителей в советские органы власти. Сейчас пора принять меры, чтобы представители трудового казачества были избраны в станичные советы».

Законно обижало казачество и то, что в станицах иногородние взяли принятое в России название «сельсовет» вместо станичного Совета. Естественнее было пойти навстречу казакам и устранить эту часть перегородок между ними и советской властью.

Мое выступление вызвало, особенно у молодежи, бурное одобрение.

Сам в ту пору человек совсем еще молодой – мне не было и 27 лет, – не успевший позабыть свою юность, я любил встречаться с молодежью, с комсомольцами, понимая большое значение комсомола в деле воспитания подрастающего поколения. В условиях нашего многонационального крестьянского края комсомол играл особую роль. В ряде районов, в первую очередь национальных, коммунистов было тогда еще очень мало. Партийных ячеек насчитывались единицы. Комсомольцев же было гораздо больше. В Чечне, например, их было больше четырех сотен, а коммунистов – единицы.

Комсомольцы выступали активными пропагандистами идей нашей партии и декретов советского правительства. Они были повсеместно застрельщиками массовых субботников и воскресников. Среди них было немало толковых и смелых селькоров и рабкоров, организаторов бедноты, инициаторов борьбы с неграмотностью и многих других хороших дел. Я не говорю уж о том, какую огромную роль сыграли наши комсомольцы в вовлечении в общественную жизнь девушек из нацменьшинств, что в наших условиях было тогда особенно трудным делом. Словом, во всех делах комсомольцы были нашими верными и надежными помощниками. Признанным лидером их был Саша Мильчаков.

Я был очень обрадован, когда впоследствии, в 1928 г., Мильчакова избрали Генеральным секретарем ЦК Ленинского комсомола.

Скончался он в 1973 г., пережив в тюрьмах и лагерях сталинские репрессии. С чувством величайшей скорби проводили мы его в последний путь.

Наше бюро очень беспокоило положение в Горской республике. Эта республика, как несколько ранее и Дагестанская, была провозглашена на съезде народов Терской области с участием наркома по делам национальностей Сталина в ноябре 1920 г. Декреты ВЦИК об образовании этих двух республик были опубликованы 20 января 1921 г.

Горская республика объединила большую группу северо-кавказских горских народов: чеченцев, ингушей, кабардинцев, осетин, балкарцев, карачаевцев, а также часть станиц терских казаков. Народы эти были очень разные, среди некоторых из них еще сохранилась национальная рознь.

Постепенно из Горской республики стали выделяться самостоятельные автономные национальные области.

Еще до моего приезда на Северный Кавказ получила автономию Кабардинская область, которая в начале 1922 г. объединилась с Балкарской областью в Кабардино-Балкарскую автономную область (в 1936 г. она стала Автономной Советской Социалистической Республикой в составе РСФСР). В том же 1922 г. была образована и автономная Карачаево-Черкесская область.

Беспокойство бюро вызывали споры вокруг вопроса о том, какой город должен стать центром Кабардино-Балкарской области. Председателем исполкома Совета этой области был тогда один из популярнейших деятелей Кабардино-Балкарии Бетал Калмыков, личность очень примечательная. Уже при

первом нашем знакомстве Бетал сообщил, что он поставил вопрос во ВЦИК о том, чтобы передать Пятигорск Кабардино-Балкарии, сделав его центром автономной области. В то время Нальчик, считавшийся центром Кабардино-Балкарии, был по сути не городом, а большим селом.

Бетал сказал, что во ВЦИК обещали поддержать это его предложение, и просил об этом же меня. Я ответил ему сразу и прямо: «Считаю это нецелесообразным. В Пятигорске живет в основном русское население; это всероссийский курорт со своими нуждами. Если руководство Кабардино-Балкарии будет находиться в Пятигорске, ему придется много хлопотать о курорте, а следовательно, нужды кабардино-балкарского народа могут отойти на второй план. Нальчик же географически расположен в центре автономной области, что само по себе очень важно».

Но Бетал свыкся со своей идеей и был глубоко разочарован моим ответом.

Выделение этих двух областей из Горской республики было абсолютно правильным. У кабардинцев и балкарцев было мало общего с оставшимися в Горской республике народами, разве только принадлежность к мусульманской религии да горный характер территории, на которой они жили. Языки у них были разные. Географическое положение и экономика связывали их не с Владикавказом – центром Горской республики, – а с Пятигорском и Кисловодском. На базарах именно этих двух городов сбывалась вся их сельскохозяйственная продукция; здесь же они покупали все нужные им товары. Кабардинцы и балкарцы встречались и вообще общались между собой главным образом на базарах Пятигорска, а карачаевцы – в Кисловодске.

Не имели тяготения к Владикавказу и чеченцы. Экономически они крепко привязаны к Грозному, к его базару, где они общались между собой и совершали все нужные им торговые операции.

Чеченцы – самая большая по численности национальность среди горских народов Северного Кавказа. По уровню же своего развития Чечня была в то время, пожалуй, наиболее отсталой среди них. В чеченских аулах господствовал патриархально-родовой быт с непререкаемой властью духовенства и племенных вождей, между которыми шли бесконечные распри.

Если не считать нескольких открытых при советской власти школ в равнинной Чечне, остальные немногочисленные школы были религиозные, мусульманские, с преподаванием на малопонятном для чеченцев арабском языке. Чеченский народ не имел своей письменности. В 1920 г. среди чеченцев было менее

одного процента грамотных. Судебные дела вершились духовными лицами в шариатских судах с унаследованными со времен Средневековья нормами мусульманского церковного права – шариата. Других – народных или государственных – судов в Чечне не было.

Положение в Чечне было тогда очень напряженным. Там орудовали остатки антисоветских элементов, которые провоцировали чеченцев на выступления против советской власти, организовывали банды, нападавшие на предместья Грозного, на нефтепромыслы, железнодорожные станции и поезда. Были случаи убийств советских работников в чеченских селениях. Многие из этих банд продолжали действовать в Чечне и после того, как в нашем крае с бандитизмом было в основном покончено.

Сохранилась запись выступления первого председателя Чеченского ревкома Таштемира Эльдерханова о положении в Чечне в те времена. В ней сообщалось, что ко времени образования автономной Чечни на всей ее территории отсутствовала не только твердая власть, но и вообще какая бы то ни было советская власть. Бандитские шайки не только не давали покоя в самой Чечне, но и нападали на казачьи станицы. Были нападения на транспорт, на железные дороги.

Терпеть такое положение дальше было невозможно. Да и из самой Чечни, от ее наиболее активных партийных и беспартийных товарищей, в особенности от комсомольцев, все настоятельнее поступали просьбы укрепить у них власть, предоставить им автономию.

В это время я специально раза три встречался с Дзержинским, который пристально следил за ходом борьбы с контрреволюцией на Северном Кавказе. Он был очень встревожен деятельностью северо-кавказских казаческих банд и банд в Чечне.

В беседах с Дзержинским я говорил ему, что причиной напряженного положения в Чечне является отсутствие там настоящей советской работы. Горская республика с этим не справляется. Необходимо создать Чеченскую национальную автономию во главе с самими чеченцами, и тогда обстановка в Чечне несколько разрядится. Дзержинский поддержал нас.

Будучи в Москве, я посоветовался со Сталиным. Он отнесся к идее одобрительно, предупредил о необходимости проявить осторожность и выяснить подлинное настроение населения.

В октябре 1922 г. ЦК партии создал комиссию по чеченскому вопросу. В нее вошли Ворошилов, Киров, работавший тогда секретарем ЦК Азербайджана, и я.

Комиссия работала во Владикавказе и выезжала на места,

знакомилась с фактическим положением дел. В ее работе принимали участие руководящие работники Горской республики: секретарь обкома партии Гикало (чеченец), председатель ЦИК Зязиков (ингуш), предсовнаркома Мамсуров (осетин), Эльдерханов (чеченец) и другие.

После всестороннего обсуждения результатов своей работы комиссия вошла в ЦК партии с предложением о выделении Чечни из состава Горской АССР в автономную область с пребыванием ее руководящих органов в Грозном. Однако Грозный решено было в состав автономной Чечни не включать. Он по-прежнему должен был оставаться самостоятельной административной единицей с непосредственным подчинением не ЦК Горреспублики, а ВЦИК и краевому центру.

В установленном комиссией составе Чеченского ревкома было семь беспартийных и шесть коммунистов. Беспартийные чеченцы были тесно связаны с разными районами Чечни и пользовались у населения большим доверием. А это было главным для успеха работы ревкома Чечни. На ревком была возложена вся ответственность за правопорядок в Чечне, а также за ликвидацию нападений чеченцев на нефтепромыслы и железные дороги, на красноармейцев и учителей казачьих станиц.

В первой половине ноября 1922 г. все предложения комиссии были рассмотрены и в основном одобрены на заседании секретариата ЦК партии, и 30 ноября 1922 г. ВЦИК принял декрет об образовании автономной Чеченской области.

После образования автономии положение в Чечне стало несколько улучшаться, но кардинальному улучшению обстановки мешало отсутствие спаянности в работе членов ревкома Чечни. Наоборот, каждый был сам по себе, а многие из них были настроены против председателя ревкома Эльдерханова, насаждали в аппарат управления родственников, знакомых, своих сторонников.

Правда были и некоторые успехи: улучшилась культурная работа. Через год в Чечне училось уже 1500 человек, началась работа по землеустройству, строительству небольших мостов, открывались врачебные и фельдшерские пункты. Были организованы органы чеченской госторговли. Чеченцы стали безбоязненно ездить в город Грозный торговать на базаре. Удалось устроить на работу на промыслах около 800 чеченцев (до этого чеченцев там не было совсем). Несколько чеченцев было принято в состав городской милиции.

Примерно через год после провозглашения автономии Чечни мне вновь пришлось побывать в Грозном, чтобы подвести итоги со всеми членами ревкома и областного партийного бюро. В этот раз

удалось остановить разлад между ними. Выяснилось, что трудности в организации местных Советов и связи с ними заключались в том, что все делопроизводство здесь до этого велось на русском языке, а хорошо знающих русский язык интеллигентов в Чечне было очень мало, во всяком случае, не хватало для того, чтобы занимать административные посты в советских органах. Другая часть интеллигенции знала арабскую школу, и духовенство настаивало на том, чтобы делопроизводство и культурная работа в Чечне проводились на арабском языке, который знали мусульмане. Однако подавляющая часть населения не знала ни арабского, ни русского языка. Вот почему мы добивались издания учебников на чеченском языке и организации курсов обучения чеченской письменности. Это дало свои плоды.

Другая проблема была в том, что чеченскому руководству не хватало денег, чтобы удовлетворить большие потребности в строительстве школ, дорог, не говоря уже о содержании управленческого аппарата. Ревком Чечни никаких денег от промышленности Грозного не получал. Этот город ему не подчинялся. Многие чеченцы рассматривали Грозный как чужеродное тело. Из краевых средств ревкому выделяли дотации, но они были невелики. В самой Чечне никакой промышленности не было. Кооперация была еще очень слаба.

Думая о том, как заинтересовать чеченцев в успешной работе промыслов Грозного и тем обеспечить источник доходов для ревкома Чечни, после совета с членами ревкома и Эльдерхановым я отправился в Москву.

В Москве в ЦК партии и правительстве я рассказал, что многие чеченцы рассматривают Грозный как чужой город, поэтому грабежи, совершаемые бандитами в нем, не вызывают у чеченцев осуждения; многие бандиты всем известны, они свободно разгуливают по деревням как храбрецы, а их бандитские налеты расцениваются как удальство. Дело с места не сдвинется, пока сам чеченский народ и чеченские советские органы не начнут борьбу с бандитизмом. Я поставил вопрос о том, что нужно как-то материально заинтересовать чеченцев и поставить в зависимость чеченский бюджет от успехов работы грозненской нефтяной промышленности. Надо, чтобы Грозный вошел в состав Чеченской автономии.

Было решено отчислять в пользу чеченского ревкома 3 рубля с каждого пуда добытой в Грозном нефти. Более того, ущерб за грабежи, которые чеченцы совершают, предложено было покрывать из этих отчислений, чтобы ревком сам и почувствовал, что грабежи в первую очередь ударяют по его бюджету, и мог

теперь раскрыть чеченскому народу глаза на то, что бандиты грабят собственный бюджет автономной области – источник доходов населения и средств, идущих на строительство школ, дорог, больниц и пр.

Действительно, эта мера дала хорошие результаты. Члены ревкома ездили по районам, приводили фактические суммы, которые уходили из бюджета на покрытие ущерба от грабежей. Это оказало серьезное влияние. Доходы ревкома увеличились, его влияние укрепилось, и к борьбе с бандитами удалось привлечь само чеченское население. Грабежи в Грозном почти прекратились. Это было большим достижением в оздоровлении обстановки в Чечне и Грозном.

Однако нападения на железные дороги еще продолжались.

Хорошие результаты здесь дал такой эксперимент. Было ясно, что чеченцы знают, кто занимается грабежами, потому что награбленное привозилось в чеченскую деревню. Мы, посоветовавшись с местными жителями, решили пригласить для беседы одного видного главаря из бывших бандитов, явившегося в ревком с повинной (мы в таком случае полностью амнистировали человека за прежние дела и предоставляли ему полные гражданские права). Разрешили ему набрать людей и возглавить охрану железной дороги. Всем этим людям мы обязались выплачивать зарплату, предоставить бесплатный проезд по железной дороге на территории Чечни и обеспечить содействие железнодорожной милиции. Эксперимент удался. Грабежи на железной дороге прекратились.

Когда я приехал в Грозный, он представился мне – подтянутый, с шашкой, кинжалом и револьвером, взял под козырек и на ломаном русском доложил, что на дорогах полный порядок. Я его похвалил, поблагодарил. Он был очень доволен. Помню, наши чекисты были против этого мероприятия, боялись обмана с его стороны, но он не подвел меня.

Все эти меры оказались достаточными. К концу 1924 – началу 1925 г. в Чечне наступило успокоение.

Однако в 1925 г. Дзержинский специально пригласил меня к себе по вопросу о Чечне. Он рассказал мне, что Пилсудский, являясь инструментом в руках Антанты, активизируется против нас, хочет иметь союз с Прибалтийскими государствами и через год-два начать военные действия против Советского Союза. Наши противники могут напасть на железную дорогу и отрезать нас от Баку – основного центра получения нефтепродуктов. Хотя Чечня и успокоилась, она вооружена. В свое время чеченцы отобрали оружие у тех войск, которые неорганизованно уходили с турецкого фронта.

Чтобы быть полностью спокойными, сказал он, нужно произвести разоружение Чечни. Я согласился с Дзержинским и сказал: «Пожалуйста, поставьте этот вопрос. Мы возражать не будем». Он высказал опасение, что правительство, и особенно Рыков, провалит это предложение. Меня это несколько удивило. Я не совсем знал отношения между Дзержинским и Рыковым и не знал, что у Рыкова особая позиция. Дзержинский сказал: «Вы сами поставьте вопрос, но сперва переговорите со Сталиным».

Я встретился со Сталиным, который оказался в курсе дел и считал, что Дзержинский правильно ставит вопрос. «Чтобы Рыков не возражал, – сказал Сталин, – лучше ты пойди к нему, информируй его и заручись поддержкой».

С Рыковым у меня отношения были хорошие. В разговоре с ним, не ссылаясь на беседы с Дзержинским и Сталиным, рассказал об этом деле как о предложении крайкома партии. Я гарантировал ему, что разоружение Чечни произведем без осложнений, поскольку используем для этого армию – устроим военное обучение частей, братание с населением, культурные мероприятия. Затем власти организованно займутся разоружением в присутствии войск, которые отобьют охоту у кого-либо поднять оружие. Словом, я убедил Рыкова.

Сразу же позвонил Дзержинскому. Тот очень обрадовался. Мы внесли предложение в политбюро ЦК, и оно было одобрено.

Стояла весна 1925 г. Я приехал в Ростов, где вместе с командующим военным округом Уборевичем, начальником ОГПУ Евдокимовым, членом Военного совета округа Володиным и секретарем крайкома партии Гикало обсудили предстоящее мероприятие. Пригласили также начальника ОГПУ по Чечне.

Договорились направить в Чечню «на учения» две дивизии. В ходе учений предусматривались общение с населением, вечера самодеятельности, концерты, сближение с местной молодежью, что должно было еще больше укрепить доверие к советской власти. Причем договорились, что воинские части должны были охватить все районы Чечни, включая отдаленные районы в горах, где они раньше никогда не были, с тем чтобы к концу учений все пути сообщения между районами и окружными селами были перекрыты.

Организующие разоружение органы ОГПУ должны мобилизовать из других районов края большое число опытных чекистов, которые вместе с войсками предъявят каждому селу требование сдать все оружие в том количестве, которое было известно по агентурным данным. Условились, что отдельно пройдут собрания коммунистов, командиров дивизий и чекистских работников, чтобы было единство действий. Словом,

мы решили не торопиться, подготовиться тщательно, не спеша.

Наконец план во всех деталях был готов. В это время Сталин приехал в Сочи на отдых. Я поехал к нему, желая уговорить его выслушать товарищей, которые подготовили мероприятия. Он заинтересовался. Уборевич, сменивший Ворошилова на посту командующего округом, Евдокимов и я информировали его о полной готовности к выполнению плана разоружения Чечни.

Сталин выслушал внимательно и одобрил наши мероприятия. Через 5 или 6 дней Уборевич и Евдокимов должны были приступить к выполнению задания. Они въехали в Грозный, чтобы оттуда руководить операцией, а я – в Пятигорск, поближе к Грозному, приберегая свой авторитет на случай необходимого вмешательства, если начнутся осложнения. Все шло хорошо – движение войск проходило по плану, население было спокойно.

Наступил день начала операции. В один и тот же час представители органов безопасности вызвали к себе председателей Советов и других ответственных лиц и предъявили им требование в суточный срок сдать положенное количество оружия. Холодное оружие не предполагалось к изъятию.

В большинстве сел дело прошло удачно. Но в Урус-Мартане предъявили сотню винтовок и сказали: «Все!» Дали им еще 24 часа для сдачи оружия и пригрозили, если не сдадут, село будет обстреляно. На следующий день сдали еще несколько сотен винтовок. На наши возражения чеченцы ответили, что больше у них оружия нет, и навстречу войскам выставили женщин. Они хорошо знали, что по женщинам войска стрелять не будут. Мы дали указание ограничиться изъятым оружием. Где-то в горах такой случай повторился, но все кончилось без кровопролития.

Во время этой операции Евдокимов преследовал цель поймать имама Гоцинского. С начала Октябрьской революции он возглавил борьбу против советской власти в Чечне и Дагестане и объявил себя имамом Кавказа. Он был связан с турецкими, затем с английскими агентами, имел вооруженный отряд. Гоцинский скрывался в горах, меняя места своего расположения, и, чтобы поймать его, чекисты пригласили к себе из сел, где он мог скрываться, стариков и, объявив их заложниками, предупредили, что если они не скажут, где находится Гоцинский, то разрушат села артиллерией, а их арестуют и предадут суду. Целые сутки уговаривали стариков, но все было безрезультатно. Тогда в этот район прислали самолет. Они страшно боялись самолета. Только после того, как по селу выпустили несколько снарядов с тем, чтобы без разрушения домов жители почувствовали его силу, старики сказали, в каком ущелье скрывается Гоцинский. Там его и нашли.

Всего в ходе операции было изъято более 30 тыс. винтовок, более 10 пулеметов. Конечно, какое-то количество винтовок оставалось у чеченцев, но основная масса была изъята. Эта операция коренным образом очистила воздух Чечни. Активные сторонники советской власти стали смелее себя вести. Бывшие контрреволюционные элементы склонили головы и притихли. Это была блестящая операция без всякого кровопролития. Войска вернулись спокойно в свои казармы.

Глава 16
Выползаем из разрухи

В октябре 1922 г. состоялся очередной пленум ЦК партии. Одним из важных вопросов, обсуждавшихся на нем, был вопрос о монополии внешней торговли.

6 октября в отсутствие Ленина на пленуме обсуждался вопрос «О режиме внешней торговли». Главным докладчиком, как ни странно, был не нарком внешней торговли Красин, а нарком финансов Сокольников. Он и поддержавший его заместитель наркома внешней торговли Фрумкин заняли ликвидаторскую позицию по вопросу о монополии внешней торговли.

Пленум принял решение, которое по сравнению с решением Августовского пленума ЦК уходило еще дальше в сторону от монополии внешней торговли. В нем предусматривалось немедленное (хотя и с оговоркой «временно») предоставление свободы ввоза и вывоза отдельных категорий товаров и открытие некоторых портов для свободной торговли с внешним миром. Предполагалось открытие портов питерского и новороссийского.

Ленин узнал об этом лишь 11 октября, после получения письма Красина, адресованного в ЦК, в котором тот обращал внимание на принципиальную ошибочность принятого пленумом решения.

Сразу по получении письма Красина Ленин вызвал его для беседы. На следующий день он беседовал по этому вопросу со Сталиным. После повторной беседы с Красиным он пишет проект письма в ЦК и дает для ознакомления Красину. 13 октября Ленин дополняет свое письмо и направляет секретарю ЦК Сталину. В тот же день оно было разослано членам ЦК вместе с «Тезисами Наркомвнешторга о монополии внешней торговли», представленными Красиным.

Ленин считал, что решение Октябрьского пленума ЦК лишь на первый взгляд носит характер частичной реформы, но на самом деле это есть срыв монополии внешней торговли. Он подчеркнул, что вообще такой серьезный политический вопрос, как монополия внешней торговли, даже если бы был тщательно подготовлен – а этого требует большевистский стиль работы, – не должен выноситься на пленум ЦК без предварительного рассмотрения в политбюро. Он предлагает «отложить это решение до следующего пленума».

16 октября опросным голосованием члены ЦК, находившиеся тогда в Москве, поддержали предложение Ленина.

Голосуя за настоятельное предложение Ленина об отсрочке решения до следующего пленума, Сталин в письменной форме высказал тогда свое мнение по существу вопроса о монополии внешней торговли: «Письмо тов. Ленина не разубедило меня в правильности решения пленума Цека от 6/X о внешней торговле. Тем не менее, ввиду настоятельного предложения т. Ленина об отсрочке решения пленума Цека исполнением, я голосую за отсрочку с тем, чтобы вопрос был вновь поставлен на обсуждение следующего пленума с участием т. Ленина».

Создалось исключительно напряженное положение. Крайне редко, но бывало и раньше, что на какой-то момент Ленин оставался в ЦК в меньшинстве. Поэтому он готовился к острой и принципиальной борьбе. В случае неудачи на пленуме он готов был перенести этот вопрос на обсуждение и решение съезда партии – сдавать свои принципиальные позиции Ленин не собирался. «…Я буду воевать на пленуме за монополию, – писал он в те дни. – Это такой коренной вопрос, из-за которого безусловно можно и должно побороться на партийном съезде».

13 декабря 1922 г., за несколько дней до открытия пленума ЦК, Ленин пишет для него подробное, глубоко аргументированное письмо «О монополии внешней торговли». Под ударами неотразимой логики и убежденности Ленина «фронт» противников монополии внешней торговли начал давать трещины, а вскоре и вообще развалился.

Пленум ЦК 18 декабря принял решение о составлении особого списка всероссийских и областных хозяйственных органов, которым предоставлялось право выхода на внешний рынок. Но все внешнеторговые операции, совершаемые хозорганами, даже и входящими в этот особый список, должны были осуществляться под контролем Наркомвнешторга, которому предоставлялось право запрещения любой сделки. Ленин был вполне удовлетворен таким решением.

Подходил к концу 1922 г. Постепенно выбиралась из разрухи промышленность. Ее подъему способствовало то обстоятельство, что у нас в крае преобладала тогда не тяжелая, а легкая индустрия, которая, находясь вблизи от источников сырья, при хорошем урожае стала подниматься довольно быстро; исключение составляли лишь отдельные промышленные предприятия: Кавцинк под Владикавказом, цементные заводы в Новороссийске и некоторые металлообрабатывающие предприятия.

В своем письме в ЦК, написанном 10 января 1923 г., я писал, что настроение рабочих на Юго-Востоке, как и по всей России, с каждым днем улучшается, поскольку их быт также ощущает

большие улучшения. Забастовок, имеющих какое-либо значение, за эти месяцы не было. Безработных в крае насчитывается около 23 тыс., из них квалифицированных – около 50 %, женщин – 55 %, чернорабочих – 16 и совработников – 27 %.

В последнее время, сообщал я в ЦК, на Кубани, в Ростове и ряде других мест мы приступили к организации общественных работ, а также к вовлечению безработных в специальные производственные артели.

Нездоровые настроения были среди красноармейцев, демобилизуемых из армии, так как красноармейцы возвращались домой в крайне изношенной одежде. Естественно, это очень их обижало и даже озлобляло. Пришлось вмешаться. По нашей рекомендации командование округа пошло на нарушение установленного порядка и стало отпускать красноармейцев в хорошем обмундировании. «Самовольство» нам тогда сошло с рук.

Перевыборы Советов привели к укреплению советской власти в деревне и в национальных районах. Даже в тех казачьих и горских районах, где мы могли отказаться от существовавшей тогда временной системы ревкомов, выборы в Советы дали положительные результаты.

В связи с этим припоминается один инцидент.

В ряде национальных областей нашего края в борьбе с Деникиным наряду с красными партизанами приняли участие и некоторые муллы. Однако, по Конституции РСФСР, муллы, как и вообще все служители культов, не имели избирательных прав, и это вызвало среди них серьезные волнения.

В Кабарде, например, группа мулл, активно участвовавших в партизанской борьбе, подала заявление, в котором задавала вопрос: почему они, боровшиеся с оружием в руках за советскую власть, не могут выбирать и быть избранными в Совет? «Лишая нас этого права, – писали муллы, – советская власть вместо поддержки нас, как своих сторонников и борцов, высмеивает и дискредитирует в глазах всех тех, кто всегда был против Советов и выступал за контрреволюцию».

Эта претензия была справедлива и разумна, хотя формально она и расходилась с требованиями Конституции. Поэтому на свой страх и риск мы дали на места указание не препятствовать выдвижению и выборам в Советы тех мулл, которые активно проявили себя в борьбе с белогвардейщиной, если, конечно, в каждом отдельном случае будут приняты соответствующие решения общих собраний избирателей.

Немаловажное место в нашей работе мы отводили сбору денежных налогов. Мы решили изучить этот вопрос и сразу же

столкнулись с большими непорядками в организации работы местных финансовых органов. Наряду с фактами плохой, недобросовестной работы мы установили, что в ряде мест допускаются непомерно большие расходы на содержание аппарата, занятого сбором налогов. Пришлось всерьез заняться улучшением работы финорганов.

Кроме того, пришлось объявить самую беспощадную борьбу волостным исполкомам, которые, собрав денежные налоги, не слишком торопились расставаться с ними, долго держали их у себя, используя в местном коммерческом обороте, и сдавали в кассу финорганов нередко уже обесцененными.

До второй половины 1922 г., то есть до нового хорошего урожая, несмотря на большое сокращение бюджетных расходов, происходило падение покупательной способности советских денежных знаков, но печатание бумажных денег продолжалось: они были нужны для покрытия расходов на содержание армии, железнодорожного транспорта и государственного аппарата, хотя и сильно сокращенного. Месячное жалованье рабочих и служащих стало тогда доходить до астрономических цифр в несколько миллионов рублей. Фабрично-заводской рабочий, например, получал в январе 1922 г. в среднем около 3,5 млн рублей.

В октябре 1922 г. советское правительство приняло постановление о выпуске в обращение денежных знаков образца 1923 г. Согласно этому постановлению, подписанному Лениным, один рубль образца 1923 г. приравнивался к одному миллиону рублей изъятых из обращения образцов или к ста рублям образца 1922 г. («реформа Сокольникова»).

1922 г. вообще стал первым годом после революции, когда не только были удовлетворены внутренние потребности в хлебе, но и начался экспорт его в значительных количествах. Это было очень важным событием в жизни Советской страны. С голодом в стране было покончено. Речь шла о борьбе с его последствиями. Мы перестали расходовать золото на закупку хлеба за границей, экспорт хлеба стал постепенно довольно крупным источником поступления валюты, так необходимой нам тогда для восстановления промышленности.

В результате успешно проведенной хлебозаготовительной кампании наш край наряду с Украиной становился важной базой экспорта хлеба.

Много внимания было нами уделено созданию технической базы для приема и хранения зерна. Именно в ту пору мы развернули широкое строительство небольших деревянных элеваторов стандартного типа, сыгравших тогда большую роль. Получаемая за хлеб валюта использовалась в интересах

ускоренного восстановления народного хозяйства. Мы впервые стали покупать за границей тракторы, особенно необходимые нашему краю. Ведь скольких коней унесли две войны в наших казачьих районах, где чуть ли не каждый казак служил в кавалерии со своим конем!

Первая партия в десять тракторов типа «Фордзон» поступила к нам из Америки в Новороссийский порт ранней весной 1923 г. Вместе с этой партией приехал ставший позднее известным американский бизнесмен Арманд Хаммер как представитель фирмы Форда. С ним я тогда встретился в Ростове.

Доктор Арманд Хаммер личность довольно примечательная. Первым среди американских бизнесменов он вступил в деловые контакты с нашей молодой Советской республикой, приезжал в Москву, встречался и переписывался с В.И. Лениным.

Должен признаться, что до этого я не видел «живого» трактора. Это и понятно, если учесть, что массовое производство тракторов даже в США началось только в 1917 г. Помню, мы решили тогда посмотреть на поле под Ростовом, как работает такой трактор, насколько он подходит для наших условий. На этом просмотре присутствовал и Хаммер. Трактор нам очень, конечно, понравился. Мы все удивлялись, какая же это могучая машина, хотя в действительности мощность трактора равнялась всего 10 л. с. Но по тем временам это поражало.

Получив в том же году первую партию тракторов, мы решили единоличным хозяйствам их не продавать, а создать особые машинные товарищества, которые бы за умеренную плату обрабатывали тракторами земли безлошадных хозяйств, и в первую очередь кооперативные хозяйства бывших красноармейцев и сельской бедноты.

В то время советское правительство в соответствии с решением X Всероссийского съезда Советов начало осуществлять систему государственного кредитования сельского хозяйства. Был создан Всероссийский сельхозбанк с филиалами на местах. Такой краевой филиал – ЮВсельбанк – был организован и у нас в Ростове во главе с присланным из Москвы опытным и знающим дело работником Изюмовым. Алексей Сергеевич Изюмов хорошо знал вопросы сельскохозяйственной кооперации. Он понравился мне и как отличный работник, преданный делу нашей партии, и просто как очень хороший человек. Потом мы подружились семьями: жены наши продолжали встречаться до конца их жизни. Наша последняя встреча с Алексеем Сергеевичем состоялась незадолго до его смерти: умер он в апреле 1973 г.

На первых порах мы получили из центра для организации в крае сельскохозяйственного кредита более 1,5 млн рублей (в

золотом исчислении), которые были использованы главным образом для покупки новых тракторов и молотилок. С организацией ЮВсельбанка развитие сельскохозяйственной кооперации у нас в крае заметно усилилось.

Много внимания уделяли мы работе с женщинами-крестьянками, особенно в национальных районах. Одним из первых решений Югвостбюро (еще в июле 1922 г.) было создание в его составе отдела по работе с женщинами. Нам хотелось, чтобы этот отдел, во главе которого стояла энергичная коммунистка Цырлина, искал лучшие формы работы среди женщин. Для нашего края это было очень важно. Мы проводили специальные конференции женщин-крестьянок. В августе у нас прошел даже краевой съезд мусульманок, к его организации были привлечены все русские коммунистки, которых, к сожалению, у нас было еще очень мало.

Нам мешал тогда очень низкий общеобразовательный и политический уровень многих коммунистов. Около 90 % коммунистов, работавших в национальных областях, были неграмотными и политически плохо подготовленными. Даже в русских областях были неграмотные коммунисты.

Помню, как много сил и времени отнимали у нас всевозможные «драчки», имевшие место во многих губерниях. Нередко в этих склоках, помимо прочего, немалую роль играли национальные противоречия, что в условиях нашего многонационального края было особенно опасно.

Югвостбюро боролось со всеми этими болезненными явлениями в нашей жизни. Борьба велась разными путями, но главным было воспитание и убеждение людей. Отдельных работников мы переводили с одного места на другое (с профсоюзной работы на хозяйственную и наоборот); благодаря такой «смене атмосферы» нам удавалось, не теряя людей, добиваться желаемых результатов.

Глава 17
Образование СССР. Смерть Ленина

30 декабря 1922 г. является знаменательной исторической датой, заложившей фундамент Союза Советских Социалистических Республик.

Многие месяцы шла кропотливая работа по выработке форм и основ объединения разрозненных до того советских республик. Центральный Комитет партии в октябре 1922 г. единодушно принял ленинское предложение. Оно заключалось в том, чтобы не вовлекать другие республики в состав РСФСР, а, наоборот, создать новое союзное государство, в которое вошли бы на равных правах все четыре существовавшие тогда советские республики: Российская Федерация, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация, включавшая в себя Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую советские республики.

На состоявшихся на местах в республиках партийных конференциях, пленумах ЦК обсуждались принципы и основы нового государственного образования. Вопрос этот согласовывался с республиками в предварительном порядке, и было достигнуто полное согласие по вопросам, связанным с образованием СССР.

Вечером 23 декабря 1922 г. в Большом театре собрался X Всероссийский съезд Советов. Я был его делегатом от Кубано-Черноморской области. На съезд прибыло свыше двух тысяч делегатов с решающим и совещательным голосами. Здесь впервые находились делегаты с Дальнего Востока, откуда недавно был изгнан последний интервент.

Все мы с нетерпением ждали выступления Ленина. Но врачи категорически запретили ему выступать. Съезд открыл Калинин. С докладом об образовании Союза ССР выступил Сталин.

Сталин огласил проект резолюции, одобренный Президиумом ВЦИК и включающий те положения, которые были приняты съездами других республик: добровольность и равноправие республик с сохранением за каждой из них права свободного выхода из Союза и полное обеспечение интересов национального развития народов договаривающихся республик.

27 декабря 1922 г. X Всероссийский съезд Советов единодушно принял предложенное Президиумом ВЦИК постановление об образовании СССР.

29 декабря в Москве собралась конференция полномочных делегаций Российской Федерации, Украины, Белоруссии и

Закавказской Федерации. Они обсудили и одобрили проекты Декларации и Договора об образовании СССР, а также порядок работы I Всесоюзного съезда Советов.

30 декабря 1922 г. в Большом театре в Москве I Всесоюзный съезд Советов провозгласил образование Союза Советских Социалистических Республик – СССР.

Съезд избрал верховный орган Союза СССР – Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР, в состав которого вошел 371 депутат от всех объединившихся республик. Среди избранных членов ЦИК СССР 16 человек представляли Северо-Кавказский край, в том числе Ворошилов, Буденный, Коркмасов, Мамсуров, Аболин, Калмыков, Курджиев, Патрикеев, Хакурате, Эльдерханов и я. На состоявшейся тут же первой сессии ЦИК были избраны четыре его председателя (по числу объединившихся союзных республик, как и предлагал сделать Ленин): М.И. Калинин (РСФСР), Г.И. Петровский (УССР), Н.Н. Нариманов (ЗСФСР) и А.Г. Червяков (БССР).

Ленин в письме «К вопросу о национальностях или об «автономизации» подчеркивал особенности национализма бывшей господствующей нации и бывшей угнетенной нации. Он писал: «Нужно не только формальное равенство. Для этого нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» нации».

Само собой разумеется, такая диалектическая постановка вопроса вовсе не означала, что с коммунистов малых наций снимается обязанность воспитывать свой народ в духе интернационализма, дружбы и братства народов многонациональной страны, бороться с любыми проявлениями местного национализма.

Следуя этим ленинским указаниям, русский народ сделал очень многое для того, чтобы помочь отсталым малым народам быстрыми темпами достичь тех высот экономического и культурного расцвета, свидетелями которого мы все являемся.

Мне посчастливилось принимать непосредственное участие в практической работе высших руководящих органов СССР на протяжении пятидесяти лет. Я был участником всех всесоюзных съездов Советов, а также сессий его Центрального Исполнительного комитета и Верховного Совета всех созывов. Смело могу сказать, что не было, вероятно, большего счастья для политика, чем от съезда к съезду, от одной сессии к другой воочию видеть, как неуклонно происходил все эти полвека исторический процесс развития нашей великой

многонациональной Родины.

Могу засвидетельствовать, что за все годы существования Советского Союза, несмотря на разное соотношение числа представителей от республик и областей в Совете национальностей, ни в ЦИК, ни позже в Верховном Совете СССР ни по одному вопросу не возникало никаких серьезных конфликтов как между национальными республиками, так и между РСФСР и остальными республиками.

Год от года, несмотря на все трудности, и прежде всего тяготы пережитой Отечественной войны, расцветали наши советские национальные социалистические республики, поднимались к новой жизни ранее отсталые, угнетенные и заброшенные царские окраины, развивалась и крепла братская дружба между всеми нашими народами.

Второй год осуществления нэпа хотя и привел к значительным хозяйственным успехам, на деле подтвердив правильность этой политики, в то же время обнаружил у нас и серьезные социально-экономические противоречия.

Вопросы промышленности, национальной, налоговой политики и другие предстояло рассмотреть XII съезду партии. Политбюро утвердило повестку дня съезда и поручило Ленину выступить на съезде с политическим отчетом ЦК.

Но вскоре после этого стало ясно, что состояние здоровья Ленина не позволит ему в марте принять участие в работе съезда. Поэтому было решено перенести съезд на середину апреля.

6 марта в состоянии здоровья Ленина произошло резкое ухудшение, а 10 марта новый сильный приступ болезни привел к потере речи.

Каждый из нас еще острее почувствовал тяжесть момента и свою особую личную ответственность за судьбы революции, за единство партии.

ЦК всячески оттягивал опубликование тезисов, надеясь предварительно обсудить их с Лениным: такую возможность не исключали и врачи, лечившие Ленина. Но Владимир Ильич так и не смог просмотреть документы и материалы съезда.

XII съезд был первым после Октябрьской революции, в работе которого не участвовал Ленин. Открытие съезда состоялось 17 апреля 1923 г. в Большом Кремлевском дворце. Делегация от нашего края была довольно значительной – больше сорока человек: 27 делегатов с решающим и 14 с совещательным голосом.

В связи с болезнью Ленина ЦК поручил сделать политический отчет съезду Зиновьеву. В докладе подчеркивалась необходимость

усилить партийное руководство советской и хозяйственной работой: это вытекало из требований момента и соответствовало линии ЦК.

Обсуждение докладов проходило в атмосфере большой активности. Делегаты говорили смело, откровенно делились своими соображениями и сомнениями, вносили деловые предложения.

Большое место уделил XII съезд национальному вопросу. Мдивани, Махарадзе и Цинцадзе, выступая по отчету ЦК, посвятили свои речи критике линии ЦК и лично Сталина в отношении Грузии. Сильным атакам подвергли они работу и Заккрайкома партии, а также тогдашних его руководителей – Орджоникидзе и Орахелашвили, обвиняя их в неправильных методах руководства, в излишнем, мелочном вмешательстве в дела Грузинской компартии, в поспешных выводах, а иногда и грубости.

Орджоникидзе и Орахелашвили, в свою очередь, выступили на съезде с критикой деятельности Мдивани и его сторонников: те упорно сопротивлялись созданию Закавказской Федерации, настаивали на ее ликвидации. Защищая линию Закавказского крайкома, Орджоникидзе приводил яркие факты, свидетельствующие, что вмешательство крайкома в дела грузинских коммунистов было абсолютно необходимым.

Утром 18 апреля, на второй день съезда, ознакомившись с ленинским письмом «К вопросу о национальностях или «об автономизации», президиум съезда решил созвать после вечернего заседания Совет старейшин и зачитать там письмо; после этого члены президиума должны были огласить его по делегациям.

Делегатам съезда было сообщено, что президиум съезда принял единогласное решение не публиковать пока этого документа ввиду характера тех указаний, которые дал сам Владимир Ильич. Помню, что письмо Ленина произвело на меня поистине потрясающее впечатление. С каким огромным волнением оно было написано! Как резко и непримиримо поставил Ленин вопрос о борьбе с великодержавным шовинизмом!

На заседаниях съезда и особенно в секции по национальному вопросу, в работе которой я участвовал, большие споры возникли вокруг палаты национальностей ЦИК Союза. Особое предложение внесла украинская делегация. В защиту этого предложения горячо и аргументированно выступал Фрунзе. Основным в докладе Фрунзе считал обоснование идеи создания двухпалатной системы в ЦИК Союза ССР.

На заседании секции украинский делегат Скрыпник неожиданно внес предложение о переименовании нашей партии в связи с образованием СССР. Делегаты съезда не были к этому подготовлены. Орджоникидзе даже взорвался и возбужденно с места крикнул: «Пока из этого Союза не вышло крепкого организма, нам нечего торопиться. Менять название нет никакой надобности!» Видя, что обсуждение этого вопроса в данный момент вызовет ненужную перепалку, я внес предложение отложить его решение до XIII съезда партии. Это предложение было принято.

Особое внимание съезд уделил вопросу о налоговой политике в деревне. Продналог, введенный по инициативе Ленина, сыграл свою положительную роль и продолжал оставаться в основе нашей политики по отношению к крестьянству. Но с развитием экономики и первыми успехами в сельском хозяйстве выявилось много нерациональных сторон этого налога как для крестьянства, так и для государства в целом.

Но помимо продовольственного налога жизнь породила к тому времени много других местных налогов – гужевых, дорожных, областных, уездных, волостных и т. п., вызывавших справедливое недовольство крестьян. Поэтому ЦК внес на съезд предложение ликвидировать эту множественность налогов и ввести единый сельскохозяйственный налог, взимаемый как натурой, так и деньгами.

Хорошо запомнилось, как глубоко Калинин проанализировал наш государственный бюджет на 1923 г., приведя интересные сравнения с бюджетом царской России за 1913 г. Из этого выступления я впервые, например, узнал, что царский двор обходился народу в 16 млн рублей в год. «Нет у нас теперь расходов на церковь и духовенство, – заметил Михаил Иванович, – составлявших до революции 46 млн рублей золотом. Расходы высших государственных учреждений составляли тогда 8815 тыс. рублей. Соответствующие органы у нас, включая Госплан, расходуют 7754 тыс. рублей».

Все это было очень интересно и заставляло нас еще серьезнее задуматься над вопросами дальнейшего сокращения расходов в бюджете.

Для подготовки проекта резолюции по докладу о промышленности съезд создал комиссию из 25 человек, в числе которых был и я. Мы внесли с Чубарем, также входившим в эту комиссию, в проект резолюции дополнение о всемерном сокращении штатов торгового аппарата, его лишних представительств и т. п.

В связи с тем что Троцкий предлагал не финансировать

убыточно работающие предприятия, мы с Чубарем внесли в проект еще одну поправку: «Съезд, однако, обращает внимание ЦК на необходимость предусмотреть при этом в полной мере интересы тяжелой индустрии (минерального топлива и металлургии), дабы достигнутые в этих отраслях первые успехи, связанные с улучшенным их финансированием за последние месяцы, были во что бы то ни стало сохранены».

В защиту нашей поправки выступил Председатель ВСНХ Богданов. Против нее вновь энергично возражал Троцкий. При голосовании поправка была отклонена.

Еще об одном моем предложении на комиссии – указать в резолюции, что «хозяйственники распределяются под руководством партии», – Троцкий вообще умолчал, хотя это предложение вызвало на комиссии большие споры.

Съезд работал напряженно, с утра до позднего вечера. Шло всестороннее обсуждение вопросов на пленарных заседаниях, в секциях и комиссиях. Киров, работавший тогда в Баку, и я, бывшие до этого кандидатами в члены ЦК, на XII съезде были впервые избраны членами ЦК партии.

После съезда нам надо было на ходу с учетом директив съезда вносить соответствующие поправки, прежде всего в проведение очередной продкампании.

После всестороннего обсуждения этого вопроса на Югвостбюро была создана специальная краевая «продтройка» (Микоян, Эйсмонт, Пономаренко), которая тут же приступила к разработке плана продовольственной кампании. Мы хотели организовать сбор единого сельскохозяйственного налога без излишней напряженности и нервозности, в более спокойных темпах, без нажима и администрирования.

Предоставив в этом отношении значительно больше самостоятельности и инициативы местным организациям, мы в то же время обязали их принять все меры для ограждения интересов налогоплательщиков, избегать перегибов при обложении налогами и их взимании, лучше организовать технику их сборов, не допускать простаивания крестьян часами у ссыпных пунктов, как это нередко наблюдалось раньше.

К осени 1923 г. в экономике страны неожиданно возникли серьезные затруднения с дальнейшим сбытом промышленных товаров. Производство их для рынка настолько возросло, что не только покрыло платежеспособный спрос населения города и деревни, но и привело к образованию больших сверхнормативных запасов этих товаров на складах государственных, кооперативных и торговых организаций.

В этих трудностях сказались тогда недостатки и

планирования, и руководства государственной промышленностью, а также плохая организованность кооперации и слабость нашего торгового аппарата.

Промышленные и торговые организации, не желая расставаться с большими прибылями и быстрым ростом накоплений, не снижали установившиеся на рынке высокие цены на промтовары, хотя обстановка в стране настоятельно этого требовала и объективные возможности к тому были. В то же время на рынок продолжало поступать все больше и больше сельскохозяйственных продуктов, реализуемых там крестьянами по стихийно понижающимся ценам.

Образовался разрыв между высокими ценами на промышленные товары и низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию (так называемые «ножницы» цен), достигший осенью 1923 г. огромных размеров. Например, в 1913 г. крестьянин за пуд ржи имел возможность купить в среднем 5,7 аршина ситца, за пуд пшеницы – 8 аршин, а в 1923 г. он мог купить соответственно уже только 1,5 и 2,1 аршина ситца. И так почти по всей номенклатуре товаров. Это привело к тому, что крестьянство потеряло возможность покупать на рынке жизненно необходимые ему промтовары по доступным ценам. Тем самым нарушались условия нормальной хозяйственной смычки между городом и деревней.

С другой стороны, происходившее в связи с этим огромное затоваривание промышленной продукции отрицательно сказывалось на материальном положении и рабочих. Из-за постоянного недостатка наличных денег (что вызывалось отсутствием нормального товарооборота) рабочим нередко своевременно не выдавалась зарплата. Возникали трудовые конфликты, перераставшие порой в кратковременные забастовки.

Учитывая особую сложность вопроса и не желая решать его скоропалительно, без достаточно глубокого и всестороннего изучения, политбюро, а потом и пленум ЦК решили образовать специальную комиссию для выработки необходимых мероприятий по ликвидации образовавшегося расхождения цен на промышленные товары и сельскохозяйственные продукты (комиссия о так называемых «ножницах»), а также еще две комиссии – о заработной плате и о внутрипартийном положении.

Недавно, просматривая свой архив, я обнаружил записи своего выступления на активе Ростово-Нахичеванской парторганизации, в котором, говоря об истории нашей борьбы с оппозицией, я рассказал, между прочим, и о так называемом «пещерном» совещании Зиновьева.

После XII съезда, летом 1923 г., когда на горизонте партийной жизни еще не было никаких принципиальных разногласий, часть членов ЦК, находившихся в Кисловодске на лечении, устроила ряд собеседований, названных «пещерными» совещаниями. Я тогда находился в Закавказье и обо всем узнал из письма ко мне Ворошилова.

Эти члены ЦК по инициативе Зиновьева вызвали Ворошилова из Ростова и, забравшись в какую-то пещеру под Кисловодском, решили обсудить вопрос о руководстве партией. Зиновьев говорил, что в руках генерального секретаря ЦК Сталина сконцентрировалось много власти, необходимо реорганизовать секретариат ЦК, создав «политический секретариат» из трех человек – Сталина, Троцкого и Каменева (Зиновьева или Бухарина). На этом совещании почти все, за исключением Ворошилова, согласились с предложением Зиновьева.

Через несколько дней, воспользовавшись оказией – проездом Орджоникидзе из Тифлиса в Москву с остановкой в Кисловодске, – эта группа членов ЦК послала через Орджоникидзе письмо Сталину с изложением своих предложений.

Сталин заявил, что создание «политического секретариата» на деле есть упразднение политбюро, в результате чего партией фактически будет руководить «тройка». «Из этой платформы ничего не вышло, – говорил Сталин позднее, на XIV съезде партии, – не только потому, что она была в то время беспринципной, но и потому, что без указанных мной товарищей – Калинин, Томский, Молотов, Бухарин – руководить партией невозможно. На вопрос, заданный мне в письменной форме из недр Кисловодска, я ответил отрицательно, заявив, что, если товарищи настаивают, я готов очистить место без шума, без дискуссии, открытой или скрытой, и без требования гарантий прав меньшинства».

Когда некоторое время спустя мы, другие члены ЦК, не участвовавшие в «пещерном» совещании, узнали о проекте Зиновьева «политизировать» секретариат ЦК, игравший тогда почти что техническую роль, наша реакция на эту «реформу» была резко отрицательной.

Словом, «пещерное» совещание цели своей – ослабить роль Сталина – не достигло.

Чтобы избежать дальнейшего обострения внутрипартийной борьбы, было решено никакой дискуссии не проводить, а решать спорные вопросы в обычном, деловом, установленном партией порядке – то есть через созданные комиссии ЦК, политбюро, на

пленумах ЦК, на партийных конференциях или съездах партии.

Но от приезжавших из Москвы в Ростов товарищей я узнал, что там в вузах и некоторых учреждениях идет горячая дискуссия, в ходе которой происходят резкие нападки оппозиции на руководство партии.

Никакой информации от ЦК о начавшейся дискуссии мы еще не имели.

В последних числах ноября я выехал в Москву. Первый же день по приезде в Москву я провел на собраниях в Московском университете, куда мне посоветовали сходить, чтобы сразу окунуться в атмосферу начинающейся дискуссии.

С утра до позднего вечера, с небольшим перерывом, там происходили очень шумные и бурные, иногда беспорядочные выступления. Сидел я в последних рядах, намерения выступать у меня не было: хотелось побольше послушать и разобраться, о чем идет спор и как воспринимает студенческая аудитория все эти горячие высказывания. Сторонников линии ЦК среди выступавших было очень мало, и большинство выступало не на высоком уровне. Нападки же на линию партии были весьма резки. Я был удручен атмосферой, царившей на этих собраниях.

С защитой линии партии хорошо выступил только Ярославский, хотя его прерывали всякими недружелюбными репликами. Он говорил, что большинство рабочих собраний, коммунистов выступают против оппозиции, за ЦК. В вузовских же ячейках, пользуясь политической неподготовленностью части молодежи, оппозиция демагогическими способами добивается успеха.

Ораторы от оппозиции, возражая, говорили, что рабочиеде голосуют за ЦК в страхе, что если они будут голосовать против ЦК, то их уволят с работы. Но революционному студенчеству нечего бояться голосовать за оппозицию.

На следующий день я решил выступить на собрании медицинского факультета МГУ. Хотелось убедить студенческую аудиторию в правоте линии партии и отбить атаку на нее со стороны оппозиции. И надо сказать, что мне все же удалось склонить большинство на сторону ЦК партии.

После этого собрания зашел на квартиру к Сталину и рассказал ему обо всем, что видел и слышал в МГУ, а также о том, что из бесед мне стало известно – во многих вузовских и ряде других партийных организаций оппозиционеры на собраниях одерживают верх. «В результате, – с возмущением заявил я, – создается впечатление, что в столице нет Московского комитета партии и все пущено на самотек».

Я был сильно возбужден и выразил свое недовольство

поведением ЦК, который, как мне казалось, самоустранился от фактически уже начавшейся в столице дискуссии и тем облегчает троцкистам возможность запутать неопытных и добиваться легких побед. Спросил Сталина, почему ЦК до сих пор молчит, когда собирается выступить и как.

Помню, с каким невозмутимым, поразившим меня спокойствием выслушал все это Сталин. Он сказал, что особых оснований для волнений нет. После Октябрьского пленума в соответствии с его указаниями сделано несколько попыток наладить дружную работу политбюро. Состоялись два частных совещания с Троцким, на которых были рассмотрены вопросы хозяйственного и партийного строительства. При этом обмен мнениями не вызвал серьезных разногласий. «Теперь, в связи с возникновением дискуссии, стремясь все же к дружной работе, мы образовали комиссию для выработки согласованной резолюции ЦК и ЦКК. Члены политбюро решили выступить единым фронтом и уже заканчивают работу над окончательным проектом постановления политбюро ЦК и президиума ЦКК «О партстроительстве». Мы добиваемся, – сказал мне Сталин, – чтобы и Троцкий проголосовал за эту резолюцию. Единогласное принятие в политбюро такого решения будет иметь для партии большое значение и, возможно, поможет нам избежать широкой дискуссии, которая крайне нежелательна».

Успокоенный этим заявлением, я уехал в Ростов. Однако, не дожидаясь опубликования постановления ЦК и ЦКК, созвал узкий актив партработников, на котором рассказал, что происходит в Москве. Рассказал и о своей беседе со Сталиным, повторив, что если единогласного решения политбюро не получится, то неизбежна общепартийная дискуссия, к которой нам надо быть готовыми. Так и получилось. Троцкий возражал против резолюции политбюро ЦК и президиума ЦКК «О партстроительстве», принятой 5 декабря 1923 г. и через два дня опубликованной в «Правде». Резолюция сыграла важную роль в ходе начавшейся дискуссии.

У нас, на Северном Кавказе, дискуссия проходила весьма активно и остро. Наряду с другими членами Югвостбюро мне довелось, конечно, в те дни много раз выступать на партийных собраниях, пленумах и конференциях. Особое внимание уделили мы в ходе дискуссии вопросам работы с молодежью, с комсомолом. Руководители Югвостбюро комсомола (Мильчаков и другие) сразу же решительно высказались против попытки Троцкого натравить молодежь на старые партийные кадры.

После бурной внутрипартийной дискуссии и острой политической борьбы январь 1924 г. ожидался необычно

насыщенным всевозможными общесоюзными форумами. Объединенный пленум ЦК и ЦКК, вслед за ним XIII общепартийная конференция, после нее очередной Всероссийский съезд Советов и сразу же II съезд Советов Союза ССР.

Собираясь на пленум ЦК, мы с Ворошиловым узнали, каким поездом едут из Закавказья Орджоникидзе, Киров, Мясникян, Орахелашвили, и, как уже не раз до этого, решили прицепить к их поезду наш вагон командующего округом, в котором должны были ехать в Москву.

На этот раз это было особенно важно, поскольку нам хотелось за время пути поговорить с нашими закавказскими друзьями, узнать, что делается в Закавказье, рассказать о своих делах, обменяться мнениями в связи с предстоящим пленумом ЦК.

Дорога от Ростова до Москвы занимала тогда около двух дней. За это время нам удалось вдоволь выспаться, почитать и значительное время уделить беседам. Конечно, в этой нашей взаимной дружеской информации мы были очень откровенны и рассказали друг другу не только о преодоленных трудностях, но и о тех, которые еще оставались.

Настроение у нас было хорошее, бодрое. Тревожившее всех нас здоровье Ильича, по заверению врачей, улучшалось – словом, у нас были все основания оптимистически смотреть вперед.

В наших беседах – людей по природе своей веселых, жизнерадостных, к тому же совсем тогда еще молодых – было много шуток, веселых рассказов.

Большинство любили песни. Серго и Ворошилов неплохо пели, а остальные как могли подтягивали им. Так незаметно, приятно и не без пользы прошло время нашего пути.

Январский (1924 г.) пленум ЦК явился, по существу, подготовительным к очередной партийной конференции. На нем были обсуждены все те вопросы, которые ЦК собирался внести в повестку дня XIII партконференции.

Вспоминая об этом пленуме, мне хотелось бы сослаться на свое выступление. Выступал я там без особой подготовки, «подогретый» речами ораторов и, конечно, без заранее написанного текста.

Относительно внутрипартийной демократии я отметил, что многие, замыкаясь в рамках партии, забывают о том, что есть также и рабочий класс. Беспартийный же рабочий рассуждает так: почему нужно дать работающую демократию всем коммунистам, а ему ничего не надо давать? В этом есть логика. Поэтому нам придется выработать формы вовлечения беспартийных рабочих в управление промышленностью.

XIII партийная конференция открылась 16 января 1924 г.

Оппозиционерам и здесь была предоставлена полная возможность высказать свои взгляды. От них выступали Пятаков и Преображенский (по два и три раза), Сапронов, В. Косиор, В. Смирнов, Радек и другие.

Все делегаты и участники конференции заблаговременно получили проект резолюции по вопросу о «ножницах», подготовленный комиссией, избранной на Сентябрьском пленуме ЦК. В состав этой комиссии из 17 человек были включены товарищи, представлявшие тогда самые разные оттенки в понимании задач нашей экономической политики. В нее входили Преображенский, Пятаков и еще несколько оппозиционно настроенных партийцев, крупных хозяйственников. Был избран в комиссию и Троцкий, но он отказался участвовать в ее работе.

В основе хозяйственного кризиса 1923 г. лежали недостатки нашего хозяйственного руководства, в первую очередь ошибки хозяйственных органов в проведении политики цен на промышленные товары.

Большое внимание и в докладе и в прениях было уделено проводимой тогда у нас финансовой реформе. В докладе, в частности, говорилось, что червонное обращение на базе золотого обеспечения занимает у нас уже $^4/_5$ всего денежного обращения и что в скором времени можно будет и оставшуюся $^1/_5$ этого обращения заменить твердым разменным знаком, что приведет к дальнейшему укреплению рубля. (Червонец – банковский билет, выпускавшийся Госбанком СССР с октября 1922 г. купюрами в 1, 2, 3, 5, 10 и 25 червонцев. Его золотое содержание (1 золотник = 78,24 доли чистого золота) было установлено таким же, как в дореволюционной 10-рублевой монете.)

Острая дуэль по вопросам финансовой политики завязалась между двумя наиболее подготовленными в финансовых вопросах участниками конференции Преображенским и Сокольниковым, наркомом финансов.

Разгоревшийся спор по актуальным вопросам нашей экономической политики вызвал и у меня желание выступить на конференции. Мое предложение сводилось к тому, чтобы начать плановую увязку отдельных частей хозяйства непосредственно в уездах, губерниях и республиках.

«Только этим путем, – говорил я, – мы пойдем к составлению ориентировочного, приблизительного плана, который послужит развитию нашего хозяйства. Всякая другая постановка на деле является бюрократическим дерганьем и разрушением.

Я скажу, что никакой борьбы с «ножницами», никакой смычки

с крестьянством не будет, пока не будет твердых денежных знаков для деревни. Почему кооперация не может развиваться в деревне? Не только по всем понятным причинам, но и потому, что нет твердых денег. В городе кооперация и государственные органы вносят в банк свои деньги в тот же день или меняют на червонцы, а в деревне они этого сделать не могут. Там же нет червонцев и нет банка. Ежедневная выручка накапливается до поездки в город, из-за чего их стоимость падает тем больше, чем дальше деревня и реже связь с городом.

Товарищи выступают как будто защитниками рабочих и крестьян, но на кого ложится денежная эмиссия? На буржуазию? Вовсе нет. Когда вы идете по Москве, то везде слышите, как черная биржа предлагает червонцы. Буржуазия не держит в карманах советских знаков, а превращает их в червонцы, а рабочие и крестьяне теряют на этом».

С докладом о партстроительстве выступил Сталин. Говорил он спокойно, аргументированно. Он не стал рассказывать всей истории дискуссии, заявив, что не считает нужным останавливаться на том, кто начал дискуссию, кто прав, а кто виноват, чтобы не вносить «элемента склоки и взаимных обвинений». Таким образом, Сталин не заострял вопроса, избегал резкостей, применяя мягкие выражения.

Ораторы от оппозиции остро реагировали на то место доклада, где было сказано: «Что касается группировок и фракций, я думаю, что пришло время, когда мы должны предать гласности тот пункт резолюции о единстве, который по предложению тов. Ленина был принят X съездом нашей партии и который не подлежал оглашению». В этом пункте было сказано, что X партийный съезд, исходя из необходимости обес печения наибольшего единства в партии, дисциплины и устранения всякой фракционности, предоставляет ЦК право применять «в случаях нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключение из партии».

Пункт этот действительно по решению X партийного съезда не был опубликован. Сторонники оппозиции отрицали приемлемость этого пункта в настоящих условиях и целесообразность его упоминания вообще, тем более что он «секретный». Радек заявил, например, что докладчик «вытянул из кармана резолюцию, которую X съезд партии считал тайной резолюцией» и что «ни ЦК, ни политбюро не решали, чтобы Сталин это сделал. Только съезд партии может решать, что документ, объявленный съездом тайным, становится для партии

явным».

В заключительном слове Сталин внешне так же спокойно, как и во все время доклада, но остро поставил все вопросы разногласий с оппозицией. На этот раз он дал уже более подробный анализ хода дискуссии с самого ее начала.

В работе XIII партконференции принимала участие от редакции «Правды» М.И. Ульянова. В перерывах между заседаниями вокруг нее обычно собирался узкий круг знакомых с ней делегатов, стараясь узнать «из первых рук» последние сведения о здоровье Ильича. От нее мы узнали, что за девять дней до начала конференции Ленин почувствовал себя немного лучше, был на елке, устроенной в Горках для детей рабочих и служащих местного совхоза. Мария Ильинична рассказала нам и о том, что Надежда Константиновна знакомила Ленина с ходом нашей конференции по отчетам, напечатанным в «Правде». 19 января Ленин выезжал на санях в лес, где наблюдал за происходившей там охотой. Все это нас очень обрадовало и ободрило. Окрепла надежда на скорое выздоровление Ильича.

Помню, 21 января, во второй половине дня, я зашел на квартиру к Сталину, чтобы посоветоваться с ним по ряду вопросов, связанных с нашими северо-кавказскими делами.

Не прошло и 30–40 минут нашей беседы, как вдруг в комнату ворвался крайне взволнованный Бухарин и не сказал, а как-то выкрикнул, что из Горок позвонила Мария Ильинична и сказала: «Только что, в 6 часов 50 минут, скончался Ленин».

Это было так неожиданно! Мы были потрясены. Потом мы все мгновенно оделись и поехали на аэросанях в Горки.

В небольшой комнате на кровати лежал спокойный, как бы только что уснувший, Ленин.

Вскоре стали подъезжать другие члены Центрального комитета. Трудно описать эти тягостные минуты, когда все мы осиротело столпились около Ильича. Собравшиеся в другой комнате члены политбюро условились срочно созвать экстренный пленум ЦК партии, подготовить правительственное сообщение о смерти Ленина, а также принять специальное обращение Центрального комитета партии.

Подавленные великим горем, многие с не высохшими от слез глазами, собрались мы на этот пленум в Кремле в ночь на 22 января. Говорить было трудно. Мы избрали комиссию по организации похорон Владимира Ильича под председательством Дзержинского. Приняли обращение «К партии. Ко всем трудящимся».

В 6 часов утра 22 января московское радио передало всему миру сообщение советского правительства о смерти В.И. Ленина.

22 января, открывая очередное заседание съезда, Михаил Иванович Калинин дрожащим от волнения голосом предложил делегатам встать и со слезами на глазах сообщил о смерти Ленина. Потом он зачитал бюллетень о смерти, подписанный врачами, лечившими Ленина.

Работа съезда была прервана.

23 января все мы – члены ЦК, наркомы, представители рабочих и крестьянских делегаций – несли на руках гроб с телом Ленина из Горок до ближайшей станции Герасимово, где ожидал специальный поезд.

Был жестокий январский мороз. Весь этот пятиверстный путь до станции был усыпан еловыми ветками. Тысячи людей из ближних и дальних деревень шли за гробом Ильича, провожая его в последний путь. Траурный поезд медленно отошел от станции. Почти до самой Москвы по обе стороны железной дороги стояли огромные толпы людей, пришедшие проститься с Лениным. В час дня траурный поезд прибыл на Павелецкий вокзал Москвы.

По улицам, сплошь заполненным народом, гроб с телом Ленина был вновь на руках перенесен нами и установлен в Колонном зале Дома союзов. В почетном карауле у гроба Ленина стояли члены ЦК, делегаты съезда Советов, представители рабочих и крестьян.

Пять дней и ночей бесконечным потоком в торжественном молчании, нарушаемом лишь сдержанными рыданиями, шли мимо гроба рабочие и крестьяне, воины Красной армии, интеллигенция, молодежь, делегации трудящихся зарубежных стран, люди самых разных национальностей – шли, чтобы проститься со своим великим вождем, учителем и другом.

Я хорошо помню эти суровые январские дни 1924 г. Мороз доходил до 30–35 градусов, а люди все шли и шли бесконечной вереницей. Часами стояли они на морозе, грелись у костров, горящих на улице, чтобы потом попасть на дветри минуты к своему Ильичу и сказать ему свое последнее прощай.

Будучи на квартире у Сталина, я спросил его, приедет ли на похороны Троцкий из Сухуми. Он ответил, что Троцкий вызвал его к прямому проводу и, узнав, на какое число назначены похороны Ленина, сказал, что он, к сожалению, не успеет прибыть вовремя. Я был поражен, что в такой момент он может продолжать отдых в Сухуми. По железной дороге тогда он действительно не мог вовремя успеть. Зато он мог использовать самолет. Еще в 1923 г. начали летать самолеты гражданской авиации. Тогда у нас работала также германская воздушная компания «Люфтганза». В частности, ее самолеты были в Ростове. Он мог бы использовать и военный самолет для такого

экстренного случая – долететь на нем до Ростова или Харькова, а оттуда поездом – и успеть. Это поведение Троцкого показалось мне возмутительным, характеризующим его личность с самой отрицательной стороны. Я это высказал Сталину[4].

Накануне похорон, 26 января, состоялось внеочередное траурное заседание II Всесоюзного съезда Советов, посвященное памяти Ленина. Съезд решил сохранить гроб с телом Ленина в Мавзолее, доступном для самого широкого посещения.

27 января, в 9 часов 20 минут, гроб с телом Ленина был перенесен из Дома Союзов на Красную площадь и, покрытый красными знаменами, установлен на специальном возвышении.

И вновь шли сотни тысяч людей в торжественном молчании, колонна за колонной, прощаясь с великим Лениным.

В четыре часа под звуки траурной музыки и тысяч гудков фабрик и заводов, под залп прощального орудийного салюта гроб был внесен в Мавзолей, тогда еще временный, деревянный, построенный героическими усилиями рабочих и архитекторов под руководством академика Щусева всего за три дня и три ночи в лютую стужу.

Через день после похорон Владимира Ильича XI Всероссийский съезд Советов продолжал свою работу и обсудил доклад наркома юстиции РСФСР Д.И. Курского о проекте Конституции СССР, вносимом через несколько дней на утверждение II Всесоюзного съезда Советов.

В тот же день мы единогласно приняли первую Конституцию Советского Союза. В ее основу были положены ленинские принципы добровольного государственного союза равноправных народов.

Сразу же после съезда Советов состоялась первая сессия ЦИК СССР, на которой был избран Президиум ЦИК Союза, а также четыре его председателя (от РСФСР – Калинин, от УССР – Петровский, от ЗСФСР – Нариманов и от БССР Червяков), как и было до этого решено по предложению Ленина.

Сессия избрала также состав Совета народных комиссаров СССР во главе с А.И. Рыковым.

Смерть Ленина привела к небывалому единению всех трудящихся страны с нашей партией в их стремлении достойно продолжить дело Ильича. Повсеместно от рабочих стали поступать десятки тысяч заявлений с просьбой принять их в ленинскую партию.

Глава 18
Борьба с засухой в крае

Состояние моего здоровья было плохое, даже несколько хуже, чем в предыдущую весну. Туберкулезный процесс в легких продолжался. Врачебная комиссия в Москве потребовала длительного лечения.

Но я не мог выполнить предписание врачей: в конце июня обозначились трудности в нескольких районах края. Долго не было дождей, и хлеба выгорали от засухи. Не хватало пресной воды и для скота.

Крестьянство, спасая скот от бескормицы и безводья, массами стало гнать его на Кубань, где положение было благополучным.

Это нас в крайкоме очень волновало, но мы не имели возможности оказать помощь своими силами – не было краевых средств, не имели мы и права распоряжаться краевыми ресурсами. В крае хлеб был, но он находился в распоряжении Центра.

Я связался с Москвой, доложил о тяжелом положении и попросил помощи. Такие же просьбы поступали из Поволжья, хотя засуха была, конечно, не такая жестокая, как в 1921 г. Я безотлагательно выехал в Москву для доклада о реальном положении дел и выяснения, чем и когда может нам помочь Центр.

Надо было в первую очередь восстановить полностью семенной запас, чтобы не сокращать посевных площадей, то есть обеспечить урожай будущего года, а затем уже некоторое количество направить для продовольственной помощи наиболее нуждающимся крестьянам. Правительство помогло нам, выделив семенную ссуду для озимого сева.

Мы обсудили и утвердили план распределения помощи. Товарищам на местах дали конкретные задания – обеспечить реализацию выделенной помощи, контролировать ее распределение строго в соответствии с планом. Несмотря на это, паника в Ставрополье продолжалась. Надо было быстро реагировать.

Я знал, что у нас есть один гражданский самолет на дватри места немецкой фирмы «Люфтганза», имевшей концессию на воздушное сообщение. Я связался с летчиком-немцем (правда, я не так уж свободно говорил по-немецки, как в школе, но понять меня было можно). На мой вопрос, может ли он садиться без аэродромов, в селах, он ответил, что может, если за селом, на

полях, выбрать подходящее место и разжечь костер, чтобы он мог сориентироваться по дыму костра, в какую сторону дует ветер, и совершить правильную посадку. Я, конечно, это ему обещал.

Решено было облететь районы Ставрополья, крупные села и устроить там собрания, разъяснить положение, успокоить крестьян и сообщить о помощи. Я думал так: прилетим, в селе на площади устроим митинг. Но неожиданность подстерегла нас в первом же селе. Жители села, когда узнали, что прилетает самолет, а летчик дважды сделал облет села перед посадкой, собрались к месту посадки. Когда я вышел из самолета, можно было сразу начинать митинг, потому что все село бежало сюда. Пришли и местные работники.

Я минут пятнадцать говорил прямо с самолета, который стал импровизированной трибуной. Говорил о том, чтобы они верили, что правительство окажет помощь, что это не царская, а рабоче-крестьянская власть, которая заботится о них и делает все возможное, чтобы помочь.

Село Курсавка с населением более чем 10 тыс. человек пользовалось пресной водой, собранной от дождей. В бассейнах питьевой воды было недостаточно. Я узнал, что в 20–30 км от села была вода. Вместе с местными работниками решили действовать более решительно – предложить на митинге провести водопровод.

Помню, один крестьянин средних лет, высокого роста, стройный, с короткой бородой, поднялся на трибуну и стал говорить, что не верит в это, что у них никогда не было водопровода и вода к ним никогда не придет: «Как на моей ладони не вырастет ни один волос, так никакой воды у нас не будет». Я тогда ему сказал: «Гражданин, я прошу запомнить, что вы сказали. Через год соберемся и посмотрим, кто будет прав, будет ли вода и водопровод». Говоря это, я не сомневался в реальности плана.

Водопровод построили раньше чем через год. Я решил поехать в это село на открытие водопровода, имея в виду встретиться с этим крестьянином.

Я попросил его подняться на трибуну, потом подойти к водопроводу, где я открыл кран. Вода пошла! Трудно описать смущение этого крестьянина. Он молчал, пораженный. Я ему сказал: «Вот вы человек честный, правдивый, но только знайте, какая разница между властью помещиков, которые не заботились о деревне и крестьянах, и новой рабоче-крестьянской властью, которая только и живет и работает ради защиты интересов рабочих и крестьян, улучшения их жизни». Это было хорошим агитационным делом для привлечения на сторону советской

власти тех крестьян, которые еще колебались.

Пользуясь пребыванием в Пятигорске, я заехал на несколько часов в Кисловодск, где отдыхал Бухарин. Он был очень доволен, стал расспрашивать меня о крае. Я рассказал о положении дел и о своих полетах в села, пораженные засухой. Этот факт произвел на Бухарина возбуждающее впечатление. Как ребенок, он спрашивал, верно ли это и хорошо ли летать на самолете, восхищался, ходил с возбужденным видом взад и вперед. Я был удивлен его реакцией. Вдруг он говорит: «А знаешь, хорошо бы облететь вокруг Эльбруса. Можно ли это?» Я ответил, что, наверное, можно, только нужно спросить летчика-немца. Когда я передал его согласие Бухарину, тот обрадовался, но сказал озабоченно: «Хорошо-то хорошо, но, знаешь, прежде чем полететь, я должен запросить согласие ЦК». – «При чем здесь ЦК? – удивился я. – Это не политический вопрос, чтобы его решать в ЦК. Полететь вокруг Эльбруса можно, летчик согласен, что еще тебе нужно?» – «Нет, – ответил Бухарин, – могут сделать замечание. Скоро поеду на пленум, там посоветуюсь. Вернусь снова сюда, и обязательно полетим вокруг Эльбруса».

В Москве Бухарин разговаривал со Сталиным. Тот не только не санкционировал этот полет, но и, как я узнал из постановления, полученного мною в Ростове, он запретил не только Бухарину, но и мне летать на самолете. Это было оформлено как решение политбюро.

Я был крайне возмущен этим. Я ведь летал не ради удовольствия. Должен признаться, что и после решения ЦК я несколько раз использовал тот же самолет. Это был первый случай, когда я не подчинился решению ЦК. Второй и последний случай неподчинения решению ЦК во всей моей жизни имел место в Москве, когда было решено наркомам встать на партийный учет в своих наркоматах. Я остался на учете на заводе «Красный пролетарий».

Выполнив все меры по оказанию помощи семенами, продовольствием, я уехал в отпуск для лечения легких. Врачебная комиссия предложила мне три места на выбор: Абастуман, Крым или Теберда (Карачаево-Черкесская область).

Выбрал я Теберду, поскольку она находилась в крае, где я работал, и время отпуска можно было использовать с пользой для дела, быть в курсе всех событий и по мере возможности оказывать помощь в решении вопросов. Тем более что в Карачаево-Черкесской области еще не был.

О том, как я лечился от туберкулеза в Теберде, я писал Ашхен на дачу крайкома в Кисловодск, где она находилась с тех пор, как родила в этом городе 18 июня 1924 г. нашего второго сына –

Володю:

«15/IX 24 года
Теберда

Дорогая, милая Ашхен!

Получил письмо. Почему ничего не пишешь, поправляешься ты или нет? Ты обязана набрать еще не меньше 15 фунтов весу!

Я живу хорошо. Вчера я вернулся из путешествия по чудесным горам. 4 дня были в пути большей частью верхом. Получил большое удовольствие. Больше через перевал в Сухуми не поеду, а отсюда прямо приеду в Кисловодск на один день и дальше поеду в Крым. Думаю выехать от 20-го до 25-го сент. в зависимости от погоды. Здесь все время держится солнечная прекрасная погода. Нет дождей. Если так будет продолжаться, то я не буду торопиться выехать. Продолжаю не курить[5]. Бездельничаю. Лежу. Не читаю, не пишу.

Твой Анастас».

В Теберде я застал Сокольникова с женой. В главном парке был двухэтажный дом на берегу маленького озера в сосновом лесу. Сокольников же устроился на окраине, в одноэтажном домике, вдали от центра, что создавало более спокойную обстановку для отдыха, чем в центре, у озера, где часто бывали экскурсанты, нарушали его покой и отдых. Сокольников занимал две комнаты, я занял одну, свободную.

Сокольникова я знал по выступлениям на съездах, конференциях, знал как очень толкового, эрудированного хозяйственника. Он твердой рукой и умело осуществлял стабилизацию рубля, внедрение и укрепление червонной валюты на базе золота. Он уже имел полное основание отдохнуть, поскольку процесс стабилизации рубля находился на стадии завершающей. Теперь мы уже не сомневались в скором и полном успехе этого дела.

Сокольников не был любителем многословных бесед. А я не донимал его вопросами и не навязывал разговоров, полагая, что человек устал, что одним из лучших видов отдыха является одиночество и покой.

Присмотревшись ко мне, он стал задавать вопросы о хозяйственном положении края. Это было естественно – будучи в крае, узнать, что здесь происходит. Я ему подробно и откровенно рассказывал. Он был доволен – эта информация его

заинтересовала. Потом мы раза два беседовали на общеполитические темы, не касаясь внутрипартийных вопросов. Дело в том, что Сокольников в политических вопросах не был устойчив. В дискуссии перед X съездом партии он примыкал к платформе Троцкого, а в дискуссии 1923 г. отошел от Троцкого и в вопросах хозяйственной политики выступал аргументированно и резко против взглядов оппозиции, защищая линию Центрального комитета. Я не считал возможным касаться этих вопросов, и он также не поднимал их.

Жена у него была молодая, лет двадцати пяти – двадцати семи (ему было около 42), взбалмошная женщина из казачек. Через несколько дней после начала отдыха я решил заняться верховой ездой. Достали лошадей, и я стал ездить по Тебердинскому ущелью и в разные стороны от Теберды. Жена Сокольникова также захотела ездить верхом, сказав, что она казачка и скучает без езды. Мне показалось, что она хочет остаться со мной наедине – думать так у меня уже были основания, поскольку она проявляла ко мне повышенное внимание, казавшееся мне с моими кавказскими традициями неприличным, да еще в присутствии мужа. Хотя я допускаю, что в казацких станицах нравы несколько проще тех, в которых были воспитаны мы с Ашхен. Как бы то ни было, отговорить ее я не смог. Тогда я при первой возможности перешел на галоп, а было это на узкой и неровной тропе. Только опытный наездник мог там идти галопом. Ее лошадь тоже перешла на галоп. Она так испугалась, что бросила вожжи, лошадь понесла, она схватилась за ее шею и попросила меня вернуть ее домой.

В следующий раз я и Сокольникова уговорил, чтобы он покатался верхом – это и полезно и интересно. Он согласился, и несколько раз мы катались втроем, потом только вдвоем с ним. Мы много раз ездили по разным ущельям и местам. Он восхищения не высказывал, был сдержан в выражениях своих эмоций, но, видимо, это все ему нравилось.

Я очень любил ездить галопом, он же не любил, тем более в ущельях с их узкими тропами, рискованными для такого занятия. По дороге мы останавливались в селах, знакомились с людьми, спрашивали, как живут. Меня удивило, что никаких посевов зерновых и картофеля у них не было. Только около домов совсем небольшие клочки земли были распаханы и засеяны травами. И это было во всех селах. Мы проезжали мимо пастбищ. Люди выходили к нам навстречу и угощали карачаевским айраном. Это нечто вроде простокваши, которая держится в курдюках и является очень приятным кислым напитком, утоляющим жажду. Напиток очень понравился мне и моим спутникам.

Как-то в беседе с Сокольниковым я спросил его, возможно ли в связи с последствиями засухи в крае оказать нам какую-либо финансовую помощь для здравоохранения, просвещения и пр. Он сказал, что это можно. Меня это обрадовало. Сокольников выполнил свое обещание. Это было серьезной помощью краю.

Приезжал для беседы со мной Гурджиев, председатель Карачаево-Черкесского облисполкома. Он был несколько дней, информировал меня по всем важным вопросам. Беседовал и с Сокольниковым. Гурджиев информировал о положении у черкесов, казаков, в руководстве области. Из его рассказов было видно, что положение в руководстве тяжелое. Была разобщенность между карачаевцами, с одной стороны, черкесами, с другой, казаками – с третьей. Я об этом узнал и во время посещения дома Кипкеева, уважаемого человека в Теберде. В один из приездов в его гостеприимный дом по просьбе Кипкеева я дал имя его новорожденной дочери. Ее назвали Совет.

Центр области был в большой казачьей станице – БаталПашинске. Перед окончанием отпуска я заехал в Батал-Пашинск, беседовал с отдельными работниками: черкесами, казаками, карачаевцами. Провел заседание обкома, где после обсуждения отчета о положении дел состоялась оживленная беседа. Столкнулись разные мнения, чувствовался разнобой между тремя национальными группировками. Меня удивило, что у черкесов существовало разделение на крестьян и дворян. Дворянами они были только по званию, а по положению мало чем отличались от основной крестьянской массы. Вот представители от крестьянской массы и протестовали против этих дворян. Это было для меня новым.

Я написал в ЦК письмо о положении дел в КарачаевоЧеркесской области и предложил фактически децентрализовать руководство местными советами таким образом, чтобы делами карачаевских и черкесских аулов занимались соответственно члены исполкома – один карачаевец, другой – черкес.

Карачаевцам я посоветовал подумать о строительстве при помощи края города, который стал бы их культурным и административным центром. Город был отстроен в 1929 г., когда я уже работал в Москве[6].

В 1924–1925 гг. сельское хозяйство на Северном Кавказе было восстановлено. Остались позади годы голода, карточек и нехватки продовольствия. Мы все были охвачены желанием поскорее претворить в жизнь кооперативный план Ленина.

Потребительская и сбытовая сельскохозяйственная кооперация охватила почти все крестьянство, все сельское

хозяйство. Но это еще не был социализм. Нужно было кооперировать производство. На какой базе? Гремели по всей стране слова Ленина: «Дайте 100 тысяч тракторов, и мужик скажет – я за коммунию».

Мы стали добиваться получения из Центра сельскохозяйственных машин, главным образом молотилок и лобогреек (зерновых косилок на конной тяге) и небольшого количества тракторов. Эти машины продавались не крестьянам, а машинным товариществам, которые покупали их на кооперативных началах. Дело шло хорошо, только не хватало машин. Мы на местах думали, как бы ускорить их производство.

Обсудив в крае с сельскохозяйственными работниками и инженерами этот вопрос, мы составили свой план для края, и я выехал в Москву к Дзержинскому – Председателю ВСНХ. Позвонил о прибытии. После телефонного разговора он предложил мне зайти к нему в половине двенадцатого ночи в ВСНХ. На тот же час он вызвал Межлаука, начальника Главметалла, которому подчинялись металлургия и машиностроение. Я сказал, что мы хотим построить в крае два крупных завода: один – по производству тракторов типа «Фордзон» в Ростове, другой – по производству лобогреек в Новочеркасске.

Я доказывал, что в крае, который простирался от Азовского и Черного морей до Каспия и имел громадные посевные площади, эти заводы необходимы. «Нас обеспечат полностью и кое-что соседним республикам дадим», – говорил я.

Дзержинский сказал: «Очень хорошо, что заботитесь о строительстве этих заводов. Мы сами озабочены этим делом, и у нас есть план начать строительство тракторного завода в Царицыне, который расположен в очень хорошем месте и может обслуживать как Северный Кавказ, так и Поволжье. Вот завод лобогреек – это, пожалуй, можно построить и на Северном Кавказе. Можно в Ростове, можно и в Новочеркасске – оба варианта подходящи».

Пришлось ограничиться этим.

Построенный завод лобогреек стал в дальнейшем заводом «Ростсельмаш» по производству комбайнов, о которых тогда мы еще и не мечтали.

Глава 19
Вспышка внутрипартийной борьбы. Избрание в политбюро

Летом 1925 г. я с женой и двумя малыми детьми был в доме отдыха «Мухалатка», который находится недалеко от Фороса в сторону Ялты. Я застал там Дзержинского с женой, Фрунзе с женой, которая была больна туберкулезом, старого революционера Феликса Кона с женой и некоторых других. Фрунзе был страстным охотником, поэтому он вскоре уехал в Азербайджан, в ленкоранские степи. Он рассказывал, что там были замечательные места для охоты.

С Дзержинским до этого я был знаком по деловым встречам. Здесь же мы сблизились, виделись ежедневно, гуляли в замечательном парке вокруг дома отдыха. Во время прогулок много беседовали. Настроение у всех было хорошее, отдыхали отлично.

Совершили мы с Дзержинским и два путешествия по Крыму. Один раз на машинах мы поехали через Ялту в Бахчисарай. В другой раз посетили винодельческий завод «Массандра».

Теперь это очень большой комбинат с новым производственным корпусом. Тогда же был маленький, но достаточно знаменитый качеством своих вин завод. При ознакомлении с заводом дирекция и виноделы пригласили нас на дегустацию вин. Там был старый винодел Егоров, который и сейчас работает. Ему уже 90 лет. Он работал виноделом еще при князе Голицыне, ведая винодельческими имениями царя.

Всей программы дегустации мы не выполнили, хотя давали нам неполные бокалы вина. Но сортов вин было много, так что ударило нам в голову. Поблагодарив хозяев, мы уехали. Наше настроение было настолько веселым, что Дзержинский даже запел. До этого я не знал, что Дзержинский так хорошо поет. Товарищи его поддержали.

По вечерам в доме отдыха мы иногда играли в «дурачка». Оказывается, Дзержинский этой игре еще в тюрьме научился. Она отвлекала от всяких мыслей, и Дзержинский очень увлекался ее смешной стороной. Мы играли с ним в одной паре. Он из цветной бумаги сделал корону для «дурачка» и с большим удовольствием надевал ее на голову проигравшего. Когда же оставались в «дурачках» мы, а это случалось не раз, он также с хохотом, но уже с меньшим удовольствием надевал этот колпак на себя или на

меня. В этой непринужденной обстановке мы забывались, вели себя как дети.

Зная крайнее переутомление друг друга, избегали разговоров, касающихся политики и работы, чтобы дать отдых голове и нервной системе.

Но как-то, гуляя по аллеям парка, чувствуя хорошее настроение Дзержинского и пользуясь доверительными отношениями, которые сложились между нами во время этого отпуска, я спросил его: как это могло случиться, что он в декабре 1920 г. подписал среди прочих членов ЦК платформу Троцкого о профсоюзах? Этот вопрос давно был у меня в голове, но я стеснялся спросить. В свое время он попросил меня выступить с докладом об этой платформе перед сотрудниками ВЧК, считая неудобным выступать самому, ибо ВЧК должна была быть информирована с позиций большинства ЦК, а с его стороны это было бы беспринципно. На этот раз я рискнул задать ему этот вопрос.

Он добродушно ответил: «Сам не могу объяснить и простить себе этого шага. Вы, наверное, обратили внимание, что я ни разу нигде не выступал в поддержку этой платформы и не выступал против платформы Ленина. Я даже уговорил своих товарищей-коммунистов ВЧК не допустить дискуссии, чтобы не расколоть организацию этого тонкого органа государства по линии фракционных платформ. Это вам хорошо известно».

Из его дальнейшего рассказа я понял, что психологически это случилось так: он видел развал на транспорте, расхлябанность, отсутствие дисциплины, воровство, смычку со спекулянтами и мешочниками и считал, что нужна твердая рука и жесткие меры, иначе не наладится дело, без которого мы не можем выйти из трудностей. Его также оттолкнул лозунг «рабочей оппозиции» об анархической демократии, ведь это, по существу, вело к еще большему беспорядку. К тому же в тот момент, когда он подписал платформу Троцкого, еще не было выступления самого Ленина в конце декабря во фракции коммунистов на заседании Совета, не было еще «платформы десяти», которую подписал Ленин и другие члены ЦК. Только после выступления Ленина он почувствовал свою ошибку, непонимание момента.

«Надо отдать должное Ленину, – сказал Дзержинский. – Он ничего мне не говорил, видимо понимая, что это случайность с моей стороны. И, несмотря на отсутствие моего официального выступления с отказом от этой платформы, Ленин мне полностью доверял, и я не чувствовал никаких признаков недовольства с его стороны к ВЧК».

Так Ленин вел себя и до съезда, и после съезда. «Больше

того, – говорил Дзержинский, – Ленин предпринял шаг, для него совершенно неожиданный и даже, казалось бы, невероятный: он добился снятия Троцкого с поста народного комиссара путей сообщения из-за его неправильных методов руководства, неправильного отношения к массам и на этот пост назначил меня, оставив за мной и ВЧК». Видимо, Ленин нутром чувствовал случайность подписи Дзержинского под платформой.

Дзержинский уезжал с отдыха окрепшим, успокоенным.

Мы действительно хорошо отдыхали. Тогда еще не было таких острых политических проблем в партии, которые волновали позже. И хотя в нашей памяти свежи были впечатления от потрясшего нас горя, когда мы потеряли Ленина, мы были удовлетворены тем, что ленинские идеи все глубже проникали в народные массы, что ленинская линия одержала победу над троцкистской линией, что партия объединилась и все руководящие деятели партии (кроме Троцкого и его сторонников) сплоченно проводили ленинскую линию построения социализма в стране.

Дзержинский очень высоко ставил вопрос единства партии на ленинской основе. На уроках оппозиции Троцкого он еще глубже убедился в значении этого единства.

Осенью 1925 г. в Москве сначала в узком кругу Зиновьев и Каменев подняли знамя левой оппозиции. Разногласия в руководстве партии между Зиновьевым и Каменевым, с одной стороны, и Сталиным, Рыковым, Бухариным – с другой расширялись, но не выходили наружу. Это дело подогревалось больше Зиновьевым, который чувствовал, что почва все больше уходит из-под его ног. Он старался закрепить свое положение в руководстве. Его целиком поддерживала Ленинградская партийная организация, которой он руководил. Москва шла за Каменевым, поскольку Каменев руководил Московской партийной организацией. В то время Зиновьев выпустил книгу-брошюру, где он писал, что «приложил ухо к земле и услышал голос истории». Это было началом полемики с ЦК в завуалированном виде. Одно из заседаний ЦК было посвящено обсуждению этого вопроса.

Тогда собрались члены ЦК, около 50 человек, кроме троцкистов, в зале оргбюро ЦК. Там был маленький стол для президиума. Председательствовал Рыков, Сталин сидел рядом.

Началась дискуссия вокруг этой книги Зиновьева. В ходе дискуссии Рыков выступил неожиданно очень резко и грубо против Зиновьева и его группы, заявив, что они раскольники, подрывают единство партии и ее руководства. В этом случае, говорил он, чем раньше они уйдут из руководства партии, тем

лучше.

Для того времени были еще характерны товарищеские отношения между оппозиционной группой и членами ЦК. Выступление Рыкова прозвучало настолько резко, обидно и вызывающе, что Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Харитонов, Лашевич и некоторые другие – к ним присоединилась и Надежда Константиновна Крупская, которая стала вдруг поддерживать Зиновьева и Каменева, – заявили: «…Если нас так игнорируют, то мы уходим». И демонстративно ушли с этого заседания.

На всех тех членов ЦК, которые хотели сохранить единство, их уход произвел действие шока. Наиболее чувствительный и эмоциональный Орджоникидзе даже разрыдался. Он выступил против Рыкова и со словами «Что ты делаешь?» бросился из зала в другую комнату. Я вышел за ним, чтобы его успокоить. Через несколько минут мне удалось это сделать, и мы вернулись на заседание.

Рыков и Сталин не ожидали такой реакции Серго и других членов ЦК. Серго, конечно, понимал, что Рыков это сделал не без ведома Сталина. Видимо, они заранее сговорились.

Члены ЦК потребовали послать группу товарищей – членов ЦК к Зиновьеву с приглашением вернуться на заседание Зиновьеву и всей группе. Была назначена делегация, в которую вошли Петровский, Шкирятов и я.

Зиновьев и другие ушли с заседания возбужденные, удрученные. Я думал, что мы застанем их в таком же подавленном состоянии, обеспокоенными тем, что случилось. Когда же мы пришли (они были все в секретариате Зиновьева в Кремле), то увидели, что они весело настроены, рассказывали что-то смешное, на столе чай, фрукты. Я был удивлен. Мне тогда показалось, что Зиновьев артистически сыграл удрученность и возмущение, а здесь, поскольку сошел со сцены, перестал притворяться. Все это произвело на меня неприятное впечатление. Но, видимо, все же они были очень рады, что мы за ними пришли, – сразу согласились вернуться. На этот раз разрыв удалось залатать. Примирились. Договорились не обострять положение, сохранить единство. Но на душе было неспокойно.

Дзержинский, может быть, лучше других видел, что дело идет к расколу. Он не терпел Зиновьева и Каменева, считал их очень опасными для партии и, видимо, предвидел, что дело может кончиться плохо. Он считал, что они играют такую же роль, как это было в условиях кризиса советской власти во время Кронштадтского восстания в 1921 г.

Человек эмоциональный, вспыльчивый, Дзержинский на заседании молчал, сдерживая свое возмущение, но чувствовалось,

что он мог взорваться в любую минуту. Когда после заседания он в тесной раздевалке оказался рядом с Надеждой Константиновной, то не выдержал и сказал: «Вам, Надежда Константиновна, должно быть очень стыдно как жене Ленина в такое время идти вместе с современными кронштадтцами. Это – настоящий Кронштадт». Это было сказано таким взволнованным тоном и так сильно, что никто не проронил ни слова: ни мы, ни Надежда Константиновна. Продолжали одеваться и так же молча разошлись в очень удрученном состоянии.

После этого заседания мы зашли к Сталину. В разговоре я спросил, чем болен Рудзутак, серьезна ли болезнь, так как на заседании его не было. Сталин ответил, что Рудзутак фактически не болен. Он нарочно не пошел на это заседание, потому что Зиновьев и Каменев уговаривали его занять пост генсека. Они считали, что на этом заседании им удастся взять верх и избрать нового генсека. По всему видно, что Рудзутак с этим согласился и не пришел на заседание, чтобы не быть в неловком положении, не участвовать в споре ни с одной, ни с другой стороной, сохранив таким образом «объективность», создать благоприятную атмосферу для своего избрания на пост генсека как человека, входившего в состав политбюро, а не «группировщика».

Я не уверен, знал ли Сталин это или предполагал. Скорее всего, предполагал такой вариант. Однако в последующем Рудзутак держался старой позиции и поддерживал Сталина, не проявляя колебаний в борьбе с оппозицией. Я не помню, чтобы Сталин когда-либо делал ему упрек по поводу его «дипломатической болезни», когда он не явился на совещание.

Шел к концу 1925-й год… Атмосфера внутри партии постепенно накалялась. Меня это удивляло, потому что у нас на Юге России было ощущение радости за успехи в развитии края. Мы были настроены оптимистично, а в Москве гремели споры и дискуссии так, как будто бы нас преследовали одни неудачи. В конце декабря, когда моя жена ждала третьего ребенка, я был в Москве. И узнал я о его рождении 20 декабря 1925 г. не от нее, а от других людей. И сразу же послал ей письмо:

> «Дорогая Ашхен!
>
> Почему ты мне не сообщила, что благополучно родила ребенка? Мне сообщили Фаня Зосимовна и Позерн, которому написала жена. Молодчина ты. Рожаешь здорово и все красноармейцев-кавалеристов. Опасался, что ты не возьмешь моего жалованья из крайкома. Я уже послал телеграмму, чтобы занесли домой.

Здесь мы здорово истрепались. Почти не спали и все время были заняты горячими прениями и заседаниями.

Твой А. Микоян. 25/XII 25 г. Москва»

Объединенный пленум ЦК и ЦКК в июле 1926 г. был последним партийным форумом, в котором принимал участие Ф.Э. Дзержинский. Это было время, когда старая троцкистская оппозиция объединилась с новой зиновьевской в одну группировку, развернувшую борьбу против ЦК партии и Сталина.

На пленуме было 11 членов ЦК, входивших в этот троцкистско-зиновьевский блок, что предопределило прямые столкновения по ряду острых политических вопросов, по которым на предыдущем пленуме ЦК оппозиция получила отпор и по которым партийная линия была точно сформулирована. Дзержинский участвовал в обсуждении первого вопроса – о хлебозаготовках. Тогда вокруг этого вопроса сосредоточивался весь комплекс экономических и политических противоречий.

По поручению политбюро ЦК Каменев как нарком внутренней и внешней торговли и кандидат в члены политбюро делал основной доклад по первому вопросу. Это обязывало его не выражать свои личные оппозиционные взгляды, а проводить линию партии. Он сделал деловой доклад, однако в оттенках его выступления была видна его оппозиционная душа – преобладала критика хозяйственного положения в стране, политики партии.

Сразу же после Каменева выступил Пятаков, заместитель Председателя ВСНХ Дзержинского и участник троцкистско-зиновьевской группировки. Произвольно используя финансово-хозяйственные расчеты, он пытался доказать, что деревня богатеет чрезмерно, и в этом он видел большую опасность для дела революции; привел много фактов и данных ВСНХ, на основании которых он хотел показать неправильность политики партии в хозяйственной области, продемонстрировать ее неудачи в этом деле.

Дзержинский был раздражен речью Каменева. Но особенно его возмутило выступление Пятакова, который фактически сделал содоклад (он говорил почти 40 минут, то есть почти столько же, сколько и основной докладчик). От кого он сделал доклад? От ВСНХ? Не может быть, потому что с Дзержинским Пятаков свое выступление не согласовывал, хотя и должен был это сделать. Получилось, что он сделал содоклад от оппозиции.

Это было настолько неожиданно для честного, искреннего Дзержинского, не выносившего фальши и политического интриганства (а именно этим было пропитано все выступление Пятакова), что вывело его из душевного равновесия. Его особенно

возмутило, что с такой речью выступил его заместитель, которому он доверял и с которым работал без разногласий.

Мы сидели с Дзержинским рядом около трибуны. Он мне стал говорить, что больше Пятакова замом терпеть не сможет, нужен новый человек, и просил меня согласиться занять этот пост. Я, считаясь с возбужденным состоянием Дзержинского, спокойно возразил ему, что не подхожу для этой работы, так как не знаю промышленности, буду плохим помощником в этом деле, что можно найти более опытного товарища. Он с этим согласился, но сказал, что вернется к этому разговору после выступления.

Выступление Дзержинского было резким, острым – он не мог говорить спокойно. Речь его прерывалась частыми репликами со стороны оппозиции – Пятакова, Каменева, Троцкого. Дзержинский доказал, что все те доводы, которые приводила оппозиция, основаны не на фактических данных, а на желании во что бы то ни стало помешать той творческой работе, которую ведут пленум и политбюро. Его крайне возмутила реплика Каменева, который, используя самокритику Дзержинского, крикнул: «Вот Дзержинский 45 млн рублей напрасно засадил в металлопромышленность».

После Дзержинского с резкими речами против Каменева и Пятакова выступили Рудзутак и Рыков. Они оба приводили многочисленные убедительные факты совершенно неудовлетворительной работы Наркомторга, который, как они доказали, не справлялся с возложенными на него обязанностями. Особенно обстоятельно раскритиковал установки оппозиции Рыков.

Это не остановило Каменева. В своем заключительном слове он снова допустил грубые нападки на Дзержинского, который очень близко к сердцу принял эти выпады. Дзержинский почувствовал себя плохо и, не дождавшись конца заседания, вынужден был с нашей помощью перебраться в соседнюю комнату, где лежал некоторое время. Вызвали врачей. Часа через полтора ему стало получше, и он пошел домой.

А через час после этого его не стало…

Членам ЦК и ЦКК, собравшимся на вечернее заседание, было объявлено о смерти Дзержинского. Заседание было прервано, работа пленума приостановлена.

22 июля состоялись похороны Дзержинского. Весь состав объединенного пленума провожал гроб с телом Дзержинского от Дома Союзов на Красную площадь…

Разросшаяся фракционная деятельность Зиновьева привела к решению вывести его из состава членов политбюро ЦК. Троцкий

же был оставлен в его составе, потому что тогда он внешне держал себя более лояльно, хотя и не отказался от своих позиций. Каменев, переведенный в январе 1926 г. из членов политбюро в кандидаты, также был оставлен в этом положении.

Смерть кандидата в члены политбюро ЦК Дзержинского и исключение из членов политбюро Зиновьева поставили само политбюро перед необходимостью избрать вместо них новых людей. Представитель ленинградской делегации Комаров, наверное по согласованию со Сталиным и Рыковым, внес предложение перевести из кандидатов в члены политбюро Рудзутака и выбрать не двух, а пять новых кандидатов в политбюро, включив в состав кандидатов товарищей с мест, а именно: Орджоникидзе, Кирова, Андреева, Микояна и Кагановича.

Я сразу же взял слово и высказался против своей кандидатуры, мотивируя тем, что не гожусь для этой роли. «Есть более старые и заслуженные члены ЦК, а я не подготовлен к этой работе и прошу вместо меня избрать другого», – говорил я. Вслед за мной Каганович также предложил отвести его кандидатуру с той же мотивировкой.

Комаров, настаивая на своем предложении, заявил: «Мы считаем, что в такой трудный момент, когда партии угрожает раскол, нужно увязать работу политбюро с местами, что лучше предохранит нашу партию от раскола. Именно поэтому в число кандидатов должны быть введены руководители наиболее крупных промышленных центров, а товарищи Микоян и Каганович являются как раз представителями таких центров». Я подал реплику, что край, который я представляю, не является промышленным центром, поэтому прошу отвести мою кандидатуру.

Председательствующий Рыков взял слово в поддержку предложения Комарова, заявив, что, несомненно, нужно избрать новых людей и что Комаров не сделал никакой ошибки, когда из поколения молодежи выбрал лучших товарищей. Поэтому он предложил «оставить всех названных товарищей кандидатами в члены политбюро ЦК, а Орджоникидзе, который также хотел выступить, слова не давать, потому что ничего нового он не скажет, ибо, конечно, собирается тоже отвести свою кандидатуру».

Предложение Комарова было принято.

Глава 20
Назначение наркомом торговли и перевод в Москву

Через несколько дней после пленума Каменев написал заявление в ЦК, в котором просил освободить его от обязанностей наркома торговли, ибо он с ними не справляется, поскольку не пользуется полной поддержкой со стороны политбюро и правительства. Он предлагал поставить во главе Наркомторга работника, который мог бы рассчитывать на полную политическую и деловую поддержку ЦК и правительства. Он жаловался, что речь Рудзутака дискредитировала его и как наркома, и как политического деятеля и не нашла возражений со стороны других руководящих работников. При этом он предложил на пост наркома мою кандидатуру.

Сталин сразу же сообщил мне в Ростов шифровкой об этом заявлении Каменева и о том, что тот называет меня единственным человеком, который мог бы справиться с обязанностями наркома торговли. Сталин добавил, что отставка Каменева будет неизбежной, что вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни, о чем сообщает мне для сведения.

Я не могу сказать, что эта шифрограмма была для меня полной неожиданностью: о моем возможном назначении наркомом торговли со мной в Москве уже беседовали члены политбюро – Сталин, Бухарин и Рыков. Я категорически отказывался от этого назначения, приводя соответствующие мотивы. Думал, что этим вопрос был исчерпан. Поэтому сразу же написал в Москву о своем категорическом возражении против назначения меня наркомом. Я писал, что совершенно не подготовлен для этого, что у меня нет ни практики, ни соответствующих знаний, ни малейшей уверенности справиться с делом, что готов работать в любой местной организации или за границей, имея в виду партийную работу.

Через неделю я, как и каждый член ЦК, получил на срочное голосование постановление об освобождении Каменева и назначении меня народным комиссаром внутренней и внешней торговли.

Когда я неожиданно получил готовое решение о моем назначении, я был возмущен, обижен и оскорблен тем, что товарищи, которым я так убедительно и горячо объяснял причины своего отказа, подписали это решение. Особенно

обиделся на Сталина, которому так подробно приводил свои доводы. Поэтому сразу же направил ему телеграмму:

> *«Т. Сталину.*
>
> Несмотря на состоявшееся решение политбюро о назначении меня Наркомторгом, я категорически отказываюсь и заявляю, что не могу подчиниться такому решению, ибо совершенно убежден, что мое назначение Наркомом погубит как дело, так и меня. Назначение политбюро меня Наркомом и заявление Каменева, что я «с успехом справился бы с этой задачей», меня ни в чем не колеблет.
>
> В Наркомате внешней и внутренней торговли, где произведено столько реорганизаций и где менялось столько Наркомов, – дело остается неналаженным. Никто еще не смог преодолеть все трудности. Менее всех предыдущих Наркомов можно возложить надежды на меня. Я Наркомторгом и вообще Наркомом не гожусь и не могу взять на себя обязанности сверх своих сил и способностей…»

И еще одно письмо я послал в ЦК, в котором, настаивая на категорическом отказе принять это назначение, приводил, как мне казалось, убедительные доводы против моего назначения: и молодость, и недостаток партийного стажа, и отсутствие соответствующих знаний и достаточной практики. «Я не говорю о том, – писал я в заключение, – что Северо-Кавказская организация против моего отзыва из Ростова. Поэтому прошу наметить другую, более подходящую кандидатуру на пост Наркомторга. В крайнем случае, я готов, против желания, работать в качестве зама при любом Наркоме».

Написав столь решительно о своем отказе принять назначение, я уехал в командировку по краю в Карачаевскую автономную область. Там не было никакой телеграфной связи с Москвой, и я надеялся, что моя телеграмма возымеет действие. Дней пять отсутствовал, успокоился. Вернулся в Ростов – вижу новый нажим – ответ, что мои категорические возражения учитывались при решении вопроса о моем назначении, а это мое письмо будет доложено политбюро. Через два дня последовало новое подтверждение о назначении меня наркомом: политбюро подтвердило это решение, уже утвержденное голосованием всех членов ЦК, и предложило оформить его «в советском порядке», то есть провести через решение СНК.

Ставя меня об этом в известность, Сталин сообщал, что дело конченое, возвращаться назад нет смысла, и предложил мне

немедленно выехать в Москву.

Первый и последний раз в моей жизни я так резко и упорно реагировал на вопрос, который касался моего личного назначения на работу. Чем объяснить такой крутой мой отказ?

Я застал край разобщенным, раздираемым противоречиями как внутри областей, национальных республик, так и между ними. В первые годы фактически велась гражданская война казачества против советской власти. Кроме того, шла вражда между горцами и казаками, шел спор между нациями: ингушами и осетинами, кабардинцами и другими. К 1926 г. удалось объединить край в политическом отношении, добиться консолидации партийных организаций, единства руководства партийными организациями, привлечь казачество и других трудящихся к советской власти. Произошло упрочение советского строя, оживилась экономическая жизнь края, быстрыми темпами шло восстановление сельского хозяйства, была восстановлена промышленность, край богател.

В крае к тому времени были подобраны опытные хозяйственные руководители: Одинцов – по сельскому хозяйству, Иванов – по промышленности, Шатов – в Госбанке, Постников – во главе путей сообщения, Косиор Иосиф – в нефтяной промышленности в Грозном, командование армией – Уборевич, председателем ЧК Евдокимов, члены Военного совета – Володин, Позерн – большевики из Ленинграда, Колотилов – большевик из Иванова. Все это были крупные деятели, которые потом поднялись на всесоюзные посты. Я был уверен в своих силах, успехе, видел, что дела идут хорошо, был увлечен своим делом. Были еще трудности, но они были естественны и преодолимы.

Переход же на новую работу, особенно в Наркомат торговли, меня пугал, потому что там была другая работа, не по хожая на эту. Здесь меня сопровождала удача, она была закреплена, а там могла быть и неудача. Речь шла не о личной неудаче, а о том, что я мог провалить дело и не справиться с возложенными на меня обязанностями, потерять в глазах товарищей то уважение и доверие, которыми до сих пор пользовался. Главное – я боялся, что провалю дело, подведу партию. Это не было просто скромностью. Нет, я действительно очень искренне был против неправильного, с моей точки зрения, назначения меня на пост наркома торговли. Даже после того, как пленум ЦК утвердил мое назначение, когда вышло решение политбюро, я продолжал упорствовать. Тогда Сталин прислал короткую телеграмму: «Приезжай». А «Правда» опубликовала указ о моем назначении. Я поехал все же с надеждой, что можно еще договориться и отменить решение политбюро.

Мы разговаривали со Сталиным обстоятельно. Он поколебал меня своими аргументами, и я перестал возражать уже не только потому, что дальнейшее неподчинение было бы нарушением всех норм партийной дисциплины. Мы со Сталиным были уже на «ты» и дальше всю жизнь были на «ты», так же как с Орджоникидзе, Бухариным, Ворошиловым, Молотовым, Кировым.

Сталин сказал:

«Новое дело – трудное, это правильно. Но скажи, вот Каменев работает. Чем и как он может лучше вести дело? Ничем. Почему? Потому что во многих вопросах внутренней экономической политики Каменев не разбирается, работает поверхностно, ничего не знает о заготовках, плохо разбирается в сельском хозяйстве и других вопросах, которые сегодня являются центром политики. А в этих вопросах ты много развит. В этом деле ты будешь сильнее Каменева. То, чего нет у Каменева, есть у тебя: это экономические вопросы заготовки, торговля, кооперация.

Нельзя также утверждать, – продолжал Сталин, – что мы знаем о работе наркомата меньше, чем ты. Дела там обстоят лучше, чем ты думаешь. Да, внешняя торговля пока играет малую роль. Но во внешней торговле Каменев также не понимает и не имеет опыта. А в наркомате есть опытные работники по внешней торговле, такие, как Стомоняков, Шлейфер, Кауфман, Лобачев, Чернов, по внутренней торговле – Эйсмонт, Вейцер, Залкинд. Они могут поднять любой наркомат и хотят работать с тобой. При наличии таких специалистов ты будешь иметь полную возможность присмотреться к работе, а затем уже уверенно приступить к делу. Поэтому нет оснований сомневаться, тем более что мы будем поддерживать тебя во всем. Не думаешь же ты, что мы хотим твоего провала и допустим такой провал?

Потом, ты недооцениваешь своих знаний и способностей. Ты хорошо знаешь работу кооперации, как потребительской, так и сельскохозяйственной. Ростовская потребкооперация славится как хорошая, и во всем крае она этим отличается. Ведь недавно была брошюра Дейчмана с твоим предисловием, которое так расхваливал Зиновьев, где хорошо и подробно рассказывается о работе потребкооперации в Северо-Кавказском крае. Ты хорошо знаешь, наконец, заготовку хлеба и других продуктов в крае. Этот край в отношении хлеба один из величайших. Так что в области внутренней торговли у тебя опыта больше, чем у Каменева, который не имеет ни опыта, ни представления об этой работе. Впрочем, Каменев вел мало практической работы в наркомате – он больше был занят своей политической оппозиционной деятельностью, а ты будешь работать по-настоящему, и дело пойдет.

Наконец, – сказал Сталин, – Каменев перешел в оппозицию. Известно, что он не пользуется поддержкой ЦК. Работники не будут вокруг него объединяться и не будут с внутренним доверием работать с ним, как с тобой, которому ЦК оказывает полное доверие. Не случайно сам Каменев об этом пишет в своем письме в ЦК. Наконец, будут трудности – ЦК поможет всегда».

Вот этими аргументами Сталин несколько поколебал меня, хотя опасения остались. Но беседа со Сталиным меня подбодрила. К тому же я исчерпал все допустимые партийными нормами возможности добиться отмены этого решения.

В связи с моим отъездом в Москву надо было вместо меня назначить секретаря Северо-Кавказского крайкома партии. Неожиданно по предложению Сталина было принято решение о назначении Серго Орджоникидзе с освобождением его с поста секретаря Закавказского крайкома партии. В беседе со Сталиным я стал возражать против этого назначения, так как знал, что Серго выше меня во всех отношениях: и по партийному стажу, и по опыту руководящей работы, и по авторитету в партии. Теперь же получалось так, что меня назначают на более ответственную работу, а Серго – вместо меня. Впечатление получалось такое, что как работник я расцениваюсь вроде бы выше, что было совершенно неверно и, наверное, обидно для Серго. Меня это очень обескуражило. Я уговаривал Сталина не делать этого. «К тому же, – говорил я, – в политическом отношении должность секретаря Закавказского крайкома более ответственная, чем Северо-Кавказского крайкома партии».

Сталин, не приводя особых аргументов, настоял на своем. Я не мог понять, чем руководствовался Сталин при этом. Он меня не убедил.

Против этого решения Сталина поступил протест и Закавказского крайкома партии, который просил оставить Серго Орджоникидзе на работе в Закавказье. Сам Серго протеста не писал, не просил отменить этого решения, хотя и был недоволен им. ЦК, обсудив протест членов Заккрайкома, отклонил его и подтвердил свое решение о том, что Орджоникидзе должен переехать на работу в Ростов.

Серго, как дисциплинированный коммунист, поехал в Ростов и приступил к работе. Северо-кавказские товарищи, конечно, встретили его с большим удовлетворением, так как высоко ценили его.

При личной встрече с ним я прямо высказал свое недоумение этой перестановкой. Серго мне откровенно сказал, что и он недоволен этим решением, что пошел на это против своей воли, в силу партийной дисциплины.

Обдумывая, что могло лечь в основу этого решения Сталина, я так ни к какому мнению и не смог прийти. Видимо, какая-то трещина пролегла в отношениях между Серго и Сталиным, чем-то Сталин был недоволен Серго. Почему я так думаю?

После смерти Дзержинского на пост председателя ВСНХ был назначен Куйбышев, который был тогда председателем ЦКК и наркомом РКИ. Причем при назначении в ВСНХ Куйбышев не был освобожден от прежних обязанностей, хотя совместительство этих постов совершенно недопустимо как по объему, так и по существу работы.

Жизнь это подтвердила. Осенью того же года на совместном заседании ЦК и ЦКК было принято решение освободить Куйбышева от работы в ЦКК и РКИ, выдвинув на эту работу Серго Орджоникидзе. Секретарем Северо-Кавказского крайкома партии был назначен А.А. Андреев из Москвы, работавший тогда одним из секретарей ЦК партии. Такое решение было совершенно правильным.

Я думал: почему Сталин не сделал этого сразу же, после смерти Дзержинского? Почему ему понадобилось затеять такую игру с Орджоникидзе, с выдающимся деятелем нашей партии? Мне показалось, что Сталин решил осадить Серго и задеть в какой-то мере его авторитет среди кавказских товарищей. Может быть, Сталину хотелось проучить Серго за чтото. Ввиду особой щепетильности Орджоникидзе я не стал допытываться у него, что между ним и Сталиным произошло, а он не счел нужным мне сказать.

Работа в ЦКК и РКИ вполне соответствовала положению и способностям Орджоникидзе. Пожалуй, это была наилучшая кандидатура, которую можно было выбрать среди руководящих работников партии. Орджоникидзе как партийный деятель, как человек пользовался симпатией в партийных кругах. Даже оппозиция считалась с ним, хотя он был ярым ее противником, заняв принципиальную линию в борьбе с ней. Но без нужды он не обострял отношений, не шел на разногласия. Наоборот, принимал все меры к тому, чтобы эти разногласия побыстрее изжить на принципиальной основе.

Получив 17 августа решение политбюро о немедленном вступлении в должность, я пошел на Варварку, в Наркомат торговли (на углу со Старой площадью), на второй этаж в кабинет к Льву Борисовичу Каменеву.

У нас личные с ним отношения были хорошие. Когда я приезжал в Москву, мы с ним часто встречались по делам, не говоря уже о совместном участии на съездах Советов, сессиях ВЦИК, съездах партии и пленумах ЦК. Он отличался

работоспособностью, умел налаживать отношения с людьми; либеральный по характеру, интеллигент, без грубостей, располагал к общению. Хотя разногласия у нас были, но наши отношения были нормальными.

Каменев знал, что я все время старался, чтобы лидеры нашей партии не разошлись и продолжали сохранять единство. Он ценил эту мою линию. И я знал, что он не такой уж драчун, который лезет в драку особенно рьяно. Я питал некоторое уважение к нему как к политическому деятелю, хотя не мог забыть его ошибок 1915 и 1917 гг. Но поскольку после этих событий Ленин сделал его своим заместителем, и он вел борьбу против Троцкого вместе с Лениным и после него и в этой борьбе мы были вместе, я относился к нему неплохо.

Зашел к нему. В кабинете мы были вдвоем. Поздоровавшись, я сел в предложенное мне кресло, стоявшее у его маленького письменного стола. В таких случаях можно было производить прием и сдачу дел официально, создавать правительственную комиссию по приему и сдаче дел. Я решил избавить Каменева от всех этих формальностей, да и Сталин не поставил вопроса о создании такой комиссии. К тому же Каменев всего полгода был наркомом. Я только сказал ему: «Я этого поста от вас не добивался, понимаю большую тревогу вашу за работу наркомата, сам очень тревожусь, что не справлюсь с делом».

Он стал уговаривать меня, что я справлюсь вполне, лучше, чем он. Он подчеркнул, что в существующей политической обстановке, в условиях острых разногласий в руководстве партии в Наркомате торговли сосредоточены острые противоречия между промышленностью и сельским хозяйством, по вопросу об отношении к крестьянству. В этих условиях нарком торговли может успешно работать только при полном доверии ЦК. Он, Каменев, этим доверием не пользуется, в то время как мне обеспечена полная поддержка ЦК в работе. Затем он стал излагать свои крайне пессимистические взгляды на положение дел в стране. Он почему-то счел нужным более откровенно, чем на пленуме ЦК, изложить свою линию в оценке положения в наркомате, считал даже его катастрофическим в стране и партии, обнаружив при этом потерю веры в дело победы социализма.

У меня создалось впечатление, что он находится в полной прострации. Я увидел его таким жалким, ничтожным, что был ошарашен, особенно потому, что я видел на примере Северного Кавказа, как успешно развивается страна экономически и политически, как растет влияние партии в Советах, в народе, как крепнет Советское государство.

Беседа продолжалась чуть более получаса. Говорил все время

он, я все слушал, пораженный. В конце только коротко сказал о моем полном несогласии с ним, о том, что должен приступить к работе и не имею сейчас времени спорить с ним, да и нужды в этом сейчас нет. Мне стало яснее, чем раньше, как далеко он отошел от партийной линии, как глубоки наши разногласия как с точки зрения теоретической, так и политической, как он оторвался от жизни и потерял веру в силы партии и пролетариата.

Эти его откровенные высказывания произвели на меня такое сильное впечатление, что, как только он ушел, я сразу записал в блокноте на одной странице синим карандашом главные тезисы его высказываний. Эта запись сохранилась, и я привожу ее без всяких поправок.

«26 г. 17. VIII. Москва, т. Каменев в беседе со мной при сдаче дел.

1. Вы получаете формальную рухлядь.
2. Комиссариат без идеологии и без перспектив.
3. Продукция страны растет, а экспорт сокращается.
4. Причины – потребление в стране растет настолько быстро, что не дает возможности усилить экспорт.
5. Положение настолько безвыходное, что здесь требуются меры, которые не зависят от Наркомторга, которые можно принять за ответственностью всей верхушки партии.
6. Объединение частных торговцев-розничников не представляет никакой опасности. Разговоры о политической опасности от этого – сущие пустяки.
7. Комиссариат не имеет никакого авторитета, его третируют всюду. Отсюда отсутствие уверенности и растерянность работников Комиссариата.
8. Материальное положение Комиссариата катастрофическое.

1. Мы идем к катастрофической развязке революции.
2. По всем законам марксизма на девятом году революции не может дело обойтись без глубокого кризиса.
3. Правда, этот кризис в партии наступает раньше, чем в стране. Необходимо дать выход пролетарским тенденциям, надо дать легальную оппозицию».

Никогда и никто из членов политбюро так просто и открыто не говорил о полном политическом падении. Каменев вбил себе в голову мысль о неизбежности кризиса всякой революции, кризиса, конечно, того типа, который пережила Французская революция, то есть термидорианское перерождение. (В этой

беседе и, кажется, до этого он о перерождении нашей революции не говорил. О буржуазном перерождении нашей революции он стал говорить позднее.) Но то, что Каменев говорил, как говорится, от души, а не для того, чтобы меня убедить или спорить со мной, было поразительным. Как такой человек мог дойти до этого?! Как, наконец, он мог допустить создание оппозиционной «пролетарской» партии? То есть надо было понять так, что он уже покидает ряды нашей партии, организует другую партию, называя ее «пролетарской», считая нас буржуазными перерожденцами.

Мне стало ясно, что это уже совсем чужой человек. Тем более что он и его друзья-оппозиционеры, к сожалению, своей деятельностью подтвердили опасения Ленина в предоктябрьские дни…

Итак, с чего-то нужно было начинать, и я пригласил руководящих работников наркомата, представился им. Сказал, что ЦК хорошего мнения о руководящих кадрах наркомата и я надеюсь на их поддержку в работе. Закончил я так: «Конечно, это дело я не знаю, оно для меня новое. Я буду учиться, набираться опыта и знаний у вас. Когда мне будет что-либо неясно, я не буду стесняться и прямо буду у вас спрашивать. Я полагаю, что это не должно компрометировать мой авторитет в ваших глазах, потому что лучше сказать открыто, что не знаешь, и спросить совета, чем оставаться в невежестве. И вас также прошу, когда вы не сможете дать точного ответа в решении вопроса, то прямо так и скажите и постарайтесь потом узнать и сказать. Я буду вызывать вас к себе группами или в отдельности и принимать вас тогда, когда вы захотите иметь встречу со мной как наркомом. В своей работе я буду руководствоваться линией нашей партии и решениями Центрального Комитета и правительства и буду от вас требовать того же. Я надеюсь на поддержку не только коммунистов, но и беспартийных».

Вскоре мне пришлось на день-два вернуться в Ростов, чтобы формально сдать дела. Ашхен увидеть не удалось, она находилась в горном курорте Кабардинка уже с тремя детьми. Из Ростова я ей написал следующее письмо:

«7/IX

Дорогая, милая Ашхен!

Я съездил в Москву, чтобы отбиться от назначения в Наркомторг. ЦК заставил немедленно приступить к делу. Я уже неделю работаю в Москве. Адски тяжелая работа. Я потерял в весе 10 фунтов – теперь вешу три пуда 20 фунтов (ок. 58 кг. – С. М.). Чувствую себя усталым, но

некуда деться. Надо работать. Имел в виду заехать к тебе, но в четверг и пятницу меня обязали быть в Москве – там в правительстве стоят мои доклады. Так что никак не мог заехать к тебе.

Квартиру в Москве обещали 15–20 сентября. Я думаю, что ты останешься в Кабардинке до 15 сентября. Тебе помогут переехать в Ростов. Неделю здесь пробудешь, а потом приедешь в Москву.

Надо, чтобы к 15 сентября Маня приехала бы в Ростов, ибо без нее трудно будет собрать библиотеку (правда, я уже ящики приготовил).

Обо всем этом я тебе еще напишу и денег пришлю.

Мой адрес в Москве: Москва, Варварка, Наркомторг, Народному Комиссару лично.

Да, Гайка не приняли в Воен. Академию, из-за слабой груди, и не допустили к экзаменам.

Напиши мне, пожалуйста, обо всем свои соображения.

Крепко, крепко целую тебя, твой Анастас».

Через два или три месяца парторганизация предложила мне выступить на партийном собрании с докладом о работе наркомата и задачах, стоящих перед ним. Дело в том, что я в Москве, как и в Ростове и в Нижнем Новгороде, на партийном учете состоял не в учреждении, где работал, а в заводских предприятиях. В Москве я состоял на партучете на заводе «Красный пролетарий», где состою на учете и до сих пор.

Я был молодым наркомом – мне был всего 31 год. На этом собрании было много сторонников Каменева и Зиновьева, настроенных оппозиционно к новому наркому. В зале раздавались выкрики, реплики с мест с целью сорвать мое выступление. В связи с этим вспоминаются два эпизода.

Некий Зингер, коммунист, ответственный работник, человек горячий, экспансивный, во время моего выступления все время вскакивал с места, кричал, подавал реплики. Мне трудно было понять, о чем он кричит. Я пропускал мимо ушей все его реплики, чтобы толково закончить доклад, потому что тогда доклады не читали, выступали без текста. Когда же он совсем уже надоел своими частыми репликами, я обратился к нему с вопросом: «Товарищ, что вы кричите беспрерывно? Ничего нельзя понять, что вы хотите сказать, о чем вы просите. Вы ведете себя не как коммунист, а как маленький ребенок, который кричит, а раз кричит, то у него есть на это основание. Но из крика нельзя понять, что у него болит. Советую вам подождать до конца моего

выступления, а затем выступить. И не как ребенок, а как взрослый ответственный человек, и высказать свои претензии».

Это было так остро и с юмором сказано, что собрание восприняло мое замечание хохотом и аплодисментами. Этим маленьким эпизодом один из оппозиционеров был сбит с ног.

Потом один из старых большевиков, из рабочих, коммунист Шатров, лет сорока – пятидесяти, с места дает реплику: «Вы, товарищ Микоян, очень молоды, чтобы быть наркомом и читать нам лекции!»

Я не растерялся и сказал: «Товарищ Шатров, у нас на Кавказе принято, что любой человек, независимо от его подготовки, ума и способностей, не имеет права высказываться при старших, если этому человеку не стукнуло хотя бы 40 лет. Мне 31. Вы что, хотите, чтобы эти кавказские нравы были распространены на всю партию и советскую власть?»

Это тоже вызвало общий хохот и аплодисменты.

Как ни увлекала и ни отнимала все мое время новая работа, я все же беспокоился об Ашхен, которой предстояло как-то управиться со всеми домашними сборами сначала в Кабардинке, затем в Ростове и с тремя детьми (старшему из которых было четыре года) перебраться в Москву. Я уже привык к семейной жизни и жить одному, вдали от жены и детей было тоскливо. Поскольку я никак не мог вырваться, чтобы их перевезти, я просил своих прежних товарищей по работе помочь Ашхен, что они с удовольствием и обещали сделать. Об этом же я просил ее сестру и брата. В сентябре 1926 г. я писал ей:

«Дорогая, милая моя Ашхен!

Получил твое письмо. Гайк, наверное, уже у тебя. Он и привезет тебя в Ростов. Если же Гайка нет, обратись от моего имени к секретарю Черноморского Комитета партии т. Подгорному, он даст машину и доставит в Ростов.

В Ростове все устроит Чуднов. Ты там посмотри, может быть, лучше будет, чтоб книги твои не взяла бы с собой, а товарищи привезут.

В Москве мне квартиру уже предоставили, в Кремле четыре комнаты (две большие, две маленькие). Устроимся неплохо, хотя немного будет тесно. Удобно то, что внизу находится столовая Совнаркома, откуда будем брать готовые обеды и ужины – за 20 руб. на каждого взрослого в месяц.

Кроме того, уборка комнат ежедневно производится

управлением Кремля. Так что обойдемся без прислуги. Сережу[1] и свою мать взять не могу. Негде их устроить, квартира тесная. Надо об этом написать домой. Квартира будет обставлена мебелью к 20 сентября. С собой детских кроватей брать не надо – все есть. Когда ты будешь в Ростове, попытаюсь ночью поговорить по телефону.

Я еще живу в гостинице, через неделю перееду в квартиру.

Надо, чтобы Маня сейчас уже выслала документы в Университет. Занятия уже начались 1-го сентября.

Твой А. Мик».

Вскоре моя семья присоединилась ко мне. Но она и в Москве продолжала разрастаться: 1 сентября 1927 г. родился четвертый сын, названный Вано (хотя очень скоро все его стали называть Ваня). Уже 2 сентября я передал Ашхен в роддом им. Грауэрмана – возле ресторана «Прага» на Арбатской площади – записку, а потом вторую:

«Милая Ашхенушка!

Утром позвонили мне, сказали, что меня пропустят к тебе от 3 до 7 часов. Пришел с заседания, говорят, что только записку можно передавать. Оказывается семь дней не дадут совершенно повидаться. Чертовские правила! Ты молодчина, милая. Пришел я домой ночью в 3 часа, не мог спать до 5. В 4 часа позвонил врач, что ты уже родила.

Молодчина ты, держись крепко и поправляйся.

Крепко целую, Арташ».

Сергей Симонян, племянник А.И. Микояна, в будущем полковник бронетанковых войск. В настоящее время на пенсии.

«Дорогая Ашхенушка!

Пришли записочку, пожалуйста. Посылаю бумагу и карандаш. Когда нужно будет, можешь поручить позвонить мне или Ефимову – пошлем за получением записок.

Я не знаю, как обстоит дело с твоим питанием. Как кормят? Что надо тебе отсылать? Завтра я кое-что пришлю, но лучше ты сама напиши. Вчера поздно ночью с тремя товарищами из Комиссариата был в Зубалове.

Ночевали и утром уехали. Дети здоровы и очень хорошо себя чувствуют.

Екат. Серг.[7] прислала со мной тебе варенье.

Сегодня отправлена телеграмма в Тифлис.

Крепко целую – Арташ».

Тот факт, что у меня дети появлялись один за другим и их стало больше, чем у всех моих товарищей (хотя по меркам семей, где выросли Ашхен и я, это и не так много), вызывало по отношению ко мне массу поздравлений и шуток – особенно по поводу того, что у нас с Ашхен были только мальчики. Однако мы с ней тоже хотели девочку. И вот, когда в 1929 г. Ашхен вновь ожидала ребенка, мы оба надеялись, что на этот раз наконец будет девочка. Но опять 5 июня 1929 г. родился мальчик, которого мы назвали Серго – в честь Орджоникидзе. Серго Орджоникидзе очень любил моих детей и уделял им внимание. Может быть, это обостренное чувство возникло из того, что у них с Зиной не было детей, они удочерили девочку, назвав ее Этери. Борис Пильняк, известнейший тогда писатель, подарил мне свой новый роман в трех книгах с надписью: «Дорогой Анастас Иванович, ура – за двенадцать сыновей!»

Имя Бориса Пильняка напоминает мне о его трагической участи. Он был расстрелян в 1937 г., что не могло быть сделано без личного указания Сталина. Лев Степанович Шаумян напомнил мне уже после смерти Сталина возможную причину гибели Пильняка. После того, как осенью 1925 г. умер в результате операции язвы желудка М.В. Фрунзе, по Москве пошли слухи, что смерть его была не случайной. Борис Пильняк опубликовал в «Новом мире» (№ 4, 1926 г.) повесть «Свет непогашенной луны» с подзаголовком «Смерть командарма». Это было художественное произведение, однако автор прозрачно намекал на неслучайность гибели Фрунзе. Затем редколлегия признала публикацию повести своей ошибкой. Номер журнала с повестью изъяли из продажи и библиотек. Для тех лет то был чрезвычайно редкий случай.

Я хорошо помню некоторые обстоятельства, связанные с операцией и смертью Фрунзе. В двадцатых числах октября 1925 г. я приехал по делам в Москву и, зайдя на квартиру Сталина, узнал от него, что Фрунзе предстоит операция. Сталин был явно обеспокоен, и это чувство передалось мне. «А может быть, лучше избежать этой операции?» – спросил я. На это Сталин ответил, что он тоже не уверен в необходимости операции, но на ней настаивает сам Фрунзе, а лечащий его виднейший хирург страны

Розанов считает операцию «не из опасных».

«Так давай переговорим с Розановым», – предложил я Сталину. Он согласился. Вскоре появился Розанов, с которым я познакомился годом раньше в Мухалатке. О нем я знал также и от одного из его непосредственных помощников, моего школьного товарища доктора Гардишьяна, с восхищением отзывавшегося о Розанове как о великом хирурге и превосходном человеке.

Пригласив Розанова сесть, Сталин спросил его: «Верно ли, что операция, предстоящая Фрунзе, не опасна?»

«Как и всякая операция, – ответил Розанов, – она, конечно, определенную долю опасности представляет. Но обычно такие операции у нас проходят без особых осложнений, хотя вы, наверное, знаете, что и обыкновенные порезы приводят иной раз к заражению крови и даже хуже. Но это очень редкие случаи».

Все это было сказано Розановым так уверенно, что я несколько успокоился. Однако Сталин все же задал еще один вопрос, показавшийся мне каверзным:

«Ну а если бы вместо Фрунзе был, например, ваш брат, стали бы вы делать ему такую операцию или воздержались бы?» – «Воздержался бы», – последовал ответ. Ответ нас поразил. «Почему?» – «Видите ли, товарищ Сталин, – ответил Розанов, – язвенная болезнь такова, что, если больной будет выполнять предписанный режим, можно обойтись и без операции. Мой брат, например, строго придерживался бы назначенного ему режима, а ведь Михаила Васильевича, насколько я его знаю, невозможно удержать в рамках такого режима. Он по-прежнему будет много разъезжать по стране, участвовать в военных маневрах и уж наверняка не будет соблюдать предписанной диеты. Поэтому в данном случае я за операцию».

На этом наш разговор закончился: решение об операции осталось в силе.

В день, когда Фрунзе прооперировали, я вновь был у Сталина. Здесь же находился и Киров, приехавший по делам из Ленинграда. Решили без предупреждения врачей посетить Фрунзе и втроем направились в Боткинскую больницу. Там нашему приходу удивились. Заходить к больному не рекомендовали. Кроме Розанова там были Мартынов и Плетнев (последний спустя десяток лет проходил как подсудимый по одному из процессов и был расстрелян по обвинению в том, что по заданию Ягоды способствовал смерти М. Горького и других лиц).

Подчинившись совету врачей, мы написали Михаилу Васильевичу небольшую теплую, дружескую записку с пожеланиями скорейшего выздоровления. Писал ее Киров, а подписали все трое.

Однако все сложилось трагично. 31 октября 1925 г. Фрунзе не стало.

Лева Шаумян, а также А.В. Снегов говорили мне, что сам Фрунзе в письмах жене возражал против операции, писал, что ему вообще стало гораздо лучше и он не видит необходимости предпринимать что-то радикальное, не понимает, почему врачи твердят об операции. Это меня поразило, так как Сталин сказал мне, что сам Фрунзе настаивает на операции. Снегов тогда сказал мне, что Сталин разыграл с нами спектакль «в своем духе», как он выразился. Розанова он мог и не вовлекать, достаточно было ГПУ «обработать» анестезиолога. Готовясь к большим потрясениям в ходе своей борьбы за власть, говорил А.В. Снегов, Сталин хотел иметь Красную армию под надежным командованием верного ему человека, а не такого независимого и авторитетного политического деятеля, каким был Фрунзе. После смерти последнего наркомом обороны стал Ворошилов, именно такой верный и в общем-то простодушный человек, вполне подходящий для Сталина.

Став наркомом внутренней и внешней торговли, я вошел в круг общехозяйственных вопросов страны и, проработав в этой области в течение четырех лет, приобрел опыт и знания.

Правильность объединения Внешторга с Внуторгом, имевшего место в конце 1925 г., была сомнительной. Очень трудно было совмещать в одном наркомате эти отрасли хозяйства.

В объединенном наркомате были две коллегии: одна – по внешним делам, другая – по внутренним. Я был председателем обеих коллегий. Было установлено, что на заседания коллегии внешней не вызывались работники внутренней и на оборот.

Самым подготовленным был Двойлацкий, который был особенно силен в области банковского и валютного дела. Он имел специальное образование и проходил стажировку в Парижском советском банке, начиная с кассира. По внутренней конъюнктуре специалистом был Залкинд. Он действительно хорошо все это знал, следил за информацией и добросовестно, объективно докладывал. Лобачев руководил Всесоюзной организацией по заготовкам хлеба. Параллельно с ним заготовки хлеба вели Сельхозкооперация и Госбанк.

Наркомторгу было подчинено несколько десятков универмагов. В розничной торговле большое место тогда занимал частный капитал – по разным товарам в разной степени. Сбыт продукции государственной промышленности осуществлялся синдикатами и их филиалами на местах, подчиненными ВСНХ.

Наркомторг во всех этих областях свою деятельность ограничивал главным образом функциями регулирования правил торговли и политики розничных цен. По оптовым ценам Наркомторг давал заключения, но сам решения не принимал, хотя изучал и имел свои позиции по обсуждаемым вопросам с ВСНХ и СТО.

Весной 1927 г. предстоял пленум ЦК партии. Главный вопрос – о заготовках хлеба, о мясе для снабжения населения, о валюте для закупки сырья и оборудования для промышленности, о заготовительных ценах. Сталин внес предложение в политбюро назначить докладчиком по вопросам хлебозаготовок меня как наркома, считая, что вокруг этого вопроса развернутся прения.

Мне нравилось, как Сталин вел себя в этот период борьбы с оппозицией. Доклад был фактически отчетным, и поэтому было ясно, что развернется дискуссия о политике партии.

Я опасался, насколько хорошо мне удастся выполнить порученное дело. Сказал об этом Сталину. Он меня успокоил, заверив, что получится хорошо, только просил показать конспект.

Я набросал конспект и ему прочитал. Он сделал несколько замечаний, которые придали более осторожный характер выражениям и оценкам в моем докладе по вопросам, по которым мы сталкивались с оппозицией. Он объяснил это тем, что не надо обострять обстановку: «Пусть, если хотят, инициативу в этом деле возьмут на себя. Они раскроют все свои карты, и нам легко будет их идейно разбить».

И действительно, во время моего доклада были острые нападки оппозиции, причем участвовали все ее лидеры. Я парировал реплики, беря их же на вооружение там, где они могли пригодиться против оппозиции. Мне помнится, что Троцкий в своем выступлении очень подробно остановился на состоянии мирового рынка и его влиянии на экономику Советской страны. К этому времени на мировом рынке появились признаки кризиса: внешняя конъюнктура ухудшилась, стали падать цены на товары. Я, конечно, тоже об этом говорил. Я был высокого мнения об эрудиции Троцкого по части знания мирового рынка и капитала – он много жил за границей, а я был еще молодой и недостаточно опытный в таких делах. Но когда я послушал его выступление, оно показалось мне мелким и неумным, даже безграмотным. Он утверждал, что, начав торговать с капиталистическим миром, советская экономика вступит в мировой рынок и поэтому кризис в капиталистических странах охватит и нашу страну.

Я на практике уже знал, что это неверно, потому ответил ему, что выступление его неправильно. Я сказал, что, во-первых, при наличии монополии внешней торговли и планового руководства основными рычагами страны со стороны пролетарского

государства наша экономика ограждена от вредного влияния капиталистического рынка. Внутренние цены мы строим независимо от того, что имеется на мировом рынке, и продаем и покупаем на мировом рынке в связи с той конъюнктурой, которая там есть, без того, чтобы расшатать нашу экономику. К тому же практика, итоги нашей работы за несколько месяцев до кризиса показали, что если мы потеряли на падении цен экспортных товаров известную сумму, то зато выиграли на том же падении цен импортных товаров, которые идут к нам по линии мирового рынка. Даже с точки зрения материальных потерь выходим из этого кризиса фактически «так на так», как будто его и не было, и, поскольку валютная касса у нас единая, потери экспорта покрываются импортом, баланс почти не меняется, а иногда меняется к выгоде.

Я был доволен, что пленум очень хорошо принял мое выступление. И Троцкий, который любил давать реплики, сидел как будто прибитый и не находил что сказать. Надо признаться, я был доволен самим собой в стычке с Троцким по этому вопросу. Сталин сидел, слушал, реплик не подавал.

После 15–20 ораторов – оппозиционеров и наших сторонников, – когда со стороны оппозиции были исчерпаны все аргументы и высказаны все контраргументы со стороны ЦК, взял слово Сталин. Спокойно, методично, без ораторских приемов стал подводить итоги прениям, опровергая главные положения оппозиции, без ругани, без нападок, но с твердой, объективной оценкой. Оппозиция выглядела глупо.

Для заключительного слова у меня было мало времени, но мне было легко – так много сделал Сталин. Было приятно видеть, как Генеральный секретарь партии начал бой с оппозицией: выпустил на поле боя сначала в лице докладчика не главную силу, дал возможность сторонникам линии ЦК вступить в драку с оппозицией, а когда все карты оппозиции были раскрыты и частично биты, он сам стал их добивать со спокойствием и достоинством, не в тоне обострения, а, наоборот, успокоения.

Поведение Сталина на этом пленуме говорило в его пользу. С одной стороны, он, предоставляя возможность выступить не руководящим работникам ЦК, а, так сказать, работникам «среднего калибра», давал нам возможность учиться принимать удары на себя, наносить контрудары, учиться полемике. С другой стороны, это облегчало выявление главных доводов противников в спорах с ними, что помогало ему наносить завершающие удары. А главное то, что в этой роли Сталин выглядел скромным, подтянутым, не задиристым, а как бы обороняющимся.

До этого были случаи, когда он вел себя не так, как здесь, и,

по-моему, неправильно, например, в связи с брошюрой Зиновьева. Тогда он изменил своему умению владеть собой и правильной тактике борьбы с оппозицией. Но в целом, за этими изъятиями, создавалось впечатление, что борьба с оппозицией ведется правильно с точки зрения партийных норм.

Сегодняшнему читателю, видимо, надо дать некоторые разъяснения о тогдашней внутрипартийной жизни, о дискуссиях, оппозиционных течениях и т. д. Прежде всего надо помнить, что дискуссии эти были именно внутрипартийными, то есть велись споры между единомышленниками в главном – то есть между людьми, являвшимися коммунистами, целью которых было строительство нового общества. Конечно, порой некоторых так заносило, как, например, Троцкого, что личные амбиции на непогрешимость и правоту всегда и во всем в силу самой логики борьбы переходили грань допустимого, проявляли неподчинение решениям большинства, то есть нарушали устав партии. Думаю, что в отношении некоторых других руководителей, включая Сталина, также можно сказать, что к идейной борьбе примешивался личный фактор, соперничество за престиж и руководящие позиции в партии. Но для громадного большинства других членов партии было ясно одно – в трудных условиях первых лет существования первого в мире социалистического государства опасность раскола партии означала опасность гибели революционных завоеваний. Вместе с тем можно понять, что многие члены партии, не имея готовых рецептов строительства социалистического общества, не видели в дискуссиях ничего удивительного, с жаром в них участвовали. Я бы даже сказал, что в ходе дискуссий рос теоретический и политический уровень коммунистов, ибо они заставляли окунаться в марксистскую литературу, сравнивать тезисы различных лидеров течений и т. д. Кстати, и Ленин вовсе не был противником дискуссий. Он вовсе не считал криминалом (в отличие от Сталина в 30-х г.), а наоборот, нормальным явлением расхождение чьих-то мнений со своими собственными. Убеждать, доказывать, аргументировать – это он делал. Но преследовать за иные взгляды на ход общего дела – это ему и в голову не приходило. Другое дело, что для большинства из нас, не очень подкованных или не ставших корифеями в идеологии, мнение Ленина часто становилось правильным уже по той причине, что оно – ленинское. Но даже при этом если по отдельным вопросам мы считали себя подкованными, то могли поспорить и с Лениным. И никто не видел в этом ничего странного.

Увлечение дискуссиями иногда доходило, правда, до курьезов. Например, как-то я узнал, что мой большой друг по

Баку Бесо Ломинадзе, работавший в Орле секретарем губкома, занял в ходе дискуссии, прошедшей там, позиции Троцкого. При первой же встрече я с недоумением спросил его – неужели он стал сторонником Троцкого? Бесо объяснил: «Да нет же! Просто у нас не было никаких дискуссий. Вот мы и подумали с председателем губкома – а что, если организовать дискуссию? А то в других городах идет бурная жизнь, люди спорят, а у нас затишье. Распределили роли: я буду защищать тезисы Троцкого, а он их оспаривать!» Я попенял Бесо за мальчишество. И правду сказать, был он очень молод, как многие из нас.

Несколько позже, уже в 1928 г., меня поразил такой разговор. Не только меня, но и Орджоникидзе и Кирова. Мы были вечером на даче у Сталина в Зубалове, ужинали. Ночью возвращались обратно в город. Машина была открытая. Сталин сидел рядом с шофером, а мы с Серго и Кировым сзади на одном сиденье.

Вдруг ни с того ни с сего в присутствии шофера Сталин говорит: «Вот вы сейчас высоко цените Рыкова, Томского, Бухарина, считаете их чуть ли не незаменимыми людьми. А вскоре вместо них поставим вас, и вы лучше будете работать».

Мы были поражены: как это может быть? Во-первых, и я, и Серго, и Киров действительно знали и искренне думали, что Рыков, Томский, Бухарин опытнее нас, лучше работают, просто у каждого было свое место.

Эта мысль потом нас не покидала. Мы ходили с Серго и Кировым и думали: что со Сталиным происходит, чего он хочет? Такое сужение руководства, почему он предполагает это сделать, зачем? Эти люди хотят со Сталиным работать. К тому же не было серьезных принципиальных разногласий. Одно дело – разногласия с Троцким. Мы жалели зараженные троцкизмом кадры, однако политическая необходимость их отстранения от руководства была ясна. Но Рыкова, Томского, Бухарина и даже Зиновьева и Каменева мы честно не хотели отсекать.

Орджоникидзе и я на XIV партконференции и XIV партсъезде выступали за единство, за то, чтобы все руководство партии, о котором упоминал Ленин в своем завещании, осталось в сохранности, возникающие разногласия обсуждать, но не отсекать людей. Но план замены Томского, Рыкова, Бухарина и других в такой момент явно не вытекал из острых разногласий. Видимо, эта цель Сталиным была поставлена, и он ее, конечно, достигнет.

Эта фраза Сталина вызвала у нас очень много недовольства его политикой, что раньше бывало редко и быстро проходило. Раньше мы забывали о своем недовольстве, считали, что Сталин правильно поступает и что другого пути и выхода не было.

В том же 1928 г. у меня был небольшой конфликт со

Сталиным из-за Красина, которому Сталин, видимо, так и не мог простить проигранного им спора о монополии внешней торговли из-за вмешательства Ленина. Конфликт этот обнаружил для меня такую черту Сталина, как злопамятность.

Последние годы жизни Красин тяжело болел. В ноябре 1926 г., живя в Лондоне, он скончался.

Примерно через год в наркомате было решено издать сборник избранных работ Красина по вопросам внешней торговли (в помощь главным образом молодым руководящим кадрам).

В этой книге было собрано все наиболее значительное из написанного и высказанного Красиным по вопросам внешней торговли – статьи, доклады и речи, наиболее интересные беседы.

Я всемерно содействовал изданию этого сборника и написал для него предисловие[8].

В этом предисловии я писал, что, когда в начале нэпа среди оппозиционеров и некоторых хозяйственников наметилась тенденция ослабить монополию внешней торговли, Красин рука об руку с Лениным отражал все нападения на монополию, откуда бы они ни исходили. Далее я отмечал, что под охраной монополии внешней торговли страна могла не только восстановить промышленность, сельское хозяйство и транспорт, но и реконструировать все народное хозяйство по линии индустриализации страны. В самые тяжелые моменты социалистического строительства монополия внешней торговли охраняла самостоятельность нашего развития, устойчивость нашей валюты и излечивала те раны, которые наносились нам выявлявшимися затруднениями.

Однажды, когда сборник работ Красина только еще появился в продаже, в беседе со Сталиным (кстати, совсем на другую тему) он спросил меня: «А почему ты допустил издание книги Красина, да еще снабдил ее своим хвалебным предисловием? Ведь у Красина было немало ошибок как в бакинском подполье, где мы с ним вместе работали, так и при советской власти. Ты же знаешь, что Красин преувеличивал значение заграничного капитала для восстановления нашей экономики и в этом вопросе неправильно выступал на XII съезде партии».

Я был поражен, как это Сталин при своей загрузке сумел так быстро познакомиться с этой книгой. Что же касается заданного мне вопроса, то я ответил на него очень коротко:

– Мне не известен характер ошибок Красина в подполье. О его ошибочном выступлении на XII съезде знаю. Но знаю и то, что он всегда последовательно проводил ленинскую линию в области монополии внешней торговли, и в этом вопросе Ленин на него опирался. Критикуя отдельные его недостатки (как и многих

других), Ленин, однако, давал Красину в целом высокую оценку. По-моему, этого достаточно, чтобы наше отношение к Красину было положительным и чтобы книга его была издана.

Сталин ничего мне на это не ответил, и к этому вопросу мы больше не возвращались.

Работа в новом наркомате была чрезвычайно напряженной. Чувствуя себя измотанным, я взял отпуск в 1928 г. До этого, как и после этого, я отдыхал редко, по нескольку лет вообще не беря отпуск. И вот я попал в санаторий Совнаркома СССР в Мухалатке (в Крыму). Лучше всего об этом расскажут мои краткие письма Ашхен из Мухалатки, которые она бережно хранила:

> «Дорогая Ашхенушка-джан[9].
>
> Ты мне совсем не пишешь. А я – с каждой станции по три письма…
>
> Здесь замечательно хорошо. Компания также очень хорошая. Жаль только, что Рыков болеет. Играем в теннис, катаемся на лодке, едим и спим. Скоро и купаться буду. Здесь три доктора-знаменитости (один уже уехал). Меня осмотрели и разрешили купаться.
>
> Сегодня уезжает Карахан (жаль, хороший, компанейский парень) и Нина Семеновна.
>
> Завтра приезжает Товстуха[10].
>
> Кто-то сегодня остроумно сказал, что мы образовали здесь Мухалатский мужской монастырь большевиков во главе с игуменом Петровским (старик)[11]. Это верно, единственная женщина – Рыкова – сегодня уехала. Живем замечательно, погода хорошая.
>
> Крепко обнимаю и целую тебя, дорогая Ашхеночка.
>
> *Твой А. Микоян*»
>
> P.S. Да, когда выехала в Зубалово, напиши. Как дети, пиши обязательно.
>
> *АМ»*

> «Дорогая, милая Ашхенушка-джан!
>
> Получил твое письмо. Но ведь ты у меня в долгу. Получила от меня два письма, а написала одно. Пиши, милая, а то рассержусь на тебя. Это хорошо, что дети здоровы. Угланов[12] приехал и говорит, что все там кричат и орут. Хорошо, что Углановы тоже приехали. Не будет так сильно скучать. Ек. Серг. уже переехала к нам или нет?
>
> Что пишут о здоровье Мани? Она уже поправилась? Как твоя мать там устроилась? Не болеет? Как Гайк и

Анушаван? Нет писем из дому? Ты отослала деньги? Что пишут?

Вот видишь, какая куча вопросов, на которые ты мне должна ответить.

Я поправляюсь очень хорошо: прибавил уже 6 фунтов. Мускулы окрепли. Я стал черный, как араб.

Два или три дня как приехала Полина Семеновна. Я ее ругал, что не успела там она повидаться с тобой или переговорить по телефону перед отъездом.

Завтра выезжает отсюда Рыков. Врачи потребовали его отъезда в Москву. Он уже полтора месяца лежит в кровати. Дрянная затяжная болезнь – ревматизм. Температура все время немного повышается. Мы с Молотовым ездим верхом, играем в теннис, в кегельбан, катаемся на лодке, стреляем, словом, отдыхаем прекрасно. Комната очень хорошая. Остаемся здесь после отъезда Рыкова – Молотов (с женой), Петровский (старик), Угланов, Товстуха, Ефимов и я.

Я думаю отсюда выехать к 25–26 июня. На пленуме ЦК (3 июля) стоит мой доклад. Надо мне готовиться к нему. Набираю сил для трудной работы. А из писем, поступающих из Москвы, видно, что положение с хлебом очень тяжелое и мне придется в июле и августе здорово постараться.

Крепко, крепко целую тебя!

8/VI Мухалатка 28 г.

Ан. Микоян»

Во время моей работы в наркомате (кажется, в конце 1929 г.) между мной и Чичериным с одной стороны и Сталиным с другой возник крупный спор по вопросу внешней торговли. Мы нуждались тогда в иностранных кредитах для покупки за границей оборудования. Сталин думал, что немцам выгодно закрепить советский рынок за собой, предоставив большой кредит. Я был против того, чтобы ставить вопрос о кредите перед немцами. Выяснил мнение Чичерина по этому вопросу. Он высказался против в еще более категоричной форме. Предварительный обмен мнениями со Сталиным не поколебал его позиции. Он поставил вопрос официально на заседании политбюро, предлагая мне выехать в Германию для переговоров. Я выступил на политбюро против этого предложения, доказывая его нереальность и даже вредность в том смысле, что поездка советского наркома в Германию за кредитами и возвращение с пустыми руками нас скомпрометирует.

Политбюро приняло предложение Сталина.

Сталин в конце концов согласился с тем, что это решение невыполнимо. Правда, оно не было формально отменено.

Вообще, Сталин много вмешивался тогда в работу моего наркомата. Критика иногда была верной. Но по большей части дело заключалось в том, что торговля была тем звеном, где наиболее наглядно проявлялись недостатки работы промышленности и начавшийся в связи с коллективизацией кризис сельскохозяйственного производства.

Под влиянием его частых критических замечаний я стал думать об отставке. 26 июня 1930 г. написал на имя Сталина заявление, в котором просил освободить меня от работы наркомом и назначить на местную партийную или хозяйственную должность, на какую-нибудь стройку, предварительно предоставив отпуск.

Но политбюро не приняло моей отставки.

Глава 21
Во главе Наркомата снабжения СССР

В начале осени 1930 г. Сталин предложил мне взять заместителем по внешней торговле Розенгольца, который в это время работал в РКИ у Орджоникидзе. Розенгольц был грамотным, дисциплинированным, строгим человеком, не допускал никаких поблажек и отступлений от норм и уставов, если даже это требовалось сделать для пользы дела. Словом, бюрократом он был отменным. Из всех бюрократов, которых я видел в своей жизни, он, пожалуй, был наиболее совершенным. В работе он был усидчивым, настойчивым. Хотя он и не нравился мне лично как человек, я согласился. Оказалось потом, что Сталин это сделал с личным прицелом. Видимо, об этом он поставил в известность Орджоникидзе, потому что, когда решался этот вопрос, тот не возражал, хотя для него это была ощутимая потеря.

А через два с половиной месяца Сталин в беседе со мной в присутствии Орджоникидзе завел разговор о том, что хорошо бы выделить внешнюю торговлю из общего Наркомторга в отдельный Наркомат внешней торговли. Он это обосновал достаточно убедительно. Я не возражал, но в душе было чувство неудовлетворенности: правильно ли это делается? Я подумал, что еще и другая причина была у Сталина, хотя он об этом не говорил. В другой раз как-то мне сказал.

А дело было в следующем. Будучи наркомом внутренней и внешней торговли СССР, вопросы внешней торговли я решал самостоятельно в пределах своей компетенции. При этом я не во всех вопросах спрашивал мнение Сталина и правительства. У нас тогда, как у наркомов, права были большие, и мы могли многие вопросы решать сами.

Так было в отношениях с Председателем ВСНХ Куйбышевым. 1928–1930 гг. были временем развернутой индустриализации страны. И тогда мы вывозили много продуктов питания, в которых сами нуждались: сибирское масло, яйца, бекон и много других видов продуктов, а также такое сельскохозяйственное сырье, как лен, конопля и др., хотя у нас тогда многого не хватало, особенно сырья, хлеба и даже бумаги, не говоря уже о разных видах металла. Главным же было то, что у нас не производились необходимые машины для промышленности, и Куйбышев хотел закупить такие машины для оборудования новых заводов. При составлении импортного и экспортного плана мы

вместе обсуждали вопросы, шли навстречу друг другу в закупке оборудования и материалов, конечно в пределах внешнеторгового баланса, так, чтобы экспорт покрывал расходы по импорту.

Ввиду таких отношений между ВСНХ и Наркоматом внешней и внутренней торговли Куйбышев очень мало обращался с жалобами на нас к Сталину и правительству и с требованиями об увеличении поставок оборудования и материалов. Я тоже не проявлял чиновной аккуратности, не желая донимать Сталина докладами даже по крупным вопросам, считая, что можно и без него решать эти вопросы.

Видимо, Сталин хотел, чтобы такого рода вопросы решались через него. Он хотел вникнуть в эти дела глубже, но при уже сложившейся практике ему это не удавалось. А он знал, что если поручить дело торговли Розенгольцу, то все вопросы экспорта и импорта будут докладываться ему и он будет их решать. Сталин знал Розенгольца по Гражданской войне как деспотичного человека, аккуратиста и хорошо к нему относился, был уверен, что тот будет все ему докладывать и выполнять все его указания.

22 ноября 1930 г. Наркомат внутренней и внешней торговли СССР был расформирован и Розенгольц стал наркомом внешней торговли. После этого я не вникал в вопросы внешней торговли до 1938 г. и остался наркомом нового Наркомата снабжения, за которым сохранились все дела объединенного наркомата, кроме внешней торговли.

В Наркомат снабжения входила вся внутренняя торговля и постепенно перешли отрасли пищевой промышленности.

Тогда внешнеторговые дела представляли для меня значительно меньший интерес, чем те дела, которые оказались в Наркомснабе. Создание этого наркомата совпало со сплошной коллективизацией. Это привело к падению сельскохозяйственного производства, потому что кулаки, да и многие середняки убивали скот, что вызывало трудности в обеспечении населения продуктами питания. В конце 1928 г. была вновь введена карточная система. Заготовки в тех условиях стали труднейшим делом государства и партии. Бесперебойное снабжение рабочих продуктами питания являлось крупнейшей политической и хозяйственной проблемой.

На Наркомснаб в этих условиях возлагались обязанности по заготовке сельхозпродуктов для населения и промышленности, организации снабжения продуктами населения, торговли, столовых, пищевых предприятий. Тогда впервые встала задача создания современной, технически развитой пищевой промышленности.

Сахарная промышленность для того времени была

современная, так же как и табачная, пивоваренная и водочная. В то время сахарная промышленность объединяла не только сахарные заводы, но и большое количество свекловичных совхозов на базе бывших помещичьих богатых хозяйств, где были хорошо развитое земледелие и животноводство. Кроме того, по моей инициативе в составе наркомата были созданы новые специализированные совхозы по животноводству, главным образом в целинных районах, мясному скотоводству, затем свиноводству. Так что через них я, как нарком, вовлекался в практическое управление этими важными отраслями сельского хозяйства, а не только в порядке общего руководства. И все это легло на плечи наркомата. Было очень трудно работать, но, судя по всему, я справлялся со своими обязанностями. Не раз мне приходилось отчитываться перед пленумом ЦК по вопросам, связанным со снабжением населения.

Вскоре в связи с усложнением системы заготовок по инициативе Сталина был создан самостоятельный Комитет заготовок при Совнаркоме СССР, который возглавляли работники Наркомторга Чернов и Клейнер – вполне достойные и подготовленные люди. Потом, также по инициативе Сталина, была выделена внутренняя торговля, наркомом которой стал Вейцер – очень инициативный, оперативный руководитель, работавший некоторое время до этого торгпредом в Берлине.

Таким образом, Наркомснаб стал фактически охватывать все пищевые отрасли хозяйства, уже тогда развернувшиеся широко.

Надо добавить, что еще в 1928 г. мне приходилось руководить – сначала в Наркомвнуторге, затем в Наркомснабе – всеми хозяйственными вопросами, а фактически всей жизнью Камчатки. Это было идеей Сталина.

Дело в том, что на Камчатке рыбная промышленность находилась главным образом в руках японцев, которые не проживали там постоянно. Сезонные рабочие прибывали на рыбоперерабатывающие заводы только в сезон рыболовства. Тогда и заводы работали интенсивно.

С нашей стороны рыбными заготовками на Камчатке занимались частные лица. Государственные предприятия были слабыми, и их было мало. Таможенных границ фактически не было, и японцы привозили для своих рабочих товары беспошлинно. Проникали туда и американские товары. Вообще в хозяйственном отношении Камчатка лишь частично была в руках советской власти, а надо было постепенно утверждать ее там повсеместно.

И вот Сталин, думая, что я могу справиться с этим делом, поручил мне руководство всеми делами Камчатки. Он предложил

создать акционерное общество, которое бы руководило всей хозяйственной жизнью Камчатки. АКО (Акционерное Камчатское общество) возглавлял в то время Адамович, бывший Председатель Совнаркома Белоруссии. Причем Сталин предупредил, что АКО обязано выполнять не только операции торговых органов, но и все функции советской власти. Ему подчинялись и здравоохранение, и просвещение, и промышленность, и добыча угля, и лесоразработки, и милиция, и нефтяная разведка, которую, учитывая нужды Камчатки в жидком топливе, по указанию Сталина АКО усиленно проводило. АКО имело в Москве постоянное представительство, обладающее большими полномочиями, и я часто принимал постпреда АКО т. Резке, так что был все время в курсе его деятельности.

Много внимания мы уделяли развитию крабоконсервной промышленности. К тому времени японские промышленники уже два десятка лет развивали эту промышленность, и у них работало 18 заводов. У нас же не было ни одного. Но уже к концу пятилетки мы имели 18 рыбо– и крабоконсервных заводов, а общая стоимость продукции с 1928 по 1932 г. на Камчатке увеличилась в 10 раз и стала представлять собой весьма ощутимую статью в общесоюзном хозяйстве, особенно для получения валюты за счет экспорта.

Параллельно с консервной промышленностью развивался и целый ряд новых производств по утилизации рыбных отходов и изготовлению из них технического и медицинского жира, муки.

В течение нескольких лет удалось ликвидировать бестаможенную систему торговли, установить монополию. Но это вызывало большое удорожание товаров широкого потребления на местах, ибо заграничные цены были дешевле, чем наши внутренние. Поэтому налог с оборота там был отменен, то есть товары стали продавать по промышленным ценам, и это помогло заселить Камчатку населением из центральных районов страны и освоить полуостров.

Работа в наркомате заставила меня по-новому взглянуть на техническую базу пищевой промышленности. Эта задача целиком захватила меня, и я много сделал в этой области, пользуясь полной поддержкой ЦК партии и лично Сталина.

В 30-х гг. я развернул работу по созданию современных мясо-молочных комбинатов по американскому образцу для снабжения Москвы и Ленинграда, а потом и других городов, а также по строительству современных консервных заводов для переработки различных продуктов питания: мяса, рыбы, овощей, фруктов – и производства сгущенного молока.

Помнится такой случай. В 1931 или 1932 г. Акулов, старый коммунист из рабочих, очень уважаемый человек (кажется, он был тогда секретарем ЦИКа Союза), написал письмо Сталину с критикой политики строительства мясокомбинатов. Он писал, что интересы развития страны в нынешний период требуют вкладывать большие суммы денег не в дело строительства комбинатов, а в дело развития сельского хозяйства и скотоводства. Действительно, в тот момент у нас чувствовалась нехватка мяса в стране, и казалось, Акулов правильно отражал тенденцию и, видимо, рассчитывал получить поддержку Сталина.

Получив это письмо, Сталин написал, что не согласен с Акуловым и что если Микоян и ошибся, то только в том, что надо было начинать это дело раньше. Я был удовлетворен такой сильной поддержкой Сталина в работе по строительству современной пищевой индустрии. Это помогало и дальше развивать начатое дело.

Я, конечно, не был специалистом или инженером, но был политическим деятелем и организатором. Для успеха начатой работы я направлял наиболее способных и знающих людей за границу, чтобы они изучали опыт лучших предприятий Европы и особенно Америки, чтобы перенести на советскую почву все передовое и лучшее. Кроме того, приглашал иностранных специалистов, с которыми консультировался, например, в деле строительства мясокомбинатов. Так, Московский мясокомбинат был построен после того, как группа советских специалистов и проектировщиков побывала в Америке и оттуда также прибыла к нам группа американских проектировщиков – так был разработан проект строительства Московского мясокомбината. Затем по его образцу были построены Ленинградский, Семипалатинский, Бакинский и другие комбинаты.

Следует сказать, что тогда в состав Наркомпищепрома входило много совхозов, например все свекловичные совхозы, созданные на базе старых имений сахарозаводчиков.

В это время я часто встречался со Сталиным, был в близких с ним отношениях. Он интересовался всем, был в курсе всего того, что заслуживало внимания в этой области. Одобрял и был доволен теми успехами, которых удавалось достигнуть.

По инициативе Сталина стали расширяться мои обязанности по хозяйственной работе. Тогда производство растительных масел, естественно, находилось в системе пищевой промышленности, а производство мыла было в Наркомате легкой промышленности, хотя в основе производства мыла лежало пищевое сырье.

Наркомом легкой промышленности тогда был Любимов,

старый большевик, уважаемый человек. Но на него шли жалобы, что он мало обращает внимания на развитие парфюмерной промышленности и на мыловарение. Сталин узнал об этом из беседы с Полиной Семеновной Жемчужиной, женой Молотова. Тогда она возглавляла ТЭЖЭ – Трест жировой промышленности Москвы (такой же трест ЛЕНЖЕТ был в Ленинграде).

Как-то раз позвонил мне Сталин и пригласил к себе на квартиру. Там был Молотов. Попили чаю. Вели всякие разговоры. Потом Сталин перешел к делу и сказал примерно следующее: жена Молотова, Жемчужина, рассказала ему, что ими очень плохо руководит Наркомлегпром. В таком положении находится и ЛЕНЖЕТ. С ее слов получалось, что они беспризорные. Вместе с тем Жемчужина говорила, что парфюмерия – это перспективная область, прибыльная и очень нужная народу. У них имеется много заводов по производству туалетного и хозяйственного мыла и всей косметики и парфюмерии. Но они не могут развернуть производство, потому что наркомат не дает жиров; эфирных масел для духов и туалетного мыла также не хватает; нет упаковочных материалов. Словом, развернуться не на чем. А у женщин большая потребность в парфюмерии и косметике. Можно на тех же мощностях широко развернуть производство, если будет обеспечено материально-техническое снабжение. «Вот, – говорит Сталин, – я и предлагаю передать эту отрасль из Наркомлегпрома в Наркомпищепром». Я возразил, что в этом деле ничего не понимаю сам и что ничего общего это дело с пищевой промышленностью не имеет. Что же касается жиров, то сколько правительство решит, столько я буду бесперебойно поставлять – это я гарантирую. Кроме эфирномасличных жиров, производство которых находится у Легпрома, а не у меня.

Сталин заметил, что не сомневается, что жиры я дам. «Но все же, – сказал он, – ты человек энергичный. Если возьмешься, дело пойдет вперед». Неуверенно, но я согласился.

Итак, все это перешло к нам. Был создан в наркомате Главпарфюмер, начальником которого была назначена Жемчужина. Я с ней до этого не был близко знаком, хотя мы жили в Кремле на одном этаже, фактически в одном коридоре. Она вышла из работниц, была способной и энергичной, быстро соображала, обладала организаторскими способностями и вполне справлялась со своими обязанностями.

Следует сказать, что, несмотря на драматические перипетии ее жизни (ее выдвинули наркомом рыбной промышленности, потом избрали членом ЦК, затем исключили из состава ЦК, арестовали, сослали, и она была освобождена только после смерти Сталина), я, кроме положительного, ничего о ней сказать

не могу. Под ее руководством эта отрасль развивалась успешно. Я со своей стороны ей помогал, и она эту помощь правильно использовала. Отрасль развилась настолько, что я мог поставить перед ней задачу, чтобы советские духи не уступали по качеству парижским. Тогда эту задачу в целом она почти что выполнила: производство духов стало на современном уровне, лучшие наши духи получили признание. Мы покупали за границей для этого сырье и на его основе производили эфирные масла. Все это входило в систему ее главка.

В отношении Полины Семеновны я, правда, слышал немало критических замечаний от моей жены Ашхен. Но речь шла исключительно о ее воспитании дочери Светланы и о манерах Полины Семеновны в быту. Она вела себя по-барски, как «первая леди государства» (каковой стала после смерти жены Сталина). Не проявляла скромности, по тем временам роскошно одевалась. Дочь воспитывала тоже по-барски. В подтверждение рассказов Ашхен припоминала, что еще Серго Орджоникидзе возмущался: «Для какого общества она ее воспитывает?!» Так что бытовая сторона жизни Полины Семеновны была, видимо, широко известна. Причем дома она играла роль первой скрипки – муж очень ее любил и ни во что не вмешивался. Наш общий коридор имел двухстворчатую дверь между квартирами, обычно открытую. Однажды Ашхен с иронией сообщила мне, что дверь заперли и закрыли большим шкафом: Полина Семеновна, мол, боится дурного влияния наших сыновей на ее «принцессу». Но, может быть, она просто не хотела жить почти как в коммунальной квартире? В любом случае эти стороны быта чужой семьи меня не интересовали, не было ни желания, ни времени о них думать.

Через три года, в 1934 г., из Наркомата снабжения были образованы три наркомата: Наркомат внутренней торговли – наркомом стал мой заместитель Вейцер, Наркомат заготовок – его возглавил Клейнер, тоже мой заместитель, оба достойные, хорошие работники, а я стал наркомом пищевой промышленности.

Глава 22
Моя первая поездка в Америку

Шел 1936 г. Получив после долгого перерыва в начале августа очередной отпуск, я собирался провести его вместе с женой и пятью сыновьями в Крыму. Вещи были уже упакованы, поезд отходил ночью. Я зашел к Сталину попрощаться. У него находились в это время Молотов и Ворошилов. Сталин вдруг, совершенно неожиданно говорит: «А почему бы тебе не поехать в Америку вместо Крыма? Заодно это будет неплохим отдыхом, но главное – надо изучить опыт США в области пищевой промышленности. Лучшее из того, что ты там увидишь, потом перенести к нам, в Советский Союз!»

Я сразу понял, что это серьезное предложение, хотя возникло оно, видимо, экспромтом, иначе он бы заранее меня предупредил. Но ведь у меня были обязательства перед семьей, и главным образом перед женой, которой я давно уже обещал провести отпуск вместе. Об этом я и сказал Сталину откровенно. Он ответил, что я могу взять с собой в Америку и жену. Тогда я согласился. Из той же комнаты сразу же позвонил жене и сообщил, что поездка в Крым отменяется, что все объясню по приезде. (Дети мои в тот же вечер уехали с нашей домработницей в Мухалатку, в Крым.)

И тут же мы приступили к деловому обсуждению поездки. Я должен был отправиться через несколько дней, а в течение этого срока Молотов брался уладить вопросы, связанные с паспортами, визами и прочее.

Обдумывая проблемы, возникшие в связи с такой ответственной командировкой, прежде всего приходилось учитывать тогдашнее состояние пищевой промышленности и ее неотложные нужды, а она находилась в те годы на новом, переломном этапе.

После того как колхозы и совхозы организационно и хозяйственно окрепли, резко изменились условия снабжения промышленности сырьем – эта проблема уже перестала быть узким местом. Колхозы и совхозы начали заключать с предприятиями контрактационные договоры о сдаче своей продукции в определенные сроки и требуемого качества. Возраставший урожай выдвинул перед нашими пищевиками новую задачу – достойно справиться с переработкой свеклы, овощей, продуктов животноводства и других видов сырья, не допустив при этом потерь и брака.

Другой характерной особенностью того времени была возросшая требовательность советских потребителей к ассортименту и качеству пищевых продуктов. Получив в связи с отменой карточной системы с 1 января 1935 г. возможность свободной покупки нужных ему товаров, потребитель стал, естественно, выбирать из этих товаров лучшее, отказываясь от многого из того, что ему приходилось брать при карточной системе. (К слову сказать, карточная система сильно расхолаживала и самих работников пищевой промышленности, лишая их фактически всяких стимулов к выпуску товаров лучшего качества.)

К этому времени мы постепенно реконструировали крупные продовольственные магазины старого времени, приводили в порядок их архитектурное оформление, оснащали холодильной техникой. Так, например, в Москве и Ленинграде были полностью восстановлены продовольственные магазины бывшей фирмы Елисеева, заново организованы специальные диетические магазины. Все они в техническом отношении были оборудованы на уровне лучших зарубежных, в том числе и американских магазинов. Мы им присвоили название «Гастроном», которое сохранилось до сих пор.

Но этих магазинов насчитывалось у нас пока единицы, а нужно было покрыть такой торговой сетью всю страну.

Техническая реконструкция в отраслях нашей пищевой промышленности находилась тогда в самой начальной стадии, работать приходилось на устарелом, изношенном оборудовании отсталых, построенных десятки лет назад предприятий.

Очень остро стоял вопрос о недостаточности мощностей действующих предприятий для современной переработки сырья.

Мы имели, строго говоря, не пищевую промышленность, а пищевой промысел, доставшийся нам от старой России.

Для создания производственно-технической базы современной пищевой промышленности мы решили приступить к строительству новых крупных заводов, и осенью 1931 г. в нашем наркомате был тщательно разработан и представлен в ЦК и Совнарком проект решения, который предусматривал программу строительства отечественной пищевой промышленности.

Эта программа была одобрена. В решении ЦК и СНК говорилось, что в ней «ключ решения задачи коренного улучшения рабочего снабжения, путь повышения производительности труда». Серго, возглавляя тяжелую и станкостроительную промышленность, нам очень помогал. Без проволочек мы вдвоем решали большинство вопросов, которые спустя лет 20 стали требовать длительной процедуры: работы

комиссий, согласований, виз и т. д. Бюрократизма тогда было гораздо меньше, чем в послевоенное время.

И уже к 1936 г. у нас было построено и введено в эксплуатацию (только новых!) 17 крупных мясных комбинатов, 8 беконных фабрик, 10 сахарных заводов, 41 консервный завод, 37 холодильников, 9 кондитерских фабрик, 33 молочных завода, 11 маргариновых заводов, 178 хлебозаводов, 22 чайные фабрики и ряд других промышленных предприятий. Кроме того, было произведено техническое перевооружение многих старых предприятий.

Переход на современную технику настоятельно требовал ознакомления с опытом передовых зарубежных стран. Кое-что мы в этом направлении уже делали. Так, например, для изучения опыта в области сыроделия в Голландию и Данию нами был командирован наш видный сыродел Гранников; для ознакомления с работой молочно-консервных предприятий мы посылали в США и некоторые страны Европы опытного инженера Кочеткова, в Германию – Василевского.

Но начиная с 30-х гг. мы все свое внимание переключили на Америку: организовали и послали в США несколько комиссий по изучению опыта мясной, молочной и других отраслей промышленности. Таким образом, когда встал вопрос о моей поездке, я был неплохо осведомлен о состоянии дел в американской пищевой индустрии, но совсем другое дело увидеть все собственными глазами, попробовать, как говорится, на зуб.

Тем более что цели поездки были не только познавательные, но и оперативно-деловые: в мое распоряжение была выделена значительная сумма в валюте для приобретения на месте отдельных видов оборудования и образцов для нашей страны. В дальнейшем такие закупки, естественно, должны были приобрести более широкий масштаб, что и случилось.

В течение двух-трех дней удалось подобрать небольшой аппарат моих помощников и консультантов, отвечавших необходимым требованиям: управляющие Зотов (Московский трест хлебопечения) и Исаев (Рыбсбыт), инженеры Этлис и Ойхман (Главрыба и Главконсервы), инженер ленинградской литографии Родионов, директора Московского мясокомбината Юрисов и Московского пивкомбината Максимов. Поехал с нами и мой секретарь Барабанов.

Познакомившись с составом группы, Сталин сказал, что мне следовало бы взять с собой еще инженера Главстроя НКПП Бургмана, свободно владеющего английским языком и побывавшего уже два раза в США в составе экономической

делегации по делам строительства. Кавказский немец Василий Бургман был хорошо лично знаком Сталину, ибо приходился племянником Каролине Васильевне Тиль, пожилой женщине, давно помогавшей семье Сталина в ведении домашних дел. Я тоже хорошо знал Бургмана по наркомату, и он был включен в состав нашей группы.

Я поручил всем членам нашей группы не только записывать все новое, что они увидят на американских заводах, но и обязательно выделять при этом все то (хотя бы и незначительное), что следует внедрить у нас, а заодно подумать и о тех практических мероприятиях, которые должны нам в этом помочь.

Вскоре было получено сообщение нашего посла в США А. Трояновского, что Госдепартамент США согласен дать визы мне и сопровождавшим меня лицам.

В нынешние времена обыденным средством сообщения с США стала авиация. Но тогда об этом не было и речи. Мы выехали поездом 9 августа. Ехали через Польшу, Бельгию и Германию во Францию.

В Берлине, куда мы приехали после Варшавы, с нашей делегацией произошел курьезный случай. В СССР тогда одевались просто. Я, например, ходил в гимнастерке, армейских сапогах и носил фуражку военного образца. Перед отъездом мне сшили костюм и ботинки «на европейский манер». Товарищам, которые ехали со мной, в Москве тоже сшили костюмы в ателье. Когда мы вышли на берлинском вокзале, то заметили, что все немцы с удивлением смотрят на нас. Думаю: что такое? Оборачиваюсь и вижу, что все мы в одинаковых шляпах, ботинках и костюмах, одного цвета и фасона. Удалось исправить положение только в США, где мы с Ашхен купили мне другой костюм. То же самое сделали и мои товарищи по поездке.

В Гавре сели на французский пароход «Нормандия», на котором предстояло плыть через океан. Пятидневный путь был чудесной морской прогулкой, прекрасным отдыхом.

Большое впечатление произвело на нас умение французов обслуживать пассажиров. Я невольно сравнивал все это с тем, что имелось в нашей стране, и мечтал о том времени, когда и у нас будут так же хорошо обслуживать и, конечно, не богачей, а всех людей.

Я решил ознакомиться с хорошими французскими винами. У меня в руках была карточка с указанием всех имеющихся сортов вин и цен на них – от самых дорогих до самых дешевых. По этой карточке я, конечно, не мог разобраться в винах, их было более 40 наименований. Поэтому я попросил виночерпия (а в ресторане

был специальный официант, который подходил к пассажирам и помогал в выборе вин) каждый раз давать нам разные, но хорошие сорта вин, чтобы я мог познакомиться с возможно большим количеством. Он приносил хорошие вина. Проверяя по карточке, я убедился, что все эти вина были недорогие. Как-то я спросил его, почему он не предлагает нам дорогих вин – ведь они должны быть лучше. Он улыбнулся и сказал, что, выполняя мою просьбу, предлагал мне самые лучшие французские вина. Дорогие сорта, добавил он, мы держим для тех богатых американцев, которые в настоящих винах не разбираются: они слишком долго жили в условиях «сухого закона», лишь недавно отмененного Рузвельтом.

«Нормандия» прибыла в Нью-Йорк утром. Стояла жаркая, солнечная погода. Трояновский и несколько сотрудников посольства поднялись на борт корабля. Мы обсуждали вопрос, как поступить с собравшимися на пристани корреспондентами. Трояновский убеждал меня в необходимости дать интервью, я отказывался, поскольку это была моя первая заграничная поездка и у меня не было опыта проведения пресс-конференций с журналистами – я приобрел его только в последующие годы. Кроме того, я ехал не с целью делать политические выступления, а действительно хотел посвятить все время детальному ознакомлению с достижениями американской пищевой промышленности. Трояновский предложил, что сам сообщит им о цели моего приезда. Я согласился, и мы выработали текст заявления от моего имени.

Из беседы с Трояновским я узнал, что 9 августа он послал мне в Москву телеграмму, где высказывал свои соображения в связи с моим приездом в Америку. В частности, он хотел использовать мой приезд для установления политических контактов с американскими политическими деятелями с целью улучшения советско-американских отношений. Я этой телеграммы не читал, поскольку 9 августа вечером мы выехали из Москвы. Почему-то Наркоминдел не рассмотрел этого вопроса и даже не доложил правительству об этой телеграмме, потому посол и не получил на нее ответа.

Тот факт, что я застал на посту посла СССР в США именно Трояновского, был для меня особенно радостен и приятен. Я был моложе его на 14 лет. Мы работали с ним бок о бок около года в Москве, когда я был наркомом внутренней и внешней торговли, а он руководил Госторгом РСФСР – крупнейшей внешнеторговой организацией по экспорту и импорту товаров. Работая в период нэпа, эта организация не только продавала советские товары за рубеж, но и располагала разветвленной сетью контор в областях,

которые заготовляли сельскохозяйственные, годные для экспорта товары, скупая их у крестьян, частных мелких торговцев, предприятий кооперативной и государственной торговли. Трояновский по своей хватке ничуть не уступал американским бизнесменам. Поэтому наши деловые встречи были для меня полезны. Я уважал Трояновского за его знания, умение руководить.

В конце 1927 г. Трояновский был назначен советским послом в Японии, а в 1933 г. – в США.

Во время моего пребывания в США Трояновский несколько недель ездил со мной, и мы еще больше сдружились. Я увидел в нем эрудированного и зрелого советского дипломата, которым можно было гордиться.

За два месяца пребывания в США я побывал во многих городах, покрыв в поездах и автомашинах более чем 12 тыс. миль. Среди осмотренных мною предприятий пищевой индустрии были: холодильники по хранению рыбы и мяса; фабрики мороженого; завод чешуйчатого льда; завод по замораживанию уток; заводы по производству мясных и рыбных консервов; хлебопекарный завод; завод по производству сухарей и бисквитов; заводы по производству сухого молока и майонезов; завод по производству хлопьев и взорванных зерен; комбинат по производству шоколада и конфет и упаковке кофе, чая, какао; свеклосахарный завод; заводы по производству яблочных и апельсиновых соков и томатных продуктов; заводы замороженных и консервированных фруктов; завод по производству шампанского; заводы пивоварения и безалкогольных напитков; ряд птицеферм и птицебоен и чикагские скотобойни.

Из смежных отраслей, обеспечивавших пищевую промышленность, мы повидали завод жестяной тары для консервов, завод по производству металлических крышек, завод пластмассовых изделий для тары, фабрику гофрированного картона, стекольный завод, завод по производству упаковочных машин и завод эмалированных емкостей и посуды.

Ознакомился я с деятельностью и нью-йоркских кафетериев, и знаменитого универмага «Мэйсис», и магазинов розничной продажи гастрономических товаров.

Помимо уплотненной программы, связанной с осмотром всех этих предприятий, я получил возможность посетить завод Форда в Детройте, где имел беседу с основателем завода Генри Фордом. Кроме того, я посетил самый крупный в мире металлургический завод фирмы «Гэри», самую большую электростанцию «Боулдердам» (ныне «Рузвельтдам»), авиационный завод в Лос-Анджелесе, а также одно из крупнейших предприятий компании

«Дженерал электрик»; имел беседу в научно-исследовательском институте «Меллон институт», где нас заинтересовало изготовление изоляционных материалов и производство продуктов детского питания; повидал сельскохозяйственную выставку в Кливленде, выставку по сельскому хозяйству и цветоводству в Чикаго, а также побывал на бирже в Нью-Йорке.

Работать, не считаясь со временем, нам было не привыкать. Все два месяца пребывания в США мы находились в непрерывном движении – от пищевых предприятий к сельскохозяйственным фермам, от заводов пищевого машиностроения – к заводам по таре или укупорочным материалам.

Большое впечатление произвела на нас отличная организация управления предприятиями, четкая слаженность производственных операций, а также минимальное количество работающих, и в первую очередь – служащих и администраторов. Штат управляющих и конторского персонала по своей численности был раза в три меньше, чем на подобных же предприятиях у нас. Как было досадно осознавать, что в СССР допускаются такие большие излишества в штатах по управлению производством!

Изучение опыта мясной индустрии показало, что оборудование и технологический процесс на наших, советских мясокомбинатах, построенных по новейшим американским проектам, в основном не уступают действующим американским комбинатам, хотя они уже имели и некоторые новейшие достижения. Таким новшеством, например, для нас было создание филиалов мясокомбинатов вблизи городов, в которых производилась фасовка-разделка мяса и выпуск вареных колбас. У нас такая специализация получила распространение только после войны.

Привлекло наше внимание массовое машинное производство стандартных котлет, которые в горячем виде продавались вместе с булочкой – так называемые «хамбургеры» – прямо на улице в специальных киосках. Я заказал образцы машин, производящих такие котлеты, а также уличных жаровен. В 1937 г. мы перенесли этот опыт в некоторые наши крупные города – Москву, Ленинград, Баку, Харьков и Киев, обязав местную хлебопекарную промышленность наладить производство специальных булочек, а предприятия мясной промышленности – освоить массовое производство котлет по единому стандарту и развозку их в торговую сеть в охлажденном виде. Были построены и специальные киоски для уличной продажи котлет, по закупленным образцам освоено производство электрических и газовых жаровен. Продажа горячих котлет была встречена у нас

очень хорошо потребителями, и торговля пошла бойко. Лишь война помешала прочно и широко привить это начинание в нашей стране.

Надо сказать, что в те времена в нашей стране промышленным хлебопечением обеспечивалось менее 40 % городского населения. Крестьянство, составлявшее тогда большинство населения нашей страны, обеспечивало себя хлебом самостоятельно, за счет домашней выпечки. Поэтому перевод советского потребителя на фабричный хлеб равносилен революции в этой области быта.

В США в те времена на хороших заводах все было механизировано: к хлебу не прикасалась рука человека. Все это упиралось в технику, и мы считали, что незачем, так сказать, заново изобретать велосипед, коль он уже изобретен другими. Поэтому многое было взято нами у американцев. Так, например, мы привезли из Америки механизированный способ изготовления булочек, которые до того изготовлялись вручную и назывались «французскими». Новый тип булок мы назвали «городскими». Они выпускаются по сей день.

Особо следует упомянуть о производстве овощных и фруктовых соков, с которым я детально познакомился. В США уже тогда было широко развито производство и потребление апельсинового, томатного и других соков. Из-за отсутствия у нас апельсинов мы впоследствии остановили свой выбор на томатном соке, построив соответствующие заводы по переработке помидоров. Я мечтал о производстве такого количества томатного сока, чтобы он стал подлинно народным продуктом потребления, что в наших условиях было вполне реально.

Довольно подробно я ознакомился также с предприятиями молочной промышленности штата Висконсин. Мы посетили ферму с механизированной дойкой коров (чего в СССР тогда еще не было), опытные заводы и экспериментальные лаборатории. Все это помогло нам потом в разработке проектов и строительстве в стране заводов по изготовлению сгущенного и сухого молока.

Большой интерес нашей группы вызвало и производство безалкогольных напитков. Мы тогда и сами выпускали довольно большое количество фруктовых вод, но гарантировать их равноценное качество на всех предприятиях еще не могли. В Америке стандартное качество массовой выработки фруктовых вод обеспечивалось самой организацией производства, а именно – выработкой на нескольких заводах нужных экстрактов. Эти экстракты затем развозятся по стране. Состав экстракта у каждой фирмы одинаков и, как правило, очень высокого качества. Мы изучили процесс производства кокаколы, но при ограниченности

в средствах мы тогда не в состоянии были наладить у себя подобное дело. Впоследствии развернули производство стандартного высококачественного лимонада и русского кваса.

Знакомясь с состоянием пивоварения, мы еще раз наглядно увидели, что если здесь чему и надо подражать, так это неукоснительному соблюдению стандартов и строгому технологическому режиму.

Много интересного мы узнали и в области холодильного хозяйства. Большую помощь в этом мне оказал Бургман, проявивший себя действительно знающим, высококвалифицированным инженером, к тому же добросовестно выполнявшим фактически обязанности моего помощника и переводчика во время многочисленных переговоров с американцами. С точки зрения эксплуатации отличительной особенностью американских холодильников по сравнению с нашими являлось использование более низких температур для замораживания продуктов, а также обеспечение меньших потерь при их хранении.

Поразило меня и другое. У нас, когда строится какой-нибудь объект, строительная площадка обносится огромным забором, сооружаются отдельные помещения для компрессорной, насосной, для конторы и гаража – всего до 12 подсобных зданий, да еще по требованию пожарной охраны между ними сохраняются значительные интервалы. Всего этого у американцев не было – есть лишь железобетонное здание холодильника без наружной штукатурки. Железнодорожные пути ведут прямо в здание; все погрузочно-разгрузочные работы происходят там же.

Мы внимательно приглядывались ко всем техническим новшествам американцев и по возвращении домой приступили к внедрению многих из них на наших холодильниках. Но и тут (как и по другим отраслям!) война не дала нам возможности реализовать все намеченное.

Тем не менее после возвращения из США с учетом американского опыта у нас был разработан проект крупного холодильника № 6 в Ленинграде, а потом построен самый крупный по тем временам – в Москве. Все это хозяйство уже размещалось только в двух зданиях вместо 10–12, как это предусматривалось прежними проектами. К оформлению нового проекта был привлечен видный архитектор Жолтовский. Ни в чем не уступая американским, наш холодильник, построенный без архитектурных «излишеств», внешне оформлен даже лучше, чем те, что я видел в США.

Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. У нас со стародавних времен повелось изготовление

мороженого кустарным, ручным способом. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным. Спрос на него у нас повсеместный, его с удовольствием едят теперь дома и на улице, в кино и театрах, летом и зимой. В результате мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого. Вскоре при Московском холодильнике № 8 было завершено строительство первой фабрики мороженого, оборудование для которой было решено закупить в США. И действительно, на закупленном в США оборудовании наша фабрика начиная с 1938 г. стала выпускать мороженого более чем вдвое против ранее запланированного.

Проблема холодильного хозяйства отнюдь не ограничилась потребностями предприятий пищевой промышленности. В те времена в нашей стране не существовало производства бытовых холодильников, предназначенных для домашнего пользования. Находясь в Америке, я с удивлением увидел на заводе «Дженерал электрик компани» специальный цех по производству домашних холодильников. Этот цех ежегодно выпускал в продажу свыше 100 тысяч таких холодильников, пользовавшихся огромным успехом у населения.

Вернувшись из США, в беседе со Сталиным я поставил вопрос о том, чтобы приступить и у нас к массовому производству домашних холодильников, причем организовать производство на нескольких наших наиболее крупных машиностроительных заводах (что впоследствии и было сделано). Однако тогда Сталин не согласился со мной, ссылаясь на то, что на значительной территории страны зима длинная и поэтому особой надобности в холодильниках нет, а в летние месяцы наше население привыкло держать продукты в ледниках и погребах, и к тому же наши заводы тяжелого машиностроения очень загружены, в том числе оборонными заказами. Последний аргумент был, конечно, решающим. Так этот вопрос и не получил тогда своего разрешения.

После войны я вновь вернулся к вопросу о массовом производстве домашних холодильников. Мне удалось уговорить Сталина организовать их производство на Московском автомобильном заводе ЗИС – заводе им. Сталина, на Саратовском авиационном заводе и Муромском заводе Горьковской области. Было решено, что каждый из этих заводов будет на первое время выпускать по 50 тысяч холодильников в год.

Находясь в начале сентября в Детройте, я решил использовать один из дней для знакомства с заводом Форда, на территории которого располагался и музей Эдисона (созданный,

кстати, на средства Форда).

Не успели мы закончить осмотр цеха, как вдруг администратору сообщили, что Генри Форд срочно прибыл в конструкторское бюро и желает побеседовать со мной. Прошли через безлюдный зал, уставленный чертежными столами, и оказались в небольшом кабинете, оборудованном очень скромно. Там меня приветствовал симпатичный старик, худощавый, с выразительным лицом. Это и был Генри Форд. Он пожал мне руку и предложил сесть. Потом спросил, какие цели моей поездки в Америку. Я ответил, что хочу изучить достижения Соединенных Штатов в области пищевой промышленности.

Совершенно неожиданно Форд сказал:

– Зря вы изучаете вопросы строительства мясокомбинатов и развития мясной промышленности. Мясо есть вредно. Надо питаться овощами, соей и фруктами. Соя содержит белки и полезнее мяса. Мы в семье мяса не едим, а вместо него употребляем сою в разных видах.

Я ответил, что наш народ привык есть мясо, да и суровый климат этого требует, но ведь и американцы отнюдь не вегетарианцы.

В разговоре он посоветовал также предоставить советским рабочим индивидуальные огороды.

– В свободное время они будут их обрабатывать. Это своеобразный отдых, – сказал он, – а кроме того, урожаи с этих огородов станут для ваших рабочих дополнительным источником питания. Я заметил, что вполне с ним согласен и что такая практика уже у нас имеется. Затем Форд заговорил о строительстве автомобильного завода в СССР.

– Я пошел на то, – сказал он, – чтобы оказать техническую помощь вашей стране в строительстве этого завода, но считаю, что вначале все же следует строить шоссейные дороги, а потом уж браться за автомобильные заводы. Вы начали не с начала, а с конца.

– Конечно, – ответил я, – логика в этом есть, но следует помнить о привычках каждого народа. Наш народ, пока не имеет машины, которая станет ломаться от бездорожья, не захочет вкладывать средства в строительство дорог. Но мы высоко ценим ваше сотрудничество с нами и помощь при сооружении современного завода в городе Горьком.

Форд сказал, что сейчас уже отошел от управления заводом, а занимается проектированием автомобилей и фактически возглавляет конструкторское бюро. Сегодня рабочий день уже кончился, но он приехал специально, чтобы встретиться с советским государственным деятелем. Я поблагодарил его за

такое внимание.

Когда я вновь побывал в Детройте в 1959 г., другой Генри Форд – внук пригласил меня на обед, на котором присутствовали руководители и других американских автомобильных компаний. Находился там и один из молодых руководителей компании «Форд» Роберт Макнамара, которого Джон Кеннеди назначил в 1961 г. министром обороны США. Как известно, внук Генри Форда решил повторить разумный опыт деда – сотрудничать с нами в строительстве автомобильного завода на Каме, но ему помешало в этом правительство США.

Чуть ли не каждый день я посещал два-три предприятия пищевой промышленности, лаборатории или институты. Посещения эти, как правило, заканчивались краткими, сугубо деловыми беседами с американскими бизнесменами. Я уже говорил, что наша поездка была чисто деловой, хотя до некоторой степени оказалась и политической. Трояновский предложил, например, чтобы я нанес визиты вежливости президенту Рузвельту, государственному секретарю Хэллу и некоторым другим политическим деятелям. За два дня до отъезда на родину, 12 октября, по настоянию Трояновского я отправился в Вашингтон, где посетил тогдашнего государственного секретаря Корделла Хэлла. Президента Рузвельта в это время в Вашингтоне не было. Корделл Хэлл был государственным секретарем с 1933 по 1944 г. Придавая большое значение активному участию нашей страны в международных делах, он неоднократно высказывался за сотрудничество с СССР.

Наша беседа с ним призвана была выполнить некую процедурную роль личного знакомства двух политических деятелей, причастных к выработке политических линий своих стран. Сразу отмечу, что Хэлл – я так и рассказывал по возвращении в Москву – произвел на меня благоприятное впечатление. Мне было приятно с ним встретиться вновь в те дни, когда он приехал в Москву в октябре 1943 г. Это были времена наиболее дружеских отношений между нашими странами.

Трояновский пошел со мной к Хэллу, представил меня. Мы обменялись любезностями. Хэлл стал расспрашивать, как прошло мое путешествие по США, какое у меня впечатление от поездки. Я вкратце рассказал, что видел много интересного и полезного для нас, что многие из достижений США заслуживают того, чтобы перенести их в советскую промышленность; выразил удовлетворение, что мы встретили благожелательное отношение всех, с кем нам приходилось иметь дело, готовность ознакомить с тем, что нас интересовало, чего, признаться, не ожидал.

Видимо, Хэллу понравились мои искренние слова. Вскоре он

сам перевел разговор на политические темы. Свои мысли он очень осторожно и умело выражал в форме как бы личных опасений по поводу создавшейся международной обстановки.

Хэлл заявил, что его беспокоит нынешнее международное положение, поскольку в центре Европы одно государство, а на Тихом океане – другое стремятся к экономическому и политическому господству в мире. Если Советский Союз и США, сказал он далее, будут занимать изоляционистские позиции, то это приведет к тому, что стремление указанных государств к мировому господству увенчается успехом и вызовет отрицательные последствия для наших двух стран. «Над этим следует задуматься», – резюмировал он.

Я ответил, что два государства, которые он имеет в виду, действительно готовятся к войне, усиленно форсируя гонку вооружений, причем не скрывают своих агрессивных намерений, но, желая успокоить западные страны, маскируются заявлением, будто в Европе готовится агрессия только против Советского Союза, а на Тихом океане – против Китая и Советского Союза. Многие здесь, видимо, думают, что надвигающаяся угроза не затронет США. Наша страна не закрывает глаза на нависшую военную угрозу со стороны двух агрессивных правительств, но мы вынуждены пока, продолжая борьбу на международной арене против агрессии, рассчитывать только на собственные силы, укреплять нашу армию и увеличивать производство вооружения для нужд обороны на случай войны.

Хэлл спросил меня, имеется ли почва для развития экономических отношений между нашими странами. Конечно, ответил я, и мы проявляем готовность расширить торговлю с США и размещать заказы на американское оборудование, которое нас особенно интересует. Хэлл выразил удовлетворение по поводу того, что руководители Советского Союза приезжают в США для изучения хозяйственного опыта его страны. Я высказал пожелание, чтобы видные официальные лица США тоже побывали в СССР, а мы постарались бы ответить достойно на американское гостеприимство. Хэлл пошутил, что он готов посылать двоих своих взамен одного, приезжающего из Советского Союза.

Мы расстались довольные знакомством и беседой.

Возвращаясь из США тем же маршрутом – через Францию, я узнал, что там в это время находилась группа специалистов-виноделов под руководством профессора Фролова-Багреева. Эта группа была направлена еще раньше мною в двухмесячную командировку во Францию, Италию и Германию для ознакомления со всеми процессами изготовления шампанского и

его сырьевой базой. Я к ним присоединился.

Надо сказать, что по части шампанского мы в то время сильно отставали от западных стран, выпускавших по 10–20 миллионов бутылок в год (Франция выпускала даже 50 млн бутылок). У нас же единственное предприятие, занимавшееся производством шампанского, завод «Абрау-Дюрсо» (близ Новороссийска), выпускало до революции лишь 185 тыс. бутылок, а за время с 1920 до 1936 г. – по 100–120 тысяч бутылок в год.

Винные подвалы и вообще вся техническая база виноделия оставались такими же, какими были до революции.

Узнав от меня о столь неудовлетворительном состоянии этого дела, Сталин решил принять кардинальные меры – передать все винодельческое хозяйство (в том числе и виноградарство) в ведение Наркомпищепрома.

Я не возражал против того, чтобы принять в наш наркомат винодельческую промышленность, но от виноградарства, как специфической отрасли сельского хозяйства, решил отказаться. Сталин настаивал на своем и в конце концов убедил меня принять и винодельческие совхозы.

В начале 1936 г. состоялось решение партии и правительства о передаче всего виноделия в Наркомпищепром. Мне как наркому предстояло внимательно ознакомиться со всем этим совершенно новым для меня делом. Я пригласил специалистов-виноделов и стал их расспрашивать, как было поставлено виноделие в лучших хозяйствах царского времени (другого опыта у нас тогда не было). Оказалось, что виноделие пришло в упадок главным образом потому, что к нему повсеместно упал интерес: специалисты увидели, что их работа никого не интересует, пустили все на самотек, а к тому же многие из существовавших ранее поощрительных мер по виноделию оказались отмененными.

После того как я им объяснил, что партия и советское правительство заинтересованы в развитии виноделия в нашей стране, они воспрянули духом и в очень короткий срок с большим старанием разработали и представили мне перечень конкретных мер, необходимых для подъема виноградарства и виноделия в СССР. Я все это доложил Сталину, который полностью нас поддержал и поручил мне подготовить проект соответствующего решения правительства. В июле 1936 г. было принято постановление ЦК и СНК СССР об энергичном развитии винодельческой промышленности в нашей стране, в частности о выпуске шампанских вин за ближайшее пятилетие (1937–1941) в размере 12 млн бутылок, то есть с увеличением против существовавшего тогда уровня выпуска шампанского в 60 раз!

Надо было срочно начать посадки тех сортов винограда,

которые наиболее соответствовали производству шампанского, построить новые винодельческие заводы, готовить кадры виноградарей и виноделов. По сути дела, мы должны были поднять виноделие на уровень передовой индустрии, а это требовало времени и немалых затрат.

Особенно трудно было с кадрами: с одной стороны, почти полностью прекратился естественный рост молодых кадров, с другой – произошел большой отток старых специалистов, постепенно уходивших на работу в другие отрасли хозяйства. Осталась лишь маленькая группа квалифицированных знатоков виноградарства и виноделия, среди них – Фролов-Багреев, Багринцев, Егоров, Герасимов, Клоц, Простосердов, Попов и другие.

Признанным авторитетом в этой области был профессор Фролов-Багреев – энтузиаст внедрения нового метода производства шампанского путем проведения брожения не в бутылках, а в резервуарах большой емкости – акротофорах. Он предлагал эту коренную реконструкцию производства шампанского еще много лет назад, но у Наркомзема не доходили руки. Французский, так называемый «классический» метод выдержки шампанского представлял собой длительный процесс, занимающий много лет: кроме выдержки вина в течение трех лет в бочках этот метод требует еще трехлетней выдержки в бутылках. Такие длительные сроки не могли нам обеспечить быстрого увеличения масштабов производства. Поэтому мы решили, сохранив все же некоторый объем производства по французскому методу на старом заводе «Абрау-Дюрсо» и некоторых других, параллельно организовать производство шампанского по более простому, дешевому и ускоренному, так называемому акротофорному способу, сокращающему срок выдержки шампанского до 25 дней.

Первый завод, работавший по этому способу, был организован в Ростове с использованием для этой цели недостроенного здания маргаринового завода. Оборудование для этого завода нами было закуплено у французской фирмы «Шосеп».

В дальнейшем, когда производство на этом заводе было уже налажено, мы в наркомате ежегодно собирали виноделов на закрытые дегустации с моим участием (но без учета моего голоса при оценке). На этих дегустациях довольно опытные виноделы не могли отличить образцы акротофорного выпуска от изготовленных по «классическому» образцу.

Однако возвращаюсь к нашему пребыванию в Париже. Не желая отрывать членов группы, находившихся в виноградарских

районах страны, я вызвал в Париж только профессора Фролова-Багреева, чтобы ознакомиться с состоянием дел и посетить с ним винодельческие фирмы. Нам было предложено посетить несколько фирм в Шампани, и мы решили осмотреть одно из предприятий фирмы «Шопотье».

Рекомендуя нам выпускаемое ими шампанское, хозяин предприятия с особой гордостью сказал, что раньше все русские послы во Франции и царский двор покупали у него ежегодно по нескольку тысяч бутылок шампанского, на что я ответил, что теперь в связи с развернувшимся у нас строительством нам на вино не хватает валюты и потому мы хотим сами производить для себя шампанское в достаточном количестве.

Видимо, он был огорчен таким сообщением, тем не менее по возвращении с его предприятия обратно в Париж я выяснил, что сей гостеприимный хозяин без моего, конечно, ведома поставил в багажник автомобиля ящик шампанского.

Все это я рассказал по возвращении домой Сталину и упомянул об этом ящике. Он заинтересовался и сказал: «Раз уж такое у него отношение к нам, сделай приятный для него жест – купи у него тысячи три бутылок шампанского». Я так и сделал. Но когда однажды Сталину принесли на пробу одну из этих бутылок, он попробовал, поморщился, а потом сказал, что по вкусу оно хуже нашего.

Надо сказать, что Сталин всегда был высокого мнения о нашем шампанском. И в такой оценке он был не одинок. Английский министр иностранных дел Иден (впоследствии премьерминистр) очень похвально отозвался о нашем шампанском и даже попросил ящик этого вина для английского короля, что, конечно, и было сделано (помимо прочего, это была неплохая реклама нашего шампанского). Очень понравилось наше шампанское и Черчиллю, и поэтому во время известной встречи руководителей глав правительств в Крыму ему было послано несколько ящиков советского шампанского. Правда, Сталин предпочитал полусладкое и сладкое шампанское. Сухое и брют он не любил, предлагал даже прекратить их производство. С трудом я отстоял эти сорта, сославшись на требования экспорта.

Вряд ли за два месяца можно было сделать больше, чем это удалось нашей группе. Но каждый из нас впоследствии, а порою даже и сейчас – сорок лет спустя! – находит в жизни родной страны какие-то приметы, отзвуки, следы той работы, которая была нами проделана в результате командировки в Соединенные Штаты осенью 1936 г.

Пребывание в США оказалось для меня университетским курсом в области пищевой промышленности и американской

экономики. Не имея законченного высшего образования, я вернулся оттуда как будто обогащенным, со значительными знаниями и с планом перенесения в нашу страну опыта развитой капиталистической страны.

Эта задача захватила всю мою энергию. Я сделал проблему пищевой промышленности предметом выступлений на многих партийных форумах, где находил поддержку и приковывал внимание партийных организаций к решению этой трудной задачи.

Глава 23
Убийство Кирова и начало сталинских репрессий

1 декабря 1934 г. после 9 часов вечера вызвали меня на экстренное заседание политбюро. В кабинете у Сталина были Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Каганович. Сталин объявил, что убит Киров. Он тут же, до какого-либо расследования, сказал, что зиновьевцы, потерпев поражение в открытой борьбе, перешли к террору против партии. Он предложил, чтобы Молотов и Ворошилов с ним немедленно выехали в Ленинград для проведения расследования этого дела, «докопаться до корней и пресечь террор со стороны зиновьевцев, нагнать на них страху, приостановить готовящиеся новые террористические акты». Предложил принять чрезвычайный закон, по которому за террористические акты террористы будут беспощадно наказываться и судебные решения о расстреле будут приводиться в исполнение немедленно, без права апелляции.

Это было так неожиданно, невероятно, так нас подавило, что обсуждения никакого не было.

Сталин поручил Енукидзе подготовить постановление ЦИК.

Ночью Сталин, Молотов и Ворошилов уехали в Ленинград. 2 декабря они приехали обратно и привезли с собой гроб с телом Кирова. На вокзале гроб поставили на артиллерийский лафет, и процессия направилась к Дому Союзов. Впереди шел Сталин, за ним другие члены политбюро. После смерти Ленина и того горя, которое все тогда пережили, это было вторым по своей глубине горем для партии и страны.

Потом члены политбюро собрались в кабинете у Сталина, и он рассказал о ходе следствия об убийстве Кирова. Из рассказа Сталина меня поразили два факта: первый – что террорист Николаев, который считался сторонником и ставленником Зиновьева, два раза до этого арестовывался органами ЧК, при нем находили оружие. Он пытался совершить покушение и был задержан охраной Зимнего дворца, где работал, но был выпущен работниками ЧК. Невероятно с точки зрения поведения ЧК. Казалось, все данные свидетельствовали о том, что готовится террористический акт. Факт ношения оружия должен был привести к аресту Николаева – ведь запрещено было носить оружие. Однако вместо проявления бдительности, вместо предотвращения убийства ЧК по существу его поощряло. Это

вытекало из рассказа самого Сталина.

И второй факт – это убийство комиссара охраны Кирова, который лично его сопровождал и был после совершенного убийства арестован чекистами для допроса.

Сталин послал чекистов, чтобы они доставили его к нему для допроса в Зимний дворец. Но при перевозке его на машине по дороге случилась автомобильная авария, машина ударилась обо что-то. Убитым оказался только комиссар из охраны Кирова. Причем странно было, что в машине был убит только он один, больше никто не пострадал.

Сталин возмущался: как это могло случиться? Все это было очень подозрительно. Но никаких выводов Сталин из этого не делал. Дальше расследовать, распутывать весь узел он не предлагал, а лишь возмущался.

Я тогда сказал Сталину: как же можно такое терпеть? Ведь кто-то должен отвечать за это? Разве председатель ОГПУ не отвечает за охрану членов политбюро? Он должен быть привлечен к ответственности.

Но Сталин не поддержал меня. Более того, он взял под защиту Ягоду, сказав, что из Москвы трудно за все это отвечать, что поручено разобраться в этом деле работникам ленинградской ЧК и виновные будут найдены и наказаны.

Ленинградскую ЧК возглавлял Медведь, очень хороший товарищ, один из близких, закадычных друзей Кирова. Они вместе ездили на охоту в карельские леса. С Медведем Киров был неразлучен. Но в эти трагические дни его не было в Ленинграде, и он не мог нести ответственности за это дело. Однако Медведь был снят с работы и в качестве наказания направлен начальником лагеря заключенных на Севере.

В моей памяти осталось совершенно непонятным поведение Сталина во всем этом: его отношение к Ягоде, нежелание расследовать факты. В другом случае он расстрелял бы сотни людей, в том числе чекистов, как в центре, так и на местах, многих, может быть, и невинных, но навел бы порядок. Когда же необходимость серьезных мер вытекала из таких поразительных обстоятельств гибели Кирова, он этого не сделал.

Потом мы с Серго обменивались мнениями по этому вопросу, удивлялись, поражались, не могли предположить и понять.

После убийства Кирова началось уничтожение руководящих работников. Сначала в Наркомтяжмаше под видом вредительства начали арестовывать отдельных директоров предприятий, которых хорошо знал Орджоникидзе и которым он доверял, затем арестовали нескольких директоров сахарных заводов.

Орджоникидзе протестовал против ареста своих директоров,

доказывал, что у них могут быть ошибки, просчеты, но не вредительство. Я также жаловался Сталину. Я ему говорил: «Ты сам правильный лозунг выдвинул, что кадры решают все, а директора заводов – это важная часть кадров в промышленности!»

Но спорить со Сталиным в этой части было трудно. Он выслушивал наши возражения, а потом предъявлял показания арестованных, в которых они признавались во вредительстве.

Здесь мне хотелось бы коснуться неблаговидной роли, которую играл Каганович. Мы с Орджоникидзе были крайне недовольны Кагановичем, когда он в начале 30-х гг., будучи секретарем МК и секретарем ЦК, в отличие от предыдущей товарищеской практики, стал возвеличивать Сталина по всякому поводу и без повода на собраниях Московской организации, восхвалять его. Сталину это нравилось, хотя в узком кругу он однажды выругал Кагановича: «Что это такое, почему меня восхваляете одного, как будто один человек все дела решает? Это эсеровщина, эсеры выпячивают роль вождей». Вот в таком духе Сталин отчитывал его в узком кругу. Мы были довольны этими словами, и чувствовалось, что Сталин тоже доволен. Нам казалось, что Каганович перестанет это делать или, в крайнем случае, пресса, которая публикует выступления руководителей партии, а ею руководит ЦК, не станет эти хвалебные речи Кагановича печатать. Однако восхваление продолжалось и усиливалось. И получалось, что Каганович выпячивает роль Сталина, а мы, как и раньше, без нужды не славословили его. И Сталин, как и многие коммунисты, мог подумать, что мы против вождя. Мы же тогда не были против Сталина, наоборот, поддерживали его, хотя и знали его ошибки. Как бы то ни было, восхваление Сталина постепенно стало лексиконом для всей партии. И если не хвалишь Сталина сверх меры, а то и возражаешь ему, воспринималось это так, что ты против Сталина, и значит, против партии в целом.

Это обстоятельство создало дополнительную трудность в наших попытках остановить Сталина, когда он начал необоснованные репрессии, использовав убийство Кирова как предлог для этих репрессий.

Как-то в 1937 г. я был у Сталина. Он достает документ ОГПУ и говорит, что мой заместитель по Наркомпищепрому Беленький занимается в наркомате вредительством и что его надо арестовать.

Я знал Беленького как добросовестного, честного работника. Энергичный, активный – таким все знали его в наркомате. Я его знал еще с 1919 г. по Баку. Он, правда, был эсером, но потом стал коммунистом. Я его даже как противника уважал. Много лет с

ним работал и мог за него поручиться. Поэтому, не глядя в документ, сказал: «Ты же сам его знаешь!»

Сталин прореагировал на это очень нервно. Стал доказывать, что Беленький подхалим, лебезил передо мной, надувал меня, а я слепой в вопросах кадров, что на него есть показания.

Резкая и острая полемика была у меня со Сталиным. Он грубил, говорил мне, что я не понимаю ничего в кадрах, вредителей терплю, что подхалимов люблю, защищаю их. Я ничего не мог сделать в отношении Беленького, и его тогда все-таки арестовали.

Прошла неделя, вызывает меня Сталин, дает протокол допроса Беленького. «Вот смотри, – говорит, – признался во вредительстве. Ручался за него, вот читай!» Читаю и узнаю о невероятных вещах. Говорю Сталину: «Это невероятные вещи, таких вредительств даже и нет!» Сталин говорит: «Он же пишет, сам признался!»

Какой это удар был по мне! Черт его знает, думал я, что за человек этот Беленький, но мне все же не верилось. «Я тебе дал факты, – говорил Сталин, – вот смотри, ты же спорил, защищал его».

Такая же история повторилась в 1937 г. при аресте Одинцова – начальника Главсахара. С ним я работал в Ростове в 1926 г., где он был начальником земельного отдела. Выходец из крестьян, хороший, честный человек, имел большой практический опыт.

После него был арестован Гроссман – начальник жировой промышленности, уважаемый в наркомате человек.

Та же участь постигла моего заместителя Яглома. Он ранее был сторонником Томского, его правой рукой в ВЦСПС. После того как Томский покончил жизнь самоубийством, Яглом был переведен на хозяйственную работу, работал у меня. Способный человек, организатор хороший, я его поддерживал.

Емельянов – начальник Главстроя, пользовавшийся моим доверием, знающий дело работник, тоже был репрессирован.

По поводу ареста этих и некоторых других лиц проводились примерно такие же разговоры, как и в отношении Беленького. ГПУ требовало их ареста, я их защищал, Сталин настаивал, и их арестовали. Через некоторое время давали читать протоколы, где они признавали выдвинутые им обвинения. Этим Сталин доказывал мою слабость в отношении кадров.

Но, даже получая показания этих товарищей из рук Сталина, я не верил им, но не в силах был что-либо сделать.

Оглядываясь на прошлое, сейчас можно констатировать, что тогда обычные недостатки, аварии (а как им не быть, когда было плохое оборудование, не хватало квалифицированных кадров)

объявлялись вредительством, в то время как сознательного вредительства, может быть, за редчайшим исключением, по существу и не было.

Но в то время разоблачение вредительства стало стилем работы, партийной практикой.

А.А. Сольц – старый большевик, член РСДРП с 1898 г. Его справедливо называли совестью партии. Будучи членом Президиума ЦКК партии и членом Верховного суда СССР, а затем занимая ответственные посты в Прокуратуре СССР, доказывал, что вредительства нет. Он рассматривал дела репрессированных и считал, что они неправильно привлечены к ответственности. По этому поводу он обращался и к Сталину. Через некоторое время Сольц исчез. Нам сказали, что у него психическое расстройство, и он помещен в психиатрическую больницу.

Только в 1961 г. я узнал истину о его судьбе. О ней рассказала Шатуновская, работавшая в КПК. Сольц на Хамовнической партийной конференции выступил с разоблачением Вышинского, говорил, что тот фабрикует дела, что вредительства в партии нет. Причем в своем выступлении Сольц о Сталине и ЦК не говорил. Конференция встретила его выступление в штыки, его обвинили в клеветничестве и прочем. После этого его под предлогом сумасшествия увезли в тюрьму, куда помещались такие «сумасшедшие» и где люди скоро действительно сходили с ума или умирали. Против Сольца решили не искать обвинения – вот его как сумасшедшего и изолировали: конечно это было сделано с ведома Сталина. Там он и умер в 1945 г.

При проведении репрессий Сталин помимо карательных органов опирался и на некоторых своих сподвижников, в частности на Маленкова. Маленков образованный инженер-электрик, культурный, сообразительный, умеющий иметь дело с людьми. Он никогда не грубил, вел себя скромно. Маленков очень боялся Сталина и, как говорится, готов был разбиться в лепешку, чтобы неукоснительно выполнить любые его указания. Это свойство Маленкова было использовано Сталиным в период репрессий, когда он посылал Маленкова на места.

Лишь немногим из тех, кто попал в поле зрения ГПУ, удалось избежать гибели. Среди таких «счастливчиков» был Иван Федорович Тевосян. О жизни этого человека следует сказать особо.

Тевосян был одним из самых интересных, толковых, принципиальных, твердых по характеру, талантливых людей. Я его знал, когда он был мальчиком лет пятнадцати. На X съезде партии он и Фадеев, оба в возрасте 18 лет, были делегатами с

решающим голосом. В нелегальных условиях Тевосян налаживал связи, привлекал молодежь на сторону партии. Он оставил в Баку о себе самое лучшее впечатление. Потом ушел учиться, окончил институт, стал металлургом.

Орджоникидзе его возвысил. Он стал начальником треста «Электросталь», большие успехи делал в работе. Орджоникидзе восхищался им, ценил его, в своих речах много раз о нем похвально говорил. Орджоникидзе умел находить талантливых людей.

По инициативе Орджоникидзе Тевосяна послали на фирму Круппа изучать производство высококачественных сталей у немцев. Он начал там работу с мастера цеха. Проявил большие способности. Немцы были поражены его знаниями, организаторскими способностями.

Тевосян вырос до наркома судостроения и много сделал хорошего на этом посту. Сталин был им доволен.

В 1939 г., когда Ежов и Берия уже несколько лет как косили руководящие кадры, они стали подкапываться под Тевосяна.

Перед этим Сталин вызвал в Москву Берию, и ЦК его назначил заместителем Ежова. Мы не понимали значения всего этого, но потом нам стало ясно, что это делается с перспективой на будущее – Сталин решил ликвидировать Ежова, как раньше Ягоду.

Как раз в это время Ежов представил материал против Тевосяна, которого обвинили во вредительстве какие-то арестованные инженеры.

Я как-то был у Сталина, и он мне говорит: «Вот на Тевосяна материал представили, верно или неверно? Жалко, хороший очень работник». – «Это невероятная вещь, – ответил я, – ты сам его знаешь, я его знаю, Серго его хорошо знал. Не может этого быть!» – «На него такие невероятные вещи пишут!» Затем, подумав, он предложил устроить очную ставку: «Ты участвуй в очной ставке, пускай Молотов еще будет, вот вам двоим поручается. А там будут присутствовать Ежов и еще работники ЧК».

Мы согласились и пошли в здание НКВД. Привели двух инженеров, лет по сорок – сорок пять, болезненных на вид, изнуренных, глаза у них прямо не смотрели, бегали по сторонам. Тевосян сидел и напряженно ждал.

Мы их спрашиваем, что они могут сказать о Тевосяне плохого. Отвечают: «Очень давно, когда он учился вместе с нами, мы жили в общежитии и плохо было со снабжением, мы как-то ходили за кипятком, и Тевосян критиковал и ругал советскую власть за то, что плохо поставлено дело снабжения. В общежитиях

не было кипяченой воды и т. д., словом, ругал советскую власть».

Мы с Молотовым переглянулись. Понимаем, что это не может быть основанием для обвинения Тевосяна во вредительстве. Спрашиваем: «А еще в чем виноват Тевосян?» Отвечают, что он был связан с немецкими специалистами, с немецкой агентурой, добился приглашения в Россию немецких специалистов, потому что у Круппа служил, и вел дело против советской власти. Спрашиваем: в чем же вредительство Тевосяна проявилось?

Один из инженеров отвечает, что производство качественной стали получается лучше на древесном угле, а не у электростали. Уральские металлурги дают самую высококачественную сталь, работая на древесном угле. В Швеции развитие производства стали идет на древесном угле. Тевосян же зажал развитие этой отрасли металлургии и переводит дело на производство электростали, а это ухудшает качество стали. У немцев нет дров, поэтому они и вынуждены перейти на производство электростали, но качество стали при этом получается хуже. У нас же дров хватает, а Тевосян вместо развития древесной стали все переключает на электросталь. Это вредительство.

Из всех показаний это было самым острым аргументом.

Действительно, почему мы должны переходить на производство электростали, качество которой хуже? Мы тогда только знали, что шведская сталь высокого качества.

Просим Тевосяна объяснить. Он был очень взволнован, бледен, но не горячился. Сказал: «На другие вопросы отвечать не буду, а в отношении электростали скажу. Действительно, я поворачиваю дело с древесного угля на электросталь. Я считаю это совершенно правильным делом. Неверно, что качество электростали хуже стали, производимой на древесном угле. Это во-первых. Во-вторых, при огромном росте потребности Советского Союза в качественных сталях никаких уральских лесных ресурсов поблизости не хватит металлургическим заводам, чтобы всю эту сталь произвести на древесном угле, не говоря уже о стоимости. Это очень дорогое удовольствие и в смысле количественном невыполнимая задача. А у немцев, у Круппа, получается очень хорошее, высокое качество стали, и мы у себя наладим это. Никто не может доказать, что наша сталь хуже».

У меня прямо от сердца отлегло, как аргументированно, убедительно он доказал это. Неприятно было смотреть на лица этих несчастных обвинителей: глаза у них блуждали, они смотрели на чекистов и, наверное, думали, как те поведут себя с ними после этого.

У Ежова была двусмысленная улыбка. Он чувствовал, что его

обвинение провалилось и что Тевосян реабилитировал себя. У Берии было довольное лицо. Тогда я не понимал, почему довольное, – потом стало ясно, что он использовал дело Тевосяна против Ежова, чтобы еще больше его скомпрометировать. У Молотова же лицо было как маска. Он умеет это делать, когда хочет.

Обратно к Сталину ехали на одной машине все вместе: Ежов, Берия, я и Молотов. Я говорю: «Какая великолепная реабилитация!» Молотов молчит, Ежов и Берия тоже молчат. Видимо, думали, что говорить при Сталине лучше, чем здесь: у каждого были какие-то свои планы.

Приехали к Сталину. Он спрашивает: «Ну как дела?»

Я сказал: «Первое обвинение, выдвинутое против Тевосяна, чепуховское, а в главном обвинении – он доказал, что он прав».

«Вячеслав, а ты как?» – спрашивает Сталин.

Молотов сказал, что здесь не все ясно. Нельзя, как Микоян, безоговорочно утверждать. Надо еще выяснить. И больше никаких аргументов не привел.

Ежов молчал. Берия сказал, что даже нет оснований к обвинению Тевосяна. Это ему надо было сказать, чтобы «высечь» Ежова.

Сталин говорит: «Не надо арестовывать Тевосяна, он очень хороший работник. Давайте сделаем так (ко мне обращается). Он тебе доверяет, ты его хорошо знаешь. Ты вызови его и от имени ЦК поговори с ним. Скажи, что ЦК известно, что он завербован Круппом как немецкий агент. Все понимают, что человек против воли попадает в капкан, а потом за это цепляются, человека втягивают, хотя он и не хочет. Если он честно и откровенно признается и даст слово, что будет работать по совести, ЦК простит ему, ничего не будет делать, не будет наказывать».

Я ответил согласием.

На следующий день вызываю к себе в кабинет Тевосяна. Я ему говорю: «Ты знаешь, как хорошо относится к тебе Сталин, ЦК. Мы очень высоко тебя ценим как нашего талантливого хозяйственника, мы не хотим тебя лишаться». Я сказал, что по поручению ЦК передаю ему мнение ЦК, и изложил все, что было сказано Сталиным.

Тевосян говорит: «Товарищ Микоян, от любого я мог ожидать такой постановки вопроса, но не от вас. Вы знали меня еще мальчиком. Разве я мечтал быть когда-либо наркомом, членом ЦК? Я всем обеспечен, морально удовлетворен, большие достижения имею, меня все уважают, авторитетом большим пользуюсь среди рабочих. Как же вы такие вопросы мне задаете?! Как я, убежденный коммунист, вступивший в партию в тяжелые

для нее годы, могу завербоваться к Круппу? Почему я должен быть завербованным Круппом? Неужели вы меня не знаете? Я же шел на смерть в бакинском подполье ради идеи».

Я ответил, что все знаю хорошо, но есть данные в ЦК. «Если бы мы тебя не любили и не уважали, я бы с тобой не разговаривал, ты не должен на это обижаться. Ты все же скажи откровенно: может, что-то было?» (Я выполнил свой долг, хотя сам не верил, что он завербован.)

Он говорит: «Передайте ЦК и Сталину, что не могло быть и не было ничего подобного. Я делал все честно, выполнял любую работу, двигал вперед порученное дело, успехи имеются немалые. Какой же иностранный агент будет добиваться для советской власти таких вещей? Разве это похоже на деятельность агента? Любая экспертиза может доказать мою правоту».

И еще Тевосян сказал: «Теперь я понимаю, почему в течение месяца за моей машиной следовала другая машина. Значит, за мной следили. Сперва не верилось, что это так, это же провокация, неужели вы не понимаете? Я прошу помочь расследовать это дело».

Я уговорил его, что не надо ничего делать. Я все расскажу ЦК.

Я рассказал Сталину. Он убедился, что это так и есть, и успокоился. Вскоре Ежов был снят с поста и позже расстрелян. Так уцелел Тевосян. Я тогда возмущался поведением Молотова. Я к нему раньше неплохо относился, правда с некоторыми оговорками. У меня лично мало было с ним столкновений. Но его поведение в отношении Тевосяна меня просто поразило, даже после того, что о нем думал и говорил Орджоникидзе (а Серго очень не любил Молотова).

Меня поразило и то, что Молотов, после XXII съезда КПСС прислав в ЦК письмо с просьбой о восстановлении его в партии, считал, что неправильно его исключили из партии, что его ответственность за уничтожение руководящих кадров нельзя преувеличивать, что он не больше ответственен за это, чем другие, и как пример приводит случай с Тевосяном. Он, возможно, забыл, что я был вместе с ним, и бессовестно искажает факты. Кроме этого случая, он не мог ничего привести. Если бы тогда посчитались с его мнением, то с Тевосяном расправились бы.

Молотов скрытный человек, но, видимо, он очень злопамятный. Это видно на примере Тевосяна. Возможно, он не мог простить ему то, что его поддерживал Орджоникидзе, тем самым был как бы против Молотова. Ибо в результате очной ставки, несмотря на очевидную невиновность Тевосяна, он хотел

не дать ему реабилитироваться, полагая, что Сталин будет этим удовлетворен. Он добивался ареста Тевосяна в данном случае. Изложенные обстоятельства только и позволили Тевосяну выйти из этой беды.

О его злобе говорит еще такой случай: после того как Сталина не стало, Молотов устроил «нападение из засады» на Тевосяна, который возглавлял Министерство черной металлургии, будучи заместителем Председателя Совмина СССР.

На заседаниях Президиума ЦК и Совмина Тевосян жаловался, что на металлургию выделяется мало капиталовложений, мало рабочей силы и материальных средств для выполнения планов строительства, по этой причине планы не выполняются. Говорил, что создается угроза отстать в металлургии, особенно в производстве проката. Тевосян был крупным металлургом и пользовался в этом смысле непререкаемым авторитетом. Не было никого до него и после него выше по знаниям и авторитету в этом деле.

Тогда мы не могли выделять много капиталовложений и материальных средств. Хрущев говорил, что надо направить внимание на использование уже выделенных средств, а не требовать новых ассигнований. В этом плане Хрущев критиковал Тевосяна, говоря, что тот не обращает внимания на использование внутренних ресурсов.

В такой обстановке Молотов, будучи министром госконтроля, провел обследование строек металлургической промышленности и представил доклад в ЦК. В нем отмечалось, что очень большое количество оборудования лежит на стройках черной металлургии. Это и оборудование, произведенное в Советском Союзе, и демонтированное в счет репараций оборудование из ГДР, и импортное оборудование. Такие явления были, к сожалению, и в других отраслях. Молотов же говорил, что только в металлургии такое происходит, не сопоставляя с другими отраслями.

Записка была критически острая, факты были даны на основе реальных данных.

Эта записка произвела большое впечатление на членов Президиума ЦК и на Хрущева. Он резко выступил против Тевосяна, хотя и знал ему цену. Этот материал был серьезным ударом по Тевосяну. Он хотел оправдываться, но это было трудно.

После этого в ЦК обсуждали вопрос о том, что, может быть, целесообразнее в интересах развития металлургической промышленности освободить Тевосяна от занимаемой должности. Было решено направить его послом в Японию.

В Японии он пользовался большим авторитетом. Но, конечно,

это фактически была отставка Тевосяна от тех дел, которые он знал, на которых вырос.

Интересен еще один случай, характеризующий Тевосяна. В 1947 г. на переговорах с Вильсоном мы добились того, что лейбористское правительство обещало продать нам несколько штук истребителей с реактивным двигателем. У нас производство качественных реактивных двигателей отставало. Мы хотели их купить, чтобы продвинуть вперед наше производство двигателей.

Для заключения этой сделки и осмотра производства истребителей и реактивных двигателей ездил в Лондон конструктор по самолетам Артем Микоян и конструктор двигателей академик Климов.

С большим трудом нам удалось подписать сделку и получить несколько экземпляров самолетов с реактивными двигателями. Когда ознакомились с ними, то поняли, что мы в области производства двигателей отстали и потребуется несколько лет, пока наши конструкторы их доработают. В области самолетостроения у них ничего особенного не было, главное было в двигателях. А в производстве двигателей самым трудным было производство жаропрочной стали, которая выдерживала бы высокую температуру. Наши соответствующие стали не выдерживали испытаний, так как не имели должной прочности. Все попытки инженеров-метал лургов добиться успеха в лабораторных условиях на основе анализа английской стали ни к чему не привели.

Тогда Сталин вызвал к себе авиационников и Тевосяна как знатока металлургии, попросил добиться получения такой стали. Сталин спросил, мог бы Тевосян лично взяться за это дело.

Тевосян ответил: «Конечно, могу и с удовольствием буду заниматься этим делом, если буду освобожден от всех работ в течение нескольких месяцев, пока не добьюсь успеха».

Сталин обрадовался этому предложению Тевосяна. Оставив его заместителем Председателя Совета министров СССР и министром металлургии, Сталин освободил его фактически от исполнения своих обязанностей, и Тевосян на заводе «Электросталь» в Московской области в течение двух месяцев получил высококачественную сталь, обеспечив быстрое серийное производство отечественных двигателей, на базе которых и появились наши реактивные МиГи. Американцы и англичане столкнулись с этими самолетами в корейской войне.

Английские двигатели были взяты за образец, но сталь наша оказалась лучше, и конструкция двигателей лучше и другие показатели оказались лучшими.

Англичане были поражены качеством и поведением наших

самолетов в воздушных боях, американские самолеты избегали встреч с МиГами. Один наш МиГ был сбит во время боя и попал в руки американцев. Они взяли анализ стали двигателей и всех данных самолета и вынуждены были признать преимущество нашей авиации против английской и американской.

Отношение ЦК и Совета министров к Тевосяну было всегда хорошим, несмотря на этот перевод в Японию. Там он заболел неизлечимой болезнью. Он знал о безнадежности состояния своего здоровья, ожидал скорой смерти: еще японские врачи откровенно заявили, что у него рак. Я заходил к нему в палату больницы, беседовал с ним, старался всячески подбодрить его. Он держался мужественно, героически. До конца.

Было решено присвоить его имя заводу «Электросталь», с которым он лично был связан, и поставить ему памятник на этом заводе.

Глава 24
Самоубийство Орджоникидзе

Как известно, было объявлено, что Орджоникидзе умер от паралича сердца. Теперь все знают, что он покончил жизнь самоубийством. Сталин счел тогда политически нецелесообразным публиковать факт самоубийства такого деятеля, как Орджоникидзе. Кроме того, Сталин тогда сказал, что мы не сможем похоронить Орджоникидзе как подобает, если объявим, что он самоубийца. Известно также, что Орджоникидзе не оставил ни письма, ни какого-либо другого документа, никаких намеков на причины, приведшие его к самоубийству. Все, кто был близок к нему, знали, что это результат психологического состояния. Многие обстоятельства портили настроение и самочувствие Орджоникидзе в период, предшествующий совершению этого акта.

Первое. Орджоникидзе пользовался большим авторитетом у закавказских товарищей, и они так считались с его мнением, с его опытом в решении многих вопросов, что, естественно, после его отъезда в Москву эти товарищи, приезжая в ЦК партии или на съезд, заходили прежде всего к нему, информировали его, советовались с ним. У Орджоникидзе было постоянное общение с ними. Активная роль Орджоникидзе в руководстве партии была так сильна, что его действия не могли вызвать сомнения в их правильности.

Однако когда в 1931 г. руководство Компартией Грузии перешло в руки Берии – не без прямого содействия Сталина, так как Берия сам не смог бы взобраться на такую партийную высоту, – началась травля Орджоникидзе.

Берия раньше, приезжая в Москву, тоже заходил к Серго, пользовался его советами. Но как только достиг своей цели, стал игнорировать Орджоникидзе и со временем добился того, что другие работники Закавказья также оборвали всякие связи с Орджоникидзе. Сам факт такого резкого изменения отношения к нему тяжело отразился на его впечатлительной натуре. Он понимал, что все это не могло быть без ведома Сталина: Берия не осмелился бы на такой шаг. Он, видимо, наговорил Сталину о том, что товарищи ходят к Орджоникидзе за советами и т. д., и добился согласия на то, чтобы оборвать эти связи. При этом ни Берия, ни Сталин прямо с Серго на эту тему не поговорили ни на политбюро, ни лично. Сам факт, что все это делается за его спиной, а ему прямо ничего не говорят, не мог не вызывать у

Серго впечатления, что ему выражают недоверие.

Второе. Младший брат Серго – Пачулия Орджоникидзе когда-то был выдвинут на должность начальника Закавказской железной дороги. Он работал как будто неплохо. Но дело не в этом. Он был горячий, невыдержанный, что думал – то и говорил. Он был недоволен многими действиями Берии и, не скрывая этого, открыто говорил на партийных собраниях. Берия не мог этого вытерпеть. И вот вдруг Пачулия снимают и арестовывают.

Как-то приходит ко мне Серго в очень угнетенном состоянии, говорит, что Пачулия, конечно, много лишнего говорил и с начальника дороги его сняли тоже, может быть, правильно. «Я не знаю, как он работал, но что он честный человек и партии предан – в этом никто не сомневается, и я не сомневаюсь. Как же можно было такого человека арестовывать, исключать из партии? Причем Берия это сделал, даже не позвонив мне предварительно. И после ареста тоже не позвонил. Я знаю, – говорил Серго, – что это не могли сделать без личного согласия Сталина. Но Сталин дал согласие на это, даже не позвонив мне, а ведь мы с ним большие друзья. Он даже не информировал меня, что собираются арестовать моего брата. Я узнал это со стороны».

Через некоторое время стало известно, что его брат был расстрелян в 1936 г. Конечно, Серго знал, что и расстрел мог произойти только с согласия Сталина.

Все это не могло не вызвать у Серго впечатления, что Сталин перестал ему доверять, что ведется какая-то кампания против него. Но почему она ведется, с какой целью, он не мог никак понять. Он мне жаловался на Берию, которого не уважал, жаловался на Сталина, говорил, что знали они друг друга много лет: «Такие близкие друзья были! И вдруг он такие дела позволяет делать!»

Закавказские товарищи, которые работали вместе с Серго, с приходом Берии были сняты с постов, но многие из них находились в Москве – Орахелашвили, Гогоберидзе и другие. Берия хотел упрочить свое положение, избавиться от них и добился этого.

Он добивался того, чтобы знавших его кавказских товарищей в Москве не было, чтобы в ЦК не могла попасть информация о его деятельности. А все эти люди были близки Серго Орджоникидзе.

Все говорило о том, что Серго перестали доверять. Рассказывал Серго и о том, что в Совнаркоме его Молотов травит. Через всякие инстанции придирается к Наркомтяжмашу и не дает должного простора для работы.

Наконец, когда начались аресты хозяйственных работников как вредителей и троцкистов, Серго много приходилось спорить и

отстаивать тех товарищей, которых он хорошо знал как честных и преданных товарищей. Конечно, недостатки могли быть у каждого, но недостаток не есть вредительство. А аресты проводились под флагом борьбы с «широко распространившимся вредительством» в промышленности. Это «открывалось» то на одном заводе, то на другом, то в одном главке, то в другом. Этому не видно было конца. Шли разговоры, что Сталин еще дальше пойдет в этом деле. Он был недоволен тем, что «слабо» ведется эта борьба.

В 1937 г., в феврале, на пленуме ЦК должен был обсуждаться вопрос о вредительстве в промышленности. Докладчиком от ЦК был назначен Орджоникидзе. Он должен был в своем докладе не только одобрить аресты, уже произведенные, но и шире обосновать их необходимость.

Серго, готовясь к докладу, поручил нескольким доверенным людям проверить на местах, что происходит, чтобы решить, как использовать полученные материалы в своем выступлении на пленуме. Недели за две до пленума стали возвращаться посланные для проверки товарищи. Из полученных материалов вытекало, что никакого вредительства нет, есть просто недостатки и ошибки.

Помню, в беседах со мной Орджоникидзе говорил, что не понимает, что происходит. Товарищи докладывают, что никакого вредительства нет. Арестовываются крупнейшие хозяйственные работники, которых он хорошо знает. Как же он будет докладывать на пленуме ЦК о вредительстве, когда у него собраны совершенно противоположные материалы?

Готовясь к докладу, Орджоникидзе должен был за несколько дней предварительно согласовать со Сталиным тезисы доклада, а потом представить их в политбюро на одобрение.

За 3–4 дня до самоубийства мы с ним вдвоем ходили вокруг Кремля ночью перед сном и разговаривали. Мы не понимали, что со Сталиным происходит, как можно честных людей под флагом вредительства сажать в тюрьму и расстреливать. Серго сказал, что у него нет сил дальше так работать. «Сталин плохое дело начал. Я всегда был близким другом Сталину, доверял ему, и он мне доверял. А теперь не могу с ним работать, я покончу с собой».

Я был удивлен и встревожен его выводом, поскольку до этого его высказывания были иными. Я стал его уговаривать, что он неправильно рассуждает, что самоубийство никогда не было средством решения той или иной проблемы. Это не решение проблемы, а уход от нее. И другие аргументы приводил. Мне казалось, что я его убедил. Несколько успокоились и пошли спать.

Через день снова встретились, и снова он заговорил о самоубийстве. Я сильно встревожился, стал еще больше его уговаривать не делать этого шага.

В последующие два дня мы с ним не встречались: он был занят подготовкой доклада, наверное, был у Сталина (точно я тогда не знал) или посылал свои наброски доклада.

За день до открытия пленума ЦК, 18 февраля 1937 г., Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством…

Только после XX съезда партии, в феврале 1956 г., мне стали известны подробности последних часов жизни Серго. О них рассказала вдова Орджоникидзе Зинаида Гавриловна журналисту Гершбергу, который записал ее рассказ, а затем свои записки передал мне. Гершберг лично знал Орджоникидзе, бывал на совещаниях, которые тот проводил, был знаком с его женой.

Вот что записал Гершберг со слов Зинаиды Гавриловны, когда он в феврале 1956 г. приехал по ее просьбе к ней на квартиру в Кремле.

«Шестнадцать лет я молчала… шестнадцать лет берегла эту тайну в груди… никому… ни полслова… Мне нужно поделиться…» – она говорила прерывисто, задыхаясь, почти шепотом.

Мы зашли в столовую, обставленную старомодной громоздкой мебелью. Я смотрел на все как в первый раз. Посредине длинный стол персон на двадцать, за ним высокий, широкий комод для посуды, слева диван в сером льняном чехле, у стола и стен стулья конторского типа с высокими спинками. Радиоприемник выпуска тридцатых годов. Цветы на окнах.

«В последнюю предсмертную ночь он сидел вот здесь, – сказала Зинаида Гавриловна, указывая на его место во главе стола. – Работал до утра… Я умоляла его поесть, но он выпил только стакан крепкого чаю… Через два или три дня ему предстояло делать доклад на пленуме ЦК о вредительстве… Он что-то написал на машинке, не знаю сама, доклад или тезисы, носил Сталину. Тот забраковал. На полях были надписи вроде «Ха-ха…». Серго писал и переписывал на листках из блокнота, ссорился со Сталиным по телефону, потом опять писал, опять ходил и относил, дважды возвращался под утро…

Одну ночь я всю выстояла у окна, у этого… Часа в четыре я почувствовала его шаги, он показался вон за тем зданием, но потом исчез… Я страшно нервничала, но выйти во двор не решалась… ведь я дожидалась его скрытно. Проходят минуты, но мне они кажутся часами, сутками, голова заполняется кошмарами, мне мерещится, что Серго где-то упал, валяется на

снегу, сердечный приступ, с ума можно сойти… У меня озноб, я хватаю теплый платок, приготовляюсь. Наверное, придется бежать… Но вот опять показывается его фигура. Он идет твердо. Я считаю его шаги: тридцать – семьдесят – сто двадцать – триста – триста сорок – пока он опять не скрывается за поворотом. Круг, еще круг… Наверное, жарко было там, у Сталина. Серго остывает на морозе. Ходит один по ночному Кремлю, пустому, заснеженному, со своими мыслями… Сейчас появится, виду не покажет… Я ничего не спрошу, и он ничего говорить не станет. В такие минуты я не могла справляться даже о здоровье…

Серго зашел, снял шинель и неожиданно заговорил сам: не может поладить с Кобой. Я понимаю, какое это большое горе. Серго искренне любил Сталина, Сталин его тоже. Они многие годы дружили. Эта квартира принадлежала Сталину. Когда мы приехали в ноябре 1926 года из Ростова в Москву, Сталин взял нас к себе. Через некоторое время для Орджоникидзе приготовили квартиру, и мы собирались выезжать. Сталин сказал: «Я вижу, Серго, тебе и Зине нравится моя квартира. Верно?» – «Верно», – подтвердил Серго. «Ну, тогда и живите на здоровье, а я перееду». И он перебрался… Сталин любил бывать у нас прежде. Потом я стала чувствовать, в тридцать шестом уже, как отношение Сталина меняется. Серго тяжело переживал. Я думала, тут размолвка. Пару раз пыталась узнать у Серго, что произошло, но он отвечал мне резко и даже грубо. Больное место нельзя было задевать…

Серго исполнилось пятьдесят лет. Обычно в день рождения, 28 октября, он получал личные поздравления от Сталина и других членов политбюро… А теперь 50 лет! – пришло официальное приветствие за подписью ЦК и Совнаркома и «с подлинным верно»… А незадолго до этого принесли другой пакет, толстый: дело о вредительстве начальника Закавказской дороги Пачулия Орджоникидзе, брата Серго. Он молча просматривал материалы вон там, в кабинете…»

Зинаида Гавриловна поднялась, и мы перешли в кабинет Серго, сели у письменного стола. На нем прибор, несколько книг, в рамочках небольшие фотографии Сталина и Кирова. Две стены кабинета заставлены книжными шкафами почти до потолка. Подле одного шкафа огромный рисунок, в человеческий рост: Сталин и Орджоникидзе идут вдвоем. Оба в шинелях, молодые, веселые.

«Вот здесь, в кабинете, он смотрел материалы, – продолжала Зинаида Гавриловна. – Серго ходил из комнаты в комнату, брал книги, бумаги, не находил себе места. Пачулия был расстрелян… Они замахивались и на Серго – у нас здесь ночью был устроен

обыск… Представляете себе: обыск на квартире Орджоникидзе?! С ума можно сойти! Серго рассвирепел, звонил Сталину, тот сказал ему какую-то ерунду, вроде «ничего особенного»… Ясно стало, что Серго разошелся со Сталиным, я видела это по мукам Серго. Он категорически не верил доносам на брата. Он считал, что все подстраивает Берия. Серго никогда не верил Берии ни на грош, считал его «темным». «Лаврентия работа», – только два слова услышала я от Серго, когда он швырнул бумаги, присланные из НКВД…

Он невероятно переживал аресты наркомтяжпромовцев, не верил даже в то, что Пятаков шпион, хотя тот и был старым троцкистом. И только, когда Серго дали показания, написанные почерком Пятакова, Серго поверил и возненавидел его. Вы знаете, как мог Серго любить и ненавидеть? – сказала Зинаида Гавриловна. – Он мог отдать жизнь за того, кого любил, и мог застрелить того, кого ненавидел».

Со словом «застрелить» Зинаида Гавриловна резко поднялась со стула и прошептала: «А он застрелил себя».

Зинаида Гавриловна вышла из кабинета и повела меня в спальню. «На этой кровати спал Серго, на этой я. Оконные ставни были закрыты. Я проснулась раньше и боялась пошевелиться, чтобы его не разбудить… Наконец он поднялся, спустил ноги с кровати, а голову склонил на обе руки. «Я что-то неважно себя чувствую, – проговорил Серго, – полежу еще… Если придет Жорж, попроси подождать». Я встала, поправила подушку Серго, накрыла его одеялом и вышла. В столовой сидел Гвахария. Он приехал из Макеевки, читал свои бумаги – у него была полная папка. Гвахария у нас в доме был свой человек. Я сказала, что Серго что-то раскис, он еще спит, и предложила чем-нибудь покормить. Гвахария отказался и, держа палец у губ, прошептал: «Не нужно разговаривать». В это время я услышала глухой удар. Вы видите, спальня у нас в стороне, от столовой ее отделяет вот этот коридорчик. Двери были наглухо закрыты и в спальню, и тут. Я бросилась в спальню… Вот здесь, на ковре, лежал Серго… С простреленной грудью… Опаленный кусочек кожи над самым сердцем… Я схватила его руку, пульс, голову, прикоснулась к губам… Он мертв, его не стало вмиг, в тысячную мига… Позвонила кремлевскому врачу, вытолкала Гвахарию: «Уходи, с Серго плохо». Врач появился тут же и констатировал смерть.

Я немедленно позвонила Сталину на дачу. Мне ответили, что он гуляет по территории. Я сказала: «Передайте Сталину, что звонит Зина. Пусть сейчас же, вы слышите? – сейчас же идет к телефону, я буду стоять у трубки». Сколько я простояла, не знаю, может быть, десять минут, может быть, век. Наконец я услышала

его голос, и руки у меня задрожали: «Почему такая спешка?» Я сказала – нет, приказала ему! – явиться немедленно. Я чувствовала, что он сердится. «Почему спешка?» – повторил он с акцентом. Тогда я крикнула: «Серго сделал, как Надя!» Он швырнул трубку, я услышала короткие гудки…»

«Как Надя» значило: как Надежда Сергеевна Аллилуева, жена Сталина…

После небольшой паузы Зинаида Гавриловна продолжала: «Через тридцать минут или сорок, не знаю, Сталин приехал с Ворошиловым, Молотовым, Микояном, Кагановичем, Ждановым, Ежовым. Они прошли прямо в спальню. Ни слова, ни звука. Я присела на край кровати. Ко мне подошел с утешением Ворошилов. «Что ты меня утешаешь, – сказала я Ворошилову, – если вы не смогли для партии его сберечь…» На меня посмотрел Сталин и позвал легким кивком. Мы вышли из спальни в кабинет. Встали друг против друга. Он весь осунулся, выглядел старым, жалким. Я спросила: «Что же теперь людям скажем?» – «У него не выдержало сердце», – ответил Сталин… Я поняла, что так напишут в газетах. И написали… Как только выдержало мое сердце? Откуда у меня взялись силы? Не знаю, не знаю… Я тогда даже не плакала совсем…»

Зинаида Гавриловна плакала потом, всю жизнь.

В 1957 г. Институт марксизма-ленинизма подготовил к изданию второй том избранных произведений Г.К. Орджоникидзе. Зинаида Гавриловна участвовала в этой работе, и, когда книга была уже напечатана в виде макета, она попросила меня в мае 1957 г. прочитать некоторые речи и предисловие, составленное институтом. Среди речей были и такие, где говорилось об И.В. Сталине в превосходной степени, в духе 30-х годов. Прямо скажу, читать эти места в 57-м, через 20 лет после гибели Серго, было невыносимо тяжело.

Но еще тяжелее было прочитать в предисловии к книге такие слова: «В некоторых выступлениях Г.К. Орджоникидзе, начиная с 1934 г., имеет место культ личности И.В. Сталина».

Да, соратники Сталина несут определенную долю ответственности за создание культа личности Сталина. Но ни одному из них в то время ни в прессе, ни в документах это не ставилось в вину. И вот первая претензия предъявляется кому? – Орджоникидзе!

Зинаида Гавриловна попросила меня «принять меры». «Попробую позвонить знакомым товарищам в ИМЛ, – пообещал я, – но мое влияние там равно нулю».

19 или 20 июня 1957 г. меня пригласил А.И. Микоян. Я поехал к нему в Кремль. На столе у Анастаса Ивановича лежал

синий том произведений Орджоникидзе со множеством закладок. Он спросил: «Тов. Гершберг, вам показывали этот том?» Я ответил, что читал его частным образом, по просьбе Зинаиды Гавриловны. Мы просидели часа полтора, листая книгу, страницу за страницей. «Как же так? – возмущался Анастас Иванович. – Все тогда выступали, как Серго. Мы все – живые, а его, погибшего, фактически обвиняют в создании культа… Это бесчестно, бессовестно! Этого допустить нельзя!»

Не знаю, кому звонил Анастас Иванович, но после его вмешательства бессовестный абзац был выброшен из предисловия».

Глава 25
Работа в Совнаркоме и наркомом внешней торговли

Увеличение производства продуктов питания, естественно, влекло за собой много самых различных вопросов, связанных с производством и заготовкой сельскохозяйственного сырья и продажей населению пищевых продуктов. Большую роль в этом играла потребительская кооперация. Назревал вопрос о необходимости сконцентрировать руководство всем этим делом у одного лица.

Сталин предложил мне стать заместителем Председателя СНК СССР, оставаясь по совместительству наркомом пищевой промышленности, с тем чтобы я как зампред сосредоточил указанные вопросы в своих руках. 22 июля 1937 г. Постановлением ЦИК я был утвержден в этой должности.

Заместителем Председателя СНК, а затем Совета министров СССР в общей сложности я проработал 27 лет, в том числе первым заместителем с февраля 1955 по июль 1964 г. На выборах в Верховный Совет СССР в декабре 1937 г. я был избран по рекомендации Сталина депутатом в Совет национальностей по 126-му округу Еревана и выдвигался от этого округа вплоть до 1974 г. В Верховный Совет РСФСР меня выбирали в Ростове-на-Дону.

Уже через несколько месяцев после моего назначения стало ясно, что совмещать эти две должности трудно и, по существу, нецелесообразно. В январе 1938 г., на первой сессии Верховного Совета СССР первого созыва, я был утвержден в должности заместителя Председателя СНК СССР с освобождением от обязанностей наркома пищевой промышленности.

Весной 1938 г. мои функции как зампреда были четко определены. В Постановлении СНК СССР от 14 апреля было записано: «Обязать заместителя Председателя СНК СССР тов. Микояна сосредоточиться на вопросах товарооборота, на улучшении работы Наркомторга и, в особенности, Центросоюза, на улучшении работы Наркомлегпрома СССР, Наркомпищепрома СССР, Наркомзага и Наркомлегпромов союзных рес публик, освободив его от других обязанностей». Вопросы внешней торговли были вне моей сферы контроля.

У нас с Розенгольцем были нормальные отношения, но сухие. Он никогда не обращался ко мне ни за советом, ни за

информацией. Я также избегал бесед с ним.

Сталин добился того, что вопросы внешней торговли даже в Госплане и Совнаркоме подробно не рассматривались. Розенгольц один ходил к Сталину с планами, главным образом с валютным планом и планом валютных накоплений. Сталин одобрял это, и Розенгольц строго руководствовался указаниями Сталина, входил в Госплан и Совнарком со своим планом. Все решалось в тайне от них. Сам Розенгольц очень был доволен такой обстановкой. Он работал неплохо как чиновник.

Это его устраивало, устраивал такой способ решения вопросов, потому что никакой критики в отношении этих планов не имело места, ибо никто не присутствовал при их обсуждении. Не было и никаких жалоб. Сталин одобрял планы, составленные Розенгольцем самостоятельно.

Розенгольц ввел в наркомате порядок послушания и исполнения, вместо того чтобы пользоваться методом обсуждения вопроса на коллегии, с активом работников наркомата. Работники, которых я хорошо знал, проявляли недовольство, что совсем другой стиль работы стал, что нарком не слушает, не терпит возражений.

И вдруг в конце 1937 г. Розенгольц был арестован «как бывший троцкист и теперь имевший отношение к троцкистской деятельности». Он действительно когда-то голосовал за Троцкого, но был предан Сталину и никакого отношения к троцкистской группировке давно уже не имел. Я удивлялся только, что делал Сталин с людьми, которые честно работали для советской власти.

Как-то осенью, в 1938 г., часов в девять вечера, когда я находился в Совнаркоме, позвонил Поскребышев и сказал, что Сталин с Молотовым находятся в ложе Большого театра и Сталин просит меня зайти туда. Шла опера «Иван Сусанин». Сталин очень любил эту оперу, и мы с ним раз восемь или девять были на ней. Сначала мне нравилось, а потом надоело.

Я никак не мог догадаться, по какой причине меня приглашают. Надо сказать, по сравнению с тем, что было раньше, в 1938 г. Сталин редко вызывал меня лично. Он чувствовал, что я тяжело переношу те репрессии, которые он применял в отношении руководящих кадров и вообще в стране. Возможно, поэтому он стал относиться ко мне несколько холоднее. К тому же в это время перестали устраивать регулярные заседания политбюро, как это было раньше (каждый четверг с 12 до 5–6 часов дня). Вместо этого 2–3 раза в месяц устраивались совещания узкого состава политбюро, как правило, без предварительной повестки. В этих заседаниях я участвовал.

В антракте Сталин мне говорит: «Ты знаешь, что после ареста

Розенгольца исполнение обязанностей наркома было возложено на Судьина, который до этого занимал должность зампредседателя Госконтроля. Оказалось, что и он замешан во вредительстве. Тогда мы решили взять человека со стороны и сделали и.о. наркома Чвялева, который до этого работал директором Института внешней торговли в Ленинграде. И очень удивлены – Чвялев, которого мы взяли, казалось, умный, честный человек, молодой, – он также участвует во вредительской антисоветской группировке». (Я не понимал, почему он меня об этом информирует.) Сталин продолжал: «Чвялева нельзя терпеть во главе наркомата. Меркалов – его заместитель – тоже подозрительный человек. Возможно, он также с ними вместе. Ты не мог бы взять на себя исполнение обязанностей наркома внешней торговли с исполнением обязанностей зам. Председателя Совнаркома? Резервы исчерпаны у нас, а ты и дело, и людей знаешь, и дело поправишь быстро».

Я сказал, что у меня очень много обязанностей получается и все их надо исполнять. Поэтому мне очень трудно давать согласие, хотя я и не возражаю, если ЦК считает это необходимым. Он сказал: «Надо. Ты справишься. Ты не обязан в мелочи вникать. Подберешь людей, ими будешь руководить, и дело пойдет. Только строго прими дела от Чвялева, используй приемку дела для необходимой проверки состояния дел в наркомате, все недостатки выяви и какие люди вредят, чтобы от них избавиться. А потом, после сдачи дел, мы арестуем Чвялева, а через некоторое время, возможно, и Меркалова».

Подумав, я сказал, что, если ЦК считает необходимым, я не возражаю, но прошу две вещи: освободить меня от руководства наркоматами пищевой и легкой промышленности, внутренней торговли и заготовок, чтобы я мог целиком сосредоточиться на работе Наркомата внешней торговли, потому что дела там действительно развалены; вторая просьба – прекратить аресты работников Внешторга. Я знаю со слов работников наркомата, что там арестовано много не только руководителей, но и средних работников. Многими овладел страх. Люди боятся проявить инициативу, активность, чтобы это не сочли за вредительство. В наркомате господствует паника, перестраховка. В таких условиях мне трудно будет заставить людей работать активно, в интересах государства. «Вообще, – добавил я, – нельзя арестовывать работников наркомата без согласования этого вопроса с наркомом».

Сталин сказал: «По первому вопросу нет надобности освобождать тебя от тех обязанностей, которые возложены на тебя как заместителя Председателя Совнаркома: настолько ты

хорошо знаешь работу этих наркоматов, так много у тебя энергии, что вполне можешь совмещать и эту работу, и работу во Внешторге. Так что эта твоя просьба не будет удовлетворена. (Я не стал возражать против этого, промолчал.) Что касается твоей второй просьбы, – продолжал Сталин, – то ты, пожалуй, прав. Чтобы создать хорошую атмосферу для твоей работы, дадим указание НКВД прекратить всякие аресты работников Внешторга. В отношении согласования вопроса ареста работников наркоматов с наркомами – подумаем».

Сталин не мог не понять, что вопрос этот был важен и в той обстановке совершенно необходим. С 1 декабря 1938 г. было установлено, что разрешение на арест работников союзных и республиканских наркоматов, а также приравненных к ним учреждений дается по согласованию с соответствующим наркомом или начальником учреждения.

Я прибыл в наркомат, образовал подкомиссии, стал выслушивать доклады о состоянии дел. Недостатков было много.

Состояние дел оказалось хуже, чем я мог предположить. В наркомате из 46 человек, которые начиная с 1930 г. в разное время были заместителями наркома или членами коллегии, не оказалось ни одного. Все были репрессированы: большинство на работе в самом наркомате, другие – после выдвижения на иную работу. Это были, как правило, крупные, хорошо подготовленные работники.

Особенно тяжелым положение в Наркомвнешторге стало, когда 14 июня 1937 г. с должности наркома был снят Розенгольц. Из заместителей наркома я застал одного Кушарова, да и тот пришел в наркомат лишь за три месяца до моего назначения.

Из 21 объединения в десяти не было председателей, во многих управлениях и отделах взамен снятых кадровых работников были назначены совсем неопытные работники. В 15 странах из 25, с которыми были торговые связи, должности торгпредов были вакантны из-за того, что кадровые работники были сняты. Не было торгпредов в Бельгии, Греции, Дании, Италии, Иране, Китае, Литве, Монголии, Туве, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швеции, Японии.

Комиссия по приемке дел наркомата выявила много недостатков. В ходе ее работы отдельные факты, когда их оспаривали работники аппарата, я поручал перепроверять. Я просил, чтобы проверка проводилась строго, но объективно, чтобы не искажались факты и чтобы не использовались недостатки для шельмования работников наркомата.

Зная, что Чвялев снят, комиссия все вскрываемые недостатки возлагала на него. Тактика была понятной, но, конечно, нарком

не мог отвечать за все. Но так поступали сознательно, стараясь спасти других работников, ибо вскрытые недостатки не были последствием какого-то вредительства, а были лишь результатом шараханья из одной стороны в другую в силу сложившихся ненормальных условий.

Будучи поставлен перед фактами, установленными комиссией, бывший нарком Чвялев объяснил их тем, что он «малоопытный работник во внешней торговле». Он действительно не имел практического опыта, а одного высшего образования оказалось мало.

Положение в деле руководства наркоматом за указанные годы усугублялось еще и тем, что в 1934 г. в наркоматах были ликвидированы коллегии, как указывалось в Постановлении ЦИК и СНК, «в целях обеспечения конкретного руководства». Однако жизнь довольно скоро показала несостоятельность и несуразность упразднения коллегий, и они были восстановлены. Уже один этот факт показывает, насколько иногда по-диктаторски относился Сталин к решению крупных организационных вопросов построения государственного и хозяйственного аппарата в стране.

Мне удалось в течение менее чем года внушить работникам Внешторга уверенность в своем положении, в том, что они будут защищены, что критика не будет вызывать репрессий. Наркомат начал вставать на ноги.

Надо сказать, что Сталин сдержал свое слово и в течение десяти лет, до 1948–1949 гг., арестов в Наркомате внешней торговли не было. Единственным исключением было дело, затеянное Абакумовым почти через десять лет против председателя а/о «Экспортлес» Герасимова, который в войну работал уполномоченным Внешторга в Архангельске по разгрузке и приемке, а также отправке по назначению поступавших из-за границы грузов и вооружения. Работал он энергично, хорошо. К нему на помощь в трудные минуты я иногда направлял Папанина, популярного человека в стране, чтобы он своим авторитетом активизировал работу грузчиков по разгрузке товаров и вооружения в тяжелейших условиях Севера. Папанин был уполномоченным ГКО, и его умение найти подход к портовым людям много помогало работе.

Мне Сталин сказал тогда, что поступил какой-то материал на Герасимова и что пройти мимо этого материала нельзя. Я попросил его дать мне возможность разобраться в этом деле самому, потом доложить ему. Я убедился, что ничего предосудительного и умышленного в действиях Герасимова не было; была некоторая торопливость, за которую можно было нести административную ответственность. В целом же Герасимов

работал правильно и хорошо. Я так и доложил Сталину. Сталин не согласился, дал указание арестовать Герасимова и судить.

После смерти Сталина дело Герасимова было пересмотрено как надуманное Абакумовым. Герасимов был реабилитирован и вышел на свободу. Сам Абакумов был арестован еще при Сталине.

За годы моей работы наркомом внешней торговли в процессе проведения общей линии централизации государственного управления сложилась абсолютная монополия внешней торговли. В последующем Сталин продолжал держаться этой линии, и у меня не было с ним споров по этому вопросу. Даже во время Великой Отечественной войны все поставки из Англии и Америки, включая небольшое количество танков и самолетов в первый период войны, осуществлялись Наркомвнешторгом.

Монополия внешней торговли сохранялась так, как она была завещана Лениным. Это закреплено в нашей Конституции. Ленин, твердо придерживаясь принципа монополии внешней торговли, не рассматривал ее догматически. Он учитывал особенности этапов экономического развития и требования социалистической экономики, предусматривал гибкие формы организации и методов внешнеторговой работы, идущей навстречу этим требованиям.

Красин – проводник ленинской линии развития – понимал, что дело это потребует вовлечения во внешнеторговый оборот отдельных наркоматов, крупных предприятий. «Все учреждения, общества, фирмы и частные лица, – писал Красин в 1924 г., – могут заниматься внешней торговлей лишь постольку, поскольку государство им это дозволяет, то есть не иначе, как с особого разрешения особых правительственных органов, причем самое осуществление внешнеторговых операций происходит не иначе как под контролем и наблюдением Народного комиссариата внешней торговли и его органов».

Глава 26
Реорганизационная чехарда перед войной

Трагичность и пагубность последствий для партии и государства репрессий 1937–1938 гг. видна не только на фактах уничтожения огромного числа опытных, прошедших школу борьбы с трудностями советских, партийных и военных работников. Это сказалось и в другой области, которая до сих пор еще даже не затронута в мемуарах, и никто о ней, насколько я это знаю, не написал ни слова. И в книгах об истории партии и государства эта область – создание, реорганизация и образование органов военного и экономического руководства Советской страной – также почти не освещена.

До 28 апреля 1937 г. функционировал созданный Лениным в ноябре 1918 г. Совет труда и обороны (СТО), сыгравший выдающуюся роль как в Гражданскую войну, так и в дальнейшем по руководству социалистическим строительством, развитием оборонной промышленности и вооруженных сил. Одновременно с ликвидацией СТО был создан самостоятельный орган при Совнаркоме СССР – Комитет обороны, который просуществовал 3 года и один месяц и был ликвидирован 30 мая 1941 г. – за 23 дня до начала войны.

Вначале я был кандидатом в члены Комитета обороны, а с 10 сентября 1939 г. – членом этого комитета.

Создание специального Комитета обороны тогда не вызывало возражений, и я не считал и не считаю это ошибкой. Ошибочно только то, что он был ликвидирован перед началом войны и ничем сразу не заменен. Только нападение Гитлера на СССР вынудило нас образовать через 8 дней после начала войны Государственный Комитет Обороны (ГКО).

Эти изменения даже мало считать организационной чехардой, они просто не поддаются пониманию.

Конечно, оставался Совнарком, который за все отвечал, но он не мог обходиться без специального органа по обороне. Чем можно объяснить ликвидацию Комитета обороны? До сих пор не могу этого понять. Правда, комитет постепенно стал мало работать, редко собираться, а значит, мало было коллективного обсуждения военных вопросов, которые сосредоточивались вокруг Сталина. Сталин собирал случайные совещания. Молотов на них присутствовал всегда, на некоторых бывал я, до финской войны

Ворошилов всегда участвовал. Но после того, как Ворошилов был снят с поста наркома обороны, превратившись в козла отпущения за неудавшуюся войну с Финляндией, он перестал на них бывать.

Любой историк может задать вопрос: чем мешал Комитет обороны Сталину в подготовке страны к войне? Почему он его ликвидировал? Он же сам был во главе комитета. Никакой оппозиции ни в этом комитете, ни в правительстве, ни вообще в стране не было.

После ликвидации Комитета обороны Сталин продолжал заботу об обороне страны, но главная организационная чехарда, совершенно недопустимая, началась после ликвидации СТО в связи с тем, что никакой замены СТО в части экономического руководства страной не было сделано. Лишь через 7 месяцев, когда стало ясно, что не может Совнарком наряду с другими делами руководить также и экономической жизнью страны, был образован при Совнаркоме Экономический совет.

Это было исправлением ошибки, и я считаю это решение правильным.

Председателем Экономсовета являлся Председатель Совнаркома по положению, а членами Экономсовета – заместители Председателя Совнаркома и председатель Центрального совета профсоюзов: председатель – Молотов, члены – Микоян, Межлаук, Чубарь, Косиор, Каганович, Булганин. Менее чем через два года состав Экономсовета был дополнен Ждановым, Андреевым, Маленковым.

Экономическая работа в стране велась неудовлетворительно. Это мы понимали, и Сталин, видимо, сам чувствовал это. Он считал одной из причин такого положения слабое организационное руководство из Центра. Я же, как и другие, видел главную причину в ином. Она заключалась в том, что многие опытные руководители – начиная с директоров предприятий, главных инженеров, начальников трестов и главков до заместителей наркомов и наркомов – были репрессированы.

Надо сказать, что я как член Экономсовета, ввиду того что Молотов был занят другими вопросами, больше других занимался делами совета. В начале января 1938 г. я был освобожден с поста наркома пищевой промышленности, что позволило мне еще больше уделять времени Экономическому совету. Многие решения Экономсовета были подписаны мной «за председателя».

Мы, конечно, делали все, что могли, чтобы улучшить работу Экономсовета. Но серьезного улучшения не добились.

В сентябре 1939 г. по предложению Сталина было принято решение освободить Молотова от обязанностей председателя Экономсовета. Сталин считал, что Молотов с этой работой не

справляется. Я не хочу плохо говорить о Молотове. Но вообще-то он был негибким, неоперативным, любил длительные совещания, где сам мало говорил, думаю, потому, что он заикался, а это его угнетало, но он любил всех выслушать. Кроме того, Сталин занимал Молотова на всяких совещаниях, часто вызывал к себе, одним словом – держал около себя. Поэтому Молотов и не мог более оперативно работать в Экономсовете.

Я никогда Сталину на Молотова не жаловался, ничего критического в его адрес о его работе в качестве председателя Экономсовета не высказал. И не думаю, что кто-либо другой об этом говорил.

Это изменение руководства Экономсовета нельзя ставить особым упреком Сталину, ибо у Сталина, видимо, сложилось обо мне такое мнение, что работник я более оперативный и энергичный. И вот неожиданно Сталин назначил меня председателем Экономсовета. Это было 10 сентября 1939 г., то есть через 1 год и 11 месяцев после образования Экономсовета.

Назначения на пост председателя Экономсовета я не только не ожидал, но и опасался, поскольку Сталин стал неустойчив в отношении к людям, часто их переставлял, если не уничтожал. Из первого состава Экономсовета были ликвидированы: Чубарь – кандидат в члены политбюро, Межлаук – зам. Председателя Совнаркома и председатель Госплана, Косиор – член политбюро. Кроме того, я боялся, что эта работа будет мне не по силам, так как я недостаточно знал промышленность. Если в пищевой, легкой промышленности, торговле и финансах я чувствовал себя относительно крепко, то в тяжелой промышленности, тем более оборонной, я чувствовал себя неуверенно. Несмотря на это, я не отказался от этого предложения. Сталин сказал, что ЦК окажет помощь, в составе Экономсовета есть много знающих работников. Наконец, что он сам лично и Молотов будут помогать, когда возникнет необходимость.

С обостренным чувством ответственности, напрягая до предела свою энергию, я старался, чтобы работа Экономсовета заметно улучшилась. Мне даже казалось, что какое-то улучшение есть. Но, возможно, я ошибался. В таком деле субъективизм вполне вероятен. Но и ухудшения, во всяком случае, также не было.

Одновременно с назначением меня председателем Экономсовета по предложению Сталина постоянным моим заместителем был назначен Булганин, работавший председателем Госбанка СССР. Я был тогда неплохого, хотя и не очень высокого, мнения о Булганине и о его деловых способностях. Все же это, конечно, была поддержка.

Но меня больше всего поразило и произвело на меня удручающее впечатление другое предложение Сталина, которое также было принято: в состав Экономсовета включили представителей военного ведомства – Буденного, Щаденко и Мехлиса. Сталин это объяснял необходимостью усилить подготовку страны к обороне. Буденный – известный человек, герой Гражданской войны, успешно командовал конной армией, хорошо выполнял свои функции инспектора кавалерии в Наркомате обороны. Я лично его уважал.

Но я знал, что Буденный не больше моего компетентен в вопросах оборонной промышленности, ее состоянии, типах вооружения, самолетах, артиллерии, танках. Меня эти отрасли промышленности как члена Комитета обороны интересовали всегда, и я общую информацию имел немалую. Знал это и Сталин, но все-таки выдвинул его, потому что знающие, опытные работники Министерства обороны были репрессированы. Например, был репрессирован командующий ВВС Алкснис, затем назначенный вместо него Рычагов – герой испанских событий; после Рычагова был назначен Смушкевич, также отличившийся в Испании, затем – Жигарев, бывший кавалерист, его сменил потом Новиков. А накануне войны сколько их сменилось?! То же самое было в бронетанковых войсках и других. Вот Сталин и предложил Буденного.

И совершенно уж поражало назначение Щаденко. Сталин не хуже меня знал его бездарность во всех отношениях. Щаденко не знал ни современных потребностей войны, ни промышленности, ни экономики. Единственным его достоинством было то, что он служил в 1-й Конной армии и его хорошо знали Буденный и Сталин. Неуравновешенный, он производил отталкивающее впечатление: безграмотный, нагловатый, допускал произвол в своих действиях. Особенно я в этом убедился в первые дни войны, когда Щаденко стоял во главе Главного управления по формированию, то есть по подготовке запасных частей для пополнения фронтов и для образования новых войсковых соединений.

Другим человеком по характеру и по подготовке был Мехлис, хотя тоже неуравновешенный, но несколько другого сорта. Он был комиссаром в Конной армии, затем помощником Сталина в ЦК. Всю жизнь, до последнего дня, он был предан Сталину безоговорочно. Ничего плохого в его действиях раньше я не видел. Он был исполнителен, скромен, бескорыстен.

Мехлис стал начальником Политуправления Красной армии после самоубийства Яна Гамарника – этого замечательного человека, хорошего коммуниста, большого организатора,

политически высокоразвитого деятеля, обаятельнейшего человека, который был одновременно первым заместителем Ворошилова и членом оргбюро ЦК.

В период страшных репрессий, когда в каждом человеке искали вредителя, Мехлис проявил себя с отрицательной стороны. Думаю, что на его совести загубленные жизни многих военных командиров и политработников. Сталин знал о его полной некомпетентности в вопросах подготовки страны к обороне, а также в вопросах экономики.

И вот такое «пополнение» в лице этих представителей военного ведомства получил Экономсовет – высший экономический орган Советского государства!

Назначение этих товарищей в Экономсовет вызвало у меня какое-то странное чувство к Сталину. Ведь он, думал я, умный человек и о людях имеет свое мнение, умеет в них разбираться. И вдруг это назначение совершенно некомпетентных людей на такую ответственную работу. Неужели Сталин этого не понимал? Я это исключаю. Я был высокого мнения о способностях Сталина. А почему же он это сделал? Я не мог найти ответа. Ведь это происходило по сути дела накануне войны!

У Сталина проявилась и другая странность. Не касаясь других вопросов, характеризующих смену настроений Сталина в этот период, скажу лишь о главном.

Следом за окончанием советско-финской войны Сталин предлагает провести новые изменения в руководстве экономикой страны. 28 марта 1940 г. принимается решение «О перестройке работы Экономсовета»: Молотов снова становится председателем Экономсовета, а я – на этот раз официально – становлюсь его замом. Меня это не огорчило ни в какой степени, даже не обидело. Я понимал, какая гигантская ответственность налагается в такое время и в таком деле. Было ясно, что предыдущее решение о замене Молотова мною было неправильное. Но я думаю, что это не играло особой роли.

В организацию работы Экономсовета был внесен очень важный элемент – при Совнаркоме были образованы хозяйственные советы:

– Совет по машиностроению, председатель Малышев – талантливый, знающий инженер-организатор, сыгравший выдающуюся роль в войну по развитию танкового производства;

– Совет по оборонной промышленности, председатель Вознесенский – человек экономически образованный, правда, больше профессорского типа, без практического опыта хозяйственного руководства.

Он тогда еще ничего не понимал в вопросах оборонной

промышленности;

– Совет по топливу и энергохозяйству, председатель Первухин – по образованию энергетик, опытный хозяйственник и талантливый человек, впоследствии сыгравший в войну и после войны выдающуюся роль в руководстве хозяйством страны;

– Совет по товарам широкого потребления, председатель Косыгин – нарком текстильной промышленности, вполне соответствующий своему назначению как по образованию, так и по опыту работы и способностям;

– Совет по сельскому хозяйству и заготовкам, председатель тогда не был указан, но потом им стал Андреев.

Все перечисленные товарищи, а кроме них – председатели Госплана и Комиссии Советского Контроля, секретарь ВЦСПС, входили в состав Экономсовета.

Создание этих советов вносило элемент некоторой специализации в руководство экономикой.

Ошибкой было то, что некоторые руководители советов назначались при полном несоответствии своему назначению.

Таким было назначение Булганина председателем Совета по металлургии и химии, который ни бе ни ме не понимал ни в металлургии, ни в химии, – он бывший бухгалтер, председатель Моссовета, председатель Госбанка. Хотя компетентных людей можно было найти, но, видимо, у Сталина было какое-то повышенное чувство недоверия к людям, а ведь доверие важнее всего, когда решается вопрос о таких назначениях. Опрометчивость этих назначений вскоре сказала сама за себя. Булганин, естественно, не стал ни металлургом, ни химиком. В начале войны он пошел на фронт членом Военного совета. Вознесенский через полгода был освобожден, так как не мог справиться с этим делом.

В 1940 г. из состава Экономсовета вышли Жданов, Андреев, Маленков, Буденный, Щаденко и Мехлис.

Неустойчивость Сталина в отношении руководителей важнейших органов, частая сменяемость их, принятие скороспелых решений, внесение частых исправлений, изменений видны и из следующего.

Через 38 дней после постановления «О перестройке работы Экономсовета» Сталин назначил еще двух заместителей его председателя: Булганина и Вознесенского, которые были перегружены работой в отраслевых советах, а Вознесенский еще и возглавлял Госплан.

Было при этом и другое нововведение, которое хотя и казалось по характеру демократичным, но никогда на практике не применялось. Было установлено, что заместители председателя

Экономсовета: Микоян, Булганин, Вознесенский, «при отсутствии председателя, поочередно председательствуют на заседаниях Экономсовета, соответственно подготавливая вопросы к заседанию». При всей демократичности этого принципа видна его непрактичность с точки зрения пользы дела. Три человека – три стиля, три подхода к решению вопросов. Они поочередно меняются. В решении не было сказано, кто занимается общими вопросами между заседаниями Экономсовета. Фактически же ими занимался я. Как можно было в такой острый период, за полтора месяца до начала войны, устанавливать такой «демократический» режим в руководстве?

Все это не могло не свидетельствовать о том, что Сталин перестал быть таким, каким он был раньше при решении хотя бы таких вопросов. Элементарно минимальная устойчивость руководящих кадров, минимальное время, которое они должны работать, – это условия, без которых государственный аппарат не может правильно работать.

И еще одна странность была проявлена Сталиным. Видимо, будучи недовольным работой Экономсовета, он предложил 13 февраля 1941 г. включить дополнительно в состав его членов Кагановича и Берия.

Поразительно, но всего через 37 дней (21 марта 1941 г.) после такого «укрепления» Экономсовета он упраздняется вовсе и появляется на свет новое учреждение – Бюро Совнаркома, «облеченное всеми правами Совнаркома», в следующем составе: председатель – Молотов, первый заместитель – Вознесенский, заместители – Микоян, Булганин, Берия, Каганович, Андреев. Все остальные, участвовавшие в то или другое время в экономическом руководстве страны, в Бюро не вошли.

Так был ликвидирован специальный орган, занимавшийся экономическим руководством страны, который существовал с небольшим перерывом со времен Ленина. Через три месяца после этого Гитлер напал на Советский Союз.

Но что нас больше всего поразило в составе руководства Бюро, так это то, что Вознесенский стал первым заместителем Председателя Совнаркома. Чем руководствовался при этом Сталин? Готовил замену Молотову? Или еще чем-то?

По-прежнему непонятны были мотивы, которыми руководствовался Сталин во всей этой чехарде. А Вознесенский по наивности был очень рад своему назначению. Правда, меня это мало трогало. У меня было так много работы и тогда и раньше, что я не придавал особого значения этим назначениям.

Насколько мне помнится, когда Сталин 6 мая 1941 г. стал Председателем Совнаркома, он назначил Вознесенского своим

первым замом по экономическим вопросам, то есть отстранил Молотова от этих дел, хотя тот и оставался его заместителем.

Потребовались тяжелые уроки поражений, чтобы создать устойчивое и компетентное руководство страной в условиях военного времени.

Глава 27
К моим отношениям со Сталиным

До революции о Сталине я знал только по его работе «Национальный вопрос и социал-демократия», которую мы, наряду с книгами Шпрингера и Отто Бауэра, штудировали в марксистском кружке в 1915 г., когда я учился в семинарии. Труд Сталина произвел на меня хорошее впечатление.

Позднее до конца 1917 – начала 1918 г. я о Сталине не слышал. Во время Бакинской коммуны Сталин был в Москве, прислал несколько телеграмм Шаумяну, и он некоторые читал вслух. Он с уважением относился к Сталину, но особой теплоты в его высказываниях в отношении Сталина я не замечал. Да и ни от одного активного коммуниста я о Сталине, будучи в Баку, в тот период ни слова не слыхал.

Потом, когда мне говорили о работе Сталина в Закавказье, особенно жена Шаумяна Екатерина Сергеевна, то рассказывали, что Сталин, будучи в Баку, вел себя как склочник, подсиживал Шаумяна, что в какое-то время работы бакинской организации он и Спандарян захватили руководство в свои руки.

Сам Сталин потом, через несколько лет, о жене Шаумяна говорил: «Эта женщина, как самка, думает только о своих птенцах, она часто враждебно смотрела на меня, потому что я втягивал ее Степана в такие конспиративные дела, которые пахли тюрьмой. Бывало так, что мы со Спандаряном ворвемся в квартиру и говорим: «Степан, собирайся, идем на такоето нелегальное собрание». Степан сразу же соглашался и шел. Она же не могла спрятать своего неприязненного отношения ко мне».

Вообще, Сталин и Шаумян считались друзьями, но такой оттенок отношений между ними был. Сын Шаумяна, когда в 1917 г. по поручению отца ездил в Москву, жил на квартире у Сталина. Но после смерти Шаумяна Сталин не хотел поддерживать близких отношений с его семьей. Он относился неплохо к его старшему сыну, но не проявлял теплоты и дружбы.

Таким образом, до 1919 г. мне не приходилось сталкиваться со Сталиным и узнать о нем что-то особенное. Его не было заметно. Даже несмотря на то, что он был наркомом по делам национальностей и членом политбюро.

Когда в Закавказье образовались буржуазные государства, которые отделились от России, мы, не советуясь с товарищами из центра, пришли к выводу, что будем бороться за Советский Азербайджан, приняли на Бакинской конференции такое решение

и в газетах широко пропагандировали такой лозунг, что было новым словом в Закавказье по национальному вопросу. Советский Азербайджан, считали мы, должен находиться рядом и действовать рука об руку с Советской Россией.

Вслед за этим встал вопрос, какая же партия может быть: просто РКП(б) в Азербайджане или же это надо изменить и как? Выдвигая эти лозунги и вопросы, мы исходили из того, что то же самое будет и в Армении, и в Грузии.

Позже мы узнали, что в Москве создан ЦК Компартии Армении, хотя этот вопрос никогда на Кавказе никем не обсуждался. Этого решения добился в Москве Айкуни при помощи Сталина, и по существу в эмиграции, в Москве, а не в Армении, была создана Компартия Армении и ее ЦК. Поначалу нас это не возмущало, так как мы полагали, что эта партия создана для эмигрантов-коммунистов из турецкой Армении, и считали, что это разрешится с образованием Армянского государства на базе турецкой Армении.

Но в 1919 г., когда турецкая Армения оказалась отрезанной, к нам стали приезжать от образованного в Москве ЦК Армянской компартии агенты, чтобы объединить работу коммунистов-армян Грузии и Азербайджана. При этом они говорили, что руководствуются указаниями ЦК РКП(б) и ему подчиняются. Я понял, что это делается через Сталина, и это внутренне настраивало меня против него. Напрашивался вывод, что он такие вопросы решает неправильно, не пытаясь узнать мнение наших организаций.

Когда в конце октября 1919 г. я прибыл в Москву для решения национального вопроса в ЦК партии, я узнал, что Сталин провел также через бюро предложение Нариманова, по которому в Азербайджане создается партия «Гуммет», объединяющая коммунистов только азербайджанской национальности. Причем и это решение было принято без опроса бакинских большевиков, тех коммунистов разных национальностей, которые работали в Азербайджане, а по требованию тех эмигрантов, которые уехали в Москву: Мусабекова, Нариманова, Эфендиева, Султанова. Таким образом, выходило, что в Азербайджане все коммунисты – не азербайджанцы (русские, армяне и другие) должны входить в РКП непосредственно, а азербайджанцы – в «Гуммет», связанную с ЦК РКП(б).

Несуразность и антибольшевизм этих методов организации вызвали у меня возмущение. И когда я прибыл в Москву, я не попросился к Сталину на прием. Раз как-то встретились в коридоре, поклонились друг другу и, не обмолвившись ни словом, разошлись. О всех вопросах краевой партийной

организации я подробно в течение двух часов рассказывал Ленину, который отнесся благожелательно к моему сообщению и обещал обсудить поставленные мною вопросы на политбюро. Он послал мои письменные предложения на заключение Сталину (тот, будучи одновременно членом Военного совета Южного фронта, выехал в Серпухов под Москву), но от Сталина не поступило никакого заключения. Напоминание о присылке заключения также осталось без ответа. Не было его и на заседании политбюро, когда рассматривались мой доклад и предложения по национальному вопросу. Я же требовал отмены некоторых решений ЦК, не называя имени Сталина. Ленин, понимая, что речь идет об отмене решений, принятых по предложению Сталина, поддержал меня в главном вопросе, а именно: партия должна строиться по территориальному принципу, а не по национальному. Был подготовлен проект решения, но он не был принят до получения мнения Сталина, поскольку линия Сталина играла большую роль как члена политбюро и наркома по делам национальностей.

Я уже не мог больше ждать: надо было возвращаться на Кавказ, на подпольную работу, и я уехал, недовольный поведением Сталина. И только спустя многие годы, обдумывая случившееся, увидел, что сам допустил ошибку. Мне казалось, что раз Ленин отнесся хорошо к поставленным мною вопросам, то все и пойдет хорошо. Мне и в голову не пришло тогда попросить встречи со Сталиным как наркомнацем и в дополнение к моей записке дать свои разъяснения, послушать его замечания. Я этого тогда не сообразил сделать.

Однако вскоре, через несколько месяцев, события развивались так быстро, что мои предложения были осуществлены.

Когда в декабре 1920 г. я приезжал в Москву на съезд Советов, я не встречался со Сталиным: все не мог простить ему неправильно принятых по его предложению решений. И дело даже не в самой сути этих разногласий. У меня осталась обида на то, что он решал у нас за спиной, ни с кем не посоветовавшись.

В марте 1921 г. я был делегатом на X съезде партии. После одного из заседаний, когда приближалось обсуждение вопроса о выборах ЦК, меня как представителя Нижегородской организации, стоящего на ленинской платформе, вдруг пригласили на совещание в Кремль. Это было часов в семь–восемь вечера. В небольшой комнате собрались Ленин, Сталин, Каменев, Петровский, Каганович, наверное, и Молотов был, Шмидт, Рудзутак, Рыков. Ленин сидел за столом, Сталин позади Ленина ходил и курил трубку.

Когда Ленин предложил собрать сторонников платформы втайне от других, чтобы наметить кандидатуры для выборов в ЦК, Сталин, который все время молчал, подал реплику: «Товарищ Ленин, это же будет заседание фракции, как это можно допустить?» Ленин ответил: «Смотрите, старый и рьяный фракционер – и боится организации. Вот странно! В это время, пока мы здесь сидим, троцкисты второй раз собираются. У них уже готов список кандидатов в ЦК. Они ведут свою работу. Нельзя с этим не считаться. Надо подготовиться, чтобы не дать им возможности победить, а то они могут провести много своих людей в ЦК». Действительно, тогда на съезде авторитетных деятелей было сравнительно мало, и те в большинстве были на стороне Троцкого. На стороне же Ленина были организаторы из рабочих. Вот такой характерный обмен репликами произошел между Лениным и Сталиным. И тогда у меня со Сталиным не было личного разговора.

Еще одна публичная встреча со Сталиным произошла при обсуждении его доклада по национальному вопросу. В нем было одно место, которое я считал неправильным. Характеризуя районы России в смысле подготовленности к социалистической революции, он из Закавказья выделил Азербайджан, отнеся его к отсталым феодальным районам Востока, где речь может идти только о ликвидации феодализма.

Я знал, что азербайджанцы не могли быть с этим согласны, и ждал, что кто-нибудь из азербайджанской компартии опровергнет это утверждение, но никто из них не выступил. И тогда выступил я, выступил резко, касаясь только азербайджанского вопроса, хотя был делегатом Нижегородской партийной организации.

Это не было попыткой отомстить или чем-то подобным. Нет, это были мои принципиальные взгляды. Во-первых, я считал, что ничего нового по национальному вопросу не было сказано сверх того, что было ранее сказано и написано Лениным. Вместе с тем возникли новые вопросы, на которые докладчик не дал ответа. Во-вторых, я подверг критике концепцию Сталина о том, что Азербайджан относится к тем отсталым районам Востока, для которых советская система не подходит ввиду социальной незрелости населения.

Я оспаривал эти утверждения, считая, что Азербайджан не такой отсталый, чтобы там нельзя было создавать Советы, тем более что Советы там уже созданы, что наличие крупного центра – Баку оказывает свое революционизирующее влияние на крестьянство, на деревню.

Сталин в заключительном слове выступил против моих высказываний, заявив, что по Баку нельзя судить о всем

Азербайджане, доказывал, что прав он, а не я.

Поворот в наших отношениях произошел после той роли, которую сыграла моя партийная работа в Нижегородской организации. Эти объяснения являются моими предположениями, так как я об этом со Сталиным никогда не разговаривал. Но через год, накануне XI съезда партии, меня по телеграфу вызвали в ЦК, где сказали, что нужно идти к Сталину на квартиру. Там он принял меня тепло и передал поручение со ссылкой на Ленина и ЦК: ехать в Сибирь на помощь ленинцам, чтобы на съезде не оказалось много троцкистов.

В то время, когда кончилась беседа со Сталиным, в квартиру к нему неожиданно для меня вошел Ленин.

Эта встреча была поворотным пунктом в отношениях со Сталиным в положительную сторону, в сторону взаимного доверия. И Сталин выиграл в моих глазах: я увидел, что он является правой рукой Ленина в таких важных внутрипартийных вопросах. Это было на самом деле большое поручение, раз такое доверие ЦК оказывал мне через Сталина.

После XI съезда партии Сталин стал энергично проявлять себя по подбору кадров, организации и перестановке их как на местах, так и в центре. И то, что он делал, насколько я знал, и в том, что касалось моей работы, мне нравилось. Это были меры по организационному подтягиванию, по обеспечению руководства ЦК, слабость чего ощущали до этого в местных организациях, а также в центральных ведомствах.

Позднее, когда мне приходилось перед ЦК ставить практические вопросы, они всегда находили со стороны Сталина правильное понимание. Он быстро схватывал суть дела, и я не помню ни одного случая, чтобы наши серьезные предложения были отклонены ЦК или правительством.

Все это укрепляло мое доверие к Сталину, и я стал часто обращаться к нему, а во время поездок в Москву бывать у него.

Весной 1923 г., кажется в мае, будучи в Москве, я зашел к нему днем на квартиру. Он жил тогда в первом доме направо от Троицких ворот, на втором этаже двухэтажного дома. Комнаты простые, не особенно просторные, кроме столовой. Кабинет был даже очень маленький.

Сталин вышел из кабинета с перевязанной рукой. Я это увидел впервые и, естественно, спросил, что с ним. «Рука болит, особенно весной. Ревматизм, видимо. Потом проходит». На вопрос, почему он не лечится, ответил: «А что врачи сделают?» У него было скептическое отношение к врачам и курортам. До этого он один раз отдыхал в Нальчике, в небольшом домике, без врачебного надзора. А потом ни на каких курортах не был и не

хотел бывать.

Узнав о ревматических болях, я стал уговаривать его полечиться на мацестинских ваннах. При этом сослался на Председателя ЦКК Сольца, который каждый год ездил в Мацесту и очень хвалил ее. Знал я это потому, что тогда не было прямых поездов Москва – Сочи, поэтому Сольц ездил через Ростов и останавливался у меня на квартире. Я говорил Сталину: «Поезжай полечись». (Мы были уже на «ты».) Он спорил. «Зачем сопротивляешься? Поезжай. Если ничего не выйдет, больше не поедешь. Ведь надо считаться с тем фактором, что это хороший курорт и место для лечения, о котором все так говорят. Зачем терпеть боль в руке?» Словом, еле-еле уговорил.

Привезли его в Сочи, поместили в купеческом домике из трех спальных комнат и одной столовой-гостиной. Этот домик и сейчас сохранился. Я выбрал этот домик и предложил Сталину там поселиться, ведь это было в пределах моего края.

Мацеста на Сталина повлияла очень хорошо. К концу курса лечения он получил большое облегчение. Боль в руке почти прошла. Он был очень доволен. Но врачи сказали, что одного курса недостаточно, и он стал ездить в Мацесту каждый год. Я его всегда там навещал.

Сочи так понравились Сталину, что он ездил туда даже тогда, когда уже не нуждался в мацестинских ваннах. Только после войны он провел одно лето в Ливадии, поселившись в Ливадийском дворце. Честно говоря, я был этим очень недоволен. Ведь до войны дворец считался курортом для трудящихся крестьян. Это было, на мой взгляд, политической бестактностью.

В Москве мы встречались со Сталиным у него на квартире, когда я приезжал туда по партийным делам. Сталин тогда работал во всю силу. Не так много по времени (мы, молодые, больше работали), но, учитывая его способности, он был в полной форме, что вызывало к нему уважение, а манера поведения – симпатию.

Со Сталиным в обращении мы так и остались на «ты». Вообще со Сталиным очень узкий круг лиц был взаимно на «ты»: Орджоникидзе, Калинин, несколько позже – Молотов, Ворошилов, затем Киров, Бухарин, Каменев. (Каменев и Сталин дружили еще на Кавказе и в ссылке встречались, в Минусинске, вместе прибыли в Петроград и работали в редакции «Правды», находились в хороших отношениях друг с другом – до известной поры.) Некоторые из перечисленных товарищей обращались к нему Коба – это была его партийная кличка. Редко Орджоникидзе называл его Сосо – уменьшительное от Иосиф.

В личной жизни Сталин был очень скромен, одевался просто.

Ему очень шла гражданская одежда, подчеркивавшая еще больше его простоту. Часто я у него обедал дома и на даче один или до середины 30-х гг. с женой. Между прочим, моя жена безоговорочно верила Сталину, уважала его и считала, что все беззакония, которые творились, делаются без его ведома.

Раньше обеды у Сталина были как у самого простого служащего: обычно из двух блюд или из трех – суп на первое, на второе мясо или рыба и компот на третье. Иногда на закуску – селедка. Подавалось изредка легкое грузинское вино.

Но после смерти жены, а особенно в последние годы он очень изменился, стал больше пить, и обеды стали более обильными, состоявшими из многих блюд. Сидели за столом по 3–4 часа, а раньше больше получаса никогда не тратили.

Сталин заставлял нас пить много, видимо, для того, чтобы наши языки развязались, чтобы не могли мы контролировать, о чем надо говорить, о чем не надо, а он будет потом знать, кто что думает.

Постепенно он стал увлекаться разнообразной едой. Обстановка обеда или ужина была организована разумно в том смысле, что девушки, которые подавали, ставили закуски на стол сразу, а супы – на другой стол. Каждый брал то, что хотел, потом подходил к другому столу, наливал себе тот или другой суп, брал чистую салфетку. Словом – самообслуживание. Одновременно с едой обсуждались разные вопросы, он даже говорил, что это вроде политического клуба.

Сталин очень любил рыбные блюда. Несколько сортов всегда было: дунайскую сельдь очень любил, керченскую, рыбца копченого, шемаю копченую, отварную рыбу, птицу любил: цесарок, уток, цыплят. Любил тонкие ребра барашка, сделанные на вертеле. Очень вкусная вещь. Тонкие ребра, мало мяса, сухо зажаренные. Это блюдо всем всегда нравилось. И перепела отварные. Это были самые лучшие блюда.

Бывало, часа два посидим и уже хочется разойтись. Но он заводил беседу, задавал вопросы на деловые темы. Обычно все проходило нормально, но иногда он, не сдерживая себя, горячился, грубил, нападал на тех или других товарищей. Это оставляло неприятный осадок. Но такое было не часто.

Я наблюдал за Сталиным, сколько он ел. Он ел минимум в два раза больше меня. А я считал, что объедаюсь. Например, он брал глубокую тарелку, смешивал два разных супа в этой тарелке, потом по крестьянской привычке, которую я знал по своей деревне, крошил кусочками хлеб в горячий суп и покрывал все это другой тарелкой – пар сохранялся там и хлеб впитывал влагу – и доедал все это до конца. Потом закуски, вторые блюда, много

мяса. Ел он медленно, запивая вином.

Он любил выдумывать и заказывать блюда, неизвестные нам. Например, стал заказывать поварам и постепенно совершенствовать одно блюдо: не то суп, не то второе. В большом котле смешивались баклажаны, помидоры, картошка, черный перец, лавровый лист, кусочки нежирного бараньего мяса – и все доводилось до готовности. Это блюдо подавалось в горячем виде и ставилось на тот стол, где мы брали первое. Когда открывали котел, то шел приятный аромат. Туда добавляли кинзу и другие травы. Блюдо было очень вкусным. Сталин дал ему название «Арагви».

Один раз Сталин сказал, чтобы я организовал доставку в Москву нельмы. Это было нетрудно, стали привозить сырую рыбу. Я впервые в жизни узнал, что можно есть сырую рыбу. Вначале было противно даже трогать ее. Но потом понравилось. Крепко замороженная, как камень, тонко настругаанная ленточками, она сразу подавалась на стол, чтобы не разморозилась. Пробовали сперва несмело, а потом понравилось. Ощущение во рту было приятное, как будто кондитерское изделие. Брали рыбу, потом чеснок и соль и сразу же запивали рюмкой коньяку.

Когда отношения со Сталиным у меня были еще хорошие, я иногда посылал ему несколько бутылок новых вин, главным образом грузинских или крымских. Это ему нравилось. Но с началом репрессий и усилившейся мнительностью Сталина я перестал это делать. Когда же появился Берия, то он стал присылать Сталину разные сорта вин. А пили мы их все вместе. В последние годы, когда мнительность Сталина резко возросла, он делал так: поставит новую бутылку и говорит мне или Берии: «Вы, как кавказцы, разбираетесь в винах больше других, попробуйте, стоит ли пить это вино?» Я всегда говорил, хорошее вино или плохое – нарочно пил бокал до конца. Берия тоже. Каждое новое вино проверялось таким образом. Я думал: почему он это делает? Ведь самое лучшее – ему самому попробовать вино и судить, хорошее оно или плохое. Потом мне показалось, и другие подтвердили, что таким образом он охранял себя от возможности отравления: ведь винное дело было подчинено мне, а бутылки присылал Берия, получая из Грузии. Вот на нас он и проверял.

Но, как правило, атмосфера во время этих обедов была товарищеская, особенно до войны. Рассказывали разные вещи, которые всех могли интересовать, говорили о своей работе. Я много рассказывал, как занимали Баку в 1920 г., как сидел в закаспийских тюрьмах, о кавказских делах. Особо я хвалил Ефремова, командира отряда бронепоездов, который первым

прорвался в Баку. С моих слов Сталин составил очень высокое мнение о Ефремове – это помогло мне вытащить его из тюрьмы и дать командование армией.

Я рассказывал и о делах – успехах и недостатках, всегда откровенно говорил о трудностях на рынке, в снабжении населения, о жалобах. До последних лет он слушал меня внимательно и ценил такую информацию, а я этим пользовался.

Потом, особенно после войны, Сталин стал раздражительным. Я же по старой привычке рассказывал ему все, что знал, что происходит в стране, что народ волнует. Говорил, что нет мяса, нет некоторых товаров и о других недостатках. Сталин стал нервничать, сердиться – почему нет? Раз он очень раздраженно стал меня допытывать, почему нет продуктов. Я ответил, как думал. Это было время, когда Маленков в Совмине ведал сельским хозяйством. Я сказал Сталину: «Пусть Маленков скажет, почему отсутствуют необходимые продукты, ему легче это сделать». Я правду говорил. Сталин посмотрел на Маленкова. Тот молчал, делая вид, что со мной спорить нечего. Сталин, видимо, понял, не стал допрашивать Маленкова, ибо тот все равно не мог ничего объяснить.

И до этого, и в данном случае Маленков или Берия наступали мне на ногу под столом, давая понять, чтобы я перестал такие откровенные вещи говорить. Я смотрел на них удивленно. Потом, когда спорил с ними, доказывая, что я прав, они мне говорили: «А какая польза от этого? Это только раздражает Сталина. Он начинает нападать то на одного, то на другого. Ему надо говорить все то, что понравится, чтобы создать атмосферу благополучия, не портить обстановки за обедом». Я срывался еще несколько раз, но меня вновь предупреждали, и постепенно я стал говорить о делах мало и между прочим.

Но когда я докладывал решение о снижении цен на товары, я ему прямо говорил о положении с этим делом. Начиная с 1949 г. обычно я подготавливал проекты решений о снижении цен на товары. Я говорил, что нельзя снижать цены на мясо и сливочное масло, на белый хлеб, во-первых, потому, что этого у нас не хватает, и, во-вторых, отразится на закупочных ценах, что отрицательно скажется на производстве этих продуктов, а при нехватке этих товаров да при таком снижении цен будут огромные очереди, а это приведет к спекуляции: ведь рабочие не смогут днем в магазин пойти, значит, товары будут скупать спекулянты. Государство от этого только потеряет и рабочих не заинтересует. И насчет белого хлеба: население мало его потребляет, а снижение цен на белый хлеб без снижения на черный нарушит пропорцию между ними и искусственно поощрит

спрос на белый хлеб. Его же у нас тоже не хватает. Но Сталин настаивал, говоря, что это нужно сделать в интересах интеллигенции.

Наши хорошие отношения – когда они были хорошими – создали для меня благоприятную атмосферу для товарищеской работы и нормальных деловых разговоров со Сталиным. Когда-то, в начале 30-х гг., он умел спокойно выслушать или высказаться недлинно, но метко, быстро схватывая, о чем говорили, любил, чтобы кто-нибудь вечером бывал у него. Бывали Молотов, Ворошилов, я, Орджоникидзе, Киров, когда приезжал. Тогда не было обильного обеда, обильной выпивки, больше сидели за чаем. Такие встречи помогали ему получать информацию, память у Сталина была отличная. Но в послевоенные годы память у него стала сдавать сильно. Однажды он даже забыл фамилию Булганина в его присутствии.

Сталин не любил широкого круга людей, посещения заводов, колхозов, собраний, что до 30-х гг. еще как-то выносил. Кажется, был тогда на заводе «Динамо» и еще где-то, но мало. Однако из бесед с окружающими товарищами, из их информации он много знал, так как эти люди, как правило, были квалифицированными, умеющими правильно разбираться в фактах и событиях, и поэтому Сталин был в целом в курсе всего того, что происходит в стране и за рубежом.

В 1934 г. он настолько привязался ко мне, что по вечерам мы сидели долго, говорили, он мне советы давал. Однажды предложил остаться ночевать у него на даче. Я, конечно, остался. Звонил жене, что остаюсь ночевать у Сталина. Это был первый случай, когда я не ночевал у себя дома. Для жены это было нежелательно. Прошло несколько дней, и он опять предложил остаться ночевать. Я снова предупредил жену, что не приду домой, так как она всегда меня ждала, в какое бы время я ни приходил. Когда это произошло в третий раз, вижу (хоть жена не говорит прямо, но по глазам видно), что она не знает, верить мне или нет. А как можно было проверить, что я у Сталина? Можно было верить только на слово. Правда, она меня знала, никаких оснований для ревности за всю нашу жизнь у нее не было. И все же в следующий раз, когда Сталин стал оставлять меня ночевать, я сказал, что моя жена волнуется, когда меня нет дома. Он не настаивал.

После меня у него часто ночевал Сванидзе, брат его первой жены. Видимо, ему было скучно совсем одному. Позже, когда Сванидзе не стало, у Сталина никто ночевать уже не оставался, и он не предлагал этого никому.

Он запирался в спальне один изнутри. Видимо, у него

появилась мания преследования на фоне его расправ с людьми. И страх…

Глава 28
Разгром семьи

Надо сказать, что, работая на Кавказе, я со Сванидзе не встречался и потому не был знаком с его прошлой партийной деятельностью. Его партийная кличка Алеша так и осталась за ним, хотя звали его Александром.

Позже, работая в Москве, я узнал, что Сванидзе давно состоит в рядах партии, что он является братом первой жены Сталина и что они со Сталиным были старыми партийными друзьями. У них были хорошие товарищеские и, я бы даже сказал, братские отношения. Он приходил домой к Сталину с женой или один в любое время, и мы, члены политбюро, заходя иногда на квартиру к Сталину, часто встречали там супругов Сванидзе, которые или ждали прихода Сталина, или уже были с ним вместе.

Потом Сталин предложил мне взять Алешу Сванидзе на работу и поставить во главе Акционерного общества по экспорту марганца Наркомата внешней торговли. Я с удовольствием это сделал, потому что Сванидзе был подготовленным человеком, имел высшее образование, хотя и по гуманитарным наукам, был знаком с экономическими проблемами и с банковским делом, да еще хорошо знал немецкий и французский языки. Человек он был солидный, спокойный, неторопливый, обходительный. Любил подумать над вопросом всесторонне, посоветоваться. Человек твердых взглядов, Алеша был всегда выдержан, не любил задевать чужого самолюбия, но и не терпел, когда задевали его «дворянское» самолюбие: он был из дворян.

Потом Сванидзе был поставлен во главе Внешторгбанка, назначен заместителем председателя Госбанка. Дела вел очень большие. Он хорошо исполнял свои обязанности, знал внутреннюю политику, понимал ее. Часто вместе со мной бывал у Сталина, принимал участие в обсуждении вопросов внутренней политики, вопросов кредитования, финансирования. Сталин сам старался привлекать его к рассмотрению таких вопросов.

Я с ним близко сошелся еще и потому, что жили мы по соседству на одной даче. Как-то Сталин предложил Сванидзе с женой и Аллилуеву Павлу с женой поселиться в свободном доме на даче, где я жил со своей семьей и соседями – семьями Варского, Карахана. Наши дома находились на одной территории. Вечерами мы часто встречались. Прогуливаясь, беседовали о текущих делах, по политическим, международным и внутренним вопросам, обменивались мнениями. Ходили друг к другу чаю

попить: или я с женой был у них, или они приходили к нам. У Алеши был сын, который играл с нашими детьми. Этот человек мне очень нравился, мне были приятны встречи с ним, и я думаю, что его отношение ко мне было таким же хорошим. Хотя он был не особенно разговорчивым, из наших бесед о Кавказе остались в памяти высказывания Сванидзе о Берии, острая критика его поведения, его политики и т. д. Свою критику Берии Алеша не скрывал и от Сталина, который, поддерживая Берию, не одергивал и Сванидзе.

Берия, конечно, знал, что Сванидзе бывает на квартире у Сталина, приходит к нему запросто, а иногда и ночует там. Понимал, что из этого ничего хорошего для него не будет. Главное же было то, что Берия стремился лишить Сталина всяких источников информации с Кавказа, кроме самого себя. Он добился того, что очень многие товарищи, которые могли бы быть источниками такой информации, были ликвидированы.

Это случилось в декабре 1937 г., когда Берия был уже в Москве – сначала как заместитель Ежова, а потом сам возглавил НКВД. В этот период я не так часто встречался со Сталиным, как раньше. Однажды, возвратившись с работы около двух часов ночи, я узнал от работника охраны, что только что арестовали и увезли Сванидзе и его жену.

Я был поражен, ходил по комнате, мучительно думал и не понимал, что происходит. Если в отношении других Сталина могли ввести в заблуждение работники НКВД, то в отношении Сванидзе это было невозможно, потому что Сталин знал его почти полвека со всех точек зрения, лично знал, дружил с ним, знал его политические взгляды. Они дружили до последних дней, и я не слыхал, чтобы они поссорились, чтобы Сталин был недоволен им или выражал ему недоверие. Более того, Сванидзе был в последние годы единственным из тех, которые близко дружили со Сталиным, пользовались его расположением и ночевали у него дома. Все это происходило потому, что Сталин этого хотел, что Сталин ему доверял! Как же могли его арестовать?

Через несколько дней я ужинал у Сталина. Были и другие товарищи. Сталин понимал, что я озабочен тем, что случилось с Алешей, и, не дожидаясь вопроса с моей стороны, спросил: «Ты слышал, что мы арестовали Сванидзе?» Я ответил: «Да, но не знаю, как это могло случиться». – «Он немецкий шпион», – сказал Сталин. «Как это может быть? – удивился я. – Если бы он был шпионом, то вредил бы. Фактов же о его вредительстве нет. Какая польза от такого шпиона, который ничего не делает?» – «Верно, он ничего, видимо, плохого не делает, – ответил Сталин, – потому

что он шпион особого рода, особого вида: он имел задание не вредить, а лишь сообщать немцам информацию, которую он получает в Наркомате внешней торговли, информировать о том, что происходит в руководстве партии и государства». – «Как это могло случиться?» – спросил я. «Он был интернирован в Первую империалистическую войну и был завербован немцами в лагере. С того времени он и служил источником информации для немцев, – ответил Сталин. – В его функции не входил террор, только информация. Вот теперь это вскрылось, и мы его арестовали». Да, все знали, что без ведома Сталина не могли арестовывать известных в стране деятелей: только Сталин давал санкцию на их арест. После ареста эти люди живыми из тюрьмы не выходили, за исключением отдельных лиц.

В 1941 г., уже во время войны, я и еще несколько членов политбюро были у Сталина. Берии там не было. Сталин знал, что у нас со Сванидзе были хорошие отношения, потому, обратившись ко мне, сказал: «Ты смотри, какой Алеша!» – «А что такое?» – спрашиваю я с надеждой (я думал, что Алеши уже нет в живых). «Его приговорили к расстрелу, – продолжал Сталин. – Я дал указание Меркулову, чтобы он перед расстрелом ему сказал, что если попросит прощения у ЦК, то будет помилован. А Сванидзе ответил: «У меня нет никаких грехов перед ЦК партии, я не могу просить прощения». И конечно, приговор привели в исполнение. Смотри, какой Сванидзе: не захотел просить прощения! Вот какая гордость дворянская», – закончил Сталин. «Когда это было?» – спросил я. «Недавно его расстреляли», – ответил Сталин.

Я поразился: более трех лет Сванидзе держали в тюрьме! Видимо, он ни в чем не признался, дело затянулось, и недавно только, во время войны (!), его расстреляли. Это было поразительно. «У Сванидзе чувство обиды большое было, – ответил я. – Он не мог вынести позора и просить прощения, если чувствовал, что не виноват перед ЦК партии». Сталин ничего не сказал.

Большая доля ответственности в этом деле ложится на Берию, ибо он считал Сванидзе своим личным врагом и старался обмануть Сталина, пользуясь его невероятной мнительностью. И это ему удалось. Видимо, Сванидзе не сломили, и ложных показаний на себя он не дал – тогда личные показания, выбитые путем пыток, являлись достаточным основанием для расстрела без суда. А здесь, видимо, никаких фактов не было, и его держали в тюрьме долго, до подходящего момента. Вот война и стала этим «подходящим» моментом.

А в следующем, 1942 г. была расстреляна и жена Алеши –

Мария Анисимовна. Сгинули в безвестность и обе сестры первой жены Сталина – Мария и Александра.

Не только Сванидзе, но и другие члены семьи Сталина, его родные не избежали репрессий, хотя они ни в чем не были виноваты.

Вообще вся семья оказалась разгромленной, причем это коснулось и родных второй жены Сталина – Надежды Аллилуевой. Но прежде, чем приводить факты, коснусь немного всей семьи Аллилуевых.

Сергей Аллилуев – глава семьи, рабочий Тифлисских железнодорожных мастерских, был человеком простым. Сталин познакомился с ним еще на Кавказе и потом, когда вернулся из ссылки в 1917 г., остановился у него на квартире в Петрограде, куда Аллилуев переехал с женой и четырьмя детьми. Сталин хорошо знал всю семью. Потом младшую дочь Аллилуева Надю взял к себе секретарем, затем на ней женился.

Это была очень приветливая женщина, сдержанная, контролировала свое поведение очень строго, держала себя скромно, чтобы ни в чем не было видно, что она жена Сталина – ответственного работника. Вела себя образцово, как рядовая коммунистка. В то время мы часто обедали у Сталина. Обед был простой: из двух блюд, закусок было мало, лишь иногда селедка – так, как и у всех у нас тогда было. Иногда была бутылка легкого вина, редко водка, если приходили русские люди, которые больше любили водку. Пили очень мало, обычно по два бокала вина. Присутствие Нади оказывало хорошее влияние на Сталина. Когда ее не стало, домашняя обстановка у Сталина изменилась.

Я к Наде относился хорошо, как и она ко мне. У нее были дружеские отношения с моей женой и с женой Серго Орджоникидзе.

Ее сестра Анна Сергеевна, которая была старше Нади на пять лет, вышла замуж за бывшего секретаря Дзержинского – Реденса, хорошего человека, поляка по национальности. Реденс занимал ответственную должность в органах ЧК, бывал у Сталина, у нас дома.

У Аллилуевых было и два сына. Старший, Федор, был вначале активным большевиком. Но затем у него случилось легкое помешательство от особых методов «проверки преданности советской власти», проводимых легендарным Камо, о чем я рассказывал раньше. Работать он не мог, но беспокойства людям не причинял. Он жил одно время рядом с нами со своей матерью, ходил по коридору, курил трубку, иногда разговаривал.

Другой сын – Павел, комиссар бронетанковых войск Красной армии, был замечательным человеком, хорошим коммунистом.

Он пользовался уважением Сталина, всех нас. Прямой был человек, честный, говорил то, что думал. Но как-то совершенно неожиданно он умер в ноябре 1938 г., сразу же после возвращения из Кисловодска, где отдыхал в санатории. Говорили, подвело сердце.

Через 18 дней после странной смерти Павла был арестован Реденс и в том же году расстрелян. Я часто бывал у Сталина с женой и видел, что Сталин хорошо относился к Павлу и его жене, к семье Анны, и было удивительно, что уже после войны, в декабре 1947 г., была арестована вдова Павла и ее новый муж, в начале января 1948 г. – ее дочь от Павла, 18-летняя Кира, а через несколько дней сестра Надежды – Анна. Было совершенно непонятно, зачем Сталин это сделал.

Правда, Анна незадолго до этого опубликовала свои воспоминания, которые у Сталина вызвали раздражение. Судить о его реакции можно по появившейся в «Правде» резко критической статье Поспелова на эту книгу – конечно, по заданию Сталина. Казалось бы, и достаточно. Зачем же арестовывать, допрашивать «с пристрастием»? Говорят, ее мучили тем, что заставляли подолгу стоять. Она вышла из тюрьмы после смерти Сталина не вполне нормальной. Другие женщины перенесли 5—6-летнее заключение, к счастью, без последствий.

Незавидна и судьба детей Сталина.

Трагично сложилась жизнь Якова – сына от первого брака. Яков очень походил на грузина, был похож на Сталина, но, видимо, в нем было больше черт от матери. Он получил высшее образование по энергетике. Будучи студентом, встретил и полюбил девушку, хотел на ней жениться, но она была еврейка, и Сталин запротестовал. Надежда Сергеевна, которая очень хорошо относилась к Якову, уговаривала Сталина разрешить сыну жениться на любимой девушке. Но Сталин был непреклонен. Тогда Яков сделал попытку к самоубийству. Пуля прошла через грудь, но сердце не задела. Когда он поправился, ему все же было дано разрешение жениться на той, которую он любил. Хотя Сталин ему сказал тогда с презрением: «Даже этого ты не сумел сделать как следует». В это время мы видели Сталина редко.

Когда Яков окончил институт и стал инженером, он бывал у Сталина, и у них сложились вроде бы нормальные отношения. Но Сталину не нравилось, что Яков стал энергетиком, и он посоветовал сыну пойти в армию и стать офицером артиллерии. Яков сразу же согласился, был принят в Московскую артиллерийскую академию, которую закончил перед войной, и был назначен командиром артиллерийской батареи. Там же служил Артем – сын Сергеева (Артема), известного большевика,

умершего в начале 20-х гг.

Через несколько месяцев после начала войны вдруг Артем появился у меня дома: он вышел из окружения в районе Калинина и пробрался в Москву. Он-то мне и рассказал, как сын Сталина попал в плен. Немцы окружили его батарею, была команда отступить, но Яша не подчинился приказу. «Я его стал уговаривать, говорил Артем, – что нужно отойти. Яков ответил: «Я сын Сталина и не позволю батарее отступить». Артем же отступил с остальными, больше двух месяцев был в окружении и вот выбрался. Сейчас он хорошо работает, генерал ракетных войск.

Когда Яков попал в плен, немцы стали разбрасывать от его имени листовки с призывом к русскому народу выступить против советского строя и против Сталина. Эти листовки появлялись и возле нашей дачи, и я читал их. Было ясно, что это провокация. Никто не верил, что сын Сталина стал предателем. И Сталин в это не верил. Он был, конечно, возмущен, что сын попал в плен. Это было в то время, когда Сталин издал приказ: в плен не сдаваться, а если попал в плен, то жена и вся остальная семья высылаются. Поэтому Сталин выслал и жену Якова в Сибирь. Кажется, он и не видел ее никогда.

Казалось, счастливо складывается судьба его дочери Светланы: отношение Сталина к ней было в общем хорошее. Молчаливая, спокойная, скромная, она всем нам очень нравилась. И со стороны Сталина к ней отношение было отеческое. Испортилось оно, когда Светлана вышла замуж за студента Морозова, еврея по национальности. Морозов дружил с нашими детьми, мы были хорошего мнения о нем. Светлана родила от него сына.

К этому времени у Сталина антиеврейские чувства приняли острую форму. Он арестовал отца Морозова, какого-то простого, никому не известного человека, сказав нам, что это – американский шпион, выполнявший задание проникнуть через женитьбу сына в доверие к Сталину с целью передавать все сведения американцам. Затем он поставил условие дочери: если она не разойдется с Морозовым, того арестуют. Светлана подчинилась, и они разошлись. Морозов очень долго не мог устроиться на работу. С этой просьбой он обращался к моей жене и сыновьям. Через некоторое время удалось его устроить на работу в научный институт. Он до сих пор работает научным сотрудником, как был, так и остался хорошим человеком.

Через какое-то время после развода дочери Сталин нам говорит: «Я беседовал со Светланой, за кого ей выйти замуж. Она сказала, что выйдет или за Степана Микояна[13], или за сына

Берии – Серго. Я сказал ей: «Ни за того ни за другого. Тебе надо выйти замуж за сына Жданова». Я очень обрадовался, что Сталин дал такой совет. Если бы выбор остановился на моем сыне, Сталин стал бы вмешиваться в жизнь нашей семьи. Берия тоже говорил, что очень хорошо, что Светлана не вышла замуж за его сына: «Это было бы страшно».

Сталин потом сделал глупость, выдвинув молодого, только что окончившего Московский университет сына Жданова заведующим отдела науки ЦК КПСС. Тот, будучи, конечно, способным человеком, не имел опыта и без соответствующей подготовки руководить таким важным отделом не смог. Потом они разошлись со Светланой, хотя она родила от него дочку. «Не сошлись между собой характерами», – как говорила мне Светлана.

Совершенно непонятный разгром собственной семьи! Никто не мог даже подумать, что за всеми этими арестами, ссылками кроется «политическое дело». Люди эти были преданы Сталину.

Но эти факты могут пролить свет на общее психическое состояние Сталина.

Глава 29
Почему не выполнили «завещание» Ленина

Не раз мне задают вопрос: почему вы, члены ЦК, не выполнили завещание Ленина о смещении с поста генсека ЦК партии Сталина?

В этом плане как-то Игнатов, бывший Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР (которого я лично знал раньше с хорошей стороны, а потом узнал с самой плохой, как интригана и карьериста), мне говорит: «Почему вы теперь критикуете Сталина? Виноват-то не Сталин, а вы, которые не приняли его отставки после того, как было оглашено завещание Ленина и Сталин попросил отставку с поста генсека». Игнатов это говорил с ехидной улыбкой на лице, с чувством того, что наносит уничтожающий удар по мне.

Хорошо ему было рассуждать, когда он не участвовал в руководстве партии до последних лет жизни Сталина. Я даже не могу сказать о действительном отношении Сталина к Игнатову. Как надо было выслужиться перед Сталиным, чтобы тот поднял его за несколько лет до своей смерти на высокий пост наркома заготовок, потом сделал секретарем ЦК? И тот же Игнатов проявлял полное согласие с Хрущевым, когда тот в критике Сталина часто перебарщивал, применял несдержанные выражения и этим, по существу, вызвал недовольство даже тех, которые к Сталину относились критически. В это время Игнатов никаких замечаний не делал, стремясь использовать влияние Хрущева и вновь занять видное положение в партии, опираясь на его поддержку! Но и Хрущев в конце концов распознал его.

Вопрос же Игнатова ко мне действительно законный.

В то время я был молодым членом ЦК, работал в области, не был достаточно в курсе того, что происходило в центре, и не был информирован о внутренней жизни политбюро, об отношениях между руководящими товарищами так детально, как было бы необходимо, чтобы иметь основание для суждения.

Когда мы прочитали письмо Ленина съезду, которое стало называться «завещанием», я, как и многие члены ЦК, не думал, что это завещание. Скорее всего, нам казалось, что Ленин, чувствуя, что заболел надолго, но все же не теряя надежды, что вернется к работе, опасался, что в его отсутствие, без его участия руководители ЦК могут рассориться, в результате чего может

произойти раскол партии. Поэтому он счел нужным дать оценку каждому крупному деятелю, чтобы те не забывались и работали дружно, как это было при нем, когда он мог руководить работой ЦК.

Мы так думали потому, что, кроме характеристики отрицательных черт вождей партии, о которых говорил Ленин, он внес единственное негативное предложение: сместить Сталина с поста генсека. Кого вместо него – нет никакого намека. И это решало дело. Указание Ленина о том, чтобы иметь товарища, который обладал бы всеми положительными сторонами Сталина и был свободен от его недостатков, мы выполнить не могли, потому что не могли даже придумать, кто мог быть таким человеком. Ведь он в этом же письме, как говорится, «всех помазал». Условие было очень жестким. В составе ЦК вне круга упомянутых Лениным лиц мы не знали такого человека с достаточным авторитетом и признанием.

У Ленина были предложения для предотвращения раскола в ЦК и сплочения руководства – это расширенный состав ЦК с вовлечением в него партийных рабочих и создание ЦКК и РКИ – органа, который должен быть гарантией, сдерживающей вождей от внутренней борьбы и от опасных шагов, ведущих к расколу. Это второе предложение было выполнено, правда, через несколько лет. В первое время этот орган играл намеченную Лениным роль, но постепенно, по мере обострения внутренней борьбы, он оказался не в силах выполнять функции, предусмотренные Лениным.

Потом в неофициальных разговорах со слов Крупской стали известны два факта.

Во-первых, достоянием съезда это письмо может быть только после смерти Ленина. Так он сказал Крупской. Известно, что этот документ он писал в течение нескольких дней. Возможно, когда писал, так и думал, он не имел в виду, что это завещание. А когда кончил, может быть, почувствовал, что силы покидают его, и он не сумел дополнить его моментами, которые придали бы этому документу характер завещания. Но конечно, раз он сказал, что предать гласности это письмо можно только после его смерти, то уже это означало завещание.

Во-вторых, Крупская сказала, что Ленин называл Рудзутака взамен Сталина на пост генсека. У Ленина сложилось впервые мнение о Рудзутаке накануне профсоюзной дискуссии. А когда мы обсуждали письмо Ленина, Рудзутак не проявил членам ЦК каких-то своих особых положительных качеств, да и способностей, которые можно было бы сравнить со Сталиным, у него не было. Рудзутак тогда руководил Туркестанским бюро ЦК

партии и работал хорошо. Но в наших глазах он не имел такого веса и авторитета, чтобы избрать его на пост генсека. Многие говорили о его нерешительности, нетвердости в своих мнениях.

Конечно, могли подумать об Орджоникидзе. У меня эта мысль тогда возникла. По своим способностям он был слабее, чем Сталин. Но он был отличнейшим во всех отношениях коммунистом. Недостатком его была горячность, за что он подвергся острой критике со стороны Ленина в связи со стычкой с грузинскими уклонистами. Однако если бы мы и выдвинули его кандидатуру на пост генсека, то сам Серго категорически бы отказался и не пошел бы на это.

Кандидатура Кирова, которую через десяток лет кое-кто среди областников называл на этот пост, в то время не могла быть выдвинута, потому что тогда он еще не успел проявить своих способностей и у него была относительно скромная работа, которую он отлично выполнял как секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Он тогда мало выступал и не был известен широкому кругу партийных руководителей. Поэтому его кандидатура, конечно, не рассматривалась.

Из упомянутых руководителей партии оставались кандидатуры Рыкова и Томского, но Ленин при жизни критиковал их слабые стороны, особенно Рыкова. А в «завещании» он его вовсе не упоминал. Но ведь был такой факт, что Рыков в 1917 г., в первые дни Октября, когда с левыми эсерами шли споры насчет состава правительства, вместе с группой других наркомов покинул свой пост, подал в отставку в знак несогласия с тем, что наша партия одна формирует правительство. Покинувшие свои посты позднее вернулись. Этот шаг не расценивался нами как штрейкбрехерство Зиновьева и Каменева в предоктябрьские дни, но все-таки это было вроде удара в спину партии в ответственный момент. Наконец, это было нарушением партийной дисциплины, ибо их назначил на посты наркомов ЦК партии.

Известно также, что Ленин несколько раз в мягкой форме критиковал Рыкова. Помню, что в одной из речей Ленин говорил о том, что наши руководители ездили лечиться за границу. Ленин сказал, что делал это и Рыков. И Ленин надеется, что, сделав операцию, немецким врачам удалось вырезать все отрицательное в характере Рыкова и, оставив это им на память, Рыков вернулся наконец свободным от них. Это вызвало смех. Это была тонкая критика и предупреждение, чтобы Рыков учел свои недостатки.

Томский по кругозору был слабее Рыкова, у него были свои недостатки, о которых говорил Ленин. В профсоюзной дискуссии он стоял на позиции Ленина, но много раз допускал высказывания, которые имели отрицательное политическое

значение, за что на майской конференции в 1921 г. Ленин в резкой форме его критиковал.

Конечно, можно было бы назвать тогда Калинина, который действительно был свободен от недостатков Сталина и обладал многими положительными качествами и способностями. Но это был человек совсем другого характера, мы не думали, что он мог подойти на пост генсека. Он был отличным председателем ЦИКа, хорошо связывавшим государство с трудящимися, особенно с крестьянством.

Вот обо всем этом мы думали и обменивались мнениями между собой. Это одна сторона дела.

Другая сторона дела заключалась в том, что никто из тех вождей, которым Ленин дал оценку в своем письме: ни Троцкий, ни Зиновьев, ни Каменев, ни Бухарин, ни Пятаков – не выступили за смещение Сталина с поста генсека, как это предлагалось Лениным, а голосовали за то, чтобы он остался на этом посту. Некоторые активно поддерживали Сталина, а Троцкий, как помнится, не высказывался, но голосовал вместе с другими. Более того, я не помню, чтобы и Крупская настаивала на исполнении этого пункта письма Ленина.

Кроме того, не надо забывать, что между временем написания этого письма Лениным и моментом, когда оно стало достоянием членов ЦК и съезда, прошло полтора года, полных важных событий, которые говорили в пользу Сталина. Какие же они?

Сталин держал себя на посту генсека скромно. Я бы сказал, чрезвычайно скромно, подчеркнуто скромно. Даже иногда держал себя так, как будто он и не генсек, а один из секретарей ЦК. И до этого, кажется, ни разу даже не подписывался как генсек, а подписывался просто как секретарь ЦК.

На заседаниях политбюро он никогда не председательствовал. Не без его влияния и участия был сохранен порядок до Великой Отечественной войны, по которому председательствование осуществлялось одним из членов политбюро (сперва Каменевым, потом Рыковым, а затем Молотовым), хотя повестку подготавливал Генеральный секретарь Сталин. На заседаниях он вел себя скромно, первым не высказывался. Как правило, прислушивался к мнению других. Потом выражал согласие или особое мнение, что создавало очень хорошую, товарищескую атмосферу для выражения своих мнений товарищами, поскольку Сталин, не высказываясь первым, не связывал людей своим мнением. Я не помню ни одного партийного съезда, ни одной партийной конференции, ни одного пленума ЦК (до Великой Отечественной войны), чтобы Сталин открыл или закрыл заседание, чтобы он произнес вступительное

слово или заключительную речь. Все это выполняли другие члены политбюро, а на съездах и конференциях – члены президиумов и в их числе работавшие на местах.

Фактов грубостей со стороны Сталина в тот период, о котором идет речь, мы не знали. Даже в отношении Троцкого во время дискуссии в 1923 г., когда Ленин еще был жив, но уже не мог участвовать в работе, когда Троцкий бросил перчатку внутрипартийной борьбы, и много лет после этого, до того, когда партийная борьба вышла на улицы Москвы (демонстрация студентов МВТУ, митинг на Воздвиженке – нынешнем проспекте Калинина, выступление Смилги на балконе углового дома Приемной) ВЦИК, Сталин вел себя спокойно, сдержанно, ни разу не выходил из себя.

На меня и на других также произвела огромное впечатление его клятва над гробом Ленина. Клятва сильная по своему содержанию, захватывающая, полная любви к Ленину и преданности ленинизму. Слова Сталина: «Товарищ Ленин, мы сохраним твои заветы о единстве партии» – звучали настолько искренне, что произвели на меня и на всех остальных очень сильное впечатление. Казалось, что лучше сказать нельзя, и это то, что можно сказать при прощании с Лениным. Это подняло его в наших глазах еще больше, чем когда бы то ни было.

И несколько лет после этого он в целом держал себя в рамках этой клятвы, хотя и были отдельные срывы. Но они не меняли общей картины. Ведь Ленин боялся, что Сталин в силу своего характера может привести партию к расколу.

Меня поразило решение политбюро, которое было принято по предложению Сталина, об опубликовании решения ЦК (кажется, 1924 г.), где говорилось, что в партии ходят слухи, что якобы Троцкий отстранен или будет отстранен от руководства в партии, а главное, что врезалось мне в память, это фраза о том, что «политбюро не мыслит свою работу без участия Троцкого». Это было вызвано тем, что тогда Зиновьев подготовил вопрос об исключении Троцкого из политбюро.

Я был за то, чтобы его оставили там. Потом, при встрече со Сталиным, я говорил ему: «Я считаю предложение Зиновьева неправильным. Однако зачем нужно было выпускать такой документ, в котором утверждается, что политбюро не мыслит свою работу без Троцкого? Ведь неизвестно, как он поведет себя в дальнейшем. Да и теперь он мало участвует в организаторской работе политбюро».

Сталин мне ответил, что такой документ нужен был потому, что в партии распускаются слухи, что мы хотим его изгнать из ЦК, преследуем. Он окажется человеком, обиженным

руководством партии, и вызовет к себе сочувствие. А мы и в самом деле из политбюро не собираемся его изгонять.

И действительно, до 1927 г. Троцкий был в руководстве партии, борясь все время с ЦК, то усиливая эту борьбу, когда обстановка казалась ему подходящей, то затушевывая и ослабляя ее. Из политбюро он был исключен лишь 23 октября 1926 г., но оставался в составе ЦК до октября 1927 г. И только после того, как Троцкий усилил атаки на партию и на ЦК, переходя пределы, допускаемые Уставом партии, тогда были сделаны более серьезные организационные выводы. 14 ноября 1927 г. Троцкий был исключен из партии и выслан в АлмаАту. Этим самым имелось в виду оторвать его от политического центра. А он там еще более зарвался, стал рассылать по организациям резкие, антипартийные письма, мобилизуя своих сторонников. Положение сложилось совершенно нетерпимое, и тогда, в 1929 г., мы в ЦК решили выслать его за границу, что и было сделано. В 1932 г. Троцкий был лишен советского гражданства.

Я привожу эти факты сейчас для того, чтобы доказать, что Сталин проявлял, по-моему, если не максимальное, то в необходимой степени терпение в отношении Троцкого. Теперь можно расценивать такое терпение как тонкую тактику в далеко идущей интриге Сталина и против Зиновьева, и против Каменева. Но тогда об этом никто не мог догадаться – если это было именно так.

На меня произвел большое впечатление в пользу Сталина, в пользу его положительных качеств следующий факт. На XII съезде партии, который проходил без участия Ленина, политический отчет ЦК делал Зиновьев, а организационный отчет – Сталин. Обычно на съездах партии политический отчет делал Ленин, организационный же отчет – один из секретарей ЦК. Ведь тогда, до XI съезда партии, у нас не было поста генсека. Известно, что на первом заседании пленума ЦК после XI съезда предложение об учреждении этого поста и назначении на него Сталина было внесено Каменевым. Надо полагать, что предварительно это было согласовано с Лениным.

Ленин, выступив по этому вопросу, сделал такое заявление, что в нашей партии нет поста председателя. Я до сих пор не могу понять смысла этого заявления Ленина. А он бессмысленных заявлений не делал, всегда в свои слова вкладывал определенный смысл. Затем он сказал, что при назначении Сталина на этот пост он должен разгрузиться от других обязанностей и сосредоточить все свое внимание на этой работе.

XII съезд. Нет Ленина, который всегда выступал с политическим отчетом. Первым его замом по СНК был Каменев.

Зиновьев был председателем Коминтерна, и в этой новой ситуации, то есть при отсутствии Ленина и наличии генсека, было бы естественным, чтобы политический отчет сделал Генеральный секретарь. На то он и Генеральный, если иметь в виду, что председателя партии нет. И вот вам факт: Сталин согласился выступить только в роли докладчика по организационным вопросам с тем, чтобы политический отчет сделал Зиновьев, то есть в данном случае Зиновьев выполнил функцию, которую выполнил бы Ленин, если бы был здоров.

Складывались какие-то отношения, какая-то субординация между Зиновьевым и Сталиным. Тогда думали и говорили, что Зиновьев как теоретик выше Сталина, но Сталин силен как организатор. Такое мнение Зиновьева полностью устраивало. Да и Каменева тоже.

Я, между прочим, объяснил себе, почему Зиновьев и Каменев шли со Сталиным против Троцкого в 1923 г. и при обсуждении предложения Ленина о смещении Сталина с поста генсека. Такое положение, которое сложилось на XII съезде, казалось выгодным и Зиновьеву, и Каменеву с большой перспективой на дальнейшее. Поведение же Сталина тогда мне понравилось, как новое проявление скромности, которое идет на пользу единству партии.

Такое мнение о Сталине, как организаторе больше чем о теоретике, широко бытовало в партийных кругах. Он мало выступал по теоретическим вопросам, а Зиновьев имел большую трибуну как председатель Коминтерна для многочисленных и многословных выступлений по теоретическим вопросам, касающимся как жизни нашей партии, так и международного революционного движения. С этой точки зрения он был более известен партии и народу. Между прочим, Зиновьев проявил большие способности по сплочению Ленинградской партийной организации и ленинградских рабочих вокруг себя. Не случайно, что во время профсоюзной дискуссии 98 % голосов на ленинградских дискуссионных собраниях было подано за платформу «десяти», за Ленина, в то время, когда Московская парторганизация шаталась, в своем большинстве встала на сторону Троцкого.

Такую же скромность проявил Сталин и на XIII съезде партии, ограничившись докладом об организационной работе партии, а политический отчет вновь сделал Зиновьев. Меня поразил также тот факт, что когда во время XIV съезда партии Сталин впервые сделал политический отчет, что было естественно, Зиновьев, пользуясь Уставным правом и обладая необходимым числом делегатов – сторонников своей линии, выступил с содокладом по политическому отчету ЦК.

Тогда, в середине съезда, Орджоникидзе, Киров, Кубяк, Крупская и я выехали на два дня в Ленинград, чтобы прощупать подлинное настроение коммунистов и попытаться повернуть их, пользуясь тем, что Зиновьев и большая группа ленинградских делегатов находилась на съезде.

В Ленинграде в отсутствие Зиновьева оставался главным заправилой Саркис – мой одноклассник, большой массовикорганизатор, который в политическом смысле оказался в плену у Зиновьева. Он ему беспредельно верил и был оставлен в Ленинграде во время съезда, чтобы не допустить расшатывания организации.

В этот приезд я ночевал у Саркиса на квартире, которая состояла из одной комнаты в гостинице. Они жили в гостинице вдвоем с женой. Таким ярым зиновьевцем я его застал, что глазам своим не поверил. Я его, конечно, высмеял. Доказывать ему что-либо было бесполезно, потому что он знал все наши аргументы. Мне казалось, что если его высмеять, то это подействует сильнее. Мы стали вспоминать прошлую совместную работу. Я знал, что всегда он лично ко мне относился хорошо, ценя как политического деятеля, объяснялся в любви ко мне, несмотря на разногласия.

И тогда нам удалось только в одном Выборгском районе, где я выступал с докладом, провести резолюцию в пользу ЦК партии против Зиновьева большинством голосов. Лишь после XIV съезда, когда съезд осудил позицию Зиновьева, когда организация увидела, что держаться прежней линии для коммуниста – значит идти против ЦК партии, удалось изменить положение в Ленинградской организации в пользу правильной партийной линии. В то время выезжала в Ленинград группа членов ЦК: Калинин, Киров и другие, которые несколько дней выступали в районах.

Надо думать, что Сталин не хуже других понимал свое положение в сравнении с Зиновьевым, которое сложилось на партийном съезде. Видимо, он считал, что не только как организатор не слабее Зиновьева и Каменева, но и в теоретических вопросах не уступает им. Он решил постепенно изменить мнение в партии в свою пользу. Этим надо объяснить его открытое выступление на собрании кремлевских курсантов в 1924 г. после какого-то пленума ЦК, где он прямо выступил против Зиновьева, справедливо раскритиковал его утверждение в каком-то выступлении, что у нас в стране «диктатура партии», убедительно показав известную мысль, что у нас «диктатура пролетариата», а не «диктатура партии».

В эти годы я был лично близок с Орджоникидзе,

Ворошиловым и Кировым. Мы видели свой долг в том, чтобы уберечь ЦК и партию от раскола. Мы видели главное в «завещании» Ленина не в том, чтобы снять Сталина с поста генсека, а в том, чтобы расширить состав ЦК и ЦКК и чтобы этот орган имел такую силу, чтобы не дать вождям рассориться и привести партию к расколу.

И вот после борьбы с Троцким началась борьба с Зиновьевым и Каменевым. Мы с ними не были согласны, спорили и выступали против них, но считали, что не следует обострять разногласия. Наоборот, надо было найти путь к примирению, поскольку эти товарищи в борьбе с Троцким много лет вели себя правильно и партия может положить конец этим разногласиям и заставить их работать.

Мне казалось (и другим тоже, я думаю), если фактически, а не формально отстранить от руководства партии этих товарищей, тогда по вине Сталина придется отстранить еще двух названных Лениным вождей, и останутся только Сталин и Бухарин, а четверо названных Лениным вождей фактически будут отстранены. Нас пугала эта перспектива, поскольку подтвердила бы худшие опасения Ленина. Подтверждением этих настроений является мое выступление на XIV съезде партии, где я говорил, что мы, средние члены ЦК, обязаны, как городовые, сохранить единство партии и сдерживать вождей, чтобы они прекратили борьбу. Я говорил, конечно, без письменного текста. А потом жалел, что применил слово «городовые». Может быть, лучше было сказать: «как обруч», ибо слово «городовые» как сравнение казалось неудачным. Но это была вторая сторона дела.

Я знаю, что Орджоникидзе был согласен с моим выступлением. Сталин никаких замечаний не сделал. Вот только тогда я почувствовал, что есть некоторые факты, которые могут подтвердить опасения Ленина насчет отрицательных черт Сталина.

Какие причины могли лечь в основу предложения Ленина о смещении Сталина с поста генсека?

Этот вопрос все время меня волновал, и я не мог найти объяснения. Но без серьезного основания Ленин поступить так не мог. Значит, были у него какие-то причины, думал я.

В апреле 1922 г. на первом пленуме ЦК после съезда Каменев вносит предложение учредить пост генсека и выдвинуть на этот пост Сталина. Ленин не возражает против этого, но непонятным остается другое заявление Ленина, что у нас нет поста председателя партии.

Фактически же председателем партии был Ленин. Это все

знали. Он открывал партийные съезды, закрывал их, делал отчеты о политической работе ЦК, готовил повестки заседаний политбюро и пленумов ЦК, вел заседания пленумов ЦК и политбюро, то есть выполнял функции, которые могут выполнять только председатели партий и генсеки. Никаких выводов из этого заявления не было сделано. Никто не думал, конечно, что после назначения Сталина на пост генсека роль Ленина изменится. Все исходили из того, что Ленин будет, как и раньше, вождем партии и руководить партией.

Итак, в апреле Ленин не возражал против того, чтобы Сталин стал генсеком. А 26 декабря 1922 г. – по существу, через 9 месяцев – он предлагает снять его с этого поста и заменить другим лицом, приведя в обоснование некоторые отрицательные черты характера Сталина, которые были несовместимы с занимаемой им должностью.

Возникает вопрос: если бы Ленин видел эти отрицательные черты Сталина до назначения его на пост генсека, то почему он тогда же не сказал об этом? Почему не возражал? Это на Ленина не похоже. У него не было тогда такого мнения? Естественно сделать вывод, что к декабрю, видимо, стали известны какие-то отрицательные стороны Сталина. А у кого их не было? Они в той или иной степени присущи каждому.

Видимо, причины или обоснованные мотивы, приведшие Ленина к внесению предложения о замене Сталина на посту генсека, возникли у него после XI съезда партии.

Этот вопрос меня долго мучил. Как-то, когда у нас были хорошие отношения со Сталиным, через несколько лет после смерти Ленина, я прямо спросил его, чем он объясняет такое изменение отношении Ленина к нему. Он мне сказал, что во всем виновата Крупская. Пленум ЦК поручил ему как генсеку наблюдение за здоровьем Ленина, чтобы никто не мешал лечению Ленина. Сталин дал указание, чтобы к Ленину никого не пускали без ведома ЦК, то есть, по существу, на Сталина была возложена ответственность за здоровье Ленина. Однако ему стало вскоре известно, что Крупская допускает к Ленину отдельных товарищей и что разрешение на это дает сама Крупская. Как рассказывал Сталин, он взял трубку, позвонил Крупской, сделал ей замечание, что она нарушает решение политбюро ЦК, что это идет в ущерб здоровью Ленина, что охрана здоровья Ленина возложена на него. Сталин сказал, что сделал это в резкой форме, предупредил, чтобы этого больше она не допус кала. Крупская, конечно, обиделась, рассказала об этом звонке Ленину, и это испортило отношения Ленина и Сталина. Ленин воспринял это как оскорбление его и его жены.

Такой факт, как потом выяснилось, действительно имел место. Он мог, конечно, оказать влияние на отношения Ленина и Сталина. Но мне казалось, что этого мало для того, чтобы Ленин изменил свое отношение к Сталину как генсеку. Наверное, было что-то другое.

Я не мог тогда пройти мимо разногласий Сталина с Лениным по национальному вопросу (автономизация). Но этот факт сам по себе не мог служить основанием для предложения Ленина о замене Сталина на посту генсека – ведь никаких политических обвинений против Сталина в письме не было выдвинуто, а были приведены только отрицательные личные качества Сталина.

Сталин был вынужден согласиться с предложением Ленина об образовании СССР и внес свой проект в соответствии с указанием Ленина. Словом, в «завещании» не было никакого намека на разногласия между ними по этому вопросу. Тогда мы не знали всей подоплеки, зная кое-что понаслышке. После смерти Сталина в изданном собрании сочинений Ленина приведено было почти все, что Лениным написано, но кое-что не попало по вине ИМЛ, а по вопросу, о котором сейчас идет речь, все было опубликовано и стало нам известно только в конце 50-х гг.

Перечитывая все, что Ленин писал в тот период, и не раз, я не нахожу каких-либо серьезных вопросов, по которым были бы расхождения между Сталиным и Лениным, кроме двух принципиальных вещей.

Первое. Об автономизации. Хочу подчеркнуть, что суть разногласий здесь заключалась в вопросе об образовании Союза. Сталин, возглавляя комиссию оргбюро ЦК, как-то в конце сентября был у Ленина в Горках и, по всем данным, ничего не сказал ему, в каком направлении он хочет готовить этот вопрос, то есть не советовался с Лениным о том, какое взять направление в этом деле. Таким образом, он взял на себя всю ответственность в подготовке вопроса, обойдя роль Ленина в самом начале. Он сам дал направление автономизации и уговорил других – Азербайджан и Армению – пойти на такую автономизацию, не посоветовавшись с Лениным.

Второе. Когда комиссией оргбюро ЦК РКП(б), заседавшей 23 и 24 сентября, уже был принят разработанный Сталиным проект автономизации, он 25 сентября разослал его всем членам и кандидатам в члены ЦК партии. Одновременно послал и Ленину с приложением материалов по закавказским компартиям.

Как видно, Ленин, прочитав резолюцию комиссии, 26 сентября вызвал к себе Сталина на беседу и решительно выступил против автономизации. Сталин не соглашался на изменение проекта, но некоторые поправки принял. Это видно из записки

Ленина членам политбюро, которую Ленин тогда же, 26-го, написал членам политбюро об этой встрече со Сталиным и о своей оценке резолюции комиссии, изложив при этом свой проект объединения республик как союз равноправных и суверенных республик.

27-го числа, то есть после беседы с Лениным, Сталин тоже пишет членам политбюро записку, где объявляет позицию Ленина «национальным либерализмом». Но потом, видя, что пленум ЦК принимает предложение Ленина, а не его, Сталин составляет новый проект закона об образовании СССР в соответствии с указаниями Ленина и направляет его членам политбюро и кандидатам в члены взамен ранее разосланного.

Здесь обращает на себя внимание следующее: никогда по серьезным вопросам, а тем более по вопросам, касающимся рассылки повестки заседаний членам ЦК, ничего не делалось без согласования с политбюро, а в данном, очень важном случае за спиной Ленина и членов политбюро, в обход последних, Сталиным был разослан проект решения ЦК широкому кругу руководящих работников. Но Ленин в своей записке не эту процедурную сторону отмечает. Он о ней ничего не говорит в своей записке. Но я думаю, что он обратил на это внимание, потому что по существу это было злоупотребление властью со стороны Сталина как генсека.

Затем вопрос о монополии внешней торговли. Из опубликованной переписки видно, что Сталину была известна твердая позиция Ленина по монополии внешней торговли. И несмотря на это, Сталин, не посоветовавшись с Лениным о направлении вопроса, включает его в повестку заседания пленума ЦК в октябре 1922 г., где принимается решение об ослаблении монополии внешней торговли и открытии некоторых границ для иностранного капитала. Об этом Ленин узнает только из письма Красина, протестовавшего против такого решения.

Я думаю, что Ленин обратил внимание и на это. А все, вместе взятое, настроило его против Сталина и привело к выводу о несоответствии Сталина посту генсека.

Повторяю, нам почти все это не было тогда известно. Мы были в курсе лишь отдельных деталей.

Глава 30
Канун войны

К исходу 30-х гг. важнейшие экономические и стратегические позиции в центре Европы оказались в руках фашистской Германии. 1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война.

Всего за восемь дней до этого, 23 августа 1939 г., в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении. Я считал тогда и считаю сейчас, что заключение этого договора было неизбежным, вынужденным, а потому правильным действием перед лицом отказа Англии и Франции от серьезных переговоров об антигитлеровской коалиции с участием СССР. Было очевидно, что целью этих двух стран было толкнуть Гитлера к «Drang nach Osten», т. е. поощрить Гитлера к нападению на СССР.

В 1940 г. было заключено соглашение о телефонной и телеграфной связи между СССР и Германией. В начале 1941 г. проводились переговоры по ряду политических и экономических вопросов. Так, 10 января 1941 г. между СССР и Германией был заключен Договор о советско-германской границе от реки Игарка до Балтийского моря, подписанный Молотовым и Шуленбургом. Тогда же в Риге и Каунасе велись переговоры и были подписаны соглашения о переселении в Германию немцев, проживавших в Латвии, Эстонии и Литве. Одновременно в Москве подписали Соглашение об урегулировании взаимных имущественных претензий, связанных с этим переселением. 10 января 1941 г. мной как наркомом внешней торговли и посланником МИД Германии Шнурре было подписано советско-германское хозяйственное соглашение. В коммюнике по этому поводу указывалось, что СССР предоставляет Германии промышленное сырье, нефтяные продукты и продукты питания, в особенности зерновые; Германия поставляет СССР промышленное оборудование.

В это время к нам из самых различных источников стали поступать данные, свидетельствовавшие о том, что Гитлер готовится в военному нападению на СССР. А в октябре 1940 г. стало известно, что Берлин заключил с Финляндией договор о размещении на ее территории германских войск. 19 апреля 1941 г. на имя Сталина поступило послание Черчилля, в котором он, ссылаясь на заслуживающего доверия агента, предупреждал о предстоящем нападении Гитлера на СССР. Прочитав это

послание, Сталин улыбаясь сказал: «Черчиллю выгодно, чтобы мы поскорее влезли в войну, а нам выгодно подольше быть в стороне от этой войны».

Но и наш посол в Берлине Деканозов на основе данных разведки сообщал, что Германия готовится к войне против Советского Союза – идет усиленная подготовка войск. Помнится, одно такое донесение мы обсуждали в политбюро. Сталин говорил, что Деканозову английские агенты подбрасывают дезинформацию, чтобы запутать нас, а Деканозов «не такой уж умный человек, чтобы разобраться в этом». Когда Криппс, посол Англии в СССР, передал от имени Черчилля новое предупреждение, что, по достоверным данным английской разведки, скоро начнется война между Германией и Россией, и Англия предлагает союз против Германии, Сталин утверждал, что мы не должны поддаваться на провокации Англии.

Помню, как за месяц или полтора до начала войны донесение прислал представитель нашей разведки в советском посольстве в Берлине Кобулов (младший). Этот разведчик сообщал очень подробные сведения, которые подтверждали усиленную подготовку германских войск и переброску их к нашей границе. Подобные же сведения давал представитель разведки Генштаба Военно-морского флота Михаил Воронцов. Сталин это все также отверг как подсунутую ему дезинформацию.

За несколько недель до начала войны германский посол в СССР граф Шуленбург пригласил на обед приехавшего в Москву Деканозова. В присутствии своего сотрудника Хильгера и нашего переводчика Павлова Шуленбург довел до сведения Деканозова, что в ближайшее время Гитлер может напасть на СССР, и просил передать об этом Сталину. Реакция Сталина и на это крайне необычное для посла сообщение оставалась прежней.

Наша стратегическая линия заключалась в том, что чем глубже Гитлер завязнет в войне на Западе, тем больше будет времени у нас для подготовки к войне с фашизмом. Сталин и все мы знали, что столкновение неизбежно, но мы считали, что еще недостаточно готовы к этому.

Перелет первого заместителя Гитлера по руководству нацистской партией Гесса в Англию 10 мая 1941 г. вызвал большую тревогу у Сталина и у всех нас. Мы опасались, что Гесс договорится с англичанами и тогда немцы повернут против нас. Информация о том, с чем прилетел Гесс в Англию, была очень скудная, противоречивая. Вызывало беспокойство и то, что в Англии тогда были силы, которые могли пойти на сговор с Гитлером. А как будет вести себя правительство Черчилля, мы не знали. Потом, через некоторое время, оказалось, что Англия не

пошла на сговор с Гитлером. Миссия Гесса оказалась безрезультатной, что для нас было очень важно.

За два дня до начала нападения немцев (я тогда как зампред СНК ведал и морским флотом) часов в семь-восемь вечера мне звонит начальник Рижского порта Лайвиньш: «Товарищ Микоян, здесь стоит около 25 немецких судов: одни под загрузкой, другие под разгрузкой. Нам стало известно, что они готовятся завтра, 21 июня, все покинуть порт, несмотря на то что не будет закончена ни разгрузка, ни погрузка. Прошу указаний, как быть: задержать суда или выпустить?» Я сказал, что прошу подождать, нужно посоветоваться по этому вопросу. Сразу же пошел к Сталину, там были и другие члены политбюро, рассказал о звонке начальника Рижского порта, предложив задержать немецкие суда. Сталин рассердился на меня, сказав: «Это будет провокация. Этого делать нельзя. Надо дать указание не препятствовать, пусть суда уходят». Я по ВЧ дал соответствующее указание начальнику Рижского порта. (В 1974 г. я прочитал в записках В. Бережкова – работника нашего посольства в Берлине, что перед началом войны советские суда, стоявшие в германских портах, были задержаны.)

У нас в политбюро была большая тревога. Не может быть, считали мы, чтобы все эти сведения о подготовке войны Гитлером были фальшивые, ведь концентрация войск на нашей границе остается фактом и эта концентрация продолжается.

Правда, несмотря на такие установки Сталина, подготовка к войне у нас шла усиленно. Укреплялась Красная армия путем частичной мобилизации, увеличивалось производство вооружения и т. д. Но все это делалось не такими ускоренными темпами, какие требовались. По мере усиления угрозы войны, особенно к началу 1941 г., увеличились государственные резервы и мобилизационные запасы. За последние полтора года до начала войны общая стоимость наших государственных ма териальных резервов возросла почти вдвое и составила 7,6 млрд рублей.

О том, как были созданы резервы стратегического сырья, следует рассказать подробнее. В 1939 г. у Сталина возникла идея закупить на случай войны стратегические материалы, которых у нас было мало, и создать запас, о котором абсолютно никто не знал бы. Об этом он мне сказал с глазу на глаз и поручил действовать. В мое личное распоряжение он выделил большую сумму валюты.

В составе Наркомвнешторга находилось Таможенное управление, имевшее склады, предназначенные для хранения импортных товаров. И вот я решил создать, так сказать, в недрах Таможенного управления, но фактически от него независимую организацию по закупке и хранению стратегических материалов.

Такая организация была создана. Но об этой организации ни Госплан, ни Наркомфин и никакие другие государственные органы ничего не знали. Эта организация подчинялась только и непосредственно мне как наркому внешней торговли. Во главе организации был поставлен инженер Васильев, который формально числился заместителем начальника Таможенного управления, а на деле был полностью от него независим и отчитывался в своей деятельности только мне.

За довольно короткий срок было закуплено за границей значительное количество высококачественного остродефицитного стратегического сырья: каучук, олово, медь, цинк, свинец, алюминий, никель, кобальт, висмут, кадмий, магний, ртуть, алмазы, ферровольфрам, феррованадий, ферромолибден, феррохром, ферромарганец, ферротитан, ферросилиций, молибденовый концентрат и др. Первоначально все это хранилось на таможенных складах, расположенных в приграничных районах. Когда же угроза войны стала реальной, я решил перебазировать эти запасы подальше от границы, в Оренбург, где для этой цели были освобождены большие хлебные склады. Сталин очень интересовался всем этим делом. Я ему регулярно докладывал о ходе закупок и образовании запасов, об организации их хранения.

В 1975 г. Васильев прислал мне письмо, в котором, вспоминая о проделанной тогда работе, писал, что в период Отечественной войны «советская промышленность свыше 70 % своей потребности в остродефицитных и стратегических товарах и сырье, необходимых для производства танков, самолетов, орудий, боеприпасов, удовлетворяла за счет запасов Минвнешторга».

В предвоенные годы у нас не хватало станков для расширения оборонной промышленности. В 1939 г. мы разместили в Германии большие заказы на станки. За несколько месяцев до начала войны с нами немцы предложили уменьшить исполнение этих, уже размещенных заказов на станки, пообещав разницу уплатить нам золотом. Стало ясно, что они сами форсировали производство оборонной промышленности.

Я принял германского представителя по экономическим вопросам в Москве Шнурре. Он предложил передать нам большое количество золота на сумму стоимости части заказов на станки, но, согласившись на это, мы бы лишились станков для нашей оборонной промышленности. Таких станков ни Англия, ни Америка нам не дали бы. Кроме того, отказываясь от части этих станков, мы усиливали оборонную промышленность Германии.

Выслушав Шнурре, я сказал ему, что лично я против его предложения, ибо оно идет в ущерб нашим интересам. «У вас

развитое станкостроение, – продолжал я, – и вы имеете возможность выполнить взятые на себя обязательства». Вопроса о золоте я не коснулся, так как не знал мнения по нему Сталина. Докладывая Сталину о предложении Шнурре, я сказал, что немцы делают это не случайно, ведь золота у них не так много. Немцы прекрасно понимают, что золото во время войны может стать не таким уж важным фактором. Может сложиться обстановка так, что его девать будет некуда. В итоге я предложил отказаться от этого предложения немцев. Выслушав мои доводы, Сталин сказал: «Хорошо, что немцы дают золото. Надо их предложение принять». Далее он пояснил: «Время сейчас такое, что немцы вообще могут отказаться поставлять нам станки. Мы же будем вынуждены прекратить поставку им сырья, а этого делать нельзя. Поэтому, если они предлагают золото, надо его брать». Предложение немцев было принято, о чем я вопреки своей воле и передал Шнурре.

Как я убедился тогда (и получал подтверждения позже в еще большей степени), Сталин особое внимание уделял золоту – берег его лучше, чем ходовые экспортные товары. На этой почве у меня с ним не раз бывали разногласия (не только об экспорте, но раз даже и об импорте золота). Я считал, что золото лишь эквивалент товара. Был убежден, что хорошие экспортные товары не хуже золота. Имея их, золото всегда можно приобрести на рынке. К тому же мы страна золотодобывающая, и в немалых масштабах. Поэтому с точки зрения экономической я считал вполне закономерным, когда такая страна, как наша, экспортирует часть золота. Сталин же, придерживаясь иной точки зрения, добился того, что мы еще задолго до войны совсем прекратили экспорт золота. Все добываемое у нас золото шло на пополнение государственного запаса.

Весной 1941 г. был пересмотрен мобилизационный план. Составлялись планы обороны. Много войск было переброшено с востока на запад, многие из них были размещены в Белоруссии и на Украине. К сожалению, подготовка армии производилась такими руководителями Министерства обороны, которые не имели достаточного опыта и современных знаний. Видные военачальники – Тухачевский, Уборевич, Блюхер и другие – были репрессированы. На их место пришли такие, как Кулик, который имел только начальное образование. Неразвитый, но самоуверенный, невежественный человек, хотя преданный, энергичный, он очень потрафлял Сталину. За год-два до войны было прекращено производство противотанковых орудий старого образца, а производство новых еще не налажено. Поэтому, когда немецкие танки пошли на нас, у нас не было достаточного

количества противотанковых орудий, что в начале войны облегчило прорыв немцами наших позиций.

Наконец, финская война раскрыла глаза на то, что у нас на вооружении есть только винтовки, а должны быть новые пистолеты-пулеметы, потом их стали называть автоматами. А у нас вообще автоматы не производили. Только после финской войны началось производство ППШ. После эвакуации основного населения из Москвы на заводе им. Лихачева было организовано их массовое производство.

Следует отметить, что финская война велась вообще плохо. Были досадные неудачи, компрометировавшие Красную армию в глазах мировой общественности, не говоря уже о немцах. Вина Сталина была в том, что за 2–3 года до войны уничтожил самые грамотные руководящие военные кадры. Перед войной Ворошилов в пропагандистских целях утверждал, что если война начнется, то она будет вестись на чужой территории. А мы одобряли и не возражали. Это, возможно, хороший лозунг для солдат, но очень плохой, если в него поверили полководцы и на его основе строили планы обороны. Некоторая часть наших войск была сконцентрирована близко к границе, но не было должного их эшелонирования. Не было у нас и надлежащих укреплений.

Просчет Сталина в оценке военно-политической обстановки, сложившейся перед началом войны, необъясним. Ведь ему было известно, что у нашей западной границы сосредоточивается огромное число гитлеровских войск (в июне 1941 г. 190 дивизий, более 3500 танков и свыше 50 тыс. орудий). Уже это одно обстоятельство говорило о необходимости немедленно привести Красную армию в боевую готовность. Вместо этого 14 июня 1941 г. было опубликовано сообщение ТАСС о том, что «по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы». За день до этого текст заявления ТАСС был передан германскому послу в Москве Шуленбургу. Но германская печать даже не упомянула об этом заявлении ТАСС, что лишний раз со всей очевидностью свидетельствовало об истинных намерениях Гитлера.

Однако Сталин упорно продолжал считать, что войны именно тогда не будет. Советские войска переезжали в летние лагеря, проводили полевые учения, а многие офицеры находились в отпусках. Сталину не хотелось войны, и это свое нежелание, эту свою концепцию он возводил в факт, в который верил и которого неуклонно придерживался, несмотря на то что этот факт шел

вразрез с реальной обстановкой. Мы пытались переубедить его, но это было невозможно.

Кстати, за 2–3 дня до начала войны Жданов уехал в Сочи на отдых. Он был наивен и верил каждому слову Сталина, который разрешил ему ехать. Я лично был тогда крайне этому удивлен, потому что не верил сталинским расчетам.

Иной раз спрашивают: занимался ли Сталин подготовкой страны к обороне и к войне? Принимал ли он необходимые меры для этого?

Неправильно и глупо было бы утверждать, что он не заботился об обороне страны. Он, конечно, принимал те меры, которые он считал необходимыми. Но он исходил из того, что ранее 1943 г. Гитлер не начнет войну.

Спрашивают: насколько он был компетентен в вопросах подготовки страны к обороне и к войне? Понимал ли он вообще в этом деле?

Я бы сказал, он понимал не меньше, чем должен понимать любой политический деятель в его положении. Может быть, несколько больше знал, поскольку быстро все схватывал и память у него была хорошая. Он запоминал все то, что слышал. Он мыслил логически и мог из малого количества фактов сделать вывод. Правда, не всегда правильно это делал, но считал для себя бесспорным вывод, им сделанный. Требовать от него как партийного и государственного деятеля бóльших знаний, чем те, что он проявлял, было, конечно, бессмысленно. Не мог политический деятель глубоко знать такие сложные области, как военная промышленность, военная стратегия, военная техника. Его опыт пребывания на фронтах в Гражданскую войну был недостаточен для того, чтобы знать все военное дело. К тому же совсем другой характер носили методы, средства вооружения, организация обороны тогда и совсем другое положение было перед Второй мировой войной.

Скорее этот опыт Гражданской войны не помогал подготовке и ведению Отечественной войны, а мешал. Это чувствовалось и на Ворошилове, и на Буденном, которые считали себя хорошими, опытными командирами, вождями Красной армии. Но в 1918–1920 гг. самым мощным оружием были тачанки с пулеметами. Артиллерия была слабая, винтовка обычная, образца 1891 г., авиации практически не было. Существовали танки и броневики, которые в боях существенной роли не играли.

Возможно, испанские события, когда там появилось немецкое и итальянское вооружение, где были наши военные и летчики с нашим оружием, раскрыли нам глаза на наше отставание в развитии военной техники и организации ведения войны. Мы до

этого думали, что у нас танки и авиация не хуже. Танк Т-34 уже был создан, но производство их росло недопустимо медленно. Исходя из сказанного, неправильно обвинять Сталина в полном отсутствии старания или заботы о подготовке обороны страны. И то, что мы отставали, но не знали об этом отставании, также объяснимо. Откуда может знать все это и понимать политический деятель? Только от того человека и от той группы деятелей, которые решают судьбу армии, только от них можно узнать все, на них опираться, к их голосу прислушиваться, через их информацию знать противника, предвидеть события и устранять дефекты в нашей подготовке к обороне.

Испытанием готовности нашей страны к обороне и войне с капиталистическими странами было нападение японцев на озере Хасан, а затем бои на Халхин-Голе в 1938–1939 гг. Тогда у нас было впечатление, у меня во всяком случае, что на Хасане наше командование и организация боя были неудовлетворительными. Мы их победили численным преимуществом наших войск и вооружения. Но все-таки чувствовалась организационная слабость по сравнению с японцами. Это мое тогдашнее впечатление.

На Халхин-Голе было более серьезное испытание. Мне кажется, что японцы не затеяли бы Халхин-Гола, если бы не те недостатки у нас, которые были на Хасане. Они, конечно, знали о численном превосходстве наших войск. И, хотя потерпели поражение, видели слабости нашей стороны. Да и местность на Хасане была невыгодной для японцев. Возможно, это тоже имело значение. Мне кажется – я не могу, конечно, утверждать это, – что японцы именно поэтому решили новый бой дать на просторах Монголии, более благоприятной для маневров, с хорошо организованным тылом, с базами для авиации. Видимо, рассчитывали, что побьют нас, иначе нечего было лезть туда. Если бы этой надежды у них не было, они бы успокоились Хасаном.

На Халхин-Голе вначале бои были трудные, и наше командование не справлялось. Мы еще не имели численного превосходства. Только потом подтянули силы и получили превосходство. Кроме того, вначале японская авиация проявила себя сильнее, чем советская. И тогда мы вынуждены были из других воинских частей лучших летчиков быстро перебросить в Монголию, потому что до этого в воздухе господствовали японцы.

С прибытием дополнительной авиации мы оказались сильнее в воздушных боях. Была сосредоточена большая группа войск, командующим которой был назначен Жуков. У нас также было большое превосходство в численности войск, в наличии танков, артиллерии. Нам удалось быстро все сосредоточить и

организовать, что для японцев явилось неожиданным. Они потерпели поражение, что подняло дух нашей армии, партии и правительства.

Я помню кинохронику, как японцы собирали трупы оставленных у нас своих солдат и офицеров и грузили в вагоны после перемирия. Это производило сильное впечатление. Конечно, у нас тоже потери были, не думаю, чтобы меньше, но факт, что мы победили, и Япония признала тогда нашу военную силу, что было важно и вносило элемент сдержанности в поведение японцев по отношению к нам.

События на Халхин-Голе произвели сильное впечатление и на весь мир. Я думаю, и на Германию тоже, так как боеспособность Красной армии на поле боя была доказана.

Отрицательной стороной в этом деле было то, что наше руководство армии несколько зазналось, успокоилось на этом, критически не разобрало ход событий, чему мы обязаны победой: численному ли превосходству, или превосходству в технике, или в военно-стратегическом руководстве. Упивались сознанием победы. Испанские события показали, что наши самолеты и наши танки хуже немецких. Стали задумываться над этим тогда. Тревога появилась в этой связи.

В чем можно обвинять Сталина и в чем он виноват действительно в области подготовки страны к обороне? В том, что он не имел правильного представления, что на самом деле необходимо для того, чтобы не уступать фашистам в военной подготовке. В том, что самые грамотные, самые опытные, в военном отношении самые образованные военные руководители, которые читали военную литературу, писали сами, которые следили за развитием иностранной военной техники, знали германскую армию – Тухачевский, Уборевич и вместе с ними еще большая группа военных, почти все командующие округами, все начальники управления, которые заказывали вооружение, составляли программу вооружения армии, типы вооружения, которые разрабатывали уставы Красной армии, обучали боям, тактике наступления и отступления (ибо не бывает войны без отступления, нельзя обучать только наступлению, ибо отступление бывает необходимым), – все эти кадры были ликвидированы. И это не десяток, а на несколько порядков больше, причем самых выдающихся. Навсегда выбыли из строя 30 тыс. офицеров. Репрессировано же было около 40 тыс. офицеров, но около 10 тыс. вернули в строй, когда началась война. То есть к началу войны наша армия лишилась 40 тыс. высших и средних командиров. Не тронули только тех, кто был в 12-й армии, то есть тех, кто был со Сталиным в Царицыне:

Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Тюленев, Щаденко, Мехлис, Кулик. Каганович, кстати, тоже был там, и это помогло росту его положения в партии.

Была разгромлена военная разведка, арестованы и ликвидированы руководители разведки как в Центре, так и за границей.

От кого и откуда Сталин после этого мог узнать, что необходимо сделать для обороны страны, чтобы не быть слабее фашистов в техническом отношении и в стратегии? Таких людей или не осталось, или почти не осталось в Наркомате обороны. Освободившиеся посты заняли выдвиженцы. Одни – неспособные, вроде Кулика и Щаденко; другие – способные, но еще неопытные, сразу поднявшиеся с низших до высших ступеней руководства, скажем Жуков. Жуков свою военную карьеру делал с Гражданской войны, до того как стал командиром дивизии. Значит, более 18 лет. Это нормальное продвижение. Он был хорошим командиром, прошел кавалерийские курсы, не имея другого военного образования. Зато с ликвидацией старого опытного руководства он быстро стал по ступенькам подниматься вверх и за несколько месяцев дошел до комкора, до командующего армией. На Халхин-Голе уже возглавлял группу войск и там хорошо себя показал.

Что еще Сталин сделал плохого, в чем виноват? В том, что так плохо, позорно велась война с Финляндией. Сталин был виноват здесь не меньше Ворошилова. Я помню, как это было. Сталин в присутствии Ворошилова и нас, членов политбюро, вызвал военных работников, разработал план, какие войска перебросить, кого куда назначить, какую авиацию двинуть, в уверенности, что чуть ли не через неделю-две все будет кончено. Наспех объявил образование Карело-Финской союзной республики, во главе которой стал Куусинен.

Каково же было разочарование в ходе этой операции! Финны – малочисленные, но хорошо организованные – оказали невероятно упорное сопротивление при нашем огромном превосходстве в технике и людях. Наша армия вроде бы была хорошо вооружена и обеспечена боеприпасами, за одним важнейшим минусом: у нас еще не было автоматов ППШ, автоматических винтовок. Мы до финской войны их не видели, хвастались старой русской винтовкой. О стратегии в финской войне я уже не говорю – чего можно было ожидать от Мехлиса и ему подобных?

Сталин – умный, способный человек – в оправдание неудач в ходе войны с Финляндией выдумал причину, что мы «вдруг» обнаружили хорошо оборудованную линию Маннергейма. Была выпущена специально кинокартина с показом этих сооружений

для оправдания, что против такой линии было трудно воевать и быстро одержать победу. Но только наивный человек не задал себе вопроса: почему же советская армия и наша разведка не знали о такой мощной оборонительной линии под самым своим носом? Ведь эта линия всему миру была известна. Неужели наша разведка не могла узнать о ней, имея разведывательную авиацию? Да у нас и в Финляндии были свои разведчики. Позднее оказалось, что за границей эта линия была полностью описана, чертежи ее были даже у нас в Генштабе, доставленные своевременно разведкой. Но тот, кто знал обо всем этом, был ликвидирован. А Сталин и Ворошилов об этом не знали. Ведь в штабе столько начальников сменилось! А вновь пришедшие не могли усвоить специфику этого дела, да их и не спрашивали об этом.

И вот, все-таки понимая, что это была неудача, что это подорвало престиж Красной армии в глазах всего мира, что великая держава долго не могла справиться с такой небольшой армией, Сталин сделал козлом отпущения Ворошилова: предложил снять его с поста наркома обороны и перевести в Совнарком, «выдвинув» на должность своего заместителя и возложив на него руководство вопросами культуры. Для наивных людей это могло показаться выдвижением. Культура тоже почетная область работы, но это было смешно по отношению к Ворошилову. Почти накануне войны Ворошилова, военного политического деятеля, отстранили от армии, назначив вместо него для «укрепления» армии Тимошенко, который, наверное, никаких книг никогда не читал. Я его помню по Северному Кавказу – командиром кавалерийской дивизии Конной армии. Он из крестьян, лично храбрый, умел с крестьянами и солдатами разговаривать, был отличный кавалерист. Ворошилов сам в военном отношении не был силен, но все-таки он был командующим военным округом много лет, почти 15 лет был наркомом обороны после Фрунзе. Какой-то опыт, знания накопил. Он способный был человек, схватывал дело, кое-что понимал. Но Тимошенко по сравнению с Ворошиловым – это небо и земля и в военном, и в политическом отношении. Ворошилов – старый большевик, разбиравшийся в политике, многолетний член политбюро, пользовавшийся авторитетом в партии и в армии. И вдруг накануне войны с Германией его отстраняют от военных дел и заменяют Тимошенко! А начальником Генштаба назначают Жукова, человека способного, рукастого, с командирскими способностями, но без большого военного образования и без политического образования и опыта. И это за 3 месяца до начала войны с Германией! Да кроме того, и раньше несколько

начальников штаба сменилось. Например, Егоров – офицер царской армии, командовал Южным фронтом Красной армии в Гражданскую войну, членом Военного совета округа которого был Сталин.

Все успехи этого фронта до сих пор приписываются Сталину, а они в бóльшей степени являются заслугой Егорова, который был арестован и ликвидирован. Был назначен Шапошников – полковник царской армии, честный человек, но в присутствии Сталина – без своего мнения. Потом был назначен Мерецков, но через несколько месяцев снят, арестован и заменен Жуковым.

Даже подготовленный военный человек не смог бы так сразу выполнять функции начальника Генштаба. Нужно пробыть несколько лет на этом посту, чтобы охватить все проблемы по организации армии и тыла, производства и конструирования вооружения, создания оборонных заводов. Начальник Генштаба должен в этом разбираться. Откуда мог Жуков все это знать, понимать, как лучше поступать, если так скороспело поднимался по служебной лестнице?

С арестом старых руководителей армии были отменены старые уставы армии, ими разработанные, а новые не успел никто издать. Армия фактически осталась без уставов. Это даже невозможно представить! Но так было. Конечно, военные фактически пользовались старыми уставами, которые они хотя бы знали. Лозунг Ворошилова успокаивал народ в том, что армия не должна готовиться вести бои на своей территории, вести отступление, он дезориентировал страну, что сказалось в первые же дни войны.

Наконец, все это совпало с арестами директоров оборонных заводов, самых талантливых и опытных, которые при Орджоникидзе строили промышленность. Они были обвинены во вредительстве, арестованы и уничтожены. Были выдвинуты новые. Большинство образованные люди, но менее опытные в работе и как организаторы слабее, чем старые руководители. А им требовалось время, чтобы освоиться в новом положении.

Кроме того, ошибочная оценка Сталиным намерений Гитлера привела к тому, что наша промышленность не имела указаний форсировать военное производство. Таким образом, та передышка, которую мы получили в августе 1939 г., не была использована должным образом. Ведь не случайно, что, потеряв в 1941–1942 гг. почти всю промышленную базу европейской части страны, в тяжелейших условиях эвакуации заводов иногда на пустое место, мы сумели очень скоро догнать, а потом и перегнать военное производство Германии и всей Европы, находившейся под ее контролем, то есть военную

промышленность Франции, Чехословакии и других стран. Можно себе легко представить, что к июню 1941 г. мы могли бы иметь вооружений лучше и больше, чем Германия, если бы в 1939 г. Сталин разрешил переключить большую часть промышленности на военные цели. Этого не случилось не только потому, что Сталин считал, что у нас еще есть время, но и потому, что столь активными военными приготовлениями можно было спровоцировать Гитлера на войну: Сталин опасался, что Гитлер поспешит нанести удар, пока Красная армия не перевооружилась. Но именно так и получилось в июне 1941 г. В этом колоссальный просчет самого Сталина. Он никого не хотел слушать, когда мы ему рекомендовали такие меры.

Глава 31
Начало Великой Отечественной войны

В субботу 21 июня 1941 г., вечером, мы, члены политбюро, были у Сталина на квартире. Обменивались мнениями. Обстановка была напряженной. Сталин по-прежнему уверял, что Гитлер не начнет войны.

Неожиданно туда приехали Тимошенко, Жуков и Ватутин. Они сообщили о том, что только что получены сведения от перебежчика, что 22 июня в 4 часа утра немецкие войска перейдут нашу границу. Сталин и на этот раз усомнился в информации, сказав: «А не перебросили ли перебежчика специально, чтобы спровоцировать нас?»

Поскольку все мы были крайне встревожены и требовали принять неотложные меры, Сталин согласился «на всякий случай» дать директиву в войска о приведении их в боевую готовность. Но при этом было дано указание, что, когда немецкие самолеты будут пролетать над нашей территорией, по ним не стрелять, чтобы не спровоцировать нападение.

А ведь недели за две до войны немцы стали облетывать районы расположения наших войск. Каждый день фотографировали расположение наших дивизий, корпусов, армий, засекали нахождение военных радиопередатчиков, которые не были замаскированы. Поэтому в первые дни войны вывели из строя нашу связь. Многие наши дивизии вообще оказались без радиосвязи.

Мы разошлись около трех часов ночи 22 июня, а уже через час меня разбудили: «Война!» Сразу члены политбюро вновь собрались у Сталина, зачитали информацию о том, что бомбили Севастополь и другие города. Был дан приказ немедленно ввести в действие мобилизационный план (он был нами пересмотрен еще весной и предусматривал, какую продукцию должны выпускать предприятия после начала войны), объявить мобилизацию и т. д.

Решили, что надо выступить по радио в связи с началом войны. Конечно, предложили, чтобы это сделал Сталин. Но Сталин отказался: «Пусть Молотов выступит». Мы все возражали против этого: народ не поймет, почему в такой ответственный исторический момент услышат обращение к народу не Сталина, Первого секретаря ЦК партии, Председателя правительства, а его

заместителя. Нам важно сейчас, чтобы авторитетный голос раздался с призывом к народу – всем подняться на оборону страны. Однако наши уговоры ни к чему не привели. Сталин говорил, что не может выступить сейчас, это сделает в другой раз. Так как Сталин упорно отказывался, то решили, пусть выступит Молотов. Выступление Молотова прозвучало в 12 часов дня 22 июня.

Конечно, это было ошибкой. Но Сталин был в таком подавленном состоянии, что в тот момент не знал, что сказать народу. 23 июня текст выступления Молотова был опубликован в газетах, а рядом дана большая фотография Сталина.

На второй день войны для руководства военными действиями решили образовать Ставку Главного командования. При обсуждении вопроса Сталин принял живое участие. Договорились, что председателем Ставки будет Тимошенко, а ее членами Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный и адмирал Кузнецов. При Ставке создали институт постоянных советников. Ими стали: Ватутин, Вознесенский, Воронов, Жданов, Жигарев, Мехлис, Микоян, Шапошников.

В этот же день была образована Комиссия Бюро СНК СССР по текущим делам. В нее вошли Вознесенский, Микоян и Булганин. Комиссия должна была собираться ежедневно для принятия решений по неотложным вопросам и быстрого решения текущих дел.

Вечером вновь собрались у Сталина. Сведения были тревожные. С некоторыми военными округами не было никакой связи. На Украине же дела шли не так плохо, там хорошо воевал Конев. Мы разошлись поздно ночью. Немного поспали утром, потом каждый стал проверять свои дела по своей линии: как идет мобилизация, как промышленность переходит на военный лад, как с горючим и т. д.

Сталин в подавленном состоянии находился на ближней даче в Волынском (в районе Кунцево).

Обстановка на фронте менялась буквально каждый час. В эти дни надо было думать не о том, как снабжать фронт, а как спасти фронтовые запасы продовольствия, вооружения и т. д.

На седьмой день войны фашистские войска заняли Минск. 29 июня, вечером, у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и Берия. Подробных данных о положении в Белоруссии тогда еще не поступило. Известно было только, что связи с войсками Белорусского фронта нет. Сталин позвонил в Наркомат обороны Тимошенко, но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам

поехать в Наркомат обороны и на месте разобраться в обстановке.

В наркомате были Тимошенко, Жуков и Ватутин. Жуков докладывал, что связь потеряна, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи – никто не знает. Около получаса говорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался: «Что за Генеральный штаб? Что за начальник штаба, который в первый же день войны растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует?»

Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек буквально разрыдался и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через пять – десять Молотов привел внешне спокойного Жукова, но глаза у него были мокрые.

Главным тогда было восстановить связь. Договорились, что на связь с Белорусским военным округом пойдет Кулик – это Сталин предложил, потом других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову.

Дела у Конева, который командовал армией на Украине, продолжали развиваться сравнительно неплохо. Но войска Белорусского фронта оказались тогда без централизованного командования. А из Белоруссии открывался прямой путь на Москву. Сталин был очень удручен. Когда вышли из наркомата, он такую фразу сказал: «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это просрали…» Мы были поражены этим высказыванием Сталина. Выходит, что все безвозвратно потеряно? Посчитали, что это он сказал в состоянии аффекта.

Через день-два, около четырех часов, у меня в кабинете был Вознесенский. Вдруг звонят от Молотова и просят нас зайти к нему. У Молотова уже были Маленков, Ворошилов, Берия. Мы их застали за беседой. Берия сказал, что необходимо создать Государственный Комитет Обороны, которому отдать всю полноту власти в стране. Передать ему функции правительства, Верховного Совета и ЦК партии. Мы с Вознесенским с этим согласились.

Договорились во главе ГКО поставить Сталина, об остальном составе ГКО при мне не говорили. Мы считали, что само имя Сталина настолько большая сила для сознания, чувств и веры народа, что это облегчит нам мобилизацию и руководство всеми военными действиями. Решили поехать к нему. Он был на ближней даче.

Молотов, правда, сказал, что Сталин в последние два дня в такой прострации, что ничем не интересуется, не проявляет

никакой инициативы, находится в плохом состоянии. Тогда Вознесенский, возмущенный всем услышанным, сказал: «Вячеслав, иди вперед, мы за тобой пойдем», – то есть в том смысле, что если Сталин будет себя так вести и дальше, то Молотов должен вести нас, и мы пойдем за ним.

Другие члены политбюро подобных высказываний не делали и на заявление Вознесенского не обратили внимания. У нас была уверенность в том, что мы сможем организовать оборону и сражаться по-настоящему. Однако это сделать будет не так легко. Никакого упаднического настроения у нас не было. Но Вознесенский был особенно возбужден.

Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой сидящим в кресле. Увидев нас, он как бы вжался в кресло и вопросительно посмотрел на нас. Потом спросил: «Зачем пришли?» Вид у него был настороженный, какой-то странный, не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь по сути дела он сам должен был нас созвать. У меня не было сомнений: он решил, что мы приехали его арестовать.

Молотов от нашего имени сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы поставить страну на ноги. Для этого создать Государственный Комитет Обороны. «Кто во главе?» – спросил Сталин. Когда Молотов ответил, что во главе – он, Сталин, тот посмотрел удивленно, никаких соображений не высказал. «Хорошо», – говорит потом. Тогда Берия сказал, что нужно назначить 5 членов Государственного Комитета Обороны. «Вы, товарищ Сталин, будете во главе, затем Молотов, Ворошилов, Маленков и я», – добавил он.

Сталин заметил: «Надо включить Микояна и Вознесенского. Всего семь человек утвердить». Берия снова говорит: «Товарищ Сталин, если все мы будем заниматься в ГКО, то кто же будет работать в Совнаркоме, Госплане? Пусть Микоян и Вознесенский занимаются всей работой в правительстве и Госплане». Вознесенский поддержал предложение Сталина. Берия настаивал на своем, Вознесенский горячился. Другие на эту тему не высказывались.

Впоследствии выяснилось, что до моего с Вознесенским прихода в кабинет Молотова Берия устроил так, что Молотов, Маленков, Ворошилов и он, Берия, согласовали между собой это предложение и поручили Берии внести его на рассмотрение Сталина.

Я считал спор неуместным. Зная, что и так как член политбюро и правительства буду нести все равно большие обязанности, сказал: «Пусть в ГКО будет 5 человек. Что же касается меня, то кроме тех функций, которые я исполняю, дайте

мне обязанности военного времени в тех областях, в которых я сильнее других. Я прошу назначить меня особо уполномоченным ГКО со всеми правами члена ГКО в области снабжения фронта продовольствием, вещевым довольствием и горючим». Так и решили.

Вознесенский попросил дать ему руководство производством вооружения и боеприпасов, что также было принято. Руководство по производству танков было возложено на Молотова, а авиационная промышленность – на Маленкова. На Берию была оставлена охрана порядка внутри страны и борьба с дезертирством.

1 июля постановление о создании Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным было опубликовано в газетах.

Вскоре Сталин пришел в полную форму, вновь пользовался нашей поддержкой. 3 июля он выступил по радио с обращением к советскому народу.

С первого дня войны стала сказываться наша плохая подготовка к ней. Примеров тому немало. Скажу лишь об одном из них. Через месяц после начала войны у нас не стало хватать винтовок. Начали отбирать их у милиции, у охраны складов, по городам и селам для нужд фронта. Как это могло случиться? Ведь у нас было достаточное количество винтовок для обеспечения всей армии. Оказалось, что часть дивизий была сформирована по норме мирного времени. Винтовки же для обеспечения по нормам военного времени хранились в этих дивизиях, а они находились близко к границе. Когда немцы прорвали фронт и стали наступать, оружие было ими захвачено. В результате прибывавшие на фронт резервисты оказались без винтовок.

Когда Ворошилов был назначен командующим в Ленинград, он потребовал, чтобы Ленинграду было дано необходимое количество винтовок. В этом ему было отказано, так как потребность в винтовках на других фронтах была большей. Тогда Ворошилов провел решение о производстве на ленинградских заводах холодного оружия (пик, кинжалов, сабель).

Узнав об этом, Сталин возмутился. Я и другие члены узкого состава политбюро были у Сталина. (Еще до 1941 г. в политбюро существовала пятерка: Сталин, Молотов, Маленков, Берия, Микоян. Называлась она «по внешним делам» или «по оперативным вопросам». После войны добавили Жданова – стала шестерка, затем добавили Вознесенского – стала семерка. В начале войны был, кажется, включен Ворошилов, в 1944 г. он выбыл.) Мы вышли в комнату, где стоял телеграфный аппарат. В Ленинграде к аппарату был вызван Ворошилов. Сталин, критикуя

его действия, сказал, что он не имеет права это делать без разрешения Центра, что это может только вызвать панику, и предложил немедленно отменить распоряжение о производстве холодного оружия на ленинградских заводах. Ворошилов возражал, но приведенные им мотивы были неубедительны. Сталин при нашей поддержке настаивал на своем.

После этого инцидента мы сумели быстро наладить производство винтовок, а затем и автоматов и полностью удовлетворять потребность в них фронта.

Глава 32
Вопросы снабжения армии и тыла. Работа в ГКО. Эвакуация промышленности и материалов за Урал

С началом войны члены политбюро не только выполняли ранее возложенные на них обязанности, но и многочисленные важнейшие задания военного времени. Будучи заместителем Председателя Совнаркома СССР, я отвечал за работу семи наркоматов: торговли, заготовок, рыбной и мясо-молочной промышленности, морского флота, речного флота, а также Главного управления Севморпути. Кроме того, я сам возглавлял Наркомат внешней торговли и осуществлял контроль за поставками по ленд-лизу[14] из США и поставками из Великобритании.

На десятый день войны, 1 июля 1941 г., был образован Комитет продовольственного и вещевого снабжения Красной армии, председателем которого назначили меня. В комитет вошли: Косыгин (заместитель), Хрулев, Зотов, Лукин. Ответственным секретарем комитета стал Смиртюков.

Однако комитет этот по существу не действовал. Уже через день Сталин решил, что лучше поручить это дело мне одному, сказав, что я с ним справлюсь, поскольку ведаю делом снабжения в стране в целом, и 3 июля подписал постановление ГКО о назначении меня уполномоченным ГКО по вопросам снабжения Красной армии обозно-вещевым имуществом, продовольствием и горючим. Потом добавил артиллерийские снаряды.

В этих вопросах я опирался на генерала Хрулева. До начала Великой Отечественной войны я его не знал и даже о нем не слышал. В 1940 г. Хрулев был назначен начальником снабжения НКО, а затем Главным интендантом Красной армии и в связи с этим переведен в Москву из Киевского военного округа, где он ведал строительством. После того как на меня были возложены полномочия по снабжению Красной армии, я сразу же вызвал Хрулева. Это было первым нашим знакомством.

Хрулев производил приятное впечатление: среднего роста, коренастый, неполный, с легкой улыбкой на лице, немногоречивый, точно отвечал на заданные вопросы. Он рассказал, что входит в курс своей новой работы, знакомится с

кадрами. Я спросил: «Какие трудности в данное время вы испытываете, нужна ли помощь?» Он ответил:

«Пока сложилось странное положение: с главными силами наших войск на Белорусском направлении связь прервана, поэтому никаких просьб и требований от них не поступает, и мы ничего для них не делаем, хотя для них заготовлено все необходимое, предусмотренное мобилизационным планом.

Текущий мобилизационный план выполняется как будто в целом нормально, но в связи с таким положением на Западном направлении, да и состоянием войск в Прибалтийских районах задерживается отгрузка на фронт продуктов. Но это не может отразиться на снабжении фронта, так как в войсках имеется их достаточный запас. Обмундирование направляется в военные округа для экипировки новобранцев, призванных в армию в связи с общей мобилизацией».

Выслушав Хрулева, я сказал ему, что хочу лично познакомиться с основными работниками Главного интендантского управления Красной армии. Сказал, что это можно сделать в его присутствии, если он хочет, а можно и без него. Сказал, что мне не хочется отнимать без особой нужды у него время, и если я буду принимать товарищей без него, то это не будет в обход его деятельности. Пообещал позвонить ему по телефону и сказать о своих соображениях или данных указаниях. Кроме того, он может подробно узнать о ходе моих встреч и бесед от своих работников. «Хочу, – добавил я, – чтобы вы меня поняли правильно, это я делаю не за вашей спиной и не в обход вас, а, наоборот, буду делать все, чтобы поддержать дисциплину и ваш авторитет в вашем учреждении». Хрулев сразу же так меня и понял. Он, видимо, в какой-то степени знал обо мне от других товарищей.

После бесед с товарищами у меня сложилось впечатление, что пока нам вроде и делать нечего в отношении тех фронтов, где шли главные бои, обстановка там совершенно не ясна. Главное, на что я обратил внимание, – это то, чтобы вновь призываемые в армию были полностью обеспечены обмундированием и обувью.

Что касается продовольственного снабжения, то в первые месяцы войны также не было каких-либо трудностей в снабжении армии и населения. Не следует забывать, что к началу войны в стране было достаточно продуктов питания. Магазины торговали свободно, по твердым ценам. Торговля на колхозных рынках также была очень развита. Этим в значительной мере и объясняется то, что, несмотря на такое неудачное для нас начало войны, мы не сразу стали вводить карточки, желая поддержать спокойствие и уверенность в народе. Начали с Москвы и

Ленинграда. Спокойно подготовили списки снабжаемого контингента, нормы снабжения и т. д. Эту работу вели нарком торговли Союза Любимов и нарком торговли РСФСР Павлов. Мы сначала ввели карточную систему в некоторых городах РСФСР, но сохранили возможность пользования без карточек ресторанами.

Однако полная потеря Украины и Белоруссии, западных районов РСФСР и Прибалтики в корне изменили источники снабжения страны продовольствием. Подавляющее число сахарных заводов оказались потерянными. Надо было в первую очередь экономно расходовать сахар. Совместно с Зотовым, Акимовым и Косыгиным был рассмотрен вопрос демонтажа и эвакуации ряда сахарных заводов в Среднюю Азию: Узбекистан, Киргизию, Южный Казахстан. Имелось в виду в создавшейся обстановке часть поливных земель в этих республиках выделить под сахарную свеклу. Необходимое количество семян мы вовремя сумели вывезти из Курской области, с Украины и из других мест.

Вместе с эвакуацией оборудования эвакуировали и руководящих работников, специалистов, квалифицированных рабочих. Было решено под сахарные заводы использовать недостаточно загруженные корпуса хлопкоочистительных заводов.

В то время заместитель наркома пищевой промышленности Н.В. Подгорный (в будущем поднятый Н.С. Хрущевым и Л.И. Брежневым на высшие государственные и партийные посты) был командирован мною в Воронежскую область для ускорения демонтажа одного из сахарных заводов, который уже находился под огнем врага. Демонтаж этого завода производился только по ночам, и он был вывезен в безопасное место. Правда, Подгорный обманул меня: он побоялся сам выехать на завод, а официально доложил, что лично руководил работой на месте. За это по моему предложению он был освобожден от должности. Я не терпел обмана больше всего. Любую ошибку я мог простить, но не обман. Должен сказать, что люди, которые со мной работали, это знали. Почти никто никогда не подводил меня так, как это сделал Подгорный.

Анализируя как-то наличие запасов обмундирования, размещение заказов на новое его изготовление, я убедился, что летнее обмундирование мы производили без больших трудностей. Предприятия по выработке тканей и кожевенных материалов были своевременно переведены на выполнение военных заказов. А вот что будет осенью и зимой?

Определили примерную потребность в зимнем обмундировании с учетом новой мобилизации в армию. Подсчитали нужное для обеспечения армии количество валенок,

шинелей, телогреек, шапок-ушанок, перчаток, варежек и минимальное количество тулупов, поскольку до войны их у нас в армии не было. Вызвали наркома легкой промышленности Лукина и наркома текстильной промышленности Акимова (я их хорошо знал, когда в качестве зампреда Совнаркома СССР ведал этими отраслями, да и в Экономсовете мы вместе работали.). Это были деловые люди, надежные работники, на которых можно было положиться. Но их наркоматы были бедными, всегда сами нуждались в помощи, особенно в вопросах материального обеспечения.

Следует иметь в виду, что война застала нас, когда мы уже имели готовый мобилизационный план. Он был составлен и окончательно утвержден за 3 или 4 месяца до нападения Германии. План казался тогда реалистичным и правильным, но стал ломаться по частям в связи с отступлением нашей армии и потерей многих городов, где находились предприятия, имевшие военные заказы или снабжавшие материалами другие фабрики или заводы. Поэтому на IV квартал 1941 г. утвердили измененный план. Это оказалось очень трудным делом. Надо было находить возможности производить необходимую продукцию на других предприятиях, не захваченных войной, следить за тем, чтобы эвакуированные предприятия с оборонными заказами в глубинных районах страны могли бы быть размещены там, где было бы возможно наиболее быстро восстановить производство.

В производстве валенок и пошиве обмундирования большую роль играли кустарно-промысловая кооперация и предприятия местной промышленности. Я эти отрасли знал хорошо, поскольку много лет в качестве зампреда СНК отвечал за их работу.

Выяснили, какие неиспользованные возможности имеются в производстве валенок, потому что план их производства мы считали недостаточным. Это особенно касалось Татарской республики, Нижегородской области, районов Поволжья, где было много рабочих, умевших изготовлять валенки. Надо было дать им шерсть, направить туда еще людей, могущих организовать работу. Это оказалось нетрудным делом. Кроме того, на армейских складах хранились валенки прошлогодней носки. Хрулев правильно предложил все эти валенки отремонтировать и передать для снабжения армии.

Производство шинелей затруднялось тем, что оно было разбросано по многим мелким старым суконным фабрикам в Тамбовской, Ульяновской и ряде других центральных областей. Причем многие предприятия находились далеко от железных дорог, в глубинке и их продукция переправлялась на гужевом

транспорте, что создавало дополнительные трудности. До распутицы и плохой погоды надо было организовать завоз туда сырья, чтобы не было перебоев в производстве. Транспортные же средства во многих случаях были мобилизованы для нужд армии. Кроме того, фабрики нуждались в помощи в деле доставки им топлива. Словом, было немало причин, по которым были перебои в их работе. И эти затруднения удалось преодолеть и наладить выпуск шинелей.

Одним из достоинств Хрулева было то, что он быстро схватывал суть дела. Он не был похож на некоторых военных, которые, выслушивая указания вышестоящего начальства, отвечали: «Есть, так точно». Он всегда, когда считал это необходимым, высказывал свое мнение и вносил свои предложения. То, что он свое мнение, нередко расходившееся с указаниями сверху, высказывал без стеснения, а нередко умел доказать свою правоту, всегда помогало избежать ошибок. И, когда в ходе обсуждения он оказывался не прав частично или полностью, не упрямствовал, так что с ним было легко работать. У нас с ним установились доверительные, товарищеские отношения.

Как-то он сказал мне о беспокоившей его плохой организации службы тыла Красной армии и предложил по-новому организовать это дело. У него созрела мысль создать Управление тыла Красной армии, подчиненное не Генштабу, как раньше, а Наркомату обороны. Эта идея мне понравилась, и в беседе со Сталиным я рассказал об этих соображениях Хрулева. Сталин сразу сообразил, что предложение правильное. Он даже усилил постановку вопроса, предложив, чтобы предусмотренные управления тыла на фронтах возглавлялись бы видными полководцами. Сталин также предложил, чтобы начальник Управления тыла Красной армии одновременно был бы заместителем наркома обороны, а внутри Наркомата обороны был бы независим. Так и было сделано.

После 36 дней войны, показавших непригодность предвоенной структуры тыла, ГКО 28 июля 1941 г. принял постановление о реорганизации системы управления тылом и создании новой структуры тыла сверху донизу. Приказом Сталина как наркома обороны от 1 августа 1941 г. было образовано Главное управление тыла Красной армии. В него входили: штаб начальника тыла, Управление военных сообщений, Автодорожное управление, Главное интендантское управление, Управление снабжения горючим, Военно-санитарное управление и Ветеринарное управление.

Начальником тыла и замнаркома обороны стал Хрулев.

Создание полноправных органов управления тыла Красной армии имело огромное значение. Стало возможным установить стройную систему снабжения войск, оперативно решать вопросы перевозок, рационально используя транспорт, организовать очередность эвакуации раненых, создавать базы и склады, распределять между фронтами районы для заготовок, обеспечить охрану тыловых районов.

Однако далеко не все военачальники, назначенные на должности начальников тылов фронтов, проявили интерес к этой работе, некоторые всячески стремились от нее избавиться.

Да и не все наши полководцы ладили с тыловиками. Это и понятно, потому что потребности фронта долгое время не могли удовлетворяться сполна. Был случай, когда Антипенко, в прошлом боевой генерал, пришел ко мне в крайне возбужденном состоянии. «Отпустите меня на фронт, Анастас Иванович, не могу больше работать в тылу». – «В чем дело? – спросил я. – Разве вы не понимаете, какую важную роль играете именно здесь и именно для фронта?» Оказалось, ему позвонил маршал Жуков, требуя артиллерийские снаряды сверх отведенной его фронту квоты. В ходе спора Жуков вспылил и обозвал Антипенко «тыловой крысой». Тогда я позвонил Жукову по ВЧ и очень строго сказал: «Товарищ Жуков, вы должны знать, что распределение артбоеприпасов по фронтам утверждаю я в качестве члена ГКО. Если вы чем-то недовольны, можете звонить мне. А звонить моим подчиненным, чтобы оскорблять их, вы не имеете права. Надеюсь, это больше не повторится». Жуков ответил, что он, конечно, погорячился, причиной чему была острая потребность его артиллерии в дополнительном боезапасе, но что в будущем учтет это мое замечание.

Для проведения в жизнь реорганизации органов тыла Красной армии надо было более детально разобраться с положением на местах. Дело в том, что тылы у нас были очень громоздкие, в них была занята значительная часть личного состава Красной армии. Так, по состоянию на 1 сентября 1941 г. в тыловых частях было 2 633 424 человека. В этой связи представляет интерес письмо старшего политрука 37-го стрелкового корпуса Соболя на имя Сталина. Оно было передано мне из секретариата Сталина Поскребышевым и сохранилось в моем архиве.

В качестве примера приведу только один эпизод из письма: «Корпусной ветлазарет имеет штат до 200 человек, а армейский до 300. За время войны, то есть за 50 дней, армейский ветлазарет оперировал трех лошадей и тех пристрелил». Он приводил и другие примеры вопиющего характера. Заканчивал он письмо так:

«Единственно, что нужно, – разгрузить тыл и всех людей бросить на фронт».

Для того чтобы разобраться с численностью тыловых подразделений, по предложению Сталина в начале августа 1941 г. состоялось решение ГКО об образовании комиссии по вопросу Наркомата обороны. Председателем комиссии назначили меня. В нее вошли: Шапошников, Хрулев, Щаденко, Косыгин, Мехлис, Маленков.

Вопросы, рассматриваемые комиссией, были сложными в первую очередь потому, что в условиях военного времени трудно было даже собрать необходимые данные, и поэтому не все поручения комиссии выполнялись своевременно. В связи с этим принимались срочные меры и давалась точно определенная отсрочка.

Помимо этих постоянных обязанностей на меня возлагались эпизодические, временные поручения, и каждый раз по предложению Сталина. В первые месяцы войны создавались различные комитеты и комиссии, которые, выполнив временные, но актуальные и срочные задачи, прекращали свое существование. Так, через два дня после начала войны, когда стала несомненной реальность захвата противником ряда наших городов, был образован Совет по эвакуации под председательством Кагановича, где по предложению Сталина я стал первым заместителем для теснейшей связи совета с политбюро узкого состава.

В октябре 1941 г., помимо Совета по эвакуации, был дополнительно создан Комитет по эвакуации в глубь страны продовольствия, запасов мануфактуры, текстильного оборудования, сырья и пр. Мне поручили возглавить этот комитет. Обстановка с эвакуацией обострялась с каждым часом. Надо было принимать экстренные, но обоснованные решения – какие предприятия вывозить в первую очередь, откуда, какими путями и куда их направлять.

В феврале 1942 г. был создан Транспортный комитет, который формально возглавил сам Сталин. В числе членов был и я. Летом 1942 г. в связи с поражением под Харьковом и новым отступлением была создана новая Комиссия по эвакуации при ГКО, куда включили и меня. Ею руководил Шверник.

К середине декабря 1941 г. резко обострилось положение на железнодорожном транспорте и был экстренно создан новый Комитет по разгрузке транзитных и других грузов, застрявших на железных дорогах, в котором я стал председателем. В него входили Вознесенский, Косыгин, Хрулев. Работали мы в тесном контакте с Наркоматом путей сообщения, возглавляемым

Кагановичем. При наличии огромного количества груженых вагонов на дорогах не хватало порожняка для отправки новых грузов. Причина состояла, кроме прочего, в том, что необычно большое количество эшелонов с эвакуируемым оборудованием и другими материалами застряли в тупиках, на разъездах, перевалочных базах. НКПС не был в состоянии разрубить этот сложный узел, так как многие наркоматы не торопились разгружать вагоны с прибывшим оборудованием и материалами ввиду неподготовленности производственных площадей и отсутствия складов и превратили эти эшелоны в склады на колесах. Образованный Комитет по разгрузке, решения которого были обязательны для всех наркоматов, должен был в оперативном порядке решить вопросы о разгрузке и продвижении застрявших грузов. Каждый из нас, членов комитета, имея в своем распоряжении данные из НКПС о наличии грузов на дорогах и их принадлежности, готовил конкретные предложения для решения вопросов без какого бы то ни было промедления. Из данных переписки НКПС стало ясно, что особого вмешательства комитета в первую очередь требуют Северная, Горьковская, Рязано-Уральская, Сталинградская, Пензенская, Ярославская, Юго-Восточная и Ленинская железные дороги.

Кроме того, было много транзитных эшелонов с углем, нефтью, мазутом, застрявших на дорогах, так как железные дороги не могли пропустить их к адресатам. Были и такие топливные маршруты, адресаты которых уже эвакуировались в другие места. В таких случаях принимались решения разгружать уголь на ближайшие к железным дорогам заводы, электростанции и на склады железных дорог, а освободившиеся вагоны направлялись под погрузку добываемого угля.

1 января 1942 г. в связи с жалобой наркома черной металлургии Тевосяна комитет поручил замнаркома путей сообщения Дубровину срочно рассмотреть вопрос о продвижении вагонов с углем, особенно коксующимся, на предприятия Наркомчермета.

Комитет рассматривал и принимал решения и по другим конкретным случаям скопления вагонов. Так, 1 января 1942 г. нарком танковой промышленности Малышев обязывался в 2-дневный срок обеспечить разгрузку 312 вагонов с оборудованием Кировского завода из Ленинграда, простаивавших на станции Челябинск с 11 декабря 1941 г. Наркомсредмаш Коган обязывался в 3-дневный срок обеспечить разгрузку оборудования автозавода им. Сталина из Москвы, прибывшего на станции Челябинск и Шадринск. Наркомцветмет Ломако обязывался принять меры к разгрузке вагонов с оборудованием алюминиевых заводов,

простаивавших на Южно-Уральской железной дороге. Каждое распоряжение предусматривало отчет перед комитетом строго в назначенный день. В решениях комитета предусматривалось привлечение к работе по разгрузке местного населения, максимальное использование всех погрузочно-разгрузочных механизмов, независимо от ведомственной принадлежности. НКПС был обязан ежедневно докладывать Комитету по разгрузке сведения по каждому промышленному наркомату и по каждой железной дороге. Имелись, конечно, и застрявшие грузы военного назначения, что вызывалось быстрыми изменениями обстановки на фронте. С этой задачей успешно справлялся член комитета Хрулев.

Комитет принял решение восстановить Переселенческое управление при Совнаркоме СССР, возложив на него функции трудоустройства эвакуированного населения.

Менее чем за месяц нам удалось разрядить нетерпимую обстановку на железных дорогах, после чего комитет прекратил свое существование.

Глава 33
Переговоры с США и Великобританией о военных поставках и кредите

В деле снабжения Красной армии известную роль сыграли поставки наших союзников. В первый же день войны, 22 июня 1941 г., английский премьер-министр Черчилль заявил по радио: «Мы окажем русскому народу и России любую помощь, какую только сможем». 24 июня 1941 г. президент США Рузвельт также объявил о предоставлении Советской России всей возможной помощи.

27 июня 1941 г. в Москву возвратился из Англии ее посол в СССР Стаффорд Криппс. Вместе с ним прибыли военная миссия во главе с генерал-лейтенантом Макфарланом и экономическая миссия во главе с Лоуренсом Кэдбюри. В беседе с Молотовым Криппс сказал, что экономическая делегация должна установить контакт с Микояном и что работать эта делегация будет непосредственно под его, Криппса, руководством. 10 июля 1941 г. Криппса принял Сталин, и через два дня Молотовым и Криппсом было подписано Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии.

Вести экономические переговоры с Криппсом и Кэдбюри поручили мне. Криппс был лет на шесть старше меня, имел большой опыт ведения переговоров, обладал твердым характером. Он настойчиво старался проводить свою линию, всеми силами пытаясь навязать мне свое мнение. Поскольку я не уступал его давлению, переговоры по вопросу предоставления нам кредита имели очень острый характер, были трудными и длительными. Дело дошло до того, что Криппс, видя, что я не собираюсь поддаваться его нажиму и последовательно настаиваю на условиях получения кредита, выгодных нам, хотел разрешить возникшие затруднения со Сталиным. Сталин Криппса не принял, поручив это Молотову, который отказался вмешиваться в наши дела. Криппсу пришлось продолжить переговоры со мной, и 16 августа 1941 г. мы с ним все же подписали кредитное соглашение. Это далось нелегко.

Те суровые дни не могли не наложить отпечатка и на характер этих бесед. Все они проходили в исключительно деловой обстановке, носили жесткий и конкретный характер.

Стоит заметить, что после возвращения из Москвы Криппс сделал головокружительную карьеру. Черчилль ввел его в состав коалиционного военного кабинета в качестве лорда– хранителя печати. Он стал лидером палаты общин. После победы лейбористов на парламентских выборах в 1945 г. Криппс вошел в состав правительства Эттли, получив сначала портфель министра торговли, затем – экономики, после чего – министра финансов.

Второй мой партнер по переговорам, Лоуренс Кэдбюри, к моменту переговоров являлся крупным фабрикантом в шоколадной промышленности. (Будучи в Москве, он побывал на кондитерских фабриках «Большевик» и «Красный Октябрь».) Занимал, как уже указывалось выше, пост одного из директоров Банка Англии, состоял в партии либералов, был директором и председателем правлений издательств и известных газет «Дейли ньюс», «Ньюс кроникл».

Главным вопросом стала оплата английских поставок в кредит. 20 июля Криппс посетил меня и передал ответ британского правительства, который был изложен в виде меморандума. Он предложил своему переводчику зачитать лишь первые три пункта как основные. Это привело к осложнению переговоров.

Мое исходное предложение предусматривало кредит на 100 % поставок, хотя я знал, что англичане не примут этой цифры. Я снизил цифру до 2/3. Но и это их не устроило. Нам был предложен кредит на 60 % поставок с оплатой остальных 40 % наличными, вырученными от продажи советских товаров, которые будут поставляться в Великобритании, что я принял. Я согласился также пока ограничить кредит суммой 10 млн фунтов стерлингов, с тем чтобы впоследствии рассмотреть вопрос о его увеличении. Величину процента на кредит советская сторона предложила ограничить 3 % (английское предложение исходило из 3,5 %). Касаясь срока погашения, я заявил, что советская сторона предлагает начать платежи не через год, а через три года, то есть в конце 1944 г., и производить их равными долями в течение пяти лет.

Кэдбюри обещал передать предложение в Лондон. Договорились, что тем временем советская сторона подготовит проект соглашения о кредите и клиринге. Затем были обсуждены отдельные статьи проекта соглашения. Кэдбюри заявил, что, как это понимает британская сторона, кредит предоставляется на 60 % разницы между взаимными поставками. Я ответил, что наша договоренность с Криппсом предусматривает кредит для оплаты 60 % всех британских поставок.

Кэдбюри возразил, что в документе, зачитанном

переводчиком Криппса 20 июля 1941 г., в той части, где излагаются подробные условия расчетов, говорится о кредите на 60 % от сальдо по взаимным поставкам. Я ответил, что была зачитана первая, основная часть документа, и теперь оказывается, что она находится в явном противоречии со второй частью.

11 июля пришел ответ из Лондона – это был полный отказ. Даже сам Кэдбюри чувствовал как бы неловкость, передавая его. Он добавил, что может вновь поставить вопрос перед Лондоном, однако, чтобы его усилия увенчались успехом, он должен на этот раз выставить какой-нибудь убедительный аргумент. Ему, например, помогли бы сведения о золотых, долларовых и стерлинговых резервах СССР. «Ведь британское правительство отклонило проект, учитывая, что, по имеющимся у него данным, СССР располагает большими золотыми резервами», – сказал он.

Мне стало ясно, что английская сторона ведет некую шахматную партию, рассчитывая использовать критическое положение нашей страны в тот период и нашу острую нужду в британских поставках в своих интересах. Но я вовсе не собирался говорить тоном просителя, находящегося в безвыходной ситуации. Ответил, что в основном для осуществления поставок в СССР британской стороне не потребуются золото или доллары, так как необходимые нам каучук, олово, джут, алмазы производятся в Британской империи. «Что касается сведений о золотых и прочих валютных запасах, – заявил я, – то я ими не располагаю, ибо этот вопрос находится в компетенции Наркомфина, а не Наркомвнешторга (хотя я, конечно, прекрасно знал этот вопрос). Но ту часть поставок, которая не покроется кредитом, мы согласны оплатить, в том числе и золотом», – добавил я.

Когда мы начали обсуждать спорные вопросы с Криппсом, я заметил, что если принять за основу принцип, выдвигаемый британской стороной, то получилось бы, что советская сторона уплачивала бы наличными больше чем 40 %. К примеру, если британская сторона поставит товаров на 10 млн фунтов стерлингов, а советская сторона – на 3 млн фунтов, то, исходя из схемы Криппса, после подведения клирингового сальдо советской стороне пришлось бы оплатить наличными не 40 % (4 млн фунтов), а 58 % (5,8 млн), и кредит составил бы лишь 42 % вместо согласованных 60 %.

В ходе наших переговоров британский посол неоднократно прибегал к прямым угрозам. Я же учитывал, что грубость этого нажима никак не вязалась с заявлениями Черчилля об оказании Англией помощи Советскому Союзу в войне против гитлеровской Германии. В конце концов, наша война стала ведь и частью

«битвы за Англию». Это обстоятельство, полагал я, должно было доставлять определенное беспокойство самому Криппсу (как потом оказалось, так оно и было). Тем не менее в тот момент Криппс решил привести в исполнение одну из своих угроз – обратиться к Сталину с жалобой на неуступчивость наркома Микояна. 9 августа в Наркоминделе был получен следующий документ:

«Британское посольство
Москва
9 августа 1941 г.
Дорогой г-н Молотов!

К этому письму я прилагаю меморандум по вопросу об экономических переговорах. Я просил бы Вас быть столь любезным, чтобы представить этот меморандум на рассмотрение Председателя Совета народных комиссаров. Как только Председатель сможет прочитать меморандум, я желал бы, чтобы вопрос был обсужден Председателем со мной. Я надеюсь, что таким образом мы сможем прийти к решению проблемы.

Весьма искренне Ваш

Р. Стаффорд Криппс».

Обсудив вопрос со мной, Сталин решил не принимать Криппса. 12 августа я направил Сталину и Молотову проект нашего ответного меморандума. В моем проекте был пункт о том, что за счет выручки от продажи советских товаров будет производиться также оплата по советским обязательствам, возникшим до советско-германской войны, в частности, СССР будет выплачивать проценты и погашать кредит 1936 г. Это было нам очень выгодно – и в той же мере невыгодно англичанам. Сталин был очень этим доволен. Это свело на нет весь эффект стараний посла С. Криппса.

12 августа Криппс был принят Молотовым, который заявил, что Сталин очень занят и просил его, Молотова, рассмотреть вопросы, поднятые послом. В ходе беседы Молотов подтвердил, что НКВТ имеет право покрывать свою задолженность по старым кредитам за счет поставок в Англию. Криппс заметил, что впервые при переговорах о новом кредите перед ним затрагивается вопрос о старых кредитах. Однако далее ему ничего не оставалось, как заявить, что ему предстоит лишь договориться с Микояном о деталях этого соглашения.

14 августа 1941 г. я представил в ЦК ВКП(б) проект соглашения с Англией о взаимных поставках товаров, кредите и

клиринге. В препровождающем письме отмечал, в чем суть расхождений, и предлагал запасные ходы на случай неразрешимых разногласий с англичанами.

Основные разногласия по кредиту состояли в следующем.

По нашему проекту – срок пять лет, начало платежей – через три года, конец – через семь лет.

По английскому проекту – срок четыре года, начало платежей – через год, конец – через семь лет.

Стоимость кредита по нашему проекту – 3 %, по английскому – 3,5 %.

В тот же день состоялась новая беседа с Криппсом. Я сообщил, что советское правительство согласилось с предложенным британской стороной принципом расчета кредита в 60 % от клирингового остатка. Я обратил внимание Криппса на то, что пункт «б» статьи 5 предусматривает погашение через клиринговый расчет советских обязательств, возникших до заключения настоящего соглашения, включая кредитное соглашение 1936 г.

После ряда согласований 16 августа мы с Криппсом подписали кредитное соглашение. Вскоре было подписано и соглашение между Госбанком СССР и Банком Англии, которое регулировало все технические вопросы банковских операций, связанных с кредитным соглашением.

Как же рассудила позиции сторон в этом споре сама жизнь? В частности, чьи доводы были искусственными или чисто логическими, а чьи учитывали реальные политико-экономические факторы?

Соглашением от 16 августа 1941 г. сумма кредита была установлена в 10 млн фунтов. В июне 1942 г. она была увеличена на 25 млн фунтов, а в феврале 1944 г. еще на 25 млн фунтов. Всего к концу войны в Европе сумма кредита составила 60 млн фунтов.

16 апреля 1946 г. в английской Палате общин премьер-министром Эттли были обнародованы данные о поставках Великобритании Советскому Союзу за период с 1 октября 1941 г. по 31 марта 1946 г. Стоимость военных поставок составила 308 млн фунтов, гражданских поставок – 120 млн фунтов. Эттли пояснил, что приведенные данные относятся к тому, что было реально доставлено, без учета потерь в пути[15].

Относительно гражданских поставок премьер-министр указал, что они производились на основе соглашения от 16 августа 1941 г., по которому «советское правительство уплачивало 40 % стоимости золотом или долларами и остальные 60 % за счет кредита, предоставленного Правительством Его

Величества». Как видно из этого заявления, британское правительство само не имело в виду ту схему, ради которой Криппс так ожесточенно ломал копья в ходе переговоров, а, наоборот, пришло к схеме, на которой настаивал я. Ход войны, основная тяжесть которой лежала на плечах Советского Союза, кровная заинтересованность Англии в успехах советского оружия в борьбе против общего врага – все это толкнуло британское правительство к признанию нашей правоты. Правда, чисто формально платежи исчислялись по схеме соответственно 40 % и 60 % от клирингового сальдо. По существу же, вся выручка от советского экспорта пошла на погашение кредита 1936 г. и лишь 0,5 млн фунтов на частичную оплату разницы между другими платежами сторон, не имевшими прямого отношения к британским поставкам.

На 29 сентября – 1 октября 1941 г. намечалась Московская конференция трех держав. 30 июля 1941 г. Сталин впервые принял личного представителя президента США Рузвельта – Гарри Гопкинса, которого сопровождал посол США Штейнгарт. В беседе принял участие Молотов как нарком иностранных дел.

Бывший государственный секретарь США Эдуард Р. Стеттениус пишет о Гарри Гопкинсе: «Это прямой, смелый и откровенный человек. Когда он приехал в Москву, то откровенно заявил, что американские сенаторы, американские конгрессмены не особенно склонны на большую помощь Советскому Союзу, потому что они не верят в то, что Советский Союз оправится от такого удара, который нанесли немцы Советской армии в первоначальный период войны, но Рузвельт и его близкое окружение, поддерживая настроения простого американского народа, решили оказать помощь Советскому Союзу; с этой целью я и прилетел сюда к вам, чтобы договориться о том, в чем вы нуждаетесь, главным образом в военном снаряжении».

15 августа 1941 г. Сталин принял посла Америки Штейнгарта и посла Англии Криппса, которые передали ему личное послание Черчилля и Рузвельта, составленное ими во время их встречи в бухте Арджентия на Атлантическом океане. В послании, в частности, говорилось: «Мы воспользовались случаем, который представился при обсуждении отчета г-на Гарри Гопкинса по его возвращении из Москвы, для того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране в том великом отпоре, который Вы оказываете нацистскому нападению. Для того чтобы мы все смогли принять быстрые решения по вопросу о распределении наших общих ресурсов, мы предлагаем подготовить совещание в Москве, на которое мы послали бы высокопоставленных представителей,

которые могли бы обсудить эти вопросы непосредственно с Вами».

Сталин заявил, что он приветствует предложение о созыве в Москве совещания представителей трех стран для распределения сырья и вооружения.

Началась подготовка к этому совещанию. Надо было определить, какие поставки и в какие сроки будут производиться из США и какие из Великобритании. 20 сентября 1941 г. я направил в ЦК ВКП(б) проекты писем председателя делегации СССР на Московской конференции председателям делегаций США и Англии. К письмам прилагались списки предметов вооружения, материалов и оборудования, поставку которых в Советский Союз из США и Англии мы считали необходимой в 1941 г. и в первом полугодии 1942 г. Списки включали 69 позиций до конца июня 1942 г., в том числе самолеты, танки, зенитные пушки, противотанковые ружья, алюминий, олово, свинец, сталь, станки, фосфор, армейские ботинки и сукно, пшеницу, сахар и т. д.

В записке указывалось, что список «включает все, о чем было решено», и одновременно обращалось внимание на то, что: вопрос по морскому флоту необходимо рассмотреть вместе с Кузнецовым, у которого есть своя заявка; вопрос о полевых радиостанциях надо рассмотреть с Пересыпкиным, который представил недостаточно конкретные предложения; по вопросу средств химической защиты войск Первухин представил заявку Молотову; поскольку в артиллерийских тягачах имеется большая нужда, хорошо бы их включить в список с поставкой в количестве 1000–1500 штук в месяц.

В то время мы считали, что после лошадиной тяги артиллерия переходит на механическую тягу и тягачи для этого подходят. Но скоро мы убедились в том, что наиболее хорошо отвечает требованиям войны артиллерия, перевозимая грузовиками, особенно «Студебекерами». Эти машины имели отличную проходимость, могли быстро перебазировать даже тяжелые орудия, запас боекомплекта и орудийный расчет. Поэтому впоследствии от получения тягачей мы отказались и не заказывали их.

Гитлеровцы готовили наступление на Москву.

В связи с этим обострились разногласия внутри правящих кругов Англии и Америки в отношении СССР. 28 сентября 1941 г. в Москву прибыли для участия в конференции английская делегация во главе с лордом Бивербруком и американская – во главе с Гарриманом. В тот же день Сталин принял их. В беседе принимали участие Молотов и Литвинов.

Советскую делегацию на конференции возглавлял Молотов. В

нее входили: Ворошилов, Голиков (зам. начальника Генштаба Красной армии), Кузнецов (нарком Военно-морского флота), Литвинов (депутат Верховного Совета СССР, много лет работавший наркомом иностранных дел), Малышев (зампред СНК СССР и нарком среднего машиностроения), Шахурин (нарком авиапромышленности), Яковлев (начальник Главного артиллерийского управления НКО) и я как зампред СНК СССР и нарком внешней торговли.

На открытии был утвержден порядок работы конференции и образовано 6 комиссий: авиационная, армейская, военно-морская, транспортная, медицинского снабжения и комиссия сырья и оборудования. В эту последнюю от СССР вошел я, от Англии – Добби-Бетман (главный помощник секретаря в министерстве снабжения), от США – Батт. Комиссии немедленно приступили к своей работе. В нашем распоряжении было всего два дня: 29 и 30 сентября. 1 октября предусматривалось заключительное заседание конференции.

Комиссия по сырью и оборудованию провела заседание 29 сентября и два заседания на следующий день. В них с советской стороны помимо меня участвовали Сергеев, Рыбак, Еремин, Борисенко, Шевелев, мой помощник Смоляниченко.

Надо сразу сказать о том, что работа комиссии протекала не без осложнений. Как в США, так и в Англии были деятели, выступавшие против предоставления нам какой-либо помощи. Некоторые из них до конца остались на этой точке зрения.

В связи с этим приведу слова Батта (с которым мне пришлось немало поспорить в комиссии), сказанные им в выступлении по американскому радио 2 ноября 1941 г. после возвращения из Москвы: «Пять недель тому назад президент поручил мне посетить Москву вместе с англо-американской миссией для совещания с русскими по вопросу оказания помощи Советскому Союзу. Я хочу признаться, что в то время я не был твердо уверен в целесообразности передачи России значительного количества материалов и оборудования, в которых мы нуждаемся в США. Как и многие другие американцы, я полагал, что русские являются хорошими сельскохозяйственными работниками, но плохими техниками. Казалось, что если мы отправим ценные станки и оборудование людям, которые не знают, каким образом их правильно использовать, то это будет равносильно тому, что мы их бросаем на ветер. Мне было известно также, что, по мнению многих военных экспертов, русское сопротивление измеряется днями. Я знал также, что многие американцы воздерживаются от оказания помощи России потому, что им не нравится советская форма государства. Мы возвратились в США с твердым

убеждением, что русские в области механики изворотливые, способные, технически обученные». В заключение Батт призвал к увеличению и ускорению производства вооружений в США для удовлетворения потребностей Советского Союза.

На заседании 29 сентября 1941 г. я заявил, что для нас совершенно необходим алюминий, так как в связи с эвакуацией Днепропетровского завода, производившего 150 т алюминия в сутки, и небольших заводов на реке Волхов и в Кандалакше на Кольском полуострове мы по существу остались без алюминия. Потребность же наша в нем составляла 4000 т в месяц и, кроме того, ежемесячно требовалось 500 т дюралюминия.

В ответ Батт сказал, что «к осени 1942 г. предполагается производство алюминия в США довести до 1400 млн фунтов, а потребность военной промышленности к этому времени будет 1200 млн фунтов, то есть к этому времени США будут в состоянии иметь экспортный излишек. Однако это не решает вопроса о немедленной помощи СССР в ближайшие месяцы».

Тогда мне пришлось напомнить, что основным вопросом является обеспечение поставок именно в ближайшие месяцы, то есть с октября 1941 г. до июня 1942 г. «Нас интересует, – сказал я, – какие поставки в СССР будут в этот период сверх 5000 т, отгруженных из Англии в сентябре, и 500 т дюралюминиевого проката из США». Бетман заявил, что «Великобритания производит незначительное количество алюминия и основную часть своей потребности в нем импортирует, причем на авиационную промышленность идет около 95 % всех ресурсов алюминия. Так что дальнейшее увеличение поставок алюминия из Соединенного Королевства в СССР может иметь место лишь за счет уменьшения поставок самолетов».

На этом же заседании мы обменялись мнениями по вопросу поставок в Советский Союз олова, свинца, молибденового концентрата, кобальта, магниевых сплавов, никеля, меди и другого необходимого нам промышленного сырья. Когда обсуждался вопрос о поставках никеля, наша потребность в котором была 800 т в месяц, Батт заявил, что Америка удовлетворяет свою потребность в никеле импортом из Канады и надеется получить его из Советского Союза. На вопрос Бетмана, имеется ли у нас производство никеля, я ответил утвердительно, но подчеркнул, что в связи с военными действиями находившийся на Кольском полуострове завод мы были вынуждены эвакуировать на Урал.

При обсуждении вопроса о феррохроме Батт спросил: можно ли сейчас поднять вопрос о поставках хромовой руды из СССР в США? Я ответил утвердительно, сказав, что «это возможно и

пароходы, которые будут привозить импортные товары из США в СССР, могут обратно возвращаться с грузом хромовой руды». Говоря далее о наших потребностях в стали, я заметил, «что испрашиваемая нами на импорт сталь связана с потерями нашего производства стали в Запорожье».

По вопросу экспорта нефтепродуктов договорились устроить встречу соответствующих советских специалистов 30 сентября, в 11 часов утра. Последним на этом совещании обсуждался вопрос о поставках металлорежущих станков, наша ежемесячная потребность в которых выражалась в 1200 штук, и Амторг уже выдал заказы на 5 млн долларов на все предложения американских фирм.

На этом ввиду позднего времени и сложности затронутых вопросов я предложил заседание прервать и дальнейшую работу перенести на следующий день. Борисенко поручил разобраться с вопросами о поставке станков и доложить на следующем заседании комиссии.

30 сентября 1941 г. заседание комиссии возобновилось. Докладывая о ситуации, Борисенко заявил: «Приходится, к сожалению, сказать, что пока нашим представителям были названы неприемлемые сроки поставок, подавляющее большинство из которых падает на вторую половину 1942 г., а нам требуется поставка станков в первую очередь в 1941 г.». Встал вопрос о приоритете на станки американского производства. Американцы интересовались, для какой цели предназначаются эти станки (для производства пулеметов, винтовок или запчастей для других родов оружия). Я ответил: «Главным образом станки нам необходимы для производства снарядов. Как известно, на снаряды мы не даем импортных заявок. Кроме того, станки мы ввозили и до этого. Выставленная нами заявка на станки является минимальным требованием, и, судя по значительному объему производства станков в США, заявка является вполне осуществимой». Бетман заметил, что по получении подробных данных плановые организации в Лондоне и Вашингтоне смогут решить вопрос о распределении станков между тремя странами. Тогда я спросил: «Почему нельзя этот вопрос разрешить в Москве на настоящей конференции, которая специально созвана для этой цели?» В ответ на это Батт заметил: «Вопросы планирования могут разрешаться лишь в Вашингтоне или Лондоне».

Как видно, представители Англии и США порой не стремились к быстрому решению проблем и при первой возможности старались создать в этом ненужные трудности.

Так было и когда обсуждался вопрос о поставках нам

ежемесячно по 50 штук электрических печей. Батт сразу же заявил, что необходимы спецификации, и предложил, чтобы они «были рассмотрены в США между Амторгом и промышленниками, производящими электропечи». Когда же я в ответ на это сказал, что вопрос о возможности поставки 50 штук печей зависит от правительства, которое осуществляет контроль над производством, Батт разразился такой тирадой: «Американское правительство пишет о твердом решении оказать всяческую помощь Советскому Союзу. Это принципиальное решение правительства является решающим и более существенным, чем вопрос о поставке 50 электропечей». «Несомненно, принципиальное решение американского правительства об оказании Советскому Союзу всяческой помощи весьма важно и было принято советской стороной с большим удовлетворением, но если этим принципом или его повторением ограничить работу нашей комиссии, то ее создание не было бы целесообразным», – сказал я в ответ Батту. «Смысл этих сказанных г-ном Гарриманом слов заключается не в том, чтобы их повторять, а в том, чтобы комиссия практически разрешила вопрос о помощи Соединенных Штатов Советскому Союзу». Поставка 450 печей в течение 9 месяцев является одним из вопросов практического осуществления принципиального решения американского правительства».

Вечернее заседание комиссии началось с заявления Бетмана, начало и конец которого были не совсем обычными. Поскольку оно в какой-то мере может свидетельствовать об атмосфере, в которой проходила работа комиссии, приведу его полностью, в том виде, как оно было записано моим помощником Смоляниченко: «В начале заседания Бетман заявил, что он хочет сделать несколько общих замечаний. На предыдущем заседании он был удручен грустным выражением лица Микояна, вызванным постоянным упорством американских и британских делегатов в отношении благоразумных запросов, выставляемых советской стороной. Он сказал, что, искренне желая оказать всяческую помощь Советскому Союзу, он принимает упрек Микояна, что британская и американская стороны недостаточно конкретны в своих предложениях, однако на это он может ответить, что продуктивность взаимных усилий определяется не только тем, что делается на данном заседании комиссии, но главным образом результатами переговоров, а эти результаты могут быть значительно лучшими, если тов. Микоян будет чаще улыбаться».

А почему, собственно говоря, от меня ожидали улыбок? Враг захватывал огромные пространства нашей страны, рвался к Москве и Ленинграду, а новоявленные друзья и союзники

пытались использовать наше отчаянное, по их мнению, положение, чтобы продиктовать нам выгодные для них, но тяжелые для нас условия помощи в борьбе против общего врага. Я был огорчен успехами врага и возмущен поведением друзей, иногда выглядевшим как шантаж. Странно было ожидать, что мое лицо будет радужным или тем более веселым. Надо сказать, американцы вели себя гораздо лучше в этом отношении. Правда, возможности США превосходили британские значительно. И все же я счел это замечание насчет полезности моих улыбок для достижения договоренности неуместной шуткой.

На следующий день, 1 октября 1941 г., конференция трех держав закончила свою работу.

Согласно протоколу от 1 октября 1941 г. США и Англия обязывались в период с момента подписания протокола и до июля 1942 г. поставлять Советскому Союзу ежемесячно: 400 самолетов, 500 танков, а также алюминий, олово, свинец, некоторые виды обмундирования и т. д. Все это лишь в незначительной части удовлетворяло наши потребности.

3 октября 1941 г. я принял Гарримана и имел с ним часовую беседу. На ней с американской стороны присутствовали Батт и Браун, с советской – мой заместитель по Наркомвнешторгу Крутиков и помощник Смоляниченко. Гарриман заявил, что уже сказал Сталину о своем намерении вернуться в Штаты, чтобы на месте «способствовать практическому выполнению взятых в Москве обязательств. Сталин ответил на это согласием».

Далее Гарриман заявил, что по некоторым позициям списка советских заявок потребность Советского Союза не требует никаких дополнительных пояснений или данных, в частности о потребности в танках и самолетах. Также по алюминию в связи с потерями Советским Союзом заводов по его производству. «Что же касается станков, то здесь возможны некоторые затруднения, связанные с тем, что расширение американского производства в основном тормозится недостатком станков. Станки являются узким местом в США».

Гарриман также сказал, что «некоторые затруднения будут вызваны также вопросом предоставления тоннажа для перевозок. Кроме того, есть еще ряд других вопросов, как, например, вопрос относительно поставки алюминия, если его связать с общей программой США по производству самолетов. Этот вопрос заключается в том, предоставлять ли Советскому Союзу готовый алюминий, этим самым задерживая производство готовых самолетов, или компенсировать поставки алюминия поставками самолетов». Помимо этого, так заявил Гарриман, «есть еще один открытый вопрос – это поставка 10 000 грузовых автомобилей».

Затем Гарриман попросил меня высказаться относительно сделанного им предложения. Я сказал, что с удовольствием отмечаю тот факт, что Гарриман сразу же приступил к работе по практическому осуществлению решений комиссии. Отметил, что готов принимать его представителя Брауна, и отметил, что присутствие самого Гарримана в Москве весьма желательно и чем скорее он возвратится, тем будет лучше.

Добавил, что «наша заявка в 10 000 грузовиков в месяц даже меньше того количества грузовиков, которое требуется в связи с войной, в частности, для переброски войск, особенно если учесть тактику немцев, перебрасывающих свои войска с одного участка на другой».

По окончании работы конференции в честь ее участников в Кремле был дан обед. Представляет интерес сказанное по этому поводу Баттом в его выступлении по американскому радио, о котором я уже упоминал: «Как бы мне хотелось в достаточно полной мере описать обед, который Сталин дал в честь нашей миссии в Кремле. Самым замечательным была сама атмосфера. Это состоялось в момент, когда не более чем в ста милях от Москвы происходило одно из величайших сражений в истории человечества. И несмотря на это, мы сидели в этой огромной зале вместе со Сталиным, его офицерами и официальными представителями. Сам Сталин произвел на нас впечатление разумного, поразительно осведомленного человека. Во время обеда и в течение последовавшего вечера большое впечатление на нас произвела их твердая уверенность и полная вера в свои силы. Кругом царила атмосфера уверенности, спокойствия, решительности и непоколебимого духа».

30 октября Рузвельт в письме Сталину писал: «Все военное имущество и все виды вооружения мною одобрены, и я приказал по возможности ускорить доставку сырья… Для того чтобы устранить возможные финансовые затруднения, немедленно будут приняты меры, которые позволят осуществить поставки на сумму до 1 млрд долларов на основе закона о ленд-лизе…»

Надо сказать, что эта сумма была достаточной только для оплаты той части поставок, которые США согласились дать нам сразу после начала войны, включая заказы по июнь 1942 г. Но и это, конечно, было важно. Сталин ответил, что советское правительство выражает ему свою глубокую признательность.

Таким образом, Московская конференция трех держав 1941 г. ускорила решение вопроса о распространении на СССР закона США о ленд-лизе. Указание это было дано Рузвельтом 7 ноября 1941 г.

Глава 34
Опасные дни Москвы

Прежде всего несколько слов о налетах гитлеровцев на Москву. Как известно, первый раз гитлеровцы совершили налет на Москву в ночь с 21 на 22 июля 1941 г., через месяц после начала войны. Тогда было сбито над столицей 17 самолетов фашистов.

Я знаю всего шесть случаев, когда авиабомбы попали на территорию Кремля, где я жил и работал весь период войны.

Одна бомба попала в Кремлевский дворец, пробила все этажи, но не разорвалась. Одна упала на брусчатку около одной из церквей, разорвалась, но, кроме образовавшейся воронки, ущерба не причинила. Также не принесла ущерба, кроме воронки, бомба, разорвавшаяся в сквере напротив Оружейной палаты. Однажды, во время совещания, проводимого у меня в кабинете, на втором этаже здания правительства, окна которого выходили на Ивановскую площадь Кремля, около Царь-пушки на брусчатке площади разорвалась бомба. Особых повреждений не было. У меня в приемной часть стекол были выбиты воздушной волной. Как-то я шел в Кремле вдоль Кремлевской стены по направлению к Спасским воротам. Внезапно я и сопровождающий чекист были сбиты с ног. Упали удачно на бок и не пострадали. Оказалось, что бомба взорвалась на Красной площади, около Спасской башни, и убила двух человек.

Но попадание авиабомбы в Кремлевский арсенал было ужасным. Случилось так, что в этот раз ПВО не предупредила заблаговременно о налете. На втором этаже арсенала была столовая, в которой в момент объявления воздушной тревоги ужинали бойцы гарнизона. По сигналу «Тревога» они стали выходить из столовой и спускаться вниз по винтовой лестнице. В результате погибло 30 человек. Около ворот арсенала прикреплена доска с именами погибших бойцов. На Красной площади, поблизости от Мавзолея, также взорвалась авиабомба, но ущерба Мавзолею не причинила. Саркофага же с телом Ленина там не было. Он заблаговременно был вывезен и хранился в надежном месте.

Однажды, часов в восемь-девять вечера, я был дома в Кремле. У нас находился приехавший с фронта брат моей жены Гай Туманян. Собирались пообедать и поговорить. Вдруг раздался оглушительный взрыв. Шкаф в комнате чуть не упал. Сразу же позвонил коменданту Кремля. Он доложил, что бомба

разорвалась на Старой площади. Там было здание ЦК партии, а напротив дом, в котором размещался Минвнешторг. В это время его аппарат был эвакуирован, а в Москве оставалась оперативная группа, около 30 человек. Машина моя стояла у подъезда, и я сразу же поехал туда. Здание ЦК полыхало как факел. Пожар был невероятно сильным. Потом выяснилось, что причиной тому было наличие большого количества фанеры, покрытой лаком. Ею были облицованы стены кабинетов.

Следует сказать, что в результате взрыва этой бомбы в ЦК погиб находившийся там молодой талантливый писатель-драматург Афиногенов. Он был эвакуирован в Куйбышев, а в этот роковой для себя день приехал в Москву и пришел в ЦК.

Здание Минвнешторга не пострадало. Когда я был на площади и смотрел на пожар, кругом стоял невероятный грохот – стреляли зенитки всех калибров, по ночному небу шныряли лучи прожекторов, перекрещиваясь друг с другом, они выхватывали из темноты силуэты фашистских самолетов, которые еще продолжали летать над Москвой. В подвальном этаже здания Наркомвнешторга я заблаговременно дал указание организовать бомбоубежище, но сам в нем никогда не бывал. Поэтому, воспользовавшись случаем, решил посмотреть, как его оборудовали и как в нем чувствуют себя мои сотрудники. Оказалось, что, кроме деревянных скамеек и двухъярусных лежаков наподобие нар, там ничего не было. Ни минеральной воды, ни чая. Словом, никаких, даже самых минимальных удобств. Рассердившись, я дал указание в суточный срок оборудовать убежище так, чтобы в нем можно было и отдохнуть, и поработать во время бомбежки.

Сам я во время бомбежек всегда оставался в рабочем кабинете и продолжал заниматься делами. Со мной оставался один из помощников, Барабанов или Смоляниченко, и прикрепленный для охраны чекист Селезнев. Оба работали со мной много лет (Александр Барабанов – почти 40 лет). Всех остальных я отправлял на время бомбежки в убежище. Во время бомбежки стекла в моем кабинете дрожали, но не разбились ни разу.

К концу сентября 1941 г. положение советских войск на центральном стратегическом направлении резко ухудшилось.

Осенью 1941 г. положение на фронте стало особенно тяжелым. Отступая, наши войска, ослабевшие, измученные в боях, встали недалеко от Москвы, в ее окрестностях. В это время на марше из Сибири и с Урала было много хорошо оснащенных и обученных дивизий, укомплектованных полностью. Но по

графику движения первые эшелоны с этими войсками могли прибыть только через несколько дней, а вся масса войск – через месяц. Никаких других резервов у командования под Москвой фактически не было. Мы также не знали, есть ли такие резервы у фашистов и как близко они находятся от линии фронта. Если близко, то они имели шанс ворваться в Москву. Вопрос по существу решался тем, кому раньше удастся подбросить резервы. Так решалась судьба Москвы.

Этот вопрос подвергся конкретному обсуждению 16 октября утром. Обычно мы работали до 5–6 часов утра. С точки зрения военного времени это было удобно, потому что к вечеру собирались все сведения от командующих фронтами и штаба. На работу мы приходили часов в десять утра. Сталин приходил немного позже, около 12.

16 октября, утром, вдруг будит меня охрана (семья – кроме двух старших сыновей – была на даче, от которой немецкие мотоциклисты были замечены в 25–30 км) и сообщает, что Сталин просит зайти к нему в кабинет. Тогда в его кабинете собирались и члены ГКО и политбюро. В восемь меня разбудили, а в 9 часов утра нужно было быть у Сталина. Все вызванные Сталиным уже собрались: Молотов, Маленков, Вознесенский, Щербаков, Каганович. Сталин был не очень взволнован, коротко изложил обстановку. Сказал, что до подхода наших войск немцы могут раньше подбросить свои резервы и прорвать фронт под Москвой. Он предложил срочно, сегодня же эвакуировать правительство и важнейшие учреждения, выдающихся политических и государственных деятелей, которые были в Москве, а также подготовить город на случай вторжения немцев. Необходимо назначить надежных людей, которые могли бы подложить взрывчатку под важнейшее оборудование машиностроительных заводов и других предприятий, чтобы его не мог использовать противник в случае занятия Москвы для производства боеприпасов. Кроме того, он предложил командующему Московским военным округом генералу Артемьеву подготовить план обороны города, имея в виду удержать если не весь город, то хотя бы часть его до подхода основных резервов. Когда подойдут войска из Сибири, будет организован прорыв, и немцев вышибут из Москвы.

Сталин сказал, что правительство и иностранные посольства надо эвакуировать в Куйбышев, а наркоматы – в другие города. Он предложил Молотову и мне вызвать немедленно всех наркомов, объяснить им, что немедленно, в течение суток необходимо организовать эвакуацию всех наркоматов.

Мы согласились с предложением Сталина. Обстановка

требовала немедленно принять меры. Только, видимо, надо было это делать раньше и спокойнее, но мы не могли всего предвидеть. Тут же я вышел в комнату Поскребышева и позвонил управляющему делами Совнаркома СССР, чтобы тот вызвал всех наркомов. По нашим расчетам, через 15 минут они должны были уже быть.

Сталин предложил всем членам политбюро и ГКО выехать сегодня же. «Я выеду завтра утром», – сказал он. Я не утерпел и по своей вспыльчивости спросил: «Почему, если ты можешь ехать завтра, мы должны ехать сегодня? Мы тоже можем поехать завтра. А, например, Щербаков (секретарь МК партии) и Берия (НКВД) вообще должны организовать подпольное сопротивление и только после этого покинуть город». И добавил твердо: «Я остаюсь и завтра поеду вместе с тобой». Другие молчали. Вообще, постановка этого вопроса была так неожиданна, что не вызвала никаких других мнений.

Сталин не возражал против такого частичного изменения плана и перешел к решению конкретных задач подготовки города на случай прорыва немцев, уточнению, какие заводы следует заминировать (автомобильный, по производству боеприпасов и др.).

В тот же день, 16 октября 1941 г., было принято постановление ГКО, предусматривающее начать немедленную эвакуацию из столицы, а в случае появления в городе фашистских танков взорвать важнейшие объекты, за исключением метрополитена, водопровода и канализации.

Была образована комиссия по спецмероприятиям в составе: Серов (заместитель Берия в НКВД), Попов (председатель Мосгорисполкома), Черноусов (председатель Президиума Верховного Совета РСФСР). В районах города были образованы тройки, отвечающие за проведение спецмероприятий. Первоначально предусматривалось вывести из строя путем взрыва или механической порчи 1119 предприятий, из них 412 оборонного значения, но уже 20 октября этот список был сокращен до 335 предприятий.

Мы с Молотовым встретились с наркомами, объяснили положение. Наркомы были буквально ошарашены самим фактом эвакуации, которая должна осуществляться за один день. Тевосян, нарком черной металлургии, сгоряча заявил, что эвакуироваться не будет. Он, видимо, не допускал даже мысли, что мы можем потерять Москву, и был убежден, что эвакуироваться не надо. Ему казалось неправильным, что все правительство уезжает. Я остановил его, сказав, что ему не все видно и не ему этот вопрос решать. «Лучше бы подумал, как хорошо организовать выезд из

Москвы своего наркомата», – заявил я. Быстро составили четкий план действий, где старались все предусмотреть.

Генштаб и Наркомат обороны по предложению Сталина эвакуировались в Арзамас. Продумали вопрос о том, чтобы быстро на местах всех разместить и начать работать. Кагановичу поручили обеспечить подвижным составом эвакуацию.

Кроме того, было решено, чтобы успокоить население, выдать на заводах 2-недельный заработок.

Запомнился такой разговор с Кагановичем. Когда мы вместе с ним спускались в лифте, он сказал мне такую фразу, которая меня просто огорошила: «Слушай, когда будете ночью уезжать, то, пожалуйста, скажите мне, чтобы я не застрял здесь». Я ответил: «О чем ты говоришь? Я же сказал, что ночью я не уеду, мы поедем со Сталиным завтра, а ты уедешь со своим наркоматом».

Через несколько часов я зашел к Сталину в кабинет. На столе лежала рельефная карта западной части Москвы, до Бородинского моста через Москву-реку, где были обозначены первый и второй оборонительные рубежи и возможные немецкие позиции во время городских боев. Там был отмечен и водный рубеж, на котором должны быть укрепления. На подходе к Москве, на окружной железной дороге, также должны быть воздвигнуты укрепления. Генерал Котенков указкой показывал Сталину и разъяснял, как будут отходить войска, как будет организована круговая оборона Москвы, сколько времени можно будет продержаться.

Мы все время проверяли ход выполнения решения об эвакуации. Каганович составил план отъезда наркоматов. Он звонил чуть ли не каждый час и докладывал, как идет эвакуация.

Все было очень быстро организовано и шло нормально.

Было решено, что следующим утром фабрично-заводская молодежь и техникумы пешим ходом эвакуируются из Москвы на восток. Был составлен план их движения.

Кроме того, было поручено Щербакову выделить из партийных работников Москвы тех людей, которые должны в случае занятия Москвы немцами вечером перейти на нелегальное положение, установив адреса, связи, – одним словом, уйти в подполье, что и было сделано.

Несколько часов я поспал. На следующий день, около 10 утра, на машине решил заехать на автозавод, который должен был быть заминирован. Накануне вечером директор этого завода Лихачев и председатель заводского комитета Крестьянинов позвонили мне о том, что Госбанк отказывается выдать деньги для выплаты зарплаты рабочим, и просили вмешаться в это дело.

Я сразу же позвонил в Госбанк, распорядился. Мне ответили, что наличность денежных знаков уменьшается, но, конечно, решение они выполнят.

Подъезжая к заводу, увидел около заводских ворот 5–6 тыс. рабочих. Похоже, идет неорганизованный митинг. У самого входа на завод Лихачев и Крестьянинов ругаются, причем на родном «матерном» языке. Я впервые услыхал, как Лихачев разговаривает с рабочими, и спросил: что происходит, почему столько народу собралось? Лихачев объяснил, что рабочие хотят пойти в цеха работать, а он не может их пустить, так как завод заминирован. Тут рабочие узнали меня, и отовсюду посыпались вопросы: что происходит в Москве, почему правительство удрало, почему секретарь парткома завода и секретарь комитета комсомола тоже удрали? Почему никто ничего не объясняет, почему на завод не пускают?

Я выслушал спокойно, потом сказал: «Товарищи, зачем возмущаться? Война идет! Всякое может быть. Кто вам сказал, что правительство убежало из Москвы? Это – провокационные слухи, правительство не убежало. Кому надо быть в Москве, находится в Москве, Сталин в Москве, Молотов тоже, и все те люди, которым необходимо быть здесь. А уехали наркоматы, потому что им нечего в Москве делать, когда фронт подошел к стенам города. Они должны руководить промышленностью, хозяйством страны. Это удобнее делать не во фронтовом городе. Нас можно упрекнуть только в том, что этого раньше не сделали. Сейчас это делается вполне продуманно, по указанию ГКО, ЦК партии и Совнаркома, то есть так, как это положено. А вы почему шумите? – спросил я. – Вам же выдано жалованье за две недели вперед? И сегодня, хотя вы и не работаете, жалованье получили. Сейчас от вас требуется полное спокойствие, подчинение распоряжениям власти, которые вытекают из военной обстановки. Спокойствие и организованность для отпора врагу и защиты Родины. Я прошу вас разойтись по домам и не нападать на директора, потому что он не решает этого вопроса, а только выполняет указания правительства». Постепенно рабочие успокоились и стали расходиться.

Потом, когда мы зашли в цех, я стал спрашивать Лихачева, как дела на заводе. Он ответил, что у станков оставлены надежные товарищи-коммунисты. Они полностью проинструктированы, и, если получат приказ, станки будут взорваны. Я видел этих рабочих: строгие, организованные, не проявляющие никакой паники, хотя обстановка была крайне напряженная. Население города в целом вело себя спокойно, не было видно панических проявлений, все были уверены, что

фашисты не прорвутся в Москву.

Двое моих сыновей были в армии. Старший Степан еще до войны поступил в военно-воздушное училище. Он как раз его заканчивал, а другой, Владимир, бросил десятилетку и ушел в начале войны при моем одобрении в армию. Осталось трое школьников и жена.

Управление охраны передало мне, что моя семья поедет в поезде ЦИК, где ехали Калинин, Димитров (Коминтерн) и товарищи из ЦК. Там будут оставлены места для всех членов моей семьи. Поезд отправлялся в 7 часов вечера 17 октября. Около пяти часов я позвонил жене (она с детьми была уже в нашей кремлевской квартире) и сказал, чтобы она собрала ребят, через час будет машина, и они поездом поедут в Куйбышев. Она была огорчена очень: «Как, куда, зачем? Какие вещи можно взять с собой?» Я ответил, что сейчас не время рассуждать, надо немедленно собираться, что нужно взять носильные вещи для детей и для себя, притом поменьше. Она все сделала. У меня и мысль в голову не пришла, чтобы их проводить. Каждая минута была дорога для работы. Потом жена рассказывала, как они ехали в этом поезде, видели Калинина, Димитрова и других.

Хрулев часто мне звонил, а услышав от кого-то, что будто бы я уезжаю, зашел ко мне. Я успокоил его, сказав, что, пока Сталин здесь, я не уеду. Он попросил разрешения тоже остаться с нами. Я подумал и решил, что он правильно говорит, потому что в случае каких-либо экстренных обращений с фронта он очень пригодится. Я сказал: «Оставайтесь, Сталину я скажу, можете сами к нему не обращаться».

Потом мы – члены политбюро – снова собрались, чтобы узнать, как идет эвакуация. Выполнялось все так, как было намечено, а главное – с фронтов не было тревожных вестей: разведка ни о каких передвижениях немецких войск под Москвой не доносила. И конечно, в этот день мы не уехали. И вообще эта мысль об отъезде узкой группы руководителей отпала. Все остальные – Андреев, Каганович, Калинин, Вознесенский – отбыли в Куйбышев.

Положение на фронтах в целом стало стабилизироваться, под Москвой тоже. Новые наши войсковые соединения из Сибири приближались к Москве, что уменьшало опасность возможного прорыва немцев.

Когда наркоматы были эвакуированы из Москвы в восточные районы страны, Совнарком переехал в Куйбышев. На Вознесенского было возложено руководство Совнаркомом в Куйбышеве. В один из приездов Вознесенского в Москву Сталин дал ему документ – по нему Вознесенский получал право решать

любые вопросы касательно деятельности наркоматов и наркомов, которые обязаны были выполнять его указания. Фактически Вознесенский выполнял функции Председателя Совнаркома в эвакуации. Он остался очень доволен этим, однако был не в состоянии подчинить себе все наркоматы, поскольку те разместились в разных городах, а связь их с Куйбышевом была плохая, и телеграфная, и железнодорожная, и воздушная. С другой стороны, эти города имели хорошую связь с Москвой. Поэтому каждый из членов ГКО давал прямые указания наркомам и рассматривал просьбы, минуя Куйбышев. Вообще отношения в тот период у Вознесенского со Сталиным были нормальные.

Сталин предложил Молотову выехать в Куйбышев, побыть там некоторое время, посмотреть, как Вознесенский осуществляет руководство делами, как там Совнарком устроился, как работает.

Молотов согласился, но добавил: «Пусть и Микоян со мной поедет». Я прямо взвился: «Что я, хвост, что ли, твой? Я здесь имею связь по телефону со всеми областями, я веду большую работу, получаю информацию, выполняю все, что нужно». Я помогал Сталину, передавал его указания на места. И с Куйбышевом связь имел, и с другими городами, где находились наркоматы. Наркомы прилетали в Москву, мы встречались с ними. Мой наркомат был эвакуирован в Ульяновск. Больше половины наркоматовских работников было распущено, годные к военной службе добровольцами пошли на фронт. Своего первого заместителя Крутикова я направил в Ульяновск во главе наркомата с правом управлять им. Через несколько дней небольшую группу работников наркомата предполагал вернуть в Москву. Поэтому я сказал, что через эту группу могу связь держать с Ульяновском и руководить внешней торговлей.

Но вот тогда Сталин решил поддержать Молотова и сказал, чтобы я ехал с ним. «Почему бы тебе не поехать?» – настойчиво говорил он, и я понял, что дальше упорствовать невозможно. Злой за это на Молотова, я промолчал, и мы поехали.

В Куйбышеве собрали заседание Совнаркома, я ознакомился с работой наркоматов, по телефону кое-как созвонился с наркомами, которые разместились в других городах.

Через 5 дней Сталин вызвал меня с Молотовым обратно в Москву.

У нас сложилось впечатление, что Вознесенский делал все необходимое в тех условиях, и наш отъезд не мог нанести ущерба его работе. Вознесенский остался работать в Куйбышеве.

Вознесенский пришел в руководство, когда Сталин разуверился в Межлауке, очень хорошем человеке, прекрасном работнике, занимавшем пост председателя Госплана. Он добился

его ареста, и встал вопрос о новом руководителе. В верхушке самого Госплана не нашлось подходящей кандидатуры. Искали на местах. Тогда Жданов на запрос Сталина назвал кандидатуру председателя ленинградского Госплана Вознесенского – образованного экономиста, хорошего работника.

Мы его не знали. Хотя он учился в Институте красной профессуры в момент острой борьбы с правым уклоном, нам не было известно какое-либо из его выступлений в прессе или на собраниях против уклона за нашу линию. За правый уклон он также не высказывался. При таких его способностях и активности это было немножко странно.

Но Жданов его хвалил, к тому же Вознесенский не был связан с Центром. Молодой человек, его выдвижение будет полезным в том смысле, что его не постигнет участь Межлаука, думал я.

19 января 1938 г. Вознесенский был утвержден председателем Госплана. В Госплане он очень хорошо себя показал, понравился Сталину. Грамотный человек, говорил толково, вдумчиво, он сразу завоевал высокое положение. Сталин увлекся им и сделал такой шаг, который был для нас непонятен: через год или полгода Сталин объявил его своим первым замом по экономическим вопросам в Совнаркоме. Таким образом, в области экономики Вознесенский ставился над всеми нами и над Молотовым как первый человек после Сталина в этой области.

Некоторые члены политбюро были недовольны этим шагом: председателя Госплана, у которого вся экономика, делать еще и первым замом, то есть освобождать от всякого контроля (Сталин же не мог сам контролировать!), было неправильно. Если бы он был просто замом и председателем Госплана, то был бы под контролем других заместителей, так как был бы на равном положении с нами.

К тому же, как только Сталин начал его возносить, амбициозность Вознесенского становилась очевидной: он стал проявлять высокомерие по отношению к остальным товарищам.

Вознесенский не имел опыта управления хозяйством, он никогда не был ни директором завода, ни секретарем обкома, ни наркомом. Поэтому стиль его работы был несколько канцелярским, бумажным. Для него имел большую силу план. Он недостаточно понимал, что мало принять даже очень хороший план, что главное обеспечить его выполнение.

В начале войны хороший план составить было очень трудно. Мы теряли город за городом, эвакуировали предприятия и заводы, где производилось вооружение, не вовремя вводились в действие эвакуированные заводы, в результате срывались военные задания. Вознесенский ежемесячно составлял план,

причем так, что план текущего месяца превышал план предыдущего. Фактическое же выполнение плана в первые 7–8 месяцев войны шло наоборот: план шел по графику вверх, а его исполнение вниз. Это было следствием того, что украинские заводы, особенно харьковские, перестали производить вооружение. То же самое было с Тулой, большим центром по производству оружия. Оборудование заводов Тулы было или на колесах, или прибыло в места, где не было необходимого количества зданий, чтобы его установить. Нужно было строить новые корпуса, налаживать работу. Словом, хотя и работали быстро, оперативно, но большие расстояния и возникающие трудности на несколько месяцев выбили из строя многие предприятия. Выпуск продукции не был начат, пока не был закончен монтаж оборудования. А Вознесенский считал, что неудобно во время войны уменьшать план. Это было его ошибкой. Ведь это был нереальный план.

Я помню, как-то в январе 1942 г. сидели у Сталина Берия, я и Маленков. Берия – хитрый человек, умел так поставить вопрос, чтобы не выдать свои тайные цели. Речь шла о том, что плохо с вооружением, винтовок не хватает, пушек не хватает.

Сталин возмутился: «Как же так, в чем дело?»

Берия, заранее подготовившись к этому вопросу, показал диаграмму по месяцам. Это был утвержденный Вознесенским план по производству винтовок, пулеметов, пушек, боеприпасов, и там же указывалось фактическое исполнение этого плана. Была поразительная картина: план растет из месяца в месяц, это успокаивает правительство, а фактическое производство уменьшается. «До чего же мы дойдем? Когда будет этому конец? Когда начнется подъем производства?» – возмущался Берия. Он говорил, что методы руководства Вознесенского канцелярские: вызывает своих работников, устраивает совещания, навязывает план, но не может обеспечить его выполнения. А ведь любой план без обеспечения его выполнения абсурден.

Это, естественно, вызвало тревогу у Сталина. «А как быть?» – спросил он. «Не знаю, товарищ Сталин», – говорит Берия. Тогда Сталин предложил Берии взять на себя руководство этим делом.

«Товарищ Сталин, не знаю, справлюсь ли с этим делом, – ответил Берия. – Я неопытный в этих делах». «Здесь не опыт нужен, – твердо сказал Сталин, – нужна решительная организаторская рука. Рабочую силу можно отобрать из арестованных, особенно из специалистов. Привлечь можно МВД, дисциплину навести на заводах. Но вы дайте план реальный, вызовите директоров заводов, наркомов, дайте этот реальный план им и проверяйте исполнение».

Берия, конечно, этого и хотел, для этого и диаграмму подготовил. Было решено Вознесенского отстранить от руководства, возложив это дело на Берию. К Берии в подчинение перешел нарком вооружения СССР Устинов, который прекрасно знал дело, – ему нужна была только помощь со стороны правительства в обеспечении рабочей силой и материалами, а Берия мог это сделать. Производством боеприпасов ведал Ванников.

Ванников был арестован еще Ежовым и находился в тюрьме, когда началась война. Ванников и Берия вместе учились в Бакинском техническом училище и были друзьями в юношестве. Я тоже знал Ванникова по Баку. Берия при моей поддержке уговорил Сталина освободить Ванникова из тюрьмы и назначить наркомом боеприпасов. Ванников, очень способный организатор, был когда-то директором тульских заводов вооружения, оттуда был выдвинут в наркомат и теперь вновь возвращен на свое место. Его тогда привели в кабинет Сталина, где все мы находились, прямо из тюремной камеры.

Опираясь на таких людей, Берия быстро поправил дело. Надо подчеркнуть, что Берия поднял вопрос в тот момент, когда эвакуированные заводы стали налаживать свое производство. Это было в феврале – марте 1942 г., когда производство на новых местах стало подниматься.

Из месяца в месяц было видно, что действительно производство растет, между планом и исполнением почти нет разницы. Планы, составленные Берией, выполняются и перевыполняются. Берия добился своего и до 1946 г. оставался зам.

Председателя СНК СССР по экономическим вопросам. Поэтому после войны и атомные дела Сталин поручил ему.

В 1942 г. все еще остро стоял вопрос об увеличении производства танков. Это было очень важной проблемой. Роль танков в войне стала решающей. Наркомом танковой промышленности был Малышев – молодой, способный и хороший нарком, но ему не удавалось увеличить производство танков до нужного количества. Он жаловался на недостаточную помощь его наркомату и был прав. Курировал работу наркомата Молотов.

Как-то у Сталина были Маленков, я и Берия. Обсуждался вопрос увеличения производства танков. Берия и говорит: «Танками занимается Молотов». – «А как он занимается?» – спрашивает Сталин. «Он не имеет связи с заводами, оперативно не руководит, не вникает в дела производства, а когда вопросы ставит Малышев или другие, Молотов созывает большие совещания, часами обсуждают вопрос и формулируют какое-либо

решение. В этих решениях мало пользы, а на деле он отнимает время у тех, кто должен непосредственно заниматься оперативными вопросами, – говорит Берия. – Так что вместо пользы получается вред».

Решили освободить Молотова от руководства производством танков и возложить это дело на Берию. Это круто изменило положение дел. Берия, пользуясь властью, оказал Малышеву всю необходимую помощь за счет других наркоматов. И здесь его успеху способствовало то, что к тому времени заработали заводы, эвакуированные за Урал. Производство танков резко выросло и скоро превысило их производство в Германии и в оккупированных ею странах Европы.

Глава 35
900 дней блокады: снабжение Ленинграда

Как известно, в планах фашистского командования значительное место отводилось овладению Ленинградом. Враг учитывал огромное стратегическое, экономическое и политическое значение этого города. С захватом Ленинграда, заявлял Гитлер, «будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа». Сосредоточив на этом направлении крупные силы, враг намеревался овладеть городом Ленина в течение ближайшего же месяца.

К 10 июля 1941 г., захватив почти всю Прибалтику, фашисты вторглись в пределы Ленинградской области. Но осуществить свое намерение по захвату Ленинграда им не удалось. Советские войска, усиленные частями и соединениями народного ополчения, оказали фашистам упорнейшее сопротивление и остановили противника на подступах к Луге и Новгороду.

Но к концу августа 1941 г. под Ленинградом вновь сложилась крайне тяжелая обстановка: нависла реальная угроза окружения и захвата города. Получив подкрепление, гитлеровские войска прорвали нашу оборону и, развивая наступление, захватили станцию Чудово и крупный железнодорожный узел Мга, перерезав в конце августа – начале сентября железнодорожные магистрали, соединявшие Ленинград со страной.

Мне известно, что Военный совет Ленинградского фронта накануне этих событий просил командующего 54-й армией, находившейся между Мгой и Волховом, маршала Советского Союза Кулика, дать в помощь Ленинграду 1–2 дивизии (прежде всего для того, чтобы сохранить железную дорогу). Имея такую возможность, Кулик этого не сделал. За допущенные ошибки он был отстранен от командования.

В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, поскольку одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому

решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие.

Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия. Тщетно я пытался его убедить, что спортивные помещения, музеи, торговые, наконец, дворцовые сооружения могут быть использованы как склады.

Когда город был блокирован врагом и создалось исключительно напряженное положение с продовольственным обеспечением ленинградцев, Сталин сказал мне: «В твоих руках сходятся сейчас все нити руководства снабжением фронта и тыла. Поэтому тебе легче, чем кому-либо другому, следить за своевременным обеспечением Ленинграда всем необходимым».

Прежде всего по согласованию со Ждановым и Алексеем Кузнецовым мы с Хрулевым изменили порядок доставки продовольственных грузов. Тогда их направляли раздельно по двум адресам: для войск и для гражданского населения. Теперь все грузы для Ленинграда пошли в распоряжение Военного совета Ленинграда, на который была возложена ответственность за снабжение войск и населения. В состав Военного совета входили Жданов и Кузнецов, которым одинаково близки были интересы как фронта, так и населения города.

После захвата гитлеровцами станции Мга подвоз грузов в Ленинград по железной дороге прекратился. Оставалось два возможных пути: по воде – через Ладожское озеро и по воздуху.

Транспортировка в Ленинград продовольствия по воздуху вначале осуществлялась бомбардировщиками «Дуглас», которые я мог направить туда, поскольку контролировал поставки от союзников.

Транспортных самолетов в современном понимании тогда у нас еще не было. Мне удалось сконцентрировать, за счет других направлений, под Ленинградом около 50 бомбардировщиков «Дуглас» и перевозить на них грузы в Ленинград. Дошло до Сталина. Он спросил меня: «О чем ты думаешь? Зачем боевые самолеты используешь не по назначению?» Пришлось уступить. В конце декабря 1941 г. почти все самолеты, доставляющие продовольствие в Ленинград, были переведены на выполнение других заданий.

Кузнецов имел по этому поводу продолжительный разговор с Поскребышевым, стараясь, чтобы тот внушил Сталину «необходимость «Дугласов» для снабжения города». Но Сталин не

согласился их отдать на эти цели. Главной питательной артерией города стала сухопутно-водная трасса. Она проходила по железной дороге через станции Вологда, Череповец, Тихвин и Волхов, откуда грузы направлялись по реке до Новой Ладоги. Там они перегружались на озерные баржи и суда Ладожского флота и через удерживаемую нашими войсками узкую щель Ладожского озера, которая постоянно подвергалась вражеской бомбардировке и артиллерийскому обстрелу, шли до пристани Осиновец. Отсюда, после двойной перевалки на узкоколейную дорогу и основную железнодорожную магистраль, доставлялись в Ленинград.

30 августа 1941 г. мной было подготовлено и в тот же день принято решение ГКО, которое обязывало НКПС направлять ежедневно, начиная с 31 августа, на станцию Лодейное Поле по 8 маршрутов продовольствия, по 2 маршрута боеприпасов и вооружения и 1 маршруту горючего; НКВМФ и НКРФ – выделить 75 озерных барж по одной тысяче грузоподъемностью каждая и 25 буксиров, обеспечить курсирование ежедневно по 12 барж с грузами до Ленинграда. Выделить также один танкер НКВМФ и 8 наливных барж наркома речного флота с буксирами для перевозки горючего.

Предусматривалось также на всякий случай и другое направление доставки грузов в Ленинград. В связи с этими решениями ГКО обязал НКПС ежедневно, начиная с 31 августа, направлять на станцию Волховстрой по 2 маршрута продовольствия для перевалки на речные суда, а Наркомречфлот – подавать ежедневно, начиная с 1 сентября, по 7 барж и организовать доставку в Ленинград перевалочных грузов два маршрута ежедневно. Переправа этих грузов по Ладожскому озеру была поручена Наркоматам военно-морского флота (персонально заместителю наркома адмиралу Галлеру) и речного флота (наркому Шашкову). Для этого они должны были использовать все свои плавсредства (речные, озерные суда, баржи, буксиры и т. п.) и кадры.

Водная магистраль, соединившая Ленинград с Большой землей (так ленинградцы стали называть территорию нашей страны за кольцом блокады), заработала, хотя и не всегда достаточно слаженно, особенно в первое время.

Помимо обеспечения Ленинграда продовольствием, которое доставлялось этим путем, ленинградцы и мы изыскивали другие возможности, чтобы хоть как-то увеличить ресурсы продуктов осажденного города.

В этих целях еще 30 августа 1941 г. по моему указанию нарком заготовок Субботин распорядился передать

Ленинградскому мельничному комбинату имени Кирова на переработку в муку 6 тыс. т соевых жмыхов, имевшихся на маслозаводах города, и 12 тыс. т овса; нарком мясо-молочной промышленности Смирнов обязал директоров трех свиноводтрестов отдать Ленинградскому мясокомбинату на убой из их совхозов, расположенных вблизи Ленинграда и Москвы, все поголовье свиней, находившихся на откорме.

Нарком пищевой промышленности Зотов разрешил директору Ленинградского треста хлебопечения добавлять в хлеб соевую и овсяную муку, а также муку из ячменя и солода, перемолов на муку 3 тыс. тонн пивоваренного солода.

Однако, несмотря на все эти меры, положение с продовольствием в Ленинграде продолжало оставаться крайне напряженным. Обеспечить продуктами нужно было не только войска и гражданское население Ленинграда, но и беженцев, которые прибывали из окрестных городов и деревень, захваченных немцами. Кроме того, немало продовольствия гибло от бомбежек, обстрелов и пожаров, а также терялось из-за несовершенства карточной системы и учета снабжения.

6 сентября 1941 г. председатель Ленгорисполкома П.С. Попков сообщил в ГКО о том, что запасов продуктов в городе осталось очень мало, и просил ускорить отправку новых продовольственных подкреплений. По данным, которыми располагал я, продовольственных ресурсов в Ленинграде должно было быть больше. Надо было разобраться в этом на месте.

Я решил направить в Ленинград наркома торговли РСФСР Д.В. Павлова. Для того чтобы придать ему вес, решил выдать ему мандат уполномоченного ГКО по продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта и населения Ленинграда. Сталин подписал мандат для него. Такой документ, подписанный Председателем ГКО, давал Павлову большие права: его указания были обязательными как для военных, так и для гражданских органов.

Павлов прибыл в Ленинград 8 сентября 1941 г., в день взятия гитлеровскими войсками Шлиссельбурга и установления блокады города с суши. Проверка на месте показала, что на 12 сентября 1941 г. в Ленинграде имелись примерно такие общие продовольственные запасы (исчисленные по нормам довольствия войск и населения, действовавшим в городе): хлебного зерна, муки и сухарей – на 35 дней; мяса и мясопродуктов (в том числе живого скота) – на 33 дня; жиров – на 45 дней; сахара и кондитерских изделий – на 60 дней.

Запасов было явно недостаточно. Задача состояла в том, чтобы как можно более экономно их расходовать в ожидании

новых поступлений. Эвакуация из Ленинграда гражданского населения, начавшаяся в первые же дни блокады, не только сохранила жизни многих тысяч людей, но и уменьшила количество едоков, непосредственно не связанных с обороной города. По данным оперативных сводок НКПС, с 29 июня по 26 августа 1941 г. из Ленинграда было эвакуировано только железнодорожным путем 773 590 человек. Среди них было много беженцев из Прибалтийских республик, Карело-Финской ССР, Ленинградской и Псковской областей. В замкнутом кольце блокады помимо войск остались 2 489 400 ленинградцев (в том числе до 400 тыс. детей). Эвакуация людей продолжалась, но проходила медленно из-за транспортных ограничений.

Снабжение ленинградцев ухудшалось. В этих условиях жители города сами изыскивали способы пополнения продовольствия. Они собирали уцелевшие и неожиданно обнаруженные даже самые малые запасы продуктов в городе, на предприятиях, в подсобных хозяйствах, а также в пригородных районах и колхозах, проявляли величайшую изобретательность в изготовлении и применении всевозможных заменителей и суррогатов. Тем не менее наступил голод, от которого умирало много людей.

Все это требовало от Ленинградской партийной организации, Военного совета фронта, а также от соответствующих гражданских учреждений большой собранности и организованности, тесной связи с предприятиями и населением, строжайшей дисциплины, каждодневного учета и контроля за расходованием продовольствия. Хочу особо отметить роль горкома и его секретаря А.А. Кузнецова, талантливого и энергичного организатора масс, человека умного, работоспособного и обаятельного.

По согласованию со Сталиным я дал указание Павлову остаться еще на некоторое время в Ленинграде в качестве уполномоченного ГКО, и он работал там около пяти месяцев.

Полагая, что блокада Ленинграда будет скоро прорвана, совместно с Хрулевым был разработан план создания перевалочных баз на железнодорожных линиях, ведущих к Ленинграду (Тихвин, Волховстрой, Войбокало). На эти базы завозилось большое количество продовольствия с тем расчетом, что, как только блокада будет прорвана, оно без задержки будет доставлено в Ленинград.

Навигация на Ладожском озере той осенью была на редкость короткой. Она стоила нам огромных трудов и жертв. Но, несмотря на это, с 1 сентября 1941 г. и до того, как озеро замерзло, по воде в Ленинград было завезено тысячи тонн зерна,

муки, круп и макарон, сотни тысяч банок мясных и рыбных консервов, миллион банок сгущенного молока, сотни тонн мяса и рыбы, масла и других продуктов, а также тысячи винтовок, пулеметов, сотни тысяч артиллерийских снарядов и мин, более 3 млн патронов и свыше 100 тыс. ручных гранат.

Продовольствие, с огромным трудом доставляемое в Ленинград, съедалось, как говорится, «с колес». Положение усугублялось тем, что 23–27 октября на Ладожском озере был сильнейший шторм и ни одно судно не могло выйти в рейс. В последующие дни навигация возобновилась, но далеко не в полном объеме, а с 15 ноября вообще прекратилась. В течение 28 дней (с 23 октября по 20 ноября) регулярного сообщения по Ладоге, по существу, не было. А 8 ноября гитлеровцам удалось захватить Тихвин и полностью блокировать Ленинград.

С середины ноября 1941 г. и до половины января 1942 г. положение в городе было особенно тяжелым. Наступил массовый голод. Несмотря на жесточайшую экономию, запасы продовольствия быстро таяли. В сентябре – ноябре 1941 г. Военный совет Ленинградского фронта вынужден был пять раз снижать нормы выдачи хлеба и других продуктов гражданскому населению, из них два раза в ноябре. С 20 ноября ленинградские рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 250 г хлеба в сутки, а служащие, иждивенцы и дети – по 125 г. «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам…» – так писала в своей «Ленинградской поэме» участница обороны Ленинграда, наша известная поэтесса Ольга Берггольц. Воинам, находившимся на передовой, выдавали в сутки по 300 г хлеба и 100 г сухарей, а личному составу всех остальных воинских частей и учреждений – по 150 г хлеба и 75 г сухарей.

Следует отметить, что нормы продовольственного снабжения армии, установленные в сентябре 1941 г. по моему и Хрулева предложению, выдерживались на протяжении всей войны. Исключения допускались лишь в самых редких случаях, как во время блокады Ленинграда, по специальным решениям военных советов фронтов, имевших на это право по решению ГКО. Армия вообще не испытывала недостатка в продуктах, хотя с организацией горячего питания бойцов, в частности на переднем крае, бывали перебои. Это послужило основанием для особого постановления ГКО и последующего широко известного в войсках приказа наркома обороны СССР от 31 мая 1943 г., которыми на лиц, виновных в плохой организации питания бойцов, были наложены меры взыскания по всей строгости военного времени.

В ту первую блокадную зиму на долю ленинградцев выпало

особенно много страданий. Сотни тысяч мирных жителей гибли от голода, холода, непрекращающихся бомбежек и обстрелов. Но враг, стоявший буквально у городских ворот, не сломил волю героев – защитников Ленинграда.

Чтобы восстановить сухопутную связь с Большой землей, Военный совет Ленинградского фронта в сложнейших условиях принял решение построить автомобильную дорогу к Новой Ладоге протяженностью более 200 км. 6 декабря она была готова.

В поисках выхода из тяжелого положения, в которое попал Ленинград в связи с окончанием навигации по Ладоге, Военный совет Ленинградского фронта предложил для подвоза продовольствия и других грузов использовать лед Ладожского озера. Это было смелое решение. Вместе с войсками и моряками Балтийского флота дорогу строили героические жители Ленинграда, связывавшие с нею надежды на спасение. Не случайно они назвали ее Дорогой жизни. 22 ноября ледовая трасса была успешно опробована.

К нам в ГКО поступила просьба ленинградцев разрешить им открыть эту зимнюю автодорогу и переправить к ней продовольственные грузы. Внимательно ознакомившись со всеми материалами, я поддержал это предложение и подготовил письмо на имя командующего Ленинградским фронтом генерал-лейтенанта Хозина и члена Военного совета фронта Жданова, в котором сообщалось, что, используя новую дорогу, мы сможем ежедневно отправлять для Ленинграда 400 т муки, 150 т круп, 100 т керосина и 200 т боеприпасов. Командованию фронта предлагалось принять необходимые меры к военной охране ледовой автотрассы, так как, по всей вероятности, гитлеровцы станут пытаться срывать перевозки по новой дороге.

Затем я обратился к Сталину и просил его подписать письмо, что и было сделано в тот же день. Хотя Сталин и санкционировал это предложение, он не понял жизненную важность дороги, поэтому в конце письма сделал приписку: «Предупреждаем Вас, что все это дело малонадежное и не может иметь серьезного значения для Ленинградского фронта». Но он ошибся.

Ледовая трасса была открыта незадолго до освобождения Тихвина. В первое время по ней в основном направлялись грузы, оставленные на восточном берегу Ладоги после весенне-летней навигации. С освобождением Тихвина ремонтники начали работы по восстановлению железной дороги Тихвин– Волхов. Одновременно на этом участке была освоена временная обходная автодорога к Ладоге, которая использовалась для доставки грузов, направляемых по льду озера в Ленинград.

Несмотря на упорные обстрелы ледовой дороги

гитлеровскими войсками, ежесуточная доставка продовольствия в Ленинград в середине декабря 1941 г. увеличилась.

Вскоре я стал получать тревожные сведения, что на ледовой трассе неправильно организована транспортировка грузов и не обеспечена их военная охрана. Поэтому 7 декабря мы с Хрулевым направили Жданову и уполномоченному ГКО Павлову специальное письмо, в котором детально разработали структуру управления ледовой автодороги, определили порядок погрузки и разгрузки, складского хранения и военной охраны продовольствия и других грузов в пути. Мы предложили также усилить эвакуацию, чтобы разгрузить Ленинград от лишних едоков, используя полностью автомашины, идущие из города за продовольствием.

Ленинградские руководители полностью приняли наши предложения, проведение которых в жизнь значительно улучшило организацию работы на ледовой автотрассе.

Но вопросы эвакуации особенно осложнились, когда стали эвакуировать истощенных, ослабленных людей, так как на станциях население встречало их с продуктами, а им сразу есть обычную пищу было нельзя, это было опасно для их жизни. Поэтому на станциях пришлось ставить охрану, запретить населению передавать эвакуированным еду. Врачами был разработан переходный рацион питания, который помогал организму постепенно привыкать к пище. Для этого готовился специальный препарат с применением казеина.

Много внимания уделялось эвакуации детей, оставшихся без родителей. Их старались перевозить в южные районы страны, на Кубань и в Ставрополье. Я помню, было немало эвакуировано ребят из Ленинграда в Армению, и в том числе в мое родное село Санаин.

После того как Павлов был отозван из Ленинграда, я получал информацию о перевозках продовольствия от уполномоченного Военного совета Ленинградского фронта Лазутина.

В течение зимы 1941/42 года по ледовой трассе в Ленинград было доставлено 361 109 т различных грузов, в том числе 262 419 т продовольствия, 8357 т фуража и 31 910 т боеприпасов, 34 717 т горюче-смазочных материалов и др. Кроме того, с 22 января по 15 апреля 1942 г. из города вывезли 554 186 человек.

В результате к весне 1942 г. в Ленинграде сосредоточились двухмесячные неприкосновенные запасы продовольствия и переходящие запасы в пределах 6–8 дней.

С 6 февраля 1942 г. войска стали получать по 600 и 800 г хлеба в день. Увеличилась и выдача мяса: с 20 января бойцы передовых частей и соединений получали по 150 г (столько же,

сколько до войны), а в тыловых частях и учреждениях – по 75 г.

Улучшилось и снабжение населения. С февраля 1942 г. рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 500 г хлеба улучшенного качества, служащие – по 400 г, а иждивенцы и дети – по 300 г. Несколько увеличились нормы выдачи и всех остальных продуктов.

Военный совет фронта постоянно стремился изыскать различные внутренние возможности для производства пищевых продуктов. В этой связи интересно письмо Жданова ко мне, датированное 20 января 1942 г., в котором он просил отправить в Ленинград по 100 т альбумина, казеина и желатина с целью изготовления из этого сырья, ранее не применявшегося в пищевой промышленности, 500 т растительно-кровяных колбас, 2,25 тыс. т плавленого сыра и сырников, 4 тыс. т фруктового желе и студня, а также 10 т сахарина.

Вместо этого я дал указание, учитывая представившуюся тогда транспортную возможность, отправить ленинградцам вместо эрзац-продуктов некоторое добавочное количество качественных продуктов, чтобы хоть немного подкормить изголодавшееся население города, бойцов Ленинградского фронта и моряков Балтфлота.

Я сообщил Жданову, что уже дал распоряжение отгрузить им в феврале 1942 г. дополнительно к январским поставкам 20 тыс. т муки, 5 тыс. т крупы, 1,2 тыс. т сахара, 450 т глюкозного сахара, 500 т шоколада, 200 т пищевых концентратов, 1 тыс. т соевой муки, 4,1 тыс. т мяса, а также консервов: мясных – 3 млн банок, свино-бобовых и овощных – по 1 млн банок, варенья и повидла – 880 тыс. банок и сгущенного молока – 3 900 000 банок. Все эти продукты были своевременно отправлены.

Для систематического контроля за продовольственным снабжением Ленинграда в аппарате СНК СССР была создана специальная группа во главе с ответственным работником Управления делами Совнаркома Смиртюковым, который неоднократно выезжал в Ленинград, бывал на перевалочных базах, в воинских частях, проверял, как организовано питание и лечение ленинградцев, в особенности пострадавших от бомбежек и вражеских обстрелов, принимал на месте оперативные решения.

По моему поручению Смиртюков и Ермолин выясняли, как организовано лечение и питание ленинградских жителей, пострадавших от авиационных бомбежек и артиллерийского огня противника.

Хотелось бы отметить и еще одного работника из моего тогдашнего секретариата – Романченко, который был направлен в Вологду и Тихвин, где на месте контролировал прохождение

грузов из Рыбинска, Ярославля, Тамбова, Мичуринска, Горького, Архангельска и других городов в Ленинград и систематически информировал меня о положении дел. Это был человек требовательный к себе и людям, добросовестный, настойчивый и старательный. Обнаружив неполадки, он звонил и телеграфировал в обкомы партии, начальникам дорог, просил, настаивал, требовал и добивался решения.

В январе 1942 г. после восстановления железной дороги Тихвин – Волхов подвоз продовольствия к Ладоге увеличился. Чтобы ускорить доставку грузов в город, продолжавший оставаться в кольце блокады, осваивались новые автодороги и вспомогательные пути. В частности, по решению ГКО от 11 января 1942 г. в труднейших условиях менее чем за месяц была построена железнодорожная ветка Войбокало – Кабона, подводившая поезда вплотную к Ладоге. Усиленными темпами шла подготовка к весенне-летней навигации 1942 г., на которую возлагались особые надежды.

В начале апреля 1942 г. ГКО утвердил напряженный план суточного грузооборота через Ладожское озеро. В Ленинград планировалось доставить большое количество продовольствия, боеприпасов, военно-технического и санитарного имущества, горючего, а из города эвакуировать жителей, раненых и больных воинов.

Надежды на эту навигацию в общем оправдались. Значительно улучшилось продовольственное положение в городе.

Но в организации снабжения города все еще оставалось много трудностей. Так, горючее приходилось доставлять с огромным трудом из-за постоянной нехватки наливных судов. В апреле 1942 г. в ГКО поступила докладная записка Военного совета Ленинградского фронта о прокладке по дну Ладожского озера специального трубопровода для транспортировки горючего. Это было для нас совершенно новым делом, однако мы решили поддержать инициативу ленинградцев, и 25 апреля 1942 г. Сталин подписал постановление ГКО о начале строительства.

К 16 июня была закончена прокладка 35-километрового трубопровода, более 26 км которого проходило по дну Ладожского озера, героическими усилиями эпроновцев, воинских частей и ленинградских рабочих, самоотверженно трудившихся в сложнейших условиях под бомбежкой и обстрелом врага. 18 июня трубопровод вступил в строй.

Бесперебойная работа трубопровода имела большое значение для Ленинграда, так как по нему в осажденный город перекачивалось ежедневно 300–400 т горючего.

В сентябре 1942 г., впервые за время блокады, Ленинград

получил от Волховской ГЭС электроэнергию: летом по дну Ладожского озера был проложен специальный кабель.

Но блокада Ленинграда продолжалась, и городу предстояло пережить еще одну трудную зиму. Дорога жизни и на этот раз должна была стать той нитью, которая связывала его с Большой землей.

С 19 декабря 1942 г. по 30 марта 1943 г. по ледовой дороге было перевезено на автомашинах 206 094 т различных грузов, более половины которых составляло продовольствие и фураж. На западный берег автотранспортники доставили, в частности, 54 355 т боеприпасов, 2972 т вооружения, 5078 т горючесмазочных материалов и других грузов.

Заканчивалась в основном и эвакуация людей. С начала блокады по март 1943 г. из города было эвакуировано 944 867 человек (из них 514 069 человек по ледовой дороге с декабря 1941 г. по апрель 1942 г.).

Хотя я непосредственно участвовал и в этой работе, эвакуацией в целом специально по поручению ГКО занимался тогда А.Н. Косыгин, неоднократно в связи с этим выезжавший в Ленинград.

В декабре 1942 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов (генералы Говоров и Мерецков) во взаимодействии с Балтийским флотом начали операцию по прорыву блокады Ленинграда. 18 января кольцо блокады было прорвано. Ленинград и оборонявшие его войска получили прямую сухопутную связь со страной.

И хотя полное освобождение от осады Ленинграда произошло годом позже, прорыв блокады в январе 1943 г. явился переломным моментом в исторической битве за город и имел большое значение для дальнейшего хода всей Великой Отечественной войны.

Глава 36
Бакинское горючее и хлеб из поволжья для фронта

Летом 1942 г. на Юго-Западном и Южном фронтах для нас сложилась крайне тяжелая обстановка. Немецкие войска захватили Ростов, форсировали Дон в его южном течении, выйдя к Сталинграду и Северному Кавказу. Затем последовали окружение Сталинграда и бросок крупных сил оккупантов на Кавказе в направлении к Грозному и Махачкале. Захват гитлеровцами Клухорского перевала через Главный Кавказский хребет создал угрозу прорыва к Черному морю и в район Кутаиси, а захват района Краснодара и горных подступов к Майкопу открывал выход к Новороссийску, Туапсе и Сухуми. Кроме всего прочего, была поставлена под угрозу доставка горючего на фронт. Единственным источником, обеспечивавшим страну горючим, тогда был Баку. Горючее доставлялось из Баку на морских крупнотоннажных танкерах на Астраханский рейд, где перекачивалось в морские баржи малой осадки, которые доставляли его в Астрахань, а оттуда по железной дороге в глубь страны. В зимнее время перевозка горючего из Баку, в небольшом количестве, осуществлялась через Красноводск и далее по железной дороге через Среднюю Азию.

В связи с выходом немцев на Волгу для транспортировки горючего оставалась лишь однопутная железная дорога, идущая от Красноводска через Среднюю Азию. А это тысячи километров! Она, конечно, не могла обеспечить нужды фронта и страны в горючем, хотя была надежным круглогодичным путем. Был еще один путь из Баку – по Каспийскому морю, затем через Гурьевский канал и по реке Урал, а далее по железной дороге на фронт.

До войны таким путем горючее мы не возили. Но железные дороги и без того были перегружены и с перевозками не справлялись. Не случайно Сталин трижды менял наркома путей сообщения. Теперь же это был единственный шанс, которым мы и вынуждены были воспользоваться.

Нужно было срочно, до закрытия навигации, успеть организовать транспортировку большого объема горючего из Баку через Каспийское море.

Эту операцию я решил поручить заместителю наркома Морского флота СССР Белахову, вернувшемуся к этому времени

из Владивостока, где он успешно выполнил ответственное поручение, связанное с получением помощи от США по ленд-лизу. Наркомом Морского флота тогда был Ширшов – герой-полярник из группы Папанина, культурный, красивый, обаятельный мужчина. Он согласился с моим решением.

7 августа 1942 г. я вызвал Белахова и вручил ему подготовленное мной и подписанное Сталиным постановление ГКО, согласно которому Белахов назначался «уполномоченным ГКО по морским перевозкам в Астрахани и Гурьеве».

Рассказав о сложившейся обстановке, я поставил перед ним задачу – любой ценой организовать доставку горючего на фронт из Баку через Гурьев.

Он сразу же ответил: «Но у нас нет мелководного нефтеналивного флота, способного плавать по Гурьевскому каналу». Тогда я сказал: «Надо с Волги перебросить туда речные баржи, не беда, если некоторые из них и не выдержат морского перехода, так как это крайне необходимо. Не следует бояться некоторых потерь, ибо сейчас обеспечение горючим фронта решает судьбу Родины». Кроме того, я сказал, что в связи с продолжающимся на Кавказском фронте наступлением немцев в Астрахань по железной дороге в ближайшие дни прибудет свыше четверти миллиона войск с легким вооружением из числа пограничных и внутренних частей. Их надо в кратчайший срок перевезти через Каспийское море в Махачкалу, откуда они последуют на фронт.

На Каспии мы практически не имели транспортного флота, поэтому я спросил Белахова, как он считает, можно ли использовать для перевозки войск палубы крупнотоннажных танкеров, а также доставлять войска из Астрахани до Астраханского рейда на морских нефтеналивных баржах. Белахов медлил с ответом. Я был удивлен и сказал: «Вы всегда ясно отвечаете на вопросы, почему молчите? Я вас не узнаю». Он ответил, что постарается быстро разобраться с положением на месте, и заверил, что сделает все возможное для осуществления доставки войск на Кавказский фронт.

Одновременно я поручил Белахову обеспечить эвакуацию гражданского населения Северного Кавказа через Махачкалу в Красноводск. Это было также сложное дело, ибо число подлежащих эвакуации измерялось десятками тысяч. После этого предложил Белахову на рассвете следующего дня вылететь в Астрахань, взяв с собой людей, которых он должен был срочно подобрать. Самолет для них был уже выделен.

Утром 8 августа группа работников Наркомата Морского флота во главе с Белаховым вылетела в Астрахань.

Обстановка там была тогда очень сложной, а в связи с тяжелым положением на Сталинградском фронте в городе имели место панические и даже пораженческие настроения.

Каспийское пароходство «Рейдтанкер» хотя и считалось морским, но по личному составу, традициям и стилю работы невыгодно отличалось от морских пароходств Балтики, Черного моря и Дальнего Востока. Как потом мне стало известно, отдельные руководящие работники Астраханского пароходства к заданию, возложенному на Белахова, относились с недоверием и даже с иронией и нередко это высказывали вслух. Все это, конечно, осложняло работу.

Прибыв на место, Белахов сразу же приступил к перевозу крупнотоннажных речных нефтеналивных барж на Гурьевский рейд, что уже само по себе не имело прецедента.

Ему удалось успешно перевезти речные баржи на Гурьевский рейд и установить там дебаркадеры, после чего сразу началась перевозка горючего. Сотня барж была расставлена на расстоянии многих километров для наименьшей уязвимости при нападении с воздуха.

Перевозка горючего происходила так: из Баку на крупнотоннажных танкерах до Баутино (порт Шевченко), где горючее переливалось в морские баржи с последующей доставкой их на буксирах до Гурьевского рейда; на рейде горючее вновь перекачивалось, но уже в речные нефтеналивные баржи с малой осадкой, затем с помощью мелкосидящих буксиров эти баржи проводились через Гурьевский канал до острова Пешной (Гурьев), куда была подведена железная дорога.

Из-за непрерывных ветров и понижения уровня воды почти каждый день баржи садились на мель. Обойти их при этом сбоку было невозможно из-за узости канала. Снятие барж с мели каждый раз требовало много времени и больших усилий. Наступила осень.

В ноябре 1942 г. Белахову было дано указание продолжать навигацию до тех пор, пока это будет возможно. Поступать так было рискованно. Неожиданный ледостав мог застигнуть на Гурьевском рейде большое количество судов, и весной они могли быть раздавлены подвижкой льда. Но другого выхода у нас тогда не было. Навигация продолжалась до 16 декабря 1942 г. С появлением первого льда каспийские моряки проявили подлинный героизм, сумев буквально за один день сгруппировать в одном месте суда, поставить их в две кильватерные колонны и связать тросами.

Впоследствии Белахов мне рассказал: «В наше распоряжение был передан единственный на Каспии ледокол с мощностью

двигателя 1000 лошадиных сил, на котором мы и вышли из Астрахани 26 декабря 1942 г., миновав Баутино. Пробиваясь через ледовую целину, через неделю ледокол прибыл на Гурьевский рейд к месту стоянки замерзших судов. Стало ясно – вести суда на юг Каспия и потом в Астрахань невозможно.

Ледокол вернулся в Астрахань, флот остался зимовать во льдах. Мы укомплектовали экипажи судов надежными людьми, снабдили продовольствием, инструментом, обеспечив тем самым проведение необходимого зимнего ремонта судов».

Белахов с некоторой грустью сообщил, что прокурор за его действия угрожал ему привлечением к уголовной ответственности. Я его успокоил, сказав, что он действовал совершенно правильно и мы его в обиду не дадим.

В итоге всей операции через Гурьев было доставлено для нужд фронта почти полмиллиона тонн горючего, в то время как за тот же период по Красноводской железной дороге было доставлено только 130 тыс. тонн.

Сопоставление этих двух цифр красноречиво говорит о значении для судьбы войны этой операции. Можно с полным основанием сказать, что мужественные, отлично владеющие своим мастерством, преданные своему долгу, готовые терпеть любые лишения, не боящиеся смертельной опасности моряки и портовики Астрахани и Гурьева совершили тогда подвиг.

Выполняя задание, Белахов обеспечил и перевозку более 250 тыс. войск из Астрахани в Махачкалу. Моряки Каспия при этом также проявляли подлинный героизм. На палубах нет грузоподъемных средств, порожний же танкер возвышался над водой на высоту трехэтажного дома. Сейчас даже трудно себе представить, как за короткое время сотни тысяч солдат с полной выкладкой и вооружением могли быть подняты на палубы танкеров с низких речных барж, находившихся рядом с ними на плаву.

Десятки тысяч советских граждан также были успешно эвакуированы из Махачкалы в Красноводск.

Через много лет после этих событий, при встрече с Белаховым, он мне рассказал, что ему хорошо запомнился один эпизод того периода. Прилетев в Астрахань и приступив к выполнению задания, он подумал, что докладывать мне нужно только о конкретных результатах. Примерно через неделю он получил от меня ВЧграмму[1]: «Вот уже несколько дней, как Вы находитесь в Астрахани. До сих пор от Вас не поступило ни одного донесения. Я не думаю, что это время проведено безрезультатно. Однако удивлен, что Вы до сих пор ничего не сообщаете. По-видимому, Вы не отдаете себе отчета в том, что

делаете для судьбы войны. Сообщайте, информируйте ежедневно». После этого на протяжении всей операции Белахов регулярно сообщал мне о положении дел.

В январе 1943 г. он вернулся в Москву и был у меня на приеме. Выслушав его краткий доклад, я сказал: «Знаю все о ходе операции и ее результатах. Мы с товарищем Сталиным думали, что вы доставите фронту примерно 200 тыс. т горючего, а вы доставили около полумиллиона. Это один из решающих факторов, повлиявших на ход войны. Мы ценим вашу смелость, вашу настойчивость. Вы сделали великое дело. Ваш риск с флотом был оправдан».

В апреле 1943 г. поступило сообщение о том, что лед на Каспии растаял, флот в сохранности и приступил к навигации.

В 1942 г. Кубань, Ставрополь, Дон, Украина – тогда основные житницы страны – были оккупированы гитлеровцами. Снабжение страны и фронта хлебом стало особенно острой проблемой. Решить ее можно было только за счет Поволжья и Сибири. На Алтае уродился хороший урожай, но убирали его плохо. Туда были направлены руководящие работники из центра для улучшения заготовок. Проверка показала, что партийное руководство там не сумело обеспечить своевременную уборку и сдачу хлеба государству. Наступил ноябрь 1942 г., а урожай далеко еще не был собран.

ВЧ-связь – высокочастотная связь, синоним правительственной связи.

Стали поступать тревожные сигналы о плохой уборке хлеба и в других местах. Сталин решил, что с вопросом мы должны были разобраться на местах и там же принимать нужные меры. Мне было поручено выехать в Пензенскую, Куйбышевскую, Чкаловскую, Саратовскую, Тамбовскую, Рязанскую области и в Башкирскую АССР. В этой поездке меня сопровождали: нарком земледелия СССР Бенедиктов, нарком заготовок СССР Субботин, его заместитель Ершов, группа ответственных работников этих наркоматов, а также мой помощник Барабанов.

Сохранился составленный Барабановым дневник этой поездки, а также и, что особенно интересно для меня, стенограммы моих выступлений.

Перечитывая их теперь, даже трудно поверить, что у нас могло быть такое положение с уборкой урожая.

Выехали мы из Москвы 24 ноября 1942 г. в 4 часа утра и в тот же день, в 10 часов вечера, прибыли в Пензу. Секретарь обкома Морщинин обстоятельно доложил о положении дел с хлебозаготовками в области.

Выяснилось, что партийные организации ряда районов области сроки уборки растянули и допустили большие потери. На уборке урожая сельскохозяйственная техника используется плохо. При рассмотрении уголовных дел в отношении лиц, злостно уклоняющихся от работы по уборке урожая, виновных в его разбазаривании или хищениях, допускается волокита.

В соответствии с внесенными мною предложениями обком и облисполком установили с 25 ноября каждому району, а он – каждому колхозу и совхозу пятидневные задания по сдаче хлеба государству; определили сроки окончания обмолота хлеба по группам районов к 1 и 10 декабря; немедленно решили командировать в районы для контроля за проведением хлебозаготовок членов бюро обкома, ответственных работников облисполкома и 450 человек из числа лучших работников партийного и советского актива; потребовали от руководителей районов и от направляемых в районы работников решительной борьбы со всеми проявлениями антигосударственных настроений в проведении хлебозаготовок и обязали применять к виновным самые строгие меры по законам военного времени.

Оставив в Пензе группу Субботина, я вместе с остальными товарищами в 2 часа ночи 25 ноября 1942 г. выехал в Куйбышев в салон-вагоне. Это был день моего рождения, но тогда я даже не вспомнил об этом. На эту деталь я обратил внимание теперь, через 30 с лишним лет, просматривая этот архивный материал.

По прибытии в Куйбышев сразу же поехали в обком партии, договорились о часе заседания. Затем поехали осматривать элеваторы. В 19 часов провели заседание с директорами трестов по сельскому хозяйству, а в 12 часов ночи поехали на авиационные заводы № 24 и 18. Вернулись в вагон, где спали, в 4 часа утра.

В 11 часов утра 26 ноября состоялось совместное заседание областного комитета партии (секретарь Никитин) и облисполкома (председатель Хопов). Положение с хлебозаготовками в области было признано «совершенно нетерпимым», а принимаемые до сих пор меры явно недостаточными.

Выступая на совместном заседании обкома и облисполкома, я сказал:

«Первое – необходимо понять, что без хлеба мы пропадем. Если раньше были большие трудности с хлебом, то они стали еще больше: у нас нет Кубани, Крыма, Дона, Украины. Поэтому бороться за хлеб нужно, как за победу на фронте. По всему видно, что товарищи этого не понимают. В смысле вооружения у нас хорошо. Эвакуированные заводы работают как следует,

вооружение у нас теперь на уровне германской армии, а год тому назад мы уступали в этой области. Однако мы можем потерять все на отсутствии хлеба.

Я не скажу, что хлеб заготовлять легко, трудности есть, и немалые. Плохо посеяно, качество сева плохое, обработка плохая, плохо убирали, и плоды от работы невелики. Трудно заготовлять, но эти трудности малы по сравнению с трудностями, которые страна наша преодолевает. Без хлеба страна не сможет воевать. Вы все сроки пропустили. План выполнен на 32 %.

Некоторые внутренне боятся, что скажем деревне, что хлеб берем. Надо сказать и скажем, и колхозники поймут, что государство, потеряв столько территорий, не может без хлеба жить. Это сделать сейчас легче, тем более что наша армия, приняв тяжелые удары летом и осенью этого года и выстояв, перешла в контрнаступление и будет дальше бить немцев. Это поднимает дух людей. Надо повести в этом отношении политическую кампанию. Вы должны удвоить и утроить темпы заготовок, в пятидневки декабря надо брать по 2,5 млн пудов хлеба, а в последнюю пятидневку ноября, пока будете раскачиваться, – 1,5 млн пудов. Потом будет труднее брать – растащат. Надо послать людей боевых, надо сказать – если кто идет для того, чтобы отсидеться от фронта, таких лучше не посылать».

По окончании обсуждения здесь так же, как и в Пензе, районам и колхозам были установлены пятидневные задания, установлены сроки обмолота, в районы были командированы ответственные работники обкома и облисполкома и 700 человек из числа областного и городского партактива, серьезное внимание было уделено вопросу привлечения к ответственности виновных в срыве хлебозаготовок.

За провал хлебозаготовок был снят с поста первый секретарь Мало-Кандалинского райкома ВКП(б) Терехин, которого исключили из партии и отдали под суд. За плохую организацию хлебозаготовок первому секретарю Камышлинского райкома Фахтееву был объявлен строгий выговор и он был предупрежден, что, если положение с хлебозаготовками в районе не будет выправлено, он будет снят с поста, исключен из партии и предан суду.

27 ноября мы выехали из Куйбышева в Уфу.

Положение с хлебозаготовками в Башкирской республике было плохим. По состоянию на 25 ноября 1942 г. план хлебосдачи был выполнен только на 26,9 %. Обком принял ряд решений по усилению хлебозаготовок, но действенного контроля за их выполнением не осуществлял.

Выступая на заседании Башкирского обкома партии, я говорил в том же духе, что и в Пензе и Куйбышеве:

«Многие партийные работники, особенно сельских районов, не чувствуют войны совсем, не понимают, до сердца не доходит, что есть война. У них свои соображения, свой район, беззаботная жизнь в районе, а что есть фронт, что тысячи людей свою жизнь отдают для победы над фашизмом, в самых ужасных условиях рискуют своей жизнью, эти, часто молодые, люди – это до них не доходит. Люди в окопах мерзнут. На Ленинградском фронте, в степи, в снегу бойцы валяются, жертвуют своей жизнью, а эти господа не изволят в колхоз прибыть, чтобы заготовить хлеб.

Чем может районное руководство помочь фронту? Оно не может производить пулеметы, боеприпасы, танки, но что оно может делать? Хлеб заготовить, мясо заготовить и сказать: «Хоть я и не воюю, но из кожи лезу, чтобы дать все для фронта».

Как товарищи сами понимают, без патронов и снарядов воевать нельзя. А без хлеба воевать можно? Тоже нельзя, тем более нельзя! А хлеб где? Не на фабриках, не в Москве и не на фронте растет, а в районах. А товарищи хотят отдохнуть в то время, когда государство в тяжелом положении.

Подсчитано, что по нынешним нормам снабжения армии и населения мы можем полностью обеспечить наши потребности. Это серьезно подсчитано. Надо заготовить хлеб, и тогда мы можем на армейском пайке держаться до конца войны.

Наконец, снабжение населения. Нельзя снижать паек. Если рабочий работает вдвое, то этот паек мал ему, а если придется снизить паек, тогда рабочий не сможет работать – значит, подорвется снабжение фронта.

Видите, как вопрос стоит, – не можем мы пойти на то, чтобы уменьшить паек красноармейцу или рабочему. Им не хватает. Рабочий работает месяцами без выходных дней, год без выходных дней, отдает все, все вытягивает из себя, извольте это знать. Мы не должны срывать дело. Мы будем не большевиками, а тряпками, если поддадимся таким людям, которые хотят отдыхать в выходной день. Мы должны снабжать рабочий класс, эвакуированных людей, которые оставили дом, все. Они куют современное оружие для фронта. Как можно это подорвать? Нельзя. А вы что делаете? А как может работать колхозник без рабочего, без машин. Колхоз без машины, без промышленности – это не колхоз.

Война перерождает людей. Это такое понятие, которое до сердца любого человека доходит. Ради Родины и победы над врагом он жизнь отдаст. Хлеб нам нужен.

Если мы немцев задержали, устояли зимой, теперь бьем и

будем бить, сорвать победу из-за того, что хлеба не можем заготовить, – это не выйдет! Хлеб должен быть заготовлен. Я не знаю, каким языком надо дать знать районным работникам, что хлеб надо заготовлять. Теперь многие и очки втирать стали. Им нельзя прощать. Мы не кровожадны. Но безнадежных надо наказывать. Политика репрессий неправильна. Но пугать, что отдадут под суд, а в душе и не думать о наказании тоже неправильно. Лучше репрессий не применять, а если применили, то надо проводить в жизнь. Поймали саботажника, антисоветского человека, который разлагает колхоз, убедились в этом. Надо его наказать. Если нет убеждения в виновности, надо подталкивать, ошибки исправлять. Надо уметь ошибки исправить и на ошибках учиться. Если это сделать и человек не повторит ошибку, значит, он сможет работать.

О совхозах. Товарищ Ершов был в совхозах. Одно название «зерносовхозы». Директор там просто преступник! Намолоченного зерна лежит 2170 т в зерносовхозе, а сдали государству 151 т. Все сроки кончились. Это два процента. Этот директор сидит и ждет, живет хорошо, но почему не в тюрьме сидит? Наверное, он бронь имеет от войны, как незаменимый человек. На каком основании? Снабжается он из казенного пайка, а это преступник. Я его не знаю, не проверял. Если он сам пишет, что 2000 т обмолочено и за все время сдано 150 т, пусть в отставку подает и идет на фронт. Директора совхозов Молмясотреста сидят и ждут. Они будут сидеть до весны и ничего не сдавать. А мы зачем в совхозе его держим? Надо такого директора «незаменимого» заменить, поручить прокурору, чтобы он расследовал и, если надо, арестовал и – под суд. Суд разберется. Он чихает на все законы государства.

Есть другие совхозы – Спиртотреста. 70, 79, 80 % они сдали, а этот сдал 2 %. Он думает: «Вот дураки, я 2 % сдал, сижу – и ничего, а они почти все сдали». Директора, который разлагает совхоз, надо снимать. Обком должен разобраться в этом.

Некоторые товарищи просили помочь горючим. Мы дали столько, сколько просили.

Оказалось, что основные кадры, которые проводят обмолот, – комбайнеры и трактористы, оказались в очень плохом положении потому, что обмолачивают влажное зерно, а отсюда большой расход горючего. При влажном зерне работы больше, и горючего расходует больше. Он не укладывается, и его штрафуют. В одном районе мне говорили, что на 50 тыс. оштрафовали одного тракториста.

Там есть честные люди, которые попали в такие условия. Урожай был низкий, трактор работал в грязи, машина была в

беспорядке.

Говорят, что колхозы распределяют на трудодни и некоторым трактористам хлеба не дают. Без тракториста и комбайнера работы не будет. Если тракторист и комбайнер не будут обеспечены, они или ломают машину, или не будут работать. На них надо опираться».

В тот же день обком партии и СНК Башкирской республики приняли постановление, в котором признали положение с хлебозаготовками в БАССР совершенно нетерпимым. Были установлены конкретные мероприятия и контроль за их выполнением, максимально обеспечивающий быстрейшую уборку хлеба.

В Чкалов мы приехали 30 ноября. Здесь мы решили, прежде чем проводить бюро обкома, ознакомиться с положением дел непосредственно на местах. Мы посетили колхоз «Трудовой актив». На этот колхоз была жалоба эвакуированных. Затем посетили райком Буранного района, затем поехали в райком района Ак-Булак.

В результате ознакомления с положением дел в районах было установлено, что вместо организации сдачи государству излишних семян ржи, оставшихся после озимого сева 1942 г., остатков страховых фондов урожая прошлого года секретарь обкома Лошкарев разрешил колхозам, не выполнившим своих обязательств перед государством, оставить это зерно и тем самым его припрятать. Эти антигосударственные действия дезорганизовали проведение хлебозаготовок в области. По нашему требованию эти указания были отменены.

Выступая на совместном заседании бюро обкома и облисполкома, которое состоялось в 10 часов вечера 2 декабря 1942 г., я говорил:

«Положение с хлебозаготовками: в октябре заготовки были лучше, в ноябре резкое падение, причем в ноябре заготовлено 3 400 000, в прошлом году было заготовлено 11 800 000 пудов. Это почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Такие темпы хлебозаготовок – это удар для государства, очень серьезный удар, опасный в данный момент потому, что у нас нет Крыма и Украины, нет Дона и Кубани, а сейчас для Красной армии хлеб могут дать только Куйбышевская область, Чкаловская, Челябинская, Новосибирская, Алтайская, Казахстан, ну, и Саратовская область, а остальные области смогут кормить только себя.

Совершенно нетерпимо то, что внедрилось в практику работы: это обман и самообман.

Вопрос об отдельных людях надо пересмотреть. Зачем

держать таких людей в районе, которые не способны обеспечить работу, пусть идут воевать, если они честные люди. Оставить тех, кто в тылу будет оправдывать интересы обороны Родины, делать то, что нужно для обороны, – продовольствие заготавливать. Нам не тыловые крысы нужны, а тыловые организаторы.

О семенах нужно думать, но думать после того, как государству хлеб заготовим. Придется изыскивать возможности. Есть старый урожай колхозный. Во всяком случае, нельзя возложить все трудности на плечи государства, а у самих как будто ничего не случилось. Нужно делить трудности поровну.

Навести дисциплину нужно, нужно по-военному работать, а не по мирному времени, то есть учитывать нужды фронта. Не случайно прифронтовые районы лучше всего заготавливают – и сеют лучше, и урожай лучше убирают, под огнем противника, под бомбежками, массу жертв несут во время уборки, во время сева. Фронт их воспитывает, фронт их организует, и они лучше работают. А вы фронта не чувствуете.

У вас и в партийных делах имеется ошибка в области руководства сельским хозяйством. Если не первый, то второй секретарь должен руководить сельским хозяйством, а оно у вас, выходит, в загоне. Третий секретарь руководит сельским хозяйством, это само по себе роняет значение сельского хозяйства. Это тоже нужно исправить.

Нужно принять хорошее решение, но решение ничего не стоит, если оно не выполнено. Значит, нужно выполнять, а товарищам нужно понять: шутить мы не имеем права. Мы сейчас переживаем такое серьезное время, хлеб для фронта – это все.

Кто поймет, пусть поправится, кто не поймет, накажем, иначе нам никто не простит – ни фронт, ни история, ни Родина».

Совместное постановление бюро Чкаловского обкома партии и облисполкома предусматривало принятие конкретных мер к исправлению положения с хлебоуборкой в области, осуществления за этим делом действенного контроля и наказания лиц, виновных в плохой работе по уборке хлеба, в его расхищении и т. д.

3 декабря решили лететь в Саратов. Поехали на аэродром, но из-за нелетной погоды вернулись в город и поехали поездом. В этой области по состоянию на 1 декабря 1942 г. план хлебозаготовок был выполнен лишь на 31,2 %.

Положение оказалось еще хуже, чем в Чкаловской. Обсуждение на бюро длилось четыре с половиной часа, но ясности в вопросе не было, в частности, по Ершовскому району, где райком партии явно проводил неправильную линию в ходе хлебоуборки.

Поэтому договорились прервать заседание, решение не принимать, а на следующий день выехать в этот район и на месте во всем разобраться, после чего продолжить заседание и принять решение.

Вряд ли какой-нибудь другой район подвергался такой проверке. В ней участвовали: член политбюро ЦК ВКП(б), два союзных наркома, замнаркома, группа ответственных работников двух союзных наркоматов. Мы облазили район, тщательно проверив фактическое положение. Хотя мы были в районе менее суток, но положение для нас стало совершенно ясным.

6 декабря вернулись в Саратов. Я в этот день принял ряд секретарей райкомов и председателей райисполкомов и имел с ними беседы.

На заседании бюро обкома в 12 часов дня 7 декабря, обстоятельно подготовившись, выступили Бенедиктов, Субботин и Ершов. Они дали исчерпывающую критику работы районов в области хлебозаготовок. Потом говорил я:

«Смотрел решения вашего пленума – там много хвастовства и мелких, не решающих дела успехов, а хлеб государству не сдается и проваливается план поставок. Когда читаешь эти решения, то получается впечатление, что дело обстоит очень хорошо, а на самом деле плохо.

Ваш путь неправильный, товарищи, и вам надо исправлять дело. Организация может оказаться перед банкротством, тем более у вас есть тенденция обещать и не выполнять. Это скользкий путь, дискредитирующий партию, это подрыв дисциплины, этим подрывается доверие, деловитость и исполнительность. Между словом и делом не должно быть расхождения.

В этом году вы заготовили 28 млн пудов хлеба, а в прошлом году на это же время 48,9 млн, то есть вы заготовили на 21 млн пудов меньше, чем в тот неурожайный, засушливый год.

Заготовка фактически приостановлена. 1200 т лежит, не вывозится, все знают, где лежит, и никто не трогает. Почему? Ведь рожь нельзя весной сеять. У них свои расчеты и другие махинации: себе оставлю, весной обменяю, а государство обойдется.

Отходы стали флагом укрытия хлеба от государства. Если сравнить любой год с этим годом, в этом году отходы значительно больше, 114 тыс. обмолотили, 17 тыс. отходы. Говорят, в ряде колхозов нарочно спутали хорошее зерно с отходами, чтобы после разговора о заготовках иметь это как ресурсы для маневрирования. А что за маневрирование? Например, в Ершовском районе оно заключается в том, что после

15 июня из старого урожая около 700 ц разбазарили, а потом ищут. Никто не проверяет, не следит, не интересуется. Есть колхозы, которые хлебосдачу не закончили, а продали на сторону за большую цену хлеб. Хлеб кругом продают – организациям и на базаре за баснословные цены.

Ведь мы, товарищи, хлеб на фронте и в городах рабочим выдаем граммами, а здесь пудами пропадает и центнерами, и никто на это не обращает внимания. Откуда такая безответственность и пренебрежение? Это очень опасный признак разложения организации, которая забыла интересы государства, разложилась, вроде как руководители Ершовского района. Они настоящие артисты, хотя у них полный провал с выполнением и люди дошли до прямого обмана. Есть колхоз «Энгельсский», который ни одного пуда в фонд Красной армии не сдал, а 200 ц семян заложил в страховой фонд сверх потребности. Это антивоенная демонстрация. Бюро райкома ВКП(б) не заметило этого. Странное притупление бдительности. Коммунисты стали какими-то слепыми. Хлеб прячут в отходах, в соломе, соблазн упрятать хлеб очень большой в нынешней военной обстановке, когда пуд хлеба стоит тысячу рублей. А контроля нет.

В районе имеется молодой районный прокурор, честный товарищ. Он бьется, но один ничего не может сделать. 8 тыс. пудов хлеба украли у государства, но санкции на привлечение к суду виновных районному прокурору не дают.

Я спрашиваю, как может наша партия, советская власть быть спокойна за такую работу? На глазах у всех украли 8 тысяч пудов хлеба, и даже нет концов, неизвестно, куда дели, ни один человек не интересуется, кроме райпрокурора, который бьется как рыба об лед.

Это значит, запутали дело, некоторые товарищи потеряли элементарное чувство ответственности перед государством. Районные работники – молодые люди, по всем законам они должны быть на фронте, а не здесь сидеть. Вас почему оставили? Потому, что фронт не может держаться без тыла, фронту нужен хлеб, и оставили группу освобожденных от армии людей, чтобы они своим опытом, умением обеспечили интересы фронта, а на деле получается, что крадут у фронта 8 тыс. пудов хлеба в одном колхозе района, и никто не пытается вернуть этот хлеб. Хлеб разбазаривается, фронту не дают его, и никто не беспокоится. Не сдают государству, а за это от государства бронь получили. За срыв заготовок нужна бронь работникам?

Районные работники докладывают в таком тоне, что видно: чувство ответственности полностью отсутствует. Отсутствие чувства ответственности в области, которая близка к фронту.

Выстрелы слышны здесь, а вы сидите, как будто бы кормить армию не ваше дело. Этого нельзя терпеть. Вся Европа бессильна, мы одни отражаем удар, и в это жесточайшее время, когда решается судьба нашего народа, такая беспечность, такая распущенность!

Вот почему надо вам понять все это, а кто не поймет – им нужна палка, их бить надо. У кого есть партийная совесть – она должна проснуться, чтобы драться за каждый килограмм хлеба; у кого не проснется – тюрьма и лагерь, каторжный труд.

Хлеб во время войны – это условие победы. Заводы из кожи лезут вон, чтобы дать больше снарядов, пулеметов для фронта, а мы 100 граммов хлеба рабочим не можем прибавить.

Я говорю, но мне совестно говорить об этом, неужели я вам это должен объяснять? Неужели трудно понять членам обкома ВКП(б), всем коммунистам и секретарям райкомов ВКП(б), что ваш долг во время войны перед государством – хлеб!

Если командир на фронте не выполнит приказа, то он идет под расстрел, хотя он, может быть, и честный человек. А в тылу секретарям райкомов ВКП(б) объясняют – и все. Что это такое? Где закон военного времени? Это очень опасно, товарищи. Если мы не заготовим хлеба, то надо уменьшать паек рабочим, служащим Красной армии. А чтобы победить врага, нельзя уменьшать паек красноармейцам».

Надо сказать, что коммунисты Саратовской области сделали правильные выводы из нашей критики и приняли реальные меры к завершению уборки хлеба и выполнению плана его поставки государству.

На следующий день мы были в Тамбове, где участвовали в работе бюро обкома партии, рассматривавшего вопрос о ходе хлебозаготовок в области, а 9 декабря в Рязани на бюро обкома по тому же вопросу.

Положение с хлебоуборкой и здесь было неблагополучным, но все же лучше, чем в предыдущих областях.

Дав определенные задания руководителям областей, мы в них не стали задерживаться и 9 декабря выехали в Москву.

Глава 37
Создание Резервного (Степного) фронта в 1943 г

Когда весной 1943 г. формировался Резервный фронт, мы еще не предполагали, что он войдет в историю как наиболее мощный резерв Ставки Верховного главнокомандования, когда-либо созданный за годы Великой Отечественной войны в виде специального фронтового объединения. Это стало ясно позднее.

В этот период на советско-германском фронте установилось временное затишье. Красная армия, разгромив немецко-фашистские войска в битвах под Сталинградом и на Северном Кавказе, далеко продвинулась на запад.

Руководители фашистской Германии проводили тотальную мобилизацию людских резервов и материальных средств для нового большого наступления на востоке. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, гитлеровцы осуществляли переброску ряда своих соединений с запада на восток. Местом для нового наступления (названного операцией «Цитадель») противник избрал район Курского выступа, подтянув туда крупные силы. Затем он намеревался развернуть наступление в северо-восточном направлении и выйти в глубокий тыл центральной группировке советских войск с целью захвата Москвы. Для наступления на Курской дуге гитлеровцы сосредоточили в этом районе до 50 лучших своих дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Они получили новейшие тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», самоходные штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты «Фокке-Вульф-190А», «Хейнкель-129», что заметно усилило их мощь в этих родах оружия. В ударных группировках противника насчитывалось около 900 тыс. солдат и офицеров, до 10 тыс. орудий и минометов, почти 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2000 самолетов. Несмотря на все меры, предпринимавшиеся гитлеровцами, чтобы скрыть эту подготовку к наступлению, советское командование разгадало планы врага.

Следует подчеркнуть, что, хотя стратегическая инициатива уже находилась тогда в руках Советской армии и мы располагали достаточными силами для активных наступательных действий, все же после неоднократных обсуждений в Ставке было принято правильное решение о временном переходе наших войск к преднамеренной обороне. Это преследовало цель – огнем всех видов глубоко эшелонированной обороны и массированным

ударом авиации с использованием оперативных и стратегических резервов измотать и обескровить наступающего врага и уже затем перейти в мощное контрнаступление. Удары противника из района Орла должны были отразить войска Центрального фронта под командованием генерала Рокоссовского, а из района Белгорода – войска Воронежского фронта под командованием генерала Ватутина.

Был осуществлен ряд мероприятий по усилению боеспособности войск, особенно на Юго-Западном стратегическом направлении. Нам надо было во что бы то ни стало сорвать новое наступление вермахта еще в тактической зоне обороны, до выхода войск в район Курска.

В этих условиях Сталин поставил вопрос о создании новых специальных резервных формирований.

Известно исключительное значение резервов и вообще крепкого тыла при ведении военных операций. Отвечая за тыл Красной армии, я всегда учитывал мнение Фрунзе о том, что «без самой тщательной, основанной на точных математических расчетах организации тыла, без налаживания правильного питания фронта всем тем, что ему необходимо для ведения военных операций, без самого точного учета перевозок, обеспечивающих тыловое снабжение, без организации эвакуационного дела – немыслимо никакое сколько-нибудь правильное, разумное ведение больших военных операций». Поэтому с самого начала Отечественной войны задача укрепления тыла и в первую очередь проблема создания оперативных и стратегических резервов рассматривалась нами как одна из центральных. Решение этой проблемы давалось нам нелегко. Теперь подсчитано, что вторжение врага привело к потере трети народного достояния СССР, и большая часть этих потерь приходится на 1941–1942 гг. И в таких условиях были приняты эффективные меры по созданию огромных, невиданных стратегических резервов.

Работой по мобилизации военных резервов для нужд войны занимались Генеральный штаб, Наркомат обороны, аппарат тыла НКО, НКВД, Комиссия при Совнаркоме по предоставлению отсрочек и военкоматы страны.

Как же родилась идея создания Резервного (Степного) фронта и как проходила его организация?

27 марта 1943 г. во втором часу ночи я приехал к Сталину по его вызову на ближнюю дачу в Волынском. Он рассказал, что, по данным нашей разведки, гитлеровцы концентрируют крупные силы для наступления в районе Курского выступа. «По-видимому, – сказал Сталин, – они попытаются овладеть

стратегической инициативой, имея дальний прицел на Москву. Чтобы этого не допустить, нам надо срочно организовать крепкий Резервный фронт, который мы могли бы ввести в бой в наиболее острый и решающий момент сражения и при дальнейшем переходе в контрнаступление».

Вопрос этот, судя по всему, уже был хорошо им обдуман и обсужден в Ставке, потому что он тут же высказал конкретные соображения не только о назначении и характере этого фронта, но и о районе, где он должен был формироваться, а также и о порядке комплектования его личного состава. Резервный фронт, по его мнению, следовало формировать прежде всего за счет тех воинских частей, которые после боев отводились в тыл для доукомплектования личным составом и военной техникой.

«Дело это очень важное и необходимое для дальнейших перспектив войны, – продолжал Сталин. – Надо, чтобы ты как член ГКО взял на себя организацию этого Резервного фронта, благо в твоих руках сосредоточены наши материальные ресурсы. Подбором командного состава фронта, как обычно, будет заниматься Генштаб, а все остальное – за тобой».

Такое поручение было для меня не только неожиданным, но и необычным, поскольку делами войсковых формирований я до тех пор не занимался, ведая с начала войны снабжением Красной армии в целом – вещевым имуществом, довольствием, горючим и артиллерийскими снарядами.

3 февраля 1942 г. я был уже формально введен в состав членов ГКО. Функции мои значительно расширились. Теперь моему контролю было подчинено также денежное и артиллерийское снабжение Красной армии и вообще «все органы снабжения Наркомата обороны по всем видам снабжения и транспортировки». В декабре того же года мне дополнительно был поручен контроль за Наркомцветметом, а также наблюдение за распределением металла, топлива и энергии по всей стране.

Получив задание о создании Резервного фронта, я, не дожидаясь постановления ГКО, сразу же приступил к исполнению. Начал с того, что 29 марта вызвал к себе начальника Главного управления формирования и укомплектования Красной армии генерал-полковника Щаденко. Мы обсудили возможности пополнения Резервного фронта личным составом. Договорились вести его формирование в основном за счет Московского военного округа, который охватывал тогда многие области европейской части СССР и направлял в вооруженные силы фактически треть всех призывников. Как правило, это была подготовленная в общеобразовательном и техническом отношении молодежь, среди которой насчитывалось много

комсомольцев.

Войсками Московского военного округа и Московской зоны обороны тогда командовал генерал-полковник Артемьев – опытный, хорошо знающий свое дело военачальник. Я знал его и раньше с самой лучшей стороны, а в результате частого общения в ту военную пору мое расположение к нему укрепилось еще больше.

Было решено сообщить всем заместителям народного комиссара обороны по родам войск о необходимости немедленного составления планов доукомплектования всех шести армий Резервного фронта вооружением, имуществом и автогужтранспортом, а также об отправке грузов в пункты дислокации армий: станции Лев Толстой, Боровое, Бобров, Касторное, Миллерово, Гжатск, Россошь – и контроле за движением транспортов с тем, чтобы обеспечить их прибытие в установленные сроки.

К слову хочу сказать, что хотя я и был наслышан о тяжелом характере Щаденко, но он проявил себя тогда со мной человеком безупречно дисциплинированным и исполнительным. Уже на другой день директива, о посылке которой мы договорились, была отправлена на места, а ее копии вручены мне и Василевскому в Генштаб.

Выполнялась эта директива также весьма оперативно. Приведу лишь один пример. Уже 1 апреля начальник Главного военно-инженерного управления Красной армии генералмай ор Калягин доложил мне, что 75 % потребности Резервного фронта в инженерном имуществе будет обеспечено из центра, а остальная часть непосредственно на фронте из армейских и фронтовых складов. Такое решение было вызвано отсутствием у Калягина необходимых данных об обеспеченности имуществом соединений к моменту вывода их на доукомплектование, а также переходом на сокращенный состав стрелковых дивизий (8000 чел.) и стрелковых бригад (5000 чел.). С этим решением пришлось согласиться.

Общевойсковые армии, выводимые с передовых позиций и намеченные в рабочем порядке в состав Резервного фронта, должны были быть доукомплектованы, вооружены и обеспечены всеми видами довольствия в следующие сроки: 2-я резервная (63-я) и 24-я (4-я гвардейская) – к 15 апреля; 66-я (5-я гвардейская) – к 20 апреля; 46-я и 53-я – к 25 апреля; 27-я – к 30 апреля и 47-я – к 10 мая. Время, таким образом, для этой работы отводилось предельно сжатое.

Вечером 30 марта мною были приняты: заместитель наркома обороны и начальник тыла Красной армии генерал Хрулев;

заместитель начальника Генштаба, начальник Главного оргуправления генерал-лейтенант Карпоносов, начальник Главного артиллерийского управления генерал-полковник Яковлев, командующий бронетанковыми и механизированными войсками генерал-полковник Федоренко, начальник войск связи генерал-полковник Пересыпкин и главный интендант армии генерал-лейтенант Драчев. Мы обсудили и решили многие вопросы материального обеспечения по родам войск и службам, представленным в составе Резервного фронта.

Нас волновал вопрос связи Резервного фронта с войсками. Однако по этому поводу мы очень быстро договорились с Пересыпкиным – прекрасным специалистом, человеком организованным и дисциплинированным, пользовавшимся общим доверием и уважением. 8 апреля он уже сообщил мне, что установлена временная прямая авиасвязь Генерального штаба со штабами фронта, армий, танковых и механизированных корпусов в Воронеже, на станциях Лев Толстой, Касторное, Россошь, а через промежуточный авиапункт в Россоши – с остальными армиями и корпусами, расположенными в Старом Осколе, Боброве, Алексеевке, Острогожске, Миллерово. Была дополнительно налажена также проводная связь (по азбуке Морзе) с Касторным, Россошью и Миллерово. Лишь при перерыве проводной связи штабу фронта для связи с Генштабом было разрешено пользоваться кодированной радиосвязью. Пересыпкин сообщил также, что принимает все меры к срочному прибытию на места фронтовых и армейских средств связи.

Следует отметить, что формирование Резервного фронта проходило на территории, лишь недавно освобожденной от гитлеровских оккупантов. Железные дороги, мосты, линии связи и электропередачи были выведены из строя и восстанавливались наспех, с большими недостатками. Автотранспорта не хватало. Использовать какие-либо местные ресурсы было почти невозможно. Все это создавало дополнительные серьезные трудности.

В начале апреля у меня прошло подряд несколько совещаний с соответствующими руководителями НКО, а также командующими, начальниками штабов и тылов армий, командирами танковых и механизированных корпусов. На этих совещаниях были рассмотрены многие конкретные вопросы, связанные с формированием Резервного фронта, а также с его материальным и иным обеспечением. Обычно такие совещания готовились заранее. Их участникам сообщалось время, место и содержание вопроса, по которому они должны быть готовы к докладу.

1 апреля началось обсуждение вопроса о военных перевозках. Впоследствии нам не раз приходилось возвращаться к вопросу железнодорожных перевозок. От военных по адресу НКПС поступало много нареканий.

Железнодорожный транспорт работал с перебоями. Этому было, конечно, немало объективных причин, связанных с военным временем. Первые неудачи в войне не могли не сказаться отрицательно на состоянии железнодорожных путей, подвижного состава и качества организации обслуживания, особенно в прифронтовых зонах. Часто происходили задержки с погрузкой эшелонов и транспортов, вызванные несвоевременной подачей железнодорожных составов. В пути эти составы нередко подолгу простаивали. В связи с этим я много раз звонил по телефону наркому путей сообщения Кагановичу и его заместителю Ковалеву, прося их принять соответствующие меры; телеграфировал командующему войсками Приволжского военного округа и секретарю Тамбовского обкома партии, а также непосредственно начальникам Ленинской и Московско-Донбасской железных дорог. Короче говоря, приходилось постоянно оперативно вмешиваться в продвижение эшелонов и транспортов, буквально проталкивая их в пункты назначения.

В целом железнодорожниками была проделана тогда колоссальная работа. Только за период сосредоточения всех резервов Ставки в намеченные пункты (с 1 апреля по 24 мая 1943 г.) железнодорожным транспортом было осуществлено передвижение 2340 оперативных и 300 снабженческих эшелонов и транспортов общим количеством 178,9 тыс. вагонов. Из них половина приходилась на долю Резервного фронта.

Остро обстояло дело с обеспечением Резервного фронта и автомобильным транспортом. Автомашины были нужны не только для перевозки людей и грузов, но и как тягачи для артиллерии. Приходилось строго учитывать буквально каждую автомашину. Я хорошо это помню, поскольку ведал ввозом из США автомашин «Студебекер», наблюдал за организацией их сборки и отвечал за поставку автотранспорта для вооруженных сил.

Однако при всей нехватке автомашин (на 1 апреля наши войска имели 84,3 % легковых, 50,4 % грузовых и 55,6 % специальных автомашин к штатной их потребности) было сделано все максимально возможное для Резервного фронта.

Дважды мне пришлось проводить специальные совещания по вопросу обеспечения новых формирований автомашинами. Помимо Щаденко, Федоренко, Хрулева и Яковлева я вызывал на эти совещания начальника Автомобильного управления армии

генерал-лейтенанта Белокоскова, начальника Управления формирования и укомплектования бронетанковых и механизированных войск генерал-майора Хосина, заместителя командующего артиллерией армии генерал-лейтенанта Шереметьева, начальника Управления формирования артчастей Главного управления командующего артиллерией генерал-майора Васюкова и других. Было решено довести количество автомашин в каждой стрелковой дивизии Резервного фронта до 100 и автотягачей до 15 единиц, а там, где их было больше, – сохранить наличие. По заключениям специалистов, такое количество автомашин являлось тогда минимально необходимым для соединений.

Забегая несколько вперед, хочу сказать, что в целом по Вооруженным силам СССР к 1 июля 1943 г. мы резко увеличили автомобильный парк и по легковым машинам. Удалось этого достигнуть в значительной мере за счет поступления автомашин из США по программе ленд-лиза.

Проект постановления ГКО о создании Резервного фронта был разработан Генеральным штабом и доложен Сталину по телефону 6 апреля 1943 г. заместителем начальника Генштаба Антоновым. Сталин в ту же ночь утвердил документ в моем присутствии.

Первоначально в состав Резервного фронта (думаю, военным это будет интересно) вошли 15 армий и корпусов, в том числе механизированные и танковые разных фронтов: 2-я резервная армия, выведенная из района Демянска (Северо-Западный фронт); 24-я (в последующем 4-я гвардейская) и 66-я армии Донского, а также 46-я армия Северо-Кавказского фронта; 1-й механизированный корпус Калининского, а также 4-й гвардейский и 10-й танковые корпуса Юго-Западного фронта. В апреле – мае в его состав вошли дополнительно еще четыре армии: 27-я и 53-я Северо-Западного и 47-я Северо-Кавказского фронтов и вновь сформированная 5-я гвардейская танковая армия; 3-й гвардейский танковый и 3-й гвардейский механизированный корпуса Южного и 2-й механизированный корпус Калининского фронта. В июле в его состав была включена еще 37-я армия Северо-Кавказского фронта. Затем 63-я (бывшая 2-я резервная) армия в конце апреля была введена в Брянский фронт, а 46-я армия в начале июня использовалась на Юго-Западном фронте. Стрелковые, танковые, артиллерийские и авиационные соединения и части поступили в создавшийся резерв в основном с фронтов и частично из вновь сформированных войск. Все эти войска нуждались в доукомплектовании и подготовке к действиям.

Говоря о создании Резервного (впоследствии Степного) фронта, считаю необходимым исправить одну неточность, допущенную по этому вопросу в воспоминаниях маршала Жукова (Воспоминания и размышления. М.: изд. АПН, 1969). На с. 471 Жуков рассказывает, что 9 или 10 апреля 1943 г. они вместе с Василевским составили «проект директивы Ставки о расположении резервов Ставки и создании Степного фронта (подчеркнуто мной. – *А. М.*) и послали этот проект на утверждение Верховному Главнокомандующему».

На самом деле вопрос о создании Резервного фронта (переименованного в июле 1943 г. в Степной фронт) был решен еще 27 марта 1943 г. во время нашей ночной встречи у Сталина, о чем я уже писал несколько выше. С этого дня организация Резервного фронта шла полным ходом при активном участии Генштаба. 6 апреля 1943 г. создание Резервного фронта было оформлено постановлением ГКО.

Впоследствии Резервный фронт лишь менял свои наименования: с 15 апреля он получил название Степного военного округа, а с 10 июля 1943 г. – Степного фронта.

Первым командующим Резервным фронтом был назначен боевой генерал Маркиан Попов, обладающий широким оперативным кругозором, затем генерал Рейтер, а с 23 июня 1943 г. командующим стал маршал Конев. Членами Военного совета Резервного фронта были вначале генерал-лейтенант Мехлис, а затем генерал-лейтенант танковых войск Сусайков и генерал-майор Грушецкий, начальником штаба генерал-лейтенант М.В. Захаров.

На Резервный фронт возлагались две задачи: при прорыве гитлеровцев остановить их частью своих сил, и – главная задача – быть готовым к переходу в мощное контрнаступление.

Расположение Резервного фронта и его броневого щита у основания Курского выступа создавало надежную гарантию успешного ведения оборонительного сражения и срыва попыток врага захватить стратегическую инициативу. Располагаясь в тылу Центрального и Воронежского фронтов, Резервный фронт составлял второй эшелон стратегического построения наших войск на Курском направлении, увеличивая глубину обороны до 300 км, придавая ей большую прочность и устойчивость. Этот мощный стратегический резерв являлся также эффективным средством в руках советского командования для осуществления контрнаступления и развития общего наступления на большую глубину.

Предназначение Резервного фронта для выполнения ответственных задач стратегического масштаба обязывало нас

сосредоточить главное внимание на танковых войсках, тем более что в то время они являлись узким местом. Уже в начальной стадии формирования фронта, к 25 апреля, все 10 танковых и механизированных корпусов Резервного фронта в среднем были укомплектованы: личным составом – на 60 %, вооружением – на 38 % и имуществом – на 60 %.

В масштабе фронта нам приходилось заниматься не только доукомплектованием личного состава, но и его вооружением.

Одним из моих заместителей как члена ГКО был неоднократно упоминавшийся крупный артиллерийский специалист, начальник Главного артиллерийского управления Красной армии Яковлев. Он хорошо знал не только артиллерию, стрелковое оружие и боеприпасы, но и промышленность, их производящую. Это давало ему возможность квалифицированно контролировать поставку готового вооружения и ход его производства. Яковлев отличался выдающимися организаторскими способностями, большой деловитостью, твердой волей, ясностью мысли, широтой взглядов и редкой настойчивостью. Я очень высоко ценил и уважал его, искренне полюбив за годы совместной работы.

Другим моим заместителем как члена ГКО был Зотов – нарком пищевой промышленности СССР – не только талантливый организатор, но и обаятельный человек. У нас с ним давно сложились и сохранились самые лучшие товарищеские отношения.

7 апреля, то есть через несколько часов после принятия постановления ГКО о создании Резервного фронта, заместитель начальника Генштаба Карпоносов направил командующему Резервным фронтом Попову сведения о состоянии соединений, которые прибудут к нему с других фронтов, план их доукомплектования и справку о ходе сосредоточения резервов Ставки для оперативного ориентирования.

В дополнение к 153 тыс. солдат и офицеров, а также 28 тыс. лошадей, которые имелись в распоряжении армий Резервного фронта 7 апреля 1943 г., они должны были получить еще 195 тыс. солдат и офицеров, а также 15,2 тыс. лошадей. Кроме того, для них дополнительно снаряжались 524 эшелона и транспорта с людьми, конским составом, вооружением, средствами связи, а также инженерным, вещевым и обозно-хозяйственным имуществом, из которых 32 эшелона уже поступили к ним в течение марта – в начале апреля 1943 г.

После решения главных вопросов формирования фронта в целом наступила очередь ознакомиться с фактическим состоянием его отдельных армий и корпусов. Об этом мне

хотелось получить информацию, что называется, из первых рук непосредственно от командиров корпусов и командующих армиями. С этой целью вместе с соответствующими военачальниками центра мы начали вызывать их по очереди в Москву для докладов.

Вместе с Щаденко, Карпоносовым, Хрулевым, Яковлевым, И. Ковалевым, Г. Ковалевым, Белокосковым и первым заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Коробковым мы несколько раз заслушивали (обычно после 22 часов) доклады руководителей военных советов армий и командиров механизированных и танковых корпусов Резервного фронта: генералов Трофименко, Ротмистрова, Скворцова, Кукушкина, Бахарова, Аникушкина, а также генералов армии Жадова, Кулика и других. Вопросами практического формирования Резервного фронта приходилось заниматься буквально каждый день.

Мне хотелось бы особенно отметить большой вклад в создание, сплочение и боевое использование ударной силы Резервного фронта, который внес тогда 42-летний генерал, коммунист с 1919 г., Главный маршал бронетанковых войск Ротмистров. Никто из нас не мог тогда и предполагать, что 11 июля 1943 г. танковая армия под его командованием осуществит в районе деревни Прохоровки крупнейшее в истории войн танковое сражение, в котором захлебнется немецко-фашистское наступление.

Создание Резервного фронта забирало у всех нас ежедневно много времени (в частности, у меня) на решение всевозможных, казалось бы небольших, но на деле важных и необходимых частных вопросов.

Дело в том, что я разрешил военачальникам фронтового, армейского и корпусного звена обращаться непосредственно ко мне в случаях тех или иных затруднений в их работе, минуя соответствующие инстанции. Поэтому в мой адрес поступало много всевозможных телеграфных запросов и просьб, в которых приходилось конкретно разбираться и принимать соответствующие решения. Сюда входили конкретные запросы на обмундирование и горючее, продовольствие и фураж, переадресовка грузов и посылка автотранспорта и индивидуальных перевязочных пакетов и т. д. и т. п.

Бывали и такие телеграммы. «Установлено, – сообщал я 10 мая Попову, – что части 66 армии производят улов рыбы в реке Дон запрещенными методами (применяют мины, гранаты, толовые шашки). Необходимо запретить всем частям вашего округа, дислоцированным по реке Дон и его притокам,

производить улов рыбы всеми другими средствами, кроме сетей».

Также напрямую приходилось иметь дело и с корпусами фронта. Иногда решались вопросы, которые сегодня могут показаться курьезными. Так, 2 июля в ответ на запрос 18-го танкового корпуса телеграфировал командиру этого корпуса Бахарову о том, что ГИУКА выделяет 2 пишущие машинки и 50 штук часов, доставку которых обеспечит начальник тыла Хрулев, и что типография для газеты корпуса отправлена Главным политуправлением Красной армии через политуправление Степного военного округа. (Следует иметь в виду, что в то время на пишущие машинки у нас был большой дефицит; их настолько не хватало, что по учреждениям Москвы была утверждена разверстка – сколько пишущих машинок каждое из них должно передать для Красной армии.)

Разумеется, что каждому такому ответу на просьбу или заявку предшествовала кропотливая работа по изучению вопроса. В этом большую помощь оказали мои заместители по ГКО Яковлев и Зотов, о которых я писал, помощники по военным делам Семичастнов и Кузьмин (сейчас они оба работают первыми заместителями министра внешней торговли СССР), а также Смиртюков (ныне управляющий делами Совета министров СССР), секретарь по военным делам Сорокин, заведующий моим секретариатом Барабанов и остальной аппарат Совнаркома.

В связи с формированием Резервного фронта я непосредственно в течение более чем трех месяцев имел дело примерно со 100 военачальниками, начиная от командиров корпусов и выше. Многие из них впоследствии стали видными военными деятелями, получившими широкую известность.

Кроме стратегических резервов, объединенных в Резервный фронт, были еще и другие резервы, которые подчинялись непосредственно Ставке Верховного главнокомандования. Они существовали в виде армий, отдельных корпусов, дивизий и частей, которые как действующие фронты, особенно на Юго-Западном и Западном стратегических направлениях, также нужно было постоянно доукомплектовывать и пополнять всем необходимым для успешного окончательного перелома в войне.

Еще с февраля 1943 г. развернулась кампания по мобилизации сил для закрепления стратегической инициативы, завоеванной под Сталинградом.

Чтобы показать ее размах, остановлюсь на результатах лишь по одному виду деятельности – пополнению армии людьми (сюда входят показатели и по Резервному фронту).

Всего с 1 января по 10 июля 1943 г. для укомплектования частей и учреждений Красной армии было направлено 2 962 000

человек. Всех их нужно было перевезти. Только за февраль – май 1943 г. фронтами было разгружено 13 484 эшелона с людьми. В том числе из Московского военного округа прибыло 1335 эшелонов с военнообязанными из запаса и обученные призывники 1924 г. рождения; из Уральского военного округа – 750 эшелонов с разбронированными военнообязанными; из Южно-Уральского военного округа – 3880 эшелонов (маршевое пополнение, обученные призывники и нестроевые); из Сибирского военного округа – 5019 эшелонов (обученные призывники 1924 г. рождения) и с Дальневосточного фронта – 2500 эшелонов (старослужащие).

Разумеется, такое огромное количество эшелонов с людьми заполнило железнодорожные магистрали страны непрерывными потоками поездов, вызвав крайнее напряжение.

Я сознательно сделал некоторое отступление от основной темы, чтобы показать масштабность и глубину процессов, происходивших в то время. Все это было возможно только благодаря неиссякаемой энергии народных масс, создавших крепкий тыл, воедино слившийся с фронтом для победы над врагом. Советский народ превратился как бы в стальной сплав. Его самоотверженным трудом, невзирая на невероятно тяжелые условия, ковалась грозная боевая техника. Миллионами незримых нитей тыл был связан с фронтом. Трудовой героизм братских народов советских республик, непоколебимая вера в торжество победы под руководством Коммунистической партии – вот что объединило всех советских людей в единый, активно действующий лагерь фронта и тыла.

Уже к осени 1942 г. основная промышленность, перебазированная на восток, твердо встала на ноги и завершилась общая перестройка народного хозяйства СССР на военный лад. В результате 1943 г. стал переломным и в экономике страны. Поразительно, но это факт, что уже к лету 1943 г. наша армия располагала передовой военной техникой и превосходила гитлеровскую армию по количеству танков, самолетов, орудий. Приведу только один пример. В 1943 г. наша страна произвела 24,1 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок, а Германия только 11,9 тыс. Если бы это было сделано до июня 1941 г., фронт получил бы возможность не только восполнять потери, но и увеличивать количество вооружения, боеприпасов и боевой техники, развернуть новые формирования и создавать резервы.

Главными отраслями военной экономики в годы войны ведали заместители Председателя СНК СССР Вознесенский, Косыгин, Малышев, Микоян, Молотов, Первухин, Сабуров и

секретарь ЦК Маленков. Промышленностью оборонного значения руководили наркомы: Шахурин (авиация), Устинов (вооружение), Ломако (цветмет), Акопов (автомобилестроение), Паршин (минометное вооружение), Ванников (боеприпасы), Тевосян (черная металлургия), Бенедиктов (сельское хозяйство), Вахрушев (уголь), Байбаков (нефть), Хрулев (тыл), Каганович и И. Ковалев (железнодорожный транспорт) и другие.

В ЦК партии союзных республик, обкомах и горкомах партии был создан соответствующий аппарат и утверждены секретари по отдельным отраслям промышленности. Первичные партийные организации явились решающими звеньями партии в борьбе за увеличение выпуска боевой техники.

Все это, вместе взятое, помогло нам, и в частности мне, опираясь на людей, отлично знавших свое дело, в срок и в целом неплохо справиться с выполнением в 1943 г. поручения ГКО по созданию Резервного фронта.

Как показал ход войны, в победоносном исходе битвы на Курской дуге Резервному (Степному) фронту принадлежала особая роль. Наступление ударной группировки противника в полосе Центрального фронта было отражено на седьмой день операции при помощи сил этого фронта, без привлечения других резервов Ставки.

В полосе Воронежского фронта удар наносила еще более мощная группировка врага. Она вклинилась в нашу оборону на глубину 30–35 км, но и ее продвижение было остановлено на восьмой день операции. Однако для этого пришлось привлечь две армии Резервного (Степного) фронта – 5-ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова и 5-ю гвардейскую армию Жадова. Наличие Степного фронта в этот момент спасло положение. Остальные же силы Степного фронта были использованы для контрнаступления на Белгородско-Харь ков ском направлении, для освобождения Харькова и победоносного завершения Курской битвы. В решении этих задач Резервному (Степному) фронту принадлежала чрезвычайно важная и, я бы сказал, решающая роль.

Работа по формированию Резервного фронта постоянно находилась в поле зрения Сталина. Я имел возможность свободно, когда мне было нужно, заходить к нему для беседы по тому или иному вопросу. Большей частью мы виделись два раза в день, что, конечно, облегчало работу. Это объяснялось тем, что вопросы снабжения фронта были тесно связаны с любыми военными операциями. Никаких отчетов ему я не писал: устно информировал его каждый день, согласовывал вопросы – все делалось оперативно, без бумажной волокиты.

Так часто, как я, бывал у Сталина только Молотов. Но это

было другое дело. Его Сталин фактически отстранил от дел, но держал при себе. Поэтому зачастую Молотов просто сидел в кабинете Сталина и присутствовал при всех беседах и докладах. Внешне это создавало ему особый престиж, а на деле Сталин изолировал его от работы, видимо, он ему не совсем доверял: как бы второе лицо в стране, русский, не стал у него отбирать власть. Между тем никаких оснований не доверять Молотову у него не было.

До 1944 г., когда Ворошилов был выведен из членов ГКО, он так же свободно заходил к Сталину. Потом его даже на заседания политбюро не приглашали, хотя он и не был выведен из его состава.

Часто бывал на докладах у Сталина и Маленков, который ведал работой ЦК, авиацией и авиапромышленностью. С ним Сталин был на «вы».

Кстати, очевидно, небезынтересно рассказать, как проходили заседания у Сталина во время войны.

Официальных заседаний ГКО Сталин не собирал. Вопросы обычно решались оперативно, по мере их возникновения, узким составом политбюро. В полном составе заседания бывали крайне редко; чаще всего нас присутствовало пять человек. Собирались мы поздно вечером или ночью и редко во второй половине дня, как правило, без предварительной рассылки повестки заседания.

На таких заседаниях, проходивших в кабинете за длинным столом, Сталин сидел в головной его части или, по своей привычке, медленно ходил около него.

По одну сторону от него, ближе к стене, садились: я, Маленков и Вознесенский; напротив нас – Молотов, Ворошилов и остальные члены политбюро. У другого конца стола и около стены находились все те, кто вызывался для докладов.

Должен сказать, что каждый из нас имел полную возможность высказать и защитить свое мнение или предложение. Мы откровенно обсуждали самые сложные и спорные вопросы (в отношении себя я могу говорить об этом с полной ответственностью), встречая со стороны Сталина в большинстве случаев понимание, разумное и терпимое отношение даже тогда, когда наши высказывания были ему явно не по душе.

Он был внимателен и к предложениям генералитета. Сталин прислушивался к тому, что ему говорили и советовали, с интересом слушал споры, умело извлекая из них ту самую истину, которая помогала ему потом формулировать окончательные, наиболее целесообразные решения, рождаемые, таким образом, в результате коллективного обсуждения. Более

того, нередко бывало, когда, убежденный нашими доводами, Сталин менял свою первоначальную точку зрения по тому или иному вопросу.

Протоколирования или каких-либо записей по ходу таких заседаний не велось. Решения по обсуждаемым вопросам принимались или непосредственно на самом заседании, когда проекты этих решений были заранее подготовлены и не встречали возражений, или их подготовка (или переработка) поручалась докладчику, а то и группе товарищей, которые потом представляли подготовленные ими проекты непосредственно Сталину. Иногда короткие решения под диктовку Сталина записывал Молотов. В некоторых случаях для этого вызывался Поскребышев.

В зависимости от содержания решения оформлялись в виде либо постановления ГКО, либо постановления СНК или ЦК ВКП(б), а то и совместного постановления СНК и ЦК ВКП(б). Мне представляется, что в период войны такой оперативный порядок решения вопросов был правильным и вполне оправданным.

Не касаясь здесь тех сторон деятельности Сталина, которые были в последующем справедливо осуждены нашей партией, должен сказать, что Сталин в ходе и особенно в начале войны, как я понимал это тогда и как думаю об этом и теперь, в целом проводил правильную политическую линию. Он был гораздо менее капризным и не занимался самоуправством, которое стало проявляться, когда наши военные дела пошли лучше и он просто зазнался. Правда, были и в начале войны позорные эпизоды, связанные с упрямством, нежеланием считаться с реальными фактами. Например, категорическое запрещение выйти из назревавшего котла целой армии на Украине, хотя Хрущев и Баграмян настаивали на этом. Помню, он даже не подошел к телефону, когда Хрущев звонил по этому вопросу, а поручил ответить Маленкову. Мне это показалось невозможным самодурством. В результате целая армия пропала в котле, и немец вскоре захватил Харьков, а затем и прорвался к Волге.

Но никогда за историю Степного фронта такое не имело места.

Во время войны у нас была определенная сплоченность руководства. Все работали в полную силу. Сохранившиеся дневники по моей приемной в Совнаркоме и Внешторге, которые вели дежурившие там чекисты, свидетельствуют о том, что в войну я работал иногда по три месяца, не имея выходных дней.

Как я уже говорил, мои отношения со Сталиным стали улучшаться с начала войны, потому что Сталин, поняв, что в

тяжелое время нужна была полнокровная работа, создал обстановку доверия, и каждый из нас, членов политбюро, нес огромную нагрузку. Мы с успехом работали благодаря тому, что в основе лежало доверие. Часто крупные вопросы мы решали телефонным разговором или указанием на совещании или на приеме министров. Очень редко прибегали к письменным документам. Поэтому, если искать документы о работе ГКО, политбюро и др., будет очень трудно, так как их было очень мало, может создаться впечатление, что ничего не делалось. Для историков и мемуаристов это очень плохо. Но мы не об этом в то время думали, не об историках и мемуаристах. Нам дорога была каждая минута для организации дела, для организации тыла, для руководства страной.

И надо сказать, что в первые три года войны была отличная атмосфера для товарищеской работы всех нас. Только в последний год, когда победа явно обозначилась, страна была почти освобождена, Сталин, не без помощи Берии, а скорее по его инициативе, снова ввел бумажную волокиту в нашей работе.

Как зампред Совнаркома СССР я отвечал за деятельность ряда наркоматов, по совместительству был наркомом внешней торговли. С начала войны на меня, как и на других членов политбюро, были возложены многие обязанности военного времени, давались различные, подчас очень сложные поручения сверх этих обязанностей. Все это показывает, какого высокого мнения были Сталин и ЦК о моих способностях, и свидетельствует о доверии с их стороны ко мне как работнику. На мне лежала непосильная нагрузка, но в общем, по мнению Сталина и ЦК, я с ней справлялся.

30 сентября 1943 г. «за особые заслуги в области постановки дела снабжения Красной армии продовольствием, горючим и вещевым имуществом в трудных условиях военного времени» мне было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

К концу войны, уже с 1944 г., когда стала явной наша победа, Сталин, зазнавшись, стал капризничать. Первое проявление этой стороны его характера в отношении меня имело место в сентябре 1944 г., когда он грубо отклонил мое предложение об отпуске семян для озимого сева 1944 г. тем освобожденным от оккупации колхозам и совхозам Украины, которые сами не в силах были найти семенное зерно. В этих хозяйствах была явная угроза недосева озимых, что означало ущерб для будущего урожая.

По этому вопросу мной была направлена Сталину краткая записка, подготовленная совместно с секретарем ЦК Андреевым после строгой проверки вопроса через Наркомат по заготовкам и аппарат ЦК.

К записке прилагался проект постановления, предусматривающий отпуск для озимого сева 1944 г. пострадавшим от оккупации и военных действий колхозам и совхозам долгосрочной семенной ссуды в количестве 14 500 т с условием возврата из урожая 1945 г. и начислением 10 ц на каждые 100 ц ссуды и краткосрочной семенной ссуды в количестве 63 600 т с условием возврата из урожая 1944 г., но не позднее 15 октября, с начислением 2 ц на каждые 100 ц, то есть сроком на один месяц.

На моей записке 17 сентября 1944 г. Сталин написал: «Молотову и Микояну. Голосую против. Микоян ведет себя антигосударственно, плетется в хвосте за обкомами и развращает их. Он совсем развратил Андреева. Нужно отобрать у Микояна шефство над Наркомзагом и передать его, например, Маленкову».

На следующий день я был освобожден от обязанностей по контролю за работой Наркомата по заготовкам, и эта функция была возложена на Маленкова.

Надо сказать, что еще в августе 1944 г. я представил Сталину записку и проект постановления об образовании неприкосновенного государственного резерва хлеба в размере 8 млн т, государственного страхового фонда зерна в размере 1 млн т и государственного сортового фонда зерна в количестве 320 тыс. т. Вообще заготовками я занимался с 1921 г. Еще в Нижнем Новгороде был уполномоченным ВЦИК по продналогу. На Северном Кавказе успешно руководил проведением заготовок. Затем как нарком и зампред Совнаркома я непосредственно руководил почти все время делом заготовок по всей стране и дело это хорошо знал.

И во время войны в самых трудных условиях нехватки хлеба дело заготовок также проводил успешно. Под моим непосредственным контролем были расход и приход хлеба в государстве, подготовка решений правительства по этим вопросам и контроль за их выполнением. Примечательно, что к концу войны государственный резерв хлеба (около 500 млн пудов) был примерно равен количеству хлеба, с которым мы встретили войну.

Я знал об отношении Сталина к крестьянам. Он охотно брал с них все, что можно было взять, но очень неохотно шел на то, чтобы им что-то дать, даже в виде возвратной ссуды с большим процентом, когда они были в безвыходном положении. Поэтому я всегда тщательно проверял все обстоятельства вопросов, касающихся взаимоотношений с деревней, и обращался к Сталину за разрешением этих вопросов только в самых необходимых случаях. И поэтому предусмотрел возврат с

процентами. Иначе к нему было бесполезно обращаться. Мое предложение о предоставлении ссуды, которое он назвал «антигосударственным», было не только в интересах колхозов и совхозов, но и государства в целом. Ведь предлагалось дать ссуду без ущемления других потребностей государства на небольшой срок, в течение которого зерно все равно лежало бы, и с получением высокого процента со стоимости ссуды. Ссуду же колхозы возвращали в первую очередь вместе с выполнением обязательных поставок государству.

Я был возмущен этим поступком Сталина по вопросу жизни и продовольственного снабжения больших масс людей, только что освобожденных от немецкой оккупации, причем сама оккупация произошла по вине руководства государства, то есть прежде всего самого Сталина. Меня также возмутила его грубость по отношению ко мне, потому что я знал, что прав.

Что касается его предложения передать эти мои обязанности Маленкову, то они меня лично устраивали, так как я и без того был перегружен работой. За все время моей работы я больше ни от кого не получал такого упрека ни устно, ни письменно. Всегда чувствовал, что товарищи, в том числе и Сталин, были удовлетворены моей работой.

Кстати, через год-два дело заготовок опять было поручено мне. Видно, Маленков справлялся с ним хуже.

Глава 38
Поездка по фронтам и районам, освобожденным от фашистской оккупации. Помощь народам Европы

Шел третий год Отечественной войны. В великих битвах под Москвой, Сталинградом и под Курском наша армия разгромила отборные силы гитлеровской Германии и развернула невиданное контрнаступление по фронту протяженностью свыше 2000 км.

К концу 1943 г. советские войска завершили освобождение западных областей Российской Федерации и очистили от фашистов Левобережную Украину, Донбасс и Кубань. И хотя вооруженные силы, брошенные против нас Гитлером, были еще достаточно велики и война продолжалась все еще на нашей территории, было уже ясно, что в ходе войны произошел коренной перелом.

В этих условиях все наши усилия были направлены на окончательное освобождение нашей Родины, на разгром и уничтожение фашистского зверя в его берлоге.

К середине 1943 г. в нашей действующей армии насчитывалось около 6,5 млн человек, почти 100 тыс. орудий, минометов и установок полевой реактивной артиллерии, 9,5 тыс. танков, около 8,3 тыс. самолетов, более 300 боевых кораблей и т. п. Все это огромное и притом активно действующее «хозяйство» требовало своевременного и бесперебойного обеспечения современной боевой техникой, вооружением и боеприпасами, продовольствием, вещевым имуществом, горючим, смазочными материалами и т. п.

В результате героических усилий тыла наша военная промышленность, преодолев трудности первого года войны, успешно набирала нужные темпы и уже в 1943 г. обеспечивала основные потребности фронта. Я сознательно не касаюсь здесь вопросов, связанных с производством боевой техники, вооружения и боеприпасов, поскольку дело это совершенно особое. А кроме того, контроль за ним был поручен другим членам политбюро и ГКО (Вознесенскому, Маленкову, Берия и Молотову).

Остановлюсь здесь еще раз лишь на обеспечении действующей армии продовольствием, точнее – хлебом.

С начала войны снабжение армии хлебом и другими продуктами питания осуществлялось из Центра, за счет наших

общегосударственных резервов. Однако резервы эти приходилось всячески экономить, поскольку они были ограниченны.

Почти два года мы не получали хлеба от Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик, Смоленщины, Орловщины, из Курской области, потом были лишены кубанского, ставропольского и донского хлеба. К этому надо добавить, что план хлебозаготовок по ряду тыловых районов выполнялся в 1943 г. весьма неудовлетворительно.

К тому же, по мере того как фронт удалялся все дальше на запад, все больше и больше стало требоваться транспортных средств для перевозок непосредственно войск, боевой техники, вооружения и боеприпасов. С транспортировкой продовольственных грузов стали возникать большие затруднения, особенно на Урале и в Сибири.

В таких условиях нормально снабжать армию из Центра по фронту огромной протяженности становилось очень трудно. Что же касается внутриармейских запасов, то они, и всегда-то не особенно большие, в условиях неаккуратного пополнения быстро таяли, доходя кое-где до двух-трехдневных норм потребления.

Поэтому, когда войска стали приближаться к нашей государственной границе, освобождая тысячи населенных пунктов, возник вопрос об изменении существующего порядка централизованного снабжения армии.

Обсудив создавшееся положение и взвесив наши реальные возможности вместе с руководителями Управления тыла Красной армии и соответствующих наркоматов, я пришел к выводу, что наряду с экстренными мерами по скорейшему завершению хлебозаготовок в тыловых областях и республиках необходимо немедленно поручить заготовку хлеба для фронта в освобожденных районах самим войсковым частям.

Из чего я при этом исходил? Конечно, во многих освобожденных прифронтовых районах хлеб частично был убран еще при оккупантах, которые постарались при отступлении вывезти его как можно больше с собой или уничтожить. И тем не менее было хорошо известно, что хлеба в этих районах осталось еще немало. Он был и у самих колхозников, и у единоличников, сумевших в свое время надежно схоронить его от гитлеровцев, а главное, много хлеба оставалось неубранным на полях, где он постепенно погибал на корню от дождя и снега, а еще совсем недавно – от передвижения отступавших и наступавших громад войск.

Теперь же, когда положение в освобожденных районах несколько стабилизировалось, в местных колхозах не хватало рабочих рук, транспорта и средств, чтобы убрать оставшийся

урожай, обмолотить, перевезти и сохранить его. Лошадей у них вообще не осталось. Вот почему женщины – основное население этих мест – на себе тащили сельскохозяйственные орудия, чтобы обработать землю.

Спасти этот хлеб можно было только с помощью армии, срочно переключив мощные силы ее фронтовых тылов на совместную с местными гражданскими организациями работу по заготовке хлеба для нужд армии, а также рабочего тыла и жителей самих освобожденных районов. Для этого требовалось временно мобилизовать с фронтов нужное количество бойцов и транспорта.

Для этой же цели (но это была уже работа целиком гражданских организаций) надо было во всех освобожденных районах срочно восстановить квалифицированный заготовительный аппарат, распавшийся за годы войны в связи с мобилизацией людей в армию или эвакуацией их в тыловые районы страны.

Задача эта была тоже не из легких. Чтобы укомплектовать сеть одних только районных уполномоченных Наркомата заготовок в освобожденных районах Украины, Белоруссии и некоторых других республик, докладывал мне в начале ноября 1943 г. нарком заготовок СССР К. Субботин, требовалось более 1000 специалистов-заготовителей. Пока что наркомат сумел вызвать из тыловых районов 450 таких работников и мог отозвать из армии еще не более 200 человек. Всех остальных предполагалось подобрать из числа партизан, находившихся в тылу врага на подпольной работе, инвалидов Отечественной войны, в общем – за счет подготовки кадров на месте.

Не помню точно, какого числа, кажется, 10 или 11 ноября 1943 г., я подробно рассказал обо всем этом Сталину. Как всегда, он внимательно меня слушал, изредка задавая вопросы: «А сколько надо мобилизовать бойцов и транспорта?», «На какой срок?», «Как ко всему этому относятся военные, армейские тыловики?» и т. п. Потом, подумав, он сказал, что согласен с таким решением, и поручил подготовить проект соответствующего постановления СНК СССР и ЦК. «Только доведи это дело до конца сам, – сказал он, – я очень занят в связи с подготовкой к Тегеранской конференции».

Такое постановление было подготовлено и подписано 15 но ября. Одновременно было решено для оказания помощи местным организациям и контроля за выполнением этого постановления командировать на места Андреева, Вознесенского, Косыгина, Шверника, меня и еще некоторых членов ЦК.

Мне лично предстояло за очень небольшой срок побывать в

Орловской и Курской областях РСФСР, в семи лишь недавно полностью или частично освобожденных областях Украины – Киевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской, а также встретиться с командующими четырех Украинских фронтов генералами Ватутиным, Коневым, Малиновским и Толбухиным.

В поезде меня сопровождали товарищи Гриценко (заместитель Председателя СНК РСФСР), Пронин (Наркомпищепром СССР), Зуев (начальник группы заготовок СНК СССР), Попов (Наркомгосконтроль СССР), Брагин (Центросоюз), а также генералы Миловский (начальник штаба Тыла Красной армии), Данченко (Управление государственных материальных резервов) и Павлов (Управление продснабжения Красной армии).

Располагая такими квалифицированными помощниками, можно было, приезжая на место, не тратить время (а его у нас было в обрез) на выполнение обычных «ревизорских» обязанностей. Опираясь на местный партийный и советский актив и широко его мобилизуя, мы довольно быстро и притом достаточно глубоко и объективно выясняли обстановку, определяли наиболее слабые места и конкретные меры к устранению обнаруженных недостатков, уточняли на ходу планы, задания и всевозможные графики, а главное, укрепляли деловые связи областных организаций с командованием фронтов и службами их тыла.

Работая под моим общим руководством и постоянно держа меня в курсе всех дел, сопровождающие товарищи в то же время были вполне самостоятельны. Я дал им полномочия, не дожидаясь каких-либо «специальных заданий» или «поручений», активно действовать самим по заранее согласованному плану. По частным вопросам они могли принимать решения самостоятельно. Если была нужда, оперативно связывались со всеми ведомствами, решая с ними соответствующие вопросы. Словом, они не командовали и не приказывали, а, проверяя фактическое состояние, старались всеми доступными средствами помочь местным работникам.

Еще в Москве, не дожидаясь решений на местах, я поручил Управлению тыла Красной армии выделить в централизованном порядке для проведения уборки и заготовки хлеба в освобожденных областях 100 автомашин с водителями. Эта помощь, как потом выяснилось, была совершенно необходима.

Кроме того, чтобы помочь секретарям местных обкомов более оперативно связываться с районами и колхозами во время хлебозаготовительных работ, всем им, по моему указанию, были выделены автомашины повышенной проходимости, полученные

по ленд-лизу от США «Виллисы» и «Доджи». Когда мы потом приезжали на места, эти автомашины были уже получены и несли службу.

Отправляясь в поездку, я получил в Москве отдельный служебный вагон, который во многом облегчил нашу работу. В пути не надо было тратить время на поиски друг друга: все были вместе. Приехав на место и расходясь по делам, мы собирались после рабочего дня снова все в этом вагоне, обычно ближе к вечеру, вернее сказать, к ночи – такой уж был тогда у нас рабочий день, чтобы подвести итоги сделанному за день и определить дальнейшие задания. Здесь же, в вагоне, готовились и согласовывались различные проекты решений, подписывались распоряжения и т. п. Иногда, желая сэкономить время, мы брали в свой вагон кого-нибудь из местных работников, чтобы за время пути о чем-то дорасспросить, договориться, выяснить или решить какой-то вопрос или просто не торопясь прослушать нужную информацию.

16 ноября вместе с сопровождающими товарищами я был уже в Орле. Этот город всего три с половиной месяца назад освободили от гитлеровцев войска Брянского фронта под командованием генерала Еременко, и поэтому областные руководители были по горло заняты срочным залечиванием еще совсем свежих ран, нанесенных Орловщине прошедшим ураганом войны и почти двухлетней оккупацией. Хозяйство города и области было сильно разрушено. Кругом груды развалин и пепелища. Все это постепенно расчищалось и с большим трудом приводилось в порядок, восстанавливалось.

Энергичные секретари обкома Игнатов и Матвеев вместе с председателем облисполкома Ромашиным, опираясь на областной актив, отдавали этому делу все свои силы. Но слишком уж много было всяких дыр, руки до всего сразу не доходили, и поэтому в сутолоке дней подчас упускались и очень важные дела.

В частности, нельзя было признать благополучным положение с заготовкой хлеба в области, ради чего мы сюда и приехали.

Основные причины такого положения коренились в нехватке по селам рабочих рук, инвентаря и транспорта. В этом мы смогли потом убедиться не только на примере Орловщины, но и других освобожденных областей, где довелось побывать в ту поездку.

Направляясь в Орел, мы, конечно, прежде всего думали о том, как сумеет область помочь войскам 1-го Белорусского фронта, где, как я знал, положение с хлебом было очень тяжелое.

Поэтому по моему указанию в Орел был срочно вызван телеграммой заместитель командующего войсками этого фронта

по тылу генерал-лейтенант Антипенко. Он прилетел в тот же день и сразу попал на совещание в обкоме. Беседа там и состоялась.

«Ну, как дела на фронте?» – «Плохи дела, хлеба нет, товарищ Микоян. В некоторых армиях и дивизиях, – рассказывал Антипенко, – хлеба и круп оставалось чуть ли не на один-два дня. Создалось положение более чем напряженное: фронт, насчитывающий до полутора миллионов едоков, располагает чуть ли не однодневным запасом хлеба!» – «Вы хотите иметь хлеб?» – «Я затем и прилетел к вам, чтобы попросить». – «А я затем вас и вызвал, чтобы предложить хлеб». – «А где же этот хлеб?» – «Весь хлеб у вас. Вы по хлебу ходите». – «Не понимаю вас, товарищ Микоян». – «Мы даем вашему фронту Орловскую, Сумскую, Черниговскую и Гомельскую области для заготовки хлеба. Сумейте этот хлеб взять».

Решение о таком «прикреплении» этих областей к 1-му Белорусскому фронту было принято мною еще до отъезда из Москвы, о чем я и послал письма-распоряжения командующему фронтом Рокоссовскому и соответствующим секретарям обкомов и председателям облисполкомов. Аналогичные «прикрепления» были сделаны и по другим фронтам.

Мое сообщение и последовавшая за этим обстоятельная беседа искренне обрадовали Антипенко. Мы договорились, что конкретно надо сделать фронту и областным организациям, чтобы поскорее закончить уборку погибающего урожая, провести заготовку и закупку хлеба, а также как организовать дальнейшее хранение хлеба.

Антипенко уехал к себе значительно ободренный. На другой же день после совещания в Орле вопрос о мерах помощи «прикрепленным» к фронту областям обсудил Военный совет 1-го Белорусского фронта. Непосредственно на заготовку хлеба он направил в эти области 27 тыс. солдат, 2,5 тыс. офицеров, 2 тыс. автомашин, обеспечив их водительским составом и горючим за счет ресурсов фронта, несколько сот пароконных повозок и т. п. Кроме того, командующий дал указание фронту об использовании всего идущего порожняком воинского автотранспорта для попутных перевозок хлеба. Это была поистине огромная помощь.

В своих интересных воспоминаниях Антипенко рассказывает, с каким огромным энтузиазмом участвовали в уборке и обмолоте зерна вместе с бойцами жители освобожденных районов.

В результате такой дружной работы армии и тружеников Орловской, Сумской, Черниговской и Гомельской областей к февралю 1944 г. было заготовлено 13 607 тыс. пудов зерна, и таким образом 1-й Белорусский фронт был обеспечен хлебом до

августа 1944 г. Более того, из своих запасов бойцы фронта и трудящиеся этих областей отправили 60 тыс. пудов зерна населению Ленинграда.

18 ноября вся моя «бригада» участвовала в заседании бюро Курского обкома партии, где рассматривался вопрос о мерах по усилению хлебозаготовок и проведению закупок хлеба и картофеля для нужд армии и рабочего тыла.

Чтобы заинтересовать колхозников и единоличников в продаже излишков хлеба, мы ввели тогда повсеместно систему встречной продажи наиболее дефицитных промышленных товаров по твердым государственным ценам. Помню, что для Курской области я утвердил тогда таких товаров почти на 37 млн рублей. Это были различные ткани, трикотаж, обувь, разные хозяйственные товары, керосин, хозяйственное мыло, соль, сахар, табак и т. п. Продав государству хлеба на 10 рублей, колхозник или единоличник имел возможность тут же купить этих крайне необходимых ему промтоваров на 100 рублей, что было выгодно и ему и государству. Такой стимул во многом помог скорейшему выполнению государственной закупки хлеба.

В постановлении Курского обкома и облисполкома о мерах по усилению хлебозаготовок был записан ряд хорошо продуманных конкретных предложений и рекомендаций местным организациям. Был там пункт, относящийся непосредственно и ко мне как заместителю Председателя Совнаркома СССР. Речь шла о том, чтобы обязать Главнефтесбыт выделить из запасов его местной базы в распоряжение Курского облисполкома 100 т бензина, 300 т лигроина и 40 т автола, необходимых для завершения работ по обмолоту хлеба, а также предложить наркоматам заготовок и совхозов СССР перебросить в Курскую область из восточных областей соответственно 50 и 15 автомашин для восстановления в Курске областных отделений «Союззаготтранса» и «Совхозтранса». Такие распоряжения я тут же подписал, а через некоторое время мне сообщили из Курска, что все ими просимое полностью получено.

Поездку по освобожденным областям Украины я решил начать с Киева, который после 778 дней фашистской оккупации только две недели назад был очищен от интервентов войсками 1-го Украинского фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина.

Наш вагон остановился не доезжая Киева, на станции Дарница – большом железнодорожном узле, который немцы продолжали усердно бомбить. В наш вагон, однако, ни одна бомба не попала. Здесь меня встретил Н.С. Хрущев, тогда первый секретарь ЦК Компартии Украины. Вместе с ним мы отправились

на автомашине в Киев и объехали чуть ли не весь город.

Бросались в глаза разрушенные дома, пустынные улицы. Казалось, что в городе почти нет населения. Гордость Киева – знаменитый Крещатик был разрушен. И только сохранившиеся, но сильно пострадавшие, израненные и искалеченные войной ветвистые каштаны с пожелтевшими осенними листьями напоминали о некогда красивейшем центре одного из древнейших городов нашей Родины.

Смотреть на все это было тяжело…

От Хрущева я узнал, что за время своего «хозяйничанья» в Киеве гитлеровцы зверски замучили и расстреляли здесь (по предварительным подсчетам) около 200 тыс. советских граждан и угнали на каторжные работы в Германию более 100 тыс. молодых людей.

Мы отправились в город Фастов, западнее Киева километров на семьдесят. Там проходила тогда линия фронта и шли бои.

Уже издали можно было слышать артиллерийскую и минометную перестрелку. Бои продолжались на окраине города. Мы побывали в воинских частях, побеседовали с солдатами и офицерами. Настроение у всех было бодрое, как говорится, самое боевое.

Вернувшись в Киев, я встретился с командующим фронтом генералом Ватутиным. Образованный и опытный полководец, он не только великолепно ориентировался в ходе военных операций на всех фронтах, глубоко вникал в боевую и политическую подготовку своих бойцов и командиров, но и хорошо, в деталях, разбирался в делах тыла своего фронта. Он понимал все с полуслова. Ватутина не стало, когда ему не было и 43 лет. Менее чем через полгода после этой нашей встречи я с горечью узнал, что он умер после тяжелого ранения. Похоронен Ватутин в Киеве. Подробную беседу я имел здесь также и с начальником тыла фронта генералом Власовым.

Я подробно говорил и с Хрущевым о заготовке хлеба не только в Киевской области (где план сдачи хлеба в фонд армии был выполнен тогда почти на 60 %), но и по остальной Украине, а главное – о том, какие меры они собираются в этом направлении принимать, поскольку мне было известно, что хлебозаготовки проходили у них в большинстве областей нелегко.

Он подтвердил, что по левобережным освобожденным областям Украины план сдачи хлеба в фонд советской армии был выполнен к 15 ноября только на 44,4 %, причем особенно плохо обстояло дело в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, а в некоторых местах (например, в Сахновщинском и Краснокутском районах Харьковской области) имели место даже

такие возмутительные факты, как сознательное занижение уборочных площадей, чтобы уменьшить количество зерна, подлежащего сдаче в фонд армии. «Мы собираемся крепко ударить по таким фактам и применим к виновным самые строгие меры взыскания, вплоть до предания суду», – заявил Хрущев.

По дороге в Полтаву мы заезжали в некоторые освобожденные деревни и районы области. Хотя чисто внешне разрушения здесь и не сразу бросались в глаза, тем не менее и тут гитлеровцы «похозяйничали» изрядно. Достаточно сказать, что, по имевшимся тогда сведениям, они сожгли здесь полностью или частично свыше 1400 населенных пунктов, насчитывавших более 80 тыс. дворов. По 67 МТС области из 5596 тракторов исправных осталось 734 и соответственно из 1326 комбайнов только 172. Оккупанты угнали только из 30 районов 94 тыс. голов крупного рогатого скота. Отступая, они сожгли в 20 районах около 280 тыс. ц зерна и вывезли из 37 районов почти 190 тыс. ц хлеба.

Урожай в том году в этих местах был хороший, хотя повсюду мы наблюдали одну и ту же картину: много неубранного хлеба на полях. Лишь кое-где трудились на уборке небольшие одинокие группки стариков, женщин и детей. Отсюда шли все наши беды с заготовкой хлеба.

В самой Полтаве я бывал и раньше, до войны, всегда радуясь этому необыкновенно аккуратному и какому-то очень уютному украинскому городу. В этот раз я был буквально сражен увиденным: дома в городе были разрушены, сохранился лишь двухэтажный корпус маслобойного завода. Людей вообще не было видно. Ничего подобного я еще нигде не видел и не мог даже представить себе такой страшной картины разрушения[16].

В Полтаве мы обстоятельно обсудили с секретарем обкома КП(б)У Марковым и председателем облисполкома Мартыненко положение в их области.

После всестороннего обсуждения по каждому району были утверждены точные календарные пятидневные графики сдачи хлеба с таким расчетом, чтобы выполнить все задание к 10 декабря. Кроме того, область взяла на себя обязательство закупить хлеб для нужд армии у колхозов, отдельных колхозников и единоличников.

Представители командования 2-го Украинского фронта генералы Грушецкий и Вострухов заявили, что они немедленно выделят в помощь колхозам и совхозам области для уборки и заготовки хлеба 5500 бойцов, а командующий Харьковским округом заверил, что через день-два пришлет в область еще 1500 бойцов и 100 офицеров. Обещания свои они выполнили, и

область, получив такое большое подкрепление, с честью справилась со своими обязательствами по хлебопоставкам.

Что касается Харьковской области, то там, узнав о моей поездке по Украине, уже развернули большую работу по хлебозаготовкам, широко втянув в нее областной партийный и советский актив, директоров колхозов и совхозов и МТС.

Это позволило им выявить в области скрытые резервы и повысить установленный правительством план по хлебозаготовкам для нужд армии по колхозам и трестированным совхозам области почти на 440 тыс. пудов.

Интересная подробность. Когда в свое время в этих областях нами проводилась эвакуация, все запасы зерна, которые не удавалось вывезти с собой, сжигались, как правило, в гуртах.

Как же велико было мое удивление, когда, посетив теперь эти места, я узнал, что значительная часть этого сожженного зерна сохранилась! Оказывается, когда сложенное в гурты зерно поджигают, то выгорает только верхний слой, сантиметров на 20–25, остальное же зерно остается целым и только со временем претерпевает кое-какие изменения, не мешающие, однако, его использованию по назначению.

Хотя я и хорошо знал хлебное дело, но такая подробность мне была неизвестна, потому что никогда до войны сжигать зерно не приходилось. Видимо, об этом не догадывались и немцы, ибо они гурты не трогали.

Толково организовав обмолот зерна по твердым графикам, колхозы области сумели обмолотить к 25 ноября почти 70 % зерна со всех площадей, подлежащих обмолоту, а оставшееся зерно полностью заскирдовали.

Когда же на помощь колхозникам подошли большие подкрепления из воинских частей, приславших бойцов и автотранспорт, положение с хлебозаготовками здесь выправилось.

Дальше мы отправились поездом. В Днепропетровске мы узнали, что в некоторых недавно освобожденных районах области еще не были к тому времени восстановлены даже органы советской власти, а иные районы и вообще продолжали оставаться в оккупации. Да и сам-то Днепропетровск был освобожден лишь за месяц до нашего приезда – 25 октября 1943 г.

Воинские части, учитывая создавшееся положение, уже начали по собственной инициативе оказывать здесь практическую помощь местным организациям в уборке урожая, обмолоте зерна и его транспортировке, выделив для этого людей и транспорт по специальным нарядам.

Убедившись, что для выполнения задания по армейским хлебопоставкам по Днепропетровской области обстановка

складывается довольно благоприятная, я решил отправиться к командующему 2-м Украинским фронтом генералу Коневу, которого хорошо знал и раньше и очень уважал как одного из наших самых крупных полководцев.

Штаб Конева размещался тогда в районе Пятихатки, примерно в ста километрах западнее Днепропетровска. После прошедших ливневых дождей на дорогах повсюду была невероятная грязь. Обычные легковые, да и грузовые автомашины передвигаться по таким дорогам почти не могли. Даже «виллисы» и «доджи» не могли одолеть эту грязь и частенько надолго застревали в пути. К тому же меня предупредили, что село, где находился штаб фронта, расположено на больших холмах, а это еще больше затрудняло подъезд к тем местам. Поэтому я решил отправиться к Коневу на «Студебекере» – большом, военного образца, американском грузовике-вез деходе. Однако и он продвигался с большим трудом.

Найти штаб Конева сразу оказалось делом трудным, так хорошо он был замаскирован. Даже командиры встречавшихся мне по пути воинских частей не могли точно сказать, где он находится, и только известное мне название Пятихатки давало возможность вести эти нелегкие поиски. Мы добрались до места, когда уже наступала ночь.

Я нашел Конева в украинской хате. Он был один. После обоюдных приветствий и расспросов у нас завязался более чем часовой разговор за чашкой крепкого чая (замечу мимоходом, что Конев, по моим наблюдениям, был одним из тех командующих, которые действительно любили крепкий чай, а не водку или вино).

Иван Степанович ввел меня подробно в курс военных событий на его фронте, подчеркнув, что развиваются они в общем довольно успешно. «Тьфу! Тьфу! Чтоб не сглазить!» – шутливо добавил он при этом. Показал на карте расположение своих войск, ознакомил с намечающимися планами, с взаимодействием между разными фронтами и т. п.

Со своей стороны я рассказал ему о наших московских делах, о самых последних событиях международной и нашей внутренней жизни, о работе ЦК и ГКО, то есть обо всем, что его интересовало. Рассказал и о целях своей поездки, а также о совещании и наших договоренностях в Днепропетровске.

Когда мы перешли к этим «моим» вопросам (ради которых проводилась наша поездка), то я сразу понял, что он находится в курсе всех дел, связанных со снабжением его фронта не только продовольствием, но и другими видами снабжения.

Конев очень одобрительно отнесся к решению об изменении

централизованного порядка снабжения армии продовольствием и со своей стороны обещал оказать всяческую помощь «закрепленным» за его фронтом областям – людьми, транспортом и вообще всем, чем только фронт может помочь.

После такого заверения командующего, который, как я знал, не любил безответственно бросаться словами, я понял, что хлеб для бойцов его фронта будет. Разговор этот я потом продолжил с начальником тыла фронта генералом Воструховым, с которым мы окончательно выяснили все потребности фронта и его запросы не только к местным областным организациям, но и к Центру по всем видам снабжения.

К командующему 4-м Украинским фронтом генералу Толбухину пришлось лететь на самолете. Штаб его находился очень близко к фронту, и поэтому для охраны нас сопровождал истребитель.

Стоял ясный, солнечный день. Уже в полете я как-то невольно обратил внимание, что сопровождающий нас истребитель несколько раз облетел наш самолет и всякий раз, приближаясь к нему довольно близко, проделывал всевозможные пилотские трюки. Меня это нисколько не взволновало, а скорее даже поразило, с какой отчаянной смелостью и в то же время мастерски летчик проделывал все эти трюки.

На аэродроме нас встречал член Военного совета фронта генерал Кириченко (в последующем – секретарь ЦК КПСС). Я сразу заметил, что он находился в каком-то возбужденном состоянии. Потом узнал, в чем дело. Оказалось, что, наблюдая за нашим полетом и видя все эти воздушные выкрутасы истребителя, он решил строго наказать летчика за грубое нарушение летных правил. Бедному парню грозило минимум несколько суток гауптвахты, потому что его «лихачество» – по словам Кириченко – создавало серьезную опасность для самолета, на котором я летел.

Летчик же этот, как я выяснил (фамилию его, к сожалению, забыл), был вообще одним из лучших и отважных на их фронте: на его счету числилось уже семь сбитых фашистских самолетов. «Мне хотелось, – как он честно и прямо заявил, – оказать товарищу Микояну особый почет и показать, на что способен советский военный летчик». К тому же он был уверен в себе и самолете и не сомневался в безопасности своих действий.

Его ответ был так искренен, что я решил свести все к шутке, сказав, что, выходит, летчик тут ни при чем, что виноват во всем один только я, а меня наказывать нельзя, потому что я «не из их части». Кроме того, на самом деле ничего ведь не случилось! А на будущее летчик это учтет. Летчик был спасен от наказания.

С Толбухиным у нас состоялась подробная беседа, однако, учитывая, что фронт в то время вел серьезные наступательные операции, я не стал чрезмерно занимать время командующего вопросами снабжения его фронта, сказав, что все эти дела я согласую с Кириченко: я знал, что он – опытный партийный работник, хорошо знающий положение в войсках. И мы действительно успешно решили все наши вопросы.

К тому же еще до моего появления в штабе фронта Толбухин и Кириченко, прослышав о моей поездке по фронтам, уже подписали несколько дней назад соответствующий приказ войскам своего фронта.

В этом приказе военным советам армий и начальнику тыла фронта предлагалось выделить 700 автомашин с водителями и горючим для обеспечения форсированного вывоза зерна на склады, а также оборудовать необходимые для хранения зерна складские помещения, зернохранилища и крытые площадки, обеспечив сохранность и круглосуточную охрану хлеба.

Начальнику тыла фронта генерал-лейтенанту Анисимову предлагалось сформировать 30 команд, в составе каждой из которых должно быть по 4 офицера и 100 бойцов, и направить эти команды для уборки и обмолота урожая в Сталинскую область (10 команд) и в Запорожскую область (20 команд).

Каждой такой команде поручалось дать задание по уборке, обмолоту и вывозке зерна с установлением строгого контроля за полным и своевременным выполнением всех заданий и правильным использованием выделенных команд по прямому назначению.

В приказе указывались и сроки окончания всей этой работы: по Сталинской области – в течение 50 дней, а по Запорожской и Николаевской – за 60 дней. Поэтому, когда я приехал в Запорожье, там уже знали о помощи, которую им окажет и уже начал оказывать фронт. А такая помощь была им более чем необходима.

На 3-м Украинском фронте всю работу по вопросам хлебообеспечения фронта наша группа вела с начальником тыла фронта генералом Шебуниным, в тесном контакте с местными организациями. После моей встречи с командующим фронтом генералом Малиновским был подписан соответствующий приказ. Его выполнение и обеспечило войска фронта необходимым запасом хлеба.

Наша поездка заняла немногим более двух недель. За это время была проведена большая работа по заготовке хлеба. Об этом свидетельствовали ее результаты. Немало было сделано в этом плане и по другим областям страны, куда выезжали, как я

уже писал раньше, другие члены ЦК.

В результате фронт был полностью обеспечен хлебом до нового урожая 1944 г., а там, где его оказалось больше, чем это было нужно армии и населению самих областей, мы имели возможность перебросить его в Ленинград, Москву и некоторые тыловые районы страны.

Одновременно с хлебом проходили заготовки картофеля, мяса и других продуктов питания. Продовольствия было заготовлено вообще немало. Именно поэтому, с учетом поступлений продуктов питания по ленд-лизу, контроль за которым тоже входил в круг моих обязанностей, снабжение действующей армии и в дальнейшем проходило в основном бесперебойно, по нормам, установленным ГКО еще в сентябре 1941 г.

Мы сумели прокормить не только армию, но и наш тыл. Несмотря на временную, но довольно длительную оккупацию больших территорий Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдавии, всех Прибалтийских республик, наше сельское хозяйство все же сумело без серьезных перебоев обеспечить страну хлебом и сырьем.

И в этом еще раз убедительно проявилась огромная сила и патриотизм всех народов Советского Союза.

13 апреля 1945 г. советские войска 2-го и 3-го Украинских фронтов полностью очистили Вену от гитлеровцев, а вскоре и вся Австрия была освобождена от них. Во главе временного правительства Австрии стал канцлер Карл Реннер, зарекомендовавший тогда себя сторонником сотрудничества всех демократических сил. В прошлом он был одним из лидеров австрийской социал-демократии и 2-го Интернационала. Вскоре Сталин направил личное письмо Реннеру. В ответном письме от 16 мая Реннер выразил «искреннейшую благодарность за личное письмо, врученное маршалом Толбухиным», сообщал, что «вполне удовлетворен темпом, которым идет восстановление совершенно разрушенной нацистами австрийской государственности», подчеркивал оказанную ему «ценную поддержку Красной армии, не ограничивавшей, однако, свободы действий».

Вместе с тем Реннер, характеризуя хозяйственное положение страны, выражал глубокое беспокойство тем, что шестилетняя война Германии оставила Австрию лишенной продуктов питания, запасы которого уничтожили отступающие немецкие войска. «Мы не знаем, как прокормить свое население до нового урожая».

Сталин решил оказать Вене продовольственную помощь. Получив это задание от Сталина, я поручил Хрулеву связаться со

2-м и 3-м Украинскими фронтами и выявить, какими продовольственными ресурсами они располагают. Одновременно я командировал в Вену заместителя начальника тыла Красной армии генерала Ермолина и наркома торговли РСФСР Макарова для того, чтобы разобраться на месте с положением дел.

Исходя из реальной возможности, представили Сталину проект постановления ГКО. Письмо по этому поводу на имя Сталина кроме меня подписали Толбухин и Хрулев. 23 мая было принято постановление ГКО «Об оказании помощи в снабжении продовольствием населения г. Вены». В нем предусматривалось ввести с 1 июня 1945 г. повышенные нормы снабжения на одного человека хлебом, крупами, мясом, жирами, сахаром, кофе суррогатным (о натуральном кофе и речи не было), солью. Всего намечалось к передаче 2-м и 3-м Украинскими фронтами временному правительству Австрии зерна – 45 тыс. т, мясопродуктов – 4 тыс. т, жиров – 1 тыс. т, сахара – 2700 т, кофе – 200 т, соли – 1800 т с последующим возмещением Советскому Союзу за передаваемое продовольствие товарами, производимыми на предприятиях Австрии.

Для подвоза продовольствия к магазинам и складам Военный совет 3-го Украинского фронта обязан был выделить необходимое количество автотранспорта и горючего.

На следующий день, 24 мая, Сталин направил Карлу Реннеру следующее письмо:

> «Уважаемый товарищ!
>
> Ваше последнее послание получил. Как я понял, продовольственное положение в Вене неблагоприятно. В связи с этим советское правительство решило оказать Вене помощь продовольствием.
>
> Имеется в виду оказать такую помощь, чтобы увеличить продовольственный паек в Вене от 50 до 100 процентов с начала июня до нового урожая в расчете, что с новым урожаем Правительство Австрии само справится с продовольственными затруднениями.
>
> С уважением
>
> *И. Сталин».*

26 мая австрийские газеты известили жителей Вены о помощи Советского Союза. Газета Neues Österreich в передовой статье под заголовком «Советский Союз помогает Австрии» писала: «Забота о хлебе насущном благодаря помощи Правительства Советского Союза разом снята со всех нас… Это свидетельство неиссякаемой жизненной силы русского народа, но

это также свидетельство дружеских чувств русского народа к австрийскому, ибо такая помощь означает жертву для самой России».

Макаров и Ермолин, передавая по ВЧ из Вены точные сведения о движении продовольствия, в частности, сообщали: «Вчера и сегодня население, узнав о помощи, о новых нормах, собиралось к районным комендатурам для выражения благодарности».

Продовольственная помощь оказывалась нами тогда и другим странам, в ней нуждающимся.

Например, постановлением ГКО от 26 мая 1945 г. «Об обеспечении продовольствием населения г. Праги» Военный совет 1-го Украинского фронта, во главе которого стоял Конев, обязывался обеспечить выдачу населению города Праги с 5 июня с. г. хлеба 400–500 г, 30 г крупы в среднем на человека в день, соли 400 г на человека в месяц, разработать совместно с представителями чехословацкого правительства дифференцированные нормы снабжения для населения.

19 июня было принято постановление ГКО об обеспечении продовольствием населения Будапешта. Для проведения в жизнь этого постановления в Будапешт был командирован начальник Управления продовольственного снабжения Главного интендантского управления Красной армии Павлов. 26 июня 1945 г. он сообщал: «Ваше задание о введении новых норм снабжения в г. Будапеште выполнено. Бургомистру города передано: зерна – 3 тыс. т, сахара – 1 тыс. т, соли – 960 т и 250 грузовых автомашин. Остальное зерно и мясо (скот) будут переданы городу до 10 июля в сроки по согласованию с бургомистром города».

Выдача продовольствия для населения г. Будапешта по новым нормам снабжения началась с 25 июня с. г., то есть в срок, установленный постановлением ГКО.

Выдача продовольствия по новым нормам сказалась на снижении цен на черном рынке.

С первых дней окончания боев в освобожденном нами Берлине выяснилось, что населению города угрожает настоящий голод. Убедившись после 2 мая 1945 г., что бои кончились, они вместе с детьми выходили из подвалов, часто расчищая себе путь через рухнувшие стены домов, искали продовольствие, которого не было. Тогда советские солдаты по своей инициативе стали кормить их из своих полевых кухонь. Но постепенно оказалось, что жителей было несколько сот тысяч, несмотря на массовый исход из города к концу войны. Солдатские кухни и рационы уже не давали возможности всех их накормить. Об этом было

сообщено мне в Москву. 10 мая 1945 г. я вылетел в Берлин для решения этой проблемы. На аэродроме меня встречал Г.К. Жуков. Со мной были Хрулев, Семичастнов и некоторые другие.

Я имел полномочия выделить достаточное количество продовольствия, чтобы снабжать им население Берлина до тех пор, пока сельское хозяйство советской зоны оккупации не начнет нормальное снабжение своей столицы. Вместе с Жуковым мы решили возложить конкретную работу по распределению продовольствия на создаваемую нами местную администрацию. Помню, я выступал на собрании немцев, приглашенных нами для участия в этой администрации. Многие чувствовали себя неуверенно, не зная, чего ожидать от победителей. С большим удовлетворением они услышали, что нашей общей целью в тот момент было наладить нормальную жизнь города, восстановить срочно работу водопровода, канализации, электростанций и, конечно, в первую очередь – обеспечить жителей питанием. Все это было достигнуто в самые сжатые сроки благодаря нашей помощи и четкой работе немцев, привлеченных к восстановительным работам и к бесплатному распределению продовольствия.

Глава 39
Поездка на Южный Сахалин и Курилы

В первых числах сентября 1945 г. мне позвонил Сталин и попросил зайти к нему. Когда я пришел, он, как обычно, только кивнул в знак приветствия: с близкими людьми, с которыми ему часто приходилось встречаться, он за руку не здоровался.

Мне казалось, что я предвидел, о каких делах пойдет речь, но то, что Сталин сказал, никак не входило в круг моих предположений: «Ты мог бы полететь на Дальний Восток?» И, не дожидаясь ответа, продолжил: «Меня интересует, как наше командование налаживает жизнь в южной части Сахалина и на Курильских островах. Как они обходятся там с японцами? Нет ли жалоб у местного населения? Посмотри порты, предприятия, железные дороги: что они сегодня могут дать нашему народному хозяйству? Какие там есть бухты, пригодные для морского дела, для флота? Съезди заодно и на Камчатку, узнай, как там идут дела. Сейчас на Дальнем Востоке путина – заготавливается красная икра. Проследи, чтобы ее хранение и вывоз были хорошо организованы. О своих впечатлениях сообщай каждый день подробно шифровками». И еще раз повторил: «Обязательно каждый день. Не пропуская». Походил по комнате: «Ну как, полетишь?» – «Если ЦК решит, конечно», – ответил я.

Это было около двух часов дня. Сталин не спросил меня, когда я вылечу, но, зная его нетерпение к выполнению порученного дела, которое особенно сильно проявлялось у него в последние годы жизни, я поспешил к себе, чтобы поскорее решить самые неотложные дела.

По опыту я уже хорошо знал, что все дела закончить невозможно, тем более что каждый час возникают новые и новые. Поэтому я тут же вызвал к себе наркомов, которыми руководил в Совнаркоме. Поговорил с каждым о делах, находящихся на рассмотрении. А так как я работал со всеми ними много лет, то никаких речей мне произносить не приходилось: мы понимали друг друга с полуслова.

Затем заехал во Внешторг, где по совместительству был наркомом, и там тоже тратить слов не надо было.

Около десяти часов вечера заехал к Сталину и сказал ему, что вылетаю в час ночи. «Сегодня?» – «Сегодня. Хотя это будет уже завтра». Он ничего не ответил, но я почувствовал, что он доволен

такой оперативностью.

Я знал, что Сталин всегда уделял Дальнему Востоку большое внимание, хотя сам никогда там не был. Впрочем, на Сахалине и на Камчатке не был никто из членов правительства. К сожалению, и я летел туда первый раз в жизни, хотя к тому времени почти два десятка лет, с тех пор как в 1926 г. меня назначили наркомом внутренней и внешней торговли, я часто занимался проблемами, связанными с Дальним Востоком. Поэтому мне казалось, что я лечу в край хорошо известный и знакомство с новым ожидает меня только в южной части Сахалина и на Курильских островах, только что возвращенных нам.

15 сентября после небольших остановок в Омске, Красноярске и Чите мы прибыли в Хабаровск, в штаб Василевского, который, как представитель Ставки Верховного главнокомандования, осуществлял до этого руководство военными действиями. Василевского я знал еще до войны, и особенно часто мы встречались во время войны. Он мне нравился как человек интеллигентный, глубоко партийный. Всегда мне было приятно видеть, как скромно он держится. И в то же время я хорошо знал, как горячо он умеет отстаивать интересы порученного ему дела!

Василевский рассказал мне о тамошних условиях, посетовав на то, что военным, не имеющим опыта гражданского управления, да еще не знающим японского языка местного населения, приходится переживать на Южном Сахалине и на Курильских островах много трудностей.

Поздно вечером созвали мы с ним в Хабаровске совещание, на котором вместе с секретарем крайкома партии Назаровым решили вопрос о создании при Дальневосточном военном округе гражданского управления. Утвердили список руководящих работников, специалистов в различных отраслях народного хозяйства, которые поедут на Южный Сахалин и Курильские острова.

На следующий день, воспользовавшись случаем, я слетал в Николаевск-на-Амуре, посмотрел, как ловят кету. Река была перегорожена, оставлен лишь небольшой проход, чтобы пропустить необходимое количество рыбы на нерест. Такой способ ловли рыбы наиболее дешевый. Тут же на берегу в чанах солили икру.

Я не раз читал о путине, видел кинохронику, но только тут, на месте, смог почувствовать в полной мере ту великую мощь инстинкта, который гнал рыбу из океана в реку, где она сама родилась. Для нее не существовало преград – она билась о сети, пока хватало сил.

18 сентября вылетел в Тайохару (теперь Южно-Сахалинск). Тайохара оказалась довольно большим городом. Когда вышел из машины и прошелся по улицам, я не увидел никаких разрушений. Японцы мирно занимались своими делами. По улицам рядом с местным населением группами и поодиночке шли наши солдаты и офицеры. Японские полицейские поддерживали порядок. Судя по этой мирной картине, можно было понять, что наши войска повели себя так тактично, что, казалось бы, неизбежных в таких случаях трений и конфликтов нет.

Конечно, с одной стороны, такое мирное соседство говорило о высокой воспитанности наших войск, но с другой – и о дисциплине, которую проявляли японцы.

Улицы Тайохары были застроены преимущественно одноэтажными домами, как показалось мне, не по климату легкими. Видимо, сюда был перенесен традиционный тип построек, пригодных для мягкого климата Японии. Один дом походил на другой, и стояли они впритык.

Мы вошли в грязный двор одного из домов. В доме же было чисто. Мебели не было, в углу лежали циновки, горкой одеяла, а посреди комнаты стояла небольшая чугунная печурка. В окнах вместо стекол пергаментная бумага. Зная, что тут бывают сильные морозы, как в средней полосе России, я спросил, как же переносят эти морозы японцы, люди, привыкшие к более мягкому климату? Мне ответили, что на ночь семья укладывается поближе к печке, все укрываются ватными одеялами, в печке же непрерывно поддерживается огонь.

Наши военачальники в южной части Сахалина совершенно разумно не вмешивались во внутренний распорядок жизни острова, решая необходимые вопросы при помощи японского губернатора г-на Оцу Тосио, который находился здесь и до начала военных действий. Для того чтобы лучше узнать о положении дел на Южном Сахалине, о нуждах населения, я решил нанести ему визит.

Дом губернатора находился на окраине города. Оцу Тосио оказался человеком уже немолодым. Встретил он нас предупредительно вежливо и спокойно. Я представился. Поблагодарил за то, что он принимает все меры, чтобы не было трений между нашими войсками и японским населением. Он ответил: «Благодарю вас. Ваши войска ведут себя по отношению к местному населению хорошо. Но мне хотелось бы получить ответ: до какого времени я буду тут сидеть и что мне делать?» Я успокоил его: «Мы пока не будем вносить изменения, которые, конечно, неизбежны в связи с введением советского образа жизни. Пока же продолжайте работать и делать все, чтобы товары,

продукты питания были выданы населению в тех же размерах, что и до прихода наших войск». Губернатор, вздохнув, сказал: «У нас иссякают запасы риса и сои».

В телеграмме, посланной Сталину, я сообщил, что по моим наблюдениям, большинство японцев проявляют готовность работать на нас, хотя работают они, как я выяснил, в данное время значительно хуже, чем до вступления наших войск, что это происходит в основном из-за неопределенности их положения.

И конечно, всех волновало положение с продовольствием. После того как мы посчитали, сколько нужно продуктов питания для Сахалина, учитывая особые нормы для рабочих, для детей, для беременных женщин и больных, я попросил Сталина дать указание отправить на Южный Сахалин в течение октября – ноября 1945 г. 25 тыс. т необрушенного риса и 5 тыс. т сои. Я знал, что на Дальнем Востоке эти продукты есть и их не надо грузить из Москвы. Через день или через два я получил телеграмму, из которой явствовало, что все мои предложения приняты.

Надо было еще решить, как быть с торговлей, валютой, зарплатой, ценами, коммунальными вопросами, здравоохранением. Я сообщил Сталину о том, что командование на Южном Сахалине с моего согласия ввело хождение советского рубля по курсу: один рубль равен одной иене. Госбанк же предложил установить на Южном Сахалине курс: один рубль равен четырем иенам. Я не согласился с этим, понимая, что если принять такой курс, то существующая низкая зарплата рабочих, которая пока еще не может быть заменена без надлежащей подготовки советской зарплатой, фактически будет снижена в четыре раза в тех случаях, когда из-за отсутствия иен зарплата будет выдаваться советскими деньгами. Я писал также, что материальное значение этого вопроса тут, на Южном Сахалине, для нас небольшое, а отрицательное влияние на настроение рабочих и предпринимателей, находящихся под нашим контролем, велико.

И эта проблема была решена в соответствии с моим предложением.

Большой интерес на Южном Сахалине представляли для нас лесная, бумажная, угольная и рыбная промышленность. После ознакомления с этими отраслями я информировал Сталина о лесных запасах Южного Сахалина. Написал о том, что для лесозаготовок срочно необходимо оказать помощь: завезти топоры, поперечные пилы, а к наступлению морозов дать теплую одежду и обувь.

В телеграмме я высказал свои соображения и о создании на

Южном Сахалине трестов и комбинатов, которые смогут организовать работу лесной, бумажной и угольной промышленности. В частности, я предложил обязать народного комиссара угольной промышленности Вахрушева направить на комбинат «Сахалинуголь» в двухнедельный срок 250 инженеров, техников и специалистов для использования их на руководящих работах в тресте и на комбинате.

29 сентября командующий Тихоокеанским флотом адмирал Юмашев передал мне телеграмму Сталина. В этой телеграмме говорилось: «СНК СССР постановляет: принять предложения, внесенные Микояном по вопросам лесной, бумажной и угольной промышленности на Сахалине».

На окраине Тайохары имелись питомники, где разводились черно-бурые лисы. Меня это дело интересовало, потому что, будучи наркомом внешней торговли, я много занимался пушным делом. Причем, как ни странно, не только продажей пушнины, но и производством ее, ибо тогда в состав наркомата входили все зверосовхозы и каракулеводческие совхозы страны.

Это получилось таким образом. Во время заседаний политбюро я не раз жаловался, что пушное хозяйство, которое является большим источником валюты, поставлено у нас слабо, плохо развивается и каракулеводство. Однажды, когда во время заседания политбюро я в очередной раз пожаловался на все эти обстоятельства, Сталин сказал: «Сколько директив писали, а дело не идет. Возьми все это хозяйство себе в наркомат, сам будешь за него отвечать. И не на кого будет тебе жаловаться!» Я ему говорил, что совершенно это дело ко мне и Внешторгу не имеет отношения, что Внешторг только продает каракуль, аппарат его никакого отношения к совхозам не может иметь. Но он настоял, говоря: «Аппарат не имеет отношения, но ты найдешь людей, ты умеешь такие работы выполнять». Поскольку такое решение было записано, надо было его выполнять. Собрал каракулеводов и расспросил их, что им мешает в работе, причем выслушал не только ученых, но и практиков вплоть до чабанов. Мы создали свой научно-исследовательский институт каракулеводства, который выводил породы, соответствующие требованиям внешнего рынка. И надо сказать, до 1949 г., пока я был наркомом, я этим делом занимался, и с большими результатами. Даже в войну эти совхозы продолжали развиваться, увеличивали поголовье. Конечно, эти совхозы были прибыльными, кадры в них устойчивыми. Я не давал местным органам менять кадры часто или устраивать «своих людей» в эти совхозы. И зверосовхозы стали большой отраслью хозяйства.

Поэтому я с интересом ознакомился с организацией пушных

питомников на Южном Сахалине. В общем, они были похожи на наши, только меньше размером.

Вместе со мной на Южный Сахалин приехал нарком рыбной промышленности Ишков, прекрасный знаток своего дела, самородок, настоящий талант. На западном берегу мы осмотрели рыболовецкие промыслы. Они произвели тяжелое впечатление. Здесь были большие уловы сельди, и японцы половину и даже больше пускали на удобрение. Нам сказали, что в 1945 г. из 1150 ц выловленной сельди 59 % пошло на удобрение. Я был поражен этим: сельдь, которую так любит наш народ и которая так хороша с картофелем, – на удобрение! Мы сразу приняли решение строить чаны для обычного посола сельди по астраханскому методу. Чанов мы могли построить достаточно. Подсчитали, что сможем засолить таким методом не менее 1 млн ц в живом весе.

К моменту нашего приезда на Сахалин туда уже прибыло руководство вновь организованной рыбопромышленности Южносахалинского треста – 103 человека. Была установлена связь с местами, укомплектовывали местный аппарат советскими работниками, использовав и аппарат промышленных компаний. Поскольку работники этих компаний и сами рыбаки охотно шли на возобновление работы, рыбная промышленность быстро восстанавливалась. Принимались меры для улучшения санитарного состояния и повышения качества продукции.

Так день за днем я посылал Сталину телеграммы. 26 сентября я получил от Сталина сообщение, что все мои телеграммы получены и что «соответствующие решения Совнаркома приняты и посланы тебе».

Утром 24 сентября на военном корабле мы подошли с тихоокеанской стороны Курильских островов к острову Кунасири, но из-за шторма не могли подплыть к нему, поэтому изменили курс на бухту Рубецу на острове Итуруп со стороны Охотского моря, где и высадились. Это самый большой остров Курильской гряды.

Я видел штормы в разных морях и океанах, но такого еще не доводилось. Первый раз я узнал, что такое шторм, когда нас перевозили из тюрьмы по Каспийскому морю в Баку. Попадал я в сильный шторм, когда ехал на корабле из Гавра в Нью-Йорк, побывал в шторме на Баренцевом море. Но тогда даже и не представлял себе, что такое девятибалльный шторм, в который мы попали на Тихом океане. Только разве ради шутки можно было назвать этот океан «Тихим»!

В стремительном порыве, будто на гору, взлетал наш корабль, а потом, через мгновение, даже не задержавшись на ней, падал в ущелье. Ну, думаешь, – все, поглотит сейчас нас пучина!

Впереди вставала огромная стена воды. Корабль снова взлетал на нее. Волна будто играла с нами. То мы поднимались над ней, то она над нами! Экипаж корабля был подобран из новобранцев. Это были молодые люди со средним образованием, но океан знали еще плохо. И получилось так, что шторм вывел почти всех их из строя. Люди лежали ничком. Столовая была закрыта. Повара мы не видели. Хорошо, что у адъютанта адмирала Андреева оказался запас тушенки. Ее мы с ним и ели, запивая чаем. По-моему, почти весь экипаж был поражен морской болезнью. Мой сын Вано, которого я взял в поездку, тоже нигде не появлялся.

Понимая особый интерес Сталина к Курильским островам, я постарался как можно подробнее осветить свою поездку. Я сообщил подробно о всем увиденном: о бухтах, о промысле лососевых. На острове Итуруп вылавливают главным образом горбушу и кету. Небольшие уловы лососевых японцы объясняют тем, что в прошлом рыбопромышленники хищнически отлавливали их в местах продвижения на нерест. Для восполнения запасов лососевых в последние годы японцы ввели строгий запрет рыболовства в реках острова и образовали 10 рыбоводных пунктов для разведения лососевых.

На острове Топпей самого большого внимания заслуживают имеющиеся здесь аэродромы и авиапосадочные площадки, которые мало чем уступают лучшим нашим аэродромам. Но никаких советских авиачастей здесь не было. Представлялось явно целесообразным, чтобы здесь стоял хотя бы один полк бомбардировщиков и один полк истребителей. Было видно, что японцы только начали освоение острова, поэтому, рассказав обо всем Сталину, я предложил тут развернуть хозяйственную деятельность, как и на Южном Сахалине.

Северная группа Курильских островов – Парамусир, Самусю и Алаид – была наиболее богата рыбным хозяйством из всех островов Курильской гряды. Рыболовство в этом районе базировалось исключительно на лососевых, мигрирующих из Тихого океана в Охотское море через северные Курильские проливы западного побережья Камчатки, Охотского побережья и реку Амур. На этой «большой дороге» лососевых японцы сосредоточивали прибрежный лов и лов с морских рыболовных судов.

На рыбных предприятиях этих трех островов в 1943 г. японские фирмы использовали более 13 тыс. рабочих. К нашему приезду их было меньше. Часть этих рабочих мы привлекли для того, чтобы привести в порядок рыбные предприятия, флот, так как к этому времени ход рыбы за исключением трески, имеющейся в Охотском море, закончился.

25 сентября мы высадились со стороны Охотского побережья на острове Уруп. С нами ехали представители армии. Они считали, что на Урупе есть наш гарнизон, но нас никто не встретил. Неподалеку от причала мы увидели большую группу японских солдат и офицеров. К нам подошел японский бригадный генерал и отрапортовал, что по приказу императора японские войска, расположенные на острове Уруп, капитулируют. «Оружие собрано на складе. Мы ждем советских офицеров, которые примут у нас капитуляцию», – сказал он. Поблагодарили генерала за порядок и сказали, что он может быть уверен в нашем гуманном отношении к подчиненным ему солдатам и офицерам.

28 сентября мы прибыли в Петропавловск-на-Камчатке, и здесь я своими глазами увидел то, о чем в течение многих лет знал лишь по документам и рассказам. С огромным интересом осмотрели мы с Ишковым фабрику, производящую жестяные банки для рыбной промышленности, построенную перед самой войной. Современное оборудование было закуплено в Японии, и теперь мы сами производили эти банки. Раньше мы вынуждены были покупать их в Японии. Осмотрели порт, строительство которого я организовал, когда руководил приемом поставок по ленд-лизу. Бывали случаи, когда Владивосток не мог вместить сразу все грузы. Задержка же была недопустима. Тогда мы решили оборудовать порт в Петропавловске-Камчатском. Завезли из Америки шпунт, металлические разборные склады, установили краны. Все это я хорошо знал, но увидел впервые.

На гидросамолете слетал в Усть-Камчатск, выяснил, как обстоит дело со сплавом на реке Камчатке. Осмотрел тарную фабрику и рыбокомбинат, помня просьбу Сталина обратить особое внимание на заготовку красной икры и своевременный ее вывоз.

Мне приходилось видеть порты в разных морях и океанах, но Петропавловск-на-Камчатке ни с чем не сравним. Когда мы выезжали из Авачинской губы, я поразился величием этой морской акватории, крепко защищенной от моря с обеих сторон высокими берегами. Проезжаешь между ними будто в ворота шириной с полкилометра. Разрез берегов здесь такой, что образует несколько бухт, каждая из которых могла бы быть самостоятельным портом.

Вообще, природа на Камчатке могучая. Здесь впервые пришлось увидеть извержение вулкана. Был солнечный день, ясное небо. Гидросамолет быстро набрал высоту. И вдруг внизу в стороне появилось зарево – как будто горит огромный костер и оттуда, снизу, кто-то гигантской рукой бросает в небо огромные камни. Я попросил летчика подлететь поближе, чтобы

полюбоваться этой мощью и силой, которую таит в себе земля.

На обратном пути наш самолет сел в Харбине для заправки. Нас встретил маршал авиации Худяков (Хомферян), которого я хорошо знал.

Мы объехали город. Как и всюду за рубежом, богатство соседствовало с бедностью. Меня удивила тут одна мелочь – разновидность общественного транспорта: по улице пара лошадей тянула фургон, на котором с двух сторон сидели спиной друг к другу люди, свесив ноги.

Было много магазинов и ресторанов, даже попался один с указанием на вывеске армянской фамилии владельца. Позже, когда мы с Хрущевым были в Харбине, он обратил внимание на эту фамилию, пошутив: «Ты смотри, куда армяне добрались!» В тот же день мы с ним прибыли в Порт-Артур, и у береговой батареи нас встретил молодой красивый офицер, который закончил свой рапорт так: «Докладывает капитан Карапетян». Мы дружно рассмеялись.

К середине октября 1945 г. я вернулся в Москву. И теперь Дальний Восток показался мне не таким уж и дальним…

Стараясь исполнить просьбу Сталина сообщать обо всем увиденном подробно, я тогда несколько увлекался, а потом думал: наверное, завтра получу от него телеграмму: зачем пишешь о таких мелочах? Но замечаний не поступило.

Спустя почти тридцать лет, читая эту переписку, я с благодарностью думаю о том, что Сталин смотрел дальше, чем я. Видимо, ничто не может заменить информацию, написанную очевидцем с места событий.

Глава 40 экономические переговоры с союзниками в 1945–1947 гг

Еще перед Ялтинской конференцией, когда мы готовились к ней, я настойчиво выдвигал перед Сталиным необходимость получения кредита от американцев для послевоенного восстановления нашей экономики. До этого был у меня на приеме посол США Гарриман, который сам затронул тему кредита со стороны США на поставку нам материалов и оборудования после окончания военных действий.

Я доложил Сталину, сказав, что за эту мысль нам стоит ухватиться. Может быть, только не 1 млрд, как предлагал Гарриман, а попросить 2 млрд долларов. Имея в виду, что к тому времени будут поступать репарации от немцев, я считал, что нам будет достаточно этого для восстановления разрушенного хозяйства на первые четыре-пять лет после войны. Сталин сперва сомневался, насколько выгоден этот кредит нам (Гарриман предложил низкий процент – около 3 % и, кажется, на 30 лет). Стал интересоваться, приемлем ли процент по кредиту, сколько будем платить? В общем, предложил разобраться во всех сторонах этого дела. Я обосновал, привел сравнения с другими займами, предоставленными нам другими странами. Доказывал, что процент по кредиту вполне приемлемый.

Неожиданно для меня при обсуждении этого вопроса Вознесенский выступил против получения займов и кредитов под проценты. Он рассуждал примерно так: мы получим, скажем, кредит в 2 млрд долларов из 3 % годовых. Значит, 90 % от суммы займа дополнительно мы должны будем вернуть после его использования, то есть почти двойную сумму платить против того, что получим. Это невыгодно, это кабала.

Я удивился, особенно потому, что Вознесенский был грамотным, образованным экономистом. Неужели я должен был ему доказывать, что получение кредитов дает огромный выигрыш во времени. Да и 3 % окупятся для нас быстро. Ведь не случайно все правительства и компании с удовольствием берут займы и идут на больший процент, платят не 3 %, а 5 и 6 %, потому что они развиваются и обогащаются благодаря этим займам, получают больше, чем выплачивают.

Видно было, что и Сталин был несколько удивлен этим неожиданным выступлением Вознесенского. Он призадумался:

против Вознесенского не выступил, но и не поддержал его. Как мне помнится, Вознесенский затем писал письмо на имя Сталина с объяснением своего выступления против кредита от американцев.

Сталин неожиданно сказал: «Если кредит брать у американцев, то почему 2 млрд долларов? Это мало, надо просить 6 млрд долларов».

Я возразил: «Товарищ Сталин, сейчас они этих условий не примут. Американцы предлагают 1 млрд долларов, я предлагаю 2 млрд потому, что мы можем спуститься до 1 млрд долларов, если не пройдет большая сумма. Но выступить с 6 млрд долларов – это нереально, ясно, что такого кредита мы сейчас не получим».

Сталин настаивал на своем. Я сообщил Гарриману о его цифре, и, конечно, ничего из этого не вышло.

Позже, перед поездкой в Ялту, я предложил Сталину в разговоре с Рузвельтом выдвинуть предложение о кредите в 6 млрд долларов. Именно с Рузвельтом говорить, учитывая, что отношения с Америкой у нас хорошие и личная встреча благоприятное условие для решения вопроса. Сталин согласился.

Я поднял также вопрос о репарациях с Германии. Речь шла о том, чтобы потребовать 20 млрд долларов, из них 10 млрд долларов – Советскому Союзу. Сталин с этим также согласился.

На Ялтинской конференции были только Молотов и Берия. Переговоры вели Сталин и Молотов. Берия же занимался вопросами организации охраны и выполнял отдельные поручения. Когда они вернулись из Ялты, Молотов сказал, что ни о кредите, ни о репарациях Сталин вопроса не поднимал.

Вместе с тем, когда с Ялтинской конференции прибыл в Москву Государственный секретарь США Стеттиниус, в беседах в Москве он сам настаивал на том, чтобы репарации с Германии требовать на всю названную сумму и, кроме того, чтобы несколько миллионов немцев в течение пяти-шести лет работали над восстановлением нашей экономики. И другие американские деятели считали это вполне законным и реальным.

Занимаясь вопросами экономики и хорошо зная наши потребности внутри страны, я понимал, что послевоенных экспортных ресурсов у нас будет крайне мало ввиду разорения хозяйства и огромных потребностей внутри страны, поэтому без больших кредитов развивать внешнюю торговлю и иметь большой импорт, так необходимый нам, нельзя.

Американцы также понимали, что мы нуждаемся в кредитах, и они хотели это использовать для решения других, интересующих их вопросов, на выгодных условиях связывая их с кредитом. 21 февраля 1946 г. американцы обратились с

официальной нотой к Советскому Союзу, в которой предлагалось, чтобы в переговоры о кредитах США Советскому Союзу включить также большой круг других экономических вопросов.

Это было нам невыгодно, ибо они хотели за кредиты под нажимом получить от нас уступки по другим вопросам, к решению которых мы были не готовы. Поэтому 15 марта в ответной советской ноте американцам мы давали согласие вступить в переговоры по трем вопросам, которые были в предложениях американцев: 1) о сумме и условиях государственного долгосрочного кредита; 2) о заключении торгового соглашения; 3) о расширении мировой торговли и занятости и вопросы ленд-лизовских поставок.

Если в первых двух вопросах мы имели прямой интерес, то в третьем – нет, но уйти от него нельзя было: США не могли бы пойти на большие кредиты, если бы не были урегулированы вопросы ленд-лиза. Естественно, поскольку война кончилась, надо было иметь соглашение по этому вопросу.

Мы не имели в виду каких-либо серьезных платежей по ленд-лизу, речь шла о символических суммах. По договорам мы не были обязаны платить за поставки, кроме возврата за товары, которые оставались после военных действий. Американцы сами знали, что много мы платить не сможем. Они предполагали, что мы, получив кредит, какую-то сумму, возможно в рассрочку, выплатим по соглашениям, аналогичным тем, которые США заключили с Великобританией. Вместе с тем правительство СССР выражало готовность обсудить и другие предложенные американцами вопросы после того, как будет решен главный – о кредитах и торговле.

18 апреля американцы прислали ответ, в котором настаивали на своих предложениях вести переговоры сразу по всем вопросам.

У нас в Минвнешторге был такой порядок, что все письма, исходящие из Министерства внешней торговли в правительство и Министерство иностранных дел, могли быть направлены или с моего личного согласия как министра, или мною лично. Министерство иностранных дел никогда не брало на себя ответственность за экономические вопросы и не готовило вместо нас свои проекты. Оно всецело полагалось на проекты, которые представлялись Минвнешторгом. И это было правильно. Обычно я выделял из конъюнктурного института МВТ и Института внешней торговли, существовавшего с 1938 г., пять-шесть человек крупных ученых, профессоров, знатоков международ ного права, внутренних вопросов, финансово-кредитных вопросов, международных транспортных вопросов и др. С привлечением этих экспертов мои заместители и я сам готовили эти проекты.

Над проектом ответа американцам работали в том же составе. В мае 1946 г. шесть советских экспертов вместе с заместителем министра Степановым подготовили проект ответа, который отличался от предыдущего только следующими моментами: настаивая на том, что эти переговоры по другим вопросам не должны сейчас вестись и не должны связываться с кредитами, заявляя о своем согласии во время указанных переговоров предварительно обменяться мнениями и по этим вопросам, мы сообщали, что готовы начать переговоры по вопросам гражданской авиации и по вопросам судоходства по международным рекам после окончания переговоров по кредитам с той только разницей, что во время переговоров по кредитам будет назначен срок начала этих переговоров.

С моего согласия этот проект Степанов послал Лозовскому, который тогда был заместителем Молотова и в данный период исполнял его обязанности, так как Молотов был на сессии Совета министров иностранных дел великих держав в Париже.

Через несколько дней мне в Министерство внешней торговли позвонил Лозовский о том, что работники Министерства иностранных дел подготовили ответную ноту американцам на основе внешторговского проекта и что текст он послал Молотову в Париж. Молотов одобрил его и просил выяснить мое мнение по нему. Затем Лозовский прочитал мне проект ноты по телефону.

Я сказал, что этот текст поддерживаю, но предупредил Лозовского, чтобы он имел в виду, что такой вопрос нельзя решать двумя министерствами: его надо доложить ЦК партии, то есть в политбюро – Сталину. Хотя и без моего предупреждения было известно, что такие вопросы без ЦК не могут решаться, но на всякий случай, боясь, что Лозовский, имея мое и Молотова согласие, поступит по-другому, я предупредил его. И хорошо сделал, что предупредил. Он, правда, должен был знать это сам и, звоня мне в министерство, понимать, что я там выступал как министр, а не как член политбюро, и Молотов также.

В этот же проект вносились некоторые изменения по сравнению с предыдущим, поэтому тем более обязательно требовалось решение ЦК.

Я дал согласие на эти изменения, чтобы не дать повода американцам сорвать переговоры о кредитах. Поскольку наше согласие иметь предварительный обмен мнениями во время переговоров о кредитах по другим интересующим американцев вопросам нас ничем не связывало, а давало возможность выяснить позицию наших партнеров, то я исходил из того, что если бы нам стало невыгодно вести переговоры по другим вопросам, то мы могли затянуть их на год-два, а потом и совсем

сорвать, но с тем, чтобы до этого момента добиться согласия по кредитам и торговле. Я и сейчас считаю, что поступил правильно, потому что такой путь облегчал нам решение вопроса о кредитах и не лишал американцев надежды вести переговоры по другим интересующим их вопросам.

Я был убежден, что Лозовский, в соответствии с моим предупреждением, послал этот проект Сталину с пометкой, что он согласован с Молотовым и со мной, что Сталин дал согласие, так как в политбюро обычно занимались этими вопросами я, Молотов и Сталин.

Прошло около месяца. Вдруг в рабочее время мне звонит Поскребышев и просит зайти к Сталину. В его кабинете были Маленков и Берия. Там же был Лозовский. Сталин, обращаясь ко мне, в спокойном тоне, без упрека, спрашивает: «С какого времени ты стал принимать решения от имени политбюро по вопросам внешней политики?» – «Товарищ Сталин, не понимаю твоего вопроса». – «Как это не понимаешь? Вот вы с Лозовским дали согласие американцам на переговоры по экономическим вопросам, включая и гражданскую авиацию, в то время как эти вопросы входят в компетенцию полит бюро».

Я говорю: «Известно, что это входит в компетенцию политбюро, но я не понимаю, о чем речь идет. Мне позвонил Лозовский, прочитал по телефону проект ответа, я раньше об этом проекте знал и по существу его поддерживал. Мне сказали, что он согласован с Молотовым и просят моего согласия. Я ответил, что по существу согласен, но просил доложить об этом ЦК, потому что без разрешения ЦК этого ответа посылать нельзя».

Сталин, обращаясь к Лозовскому, говорит: «Прошу подтвердить, говорил ли Микоян по телефону, что этот вопрос следует доложить ЦК?» Я тоже спрашиваю у Лозовского: «Ведь это так было?» Он отвечает: «Да, вы сказали так». То гда я снова к нему: «Почему же вы не сделали этого?» Он молчал. Сталин молча слушал наш диалог и в конце сказал, что ко мне он претензий не имеет, потому что я предупреждал Лозовского, который не хуже меня знает порядок оформления таких документов. На этом выяснение прекратилось.

Потом Сталин ни разу не поднимал этого вопроса. Было видно, что, если бы мы ему доложили этот проект ответа, он не был бы им принят. Но счастье было в том, что американцы отклонили наше предложение, то есть если даже позиция наша была неправильная, она никакого ущерба не нанесла нам. Наоборот, отказ от переговоров пал на американцев.

Позже, размышляя над этим фактом, я все думал: откуда же Сталин узнал, что был послан такой документ, раз его не

доложили?

В то время был порядок, при котором МИД посылал в ЦК по одному экземпляру тех шифровок, которые рассылались членам политбюро. В данном случае Лозовский не посылал копии в ЦК или она до Сталина не дошла (может быть, Поскребышев не показал, не считая этот документ особо важным). И Сталин узнал это из шифровки нашего посла в Вашингтоне, который сообщал, что Госдепартамент отклонил наше предложение по переговорам. В связи с этой телеграммой Сталин поинтересовался, какие же это были предложения.

Это было в 1946 г. Конечно, налицо была ошибка со стороны Лозовского. Но до 1949 г. Сталин ни разу не вспоминал о ней, и мне не напоминал. Вообще, вопрос казался исчерпанным как с точки зрения фактической стороны дела, так и с точки зрения поведения Лозовского. Но Сталин, видимо, сохранил в памяти этот эпизод специально на всякий случай, когда потребуется. Вообще, за последнее время память у Сталина ослабла, но то, что ему нужно было, он помнил хорошо. При расправе с Лозовским этот эпизод был использован.

В 1952 г. на пленуме ЦК после XIX съезда партии он опять «вспомнил» этот вопрос и выдвинул против меня обвинение, что в «сговоре с Лозовским» послал ответ американцам с уступками против тех позиций, которые были ранее согласованы, и тем нанес ущерб интересам страны. Лозовский к тому времени был расстрелян как «враг народа». Сталин, конечно, не сказал, что ко мне претензий тогда не имел и что эти «уступки» американцы не приняли, создав на пленуме ложное впечатление обо всей ситуации. Переписка по этому вопросу сохранилась.

После войны как Москва, так и Лондон были заинтересованы в возобновлении англо-советской торговли в новых, мирных условиях. Нас интересовало английское оборудование, англичан – пшеница, лес и различное сырье. Однако положение сторон с точки зрения платежного баланса было не равное. Дело в том, что по соглашению между СССР и Англией от 16 августа 1941 г. о взаимных поставках, кредите и порядке платежей мы были обязаны сумму каждой получаемой в счет кредита ссуды погашать пятью равными годовыми взносами.

Надо сказать, что 3 % годовых в начале войны было нормальным условием получения кредита, да и выбора у нас не было. По окончании войны, когда образовалась значительная сумма нашей задолженности, эти условия стали для нас обременительными. К тому же, будучи нашим союзником в войне против общего врага, Англия понесла несравненно меньший

ущерб. Мы добились того, что англичане с сентября 1946 г. новые ссуды стали предоставлять нам из расчета 2 % годовых.

По моему поручению торгпред Кленцов в Лондоне вел переговоры с министром торговли Стаффордом Криппсом. Он должен был выяснить настроения англичан в отношении торговли с нами. 19 февраля 1947 г. я получил личное послание Криппса, с которым мы в августе 1941 г. подписали упомянутое соглашение о взаимных поставках, кредите и порядке платежей. В этом послании сообщалось: «Вы, несомненно, уже знаете от г-на Кленцова о моем разговоре с ним 8 января, когда я, в связи с его скорым возвращением в Москву, выразил мнение, что если бы г-н Маркуанд поехал в Москву в то же время, то это могло бы ускорить переговоры относительно торговли между нашими двумя странами. Несколько дней спустя сэр Морис Петерсон (посол Англии в СССР. – *Ред.*) официально сделал Вам такое предложение, но до сего времени мне неизвестно, будете ли Вы согласны вести эти переговоры в близком будущем».

Я действительно не торопился с ответом на предложение Петерсона. Еще когда Кленцов сообщил мне о беседе с Криппсом, я сразу же решил не спешить: вопрос был чрезвычайно важным, и его надо было всесторонне обдумать. Помимо неравного положения с точки зрения платежного баланса, о чем я уже говорил, мы просто тогда не имели достаточного количества товаров для экспорта. Валюты у нас также не было.

Далее Криппс писал: «Если мы хотим достичь чего-либо существенного в этом году, нам нельзя терять времени. Поэтому я надеюсь, что Вы найдете возможным сообщить нам в самом ближайшем будущем о Вашей готовности принять г-на Маркуанда, которому я специально поручил вопрос развития нормальных торговых отношений между СССР и Соединенным Королевством».

Несмотря на настойчивость, проявленную Криппсом, я не спешил с ответом, рассказав, конечно, о его предложении Сталину. В Москве ожидалось проведение в марте 1947 г. сессии Совета министров иностранных дел, куда должен был приехать министр иностранных дел Англии Бевин, который в переговорах мог высказать соображения и по вопросу англо-советской торговли, а их следовало учесть при ответе Криппсу.

Случилось так, что до беседы с Бевином министр лесной промышленности Орлов в разговоре со Сталиным сказал, что может дать стране много валюты, столь необходимой тогда, при условии механизации лесозаготовок. Для этого нужно проложить к лесосекам железные дороги, купив за границей узкоколейные рельсы и паровозы. В результате мы сможем заготовить и вывезти

большое количество лесоматериалов и получить за них валюту. Сталину эта идея понравилась.

Затею с рельсами и паровозами я с самого начала считал несерьезной, так как, чтобы проложить железнодорожную колею, нужно строить насыпь, ровнять местность и т. д. Лесозаготовки осуществлялись в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных местах, и, кроме того, у нас просто не было для этого средств. Тогда, после разрушительной войны, мы были еще очень бедны.

Я сказал Сталину, что в принципе идея правильная, но Орлов не учитывает всех трудностей и больших капиталовложений, необходимых для постройки железных дорог в лесных и болотистых местах. Однако Сталин поверил в реальность предложения Орлова. Продолжать с ним спор было бесполезно. Когда он 24 марта 1947 г. встретился с Бевином, то сказал ему, что мы готовы поставлять Великобритании лесоматериалы, а от нее хотим получить оборудование для лесной промышленности, а также узкоколейные железнодорожные рельсы и паровозы.

На следующий день после беседы Сталина с Бевином, 25 мар та 1947 г., посол Великобритании Петерсон написал мне, что «Бевин весьма желает, чтобы вопрос об англо-советской торговле был обсужден между нашими обоими правительствами с возможно наименьшей задержкой».

Обсудив вопрос со Сталиным, я сообщил Петерсону, что «придерживаясь этой точки зрения, Министерство внешней торговли СССР согласно начать переговоры».

У меня была практика: перед началом любых переговоров созывать совещание с 5–6, а иногда и с 10–12 знающими вопрос работниками, чтобы посоветоваться с ними и уже после этого окончательно определить тактику поведения на предстоящих переговорах. На одном из таких совещаний работники НИИ конъюнктуры МВТ Солодкин и Май на мой вопрос, есть ли возможность снизить наши платежи, сказали, что Англия снизила французам платежи по военному кредиту с 3 % до 0,5 % годовых. Что, если бы и нам поставить англичанам такие условия? Для меня это было совершенно неожиданным: я не знал об этом прецеденте. Когда я услышал эту мысль, то сразу понял ее возможности и был очень обрадован. Даже переспросил, правильно ли их понял. Они все подтвердили. У меня сразу возникла мысль, что, если исходить из того, что во Второй мировой войне мы пострадали и сыграли роль в Победе неизмеримо больше французов, такое наше предложение было бы справедливым и заслуживало бы самого серьезного внимания.

Я сразу же доложил об этом Сталину в присутствии узкого

состава политбюро. Сталин к моему сообщению отнесся скептически. «Мы сами подписали с англичанами соглашение о 3 % годовых, – сказал он. – Как можно от этого отказаться? Ничего у тебя из этого не выйдет. Даже не следует ставить этого вопроса». Я продолжал настаивать. Сталин не отступил от своего мнения. Тогда я попросил его разрешить мне, под мою ответственность, поставить этот вопрос на переговорах с англичанами. «В худшем случае нам откажут, но ведь мы ничего от этого не потеряем», – аргументировал я. Сталин не стал возражать.

На переговоры в Москву в апреле 1947 г. должен был приехать секретарь по заморской торговле Англии Гарольд Вильсон, которого до этого я не знал. Вильсон был моложе меня на двадцать с лишним лет.

19 апреля 1947 г. посол Петерсон представил мне Вильсона, который тут же вручил мне письмо Криппса, заканчивающееся фразой: «С приятными воспоминаниями я шлю Вам наилучшие пожелания и весьма надеюсь, что в недалеком будущем мы будем иметь удовольствие принимать Вас у себя как нашего гостя. Искренне Ваш. Стаффорд Криппс». Прочитав письмо, я невольно вспомнил наши с ним переговоры в 1941 г., в самом начале войны, когда Криппсом была занята весьма жесткая позиция в вопросе о предоставлении нам помощи против общего врага.

Вильсона сопровождала личный секретарь мисс Марсиа Лейн. Она сопровождала его и во всех других поездках в Москву, когда я его впоследствии принимал. Умная, деловая женщина.

Вильсон был хорошо расположен к нам. С ним приятно было беседовать и даже спорить. Правда, тогда у него было еще маловато опыта, зато много энергии и молодого задора. Мы с ним вели длительные дискуссии, которые продолжались иногда далеко за полночь. Забегая вперед, скажу, что мы с ним провели 32 беседы. В итоге удалось добиться больших уступок со стороны Англии в нашу пользу.

Поскольку пересмотр условий погашения кредита являлся для нас в этих переговорах основным вопросом, я на первой же деловой встрече сказал об этом.

Обменявшись вначале мнениями о списках товаров, подлежащих импорту и экспорту, я заявил: «Для того чтобы по-настоящему широко развернуть в ближайшие годы англо-советскую торговлю на основе наличных платежей, необходимо, чтобы условия кредита, полученного Советским Союзом от Великобритании в военное время, являющиеся для нас обременительными, были облегчены. Мы это мыслили достигнуть путем пролонгации срока кредита на 15 лет с момента

подписания нового соглашения, с началом погашения с четвертого года, из 0,5 % годовых, двенадцатью равными ежегодными взносами, причем в кредит включить остатки той суммы, оплата которой предусмотрена наличными».

Для Вильсона такая постановка вопроса была полнейшей неожиданностью, он даже попросил меня повторить сказанное, что я, конечно, и сделал. После этого Вильсон заявил: «Поскольку вопрос о кредите не входит в полномочия делегации, я смогу обсуждать этот вопрос только завтра или послезавтра, получив от британского правительства инструкции».

Через день Вильсон заявил, что британское правительство «придерживается того мнения, что если у советского правительства имеется намерение внести изменения в указанное выше Соглашение 1941 г., то оно должно поднять этот вопрос надлежащим путем, а именно через дипломатические каналы, а не выдвигать его по случаю ведения торговых переговоров».

Выслушав Вильсона, я возразил: «Мы считаем, что вопрос о пролонгации кредита военного времени тесно связан с вопросами товарооборота. Изложенное мной по этому поводу предложение сделано от имени советского правительства, следовательно, это официальное предложение советского правительства о пересмотре кредита военного времени. Какими каналами ставить этот вопрос – имеет второстепенное значение».

Вильсон ответил, что полностью понимает, что я сказал, но Англия хотя и хотела бы «получить лес, зерно из Советского Союза и предложить ему взамен свои товары, однако она не могла бы вступить в обсуждение вопроса о пересмотре Соглашения о кредите на базе, которая повлекла бы за собой большие финансовые жертвы для Великобритании».

Сознательно идя на обострение беседы, я заявил, что «надо подумать, имеет ли смысл обсуждать количества товаров при таком отношении британского правительства к вопросу о пролонгации кредита военного времени». При этом подчеркнул жертвы и лишения, обрушившиеся на нашу страну, а также роль Советского Союза в общей победе.

Я отметил также, что «наша задолженность по этому кредиту является долгом военного времени. Долги такого рода, как известно, регулируются между многими странами на основе новой договоренности. Мы также хотим это сделать». Пример с Францией я сознательно не привел, приберегая его на другой раз. «Поскольку британское правительство считает, что вопрос о пролонгации кредита должен быть поставлен через дипломатические каналы, мы это сделаем, – сказал я. – Что же касается очередного платежа по погашению кредита и процентов

в сумме 3442 тыс. фунтов стерлингов, то советское правительство дало указание Госбанку полностью уплатить сегодня указанную сумму золотом. Однако советское правительство считает, что этот платеж должен быть последним платежом, производимым на условиях Соглашения от 16 августа 1941 г.»

Стало ясно, что переговоры дальше будут трудными. Итоги шести бесед с Вильсоном, проведенных за 19 дней, в общем-то меня удовлетворяли. Вопрос о пересмотре условий кредита военного времени был мною поставлен, что называется, ребром. Англичане согласились на пересмотр, хотя и выдвинули свои условия обсуждения этого вопроса. Это уже само по себе было неплохим началом.

Каждая моя беседа с Вильсоном подробно записывалась моим помощником Смоляниченко и рассылалась для ознакомления Сталину и пяти членам узкого состава политбюро. Кроме того, я о каждой беседе с Вильсоном лично рассказывал Сталину, поскольку ежедневно с ним встречался. Он по-прежнему продолжал сомневаться в возможности уменьшить процент погашения кредита по задолженности военных лет, но все же поручил Молотову поставить перед англичанами вопрос о пересмотре условий погашения кредита военного времени по дипломатической линии.

10 мая 1947 г. министр иностранных дел Молотов направил английскому послу Петерсону соответствующее послание.

В послании использовался мой аргумент о том, что «изменение условий расчетов по Соглашению от 16 августа 1941 г. представляется тем более необходимым, что ущерб, причиненный Советскому Союзу немецкой оккупацией, оказался несравненно большим, чем это можно было предполагать при заключении этого Соглашения».

Готовясь к продолжению бесед с Вильсоном, я решил по-прежнему занимать жесткую позицию, исходя при этом из того, что англичане заинтересованы в наших поставках, а наши требования в части изменения условий кредита справедливы и основаны на французском прецеденте.

Переговоры возобновились 21 июня 1947 г. Вильсон начал с того, что заявил о предоставленных ему полномочиях на ведение переговоров об изменении условий Соглашения 1941 г. При этом он подчеркнул, что «Министерство финансов Великобритании предоставило ему эти полномочия, дав определенное указание, чтобы изменения условий кредита были оправданны с точки зрения интересов Великобритании. Как только Британская сторона узнает, на сколько Советская сторона увеличивает объем своих поставок в Великобританию, она на базе этих новых

предложений сделает свои предложения». При этом Вильсон подчеркнул: «Чем больше будет увеличен объем советских поставок, тем будет более возможным для Британской стороны пойти навстречу Советской стороне в финансовом вопросе».

На это я резко заявил, что это условие для нас неприемлемо, что новая просьба англичан о поставках зерна нового урожая пока не может получить определенного ответа, так как «рано делать какие-либо определенные выводы в отношении урожая». Вильсон вынужден был согласиться со мной.

25 июня я сказал Вильсону, что урожай в этом году будет хороший, и в Великобританию мы сможем поставить из нового урожая 500 тыс. т зерна всех видов, включая пшеницу. Эта цифра, однако, не вызвала энтузиазма у Вильсона. Вильсон сделал заявление о предложении британской стороны об изменении условий Соглашения 1941 г. и вручил мне письменный текст этого заявления. Я сказал, что могу дать ответ на это заявление после того, как оно будет изучено.

30 июня Вильсон попросил встретиться со мной без участия членов делегации, чтобы «высказать кое-какие соображения, которые он не мог бы осветить на пленарном заседании, носящем более формальный характер».

Что же, как оказалось, хотел заявить Вильсон?

Во-первых, то, что он лично «весьма заинтересован в успешном продвижении торговых переговоров», что он прибыл в Москву с полномочиями обсудить финансовые вопросы, что явилось «главной его победой», но он боится, что его правительство не позволит ему заключить финансовое соглашение, если не будет советских предложений о крупных поставках из СССР в Великобританию. Затем Вильсон спросил, является ли цифра 500 тыс. т зерна из урожая 1947 г. «абсолютным максимумом», и если да, то его, очевидно, отзовут из Москвы.

На это я сказал, что мое личное мнение – 500 тыс. т зерна из урожая 1947 г. является максимальным. Что же касается предложений Вильсона по кредиту, то рассматриваю их как «недостаточные, так как согласно им срок погашения кредита пролонгируется лишь в отношении только части кредита, а в отношении остальной, большей части кредита, погашение которой падает на ближайшие годы, срок остается неизменным».

В ответ на это Вильсон сказал, что он подождет решения советского правительства о его предложениях, сделанных на беседе 28 июня 1947 г., и надеется, что мое личное мнение «не будет превалировать», добавив: «Получается, что он (Вильсон) борется со своим правительством за заключение соглашения, а

позиция г-на Микояна противоположная».

О ситуации, сложившейся на переговорах, я доложил Сталину. Сказал, что пока можно настаивать на поставку в Великобританию 500 тыс. тонн хлеба. Сталин не возражал.

3 июля 1947 г. я сообщил Вильсону, что советское правительство подтвердило возможность поставки в Великобританию 500 тыс. т хлеба урожая 1947 г. В ответ Вильсон заявил, что он должен передать об этом своему правительству. Поэтому переговоры должны прерваться, и он начнет хлопотать о возвращении домой.

Уходя, Вильсон попросил разрешения нанести мне прощальный визит, так как он не желает, чтобы разрыв переговоров мог повлиять на наши личные отношения. Я с этим, конечно, согласился, в то же время не веря в заявление Вильсона о его намерении прервать переговоры. Я исходил не только из того, что Англия, пожалуй, не меньше нас заинтересована в них, но и из того, что сам Вильсон хорошо к нам расположен и – главное! – успех его миссии важен для него лично.

В своих предположениях я не ошибся. На следующий день поступило пространное письмо Вильсона, в котором он повторял все уже им сказанные положения о позиции Великобритании по рассматриваемым нами вопросам. В конце письма он указывал, что, насколько он понял вчера, я не заинтересован в дальнейших переговорах.

Письмо Вильсона сразу же было доложено мной Сталину. Я предложил увеличить для Англии количество зерна из урожая 1947 г. до 1 млн т. Сталин согласился.

5 июля по моей инициативе состоялась следующая встреча с Вильсоном. Я сказал, что, получив его письмо от 4 июля с изложением позиций британской делегации, переговорил об этом со Сталиным, в результате чего могу заявить, что мы согласны увеличить поставки зерна в Великобританию до 1 млн т из урожая 1947 г., то есть в период с сентября с. г. по сентябрь 1948 г., в следующий годовой период – до 1,5 млн т и затем – до 2 млн т. «Мы хотели предложить большее количество, – добавил я, – однако мы не можем назвать больше того, что будет возможным поставить, так как мы хотим быть хозяевами своего слова и выполнить свое обещание полностью». При этом, сказал я, сделанные мной ранее предложения об изменении условий кредитного Соглашения 1941 г., разумеется, остаются в силе.

На следующей встрече, 7 июля, Вильсон сообщил, что им получен ответ Лондона на мое заявление от 5 июля: британское правительство рассчитывало получить 2 млн. т зерна из урожая 1947 г., но он считает, полагая, что Лондон того же мнения, что

названное мной количество зерна «может быть принято за базу для переговоров в надежде на то, что Советская сторона еще раз продумает этот вопрос и сможет увеличить эту цифру». Затем Вильсон изложил условия пересмотра Соглашения 1941 г.

Я еще раз напомнил Вильсону, что «пересмотр кредита военного времени является неизбежным и его следует рассматривать независимо от сделок, которые будут совершаться сторонами. Нельзя между этими двумя вопросами устанавливать связь».

Слушая Вильсона и отвечая ему, я чувствовал, что тот чего-то недоговаривает. Видимо, подумал я, он опять запросил Лондон и ждет очередной инструкции.

И действительно, на следующий же день мои предположения оправдались. На встрече 10 июля Вильсон заявил, что получил инструкции от британского правительства сообщить г-ну Микояну, что британское правительство приняло окончательное решение – сократить процент наличных платежей по новым ссудам с 40 % до нуля, то есть все новые ссуды предоставить на базе кредита с погашением его в течение 15 лет. Что касается погашения уже предоставленных ссуд, то в этом отношении британская сторона ни на какие уступки пойти не может, за исключением уже сделанного предложения о снижении процентной ставки.

Я, выразив признательность за шаг вперед, сказал, что лично принять предложение британской стороны не могу, однако переданное г-ном Вильсоном решение британского правительства сообщу советскому правительству. Вильсон тут же напомнил, что британская сторона ожидает, что советская сторона найдет возможным увеличить количество зерна. «Одной из черт г-на Вильсона, – шутя сказал я, – является характерное для всех британцев упрямство».

Вильсон возразил, что ему, наоборот, кажется, что он «проявляет исключительную уступчивость и гибкость».

Однако шутки шутками, а переговоры наши принимали явно затяжной характер, а в части основного финансового вопроса они просто зашли в тупик. Поэтому, чтобы выйти из этого тупика и достигнуть соглашения, мной на следующей нашей встрече, 12 июля, было сделано компромиссное предложение, которое я, конечно, согласовал со Сталиным. Разногласия, как известно, сказал я, касаются пролонгации срока погашения предоставленных ссуд на сумму 38 млн фунтов стерлингов. Советская сторона желает продлить срок погашения этих ссуд на 15 лет, а британская сторона хочет оставить прежние сроки погашения этой суммы.

Поэтому, продолжал я, предлагается как компромисс срок погашения половины указанной суммы продлить на 15 лет, а срок погашения другой половины этой суммы оставить прежним.

Вильсон явно обрадовался и сказал, что находит мое предложение «гениальным», но британское правительство не может пойти на какие-либо изменения в сроке погашения предоставленных ссуд. Он добавил, что «нельзя считать компромиссом, когда одна сторона сделала уступку наполовину, а другая сторона – только на четверть».

Беседа наша затянулась, и в результате мы констатировали, что «переговоры по финансовому вопросу зашли в тупик».

После этой беседы Вильсон вновь прибегнул к своему излюбленному приему: он написал мне письмо, в котором повторил все то, что им уже было сказано на встрече 12 июля, и, кроме того, внес разумное предложение: «пока сторонами рассматривается финансовый вопрос, продолжить обсуждение других вопросов».

При создавшейся ситуации я понимал, что обсуждение финансового вопроса придется отложить до получения ответа из Лондона на наше предложение о компромиссе, но все же счел нужным еще раз заявить Вильсону о том, что он должен знать, что изложенное 12 июля компромиссное предложение является окончательным.

В последующих наших встречах (15, 16, 19 и 21 июля) обсуждались вопросы торгового соглашения. Основным спорным вопросом на них оказался вопрос о цене на зерно. Предлагаемая Вильсоном цена 88 долларов за тонну была для нас совершенно неприемлема. Мы хотели получать 107 долларов за тонну.

На беседе 21 июля вопрос этот достиг наибольшего накала. Когда, отвечая Вильсону, я подтвердил, что названная мной цена является окончательной, Вильсон, после некоторого колебания, поднялся и, заявив, что он «сожалеет, что так получается», простился и ушел.

Я уже достаточно хорошо изучил Вильсона и не сомневался в том, что он через некоторое время опять проявит инициативу о следующей нашей встрече. И вновь не ошибся.

23 июля Вильсон попросил встретиться без экспертов с тем, чтобы, как он выразился, «свободно поговорить о создавшемся в переговорах положении и посмотреть, есть ли возможность найти какую-либо базу для выхода из тупика, возникшего на беседе в понедельник, 21 июля, из-за разногласий по вопросу о цене на пшеницу». Я сказал, что готов немного снизить цену, и назвал 103 доллара за тонну. Вильсон со своей стороны поднял цену до 92 долларов, затем до 96 долларов, но и с ней я не согласился.

Получилось так, что в этот день, 23 июля, самолет за Вильсоном уже прилетел в Москву. Вильсон, правда, объяснил, что присылка самолета не связана с тупиком, возникшим на встрече в понедельник. Однако он должен вылететь в Лондон.

На следующий день, 24 июля, мы встречались трижды. Последняя беседа проходила с 12 до 1 часа 25 июля. Вильсон проинформировал меня, что им получена телеграмма из Лондона, указывающая на то, что при создавшейся ситуации «нет ни малейших перспектив на соглашение, если цена на пшеницу, названная г-ном Микояном, не будет снижена до 96 долларов».

Далее в телеграмме говорилось, что «финансовые уступки по Соглашению 1941 г., на которые Британское правительство уже дало согласие пойти ради заключения общего торгового соглашения, снимаются и обязательства по Соглашению от 1941 г. остаются в силе».

Выслушав это, я заявил, что условия кредита по Соглашению 1941 г. не останутся в силе, «их изменит сама жизнь», что настаиваю на своем компромиссном предложении и подтверждаю это сейчас. «Если Британская сторона не согласна принять наше справедливое предложение, – сказал я, – это ее дело. Приходится только сожалеть».

Так закончился второй раунд наших переговоров. Английская делегация отбыла в Лондон. Наступил новый длительный перерыв в переговорах, который продолжался более четырех месяцев – с 25 июля по 5 декабря 1947 г. Я не сомневался, что и на этот раз Англия будет стремиться к возобновлению переговоров и что в конечном счете мы все же сумеем добиться принятия англичанами наших справедливых требований об изменении условий погашения кредита военного времени. Я по-прежнему исходил из того, что Англия не менее нас заинтересована в заключении торгового соглашения. Кроме того, полагал, что Англия не могла остаться равнодушной к нашему заявлению о том, что начиная с 30 апреля 1947 г. очередные платежи по кредиту будут производиться в размере 50 % подлежащих к уплате сумм.

После обстоятельного доклада Сталину с участием узкого состава политбюро о сложившемся положении на англо-советских торговых переговорах со мной согласились, что целесообразно проявить инициативу с нашей стороны по дипломатической линии. Заместитель министра иностранных дел Вышинский 29 июля 1947 г. направил английскому послу Петерсону соответствующее письмо, подготовленное нами в МВТ.

Однако оказалось, что в тот же день, 29 июля, утром нашему послу в Лондоне Зарубину была вручена памятная записка по

поводу англо-советских торговых переговоров, а 31 июля было получено письмо английского посла Петерсона.

Последнее письмо Лондона содержало требование об уплате всей суммы очередного платежа по кредиту. Это требование было, конечно, юридически обоснованным, поскольку Соглашение 1941 г. не было изменено. И с этим нельзя было не считаться. Но выполнение этого требования можно было поставить в зависимость от выполнения англичанами обязательств по поставкам, в которых мы были заинтересованы. В связи с этим нашему послу Зарубину было поручено сделать 14 августа 1947 г. следующее категорическое заявление Вильсону: «советское правительство готово, как уже было заявлено раньше, возобновить переговоры и внести платеж на 31 июля с. г. в остающейся части, если Англия со своей стороны готова пойти на уступки и согласиться, чтобы половина остающейся суммы уже предоставленного кредита была пролонгирована на 15 лет. При этом Советское правительство предупреждает, что переговоры могут дать успешные результаты в том случае, если параллельно с твердыми обязательствами по поставкам товаров Советским Союзом Британское правительство возьмет на себя также твердые обязательства по поставкам в тех размерах, которые были заявлены Советской стороной во время переговоров в Москве».

Как мы и ожидали, это заявление вызвало пространное письмо министра торговли Криппса с изложением уже известных нам позиций и с выражением явного желания возобновить переговоры.

Об этом письме Криппса я доложил Сталину. Сказал ему, что именно теперь настало время прямо сказать англичанам, что мы не просим от них больших уступок, чем они предоставили Франции, и что, отказывая нам в этом, они, по существу, допускают в отношении нас дискриминацию. Сталин согласился.

15 сентября 1947 г. я писал Криппсу:

«Получил Ваше письмо об условиях возобновления англо-советских торговых переговоров, прерванных несколько времени тому назад. Следует считать плодом недоразумения утверждение в Вашем письме, что якобы наши условия возобновления переговоров означают для Вас ведение их под какой-то угрозой. Достаточно сказать, что в свое время Британское правительство согласилось в принципе пересмотреть кредитное Соглашение, не усматривая в этом никакой угрозы с нашей стороны для возобновления прерванных тогда торговых переговоров.

Теперь, когда стоит вопрос о возобновлении дважды прерванных переговоров, Советская сторона не требует больших уступок, чем те, что Великобритания уже предоставила Франции

в конце прошлого года при пролонгации долга военного времени. Ввиду такого положения упорное нежелание Британской стороны пойти навстречу нашим обоснованным предложениям о пересмотре кредитного Соглашения имеет характер дискриминации в отношении Советского Союза, с чем мы не можем примириться».

Таким образом, в моем ответе Криппсу, как говорится, все точки над «i» были поставлены. Осталось ждать реакции англичан.

Через 20 дней, 6 октября 1947 г., поверенный в делах Великобритании Робертс попросил его принять. Робертс сказал, что Вильсон назначен теперь министром торговли, и шутя добавил, что «переговоры в Москве, как видно, способствуют повышению в должности и не исключено, что, если стороны достигнут согласия, г-н Вильсон сделается премьером». Затем Робертс сказал, что целью его визита, по указанию правительства, является изучение почвы для возобновления переговоров.

Я довольно жестко заявил, что единственной базой для переговоров мы считаем наши предложения, на принятии которых мы настаиваем. «Кроме того, – добавил я, – теперь еще подлежит пересмотру вопрос о ценах, согласованных с г-ном Вильсоном, в связи с имевшими место с того времени изменениями базиса цен».

Итак, визит Робертса был очередным зондажем. Теперь следовало ждать новых предложений англичан. Важно было проявить твердость и выдержку. Однако прошло полтора месяца, прежде чем 19 ноября 1947 г. посол Петерсон посетил меня по просьбе Вильсона и заявил, что, если это удобно для меня, Вильсон хотел бы приехать в Москву на три-четыре дня, захватив с собой пять-шесть человек экспертов. Я ответил, что всегда рад встретиться с г-ном Вильсоном для обсуждения торговых переговоров, однако, поскольку речь идет о возобновлении прерванных переговоров, я доложу советскому правительству, после чего дам ответ.

Рассказав об этом Сталину, я высказал и свое мнение на этот счет, с которым он согласился. 21 ноября, пригласив Петерсона, я сказал, что мы, конечно, рады принять г-на Вильсона и согласны на возобновление переговоров, но мы не хотим, чтобы г-н Вильсон, приехав в Москву, снова вернулся в Лондон без результатов. Чтобы поездка г-на Вильсона в Москву была успешной, мы хотим заранее знать, с чем он едет сюда. Затем я добавил, что теперь переговоры не могут быть возобновлены с того места, на котором они были прерваны, и хотели бы знать заранее, что нового г-н Вильсон собирается предложить.

На этот раз англичанам потребовалось всего восемь дней, чтобы наконец дать положительный ответ на наши предложения.

Переговоры с Вильсоном возобновились 5 декабря 1947 г.

Мы условились, что нам предстоит рассмотреть пять пунктов:

1. Об изменении условий кредита, предоставленного по Соглашению 1941 г.
2. О принятии Британским правительством обязательств по поставкам из Великобритании в СССР.
3. О пересмотре цен.
4. О балансировании взаимных поставок и объеме их.
5. Другие вопросы, вытекающие из того, что настоящие переговоры возобновились в декабре, то есть свыше четырех месяцев после их прекращения в июле месяце.

Каждой нашей беседе, как и ранее, предшествовала совместная работа экспертов, которые согласовывали детали, редактировали статьи проекта Соглашения.

10 декабря 1947 г. состоялась наша последняя в этих переговорах беседа с Вильсоном. Если считать с начала переговоров (с 19 апреля 1947 г.), это была наша 32-я беседа. Продолжалась она 3,5 часа. Началась в 2 часа ночи и закончилась в половине шестого утра. Мы заслушали экспертов по отдельным пунктам Соглашения. Обменялись по ним мнениями. Еще раз обстоятельно обсудили цены на зерно и пришли к согласованному решению по этому вопросу. Рассмотрели еще ряд вопросов, касающихся Соглашения. В заключение беседы Вильсон сказал, что пришлет мне текст заявления, которое он должен будет сделать в парламенте по результатам наших с ним переговоров. В этот же день Вильсон отбыл в Лондон.

27 декабря 1947 г. подготовленный мной с Вильсоном протокол Соглашения по торговым и финансовым вопросам между Союзом ССР и Великобританией был подписан мной как министром внешней торговли, а с английской стороны его формально подписал посол Петерсон.

Для нас основная выгода от Соглашения с Англией в 1947 г. была в том, что существенно были изменены в нашу пользу условия кредита, установленные в начале войны Соглашением 1941 г.: сроки оплаты 50 % не погашенных к 1 мая 1947 г. ссуд переносились на последующие 15 лет; и основное – процентная ставка по не погашенным на 1 мая 1947 г. ссудам и по всем дальнейшим ссудам была снижена с 3 % до 0,5 % годовых. Помимо этого Соглашение 1947 г. устанавливало, что в дальнейшем дебитовое сальдо по клирингу (то есть превышение

британских поставок над советскими) полностью покрывается за счет предоставляемого нам кредита.

Выгоды, полученные нами от этих изменений условий кредита, установленных Соглашением 1941 г., составили 10,5 млн фунтов стерлингов. Кроме того, в результате достигнутых в ходе переговоров 1947 г. соглашений о скидках с цен на товары, поставленные по Соглашению 1941 г., а также об урегулировании претензий военного времени, были получены нами выгоды в общей сумме 47,8 млн фунтов стерлингов. Таким образом, всего в результате Соглашения 1947 г. выигрыш советской стороны составил 58,3 млн фунтов стерлингов.

Надо сказать, что в последующем Вильсон старался почти каждый год побывать в Москве. В Англии он выступал в общем с позиций дружбы в отношении Советского Союза. Он говорил, что Англия должна стать мостом между США и СССР. Когда в 1961 г. мой сын Серго вернулся из Лондона после двухмесячной работы на советской выставке, он рассказал мне, что Вильсон уделил ему подчеркнуто большое внимание, приглашал на ланч в палату общин, познакомил с тогдашним лидером Лейбористской партии Гэйтскеллом и другими «теневыми министрами». Приезжая в Москву в качестве уже премьер-министра, он добивался встреч со мной как старым знакомым, даже приезжал ко мне на дачу. Он продолжал встречаться со мной и когда я вышел на пенсию, что окружением Брежнева уже не одобрялось. Он публично – в теле– и газетных интервью – называл меня своим учителем в деле ведения переговоров.

Я всегда соглашался на встречи с Гарольдом Вильсоном. Делал я это не только из вежливости и из дружеских чувств к нему. Мне было интересно с ним беседовать: он много знал из того, что происходило не только в Лейбористской партии, но и у консерваторов, и в западных державах, и был со мной искренен в обсуждаемых вопросах. В ответ я высказывал ему свою оценку и правдивую информацию об СССР, о нашей внешней и экономической политике.

Судя по всему, Вильсон оставался довольным нашими встречами и беседами.

24 января 1968 г. Вильсон в последний день своего визита в Москву устроил завтрак в посольстве Великобритании, объявив о его начале в 13 часов. Однако его переговоры с Косыгиным затянулись до 3 часов дня.

Выступая на завтраке, Вильсон говорил с обычным английским юмором: «Наши переговоры, как и завтрак, запоздали по следующей причине: г-н Косыгин думал, что премьер Великобритании не умеет вести длительные политические споры,

а я доказал, что умею, и поэтому мы опоздали на завтрак. В таких спорах, – сказал Вильсон, – я являюсь учеником г-на Микояна, здесь присутствующего. 20 лет тому назад мы с ним вели переговоры и успешно их закончили в 6 часов утра. Я его считаю своим учителем в ведении переговоров и считаю своим достижением то, что сегодня переговоры с Косыгиным мы окончили вместо часу в 3 часа дня».

Может быть, чтобы поднять свой престиж в Лондоне (до того как он стал премьером, когда у власти еще были консерваторы), в Москве Вильсон добивался встреч с Хрущевым, со мной как старым знакомым. Я несколько раз его принимал в Москве, давал в честь его завтрак, вел беседы, принимал на даче, как я уже сказал.

Впоследствии, когда Вильсон возвращался в Англию, он, конечно, информировал английское правительство и общественность о встречах с Хрущевым и со мной. Однажды он допустил при этом некоторые искажения.

В статье о беседах со мной он написал, будто от меня он услышал, что Сталин плохо относился к русским. Я этого не мог говорить, ибо это была бы неправда. Когда в следующий раз он был у меня, я спросил его: «Как можно это вообще писать? Ведь этого не было и не могло быть». Он, не ожидая моей прямой постановки вопроса, стал изворачиваться, юлил, говорил, что редактор сам добавил эту фразу, у него в статье ее не было: «Видимо, редактор хотел придать статье сенсационный характер и на этом заработать». Я уточнил: «Подпись ваша стоит под статьей?» Он не мог ничего ответить, краснел, мямлил.

Надо сказать, после этого случая в его выступлениях о наших беседах никаких искажений или выдумок не было.

Глава 41
Что я ожидал после войны

Атмосфера в руководстве партией и страной во время Великой Отечественной войны настолько хорошо в целом сложилась, что я исключал возможность того, что после войны в какой-то, даже в малой степени повторится истребление руководящих кадров и необоснованные репрессии. Во-первых, обстановка была уже другая. Война оказалась большой школой для политического воспитания десятков миллионов людей, да и их пребывание в Западной Европе в связи с освобождением от фашизма также вносило что-то новое в настроение. Они увидели, какой уровень жизни там существует, и, возвратившись с фронта, стали другими людьми – с более широким кругозором, с другими требованиями. Это создавало благоприятные условия для дальнейшего развития нашей страны и было препятствием для произвола. И надо сказать, что в армии, несмотря на строгость дисциплины, вполне правильной и законной на самом фронте, в боевых действиях, действовал какой-то товарищеский демократизм, который обычно возникает во время длительной и тяжелой войны.

Боевая обстановка и совместные действия в годы войны в тылу и на фронте сближали и положительно влияли на общественное развитие нашей страны. Учитывая это, а также эволюцию характера и поведения Сталина, я полагал, что начнется процесс демократизации в стране и партии, что как минимум вернемся к тем демократическим формам отношений в партии и отчасти в стране, которые были до 1929 г., и пойдем дальше. Я даже был уверен в этом, и какое-то чувство радости сопровождало меня. Я вновь почувствовал доверие и дружеское отношение к Сталину, тем более что всю войну Сталин доверял мне в делах, которые мне поручались. У меня почти не было с ним столкновений – ни открытых, ни скрытых.

Я ожидал изменения политики и в отношении деревни. Я понимал и считал правильным, что индустриализация перед войной и в ходе самой войны вынуждала идти на большие изъятия, которые мы совершали в отношении деревни. Деревня давала городу по крайне низким заготовительным ценам хлеб, мясо, молоко и другие продукты, но долго это продолжаться не могло. Может быть, год-два после войны это придется продолжать, считал я, потому что сильно обеднели мы в войну, но, когда восстановительный послевоенный процесс даст

значительные успехи, в первую очередь нужно будет поднимать крайне низкие заготовительные цены, унаследованные фактически с конца 20-х гг., когда существовали ножницы между ценами на сельскохозяйственные и промышленные товары.

Теперь этого терпеть было вовсе нельзя. Я, правда, об этом ни с кем своими мыслями не обменивался до момента, когда это можно было бы осуществить. Я настолько верил в разум Сталина, что думал: он поймет – эта задача вполне осуществима и необходима. Я даже не сомневался в правильном разрешении этого вопроса. Но постепенно пришлось разочароваться и в этих своих надеждах, и в самом Сталине в этом отношении.

У меня вновь возникло чувство недоверия к его разуму и его действиям. Более того, некоторые нетерпимые черты его поведения стали еще острее проявляться в конце и после войны.

Удручающее впечатление на меня произвело то, что Сталин добился выселения целых народов – чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, балкар, кабардинцев, немцев Поволжья и других – с их исконных земель в европейских районах и в Закавказье, а также татар из Крыма, греков из Закавказья уже после того, как немцы были изгнаны с территорий, где проживали эти народы.

Я возражал против этого. Но Сталин объяснял это тем, что эти народы были нелояльными к советской власти, сочувствовали немецким фашистам. Я не понимал, как можно было обвинять целые народы чуть ли не в измене, ведь там же есть партийные организации, коммунисты, масса крестьян, советская интеллигенция! Наконец, было много мобилизовано в армию, воевали на фронте, многие представители этих народов получили звания Героев Советского Союза!

Но Сталин был упрям. И он настоял на выселении всех до единого с обжитых этими народами мест.

Это было невероятным, особенно со стороны человека, который славился знатоком национального вопроса, проводником ленинской национальной политики. Это было отступлением от классового подхода в решении национального вопроса. Нельзя обвинять всю нацию в измене, хотя, может быть, и были, как и среди русских или украинцев, армян и других, какие-либо реакционные элементы, затем перешедшие в услужение к немцам. Но это были единицы, их можно было установить, разыскать, расследовать их дела.

Дело переселения народов Сталин поручил Серову, заместителю Берии, бывшему наркому внутренних дел Украины, которому были даны неограниченные полномочия по организации выселения. В течение суток-двух загружались вагоны

и отправлялись в другие места. Была такая высокая организованность в этом деле, которую, конечно, нужно было бы применять в другом деле, а не в таком позорном. Серов дошел даже до того, что представил к наградам тех офицеров и военнослужащих, которые осуществляли эту операцию, и эти награды были им вручены.

Только после смерти Сталина отменили Указ о награждении и лишили наград этих офицеров и военнослужащих. Это предложение было внесено мною. И после смерти Сталина была организована комиссия под моим председательством по возвращению на родину, в родные места, необоснованно выселенных народностей, по восстановлению их государственности, за исключением крымских татар и немцев Поволжья.

Главная причина, почему не была восстановлена Крымско-Татарская автономная республика, заключалась в следующем: территория ее была заселена другими народами, и при возвращении татар пришлось бы очень много людей снова переселять. Кроме того, крымские татары были близки к казахским татарам, да и к узбекам. Они хорошо устроились в новых районах, и Хрущев не видел смысла вновь их переселять, тем более что Крым вошел в состав Украины. Но татарская интеллигенция не могла смириться с потерей Крыма и еще долго добивалась возвращения.

А немцы Поволжья хорошо освоились на целинных землях Казахстана, хорошо работали там, и Хрущев считал, что не было большого смысла их переселять, кроме того, чтобы вернуть их туда, где жили их предки. Президиум ЦК с этим согласился.

Итак, после смерти Сталина многое было исправлено, но не все было возможно сделать.

Перед войной я не помню каких-то особых фактов нарушения Сталиным национальной политики в стране, кроме закрепления границ между республиками, не всегда отвечающих реальному расселению народов, а также одного важного факта, который своими корнями связан с главной ошибкой Сталина, осужденной Лениным, – это попытка низвести самостоятельные советские республики до положения бесправных автономий. В новой Конституции была закреплена крайняя централизация не только в тех областях, в которых централизация нужна, например военное дело, финансы, внутренняя торговля, капитальные вложения, политика зарплаты, политика в отношении крестьянства. Но он создал новые союзные наркоматы, которые подчинили себе республиканские, хотя такое положение в свое время считалось нецелесообразным и неправильным. Более того, в Конституции

был записан пункт, внести который уговорил Сталина Вышинский, который в связи с политическими процессами стал играть видную роль и сблизился со Сталиным. Возможно, была инициатива и самого Сталина, но и в том и в другом случае без желания Сталина это сделать было невозможно. В этом пункте было записано, что республики лишались права иметь свои кодексы законов и должны были пользоваться единым кодексом союзных законов. Это было большим ущемлением суверенных прав республик и совершенно неразумным делом. К счастью, последнее решение осталось только на бумаге, потому что события и репрессии 1937–1938 гг., война и послевоенные события не позволили принять Всесоюзный кодекс законов. Поэтому фактически продолжали действовать старые кодексы. Зачем, скажем, какого-то узбека или грузина нужно было судить по закону союзному, а не именем закона своей республики? Ведь ошибки судов и недостатки самих законов народы республик приписывали союзному правительству. А ведь от этого не польза, а вред. Вообще, республиканские кодексы законов были близки к союзным, ибо республики понимали, что нужно единство в политике. И партия во всех вопросах имела возможность оказывать свое влияние там, где проявлялись какие-то ошибки. Поскольку эта статья в Конституции после смерти Сталина оставалась в силе, Ворошилов, будучи Председателем Президиума Верховного Совета СССР, во исполнение этой статьи подготовил союзный Уголовный кодекс и внес его на рассмотрение Президиума ЦК КПСС с тем, чтобы затем, утвердив его в Верховном Совете, принять Всесоюзный кодекс и фактически отменить существовавшие кодексы республик. Тогда мне удалось, опираясь на поддержку Хрущева и Булганина, добиться отмены этой статьи Конституции и принятия другого пункта, согласно которому Верховный Совет СССР устанавливает только основу законодательства, а кодексы принимаются союзными республиками. Это позволяло кроме сохранения суверенных прав народов республик в этой области учитывать и их специфические особенности.

Все мои надежды на демократизацию режима постепенно развеивались. Даже в руководстве партии правильно установленные во время войны нормы были попраны. Хотя товарищеская атмосфера работы в руководстве ни в коем случае не принижала роли Сталина. Наоборот, мы почти во всех случаях собственные предложения, оформленные за подписью Сталина, приписывали целиком Сталину, не декларируя, что автором является не Сталин, а другой товарищ. И он подписывал, иногда внося поправки, а иногда и этого не делая, даже иногда не читая,

так как доверял.

Эта атмосфера изменилась. Интриган Берия знал слабые стороны Сталина и сумел вовремя этим воспользоваться. Сталин стал редко выступать, и выступления его были сплошной демагогией. Разве он мало говорил о критике и самокритике? Об ответственности лиц за свои действия, независимо от того, на каком посту они находятся? О демократии партийной и советской? О законности, о ее соблюдении во всем? А ведь сколько невероятных беззаконий было совершено с его согласия или по его прямому указанию, особенно в период 1937–1938 гг., а точнее, начиная с 1936 г. по 1940 г., а затем после войны – это позорное «ленинградское дело», приведшее к расстрелу члена политбюро Вознесенского, секретаря ЦК партии Кузнецова, Председателя Правительства Российской Федерации Родионова, секретаря Ленинградского обкома партии и председателя Ленинградского облисполкома и ряда других лиц, позже реабилитированных как совершенно невиновных. Или репрессии населения пограничных регионов, от Эстонии до Грузии. Или «дело о космополитах», аресты и убийства видных евреев, «дело врачей».

Не возродилась после войны демократия даже в партии. В отличие от ленинских порядков во время войны не было созвано ни одного пленума ЦК. Более того, созванный по требованию членов политбюро пленум ЦК в конце сентября 1941 г., несмотря на то что большинство членов политбюро прибыло, не был открыт, и Сталин не счел нужным хотя бы на несколько часов собрать товарищей и сказать несколько слов об обстановке, хотя члены ЦК нуждались в правдивой оценке положения и постановке задач, стоявших перед партией в связи с войной. Сталин поручил это сделать Маленкову и Берии, которые собрали членов ЦК, прибывших с мест, сказали несколько слов и немедленно отпустили их по домам.

А ведь Ленин даже в Гражданскую войну, в более тяжелых условиях, собирал съезды партии, партийные конференции и съезды Советов.

Только в 1946 г. был созван пленум ЦК, главной темой которого были вопросы сельского хозяйства (докладчиком был Андреев). Во время длительных прений больше внимания уделяли агротехнике, организационным вопросам о советах и бригадах, но ни одного экономического вопроса не обсуждалось. А главными тогда были вопросы политики цен, производства тракторов и сельхозмашин, удобрений. Ведь в войну было почти прекращено производство тракторов и комбайнов (это было естественно), поэтому на полях работала старая техника. Правда,

производство тракторов и комбайнов в 1948–1950 гг. восстановилось, потому что производство танков было сокращено, и тракторные заводы стали выпускать свою основную продукцию.

Тот, кто думал о сельском хозяйстве, не мог пройти мимо вопроса заготовительных цен. Впервые после 20-х гг. мне удалось убедить Сталина провести повышение заготовительных цен на молоко, сахарную свеклу и предоставить льготы свекловодам. Не по моей инициативе, но Сталин провел повышение заготовительных цен на тонкую шерсть, ввиду того что надо было сократить импорт шерсти. На остальные продукты оставались цены 1926 г.

Как-то Молотов мне сказал, что надо поднять заготовительные цены на хлеб, потому что нельзя дальше терпеть такое положение. «А какое твое конкретное предложение?» – спросил я его. Он ничего не ответил.

Чувствовалось, что Сталин интересовался рынком, торговлей, многое знал и понимал. Я часто ему подробно рассказывал, и он внимательно слушал. Но его раздражало, когда он хотел снизить цены на мясо и сливочное масло, а я возражал. Желание его было понятным, но совершенно неправильным, так как этих продуктов в стране не хватало и было плохое снабжение ими. Отсюда возникла идея составить трехлетний план развития животноводства. Сельским хозяйством тогда занимался Маленков. Ему и было поручено подготовить такой план. Были приняты аккуратно расписанные цифровые задания и директивные указания по видам скота, по республикам, и выполнение этих заданий, по мысли авторов, должно было привести к значительному увеличению производства продуктов в стране. Но в этих документах отсутствовали экономические мероприятия: ни повышения заготовительных цен, ни механизации животноводства и др. Все ограничивалось организационными мерами и директивными указаниями. Например, из Министерства сельского хозяйства было выделено Министерство животноводства, что было несуразным: одними и теми же колхозами теперь должны были руководить два министерства, хотя одно от другого неотделимо, ибо растениеводство обеспечивает условия для животноводства. К тому же рядом существовало еще и Министерство совхозов.

Через три года и задания по поголовью скота, кажется, не были выполнены в колхозах.

Только после смерти Сталина, в сентябре 1953 г., пленум ЦК по докладу Хрущева принял решение о значительном повышении заготовительных цен на сельскохозяйственные продукты. Хотя,

как потом оказалось, и это было недостаточно и приходилось еще повышать цены в той или другой форме, скажем за сверхплановую сдачу и т. д.

Повышение заготовительных цен в 1953 г. привело к огромному росту сельскохозяйственного производства и заготовок. Тогда вдруг все у нас появилось. К сожалению, когда у Хрущева голова вскружилась от успехов, ослабло его внимание к деревне, начали приниматься крайне негативные меры в области сельского хозяйства, что нанесло ущерб экономике страны и подорвало престиж самого Хрущева. А он ведь до этого все успехи приписывал своей личности, своей личной роли в этом деле. И народ, естественно, когда появились недостатки, приписал все их тоже ему, в связи с чем и упал его престиж.

Возвращаясь к Сталину, надо сказать, что он, в отличие от Хрущева, вообще плохо знал деревню. Он никогда практически не был ни в одном колхозе, ни в одном совхозе. Один раз, когда мы со Сталиным ездили по Кавказу, из Сочи в Тифлис, в 1925 г., Серго Орджоникидзе предложил поехать в одну коммуну близ города Гори – родины Сталина. Там 15–20 домов были построены за счет государственного кредита. Старики по давнему обычаю угощали Сталина – грузины умеют это делать. Сталину это понравилось, и он был в хорошем настроении. Улучив момент, мы посмотрели каменные одноэтажные дома, построенные в казенном стиле, впритык один к другому, с выходом на улицу. Я Серго спросил: «Все это построено за счет кредита государства. Как ты думаешь, когда они смогут вернуть этот кредит?» Он мне ответил: «Что ты мне наивный вопрос задаешь? Разве сам не понимаешь? Откуда такие доходы? Конечно, не вернут».

Правда, Сталин многое знал со слов товарищей, которые сами были специалистами сельского хозяйства и с которыми он встречался. Он внимательно слушал делегатов на колхозных съездах и умел быстро воспринимать, схватывать главное. Но он знал качество русского мужика – его терпимость. Русский мужик действительно терпел нужду, в особенности в войну, понимая неизбежность этого. В невыгодных экономических отношениях с государством колхозники выезжали только на том, что развивали личное хозяйство и пользовались разрывом цен между государственными и базарными, имея к доходам значительную прибавку от личного хозяйства.

Только на ряд культур удалось повысить цены. Так, «по инициативе Сталина» были подняты цены на табак. Сделал он это по настойчивым просьбам абхазцев, которым во время его отпуска на юге удалось убедить Сталина, что табачная культура, если ее не оплачивать хорошенько, не будет производиться в республике.

Он разрешил поднять цены и на цитрусовые, что тоже было необходимо, и на виноград по Закавказским республикам, Дагестану, Молдавии, Крыму. На Украине же, как и в Средней Азии, он отказался это сделать.

Беспокойство вызывала перемена во взглядах Сталина на совхозы.

Помнится, в 1932 г. или в 1933 г. мы расхаживали втроем: Сталин, Молотов и я – около здания правительства в Кремле, где была квартира Сталина. Беседовали спокойно по разным вопросам. В этот раз я больше слушал. Говорил Молотов. В тот период он, как Председатель Совнаркома, чувствовал ответственность за сохранение пропорций в экономике и, в частности, очень заботился о том, чтобы сохранить стабильность нашей валюты, уменьшить убытки хозяйственных органов и изыскать источники прибылей. Это было естественным и вытекало из его положения. При этом он часто перебарщивал и в связи с этим допускал ошибки. Эта черта свойственна Молотову. Помнится, я вместе с Орджоникидзе много спорил с ним, когда он зажимал капиталовложения по строительству новых предприятий в промышленности после успешного досрочного выполнения первой пятилетки. Он был под сильным влиянием наркома финансов Гринько. Гринько был умный человек, подготовленный, хорошо владевший вопросами своего наркомата. Он особенно напирал на Молотова по части сокращения расходов.

И вот Молотов стал приводить данные, что очень много совхозов убыточны, поэтому начал говорить о том, что сохранить нужно только те хозяйства, которые прибыльны или не дают убытков, ликвидировав убыточные и раздав их земли колхозам, поскольку мы убытков колхозов не покрывали, и никто их доходов и расходов не считал. Убытки тоже не считали. Знали только богатые, хорошие колхозы и слабые, бедные колхозы.

Я был удивлен такой постановкой вопроса Молотовым. Но, прежде чем высказаться, стал ждать, что скажет Сталин. Сталин слушал очень внимательно, курил трубку. Выслушав все доводы Молотова, немножко помолчал, а затем спокойно, не в обидной форме, толково объяснил Молотову: ему известно, что многие совхозы, даже большинство, являются сегодня убыточными. Но надо знать, что любая новая общественная формация до поры до времени нуждается в поддержке, без чего она зачахнет. Поэтому такое финансовое состояние совхозов, неприятное для бюджета, является естественным и закономерным. Надо принимать меры к ликвидации убытков, увеличению доходов совхозов, а до этого времени покрывать их дефицит, постепенно принимая меры и

уменьшая дотации, пока они не встанут на ноги.

Я был очень приятно удивлен, услышав это объяснение от Сталина, которое, по моему мнению, было теоретически правильным. К тому же я лично был сторонником развития совхозов. И не случайно, что в дни сплошной коллективизации Калинин, уговаривая не торопиться с объединением всех крестьян в колхозы, особенно в районах неосновного земледелия, имея в виду центральные районы России, которые он хорошо знал, будучи родом из Тверской губернии, предложил форсированно развивать зерносовхозы на свободных государственных землях.

Сталин не принял первого его предложения. Зато, желая удовлетворить Калинина, принял его второе предложение, считая, видимо, его правильным, и предложил при ЦИК создать комиссию по образованию совхозов во главе с Калининым. Калинин, зная мое отношение к совхозам, предложил включить и меня в состав этой комиссии.

В последние годы своей жизни Сталин, став крайне неустойчивым в своих взглядах, кажется в 1948 г., вдруг внес совершенно поразившее меня предложение в отношении совхозов – прямо противоположное тому, что он утверждал в 30-х гг. Сидели за обедом, беседовали, спокойно обсуждали недостатки в сельском хозяйстве, трудности; сетовали на то, что совхозы становились все более убыточными. (Хотя эти убытки надо считать условными, потому что от совхозов хлеб принимали в ценах, которые существовали по колхозам, то есть резко заниженным, а продавали этот хлеб на рынке в три-четыре раза дороже, и деньги эти в виде налога с оборота через Заготзерно попадали в бюджет не как доход от совхозов, а как налог от потребителя. Это, конечно, было неправильно.) Сталин говорил, что никаких убытков колхозов мы не покрываем, зато продукты от них получаем, а на совхозы много тратим денег на дотацию. Вдруг он неожиданно говорит: «Надо ликвидировать совхозы, превратить их в колхозы, так как колхозы – форма более выгодная для государства, более социалистическая форма, чем совхозы. И к тому же освободятся огромные средства, которые тратим на покрытие убытков совхозов».

Я был поражен. В особенности еще тем, что совсем недавно – перед окончанием войны или сразу же после войны – он выдвинул идею создания вокруг Ленинграда и Москвы большого количества совхозов со специальным назначением для производства продуктов для снабжения населения этих крупных городов. Я эту идею тогда поддержал. Заявление Сталина было тем более странным, что все знали, что в части Московской области, в Смоленской, Калининской, Ленинградской и северо-

западных областях Российской Федерации колхозы фактически были разорены в ходе войны, населения было мало, главным образом старики. Колхозными средствами быстро это не восстановишь. И создание вокруг Москвы и Ленинграда совхозов было оправданным, так как эти земли близко расположены к потребителю. Казалось бы, это надо было поручить Министерству совхозов. Но почему-то Сталин предложил возложить это дело на меня лично, а тогда я не ведал Министерством сельского хозяйства и совхозов. Правда, под моим руководством работало Министерство мясо-молочной промышленности. Вот он и предложил эти совхозы создать при Министерстве мясомолочной промышленности, организовав тресты этих совхозов и главные управления при министерстве.

Вообще, не один, а много раз Сталин возлагал на меня задания, которые прямого отношения к моим обязанностям не имели. Видимо, он был высокого мнения о моей оперативности, настойчивости, ответственности за порученное дело. И мне кажется, как будто я его и не подводил в таких делах. Например, зная значение каракуля как экспортного товара, дающего большую валюту, он еще до войны предложил мне изъять все совхозы каракулеводческие и зверосовхозы из Наркомата совхозов, передать их Наркомвнешторгу, создать новые совхозы на государственных землях и вовсю раздуть производство каракуля. Или, в начале войны, он мне поручил создание алюминиевой промышленности на Урале, с чем я тоже вроде бы справился.

И вдруг такая перемена в Сталине! Я не выдержал и сказал: «Как это можно, товарищ Сталин? Ты знаешь, к каким последствиям это может привести? Это будет большим ударом по экономическим возможностям государства, не говоря уже о социалистическом секторе, наиболее боевом, где государство отвечает от начала до конца, государство, которое должно быть и может быть образцом для других. Эти убытки совхозов условные, и если правильно считать, то совхозы выгодны, а не убыточны. Наконец, ты же сам предложил вокруг Москвы и Ленинграда создать совхозы, которые теперь успешно развиваются, дают много мяса для снабжения населения городов».

Надо сказать, что Маленков, который обычно поддакивал Сталину, никогда ему не возражал, на этот раз ни слова не сказал. Но Сталин понял, так как знал Маленкова хорошо, что, следовательно, и он не согласен с ним. И другие члены политбюро смотрели удивленно на Сталина – наверное, думали, что он их испытывает. На этом разговор кончился. Сталин понял, что никто его не поддерживает, даже Каганович не сказал ни

одного слова в его поддержку, молчал.

Это показывает, как изменчив был Сталин в последние годы, как свойственно ему стало шараханье из стороны в сторону в решении крупных экономических вопросов.

Глава 42
Сталин. Эпизоды

Сталин, безусловно, был человеком способным. Он быстро схватывал главное во всех областях деятельности, даже в таких, которые сам плохо знал. Вообще, нет человека, который бы хорошо все знал. Но он искал и часто умел находить главное звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь, говоря словами Ленина. Но иногда у него проявлялись странности. Им овладевали какие-то идеи фикс, которые превращались в подлинный фетишизм. Несколько примеров.

Накануне войны, в 1940 г., готовясь к войне, Сталин предложил отказаться от строительства крупных электростанций и ограничить мощность новых электростанций 40 тыс. кВт. Объяснял он это тем, что если будут во время войны бомбить, а бомбить будут обязательно, и выйдет из строя большая электростанция, то и ущерб будет большой, а если небольшая станция, то и ущерб будет меньший. Молотов как Председатель Совнаркома СССР издал такое постановление. Конечно, потом оно было забыто.

Еще один факт. Занимаясь зерновыми проблемами, из всех видов зерна Сталин выделял только пшеницу. Это, конечно, главная культура для производства продовольствия, но он стал доводить эту истину до абсурда, в ущерб экономике страны (между прочим, такую ошибку повторил Хрущев в отношении кукурузы). И Молотов в угоду Сталину стал требовать, чтобы на Украине и Северном Кавказе основные посевные площади засевали яровой пшеницей, вытесняя традиционные для районов культуры – ячмень, овес, кукурузу. Он не понимал, когда я объяснял ему, что этого делать нельзя, или не хотел понимать, думая, что ему неправильно говорят.

Из многолетней практики украинского крестьянства ученым известно, что на Украине дает большой урожай рожь, а пшеницу сеют только озимого посева. Яровая пшеница дает урожай чуть ли не в два раза меньший, чем ячмень и чем кукуруза. После войны Сталин по этому поводу даже устроил скандал украинскому руководству. Вознесенский, хотя и понимал в этом деле, когда стали ругать его, почему такой небольшой план посева яровой пшеницы на Украине, не привел истинных аргументов, а лишь сослался на «поведение украинцев». И Маленков, ведавший сельским хозяйством, опираясь на мнение заведующего Сельхозотделом ЦК, нападал на Украину. Академику Лысенко, по

указанию Сталина, поручили поехать на совещание украинских колхозников, выяснить положение с посевами пшеницы, а затем написать статью об этом в «Правду». И Лысенко, хорошо зная неприемлемость яровой пшеницы для Украины (он ведь работал там!), не пытаясь даже объяснить Сталину, выступил на Украине соответственно и стал посмешищем старых колхозников, прекрасно знавших, как вести сельское хозяйство.

Затем Сталин стал настаивать, чтобы пшеницу засевали и в тех районах, где раньше не засевали вообще, – в Московской, Калининской и других областях, где очень хорошо растет рожь. И хотя после ряда неудач удалось найти сорта пшеницы, которые прижились в Московской области, и сейчас, наверное, трудно утверждать, что пшеница здесь может догнать рожь по урожайности.

Почему-то Сталин считал рожь малоценной культурой, а пшеницу чуть ли не «пупом земли». Я ему доказывал, что рожь не надо вытеснять, что ржаной хлеб привычен русскому народу, что он полезен: не случайно его много потребляют в Германии, Норвегии, Финляндии – Сталина невозможно было разубедить, и дело дошло до того, что нам стало не хватать ржаной муки.

Такое «привилегированное» положение пшеницы сохранилось и на сегодня – пшеница в заготовках занимает главное место. И когда надо расходовать зерно на корм скоту и для производства спирта за счет средств государства, отпускается доброкачественная пшеница, в то время как всем известно, что больший выход спирта из кукурузы и ячменя, и себестоимость спирта в этом случае самая низкая. Да и корма для скота из кукурузы и ячменя лучше и дешевле.

Другой пример. В ходе торговых переговоров Германия добивалась от нас получения мазута. Об этом узнал Сталин, и в его глазах мазут стал каким-то особо дорогим продуктом, каким-то фетишем. Он стал лично наблюдать, на что расходуется мазут у нас. И везде, где можно и нельзя, стали «ради экономии мазута» заменять его углем и торфом. Дело дошло до того, что по требованию Сталина было принято решение (и упорно осуществлялось!) по переводу и перестройке многих котельных электростанций с мазута на уголь, не считаясь с тем, на какие расстояния приходится возить этот уголь. Это было явным абсурдом. И многие не поверят, но было такое решение и даже частично был осуществлен перевод паровозов Северо-кавказской и Закавказской железных дорог с нефти на завозимый из Донбасса уголь, одна перевозка которого равнялась стоимости самого угля. Дело дошло до того, что уголь возился в нефтяные

районы, а потребление мазута было настолько ограниченно и запасы были такие, что не хватало емкостей для его хранения. Разубедить же Сталина в несуразности положения было трудно. Сразу после смерти Сталина это все было отменено.

Еще один пример. До присоединения к Советскому Союзу Западной Украины Сталин не интересовался натуральным газом, но знал, что в Европе его применяют очень широко для бытовых нужд путем производства газа из угля способом коксования. И вот неожиданно Сталин увлекся идеей газификации углей. Откуда-то ему стало известно, что такие опыты как будто делаются в Европе. Он потребовал создать Комитет по газификации при Совмине СССР. Помню, там работал опытным руководителем Максерман, и ныне работающий в газовой промышленности. Тогда появилась новая идея – газификация углей в самих шахтах под землей. Идея заключалась в том, что уголь газифицируется в самих шахтах и в результате добывается газ, а не уголь. Был такой проект ученых. Эти ученые верили в свое дело, но оно двигалось очень туго. Тогда Сталин поручил мне взять под свое наблюдение этот комитет. Я не мог возражать, лишь сказал, что хотя и ничего не понимаю в этом деле, но окажу помощь и поддержку тем, кто им занимается.

Я действительно помогал как мог: выделил шахту под Москвой, был составлен проект, начаты опыты. Какие-то из них были удачными, но все-таки видно было, что в ближайшее время до массового производства дело не дойдет. И тут, когда Западная Украина была присоединена к Украине, из доклада Хрущева Сталин узнал, что там развито производство натурального газа. Конечно, по сравнению с нынешними масштабами это была мелочь. Хрущев выяснил мнение специалистов и внес предложение заказать по Фонду помощи ООН пострадавшим в войну странам трубы, чтобы газ подавать из Западной Украины в Киев, что и было сделано. Сталин ухватился сразу же за этот газ – он для него тоже стал каким-то новым фетишем. При этом он считал, что это такое дорогое топливо, что его нельзя разбазаривать: разрешил применять его только для отопления квартир. И лишь после длительных многократных споров я добился все-таки от Сталина разрешения давать газ – в виде исключения! – для хлебозаводов, поскольку доставка угля к ним – трудное дело. Он согласился только после того, как я ему показал конкретные цифры. Затем я предложил перевести и сахарные заводы на снабжение газом, так как часто из-за перебоев в доставке угля эти заводы стояли, хотя газопровод проходил рядом. Я предложил перевести и эти сахарные заводы на

снабжение газом и в связи с этим изменить баланс потребления газа. Много спорил и уговаривал. Наконец Сталин согласился. Вот, собственно, только эти два отступления допустил Сталин.

Когда же в Саратовской области были открыты месторождения газа, Сталин загорелся и предложил мне заказать в Америке трубы для доставки газа из Саратова прямо в Москву. Так и сделали. Но и в Москве Сталин позволял использовать газ лишь на бытовые нужды и только на некоторых заводах. А ведь нужно было немножко подумать о производстве газа из нефти, и тогда, еще при жизни Сталина, мы имели бы большое количество газа.

Особый фетишизм Сталин проявлял к золоту – прямой контраст тому, как подходил к нему Ленин. В моменты, когда нужно было покупать оборудование для индустриализации страны, для строительства новых заводов, в особенности тракторных, мы вывозили золото за границу для платежей. Мне казался естественным вывоз золота в каком-то количестве за границу как экспортного товара, поскольку наша страна – добывающая золото. Какой смысл из года в год добывать золото и все класть в кладовые, когда, превратив его в машины, можно двинуть вперед экономику?!

У нас в стране быстро росла добыча золота. Когда наркомом внешней торговли стал Розенгольц, Сталин запретил ему вообще вывозить золото за границу и велел обеспечить такое соотношение экспорта и импорта, иметь настолько активный баланс, чтобы покрывать не только расходы по импорту, но и другие государственные расходы в иностранной валюте и сверх того производить накопление валюты. Это, конечно, привело к резкому сокращению импорта из-за границы промышленного оборудования и сырья, что отрицательно сказалось на нашем развитии.

Надо отдать справедливость Сталину, что он накануне войны с Германией, в начале 1938 г., принял правильное решение выделить известное количество золота из государственного резерва для покупки дефицитных цветных металлов и натурального каучука, без которых нельзя было воевать. Сообщено мне это было достаточно необычно, один на один на второй день после назначения меня наркомом внешней торговли в ноябре 1938 г.: определенное количество золота выделяется в распоряжение Наркомвнешторга специальным назначением. Цель – покупка по известному плану цветных металлов и каучука – в секрете от всех государственных и партийных органов. Об этом не

знает ни Госплан, ни другие органы – никто не знает. Наркомфин знает только, что это золото он должен отпускать наркому внешней торговли не спрашивая. Более подробно об этом рассказано выше. Здесь только хочу добавить, что Сталин правильно понимал, что если бы Госплан знал о наличии такого резерва, то расходовал бы его, и мы остались бы без достаточного резерва.

Я был обрадован такому шагу Сталина. Я даже удивился, что он отошел от своего отношения к золоту. Он, конечно, понял, что война – это такая опасность, что фетиши должны отступить на задний план.

Вот некоторые особенности поведения Сталина и решения экономических вопросов, связанных с войной и в годы войны.

Вновь подчеркиваю, что Сталин многое понимал в вопросах экономической политики. Он большую роль сыграл в деле индустриализации страны, в деле создания военной промышленности. Конечно, главная заслуга здесь до 1937 г. принадлежит Серго Орджоникидзе, который всецело отдался этому делу, начатому еще Дзержинским и Куйбышевым. Серго особо заботился об оборонных заводах. А так как многие такие заводы были в Ленинграде, он опирался на безграничную помощь и поддержку Кирова, который следил за каждым военным заводом, и Серго за них был спокоен.

Сталин как секретарь ЦК партии поддерживал всемерно это дело, иногда в борьбе с Молотовым как Председателем Совнаркома, который экономил деньги. Поэтому заслуга Сталина в индустриализации страны большая.

В последние годы Сталин нередко проявлял капризное упрямство, порожденное, видимо, его безграничной властью, ставил в тупик неожиданностью своих решений и поступков.

Как-то в 1947 г. он выдвинул предложение, чтобы каждый из нас подготовил из среды своих работников пять-шесть человек, которые могли бы заменить нас самих, когда ЦК сочтет нужным это сделать. Он это настойчиво повторял несколько раз.

Высказавшись в поддержку такой идеи, я заметил, что, зная своих работников, не могу подготовить пять-шесть человек с гарантией, что они смогут меня заменить, хотя два-три работника у меня есть на примете. Если с ними хорошо поработать года два, то они могут стать достойными кандидатами для замены. В ответ на вопрос Сталина, кто они, я назвал трех своих заместителей: Крутикова, Меньшикова и Кумыкина – и конкретно рассказал, на что они способны, какие имеют достоинства и недостатки. В

последующем Сталин часто спрашивал о них. Отвечая ему, я всякий раз подчеркивал способности Крутикова.

Через год Сталин неожиданно предложил Крутикова на должность заместителя Председателя Совета Министров СССР с возложением на него обязанностей, связанных с внутренней торговлей. Я резко возражал, убеждая Сталина, что он не готов для такой ответственной должности, что для этого надо ему еще поработать министром, но даже министром внешней торговли он сегодня не может еще стать, но через год это может быть реально.

«Как так? – спросил Сталин. – Ты же его очень хорошо рекомендовал!» (Он, видимо, решил, что я не хочу расставаться с таким работником.) – «Да, имея в виду, что он хорошо работает моим заместителем, и я вижу для него в перспективе должность министра. Но я же не говорил, что он может стать твоим заместителем, к тому же прямо сейчас».

Сталин со свойственным ему упрямством, несмотря на мои настойчивые возражения, в июле 1948 г. все же провел назначение Крутикова, даже не побеседовав с ним. Через семь месяцев он был вынужден освободить его с переводом на меньшую работу.

В 1949 г., в феврале месяце, после моего возвращения из Китая, когда я 9 дней был в партизанском штабе Мао Цзэдуна, в горах, вел ежедневные переговоры с утра до поздней ночи в присутствии Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чжоу Эньлая, Жень Биши, Дэн Сяопина, я вылетел во Владивосток. Вдруг звонок из Москвы по ВЧ на квартиру начальника Управления МГБ Гвишиани (Сталин сам определил в Москве, чтобы в Хабаровске я ночевал на квартире Гоглидзе, а во Владивостоке – у Гвишиани, как местах наиболее надежных с точки зрения безопасности: оба были руководителями госбезопасности).

Позвонил Поскребышев: «Здесь сидят все члены политбюро, передают вам привет, поздравляют с успешно проведенной работой в Китае. (Члены политбюро собирались каждый день, читали мои шифровки, и Сталин посылал мне каждый раз соответствующие указания.) Все ждут, когда вы приедете».

Я сказал, что настолько устал, что решил ехать в Москву из Владивостока поездом: хотелось выспаться, немножко почитать литературу, так как во время поездки лишен был этой возможности. В ответ на это Поскребышев передал, что Сталин и члены политбюро считают, что такая долгая задержка в пути нежелательна, и предлагают мне вылететь завтра на самолете. Я был очень огорчен этим решением. Но надо было его выполнять. Сказал только, что мною уже намечено в Хабаровске краевое

совещание руководящих работников рыбной промышленности Тихоокеанского бассейна, которое нельзя отменить, теперь уже поздно. Поэтому послезавтра проведу совещание в Хабаровске и на следующий день вылечу в Москву.

Прибыл в Москву. Сталин, видимо, был доволен моей поездкой, много расспрашивал. Я рассказывал о встречах, о личных впечатлениях, об обстановке в Китае и т. д. После беседы Сталин несколько неожиданно, без всякой связи с темой разговора говорит: «Не думаешь ли ты, что настало время, когда тебя можно освободить от работы во Внешторге?» Когда я согласился, он спросил: «Кого ты предложишь вместо себя?» Я назвал кандидатуру Меньшикова. Это было принято, и 4 марта 1949 г. Меньшиков был назначен министром.

Это неожиданное предложение Сталина я принял без всякой обиды, поскольку уже более 10 лет был наркомом и министром, аппарат Внешторга работал хорошо, и работа без меня могла пойти без ущерба для дела. Наблюдение и руководство вопросами внешней торговли, по предложению Сталина, все же было оставлено за мной как заместителем Председателя Совета министров СССР.

Но Меньшиков недолго пробыл министром.

В конце лета 1951 г. вместе с женой мы отдыхали в Сухуми. Раз, иногда два раза в неделю я заезжал к Сталину, который отдыхал в Новом Афоне. В это же время в Мюссерах отдыхал Маленков, а в Сочи – Булганин.

Как-то сидели у Сталина за ужином все названные товарищи. Были еще Поскребышев и Власик – начальник охраны.

Как обычно, шла беседа на разные темы. Проходила она в спокойном, уравновешенном тоне, не так, как иногда, остро, неприятно. Все шло хорошо. Около 4 часов утра подали на стол бананы.

Надо сказать, что Сталин очень любил бананы. После войны он предложил импортировать бананы для некоторых больших городов Советского Союза. Эта задача была возложена на меня как министра внешней торговли. Хотя были большие трудности по доставке небольших партий бананов, особенно в зимних условиях, в Москву, Ленинград, Киев и другие города, но доставка была налажена.

За границей использовались соответствующие иностранные компании, особенно шведские и австрийские. Все шло удачно, не было случаев порчи бананов или каких-либо других недоразумений с их доставкой и хранением. Бананы, поступавшие к нам по импорту, отправлялись Сталину. Он к ним претензий не предъявлял. У меня в доме бананов не бывало.

На стол подали крупные бананы, на вид хорошие, но зеленые, видимо, не очень спелые. Сталин взял банан, попробовал и говорит мне: «Попробуй бананы, скажи свое мнение о их качестве, нравятся они тебе или нет?» Я взял банан, попробовал. На вкус он напоминал картошку, для употребления совершенно не годился.

«Почему так?» – спрашивает он. Я ответил: «Трудно сказать почему. Причин здесь может быть много. Возможно, поступили в торговую сеть прежде, чем созрели окончательно, возможно, хранились неправильно или был нарушен режим перевозки. Скорее всего, неправильно была организована доставка бананов. Отправлять через море их нужно недозрелыми, но все же не совсем незрелыми».

Сталин тогда спрашивает: «Почему мог иметь место такой случай? Ведь сколько лет мы получали бананы, никогда этого не было». Я ответил, что в практической работе такой случай может быть из-за недостаточного контроля. Этот случай нужно выяснить и в дальнейшем устранить причины его повторения. «Такое объяснение меня не убеждает, – сказал Сталин. – Почему же, когда ты был министром, таких случаев не было, а когда министром стал Меньшиков, это случилось? Значит, министр работает плохо». Я стал защищать Меньшикова: «Товарищ Сталин, министр не может нести ответственность за каждую отдельную операцию. Для этого дела у него подобраны соответствующие люди, знающие свое дело. Министр может быть в курсе крупных операций и отвечать за них. В данном же случае нельзя Меньшикова обвинять. Это может с каждым случиться».

Это Сталина опять не убедило. «Нет, – говорит он, – ты не прав. Меньшиков отвечает за все». Я тогда сказал: «Давайте лучше хорошо проверим это дело, найдем виновных». Я знал, что без поиска виновных он не успокоится. «Хорошо, – согласился Сталин. – Организуй проверку и сообщи результаты». Разговор проходил в нормальном тоне, спокойно.

Мы разошлись. В 5 часов утра я был в Сухуми. Конечно, не было смысла в это время звонить в Москву и давать указание о проверке. Считая, что это дело не экстренное, я решил поспать, а днем позвонить. Проснувшись около 12 часов, позвонил Власову в Москву (он был моим заместителем в Бюро Совмина по торговле и пищевой промышленности) и поручил ему разобраться с этим фактом. Сказал, что прошу провести срочную объективную проверку всего дела, выяснить причины недоброкачественности бананов и, установив виновников, наметить меры к недопущению повторения таких случаев. Власов мне и говорит: «Анастас Иванович, я уже знаю об этом деле. Мне звонил Берия, как только

я пришел на работу. Я уже вызвал к себе работников Минвнешторга, которые имеют отношение к этому делу. Выясним все обстоятельства дела, разберемся».

Я был удивлен, почему Берия вмешался в это дело, откуда он знает об этом. Решил позвонить самому Берии: «В чем дело, почему ты занимаешься проверкой «банановогo дела»?» Берия отвечает: «Я не хочу этим делом заниматься, поскольку никакого отношения к нему не имею, но Сталин мне позвонил около 6 часов утра и поручил строго-настрого расследовать это дело. Я, конечно, перепоручил его твоему заместителю, которому проще ознакомиться с вопросом». Я рассказал, что Сталин мне поручил проверку этого дела. «Но если он перепоручил его тебе, то ты им и занимайся и сообщи Сталину результаты проверки. Я заниматься этим делом больше не буду». Действительно, я не стал звонить Сталину и не спрашивал Власова о результатах проверки – решил отстраниться от этого дела совсем.

Через несколько дней у меня и у Маленкова кончался отпуск и мы должны были возвратиться в Москву. Я позвонил Маленкову, сказал, что собираюсь к Сталину, не хочет ли он вместе со мной заехать к нему. Он согласился.

Было около 2 часов дня. Сталин в это время пил чай. Я тоже сел за стол. Сталин стал расхаживать по комнате с трубкой во рту. Я не стал ему напоминать о «банановом деле», а он и не расспрашивал меня. Потом неожиданно, обращаясь ко мне, сказал: «Видимо, выдвижение Меньшикова на должность министра было ошибкой – он не соответствует своему назначению, работает плохо. Импорт бананов – небольшое дело, а он его организовал плохо, и это показывает истинное лицо руководителя министерства. Лучше выдвинуть на должность министра Кумыкина. Приедешь в Москву, подготовишь проект соответствующего решения, поговоришь с Кумыкиным и Меньшиковым и пришлешь мне этот проект». Я запротестовал: «Товарищ Сталин, я думаю, что это пользы делу не даст, а скорее вред принесет. Я очень хорошо знаю их обоих по долгой совместной работе. Особенно долго, почти 25 лет, я работал с Кумыкиным. Я его высоко ценю как работника, уважаю как человека. Это – принципиальный, политически подготовленный, достойный руководитель. Он силен в экономических, торговых переговорах. Очень себя хорошо держит, знает правила международных отношений. В этом он силен, пожалуй, сильнее всех в министерстве. Но по части руководства оперативной стороной дела внешней торговли он слабее – у него нет такой подготовки. Он юрист по образованию. Главное, в своей работе он не касался оперативных дел: не возглавлял торговых

объединений, контор, не заключал контрактов и т. д. С другой стороны, Меньшиков, будучи несколько слабее Кумыкина в части политической подготовки, компетентнее в области торговых договоров. Он сильнее Кумыкина в торговых операциях, потому что окончил Институт внешней торговли, имеет специальное образование, работал в торгпредстве в Англии, возглавлял крупное объединение по торговле лесом «Экспортлес», работал в ЮНРРА по оказанию помощи народам после войны – успешно работал на всех этих местах. В Министерстве внешней торговли он хорошо работал моим заместителем. Как Кумыкин, так и Меньшиков пользуются большим авторитетом в министерстве. Наконец, Меньшиков хорошо знает английский язык и не нуждается в переводчиках при деловых встречах. Кумыкин же знает французский язык, и не так хорошо, как Меньшиков английский. Кроме того, – добавил я, – сейчас они друг друга дополняют, Меньшиков как министр, Кумыкин как его первый заместитель. Неудобно менять их местами, делать Меньшикова заместителем, а Кумыкина министром. Не поймут этого. Я считаю, что ничего делать не надо».

Сталина не удовлетворили мои доводы. Он стал угрюмым, но меня не прерывал. Потом сказал: «Ты не прав, просто упорствуешь». Я говорю: «Нет, товарищ Сталин, это соответствует действительности». Тогда Сталин обратился к Маленкову: «Вы приедете в Москву, подготовьте такой проект решения – назначить Кумыкина министром внешней торговли с освобождением от этой должности Меньшикова».

Я не стал больше вмешиваться в это дело. Маленков тут же взял бумажку, записал это поручение Сталина (хотя в этом не было никакого смысла, но Маленков любил записывать). Прилетев в Москву, он сразу же мне позвонил: «Вызови Меньшикова и Кумыкина, поговори с ними и подготовь проект решения для товарища Сталина». Я удивился: «Зачем? Сталин хотел это дело поручить мне, но, видя, что я не согласен с ним, поручил его тебе. Ты и выполняй его указание. А мне нечего в это дело впутываться». Маленков стал уговаривать, что я лучше знаю этих товарищей и само дело и найду с ними общий язык.

Нехотя я согласился. Сначала я вызвал Кумыкина: «ЦК партии недоволен работой товарища Меньшикова, считает, что он не справляется с обязанностями министра. ЦК высокого мнения о ваших способностях, опыте. Я имею поручение ЦК передать вам предложение о том, чтобы вы стали министром внешней торговли. Я считаю, что вы с этим делом справитесь и возражений с вашей стороны не будет».

Кумыкин побледнел, изменился в лице. Я был просто

поражен этим. Почему такое действие произвело мое предложение? Дрожащим голосом он ответил: «Анастас Иванович, не делайте этого, помогите мне избавиться от этого назначения, я не могу быть министром, не хочу, я хочу работать так, как сейчас работаю». У него на глазах даже слезы появились. Я стал его убеждать: «Не понимаю, почему вы возражаете? Сталин этого хочет, он полностью доверяет вам, высокого мнения о вас. Он предложил вашу кандидатуру вместо Меньшикова. Вы имеете достаточный опыт, большие знания. Кроме того, – сказал я, – в министерстве вы пользуетесь большим влиянием, да и я вам помогу».

Он еще больше разволновался, просто заплакал: «Не делайте этого, не губите меня». Я стал его успокаивать, сказал, что поддержку ЦК он имеет, я ведаю внешней торговлей и обещаю свою поддержку и помощью, и советом, и делом. В общем, полчаса потребовалось, чтобы успокоить его. В конце концов договорились, что он не будет возражать.

Потом я вызвал Меньшикова. Сказал ему следующее: «Я знаю, что вы стараетесь сделать все возможное, чтобы руководить министерством хорошо. Но все-таки в ЦК сложилось мнение, что вы не вполне справляетесь с обязанностями министра. В особенности это мнение усилилось в связи с фактом недоброкачественности бананов. По всему видно, что вы не крепко руководите министерством, передоверяете оперативную работу председателям объединений, не контролируете, не вникаете в детали. Ввиду этого в ЦК есть мнение, чтобы вас освободить от этого поста, а министром сделать Кумыкина. Я думаю, вы правильно поймете это и воспримете как коммунист. Потом поговорим о вашей дальнейшей работе. Работа будет вам дана в соответствии с вашими способностями. Я прошу пока это не передавать никому, пока не получите выписку из решения ЦК». Меньшиков – выдержанный, спокойный человек, понял все прекрасно, принял как должное и согласился.

Я подготовил проект решения, показал Маленкову – тот замечаний не сделал. Послали на юг Сталину, который и подписал сразу же постановление. Так с 6 ноября 1951 г. Кумыкин стал министром внешней торговли. Он пробыл в этой должности 1 год и 4 месяца, до слияния министерств внешней и внутренней торговли и назначения меня опять министром. (Слияние это было ошибочной мерой, принятой после смерти Сталина в ходе «волны слияний», предпринятой Маленковым, Берией и Хрущевым.) А дать Меньшикову ответственную работу Сталин не разрешил. Боясь за судьбу Меньшикова, ибо Берия мог опять получить «поручение» Сталина, я отправил его

начальником таможни на Амур, на китайскую границу. После смерти Сталина он стал послом в Индии, затем в США.

Сталин очень любил смотреть кинокартины, особенно трофейные. Их тогда было много. Как-то Большаков, бывший тогда министром кинематографии, предложил показать картину английского производства. Название ее не помню, но сюжет запомнил хорошо. В этой картине один моряк – полубандит-полупатриот, преданный королеве, берется организовать поход в Индию и другие страны, обещая привезти для королевы золото, алмазы. И вот он усиленно набирает команду таких же бандитов. Среди них было 9 или 10 близких соратников, с которыми он совершил этот поход и возвратился с богатством в Лондон. Но он не захотел делить славу со своими соратниками и решил с ними расправиться. У него в несгораемом шкафу стояли фигурки всех его сотоварищей. И если ему удавалось уничтожить кого-то из них, он доставал соответствующую фигурку и выбрасывал ее. Так он по очереди расправился со всеми своими соратниками и все фигурки выбросил.

Это была ужасная картина! Такое поведение даже в бандитском мире, наверное, считалось бы аморальным. В этом мире ведь своя мораль есть – товарища своего не выдавай и т. д. А здесь отсутствие даже бандитской морали, не говоря уже о человеческой. А Сталин восхищался: «Молодец, как он здорово это сделал!» Эту картину он три или четыре раза смотрел. На второй или третий раз после показа этой картины, когда нас Сталин вызвал к себе, я стал говорить, что это бесчеловечная картина и т. д., конечно, не в прямой полемике со Сталиным, а с другими. Мы говорили между собой и удивлялись, как Сталин может восхищаться таким фильмом. По существу же, здесь он находил некоторое оправдание тому, что он делал сам в 1937–1938 гг., – так я, конечно, думаю. И это у меня вызывало еще большее возмущение.

Видимо, этим же объясняется восхищение Сталина личностью Ивана Грозного, особенно его деятельностью, когда он в интересах создания единого Русского государства убивал бояр самым зверским методом, не считаясь ни с какой моралью, за что русские историки еще при царском режиме критически относились к нему. Сталин же говорил, что Иван Грозный еще мало убил бояр, что их надо было всех убить, тогда он смог бы раньше создать действительно единое крепкое Русское государство. Он оправдывал и многоженство Ивана IV: у жен-де было большое приданое, которое Иван Грозный направлял на создание армии. Как-то Сталин сказал, что Иван Грозный был женат в действительности не на черкешенке, а на грузинке,

потому что в старой России грузинок называли черкешенками.

Видимо, этими же мотивами можно объяснить оценку Сталиным некоторых действий Гитлера, хотя это было еще до развертывания репрессий. Так, когда Гитлер, стремясь укрепить свою власть, послал своих соратников в казармы штурмовиков и учинил там расправу на месте без суда и следствия над верхушкой левых штурмовиков – Ремом и другими, это поразительное зверство вызвало всеобщее возмущение. И я был поражен, когда Сталин, возвращаясь несколько раз к этому факту, восхищался смелостью, упорством Гитлера, который пошел на такую меру, чтобы укрепить свою власть. «Вот молодец, вот здорово, – говорил Сталин. – Это надо уметь!» На меня это произвело ужасное впечатление. Это же бандитская шайка, которая по-бандитски друг с другом расправляется! Чем же она может вызвать восхищение?

В 1948 г., когда Сталин отдыхал в Мюссерах, я приехал к нему вместе с Молотовым. Был и Поскребышев, который редко сидел за обеденным столом, но в этот раз он присутствовал. Видимо, это присутствие было заранее согласовано со Сталиным и сделано с определенной целью, как я потом догадался. Происходила обычная для такого случая нормальная беседа. Я сидел рядом со Сталиным, но за углом стола. Поскребышев сидел на другой стороне стола, с краю, Молотов напротив меня.

Вдруг в середине ужина Поскребышев встал с места и говорит: «Товарищ Сталин, пока вы отдыхаете здесь на юге, Молотов и Микоян в Москве подготовили заговор против вас».

Это было настолько неожиданно, что с криком: «Ах ты, мерзавец!» – я схватил свой стул и замахнулся на него. Сталин остановил меня за руку и сказал: «Зачем ты так кричишь, ты же у меня в гостях». Я возмутился: «Невозможно же слушать подобное, ничего такого не было и не могло быть!» Еле успокоившись, сел на место. Все были наэлектризованы. Молотов побелел как бумага, но, не сказав ни слова, сидел как статуя. А Сталин продолжал говорить спокойно, без возмущения: «Раз так – не обращай на него внимания». Видимо, все это было заранее обговорено между Сталиным и Поскребышевым. До этого подобных случаев не было.

Сталин постепенно перевел разговор на другую тему. Но этот инцидент произвел на нас такое впечатление, что посещение наше оказалось короче обычного, и мы вскоре уехали.

Видимо, у Сталина зародились какие-то подозрения, и я допускаю, что в возникновении их содействовал Поскребышев. И вовсе не потому, что он имел что-то против Молотова и меня.

Обычно один на один со мной он всегда объяснялся мне в любви, говорил, что высоко ценит меня, противопоставлял другим, например Молотову, в честности и корректности и пр. Просто он это сделал, выполняя поручение Сталина. Желая понравиться Сталину и укрепить свое положение, Поскребышев мог до этого, наверное, рассказать Сталину, что я часто захожу в кабинет Молотова, и это соответствовало действительности. Поскребышев, видимо, вел наблюдение, кто и куда ходит.

Мои частые посещения кабинета Молотова вызывались тем, что, когда Сталин поручал какое-либо дело Молотову (а это обычно касалось вопросов внешней политики), Молотов всегда старался, чтобы не ему одному поручали, а еще двумтрем товарищам. А так как я занимался многие годы вопросами внешней экономики, то, естественно, доля этих поручений падала на меня. В отличие от Молотова я не любил делить с кем-то ответственность, поэтому часто возражал против совместных поручений. Однажды, когда тот, получив поручение Сталина, попросил его в моем присутствии, чтобы и я принял в нем участие, я возмутился: «Что я, хвост, что ли, твой?» Но не всегда удавалось освободиться. Отношения с Молотовым у меня были неплохие, но и не близкие. Поручения эти обычно давались Сталиным устно. Поскребышев мог даже о них и не знать.

Подозревать как Молотова, так и меня в кознях против Сталина было бессмысленно. Хотя отдельные критические замечания в его адрес по некоторым вопросам я и высказывал в беседах не только с ним, но и с другими. Молотов меня не выдавал, но всегда вел себя как преданный сторонник Сталина. Так что, конечно, такого рода обвинения были абсолютно беспочвенны. Видимо, Сталин через Поскребышева хотел учинить проверку, как мы будем реагировать на это обвинение.

Но очень возможно, что эта странная идея о совместной нашей с Молотовым подготовке «заговора против Сталина» у него сохранялась после этого случая все время, и в конце 1952 г. он решил избавиться от такой опасности.

Спокойным со Сталиным не мог чувствовать себя никто. Как-то после ареста врачей, когда действия Сталина стали принимать явно антисемитский характер, Каганович сказал мне, что ужасно плохо себя чувствует: Сталин предложил ему вместе с интеллигентами и специалистами еврейской национальности написать и опубликовать в газетах групповое заявление с разоблачением сионизма, отмежевавшись от него. «Мне больно потому, – говорил Каганович, – что я по совести всегда боролся с сионизмом, а теперь я должен от него «отмежеваться»!» Это было за месяц или полтора до смерти Сталина – готовилось

«добровольно-принудительное» выселение евреев из Москвы.

Смерть Сталина помешала исполнению этого дела.

Глава 43
О мемуарной литературе

Я предъявляю к книгам историческим и мемуарным, в том числе своим собственным, определенные требования. Я – сторонник объективности в описании исторических фактов. Автор не должен так отбирать факты, чтобы подогнать их под свою личную концепцию. А ведь есть люди – я много встречал таких среди моих редакторов в Политиздате и в некоторых журналах, – которые, возражая против приведения в книге политически неприятных фактов, скажем фактов о наших неудачах, попыток вскрыть их причины, обвиняют авторов как раз в субъективизме, что неправильно и несправедливо. Объективный подход к историческим фактам требует не замалчивать те факты, которые кажутся «невыгодными», не преувеличивать «выгодные» факты, тем более не искажать их.

Но, естественно, каждый мемуарист, а тем более историк, приводя объективные факты, может – если не должен – давать свое толкование им и свою оценку. Она может быть правильной, может быть и неправильной, здесь все зависит от подготовки и таланта автора.

К сожалению, упомянутые вредные явления в советской исторической науке часто повторяются в той или иной степени, иногда просто до тошноты. У образованных и знающих людей такие явления вызывают возмущение. Читатель проникается недоверием к трудам с такого рода фальсификацией. Это – один из источников скепсиса и недоверия к официальным учебным изданиям по истории партии, подслащенным, лакированным, и к мемуарам в этом духе, которые вызывают у нашей молодежи законную неудовлетворенность.

Наш агитпроп тщательно оберегает население от буржуазной политической литературы, боясь ее воздействия на умы людей. А ведь мы, помню, в молодости читали буржуазную литературу, антимарксистскую наряду с марксистской. И, сопоставляя прочитанное, мы лишь укреплялись в нашей вере в марксизм, в его правильном понимании. В 20-х гг., вплоть до 30-х гг., мы в губкомах получали и читали такой враждебный и «опасный» документ, как «Социалистический вестник», издававшийся в Берлине меньшевиками под руководством опытного меньшевика, врага советской власти Мартова. Мы читали и белогвардейскую литературу, получая ее через ЦК. И это, я по себе чувствую, не поколебало веру и преданность нашему делу. Ведь часто бывает

даже полезно посмотреть на наши дела чужими глазами.

Я всю жизнь продолжаю читать антисоветскую литературу, и не без пользы, если есть там аргументы и факты.

В отношении умалчивания наших неудач в Великой Отечественной войне, хотя она и была победоносно завершена, хотя в ее горниле были проверены патриотические чувства и настроения советских людей, я хочу сказать несколько слов.

Мы можем и должны гордиться и нашим народом, и нашей партией за победу в Великой Отечественной войне. Но я не могу пройти спокойно мимо того, как многие военные мемуаристы пишут только о последних сражениях, главным образом второго периода войны, после перелома в соотношении сил между нами и Германией, и либо замалчивают полностью, либо мельком касаются серьезных поражений, которые мы терпели и на которых научились воевать. Ворошилов и его окружение в Наркомате обороны не учили армию тактике отступления. Это – одна из причин, почему создавалась паника, почему так много потерь мы имели в начале войны и так долго мы отступали.

Отступление на какое-то расстояние было неизбежным. Но чтобы Гитлер со своими полчищами мог дойти до Волги, закупорить Ленинград, добраться до Кавказа – нам никому и в голову не приходило!

Когда читаешь военные мемуары, то стараешься найти толковый ответ на этот вопрос. Но он закрыт от читающих, включая слушателей военных училищ и академий, за семью печатями. Это – опасное явление для нашей сегодняшней армии на случай большой войны или локальных войн. Последние вообще требуют специальной подготовки, типов вооружения и тактики.

Все это я пишу для того, чтобы вскрыть некоторые недостатки в военных мемуарах по истории Великой Отечественной войны. Хотя я и не считаю себя знатоком военного дела, не изучал его специально, а когда-то был лишь рядовым солдатом, потом комиссаром в условиях военных действий. С 1926 г. я был членом Совета труда и обороны, во время Великой Отечественной войны был членом Государственного Комитета Обороны.

Некоторую уверенность в этой критике мне придает тот факт, что я помню, как мы и в ГКО, и в Ставке Верховного главнокомандования обсуждали все – с участием военных и без них. Мы каждый день, а если днем не могли, то ночью собирались у Сталина, проводили обмен мнениями. Сталин говорил по телефону с командующими фронтами, мы разбирали поступающие сведения из Генштаба, обсуждали, держали связь с фронтами. Словом, я не буду останавливаться на событиях

положительных, победных, много раз описанных. Большинство из них описаны правильно, правда со многими преувеличениями. Но главный дефект таких описаний тот, что наши неудачи или не приведены вовсе, или о них сказано вполголоса, мимоходом, без попыток анализа. И вообще, в военных мемуарах последних лет я не обнаружил описания каких-либо ошибок Верховного главнокомандования, Ставки. Хотя без них не могло быть. И сам Сталин это понимал, и все мы понимали. Но некоторые возникали из-за характера Сталина и всех отрицательных его сторон, которые проявились и в ходе Отечественной войны, хотя и в меньшей степени, чем до и после нее.

В этом отношении книга воспоминаний Г.К. Жукова наиболее интересна, и я считаю ее полезной.

Но все же я нашел ее однобокой, а в ряде мест даже обнаружил элементы фальши. Есть некоторое преувеличение роли самого Жукова. Я не заметил ни одного его действия, к которому он относился бы критически. Хотя понятно, что без ошибок людей не бывает, тем более в войну, где действия велись со многими неизвестными в отношении очень сильного противника.

Здесь я хочу ограничиться только постановкой вопросов, иногда без всякого анализа, иногда поверхностно. Я не мог проверить на основе документов или по собственным записям, не ошибаюсь ли я, не субъективно ли мое мнение. Кроме того, зная на собственном опыте наших редакторов, воспитанных агитпропом, я не могу судить, где работа этих редакторов, а где перо самого Жукова.

Замечание первое. Почему мы понесли огромные потери в первые месяцы войны и почему через три месяца после начала войны немцы оказались под Москвой и Ленинградом?

В 1939 г., как известно, мы вернули Украине и Белоруссии их исконные земли. Границы отодвинулись далеко на запад, что с точки зрения обороны имело большое положительное значение. Тогда было принято правильное решение начать строительство новых оборонительных сооружений взамен старых по новой западной границе. Детального хода строительства оборонительного рубежа на старой границе, создававшегося с учетом линий Мажино и Зигфрида, я не знал, думал, что строительство закончено. (Мы ведь знали о линии Мажино, потом стало известно, что Гитлер строит линию Зигфрида.) После того как немцы прошли всю Белоруссию, мы стали допытываться у военных, а где же эта старая оборонительная линия, почему не сопротивлялись на ней, почему не могли остановить наступление немцев? Что на новых оборонительных рубежах этого еще нельзя

было сделать, я понимал. Поскольку Сталин не ждал в ближайшее время войны, то оборонительные рубежи строились чрезвычайно медленно. Будь сооружены обе линии вовремя, и новая и старая, возможно, немцы дальше старой границы и не прошли бы. А если бы и прошли, то не было бы таких больших жертв с нашей стороны, армия была бы сохранена, мы могли бы спокойно отмобилизоваться, и может быть, немецкое наступление на Белоруссию не было бы таким роковым.

Что же оказалось на деле? Не все оборонительные сооружения по старой границе были достроены, а с началом строительства оборонительной линии на новой границе работы на старой линии и вовсе прекратились.

Однако значительное количество их уже было построено. И вполне они могли служить хорошей преградой немцам. Значит, ошибка была первая в том, что давно намеченные оборонительные рубежи были заброшены строителями, хотя могли быть второй линией обороны. И немного средств требовалось для завершения этого строительства.

Оказалось и другое. Даже те оборонительные сооружения, которые были готовы, не были укомплектованы войсками, не было в достатке пулеметов и пушек, которых тогда в стране у нас хватало. Словом, эти сооружения были в состоянии заброшенности.

Это – грубейшая ошибка в первую очередь, конечно, командования Белорусского военного округа. Но беда усугубилась тем, что опытные, знавшие дело командующие были ликвидированы (конкретно – командующий Белорусским военным округом Уборевич), а у новых не хватило кругозора, опыта и знаний, чтобы это понять. Ведь факт, что герой испанской войны, комбриг танковых войск Павлов, человек, несомненно, храбрый, преданный, знающий военное дело, не смог добиться достройки старой оборонительной линии, или, во всяком случае, обеспечить вооружением те части линии, которые были закончены строительством.

Таким образом, мы вложили огромные деньги в две оборонительные линии по западу, с севера на юг, и ни одна из них не была использована.

Почему Жуков, командовавший Киевским военным округом, не только не подумал об этом в свое время, но более того – умолчал об этом факте, не попытался проанализировать его и дать ему оценку?

А разве это было бы вредно для чести нашего народа? Нет. Наоборот. Это объяснило бы, почему наши войска не могли оказать серьезного сопротивления немецкому наступлению в

первые месяцы войны на западных территориях. Войска не были виноваты. Виноваты были и лидер государства, и нарком обороны, и командующие округами. Известно, что наш солдат храбрый и хорошо воюет. Но, как известно из военной истории, без средств для организованного сопротивления войска бывают подвержены панике.

Поэтому паническое отступление в первые месяцы войны, массовые окружения нельзя ставить в упрек солдатам, младшему командному составу, да, возможно, и среднему. Формально ответственность несет высший командный состав. Но если по существу разобраться, то их тоже трудно обвинять: ведь они попали на такие высокие должности не по собственному желанию. Их выдвинул Сталин или нарком обороны вместо старых, репрессированных кадров.

Через месяц или два после начала войны, когда Белоруссия была так позорно потеряна и вместе с ней – огромное количество наших отборных войск, попавших в окружение, воевавших до последнего патрона, павших смертью храбрых или сотнями тысяч попавших в плен, Сталин предложил предать военному трибуналу командующего этими войсками Павлова.

Ничего чрезмерно компрометирующего против Павлова не было. Абсолютно чистый, честный, лично обаятельный человек, безупречной храбрости, преданный, умевший руководить танковыми войсками в пределах бригады, но не имевший другого опыта высшего командования. А он был сразу назначен командующим всеми войсками Белорусского округа. Его можно обвинить только в том, что он категорически не отказался от такого выдвижения.

Но на него возложили ответственность за огромные потери войск и провал фронта. Формально можно было его разжаловать, и только, и Павлов просил дать ему возможность оправдать себя в боях в роли командира танковой бригады. Так и надо было, но Сталин настоял на его расстреле.

Известно, какое отрицательное отношение у меня было к репрессивным мерам, которые он применял. Но должен признаться, что в тот момент, хотя лично против Павлова я ничего не имел и было жалко его терять, мне казалось, что Сталин в чем-то прав. Это была жестокая мера, но она казалась оправданной обстановкой. Надо сказать, что за всю войну это был первый и единственный случай расстрела командующего. Но было позорно то, что после победоносного ведения войны Сталин добился расстрела командующего Сталинградским фронтом Гордова, Кулика и некоторых других.

Замечание второе. Еще одной преступной ошибкой Сталина

кроме уничтожения командных кадров армии, партии и государства в канун войны было то, что он вбил себе в голову, что Гитлер в ближайшие год-два не нападет на нас, хотя и он и мы знали, что война с Германией, победившей почти всю Европу, неизбежна. Поэтому оборонные мероприятия он растягивал, а не ускорял. Если в течение года-полутора после начала войны при эвакуации основных центров производства вооружения из Ленинграда, украинских городов, особенно Харькова, а также из Тулы, Москвы нам удалось добиться хороших результатов, а через год, к моменту боев у Курской дуги, явного превосходства в производстве самолетов, танков, противотанковых средств, боеприпасов, возникает мысль: а разве мы не могли это сделать раньше, начиная с осени 1939 г., когда началась уже европейская война и почти два года было в нашем распоряжении до начала войны? Мы могли бы в более благоприятных условиях осуществить эти меры с меньшими издержками и с большим эффектом, имея больше времени, больше ресурсов. Могли бы, если бы Сталин понимал, что война близка.

Но мы продолжали гражданскую жизнь, как будто война далеко, а надо было это сделать в ущерб гражданской промышленности, в данном случае машиностроению, паровозостроению, комбайностроению, как это было сделано потом, наспех, экспромтом в начале войны, опираясь на наших талантливых наркомов и научные кадры.

Сталин же заботился о том, чтобы ничем не дразнить немцев, думая, что этим можно оттянуть войну, в то время когда она уже стучалась в дверь. Более того, он считал, что, пока Гитлер Англию не захватит, он не пойдет на нас, что немцы убедились в правильности теории Бисмарка, что Германия никогда не победит в войне, если одновременно будет воевать на два фронта.

Но времена Бисмарка прошли. Вся Западная Европа была под властью Гитлера, а на западе сопротивлялась только островная Англия, которая не способна была нанести удар по Германии на континенте. Опыт показал, что, несмотря на длительные ожесточенные сражения советской армии, обескровившие вермахт, англичане вместе с американцами, канадцами в течение почти четырех лет с начала войны с немцами не осмеливались высадиться во Франции. Более того, под Арденнами они потерпели серьезное поражение, от последствий которого мы спасли их ценой больших жертв, начав – по просьбе Черчилля и Рузвельта – преждевременное всеобщее наступление против немцев по всему фронту.

Сталин пытался осенью 1940 г. в дополнение к Договору о ненападении добиться соглашения с Германией о сферах

влияния, полагая, что гитлеровская шайка недолго будет господствовать в Германии.

Косвенно это можно видеть из воспоминаний Бережкова о поездке Молотова в Берлин осенью 1940 г. для переговоров. Бережков когда-то работал в моем аппарате во Внешторге. По просьбе Молотова я ему уступил его.

В частности, помнится, в переговорах речь шла о том, чтобы Гитлер не нападал на Болгарию, Дарданеллы и, кажется, Румынию, поскольку они должны быть «зоной советского вли яния».

Бережков не дает оценки хода этих переговоров. Он хвалит Молотова за то, как тот давал отпор наскокам Риббентропа и твердо держался нашей линии. Но любой на этом месте вел бы такую же политику. А ведь весь смысл переговоров, о которых Молотов, вернувшись, рассказал, заключался совсем в другом. (Я сейчас диктую по памяти.)

Молотов спрашивает Риббентропа: «Вы воюете с Западом. Мы понимаем это. Но нам непонятно, почему в это же время вы заключили военное соглашение с Румынией и сосредоточиваете там, в Румынии, германские войска, с какой целью?»

Риббентроп, не отрицая этого факта, ловко отделался от вопроса и не раскрыл карты.

Молотов задает другой вопрос: «Почему вы сосредоточили несколько дивизий своих войск в Финляндии? Против какой угрозы они выставлены там? Какая цель сосредоточения этих войск здесь, у наших границ, под Ленинградом?» Ловкими отговорками Риббентроп отделался и от этого вопроса.

И наконец, главный вопрос, который Молотов задает: «Почему такое большое количество дивизий из западных районов Европы, где идет подготовка у вас к нападению на Англию, перебрасывается в Польшу, вблизи наших границ?» Риббентроп отвечает, что войска эти в боях на Западе устали, переброска в Польшу имеет целью дать им отдых.

Десятки дивизий одновременно перебрасываются на отдых именно в Польшу! Не в Венгрию, не в Чехословакию или Италию, где климат для отдыха лучше! Такого вопроса Молотов, кажется, и не задавал.

Не надо быть большим политиком, чтобы, сопоставив три факта концентрации войск в Румынии, Польше и Финляндии в больших количествах на границах нашей страны, с которой есть Пакт о ненападении, сделать вывод – идет подготовка к началу войны против нас.

Меня не волновало то, что Риббентроп, а затем и Гитлер прямо отбрасывали предложение о сферах влияния, сказав, что

они не могут терять свое влияние ни в Румынии, ни в Болгарии, ни в Дарданеллах, зато согласны дать нам возможность продвигаться на Персию, к водам Персидского залива. Это было не только грубым отклонением нашего предложения, но просто издевательством.

Я, будучи сторонником Пакта о ненападении, был настроен против директив, данных Сталиным Молотову в переговорах с Германией о сферах влияния. Не только потому, что это было нереально, так мне, по крайней мере, казалось. Но такое соглашение носило характер какого-то союза с гитлеровской Германией, что не было понято коммунистами всего мира, и я внутренне отвергал это.

После доклада Молотова о переговорах в Берлине я думал, что у Сталина наконец раскроются глаза на реальную действительность и он предпримет срочные меры.

Да, Сталин принял решение о строительстве артиллерийских заводов и других военных предприятий. Очень хорошим было решение об авиационном комплексе в Куйбышеве, строительство которого было закончено через полгода после начала войны и который сыграл огромную роль в войне. Но выглядит анекдотом, что тогда же было принято решение о строительстве большого артиллерийского завода в Киеве, который через год оказался под властью немцев.

Все эти ошибки вытекали из главной порочной установки Сталина, что Гитлер с нами войну не начнет в ближайшее время. Несмотря на поступавшие сигналы со всех сторон: от советской разведки за границей, из войсковых частей с мест, от пограничных войск, донесений нашего посла Деканозова в Берлине, начальника разведки НКВД Амаяка Кобулова, представителя разведки Генштаба в Берлине Михаила Воронцова и многих-многих других. Даже из Японии от Рихарда Зорге, о ком мы в политбюро тогда и не знали.

Из этой же порочной установки Сталина вытекает и другая ошибка. За месяц или два до начала войны начали поступать из западных военных округов, особенно из Минска, сообщения о том, что немецкие военные самолеты не только появляются в советском воздушном пространстве, но облетают много раз советскую территорию. Командование требовало принять меры против них. Но Сталин был до того осторожен, что дал указание не сбивать эти самолеты, дабы не провоцировать немцев, хотя в данном случае речь шла о защите прав суверенного государства. А немцам это помогло засечь пункты связи, расположение радиостанций войсковых частей и в первый же день наряду с нанесением ударов по военным аэродромам, где почти половина

самолетов была уничтожена на земле, уничтожить и их. Тогда только сообразили, что надо иметь две радиостанции: одну для пользования в мирное время, другую – в другом пункте – на случай войны. Могли бы вовремя подумать об этом! Ведь вскоре после начала войны нам удалось создать дублирующую радиосвязь.

Это все я диктую по памяти.

Жуков, когда писал воспоминания, пользовался всеми документами Генерального штаба. Более того, как штабист, он же каждый день все важные события всегда записывал.

Но почему-то он не написал о том дне, когда Сталин появился в Наркомате обороны в первый или второй день войны ночью, с ним были Молотов, Берия, Маленков и я, и Жуков в ответ на нападки Сталина разрыдался. Этот факт не компрометирует Жукова ни в какой степени. Зато характеризует Сталина. И все же Жуков почему-то об этом умолчал. Или там «поработали» редакторы? Я по своему опыту знаю, на что они способны, если имеют указания от своего начальства.

Ввиду того что военные события развивались в полном противоречии с военными планами, приходилось действовать экспромтом, часто поспешно. Поэтому многие мероприятия отнимали много сил и средств, оказывались бессмысленными или с малыми результатами и большими жертвами.

Экспромтом можно считать и то, что в начале войны приняли мы решение (я был также за это решение) построить противотанковые рвы с севера на юг, мобилизовав больше миллиона человек. И люди шли строить эту линию день и ночь – женщины, юноши, девушки, только бы помочь стране! Не успели кончить эту огромную линию, как она оказалась бесполезной, так как была без войск, без вооружения.

После мы построили другую такую же линию на сотни километров ближе к Москве. И тоже почти полмиллиона человек работало, и также она оказалась бесполезной.

Жуков обходит почему-то вопрос о том, какая паника охватила некоторые наши отступавшие части, оказавшиеся в тяжелых условиях, в окружении, без руководства.

Тогда нами были приняты крутые меры против дезертиров. Пограничные части были переброшены в места, где происходило дезертирство, с правом расстрела на месте. Это был страшный момент. Но положение сравнительно быстро удалось восстановить. Дезертирство как массовое явление было ликвидировано, и многие солдаты, которые бежали в панике, потом стали образцовыми бойцами.

Помню, какая гордость охватила меня за нашу армию,

которая согласно принятому заблаговременно плану сражалась под Смоленском. По существу, это была первая по-настоящему организованная оборона. Во главе стоял Тимошенко. Около двух месяцев шли кровопролитные сражения, невиданные по своей жестокости, упорному сопротивлению. Я считаю, что это была прелюдия Сталинграда. Однако ввиду превосходства противника в танках и авиации мы вынуждены были отступить. Но это время было ценно для нас в смысле подтягивания сил из тыла.

Теперь все пишут, что немцы наступали с большим превосходством не только в технике, но и в численности своих войск. Но, насколько помню, ни нарком обороны, ни начальник Генштаба не требовали большего количества войск, полагая, что этого достаточно. Однако 100-процентного укомплектования дивизий не было.

Наконец, можно было бы организовать офицерские курсы, для более широкой подготовки офицерского состава. Было ясно, что потери офицерского состава будут, а офицеров готовить нужно в мирное время. Ни одного из этих мероприятий не было сделано до войны.

Наши военные мемуаристы много пишут о военных делах, но никто не вникает в суть того, как удалось после потери Украины, блокады Ленинграда, эвакуации военных заводов из Центральной и Южной России, Украины в течение почти полугодия восстановить прежнее производство вооружения, а через полтора года на третьем году войны – превзойти могущественную гитлеровскую Германию и всю подвластную ей Европу по производству всех видов вооружения. Странно, что такие видные военные деятели, как Жуков и другие, не нашли возможным упомянуть о Малышеве, талантливейшем хозяйственном организаторе, честнейшем человеке. Он добился блестящих успехов в производстве танков, которые не только по количеству, но и по качеству превосходили немецкие танки, что предопределило исход грандиознейшего танкового сражения на Курской дуге. Ни слова никто не сказал о Шахурине, наркоме авиационной промышленности. Правда, Жуков в своих мемуарах упомянул об Устинове, наркоме вооружения, ибо это трудно было не сделать, так как Устинов теперь секретарь ЦК партии.

О Ванникове ни слова не сказано, хотя он занимался производством боеприпасов для всех видов вооружения, был хорошим организатором этого дела. Наконец, ничего не сказано и о крупном специалисте в металлургии, талантливейшем организаторе Тевосяне, который сделал так много для производства высококачественной брони для танков. А это было невероятно трудным и важным делом.

Многие мемуаристы, которые встречались со Сталиным один или несколько раз, выносили положительное, приятное впечатление о нем и об этом пишут, не греша перед своей совестью. Но они из этого делают вывод для общей характеристики и оценки деятельности Сталина, его характера, поведения, умения вести беседы, общаться с людьми.

Действительно, Сталин, когда хотел, когда, по его мнению, это было необходимо, владел собой полностью, умел так повести прием людей и беседу с ними, что производил отличное, приятное впечатление.

Это касается и советских людей, и особенно иностранцев. Известно, с каким мастерством, выдержкой он вел переговоры с Черчиллем, Иденом, когда они приезжали в Москву; с Рузвельтом и Черчиллем на Тегеранской и Ялтинской конференциях и на Потсдамской конференции, где кроме Черчилля были Эттли – новый английский премьер и Трумэн – президент США после смерти Рузвельта. И теперь, когда перечитываешь записи бесед, чувствуешь превосходство Сталина в манере высказываний и точности формулировок, легкости, спокойствии и разумности. Где нужно, он настойчив, умеет находить новые аргументы в поддержку своей линии, не уступая им; в других случаях делает уступки, которые не противоречат нашим интересам, что производит приятное впечатление на собеседников.

Иногда, уже имея свое твердое мнение, он спрашивал мнение Черчилля. Например, это касалось визита де Голля в Москву во время войны, подписания с ним франко-советского договора о дружбе.

Я помню, у Сталина и у нас было твердое мнение, как вести себя в отношении де Голля, но он все же спрашивал совета у Черчилля по вопросам этого визита, выясняя его мнение о возможности заключения договора в двух вариантах: франко-советский договор аналогично английскому или трехсторонний англо-франко-советский договор. Он спрашивает Черчилля, но в такой форме проводит все это, что, конечно, проводит нашу линию, не сталкиваясь при этом с Черчиллем, а, наоборот, показывая готовность принять его совет.

Первым послом Индии в Москве был Радхакришнан, затем ставший Президентом Индии. Это очень симпатичный, культурный человек, независимых прогрессивных взглядов и хорошо к нам относившийся. Сталин вообще редко тогда принимал послов. Помнится, что, кроме английского, американского и один раз аргентинского посла, когда Перон был главой государства, других он не принимал. Индийский посол

был у него в связи с начавшимся голодом в Индии.

После приема посла Сталин нам рассказывал, что на него произвели приятное впечатление высказывания и сама личность этого посла, что обещал, не ставя предварительно вопроса на политбюро, оказать помощь Индии поставкой в кратчайший срок 10 тыс. т пшеницы за плату. Посол был очень доволен, конечно.

По окончании беседы Радхакришнан, беседуя с другими послами и, кажется, с корреспондентами, с восхищением отзывался о Сталине, что стало достоянием широкого круга людей и прессы, о приятном впечатлении, произведенном Сталиным на него, о его спокойствии, разумности, умении слушать собеседника, находить правильный ответ.

Сталин мне сказал, что надо поскорее отгрузить пшеницу в Индию, чтобы она пришла раньше, чем капиталистические страны окажут помощь Индии, что это произведет хорошее впечатление. Он был прав, конечно. Но я стал отговариваться, что есть одна опасность в коммерческом отношении: если отгрузить пшеницу до подписания контракта о продаже, то это обстоятельство ухудшит нашу позицию в переговорах о цене на пшеницу, поскольку она колеблется. Индия может нам недоплатить, и мы вынуждены будем согласиться с любой ценой ввиду того, что пшеница уже отправлена. Сталин настаивал на немедленной отгрузке: даже если мы будем иметь потери, политический эффект превзойдет их.

Я согласился, но это предупреждение сделал, чтобы в будущем не было недоразумений со Сталиным. По телефону я дал указание Морфлоту и Внешторгу, хотя в планах перевозок это и не было предусмотрено, изменить планы и через деньдва поставить пароходы под погрузку пшеницы для ускоренной отправки ее в Индию.

Действительно, кажется, через две недели или меньше первыми с пшеницей прибыли советские пароходы. И хотя не так много ее было, не только индийское правительство, но и пресса и общественность приняли этот факт с большой благодарностью и с уважением к Советскому Союзу, который так быстро пошел на поставку пшеницы ввиду голода в Индии. Надо сказать, что и в переговорах Экспортхлеба о цене на эту пшеницу никаких затруднений не было, вопреки нашим опасениям Индией были оплачены запрошенные деньги.

Естественно, Радхакришнан, с которым я много раз потом встречался, был самого лучшего мнения о Сталине.

Известно, какую антиамериканскую, независимую националистическую позицию занимал глава аргентинского государства Перон. Перонизм – это было интересным явлением в

Америке, одной из форм национальной борьбы с американским господством, вообще-то носившей прогрессивный характер.

Сталин в беседах о Пероне, в какой-то мере узнав слабые стороны и недостатки этого движения, все же ценил независимую позицию Перона и его партии. В связи с этим он принял аргентинского посла по его просьбе, больше выслушивал и выспрашивал и произвел на посла большое впечатление. Посол, помню, способный человек, со своей стороны произвел на Сталина благоприятное впечатление. Сталин обещал предоставить Аргентине долгосрочный кредит в 100 млн долларов. Тогда для нас это была большая сумма и беспрецедентная для предоставления несоциалистической стране.

Мне было поручено вести дальнейшие переговоры об условиях этого кредита. Я несколько раз встречался с послом, подготовил договор, подписал. Суть договора сводилась к тому, что мы предоставляем им оборудование и другие товары советского производства, кажется, на 10-летний срок. Аргентина предоставляет нам товары своего производства, которые нам были нужны: кожу, шерсть и др. Посол с восхищением говорил о Сталине.

Конечно, люди от этих кратковременных встреч со Сталиным выносили о нем хорошее впечатление. Более того, у них складывалось мнение о Сталине вообще, об общей его характеристике. Их обвинять в этом нельзя, но они должны знать, что это не основание для общей оценки Сталина – человека такого сложного характера. От них и нельзя было требовать другого, они другой стороны жизни Сталина и его деятельности не знали.

Но вот удивительно другое, когда некоторые советские люди, на глазах которых проявились худшие черты характера Сталина, предвиденные Лениным, когда проявился произвол в невероятных формах, которые даже Ленин не мог предполагать (произвол и беззаконие 1937–1938 гг., приведшие к уничтожению многих тысяч руководящих деятелей всех областей нашего государства и партии и миллионов простых людей), в своих мемуарах дают высокую общую оценку Сталину. Это видно в меньшей степени в мемуарах Жукова, в большей степени касается мемуаров Штеменко, который, при водя в своих воспоминаниях хорошее о Сталине, ловко обходит все то, что может бросить тень на личность Сталина, о чем, конечно, хорошо знал Штеменко. Хотя Штеменко себя вел лично так, что, работая со Сталиным вторую половину войны, находил поддержку с его стороны. Но Штеменко хорошо знал о многих фактах в отношении других лиц как до войны, так и после войны, что проявилось в отношении

нового командующего ВВС Новикова, наркома авиационной промышленности Шахурина, маршала артиллерии Яковлева, которые совершенно необоснованно были арестованы. Даже эти три факта, если бы не было других, не позволяют Штеменко петь такие дифирамбы о характере Сталина, как он это делает, да и Жуков тоже.

Но особо неприятное впечатление оставляют воспоминания маршала авиации Голованова. Нужно сказать, что он на меня производил всегда хорошее впечатление, и я высоко его ценил как летчика и человека. Я присутствовал в Ставке, когда первый раз появился там Голованов, предложив свою часть гражданских транспортных самолетов целиком для военных целей. Помню, как он пришел: высокого роста, красивый, стройный, подтянутый, малоразговорчивый. Коротко он сказал, без лишних слов, о своем предложении. Это произвело на нас очень хорошее впечатление.

В своих воспоминаниях Голованов много раз упоминает о том, что был у Сталина и что его дивизия была лично подчинена Сталину. Этим он хвастает и хвалит за это Сталина. Как это можно, чтобы Сталин, Верховный главнокомандующий, взял в свое подчинение, под свое командование одну только дивизию дальнебомбардировочной авиации? Мне кажется, что все это он чересчур преувеличил. Он хвалит Сталина за то, что тот принимал его много раз в отсутствие командующего Военно-воздушными силами и обсуждал с ним вопросы дальней авиации, не интересуясь мнением командующего, мнением Генштаба. Но ведь это говорит о нетерпимом, порочном методе руководства Сталина.

Голованов в своих воспоминаниях приводит эпизод встречи Нового года и беседу с командующим ВВС Смушкевичем. Смушкевич сказал ему, что не может добиться приема у Сталина, хотя необходимо решить важный вопрос о подготовке авиации к боевым действиям. Он попросил Голованова, зная расположение к нему Сталина, обратиться к нему с письмом и изложить суть беседы Смушкевича с Головановым. Голованов так и сделал. И он не осуждает здесь Сталина за такое отношение к командующему ВВС. Разве Голованов не понимает нетерпимость положения, когда накануне войны командующий ВВС не имеет возможности поговорить со Сталиным по коренным вопросам авиационной подготовки? Хотя Смушкевич – заслуженный летчик, героически показавший себя в испанских событиях, самим же Сталиным был выдвинут на эту высокую должность командующего ВВС. Голованов не считает это отрицательной стороной деятельности Сталина. Потом мельком Голованов сообщает, что командующим ВВС стал Жигарев, не объясняя, какую роль он сыграл в войне,

куда же делся Смушкевич, какая судьба его постигла (а ведь он был расстрелян!).

Вместо Смушкевича был назначен Жигарев, бывший кавалерист, человек хороший, несомненно талантливый, но тогда не ахти какой опытный в авиационных делах. Затем Сталин снял его с этой должности и направил на Дальний Восток командовать ВВС. Вместо Жигарева был назначен Новиков, который почти до конца войны успешно руководил авиацией.

Такая организационная чехарда – снятие двух командующих ВВС почти в течение полугода – разве не дает штриха к характеру Сталина как человека и руководителя? Неужели Голованов об этом не думает? Думает и знает. Или Голованов был ослеплен? Во всяком случае, из этих личных фактов он делает общую оценку Сталину, дает высокую оценку его характеру, его отношению к людям. Конечно, у него нет основания для такого обобщения. Поэтому такого рода мемуары приносят вред и, мягко говоря, искажают истину.

Наверное, не мог Голованов не знать, что после войны маршал Жуков был с руководящих постов в Министерстве обороны снят и назначен командующим Уральским военным округом, где фактически и не было никаких войск, кроме учебных заведений и отдельных мелких воинских частей. Но это не главное. Он не мог не знать, что после окончания войны были арестованы и расстреляны маршал Кулик, генерал Гордов, который какое-то время был командующим Сталинградским фронтом, затем командармом и воевал хорошо, и некоторые другие.

Если у них были какие-то промахи, неправильные высказывания, имевшие место, конечно, после войны, ибо в войну они не привлекались к ответственности, то разве надо было их расстреливать? Разве нельзя было их понизить в должности, уволить из армии, послать на пенсию, наконец?

Разве эти факты не доказывают отрицательных черт характера Сталина в отношении к людям? Во всяком случае, они не говорят о его заботе о людях.

Глава 44
Моя оценка Сталина

Часто товарищи спрашивают: какую оценку вы даете Сталину? Это ставит меня в трудное положение, потому что невозможно односложно давать характеристику Сталину. Это фигура сложная по натуре, и сложный путь был у него в партии и государстве. В разные периоды он выглядел по-разному: то выпячивая положительные стороны своего характера, то, наоборот, в других условиях, отрицательные черты брали верх. В этом смысле характеристику Сталину, данную Лениным в так называемом «завещании», надо считать абсолютно правильной и точной, подтвержденной всеми последующими событиями.

Я подчеркиваю – **правильность сейчас**, потому что, во-первых, когда мы познакомились с «завещанием» Ленина, внутренне мы не вполне готовы были к такой оценке, были убеждены, что Ленин не во всем был прав в личной характеристике Сталина.

Когда теперь пытаешься дать Сталину характеристику и определить свое отношение к нему, попадаешь в весьма трудное положение.

Первое. Как фактически я относился к нему в те или другие периоды истории нашей партии, ранние периоды, скажем до 1934 г.? Я не только разделял политическую линию партии, в определении которой Сталин играл большую роль, но и в методах и тактике работы был согласен с ним, хотя в отдельные моменты бывали у него срывы, которые мы замечали, но такие срывы были редки, поэтому не портили общего отношения и доверия. Я ему полностью доверял.

Отношения стали меняться в худшую сторону после убийства Кирова, в годы необоснованных массовых репрессий против ленинских кадров и их окружения, и вообще против широких масс народа в 1936–1940 гг.

Теперь на многие вопросы я имею другой взгляд, потому что в то время очень много фактов, документов, которые освещали деятельность Сталина, мы не знали. Подлинные документы о фактах репрессий нам не рассылались. Нам присылали только лишь те документы, как теперь стало ясно, которые было выгодно разослать, чтобы в желаемом духе настроить нас. Рассылались, например, протоколы допросов видных товарищей, в которых те признавались в совершенно невероятных преступлениях, которые и в голову никому не могли прийти, а они подписывались под

ними. Сталин так и говорил: «Невероятно, но факт, они сами это признают». Сталин позже, стараясь придать более правдивый характер показаниям, рассылал протоколы допросов, где на каждой странице стояла подпись обвиняемого, чтобы, как он говорил, «исключить фальсификацию и подлог».

Например, дела военных: Тухачевского, Уборевича, Якира и других. Как-то не в обычном порядке на заседании политбюро, а в кабинете у Сталина, куда нас, членов политбюро, пригласили, Сталин стал излагать сообщение, что по данным НКВД эти военные руководители являются немецкими шпионами, и стал зачитывать какие-то места из документов. Затем он добавил, что у него были сомнения, насколько правильно сообщение НКВД, но они рассеялись после того, как недавно было получено сообщение от чехословацкого президента Бенеша, что их разведка имеет данные через свою агентуру в немецкой разведке, что перечисленные военные руководители завербованы немцами.

Это было невероятным. Но не все были поражены – видно было, что это сообщение предварительно обсуждалось Сталиным с Ворошиловым как с наркомом обороны, потому что он не удивился, не возражал, сомнений не высказывал.

Я сказал Сталину: «Уборевича я очень хорошо лично знаю, других также знаю, но Уборевича лучше всех. Это – не только отличный военный, но и честнейший, преданный партии и государству человек. Уборевич много рассказывал мне о своем пребывании в Германии, в немецком штабе для повышения своей квалификации. Да, он высказывал высокую оценку генералу фон Секту, говорил, что многому научился у немцев с точки зрения военной науки и техники, методов ведения войны. Будучи уже здесь, он все делал для того, чтобы перевооружить нашу армию, переучить ее для новых методов ведения войны. Я исключаю, что он мог быть завербованным, мог быть шпионом. Да и зачем ему быть шпионом, занимая такое положение в нашем государстве, в наших вооруженных силах, имея такое прошлое в Гражданской войне?»

Сталин же стал доказывать, что именно тогда, когда Уборевич был в германском штабе на обучении, он и был завербован немцами. Об этом говорят данные, которыми располагает НКВД. Правда, он сказал, что эти данные подлежат проверке. «Мы в состав суда, – сказал Сталин, – включим только военных людей, которые понимают дело, и они разберутся, что правда и что нет». Во главе был поставлен Буденный. Там был и Блюхер. Я не помню, кого еще назвал Сталин.

Нас несколько успокоило сообщение о том, что военные люди будут разбираться в этом деле и, возможно, обвинения отпадут.

Я работал на периферии и не был знаком со многими фактами периода Гражданской войны и начала 1920-х гг., которые сегодня нам известны. А дело было в следующем. Сталин и работавшие с ним Ворошилов, Буденный, Егоров, Кулик, Щаденко, Мехлис, Тюленев, Тимошенко, Афанасенко и другие занимали позицию против военспецов в армии, то есть против привлечения в армию на командно-штабные должности бывших офицеров царской армии.

Когда Сталин был в Царицыне, членами Военного совета были Ворошилов и Буденный. Они изгоняли спецов из ар мии, многих расстреливали. Правда, в их числе попадались и настоящие изменники, но вместе с ними гибли и невинные люди. Были попытки жаловаться Ленину, который был на стороне привлечения военспецов, так как большинство из них работало добросовестно.

Я не знал о конфликте между Сталиным и Конной армией, с одной стороны, и командующим Западным фронтом Тухачевским, который вел наступление на Варшаву, с другой стороны.

Дело было в том, что в самый острый момент политбюро ЦК под руководством Ленина решило в ходе наступления на Варшаву для поддержки левого фланга Тухачевского ввести Конную армию. Сталин, будучи с Конной армией, был против этого решения и не дал приказа об исполнении решения политбюро.

ЦК настаивал на своем решении. Сталин упорствовал. Он вынужден был выехать в Москву. На комиссии ЦК разбирались эти разногласия, где столкнулись Тухачевский и Сталин. Прошло около недели – время было упущено.

Не зная всего этого, я был крайне удивлен, что военный суд подтвердил «факты» их шпионской деятельности, и Тухачевский, Уборевич, Якир были казнены, конечно с согласия Сталина.

В реабилитации этих товарищей Ворошилов активного участия не принимал, но и не выступал с возражениями. Открыто и Буденный не высказался, хотя он был председателем суда.

Ворошилов и Буденный позже, даже в 1960 г., считали, что решения их суда были обоснованны. Как-то в беседе с Артемом Ивановичем Микояном Буденный сказал: «Зря мы их реабилитировали». Потом, когда Ворошилов был уже на пенсии, я пришел к нему на день рождения. Они с Буденным опять стали возмущаться пересмотром процесса над военными лидерами. «Говорят, они не были врагами, – возбужденно шумел Буденный. – Но ты же помнишь, как они призывали нас убрать из армии?» И Ворошилов ему поддакивал. Вот такое у них было понимание вредительства, оказывается.

Мне казалось, что те катастрофические срывы характера

Сталина, которые имели место в годы репрессий, уже никогда не повторятся, что одержанная победа в Великой Отечественной войне, великий авторитет нашей страны в этот период, страны, которую до этого мало знали, – все это приведет к тому, что Сталин встанет на путь социалистической демократии, скажем, как это было в 20-х гг.

Но этого не случилось. Конечно, не повторилось то, что было в 1937–1938 гг., это невозможно было теперь. Но сильную тревогу вызывало у меня непонимание мотивов его поведения. Конечно, я старался догадаться, чем это вызвано, какие цели он преследует. Но это были только догадки, для меня неубедительные. Поэтому я не имел твердого мнения. Например, после Победы в Великой Отечественной войне Сталин вдруг стал добиваться ареста и осуждения, на этот раз не смертной казни, как это было бы в 1938 г., а тюремного заключения министра авиационной промышленности Шахурина (при этом непонятна роль Маленкова, курировавшего эту промышленность), который всю войну в целом работал хорошо, добросовестно, авиационной промышленностью руководил неплохо, понимал дело. (Я, например, считаю, что неприлично было со стороны авиаконструктора Яковлева не найти добрых слов в адрес Шахурина в своих воспоминаниях. Яковлев даже не счел нужным отметить, что Шахурин был неправильно репрессирован и затем реабилитирован.)

Та же судьба постигла командующего военно-воздушными силами Главного маршала авиации Новикова, который почти всю войну успешно командовал, бывал на фронтах, где происходили важнейшие события, больше, чем в Центре.

Был арестован также заведующий отделом авиационной промышленности ЦК, коммунист, инженер Григорян, которого я лично плохо знал, но Маленков его очень ценил, и Григорян был его правой рукой по руководству авиационной промышленностью всю войну.

То же случилось с маршалом артиллерии Яковлевым. Всю войну он возглавлял ГАУ (Главное артиллерийское управление) и отвечал за все снабжение фронта вооружением, кроме танков и авиации. Он с февраля 1942 г. был назначен по ГКО моим заместителем по снабжению фронта вооружением, поскольку эта обязанность была возложена на меня как на члена ГКО. Мне было хорошо с ним работать: с двух слов понимал он, о чем идет речь, мало, но точно и ясно говорил, был хозяином своего слова. Человек независимый, он не поддерживал одних командующих фронтом за счет других. Он часто бывал в ГКО и в Ставке со мной вместе и отдельно, и никогда я не слышал, чтобы он получал

замечания от Сталина. Сталин был доволен его работой, его поведением.

Какая же нужна была мотивировка и причина для их ареста?

Шахурина обвинили в том, что он поставлял самолеты, еще недоработанные, а Новиков принимал их в таком виде и направлял на фронт, что Сталин посчитал вредительством, что Яковлев сразу же после начала войны принял партию в 40 или 50 новых противотанковых орудий, не вполне доведенных, с тем чтобы обучить войска управлению ими и провести войсковые испытания.

Эти факты действительно имели место. Но это было единственно правильным решением со стороны этих товарищей. Если бы в войну новые самолеты подвергались тщательной доработке, строго по программе, то фронт не получал бы столько самолетов, сколько требовалось. Ведь факт, что теперь, много лет спустя после войны, когда время позволяет, два-три года проходят, прежде чем готовый самолет будет принят на вооружение и пущен в серию. Тогда же нельзя было терять время!

Военные правы, когда даже к отличным машинам предъявляют требования, чтобы самолет был лучше. Например, самолет МиГ-19 – лучший самолет. Настолько был хороший, что правительством было принято решение приступить к серийному производству после многих споров с военными. Но все же военные продолжали принимать изготовленные самолеты с оговорками, что в дальнейшем нужно устранить некоторые дефекты и самолет улучшить. Словом, несколько тысяч этих самолетов было сделано. Поступили на вооружение в армию. Но военные не дали на это согласия, и не было принято решение правительства о принятии этих самолетов на вооружение. А фактически самолет был на вооружении.

Вскоре был создан новый самолет – МиГ-21, а МиГ-19 мы отдали китайцам. Дали им всю документацию и помогли построить завод. МиГ-19 у них быстро пошел. Они до сих пор, вот уже более десятка лет, продолжают этот самолет производить, продают его Пакистану. И Пакистан очень доволен этим самолетом. Теперь, через много лет, говорят, что против нынешних американских «фантомов» этот самолет больше подходил бы, чем МиГ-21.

И, возвращаясь опять к упомянутым выше товарищам, я твердо прихожу к мысли, что у них действительно могли быть какие-то недостатки в работе, но не было никаких оснований говорить, что они сознательно вредили. Даже если не принять их подход, считать его отрицательным, можно было им дать отставку, снять с постов, в крайнем случае понизить в звании, но

не арестовывать.

И еще об одном следует сказать. В то время Сталин добился ареста и отдачи под суд маршала Кулика и генерала Гордова. Последнего я лично не знал, а Кулика хорошо знал. Но Гордова очень хвалил Хрущев, который был членом Военного совета Сталинградского фронта. Причина их ареста нам была не ясна. Но помнится, как будто Кулик где-то сказал, что воевали и победили они, военные, а не те, кто стоит у власти.

Кулик совершил серьезный проступок в 1941 г., когда командовал на Карельском перешейке. Когда немцы блокировали Ленинград, Кулик имел возможность отправить туда одну-две дивизии на помощь Ленинграду, чтобы сохранить железную дорогу от захвата немцами. Военный совет фронта просил его об этом, но он отказал, считая, что это «не его участок». Но не этот факт Сталин поставил ему в вину.

Кулик и Гордов были расстреляны после войны. Это меня поразило очень. Зачем их было расстреливать? Если Кулик был неграмотен, плохо подготовлен, то винить надо было не его, что он попал на такую высокую должность, а винить надо было того, кто его поставил на нее. Лично он не был ни врагом, ни бесчестным человеком. Все-таки был на фронте всю войну. И на Гражданской войне был. Надо было его разжаловать из маршалов, но не расстреливать.

Видимо, Сталин и с Жуковым расправился бы. Но настолько был высок авторитет Георгия Константиновича Жукова, что Сталин побоялся это сделать и отослал его командующим в Уральский военный округ, подальше от всех, то есть, по существу, в изоляцию.

Некоторые товарищи говорят, что те, кто работал вместе со Сталиным эти годы, даже будучи с ним не согласны, со страху все выполняли, все поддерживали его, а когда его не стало, «расхрабрились» и стали все взваливать на Сталина, как будто сами ни при чем.

Надо сказать, что все, кто работал со Сталиным в руководстве партии, несут ту или иную долю ответственности. Неодинаковую, конечно, – тем более неодинаковую со Сталиным. Но критикующие нас частично правы.

Такая большая власть была сосредоточена в руках Сталина, что он имел возможность преподнести вопрос в таком виде, в каком он хотел, не доводя до нас полной и правдивой информации. Это теперь доказано. Мы многого не знали.

Те, кто говорят о страхе или о том, что мы молчали перед Сталиным из-за страха, в этом случае, видимо, руководствуются собственной психологией. Например, на пленуме ЦК КПСС после

XIX съезда партии, когда Сталин сделал личный выпад против Молотова и меня, он почему-то счел все-таки нужным сказать, что лично эти люди храбрые, настолько храбрые, что, если партии потребуется, пойдут на смерть без оглядки. И это – из уст Сталина в то время, когда он смешал нас с грязью. Он вынужден был это сделать, потому что весь пленум был ошарашен его нападками против нас двоих, поскольку все члены политбюро и участники пленума нас хорошо знали.

Наконец, другое. Если бы эти рассуждения о страхе были абсолютно правильные, как и утверждения, что мы все свалили на Сталина после его смерти, то и в этом случае тот, кто так рассуждает, взял бы грех на свою душу.

Каковы факты? Если бы мы все знали и хотели все взвалить на Сталина, почему же после его смерти мы долгое время открытого осуждения его не делали? Более того, кто нас заставлял это сделать? Неужели из-за страха перед Сталиным, лежавшим в гробу, поместили его тогда в Мавзолей Ленина? Ведь здесь руководство было свободно в решении вопроса. Никакого страха перед Сталиным не могло быть. Ведь тогда могли бы похоронить его там, где он сейчас лежит, рядом с Калининым и другими. И это было бы понятным для всех. Но почти все настолько находились под впечатлением положительных сторон деятельности Сталина и настолько были несведущи в подлинной его отрицательной деятельности в части необоснованных репрессий, что решено было положить его в Мавзолей рядом с Лениным Это, конечно, было ошибкой, но продиктованной не страхом, а недостаточной осведомлен ностью о его личной деятельности в тот страшный период, а также мнением о чувствах народа к покойному вождю.

Ведь это факт, что мы впервые выступили против Сталина на XX съезде партии в 1956 г. – более чем три года спустя после смерти Сталина.

Что это за годы были? Это были годы осмысления пройденного пути, тщательного, объективного разбора всех позорных дел, которые произошли при Сталине, выяснения, насколько он был обманут его же подчиненными людьми, работниками НКВД – МГБ и другими лицами, и насколько он сам был организатором и вдохновителем таких дел.

Глава 45
Расправа с Н.А. Вознесенским. А.А. Кузнецов и «ленинградское дело»

Раз как-то весной мы были на даче у Сталина. Сидели в кабинете, потом пошли обедать в сад. В это время Сталин с Вознесенским остановились в коридоре. После Вознесенский, очень обрадованный, подошел ко мне и сказал, что большое дело сделал: показал Сталину свой труд, тот полностью одобрил его, сказал, что можно публиковать. Речь шла о книге «Экономика Советского Союза во время войны», которую после войны написал Вознесенский. В ее написании участвовали около 100 работников Госплана по разным отраслям под его руководством. У меня лично было ощущение, что там были неправильные установки. Вознесенский считал: план – это закон, главное – установка. Но это догматическая, субъективистская постановка вопроса. Экономическим законом он быть не может. Если же административный – тоже не закон. За невыполнение плана под суд ведь не отдают.

Затем этот труд получил Сталинскую премию, кажется, 200 тыс. рублей. Эти деньги Вознесенский отдал на общественные нужды. Дело, конечно, не в деньгах. Он добился признания себя как экономиста, знатока военной экономики.

Все шло нормально. Хотя как человек Вознесенский имел заметные недостатки. Например, амбициозность, высокомерие. В тесном кругу узкого политбюро это было заметно всем. В том числе его шовинизм. Сталин даже говорил нам, что Вознесенский – великодержавный шовинист редкой степени.

«Для него, – говорил, – не только грузины и армяне, но даже украинцы – не люди».

В послевоенное время (и до войны так же это было) Сталин и Молотов всегда ворчали на хозяйственников. Вообще, у нас ежегодно из месяца в месяц идет рост производства в хозяйстве. Месяц пика – это декабрь. В январе же и в первом квартале производство падает, а затем с марта – апреля постепенно начинает повышаться, летом опять начинается небольшой спад в связи с уходом на сельскохозяйственные работы и т. д.

Несколько лет подряд при рассмотрении плана предстоящего года в сопоставлении с истекшим годом, когда видели, что первый квартал оказывается ниже четвертого квартала, Сталин и Молотов требовали не только не снижать темпов производства,

но и повышать их. Но это никак не получалось. Я, в частности, выступал против такого требования ввиду того, что выполнить его было невозможно. Это объяснялось и тем, что отрасли промышленности, которыми я руководил, – пищевая, рыбная, мясо-молочная, морской и речной флоты – в летнее и отчасти в осеннее время повышали производство продукции в связи с поступлением сырья из нового урожая. В рыбной промышленности – в связи с осенней путиной. Зимой же сырья поступало очень мало. Поэтому в первом квартале производство резко падало и увеличить его до уровня четвертого квартала не представлялось возможным.

Такие отрасли, как угольная и металлургическая, казалось бы, могли обеспечить равномерное развитие, но ввиду ручного труда, транспортных затруднений на первый квартал, в разгар зимы, налицо тоже было падение добычи угля и металла. Но Сталин не хотел слушать мои возражения. Раздраженно отмахнулся: «Опять ты за свое! Брось!»

При обсуждении плана на 1948/49 год в политбюро этот вопрос встал со всей остротой. Сталин предложил поручить Вознесенскому как председателю Госплана обеспечить такой рост, чтобы не было падения плана производства в первых кварталах против последних. Не знаю почему, видимо, психологическая обстановка была такая, Вознесенский ответил, что можно это сделать. Как он мог такое сказать? Я был удивлен его ответом: ведь умный человек, знает уже не только чистую экономику, но и реальное хозяйство. Одно время Сталин очень доверял Вознесенскому. Но переход к крайностям для него был обычным делом, чего Вознесенский, видимо, еще не учитывал.

Он составил проект такого плана. В нем не было падения производства в первом квартале, а намечалось даже какое-то повышение. Сталин был очень доволен. В его проекте план будущего года сравнивается с планом текущего года, а текущий год брался в ожидаемом исполнении. Здесь был элемент гадания, потому что никому не известно, что будет произведено в декабре, – всегда могут быть сбои и ошибки в ту или другую сторону и будет субъективистская характеристика ввиду невозможности точного предвидения.

И вот месяца через два или три Берия достает бумагу заместителя председателя Госплана, ведающего химией, которую тот написал Вознесенскому как председателю Госплана. В этой записке говорилось, что «мы правительству доложили, что план этого года в первом квартале превышает уровень IV квартала предыдущего года. Однако при изучении статистической отчетности выходит, что план первого квартала ниже того уровня

производства, который был достигнут в четвертом квартале, поэтому картина оказалась такая же, что и в предыдущие годы».

Эта записка была отпечатана на машинке. Вознесенский, получив ее, сделал от руки надпись: «В дело», то есть не дал ходу. А он обязан был доложить ЦК об этой записке и дать объяснение. Получилось неловкое положение – он был главным виновником и, думая, что на это никто не обратит внимания, решил положить записку под сукно. Вот эту бумагу Берия и показал, а достал ее один сотрудник Госплана, который работал на госбезопасность, был ее агентом. И когда мы были у Сталина, Берия выложил этот документ.

Сталин был поражен. Он сказал, что этого не может быть. И тут же поручил Бюро Совмина проверить этот факт, вызвать Вознесенского.

После проверки на Бюро, где все подтвердилось, доложили Сталину. Сталин был вне себя: «Значит, Вознесенский обманывает политбюро и нас, как дураков, надувает? Как это можно допустить, чтобы член политбюро обманывал политбюро? Такого человека нельзя держать ни в политбюро, ни во главе Госплана!» В это время Берия и напомнил о сказанных в июне 1941 г. словах Вознесенского: «Вячеслав, иди вперед, мы за тобой». Это, конечно, подлило масла в огонь, и Сталин проникся полным недоверием к Вознесенскому, которому раньше очень верил.

Было решено вывести Вознесенского из состава политбюро и освободить от поста председателя Госплана СССР.

Шло время. Вознесенский не имел никакого назначения. Сталин хотел сперва направить его в Среднюю Азию во главе Бюро ЦК партии, но, пока думали, готовили проект, у Сталина, видимо, углубилось недоверие к Вознесенскому. Через несколько недель Сталин сказал, что организовать Бюро ЦК нельзя, потому что если Вознесенский будет во главе Бюро, то и там будет обманывать. Поэтому предложил послать его в Томский университет ректором.

В таком духе и шли разговоры. Прошло месяца два. Вознесенский звонил Сталину, Сталин его не принимал. Звонил нам, но мы тоже ничего определенного сказать не могли, кроме того, что намечалось. Потом Сталин провел решение вывести Вознесенского и из состава ЦК. Видимо, за это время Сталин поручил подготовить «дело Вознесенского». Об этом приходится гадать, потому что Вознесенскому было предъявлено обвинение во вредительстве и в антипартийной деятельности. Без Сталина для МГБ это было бы невозможно. Одновременно с ним была арестована и ленинградская группа товарищей, хотя они никак не были с ним связаны. Жертвами «ленинградского дела» оказались

Вознесенский, который до этого был членом политбюро, Кузнецов – секретарь Ленинградского обкома партии, затем секретарь ЦК ВКП(б), Родионов – Председатель Правительства Российской Федерации, Попков – Председатель Ленинградского Совета депутатов трудящихся и другие.

Дело было организовано, и проведен закрытый процесс в присутствии около 600 человек партийного актива Ленинграда. Это было похоже на то, как был устроен суд в 1936 г. над Зиновьевым, Рыковым и Бухариным. Правда, там процесс был открытый, присутствовали даже иностранные корреспонденты. Этот же процесс был открытым для актива, но закрытым для общественности. Все эти товарищи были обвинены в «попытке заговора против руководства» и расстреляны.

Обвинение это ошибочно, потому что я лично хорошо знал этих руководителей, их сильные и слабые стороны и никогда не сомневался в их преданности партии, государству и лично Сталину.

Об одном из них – Алексее Александровиче Кузнецове мне хочется рассказать подробнее. После войны Алексея Александровича Кузнецова, как и Вознесенского до войны, Сталину тоже, видимо, предложил поднять до руководящей работы в масштабе всей страны, притом по важнейшим направлениям, Жданов. Однако если до рекомендации Жданова Вознесенского никто в Москве не знал, то имя «ленинградского Кузнецова» было у всех на устах, когда речь заходила о блокаде Ленинграда.

22 июня 1941 г., в день начала войны, Жданов был в Сочи. Поэтому вначале Сталин был вынужден обращаться к Кузнецову. Но даже когда Жданов прилетел, Кузнецову доверили самые ответственные вопросы. А уж когда началась блокада и немцы стали обстреливать город, Жданов практически переселился в бомбоубежище, откуда выходил крайне редко. Прилетая в Москву, он сам откровенно рассказывал нам в присутствии Сталина, что панически боится обстрелов и бомбежек и ничего не может с этим поделать. Поэтому всей работой «наверху» занимается Кузнецов. Жданов к нему, видно, очень хорошо относился, рассказывал даже с какой-то гордостью, как хорошо и неутомимо Кузнецов работает, в том числе заменяя его, первого секретаря Ленинграда. Занимаясь снабжением города, я и мой представитель с мандатом ГКО Павлов имели дело по преимуществу с Кузнецовым, оставляя Жданову, так сказать, протокольные функции.

Сталин питал какую-то слабость к Жданову, не спаивал его,

поскольку знал, что тот склонен к алкоголизму, жена и сын удерживают его часто. Простил ему и это признание в трусости. Может быть, потому, что сам Сталин был не очень-то храброго десятка. Ведь это невозможное дело: Верховный главнокомандующий ни разу не выезжал на фронт!

Впрочем, один раз поехал. Отвлекусь от основного текста ради этого эпизода. Зная, что это выглядит неприлично, однажды, когда немцы уже отступили от Москвы, поехал на машине, бронированном «Паккарде», по Минскому шоссе, поскольку оно использовалось нашими войсками и мин там уже не было. Хотел, видно, чтобы по армии прошел слух о том, что Сталин выезжал на фронт. Однако не доехал до фронта, может быть, около пятидесяти или семидесяти километров. В условленном месте его встречали генералы (не помню кто, вроде Еременко). Конечно, отсоветовали ехать дальше – поняли по его вопросу, какой совет он хотел услышать. Да и ответственность никто не хотел брать на себя. Или вызвать неудовольствие его. Такой трус оказался, что опозорился на глазах у генералов, офицеров и солдат охраны. Захотел по большой нужде (может, тоже от страха? не знаю), и спросил, не может ли быть заминирована местность в кустах возле дороги?

Конечно, никто не захотел давать такой гарантии. Тогда Верховный главнокомандующий на глазах у всех спустил брюки и сделал свое дело прямо на асфальте. На этом «знакомство с фронтом» было завершено и он уехал обратно в Москву.

Возвращаюсь к ленинградской блокаде. Тут он требовал смелости и самопожертвования от всех: настаивал на том, что Ленинград надо отстоять любой ценой. А цена оказалась ужасающей. Только от голода погибли сотни тысяч (в основном в первую зиму). Может быть, меньше миллиона (американский писатель и журналист Гаррисон Солсбери, которого я хорошо знал, вычисляет количество жертв близко к 1 млн). Но скорее всего больше, чем по официальным данным – 641 тыс. человек. С такой точностью сосчитать вообще невозможно. Цифра, которую вычисляет Д.В. Павлов в своей книге, чуть больше. Он честно считает, да разве учтешь всех, разве всегда отличишь смерть от голода или от болезни, замерзания и т. д. Конечно, морально падение Ленинграда было бы большим ударом, и наоборот, его героическая оборона была вдохновляющим примером для всех. Так или иначе, все мы в Москве знали, что основная фигура в Ленинграде Кузнецов, а не Жданов. Ценили также и то, что он не выпячивался, в отличие от Вознесенского, не был амбициозен, всегда подчеркивал роль Жданова. Видимо, они искренне хорошо относились друг к другу, любили друг друга, как настоящие

друзья.

Однако, как и с Вознесенским, Сталин сделал ошибку, слишком быстро подняв Кузнецова над другими секретарями ЦК. Не думаю, что он хотел с самого начала сознательно подставить ему ножку, но получилось именно так. С 1946 г. Кузнецов стал секретарем ЦК ВКП(б) по кадрам. А вскоре Сталин ему поручил и контроль над работой МГБ, над Абакумовым. Кузнецов для Кремля был наивным человеком: он не понимал значения интриг в политбюро и Секретариате ЦК – ведь кадры были раньше в руках у Маленкова. А МГБ традиционно контролировал Берия в качестве зампреда Совмина и члена политбюро. Видно, Сталин сделал тогда выбор в пользу Жданова, как второго лица в партии, и Маленков упал в его глазах. А к Берии начинал проявлять то же отношение, что и к Ягоде и Ежову: слишком «много знал», слишком крепко держал «безопасность» в своих руках. Все же Кузнецову следовало отказаться от таких больших полномочий, как-то схитрить, уклониться. Но Жданов для него был главный советчик. Жданов же, наоборот, скорее всего, рекомендовал Сталину такое назначение, чтобы изолировать вообще Маленкова и Берия от важнейших вопросов. Конечно, у Кузнецова сразу появились враги: Маленков, Берия, Абакумов. Пока был жив Жданов, они выжидали. Да и ничего не могли поделать.

Сам Кузнецов был обаятельным человеком, веселым, искренним. Но сказывалось отсутствие опыта в интригах. Например, он прислушался к авиаконструктору Яковлеву, который очень ревниво относился к успехам своих коллег-конкурентов. В это время МиГи как раз стали опережать Яки по многим летным данным. Каким-то образом Яковлев добрался до Кузнецова с наветами на моего брата Артема Микояна – вроде он использовал мою помощь для «проталкивания» своих истребителей. Это было неправдой и не могло быть правдой: я никогда не оказывал брату никакой протекции, да он бы не принял ее ни в коем случае. Кроме того, Сталин лично следил за новой авиационной техникой, устраивал совещания с командованием ВВС и с конструкторами. Я никогда в этих совещаниях практически не участвовал, если только вопрос не обсуждался на узком составе политбюро. Конечно, все мы были в курсе о скорости, дальности, маневренности, вооружении новых самолетов. Но никогда ни с кем в правительстве, особенно с Маленковым, который курировал авиационную промышленность, я слова не сказал об истребителях МиГ. Более того, новости об успехах или трудностях Артема я узнавал от него самого, когда он по воскресеньям обычно приезжал ко мне на дачу. И этой информацией ограничивался, иногда давал ему советы, как себя

вести со Сталиным. Сталин сам очень ценил Артема Ивановича. Однажды пригласил из гагринского санатория приехать к нему на дачу на Холодной речке, кажется. В ходе ужина, когда мой брат почувствовал недомогание – заболело сердце, Сталин не только велел ему лежать, сам укрыл пледом и вызвал врача, но и заставил Артема Ивановича остаться на ночь.

Кузнецов же по наивности и незнанию дела принял яковлевское сообщение всерьез и стал что-то расследовать. Конечно, все эти наветы отпали сразу же, но мне это очень не понравилось.

Однако скоро мы с ним сблизились совсем по другой линии: мой сын Серго как-то летом 1947 г. привез к нам девушку, за которой уже несколько месяцев ухаживал и бывал в ее доме. Это была дочь Кузнецова Алла. Девушка обаятельная, красивая, жизнерадостная, с неисчезавшей улыбкой и вечными шутками, которые очень нравились Ашхен и мне. Мы ее полюбили, как родную дочь. К другим невесткам Ашхен тоже относилась хорошо, но иногда критиковала их. Аллу же она никогда не критиковала, в ее присутствии всем нам было весело и приятно. Поэтому, когда Серго сказал о своем желании жениться на Алле, мы были только рады, хотя ему едва минуло 18 лет.

Кузнецову и его жене Зинаиде Дмитриевне Серго тоже понравился. Когда мы отдыхали в Сочи, Серго часто уезжал к Кузнецовым и оставался там на день-два. Я не возражал.

Кажется, это был уже 1948 год. Как-то Сталин позвал всех, кто отдыхал на Черном море в тех краях, к себе на дачу на озере Рица. Там при всех он объявил, что члены политбюро стареют (хотя большинству было немногим больше 50 лет и все были значительно младше Сталина, лет на 15–17, кроме Молотова, да и у того разница в возрасте со Сталиным была 11 лет). Показав на Кузнецова, Сталин сказал, что будущие руководители должны быть молодыми (ему было 42–43 года), и вообще, вот такой человек может когда-нибудь стать его преемником по руководству партией и ЦК. Это, конечно, было очень плохой услугой Кузнецову, имея в виду тех, кто втайне мог мечтать о такой роли.

Все понимали, что преемник будет русским, и вообще, Молотов был очевидной фигурой. Но Сталину это не нравилось, он где-то опасался Молотова: обычно держал его у себя в кабинете по многу часов, чтобы все видели как бы важность Молотова и внимание к нему Сталина. На самом же деле Сталин старался не давать ему работать самостоятельно и изолировать от других, не давать общаться с кем бы то ни было без своего присутствия. Потом, как я говорил, он сделал ставку на

Вознесенского в Совмине. Что касается Жданова, то Сталин особенно перед войной стал к нему хорошо относиться. Жданов вообще был хорошим человеком, но слишком слабым. В руках Сталина он мог играть любую роль. Выдвигая Кузнецова, Сталин никак не ущемлял Жданова, наоборот, усиливал его позиции – ведь Жданов сам рекомендовал его в секретари ЦК и, скорее всего, отдать ему кадры и МГБ под контроль.

Самый большой карьерист и интриган был Берия. Он стремился к власти, но ему нужна была русская фигура в качестве номинального лидера. Жданов его не любил. А Маленков идеально подходил для такой роли: сам тщеславный, абсолютно безвольный, привыкший исполнять чужие приказы, к тому же в этот период задвинутый Сталиным в Совмин и замененный в ЦК Ждановым и Кузнецовым. Поэтому Берия стал развивать дружбу с Маленковым, уезжать на одной машине, проявлять внимание.

В начале сентября 1948 г. неожиданно для нас во время отдыха на Валдае умирает Жданов. Мы знали о его нездоровом сердце, но не думали, что он так плох. Немедленно оживился Маленков – Сталин вернул его в Секретариат ЦК из Совмина. И если Жданов чувствовал себя спокойно, когда Кузнецов управлял кадрами, то Маленков, наверняка сговорившись с Берией, стал интриговать. Они как-то сумели убедить Сталина отправить Кузнецова на Дальний Восток, для чего придумали идею создать Дальневосточное бюро ЦК, хотя от практики региональных бюро ЦК отказался много лет назад. Как и Среднеазиатское бюро ЦК для Вознесенского, это было придумано специально как некая ступенька на случай, если Сталин не согласится на более суровые меры.

Но, видимо, Абакумов (по заданию Берии или по собственной инициативе) начал собирать компромат на Кузнецова, как в безопасности говорили тогда, «разрабатывать его». Дальний Восток отпал, к сожалению, а это могло спасти Кузнецова. К концу 1948 г. в политбюро стало известно, что Сталин согласился на то, чтобы снять Кузнецова с работы в ЦК. Это был дурной знак: было понятно, что дело принимает плохой оборот.

На 15 февраля 1949 г. была назначена регистрация брака между Серго и Аллой. Прослышавший об этом Каганович решил меня предостеречь: «И ты разрешаешь этот брак? Ты что, с ума сошел, не понимаешь, что Кузнецов обречен, что с ним будет в недалеком будущем? Ты должен воспрепятствовать такому браку». Я ему твердо ответил, что невеста моего младшего сына – очень хорошая девушка, о лучшей мы с женой и не мечтали. Тем более они любят друг друга, и мешать им я не намерен.

И именно 15 февраля Кузнецов был официально снят с

работы за «антипартийные действия», что уже предвещало расправу с ним. Алла в этот момент была нездорова, даже попала в больницу, свадьбу в моем доме мы отложили до начала марта. Правда, вечером 15 февраля у Кузнецова дома было небольшое свадебное торжество, без гостей. Кузнецов, по словам моих сыновей, которые все там были, держался молодцом, шутил и праздновал, как ни в чем не бывало. Кроме того что он был мужественный человек, он, видно, не представлял себе сталинских нравов.

В день свадьбы у нас на даче ко мне пришел Серго и сказал, что Алла очень расстроена: отец ее не хочет к нам приезжать. Он ссылался на нездоровье, но я понял его хорошо. Я тут же позвонил ему на дачу и попросил приехать. Он говорит: «Я болен. У меня неважно с желудком». Я пошутил: «Уборных у нас в доме хватит. Приезжай!» Тогда он сказал: «Мне не на чем приехать. У меня уже нет машины. Давайте лучше вы обойдетесь без меня, ведь моя жена будет». Я говорю: «Немедленно посылаю тебе свою машину и жду. Хотя бы ненадолго, насколько позволит самочувствие. Неприлично отцу не быть на свадьбе собственной дочери». Он уже не мог возражать и приехал.

Была и Рада Хрущева, очень хорошая, скромная девушка. Она училась вместе с Аллой в МГУ, они были подруги. Была также жена Косыгина, которая оказалась даже родственницей Кузнецовых через Зинаиду Дмитриевну и знала Аллу с рождения. Она была с дочерью Люсей и зятем Джерменом Гвишиани (отца его я знал по Дальнему Востоку, где он был начальником управления МГБ). Сам Косыгин благоразумно не приехал, хотя тоже был родственник, да я его специально и не уговаривал.

Кузнецов после долгих недель ожидания получил направление на генеральские курсы в Перхушково. Алла и Серго его там часто навещали и рассказывали, что он чувствует себя бодро, даже радуется возможности наконец поучиться всерьез, ходит в форме генерал-лейтенанта, которым стал, будучи членом Военного совета Ленинградского фронта. У меня даже появилась надежда, что, может быть, его оставят в покое.

Но в августе 1949 г. его арестовали. Видимо, он понадобился для «ленинградского дела», которое должно было устранить сразу и Вознесенского и Кузнецова, хотя они никак не были связаны. Оба были уже сняты с высоких должностей, но кому-то надо было исключить всякую возможность их возврата. Сам Сталин, говорили, ждал, что Кузнецов напишет ему покаянное письмо, но тот этого не сделал. «Значит, виноват», – заключил Сталин. Это не значит, что, если бы написал, что-то обязательно бы изменилось: при болезненной недоверчивости Сталина, с

письмом или без него, результат, скорее всего, был бы одинаковым. Сколько тысяч людей писали ему безрезультатно!

Обвинения, в которых они признались (конечно, не добровольно), были собраны в переплетенный том, который разослали членам политбюро. Основная суть была незатейливой: он и его сообщники были якобы недовольны засильем кавказцев в руководстве страны и ждали естественного ухода из жизни Сталина, чтобы изменить это положение, а пока хотели перевести правительство РСФСР в Ленинград, чтобы оторвать его от московского руководства. Были еще обвинения в проведении в Ленинграде какой-то ярмарки без соответствующего оформления через ЦК, попытке Кузнецова возвеличить себя через музей обороны Ленинграда и прочая чепуха. Видно, очень стойко они держались, если не было записано «намерение устранить Сталина» – излюбленное обвинение 30-х гг. Но и «кавказцы», и желание отдалить руководство России от руководства СССР были рассчитаны на Сталина: он охотно клевал на такие вещи. И тут он клюнул. Причем, зная методы допросов в МГБ, мог бы вызвать их к себе, как это иногда, крайне редко, правда, он делал до войны. Из-за этой клеветы насчет «обиженной России» пропал и Родионов, Председатель Совмина Российской Федерации, способный работник, никак не связанный с Кузнецовым. И конечно, много ленинградцев, поскольку традицией НКВД – МГБ было раскрывать «разветвленные заговоры».

Мне очень трудно было говорить с Аллой, когда она, узнав от моего сына Вано о случившемся, прилетела из Сочи вместе с Серго (на квартире у Кузнецовых на улице Грановского от членов семьи была заперта комната с телефоном, но Вано ловко сделал какой-то отвод от линии и принес им телефонный аппарат). Алла приняла мое сообщение мужественно: слезы были у нее в глазах, рыдания она еле сдерживала. Разговор происходил в моей кремлевской квартире. Я конечно же должен был рассказать официальную версию. Но я добавил, что ее это не коснется, как и ее сестер и брата. Через некоторое время я вызвал туда же, на кремлевскую квартиру, Серго (они жили отдельно от нас), прочитал ему некоторые отрывки из «признаний» Кузнецова. Сказал: «Твоя жена ни при чем, мы будем относиться к ней, как и раньше». И ему подтвердил, чтобы дети Кузнецова по-прежнему приезжали к нам на дачу в гости. Предупредил, чтобы он не вступал в обсуждение ареста Кузнецова с Зинаидой Дмитриевной. Мне было ясно, что ее тоже арестуют. Серго меня удивил своей реакцией. Он сказал: «Тут даже нет серьезных обвинений в проступках. Одни мысли и намерения. К тому же мысли не его. Может быть, это написал следователь?» На что я ответил, что

Кузнецовым подписана каждая страница. Серго не успокаивался: «Алексей Александрович с большим почтением относится к Сталину. Он хранит, как память, письмо Сталина, посланное ему в Ленинград в труднейшие месяцы блокады, и даже коробку папирос «Герцеговина-Флор», полученную от Сталина. Я уверен, что дело прояснится и он вернется».

Я не мог ему сказать, что вопрос о судьбе Кузнецова уже предрешен Сталиным и он никогда не вернется.

«Ленинградское дело» вызвало у меня большую тревогу, что может вновь вернуться время, подобное 1936–1938 гг., но только несколько в новой обстановке, несколько новыми методами, может быть. Одно было ясно, что Сталин хочет избавиться от тех руководящих кадров, которые решали судьбу всей страны после 1938 г., возглавляя хозяйственную работу, и которые вынесли на своих плечах все трудности войны.

Глава 46
Накануне и во время XIX съезда партии. Последние дни Сталина

Накануне XIX съезда партии вышла брошюра Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Прочитав ее, я был удивлен: в ней утверждалось, что этап товарооборота в экономике исчерпал себя, что надо переходить к продуктообмену между городом и деревней. Это был невероятно левацкий загиб. Я объяснял его тем, что Сталин, видимо, планировал осуществить построение коммунизма в нашей стране еще при своей жизни, что, конечно, было вещью нереальной.

Приближался XIX съезд партии. Сталин, вопреки нашим настояниям, отказался делать политический отчет на съезде. Он поручил это сделать Маленкову, против чего я категорически возражал. Маленков представил проект доклада, в котором ни слова не сказал о брошюре Сталина. Политбюро одобрило проект доклада Маленкова.

Как-то на даче Сталина сидели члены политбюро и высказывались об этой книге. Берия и Маленков начали активно подхалимски хвалить книгу, понимая, что Сталин этого ждет. Я не думаю, что они считали эту книгу правильной. Как показала последующая политика партии после смерти Сталина, они совсем не были согласны с утверждениями Сталина. И не случайно, что после все стало на свои места. Молотов что-то мычал вроде бы в поддержку, но в таких выражениях и так неопределенно, что было ясно: он не убежден в правильности мыслей Сталина. Я молчал.

Вскоре после этого в коридоре Кремля мы шли со Сталиным, и он с такой злой усмешкой сказал: «Ты здорово промолчал, не проявил интереса к книге. Ты, конечно, цепляешься за свой товарооборот, за торговлю». Я ответил Сталину: «Ты сам учил нас, что нельзя торопиться и перепрыгивать из этапа в этап и что товарооборот и торговля долго еще будут средством обмена в социалистическом обществе. Я действительно сомневаюсь, что теперь настало время перехода к продуктообмену». Он сказал: «Ах так! Ты отстал! Именно сейчас настало время!» В голосе его звучала злая нотка. Он знал, что в этих вопросах я разбираюсь больше, чем кто-либо другой, и ему было неприятно, что я его не поддержал. Как-то после этого разговора со Сталиным я спросил у Молотова: «Считаешь ли ты, что настало время перехода от торговли к продуктообмену?» Он мне ответил, что это – сложный

и спорный вопрос, то есть высказал свое несогласие.

Через несколько дней после этого обсуждения Маленков, видимо, по указанию Сталина или с его согласия разослал новый вариант доклада на XIX съезде партии, в котором эта книга и основные ее положения одобрялись. Я был поражен: зачем это было делать? Но факт остается фактом. При обсуждении нового варианта доклада я уже не высказывал своих возражений, полагая, что Сталин и так знает мое отношение к его книге. Раз он здесь не задевал меня, не было смысла поднимать этот вопрос для других членов политбюро.

За несколько дней до съезда члены политбюро собрались для обмена мнениями об открытии съезда. Зашел вопрос о составе президиума. Обычно на съезде президиум избирался из 27–29 человек. Входили, как всегда, члены политбюро и руководящие работники краев, республик и главных областей. Сталин на этот раз предложил президиум из 15 человек. Это было удивительным и непонятным. Он лишил таким образом возможности многих видных партийных деятелей войти в президиум съезда, а они этого вполне заслуживали. Сталин сам назвал персонально имена, сказав при этом, что «не надо вводить в президиум Микояна и Андреева, как неактивных членов политбюро».

Это вызвало смех членов политбюро, которые восприняли замечание Сталина как обычную шутку: Сталин иногда позволял себе добродушно шутить. Я тоже подумал, что это шутка. Но смех и отношение членов политбюро к «шутке» Сталина вызвали его раздражение. «Я не шучу, – сказал Сталин жестко, – а предлагаю серьезно». Смех сразу прекратился, все присутствующие тоже стали серьезны и уже не возражали. Я тоже ни слова не сказал, хотя было ясно, что слово «неактивный» ко мне совсем не подходило, потому что все знали, что я не просто активный, а наиболее активный из всех членов политбюро. Подумал: что-то происходит, что-то у Сталина другое на уме. И не сразу нашел этому ответ.

Потом Сталин вдруг предлагает: «Давайте выберем не 15, а 16 человек в президиум, включив дополнительно Куусинена, старого деятеля Коминтерна». Это предложение было правильным, и мы его приняли единогласно. Но все это происходило в последний момент. Делалось все для того, чтобы произвести впечатление на съезде, что в отношении старых кадров проявляется внимание, их не отбрасывают. Это мои догадки, но думаю, что так было сделано для поднятия авторитета руководства партии.

А я был ошарашен, все думал о предложении Сталина, чем оно вызвано, и пришел к выводу, что это произошло

непосредственно под влиянием моего несогласия с его утверждениями в книге по поводу перехода к продуктообмену.

Сталин распределил роли на съезде между членами политбюро: открыть съезд и выступить с кратким словом он предложил Молотову; закрыть съезд – Ворошилову, отказавшись взять на себя эту естественную функцию и возложив ее на двух старых деятелей партии; докладчиками давно были утверждены Маленков – по отчетному докладу и Хрущев – по Уставу партии; Кагановичу было поручено предложить съезду состав Программной комиссии. В прениях по докладу Сталин предложил выступить Берии и мне. Я не сразу понял шахматную расстановку фигур, но потом стало ясно: Сталин хотел лишить активности членов политбюро, ограничив их участие открытием и закрытием съезда, оглашением списка Программной комиссии, выступлением по проекту Устава партии, а нам двоим дать возможность выступить в прениях. Сталин не сомневался, что Берия будет хвалить все: и работу ЦК, и книгу Сталина. А меня, я так понял, хотел испытать. Он почему-то не предложил выступить ни Андрееву, ни Косыгину (правда, Косыгин все-таки выступил на съезде).

Если бы не это его поручение, я бы не стал выступать в прениях, поскольку он меня отвел как «неактивного члена политбюро». Когда же он предложил мне выступить, я, конечно, не возражал, но заколебался. Как быть? Мне было ясно одно: он хочет провести свой план для моего отстранения от руководства, но у него для этого нет основательного аргумента. Он увидел, что применение ко мне определения «неактивный член политбюро» вызвало смех у членов политбюро. Работники партии и министры тоже знали меня как одного из самых активных членов политбюро и относились ко мне хорошо, особенно зная мою работу во время войны.

И вот, если бы я выступил против той части доклада, где хвалится книга Сталина, или бы выступил только против положения в ней о переходе к продуктообмену, он получил бы козырь в руки для обоснования невключения меня в состав руководства партии «ввиду принципиальных разногласий». Таким образом, я бы сам вооружил его для исполнения его плана в отношении себя. Но если бы даже я вовсе умолчал эту тему в своем выступлении, он мог бы и это использовать против меня, ссылаясь на наш разговор и мое отношение к положениям книги, сказал бы, что я не согласен и что испугался открыто высказать свое мнение на съезде. Обдумав все это, я решил не давать оружия в его руки, чтобы отсечь меня от руководства. Тем более что в тот момент мне казалось, что вывод меня из руководства

партии не принесет пользы делу.

Поэтому вполне законно некоторые товарищи, которые были недовольны, что именно я первым открыто выступил на XX съезде с критикой культа личности Сталина, критикуют мое выступление по этому вопросу на XIX съезде партии. Я понимаю, что допустил здесь явную ошибку. Говоря об ошибочности положений книги Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» на XX съезде, я должен был бы сказать, что мое выступление по этому вопросу на XIX съезде, в котором я высоко оценил книгу Сталина, по существу, не отражало моего мнения по этому вопросу – мое выступление на XIX съезде партии было дипломатическим ходом: не расходиться с руководством партии, с политбюро, которое одобрило эту книгу. Хотя этот аргумент не вполне убедительный, но было бы более правильно, если бы я это сделал.

На следующий день после окончания работы XIX съезда партии, 15 октября 1952 г., был назначен пленум вновь избранного ЦК партии.

На съезде по предложению Сталина было решено вместо политбюро ЦК иметь Президиум ЦК. Состав пленума ЦК (членов и кандидатов), а также состав Президиума в количестве 25 человек обсуждался, как обычно, с участием Сталина и всех членов и кандидатов политбюро. При подборе кандидатур Сталин настоял на том, чтобы ввести новые кандидатуры из молодой интеллигенции, чтобы этим усилить состав ЦК. Он предложил в числе других две кандидатуры: экономиста Степанову и философа Чеснокова. Как потом стало известно, он лично не знал Степанову, а составил о ней мнение, прочтя одну из ее статей в журнале. Статья ему понравилась, и он решил, что ее автор талантливый человек, с большим будущим. Чесноков также ему понравился по какой-то статье в журнале «Вопросы философии». Сталин ни с кем не обсуждал эти кандидатуры.

Характерно, что после того, как состав вновь избранного ЦК был объявлен в газетах, сама Степанова даже и не подумала, что речь идет о ней. Она не допускала и мысли, что может быть избрана, – никто до этого с ней не говорил. А когда Чеснокова кто-то поздравил с избранием в Президиум ЦК, он даже испугался и просил таких шуток не допускать. Конечно, как потом оказалось, это был случайный выбор.

Предлагая вместо политбюро, обычно состоявшего из 9—11 членов, Президиум из 25 человек, Сталин, видимо, имел на это какие-то свои планы, потому что Президиум из 25 человек совершенно неработоспособен хотя бы потому, что не сможет собираться раз в неделю или чаще для решения оперативных

вопросов. Да и не должно быть так много людей в органе с такими функциями.

При Ленине такое число обычно составляло весь пленум ЦК, а в политбюро было пять человек. Пять человек, конечно, мало, поэтому после Ленина цифра дошла до семи человек, потом до девяти.

При таком широком составе Президиума, в случае необходимости, исчезновение неугодных Сталину членов Президиума было бы не так заметно. Если, скажем, из 25 человек от съезда до съезда исчезнут пять-шесть человек, то это будет выглядеть как незначительное изменение. Если же эти 5–6 человек исчезли бы из числа девяти членов политбюро, то это было бы более заметно. Думаю так потому, что приблизительно за год до съезда однажды за ужином, поздно ночью, после какого-то моего острого спора со Сталиным, он, нападая на меня (обычно в такие моменты он стоял), будучи в возбужденном состоянии, что не часто с ним бывало, глядя на меня, но имея в виду многих, резко бросил: «Вы состарились, я вас всех заменю!»

Все присутствовавшие были настолько поражены, что никто слова не сказал в ответ. Нельзя было превращать это в шутку, так как было сказано серьезно, и нельзя было серьезно об этом говорить: ведь мы же были гораздо моложе самого Сталина. Мы подумали, что это случайно сказанные им слова, а не обдуманная и серьезная идея, и вскоре о них забыли. А вот когда такой большой Президиум был создан, мы невольно подумали, что, возможно, Сталин имел в виду необходимость замены старых членов политбюро молодыми, которые вырастут за это время, и он легче сможет заменить того, кого захочет убрать.

Перед открытием пленума мы обычно собирались около Свердловского зала, сидели в комнате Президиума в ожидании прихода Сталина. Обычно он приходил за 10–15 минут до начала, чтобы посоветоваться по вопросам, которые будут обсуждаться на пленуме. На этот раз мы знали, что он намерен из числа членов Президиума ЦК создать не предусмотренное Уставом Бюро Президиума ЦК, то есть узкий его состав для оперативной работы. Мы ждали, что он, как всегда, предварительно посоветуется с нами о том, кого ввести в состав этого Бюро. Однако Сталин появился в тот момент, когда надо было открывать пленум. Он зашел в комнату Президиума, поздоровался и сказал: «Пойдемте на пленум».

Вопрос о выборах Президиума ЦК, куда вошли все старые члены политбюро и новые товарищи, был встречен нормально, ничего неожиданного не было. Неожиданное было после. Сталин сказал, что имеется в виду из членов Президиума ЦК образовать

Бюро Президиума из девяти человек, и стал называть фамилии, написанные на маленьком листочке. Ни моей фамилии, ни Молотова среди названных не было. Затем с места, не выходя на трибуну, Сталин сказал примерно следующее: «Хочу объяснить, по каким соображениям Микоян и Молотов не включаются в состав Бюро». Начав с Молотова, сказал, что тот ведет неправильную политику в отношении западных империалистических стран – Америки и Англии. На переговорах с ними он нарушал линию политбюро и шел на уступки, подпадая под давление со стороны этих стран. «Вообще, – сказал он, – Молотов и Микоян, оба побывавшие в Америке, вернулись оттуда под большим впечатлением о мощи американской экономики. Я знаю, что и Молотов и Микоян – оба храбрые люди, но они, видимо, здесь испугались подавляющей силы, какую они видели в Америке. Факт, что Молотов и Микоян за спиной политбюро послали директиву нашему послу в Вашингтоне с серьезными уступками американцам в предстоящих переговорах. В этом деле участвовал и Лозовский, который, как известно, разоблачен как предатель и враг народа».

«Молотов, – продолжал далее Сталин, – и во внутренней политике держится неправильной линии. Он отражает линию правого уклона, не согласен с политикой нашей партии. Доказательством тому служит тот факт, что Молотов внес официальное предложение в политбюро о резком повышении заготовительных цен на хлеб, то есть то, что предлагалось в свое время Рыковым и Фрумкиным. Ему в этом деле помогал Микоян, он подготавливал для Молотова материалы в обоснование необходимости принятия такого предложения. Вот по этим соображениям, поскольку эти товарищи расходятся в крупных вопросах внешней и внутренней политики с партией, они не будут введены в Бюро Президиума».

Это выступление Сталина члены пленума слушали затаив дыхание. Никто не ожидал такого оборота дела.

Первым выступил Молотов. Он сказал коротко: как во внешней, так и во внутренней политике целиком согласен со Сталиным, раньше был согласен и теперь согласен с линией ЦК. К моему удивлению, Молотов не стал опровергать конкретные обвинения, которые ему были предъявлены. Наверное, не решился вступить в прямой спор со Сталиным, доказывать, что тот сказал неправду.

Это меня удивило, и я считал, что он поступил неправильно. Я решил опровергнуть неправильное обвинение в отношении меня. «В течение многих лет я состою в политбюро, и мало было случаев, когда мое мнение расходилось с общим мнением членов

политбюро. Я всегда проводил линию партии и ее ЦК даже в тех вопросах, когда мое мнение расходилось с мнением других членов ЦК. И никто мне в этом никогда упрека не делал. Я всегда всеми силами боролся за линию партии как во внутренней, так и во внешней политике и был вместе со Сталиным в этих вопросах».

И, обратившись к Сталину, продолжил: «Вы, товарищ Сталин, хорошо должны помнить случай с Лозовским, поскольку этот вопрос разбирался в политбюро, и я доказал в присутствии Лозовского, что я ни в чем не виноват. Это была ошибка Лозовского. Он согласовал с Молотовым и со мной проект директивы ЦК в Вашингтон нашему послу и послал этот проект без ведома политбюро ЦК. Я Лозовскому сказал, что этот проект директив поддерживаю, но предупредил его, хотя он это и сам хорошо знал, что вопрос надо поставить на рассмотрение и решение политбюро. Однако потом, как я узнал от вас, товарищ Сталин, Лозовский этого не сделал и самолично послал директиву в Вашингтон. После того как этот вопрос был выяснен в ЦК, никто больше его не касался, поскольку он был исчерпан. Очень удивлен, что он вновь сегодня выдвигается как обвинение против меня. К тому же в проекте директив каких-либо принципиальных уступок американцам не было. Там было дано только согласие предварительно обменяться мнениями по некоторым вопросам, которые мы не хотели связывать с вопросом о кредитах. И не случайно, что американцы не приняли этого предложения и переговоры не начались. Но если даже такие переговоры имели бы место, то они не имели бы отрицательных последствий для государства.

Что же касается цен на хлеб, то я полностью отвергаю предъявленное мне обвинение в том, что я принимал участие в подготовке материалов для Молотова. Молотов сам может подтвердить это. Зачем Молотову нужно было просить, чтобы я подготовил материалы, если в его распоряжении Госплан СССР и его председатель, имеющий все необходимые материалы, которыми в любой момент Молотов может воспользоваться? Он так, наверное, и поступил. Это естественно».

К сожалению, впоследствии я узнал, что никакой стенограммы выступления Сталина, Молотова и моего не осталось. Конечно, я лучше всего помню то, что говорил в своем выступлении. Выступление Молотова помню менее подробно, но суть сказанного им помню хорошо.

Во время выступления Молотова и моего Сталин молчал и не подавал никаких реплик. Берия и Маленков во время моего выступления, видя, что я вступаю в спор со Сталиным, что-то говорили, видимо, для того, чтобы понравиться Сталину и

отмежеваться от меня. Я знал их натуру хорошо и старался их не слушать, не обращал никакого внимания, не отвлекался и даже не помню смысл их реплик – ясно было, что они направлены против меня, как будто я говорю неправду и пр.

Потом в беседе с Маленковым и Берией, когда мы были где-то вместе, они сказали, что после пленума, когда они были у Сталина, Сталин сказал якобы: «Видишь, Микоян даже спорит!» – выразив тем самым свое недовольство и подчеркнув этим разницу между выступлением Молотова и моим. Он никак не оценил выступление Молотова и, видимо, был им удовлетворен. Со своей стороны, они упрекнули меня в том, что я сразу стал оправдываться и спорить со Сталиным: «Для тебя было бы лучше, если бы ты вел себя спокойно». Я с ними не согласился и не жалел о сказанном.

А подоплека обвинения Молотова и меня в намерении повысить заготовительные цены на хлеб была такова. (В последние годы жизни память Сталина сильно ослабла – раньше у него была очень хорошая память, поэтому я удивился, что он запомнил это предложение Молотова, высказанное им в моем присутствии Сталину в конце 1946 г. или в начале 1947 г., то есть шесть лет тому назад.)

Мы ехали в машине к Сталину на дачу, и Молотов сказал мне: «Я собираюсь внести Сталину предложение о повышении цен при поставках хлеба колхозами государству. Хочу предложить, чтобы сдаваемый колхозами хлеб оплачивался по повышенным закупочным ценам. Например, 1 кг пшеницы стоит в среднем 9 коп. – закупочная цена в среднем 15 коп. (в старом масштабе цен)».

Я ему сказал, что это слишком небольшое изменение, и положения, по существу, не меняет. Что такое 15 коп. вместо 9 коп. за 1 кг хлеба? Это маленькое дело. Нужна большая прибавка, и не только по хлебу. Правда, Сталин и это предложение отвергнет», – сказал я. По существу же, я был за серьезную корректировку всех закупочных цен, как это провели после смерти Сталина при моем активном участии в 1953 г.

Когда мы приехали, Молотов при мне стал доказывать Сталину, что крестьяне мало заинтересованы в производстве хлеба, что нужно поднять эту заинтересованность, то есть нужно по более высоким закупочным ценам оплачивать поставки хлеба государству. «У государства нет такой возможности, делать этого не следует», – коротко сказал Сталин, и Молотов не стал возражать. Ни разу в беседах к этому они не возвращались – ни Сталин, ни Молотов. Этот случай Сталин сохранил в памяти и привел тогда, когда это ему понадобилось.

То же повторилось, что и в истории с Лозовским, которая произошла в июне 1946 г., а спустя много лет Сталин припомнил ее, решив нанести мне удар. Видимо, Сталин подобные факты запечатлевал в памяти или, может быть, даже записывал, чтобы использовать их, когда это ему будет выгодно.

Хотя Молотов и я после XIX съезда не входили в состав Бюро Президиума ЦК и Сталин выразил нам «политическое недоверие», мы аккуратно ходили на его заседания. Сталин провел всего три заседания Бюро, хотя сначала обещал созывать Бюро каждую неделю.

На одном из заседаний обсуждался вопрос о состоянии животноводства. Выступил министр земледелия Бенедиктов, который привел засекреченные, точные данные ЦСУ – они были убийственными: несмотря на принятие трехлетнего плана подъема животноводства, предложенного в 1949 г. Маленковым и принятого ЦК с полного одобрения Сталина, не только не было достигнуто увеличения продуктивности животноводства, но, наоборот, произошло уменьшение поголовья скота. Вообще-то план был хороший и выполнимый, но никаких материальных поощрений, материальных стимулов для его выполнения не было предусмотрено. Были только хорошие пожелания. Но считалось, что директивы и планы имеют силу закона. Все цифры Бенедиктов привел, не разъясняя причин такого плачевного положения в производстве мяса и молока.

С места Сталин задал вопрос: «Почему такое состояние?» Бенедиктов ответил, что плохо работают.

Тогда я взял слово и сказал, что эти цифры, к сожалению, правильные и, конечно, объясняются плохой работой, но этому есть причины. Дело в том, что колхозники или ничего не получают на трудодни от животноводства, или получают так мало, что не заинтересованы им заниматься. Механизации в хозяйствах практически нет. В холодную погоду они не хотят носить воду ведрами, поэтому скот остается без воды и без корма. Цены на мясо и молоко по поставкам давно устарели – они и малую долю издержек колхозов не покрывают. Поэтому колхозники и не заинтересованы в развитии общественного животноводства и поддерживают свое существование за счет приусадебного хозяйства и скота, находящегося в их личном пользовании, который подкармливают в том числе и за счет хищений колхозного добра. Главное – надо поднять материальную заинтересованность колхозников в развитии животноводства.

Сталин был очень удивлен – он не ожидал услышать о таком

положении в сельском хозяйстве. Мое выступление, казалось, произвело на него впечатление. Но вел он себя спокойно, как будто старался понять положение, продумать его.

Маленков, который хорошо знал, что делается в сельском хозяйстве, потому что, как заместитель Председателя Совмина, ведал им, казалось бы, должен был ответить на вопрос Сталина и объяснить, предпочел промолчать. Промолчал также и Хрущев по тем же «дипломатическим» соображениям.

Наконец Сталин сказал, что в этом вопросе необходимо разобраться, изучить его и дать предложения, как исправить, и тут же продиктовал состав комиссии во главе с Хрущевым, включив в нее меня, Бенедиктова и других, не предложив ни Маленкова, ни Берию, хотя Маленков должен был бы участвовать в работе этой комиссии.

Хрущев поднялся и стал отказываться, мол, его нельзя назначать во главе комиссии, он не может, ему трудно и пр. С этим не посчитались, и комиссия была образована.

Комиссия работала почти два месяца. Работали добросовестно, собирали и изучали материал, обменивались мнениями. Пошла политическая борьба вокруг этого вопроса. Но главным результатом было то, что мы внесли предложение о повышении закупочных цен на продукцию животноводства.

Как всегда вечером, когда и другие члены Президиума были у Сталина, Маленков изложил суть дела, чтобы прозондировать отношение Сталина. Меня там не было. Хрущев потом рассказывал, что Сталин принял это в штыки, сказав, что мы возобновляем программу Рыкова и Фрумкина, что крестьянство жиреет, а рабочий класс хуже живет. Другие члены ЦК мне рассказывали, что Сталин высказывался на эту тему и во время Октябрьского пленума, резко осуждая меня за саму идею поднять закупочные цены на продукты животноводства. Говорят, он выглядел очень злым, прохаживался, по своему обыкновению, и ворчал, говоря обо мне: «Тоже нашелся новый Фрумкин!» Я этого не слышал сам, правда. Зато слышал, как он говорил, что надо бы еще новый налог на крестьян ввести. Сказав: «Крестьянин, что? Сдаст лишнюю курицу – и все».

А на том обсуждении, услышав о предложении Сталина ввести дополнительный налог на крестьян, Хрущев так вышел из положения: он сказал, что если повышать налоги на крестьян, то нужно в комиссию включать таких людей, как Маленков, Берия, Зверев (руководитель Минфина). Это Сталин принял. Через некоторое время мы действительно собрались в новом составе. Комиссия обнаружила, что и Берия, и Маленков считают невозможным выполнение указания Сталина. Это выяснилось,

конечно, в частных разговорах. Поручили Звереву подсчитать, обосновать. В общем, тянули это дело как могли. Все считали поручение Сталина о новых налогах на крестьянство без повышения закупочных цен невыполнимым.

Вскоре события развернулись таким образом, что вопрос отпал сам собой.

Обычно 21 декабря, в день рождения Сталина, узкая группа товарищей – членов политбюро без особого приглашения вечером, часов в десять – одиннадцать, приезжала на дачу к Сталину на ужин. Без торжества, без церемоний, просто, по-товарищески поздравляли Сталина с днем рождения – без речей и парадных тостов. Немного пили вина.

И вот после XIX съезда передо мной и Молотовым встал вопрос: надо ли нам придерживаться старых традиций и идти без приглашения 21 декабря к Сталину на дачу (это была ближняя дача «Волынское»). Я подумал: если не пойти, значит, показать, что мы изменили свое отношение к Сталину, потому что с другими товарищами каждый год бывали у него и вдруг прерываем эту традицию.

Поговорил с Молотовым, поделился своими соображениями. Он согласился, что надо нам пойти, как обычно. Потом условились посоветоваться об этом с Маленковым, Хрущевым и Берией. С ними созвонились, и те сказали, что, конечно, правильно мы делаем, что едем.

21 декабря 1952 г. в 10 часов вечера вместе с другими товарищами мы поехали на дачу к Сталину. Сталин хорошо встретил всех, в том числе и нас. Сидели за столом, вели обычные разговоры. Отношение Сталина ко мне и Молотову вроде бы было ровное, нормальное. Было впечатление, что ничего не случилось и возобновились старые отношения. Вообще, зная Сталина давно и имея в виду, что не один раз со мной и Молотовым он имел конфликты, которые потом проходили, у меня создалось мнение, что и этот конфликт также пройдет и отношения будут нормальные. После этого вечера такое мое мнение укрепилось.

Но через день или два то ли Хрущев, то ли Маленков сказал: «Знаешь что, Анастас, после 21 декабря, когда все мы были у Сталина, он очень сердился и возмущался тем, что вы с Молотовым пришли к нему в день рождения. Он стал нас обвинять, что мы хотим примирить его с вами, и строго предупредил, что из этого ничего не выйдет: он вам больше не товарищ и не хочет, чтобы вы к нему приходили».

Обычно мы ходили к Сталину отмечать в узком кругу товарищей Новый год у него на даче. Но после такого сообщения

в этот Новый год мы у Сталина не были.

За месяц или полтора до смерти Сталина Хрущев или Маленков мне рассказывал, что в беседах с ним Сталин, говоря о Молотове и обо мне, высказывался в том плане, что якобы мы чуть ли не американские или английские шпионы.

Сначала я не придал этому значения, понимая, что Сталин хорошо меня знает, что никаких данных для того, чтобы думать обо мне так, у него нет: ведь в течение 30 лет мы работали вместе. Но я вспомнил, что через два-три года после самоубийства Орджоникидзе, чтобы скомпрометировать его, Сталин хотел объявить его английским шпионом. Это тогда не вышло, потому что никто его не поддержал. Однако такое воспоминание вызвало у меня тревогу, что Сталин готовит что-то коварное. Я вспомнил также об истреблении в 1936–1938 гг. в качестве «врагов народа» многих людей, долго работавших со Сталиным в политбюро.

За две-три недели до смерти Сталина один из товарищей рассказал, что Сталин, продолжая нападки на Молотова и на меня, поговаривает о скором созыве пленума ЦК, где намерен провести решение о выводе нас из состава Президиума ЦК и из членов ЦК.

По практике прошлого стало ясно, что Сталин хочет расправиться с нами и речь идет не только о политическом, но и о физическом уничтожении.

За мной не было никаких проступков, никакой вины ни перед партией, ни перед Сталиным, но воля Сталина была неотвратима: другие ведь тоже были не виноваты во вредительстве, не были шпионами, но это их не спасло. Я это понимал и решил больше, насколько это было возможно, со Сталиным не встречаться. Можно сказать, что мне повезло в том смысле, что у Сталина обострилась болезнь.

В начале марта 1953 г. у него произошел инсульт, и он оказался прикованным к постели, причем его мозг был уже парализован. Агония продолжалась двое суток.

У постели Сталина было организовано круглосуточное дежурство членов политбюро. Дежурили попарно: Хрущев с Булганиным, Каганович с Ворошиловым, Маленков с Берией. Мне этого дежурства не предложили. Наоборот, товарищи посоветовали, пока они дежурят, заниматься в Совете министров СССР, заменять их в какой-то мере.

Я не возражал, ибо мне ни к чему была политическая кухня, в которую, по существу, превратились эти дежурства – там уже шла борьба за власть. Правда, ночью, часа в два, я заходил туда ненадолго и потому мог составить впечатление о том, что там

происходило.

Глава 47
Борьба за власть после смерти Сталина

Оставшееся после смерти Сталина партийное руководство – Президиум ЦК КПСС – включало в свой состав тех товарищей, кто играл ту или иную, но выдающуюся роль в последние 10–15 лет. Я лично больше всего боялся возникновения группировок и раскола в руководстве партии, понимая, какие отрицательные последствия они могут иметь для партии и советской власти. Однако все вопросы стали решаться на заседаниях Президиума, и руководство тогда было действительно коллективным.

В Президиуме у меня не было, кроме Сталина и, может быть, Ворошилова, близких отношений ни с кем (да и со Сталиным они резко ухудшились). Несмотря на определенные и существенные разногласия в некоторые периоды 30-х гг., я уважал Молотова, если не как работника и соратника (слишком уж часто наши взгляды расходились), то как старшего члена партии. Особенно мне стало жалко его и я старался ему помочь как мог, когда Сталин стал его преследовать, начав с ареста его жены Жемчужиной. Я был с Молотовым откровенен в разговорах, в том числе когда речь шла о некоторых отрицательных сторонах характера и поступков Сталина. Он никогда меня не подводил и не использовал моего доверия против меня. Молотов нередко бывал у меня на квартире, иногда со Сталиным вместе.

После смерти Сталина я почувствовал, что отношение ко мне со стороны Молотова изменилось в отрицательную сторону. Я не мог понять, в чем дело, и был очень удивлен, когда узнал от Хрущева и, кажется, Маленкова, что при предварительном обмене мнениями их с Молотовым тот высказался за то, чтобы снять меня с поста заместителя Председателя Правительства, оставив только министром объединенного в этот момент Министерства внутренней и внешней торговли (думаю, в этом проявился шовинизм Молотова, который ему вообще был свойствен). Другие с этим не согласились, и я остался, как и раньше, заместителем Председателя Совета министров и одновременно министром торговли.

Да и другие, например Ворошилов, Каганович, Булганин, стали замечать, что Маленков, Молотов, Берия и Хрущев стали предварительно обмениваться мнениями и сговариваться, прежде чем вносить вопросы на заседание Президиума ЦК.

Больше всех вместе бывали Берия, Хрущев и Маленков. Я видел много раз, как они ходили по Кремлю, оживленно разговаривали, очевидно обсуждая партийные и государственные вопросы. Они были вместе и после работы, выезжая в шесть вечера (по новому порядку, совершенно правильно предложенному Хрущевым) в одной машине. Все трое жили вне Кремля: Маленков и Хрущев – в жилом доме на улице Грановского, а Берия – в особняке (он один из всех руководителей в это время жил в особняке, а не в квартире). Берия подвозил их на улицу Грановского, а сам ехал дальше. Я не был близок ни с кем из них. С Берией тем более.

Мне Берия не нравился уже с начала 30-х гг., когда он с помощью Сталина, но при сопротивлении всего Кавбюро Закавказской Федерации, особенно грузин, пробрался из органов НКВД на партийную работу, отстраняя и отправляя из Грузии видных работников, известных на Кавказе еще с дореволюционных лет.

Например, Орахелашвили, Картвелишвили, Окуджаву, Махарадзе, Цхакаю и других. Всех их я знал в революционные годы и уважал. Они не любили Берию, он отвечал им тем же, и я был на их стороне. Нечего и говорить, что Серго его терпеть не мог. Сталину же доставляло какое-то удовольствие сталкивать Берию с Орджоникидзе. Былая его дружба с Серго сменилась на абсолютно непонятное недоверие. Я, конечно, разделял мнение, которое Серго высказывал о Берии в разговорах со мной, да и со Сталиным тоже. Более того, я считал Берию косвенным виновником гибели Серго.

Уже после самоубийства Серго Сталин решил меня замазать участием в репрессиях – уж очень его раздражало мое отрицательное отношение к ним, которое я не скрывал, заступаясь за многих арестованных.

Правда, кое-кого мне тогда удалось спасти от гибели. Упомяну здесь только один анекдотический случай. Был арестован мой школьный друг Наполеон Андреасян. Он сумел переправить на волю (с кем-то из освобожденных) сообщение для передачи мне. Оказалось, его обвиняют в том, что он француз, который скрывает свое происхождение, поскольку выполняет шпионские функции. Следователь, который его допрашивал и обвинял, был либо идиот, либо очень хороший человек, рассчитывавший, что такое нелепое обвинение распадется. Тем не менее из тюрьмы его не выпускали. Я рассказал об этом Сталину, который знал Андреасяна, поскольку тот работал секретарем райкома в Москве: «Я знаю его с семинарии. И трех братьев его знаю. Он такой же француз, как ты и я». Сталин рассмеялся и

поручил мне позвонить в НКВД и передать от его имени, чтобы Наполеона освободили. Без ссылки на него такие звонки не допускались. Было даже специальное решение политбюро, запрещавшее членам политбюро вмешиваться в работу НКВД.

И вот Сталин дает мне поручение, подкрепленное решением политбюро, поехать с его письмом в Армению, где «окопались вредители и троцкисты». Это было после того, как бывший глава правительства республики Тер-Габриэлян выбросился из окна во время допроса и разбился насмерть. Сталин сказал, что «его, наверное, выбросили, так как он слишком много знал». Я должен был зачитать письмо на пленуме ЦК и на месте подписать список лиц, подлежащих аресту, подготовленный в НКВД республики по согласованию с Москвой. Это, мол, сделает более убедительным для армянских коммунистов важность, которую ЦК придает борьбе с вредителями. Отказаться от поручения политбюро я никак не мог.

В Ереване все шло по сценарию Сталина. Со мной был направлен Маленков, тогда заворг ЦК, занимавшийся кадрами, и всем известный как доверенное лицо Сталина. Ему первому показали список на аресты. Неожиданностью для меня стало появление в зале Берии. Он вошел, когда я выступал с трибуны. Не исключаю, что я мог измениться в лице, я решил, что Сталин поручил ему приехать, чтобы арестовать меня прямо на пленуме. Однако, надеюсь, я сумел скрыть свое волнение, и его не заметили. Позже я понял, что это тоже входило в сценарий: опасаясь моей непредсказуемости, загнать меня в угол, показать, что у меня нет выбора, кроме полного подчинения. И я был вынужден подписать список на 300 человек. Все-таки я просмотрел его и обнаружил там фамилию Дануша Шавердяна, моего старшего товарища и наставника по работе в партии в годы моей юности. Я вычеркнул его фамилию. Однако это не имело никаких последствий: его арестовали. Очевидно, Берия поставил в известность местное НКВД, что моя подпись нужна только для формальности, с моими соображениями можно не считаться, хоть я и член политбюро и приехал с письмом Сталина.

В 1938 г., когда Берия попал в Москву, став вначале заместителем наркома НКВД Ежова, отношение Сталина ко мне изменилось. Если раньше он часто приглашал меня, то такие случаи становились все более редкими.

Месяца через два после ареста Сванидзе или чуть позже Сталин опять стал чаще меня вызывать, тем более что у меня была неплохая практика по руководству хозяйственными делами. При этом я всегда был настороже в отношении Берии, не доверял ему.

Хотя должен сказать, что во время войны он сыграл положительную роль в организации производства вооружения. Не потому, что в этом деле понимал. Он даже не старался, да и не мог понять. Но он опирался на группу очень способных, талантливых работников промышленности: наркома вооружения Устинова, наркома боеприпасов Ванникова, наркома Малышева и других, обеспечивал им помощь со стороны центральных и местных органов НКВД – МВД, те оказывали особенно большую помощь наркоматам, за которые отвечал Берия.

После войны Берия несколько раз еще при жизни Сталина в присутствии Маленкова и меня, а иногда и Хрущева высказывал острые, резкие критические замечания в адрес Сталина. Я рассматривал это как попытку спровоцировать нас, выпытать наши настроения, чтобы потом использовать для доклада Сталину. Поэтому я такие разговоры с ним не поддерживал, не доверяя, зная, на что он был способен. Но все-таки тогда я особых подвохов в отношении себя лично не видел. Тем более что в узком кругу с Маленковым и Хрущевым он говорил, что «надо защищать Молотова, что Сталин с ним расправится, а он еще нужен партии». Это меня удивляло, но, видимо, он тогда говорил искренне.

О том, что Сталин ведет разговоры о Молотове и обо мне и недоволен чем-то, мы знали. Эти сведения мне передавали Маленков и Берия в присутствии Хрущева. У меня трений ни с кем из них тогда не было.

После смерти Сталина разногласия в коллективном руководстве обнаружились по вопросу о ГДР. Берия, видимо сговорившись с Маленковым предварительно, до заседания (я так понял потому, что на заседании тот не возражал Берии и вообще молчал), высказал в отношении ГДР неправильную мысль, вроде того, что-де «нам не следует цепляться за ГДР: какой там социализм можно построить?» и прочее. По сути, речь шла о том, чтобы согласиться на поглощение ГДР Западной Германией.

Первым против этого предложения выступил Хрущев, доказывая, что мы должны отстоять ГДР и никому не отдавать ее, что бы ни случилось. Молотов высказался в том же духе. Третьим так же выступил я, затем другие. Поддержал нас и Булганин. Берия и Маленков остались в меньшинстве. Это, конечно, стало большим ударом по их авторитету и доказательством того, что они не пользуются абсолютным влиянием. Они претендовали на ведущую роль в Президиуме, и вдруг такое поражение! Позднее я узнал от Хрущева, что Берия по телефону грозил Булганину, что если тот будет так себя вести, то может потерять пост министра обороны. Это, конечно, произвело на меня крайне отрицательное

впечатление.

Вторым спорным вопросом стало повышение заготовительных цен на картофель в целях поощрения колхозников в производстве и продаже колхозами картофеля. Цены были тогда невероятно низкими.

Они едва покрывали расходы по доставке картофеля с поля до пункта сдачи. Горячо выступил Хрущев, я так же горячо поддержал его, так как понимал и давно знал, что без повышения цен нельзя поднять дело. Берия занял решительную позицию против, но аргументы у него были совершенно неубедительные. На наш вопрос, как же тогда увеличить производство картофеля, он сказал, что нужно создавать совхозы специально по картофелеводству для нужд государства. Нам с Хрущевым было ясно, что это не может решить проблемы. И все же Берии удалось собрать большинство, и вопрос был отложен. Тогда мое отношение к Хрущеву стало улучшаться. До этого мы с ним близки никогда не были, хотя отношения были корректные и когда он был секретарем МК партии, и когда работал на Украине.

Только однажды, еще при Сталине, уже после его переезда в Москву в 1950 г., у нас с ним получился конфликт по такому вопросу. Он предложил изменить систему поставок государству продуктов сельского хозяйства, определяя их величину в зависимости от того, каким количеством земли располагает колхоз. Это должно было коснуться и зерновых культур, и мяса, и молока, и шерсти. Он говорил, что для крестьянина главное – земля и что такая система будет поощрять крестьян обрабатывать всю землю, потому что поставки будут определяться количеством всей земли, независимо от того, какая ее часть обрабатывается.

Я резко выступил против этого предложения, как совершенно неправильного. Во-первых, качество земли разное в разных областях и районах. При этом далеко не все колхозы могут обработать всю землю из-за отсутствия достаточных для этого средств производства. А в отношении продуктов животноводства это было просто абсурдом. Как можно брать одинаковое количество мяса, молока и шерсти, не учитывая количества скота!

По этому вопросу два раза докладывали Сталину. Сталин слушал внимательно и мои аргументы, и Хрущева. Я не уступал. Несколько раз высказывался Хрущев. Сталин склонялся к точке зрения Хрущева. Но, зная меня и учитывая, что в проекте могут оказаться подводные камни, желая себя застраховать от серьезных ошибок, предложил в принципе принять предложение Хрущева, а мне поручить представить конкретный проект решения.

Я подготовил проект, внеся большие коррективы, которые сводились к тому, что поставки должны определяться для каждой

области, края, района в отдельности, с учетом их специфики в сельскохозяйственной экономике. Норма поставки дифференцируется в каждом районе отдельно и может на 30 % и более отклоняться при определении нормы поставок отдельным колхозам. Этот проект, по крайней мере, устранял грубейшую несправедливость, внося соответствующие коррективы. После споров по отдельным вопросам проект был принят. Я никогда не считал погектарный принцип поставок правильным. А у Хрущева он был идеей фикс.

Тот факт, что эта тройка – Маленков, Берия, Хрущев – как будто веревкой между собой связана, производил на меня тяжелое впечатление: втроем они могли навязать свою волю всему Президиуму ЦК, что могло бы привести к непредвиденным последствиям.

С Маленковым я никогда не дружил, хотя ценил его высокую трудоспособность. Видел его чрезвычайную осторожность при Сталине. Он был молчалив и без нужды не высказывался. Когда Сталин говорил что-то, он – единственный – немедленно доставал из кармана френча записную книжку и быстробыстро записывал «указания товарища Сталина». Мне лично такое подхалимство претило. Сидя за ужином, записывать – было слишком уж нарочито. Но Маленков умел общаться с местными работниками и в войну сыграл немаловажную роль, в особенности в развертывании авиационной промышленности, на службу которой поставил значительную часть аппарата ЦК, обкомов и горкомов, где были авиационные заводы, что было правильно и на пользу делу. После войны он стал больше заниматься интригами и сыграл подозрительную, а вернее сказать, подлую роль в интригах, приведших к «ленинградскому делу», к гибели Кузнецова, Вознесенского и других.

После смерти Сталина Маленков, ставший Председателем Совета министров, стал проявлять ко мне большое внимание и полное доверие как к министру. Он даже говорил: «Ты действуй в развитии торговли свободно, я всегда поддержу».

Говоря о Хрущеве, следует подчеркнуть его большую заслугу в том, что он взял на себя инициативу в вопросе исключения Берии из руководства и сделал это, предварительно обговорив со всеми членами Президиума ЦК, но так, чтобы это не дошло до Берии.

Наши дачи были недалеко друг от друга. И вот в день заседания Президиума, 26 июня 1953 г., мне сообщили, что Хрущев просит заехать к нему на дачу до отъезда на работу. Я заехал. Беседовали мы у него в саду. Хрущев стал говорить о Берии, что тот взял в руки Маленкова, командует им и

фактически сосредоточил в своих руках чрезмерную власть. Внешне он и с Хрущевым и с Маленковым в хороших отношениях, но на деле стремится их изолировать. В качестве доказательства привел факт недопустимого разговора с Булганиным после разногласий по ГДР. Здесь Берия применил угрозу в отношении члена Президиума ЦК, видимо учитывая свое влияние. Это был действительно очень серьезный факт. Хрущев тогда впервые мне об этом сказал.

В той же беседе со мной Хрущев привел факты, как Берия единолично, минуя аппарат ЦК, связывался с украинским и белорусским ЦК и выдвигал новых руководителей, на которых он мог бы положиться. Это тоже было для меня новым и тоже произвело неприятное впечатление. Видимо, не без тайного умысла Берия взял на себя как первого заместителя Председателя Совмина СССР бразды правления Министерством внутренних дел, что давало ему большую реальную власть. Этому я не удивился, ибо уже в момент смерти Сталина, когда Берия быстро уехал из Волынского в город, я высказал вслух свое мнение, что он «поехал брать власть». Я имел в виду, что он будет готовить почву для своей власти. Хрущев это мнение только подтвердил. Он сказал, что сотрудники нашей охраны, наверное, фактически превращены в осведомителей Берии и докладывают ему обо всех нас – что делаем, где бываем и пр. «Берия – опасный человек», – сказал Хрущев в заключение.

Я слушал внимательно, удивленный таким поворотом дела в отношении Берии после такой дружбы, заметной всем. Я спросил: «А как Маленков?» Он ответил, что с Маленковым он говорил: они же давнишние большие друзья. Я это знал. Мне было трудно во все это поверить, ибо если Маленков – игрушка в руках Берии и фактически власть в правительстве не у Маленкова, а у Берии, то как же Хрущев его переагитировал?

Хрущев сказал, что таким же образом он уже говорил и с Молотовым, и с остальными. Я задал вопрос: «Это правильно, что хотите снять Берию с поста МВД и первого зама Предсовмина. А что хотите с ним делать дальше?» Хрущев ответил, что полагает назначить его министром нефтяной промышленности. Я одобрил это предложение. «Правда, – сказал я, – он в нефти мало понимает, но имеет организаторский опыт в руководстве хозяйством, как показала война и послевоенное время». Добавил также, что при коллективном руководстве он сможет быть полезным в смысле организаторской деятельности.

В своих мемуарах Хрущев иначе излагает этот эпизод. Он умалчивает о своем ответе мне относительно намечавшейся должности министра нефтяной промышленности для Берии.

Получается, что моя фраза о том, что Берия «может быть полезным» сказана была не в качестве согласия с собственными словами Хрущева, а в качестве защиты Берии.

Что касается перевода Берии в нефтяную промышленность, то, скорее всего, Хрущев сказал это мне нарочно, считая, видимо, что мы с Берией чем-то близки и мне не следует говорить всю правду. Откуда такое мнение и недоверие – непонятно. Как я уже сказал, эта тройка – Маленков, Берия, Хрущев – все решала между собой. Они были действительно близки, гораздо ближе, чем я с Берией. Кто-то мне высказал мнение, что Хрущев исходил из того, что мы оба кавказцы. Но не представляю, чтобы Никита Сергеевич мог так глупо и примитивно рассуждать. Он же был умный человек. Неужели он мог подумать, что в таком важном политическом вопросе национальность может играть какую-нибудь роль для коголибо, не только для меня? Для меня же ничья национальность, тем более в политике, никогда не имела никакого значения. Меня, правда, убеждали, что по своей «неотесанности» Хрущев мог проявить такую предосторожность. Напоминали, что со всеми остальными товарищами он поговорил раньше, со мной же только в день заседания. Не знаю. Хотя, конечно, иной раз и умный человек ведет себя глупо.

Во время того разговора в саду Хрущев предупредил, что сегодня повестка заседания объявлена обычная, но что мы эту повестку рассматривать не будем, а займемся вопросом о судьбе Берии.

И действительно, после обмена мнениями, когда особенно резко выступил Хрущев, и мы все выступили в том же духе, было принято решение в отношении Берии. Сначала он не понял серьезности дела и нагло сказал: «Что вы у меня блох в штанах ищете?» Но потом до него дошло. Он тут же, в комнате Президиума ЦК, был арестован.

В целом надо считать смещение Берии заслугой Хрущева перед партией. Действительно, Берия представлял опасность для партии и народа, имея в руках аппарат МВД и пост первого заместителя Председателя Правительства.

Глава 48
XX съезд партии. О жертвах Сталинизма

О моей позиции по вопросу о создании комиссии по расследованию положения дел при Сталине перед XX съездом Хрущев в своих воспоминаниях пишет: «Неудивительно, что Ворошилов, Молотов и Каганович не были в восторге от моего предложения. Насколько я припоминаю, Микоян не поддержал меня активно, но он и не делал ничего, чтобы сорвать мое предложение…»

Что касается меня, то это совершенно не соответствует фактам. Сама инициатива создания этой комиссии принадлежит мне, и Никита Сергеевич никак не мог это забыть. Поэтому очень странно звучат слова: «Насколько я припоминаю…», то есть он страхует себя возможностью ошибки. Как и многое из того, что вспоминает Хрущев, касаясь меня, моей роли или ее, так сказать, отсутствия. Я удивлен, как он мог быть так несправедлив ко мне. Это не просто забывчивость, это прямая неправда, причем часто неправда у него маскируется в игнорировании того, что я делал или говорил. Вообще, ведь были и свидетели: Молотов, Каганович, Булганин, Суслов, Первухин, Сабуров.

А дело было так. Я и многие другие не имели полного представления о незаконных арестах. Конечно, многим фактам мы не верили и считали людей, замешанных в этих делах, жертвами мнительности Сталина. Это касается тех, кого мы лично хорошо знали. А в отношении тех, кого мы плохо знали, да нам еще представляли убедительные документы об их враждебной деятельности, мы верили.

После смерти Сталина ко мне стали поступать просьбы членов семей репрессированных о пересмотре их дел. Многие обращались через Льва Степановича Шаумяна. Он же привел ко мне Ольгу Шатуновскую, которую я знал с 1917 г., и Алексея Снегова, знакомого мне с 30-х гг. Они на многое мне открыли глаза, рассказав о своих арестах и применяемых при допросах пытках, о судьбах десятков общих знакомых и сотнях незнакомых людей. Ольга рассказала мне один эпизод, который помог осознать, что подавляющее большинство репрессированных были ни в чем не виновны. Она сидела в женском лагере. Однажды у них разнесся слух, что привезли настоящую японскую шпионку. Все сбежались посмотреть на нее, стали спрашивать: «Ты

действительно шпионка?» Она зло сказала: «Да! И я, по крайней мере, знаю, почему я здесь. А вы, коммунистки проклятые, подыхаете здесь ни за что. Но мне вас не жалко!»

Я помог Шатуновской и Снегову встретиться с Хрущевым, который Ольгу знал еще со времен работы в МК, а Снегова – еще раньше. Эти два человека незаслуженно «выпали из истории», а они сыграли огромную роль в нашем «просвещении» в 1954–1955 гг. и в подготовке вопроса о Сталине на XX съезде в 1956 г. Не понимаю, почему Хрущев о них даже не упоминает. Или боится поделиться с кем-то своей славой борца против культа Сталина и за освобождение репрессированных? Но его заслуг никто и не оспаривает. Почему же не воздать должное и другим? И почему идти на прямую неправду? Однако вернусь к письмам и обращениям пострадавших.

Я направлял все эти просьбы Генеральному прокурору Руденко. Меня удивляло: ни разу не было случая, чтобы из посланных мною дел была отклонена реабилитация.

Как я говорил, мы очень были дружны с Л.С. Шаумяном. У нас были общие взгляды по многим вопросам, и мы неограниченно доверяли друг другу. Я обсуждал с ним положение дел с реабилитацией, рассказывал ему о том, что все дела, которые мною разбирались, пересмотрены и люди оказались невиновными. А ведь многие из них были членами ЦК или наркомами (дела разбирались по просьбе детей и вдов этих людей). Как-то я попросил его (это, правда, было не сразу, а примерно за полгода до XX съезда) составить две справки. Первую – сколько было делегатов на XVII съезде, вошедшем в историю как «съезд победителей», и сколько из них подверглось репрессиям. Ведь это был 1934 г., когда на съезде не было уже антипартийных группировок, разногласий, было полное единство в партии. Поэтому важно было посмотреть, что стало с делегатами этого съезда. И вторую справку – это список членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на этом съезде, а затем репрессированных.

Наконец-то я получу более или менее точный ответ, думал я. Мне важно это было знать, чтобы идти на XX съезд партии с действительными фактами в руках в отношении судеб этих двух категорий руководящих лиц.

Я сказал Льву Степановичу, что мне необходима его помощь в этом деле. Он работал в издательстве Энциклопедии, имел доступ к таким материалам и мог предоставить мне необходимые справки. Через месяц или полтора он предоставил мне эти сведения. Картина была ужасающая. Большая часть делегатов XVII партсъезда и членов ЦК была репрессирована.

Это потрясло меня. Несколько дней из головы не шла мысль об этом, все обдумывал, как это происходило, почему Сталин это сделал в отношении людей, которых хорошо знал. Словом, строил всякие догадки, но ни одна из догадок меня не устраивала и не убеждала. Я думал, какую ответственность мы несем, что мы должны делать, чтобы в дальнейшем не допустить подобного.

Шаумян добыл эти сведения частным порядком, и официально пользоваться я ими не мог, но этого было достаточно для того, чтобы потребовать обсудить этот вопрос.

Я пошел к Хрущеву и один на один стал ему рассказывать. Он в это время был поглощен другими вопросами, тоже важными, конечно, но другого характера: целинные земли, новые положения о методах борьбы за социализм (признание мирного перехода) и т. д. Мне пришлось убеждать его, что самый важный вопрос – осуждение сталинского режима.

«Вот такова картина, – говорил я. – Предстоит первый съезд без участия Сталина, первый после его смерти. Как мы должны себя повести на этом съезде касательно репрессированных сталинского периода? Кроме Берии и его маленькой группы – работников МВД, мы никаких политических репрессий не применяли уже почти три года. Но надо ведь когда-нибудь если не всей партии, то хотя бы делегатам первого съезда после смерти Сталина доложить о том, что было. Если мы этого не сделаем на этом съезде, а когда-нибудь кто-нибудь это сделает, не дожидаясь другого съезда, все будут иметь законное основание считать нас полностью ответственными за прошлые преступления.

Конечно, мы несем большую ответственность. Но мы можем объяснить обстановку, в которой мы работали. Объяснить, что мы много не знали, во многое верили, но в любом случае просто не могли ничего изменить. И если мы это сделаем по собственной инициативе, расскажем честно правду делегатам съезда, то нам простят, простят ту ответственность, которую мы несем в той или иной степени. По крайней мере, скажут, что мы поступили честно, по собственной инициативе все рассказали и не были инициаторами этих черных дел. Мы свою честь хотя бы в какой-то мере отстоим. А если этого не сделаем, мы будем обесчещены».

Хрущев слушал внимательно. Я сказал, что предлагаю внести в Президиум предложение о создании авторитетной комиссии, которая изучила бы все документы МВД, Комитета госбезопасности, прокуратуры, Верховного суда и другие, добросовестно разобралась во всех делах о репрессиях и подготовила бы доклад для съезда. Хрущев согласился с этим. Я предложил создать комиссию Президиума, куда вошли бы я,

Хрущев, Молотов, Ворошилов и другие товарищи. Ввиду важности вопроса, состав комиссии соответствовал бы своему назначению. Хрущев внес поправку, что, во-первых, мы очень перегружены и нам трудно будет практически разобраться во всем, и во-вторых, не следует в эту комиссию входить членам политбюро, которые близко работали со Сталиным. Важнее и лучше включить в состав комиссии авторитетных товарищей, но близко не работавших со Сталиным. Предложил во главе комиссии поставить Поспелова, директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Это – история партии, прямо касается работы его аппарата. Предложил включить и некоторых других.

Я с этим согласился, хотя сказал, что Поспелову нельзя всецело доверять, ибо он был и остается про-сталински настроенным. Словом, договорились, что этот вопрос обсудим на Президиуме и он подумает как первый секретарь ЦК. Так и сделали. Он заявил, что если комиссия будет работать неправильно, то мы вмешаемся.

Комиссия в составе Поспелова, Аристова, Шверника и Комарова тщательно изучила в КГБ архивные документы и представила пространную записку.

В записке комиссии от 9 февраля 1956 г. приводились ужаснувшие нас цифры о числе советских граждан, репрессированных и расстрелянных по обвинению в «антисоветской деятельности» за период 1935–1940 гг., и особенно в 1937–1938 гг.[17] В записке указывалось, что в ряде крайкомов, обкомов, райисполкомов партии были подвергнуты арестам две трети состава руководящих работников.

Более того, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно за эти годы 98 человек. «Поражает тот факт, – говорилось в записке, – что для всех преданных суду членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) была избрана одна мера наказания – расстрел». Всего же из 1966 делегатов этого съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 1108 человек, из них расстреляно 848. Факты были настолько ужасающими, что в особенно тяжелых местах текста Поспелову было трудно читать, один раз он даже разрыдался.

Когда я в 1956 г. внимательно ознакомился с этой запиской комиссии, то невольно вспомнил два ранее известных мне факта:

1. При выборах членов ЦК на XVII съезде партии (февраль 1934 г.) Сталин получил изрядное количество голосов против.

Подсчет голосов велся в нескольких счетных подкомиссиях. Одну из них возглавлял Наполеон Андреасян, мой школьный

товарищ, который тогда же рассказал мне об этом. Только в его группе оказалось 25 голосов, поданных против кандидатуры Сталина.

Результаты голосования на съезде не объявлялись. Но о них несомненно доложил Сталину председатель счетной комиссии съезда Л. Каганович.

Насколько я помню, против Сталина было 287 голосов (данные О. Шатуновской, которая лично держала эти бюллетени в руках и пересчитала в 1950-х гг.).

2. Через какое-то время, после XVII съезда партии, нам, членам и кандидатам в члены политбюро ЦК, стало известно о том, что группа товарищей, недовольная Сталиным, намеревается его сместить с поста генсека, а на его место избрать Кирова. Об этом Кирову сказал Б. Шеболдаев, работавший тогда секретарем одного из обкомов партии на Волге. Киров отказался и рассказал Сталину, который поставил в известность об этом политбюро. Нам казалось тогда, что Сталин этим и ограничится.

Мы утвердили все выводы комиссии Поспелова без изменений. Но она не внесла предложений по вопросу об открытых судебных процессах 30-х гг., заявив, что не сумела разобраться и что ей это трудно сделать. Видимо, решили подстраховаться, потому что после всех изложенных фактов эти процессы просто разваливались. Ведь отдельные проходившие по ним подсудимые были уже признаны ни в чем не повинными, а по процессам они проходили как враги. Логики в этом не было никакой… Тогда Хрущев предложил создать новую комиссию – специально по открытым судебным процессам, включив туда, кроме уже работавших членов, также Молотова, Кагановича и Фурцеву. Мою кандидатуру он почему-то даже не назвал.

Я не возражал против предложенного состава. Может быть, если бы это было предварительным обменом мнениями, я бы и возразил. Ведь соображение об участии в сталинском руководстве уже отпало. Но почему только для Молотова и Кагановича? Возможно, было бы целесообразно мне быть там, чтобы противостоять в случае необходимости Молотову и Кагановичу. Я думал о роли Кагановича, а также о том, что Молотов тогда был вторым лицом в партии и государстве и во многом помогал Сталину в ходе репрессий. Стоило ли их включать в состав, где остальные участники были намного ниже по положению в партии?

Но в тот момент возражать и объяснять причины было неудобно, ибо предложение было одобрено без оговорок. Кроме того, я думал, что они уже поработали и в отношении судебных процессов и результат будет такой же, как и в отношении

репрессий.

Но мы ошиблись. Через некоторое время новая комиссия представила предложения в том смысле, что, хотя в те годы не было оснований обвинить Зиновьева, Каменева и других в умышленной подготовке террора против Кирова, они все же вели идеологическую борьбу против партии и пр. Поэтому, делала вывод комиссия, не следует пересматривать эти открытые процессы.

Мы оказались в меньшинстве, поскольку выводы сделала такая широкая и представительная комиссия. Несомненно, мое участие могло бы многое изменить в выводах и заключениях, я мог бы влиять на ее работу и противостоять Молотову и Кагановичу. Хрущев не мог этого не понимать.

Непонятен еще такой момент. Я якобы «не поддерживал» это дело. Помню до мелочей, как это происходило. Когда речь зашла о докладчике на съезде, я предложил сделать доклад не Хрущеву, а Поспелову как председателю комиссии ЦК партии. Это было объективно верно: ведь раз мы утвердили состав комиссии и ее председателя, то всем и так ясно, что доклад делается от нас, а не от Поспелова. Хрущев мне ответил: «Это неправильно, потому что подумают, что Первый секретарь уходит от ответственности и вместо того, чтобы самому доложить о таком важном вопросе, предоставляет возможность выступить докладчиком другому». Настаивал, чтобы основным докладчиком был именно он. Я с этим согласился, так как при таком варианте значение доклада только возрастало. Он оказался прав.

К концу съезда мы решили, чтобы доклад был сделан на заключительном его заседании. Был небольшой спор по этому вопросу. Молотов, Каганович и Ворошилов сделали попытку, чтобы этого доклада вообще не делать. Хрущев и больше всего я активно выступили за то, чтобы этот доклад состоялся. Маленков молчал. Первухин, Булганин и Сабуров поддержали нас. Правда, Первухин и Сабуров не имели такого влияния, как все остальные члены Президиума.

Тогда Никита Сергеевич сделал очень хороший ход, который разоружил противников доклада. Он сказал: «Давайте спросим съезд на закрытом заседании, хочет ли он, чтобы доложили по этому делу, или нет». Это была такая постановка вопроса, что деваться было некуда. Конечно, съезд бы потребовал доклада. Словом, выхода другого не было. Было принято решение, что в конце съезда, на закрытом заседании, после выборов в ЦК (что для Молотова и Кагановича казалось очень важным) такой доклад сделать.

Утверждение Хрущева в отношении меня неверно еще и

потому, что в открытых выступлениях на съезде я единственный подверг в своей речи принципиальной критике отрицательные стороны деятельности Сталина, что вызвало среди коммунистов шум и недовольство.

Помню, когда кончилось мое выступление и объявили перерыв, ко мне подошел мой брат Артем, делегат съезда, и сказал: «Анастас, ты зря эту речь сказал. Ты по существу был прав, но многие делегаты недовольны тобой, ругают тебя. Для чего ты так напал на Сталина? Почему на себя должен взять инициативу, когда другие об этом не говорят? И Хрущев ничего подобного не сказал».

Я ему ответил: «Ты не прав. И те товарищи, которые недовольны моим выступлением, также не правы. А что касается Хрущева, то он на закрытом заседании сделает доклад и расскажет о более страшных вещах».

Отвлекаясь от воспоминаний Хрущева, хочу еще уточнить некоторые детали о том, как реально освобождались заключенные.

Я возглавил Комиссию по реабилитации. Очень скоро пришел к выводу, что такими темпами, которыми шло дело через Генеральную прокуратуру, сотни тысяч людей умерли бы в лагерях, не дождавшись освобождения. Сначала в частном порядке поговорил с А.В. Снеговым, который после 17-летнего заключения в лагерях работал начальником политотдела ГУЛАГа. Он подтвердил мое мнение. Мы решили, что надо освобождать людей, во-первых, на местах, разослав туда «тройки» (на этот раз с целью освобождения, а не осуждения), во-вторых, производить реабилитацию с немедленным освобождением прямо по статьям, которые заключенному инкриминировались. Это не было легкомысленным решением: до этого я убедился, что чье бы дело мы ни рассматривали отдельно, человек оказывался невиновным. С этим же столкнулась Ольга Шатуновская, которая уже работала в Комиссии партийного контроля (после длительного заключения и ссылки), виновных она не обнаружила ни одного! Я поговорил с Генеральным прокурором СССР Руденко. Предварительно с ним беседовал Снегов, и тогда Руденко выразил сомнения в юридической правомерности такого подхода. Возможно, строго юридически он имел основания выражать сомнения. Но невозможно применять всю строгость правовых норм к тем, кто так сильно пострадал от нарушения законности и от произвола. Мне Руденко уже сказал, что такой подход вполне оправдан. Потом я сообщил об этом Хрущеву, который одобрил такой подход. В результате мы послали, кажется, 83 комиссии в наиболее крупные поселения ГУЛАГа. Туда же привозили

заключенных с мелких объектов этой структуры. Всю организационную работу в этом отношении провел для меня Снегов, который хорошо знал географию лагерей. Вызывали, например, всех, осужденных за вредительство, и объявляли им, что они реабилитированы, выдавали документы и освобождали, обеспечивали им транспортировку по домам. Или по статье за подготовку террористического акта против Сталина, либо кого-либо еще из правительства (в качестве казуса Снегов, работавший в самой крупной комиссии, рассказывал мне, что были там и такие, кто сидел за то, что покушался на жизнь Берии, расстрелянного за два с лишним года до того!). Так мы добились, что сотни тысяч людей были освобождены немедленно. Даже возникла необходимость в дополнительных пассажирских поездах.

Итак, мысль о реабилитации жертв сталинских репрессий я высказал задолго до съезда, включая и тех, кто проходил по процессам 30-х гг. Отмене приговоров по процессам, как я упомянул, помешали Молотов и Поспелов. Поспелов не дал необходимых материалов. Молотов повел себя хитрее: он сказал, что, хотя нет доказательств вины Зиновьева, Каменева и их сторонников в убийстве Кирова, морально-политическая ответственность остается на них, ибо они развернули внутрипартийную борьбу, которая толкнула других на террористический акт. Тут мы с Хрущевым сделали ошибку: вместо того чтобы навязать правильное решение, отбросив эту словесную шелуху, решили создать специальную комиссию по убийству Кирова и по другим процессам. Дело в том, что многие даже в Центральном комитете (и кое-кто в политбюро) были еще не подготовлены к первому варианту решения. Ошибка была сделана и в подборе состава комиссии: главой ее сделали Молотова. Вошла туда и Фурцева как представитель нового руководства партии. Я все-таки верил, что Молотов отнесется к этому делу честно. И ошибся, проявил в отношении его наивность. Не думал, что человек, чья жена была безвинно арестована и едва не умерла в тюрьме, способен продолжать прикрывать сталинские преступления.

Повторяю, именно я предложил сделать доклад XX съезду (правда, я предлагал сделать его Поспелову). Но Хрущев, наверное, оказался прав, что доклад надо было делать первому секретарю. Я предлагал нам всем войти в комиссию. Но и тут Хрущев, видимо, был прав, что мы слишком близки были к Сталину сами, лучше нам не входить в комиссию. Как бы то ни было, доклад и разоблачение преступлений Сталина были необходимы для оздоровления и партии, и общества в целом, для

возрождения демократии и законности.

Глава 49
Хрущев у власти

Я решительно встал на сторону Хрущева в июне 1957 г. против всего остального состава Президиума ЦК, который фактически уже отстранил его от руководства работой Президиума. Хрущев висел на волоске. Почему я сделал все, что мог, чтобы сохранить его на месте Первого секретаря? Мне было ясно, что Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов были недовольны разоблачением преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса десталинизации партии и общества. Маленков и Булганин были против Хрущева не по принципиальным, а по личным соображениям. Маленков был слабовольным человеком, в случае их победы он подчинился бы Молотову, человеку очень стойкому в своих убеждениях. Булганина эти вопросы вообще мало волновали. Но он тоже стал бы членом команды Молотова. Результат был бы отрицательный для последующего развития нашей партии и государства. Нельзя было этого допустить.

Я понимал, что характер Хрущева для его коллег – не сахар, но в политической борьбе это не должно становиться решающим фактором, если, конечно, речь не идет о сталинском методе сведения счетов со своими подлинными или воображаемыми оппонентами. К Хрущеву такого рода аналогии не относились. В период борьбы за XX съезд мы с ним сблизились, оказались соратниками и единомышленниками. Хотя трудности его характера уже чувствовались. Но я видел и его положительные качества. Это был настоящий самородок, который можно сравнить с неотесанным, необработанным алмазом. При своем весьма ограниченном образовании он быстро схватывал, быстро учился. У него был характер лидера: настойчивость, упрямство в достижении цели, мужество и готовность идти против сложившихся стереотипов. Правда, был склонен к крайностям. Очень увлекался, перебарщивал в какой-то идее, проявлял упрямство и в своих ошибочных решениях или капризах. К тому же навязывал их всему ЦК после того, как выдвинул своих людей, делая ошибочные решения как бы «коллективными».

Увлекаясь новой идеей, он не знал меры, никого не хотел слушать и шел вперед как танк. Это прекрасное качество лидера проявилось в борьбе за десталинизацию, особенно в главном. Иногда, правда, он как бы пугался и шел на уступки. Так, дал себя испугать последствиями XX съезда для коммунистов Европы и

отложил реабилитацию по процессам 1930-х гг. Это был противоречивый характер, очень нелегкий в работе и даже в личном общении. Но я мирился с его недостатками ради главного. Иногда, правда, готов был крупно разойтись.

Трудно даже представить, насколько недобросовестным, нелояльным к людям человеком был Хрущев. Вернее, легко мог им быть. Ко мне он всегда ревновал, часто на меня нападал: хотел изрекать истины, а другие чтобы слушали и поддакивали или же молчали. Я же ни по одному вопросу не молчал. Никогда не интриговал, но спорил открыто. Конечно, когда он был прав, я его поддерживал, но, когда ошибался, я не молчал. Это его раздражало.

При нем я два-три раза обдумывал отставку из политбюро (Президиума ЦК). В первый раз – в 1956 г. из-за решения применить оружие в Будапеште, когда я уже договорился о мирном выходе из кризиса. Еще один раз – из-за Берлина и Потсдамских соглашений, от которых он хотел в одностороннем порядке отказаться, публично заявив об этом осенью 1958 г.

Но еще перед этим – в 1958 г., когда он создал комиссию во главе с новоиспеченным секретарем ЦК Игнатовым для проверки работы Министерства внешней торговли, то есть проверки моей работы, ибо я в Совете министров курировал это министерство. Никто из комиссии Игнатова ни черта не смыслил во внешней торговле. Там еще был Аристов. Игнатов был инициатором отправки Смелякова в США, в Амторг. Оттуда Смеляков послал прямо в ЦК, минуя Совмин (хотя много лет меня знал и понимал, что я приму и рассмотрю объективно каждую жалобу), бумагу о том, что Внешторг плохо работает. Как будто в торговле с Америкой дело упиралось в плохую работу Внешторга! Смеляков был умный человек, хороший работник. Написал полезную книгу «Деловая Америка». Но Игнатов нащупал его слабую струнку – амбициозность – и пообещал ему пост министра. А министром тогда был Патоличев, с которым Игнатов был в хороших отношениях, и, не желая с ним ссориться, он хотел Смелякова двинуть в министры, а Патоличева – в Совмин по внешнеэкономическим связям, то есть на мое место. И Хрущев это, видно, поддерживал, поскольку создал такую комиссию.

Моего младшего сына Серго он предложил выдвинуть на «ответственную работу» во Внешторг, чтобы меня умаслить, вроде вся эта затея не против меня. Вел себя как дурак! Но не вышло. И Патоличев не захотел против меня идти. Он проявил себя как честный, принципиальный человек и не карьерист. Он вообще хорошо вел себя во Внешторге. Никакой чистки после меня не устраивал, прежние кадры не разгонял, наоборот, понимая их

силу, опирался на их знания и опыт. Сам он больше представительствовал. И правильно делал, ибо плохо разбирался в деталях, в практических вопросах внешней торговли.

А ведь вся эта затея поощрялась Хрущевым спустя всего лишь год после того, как я его спас на Июньском пленуме (1957 г.) ЦК от смещения с должности. Его же практически, как я говорил, Президиум уже отстранил тогда, и я был единственным, кто его защищал под всякими предлогами – «неполного состава Президиума ЦК в данный момент» и т. д. Все дело было в том, в какой форме сообщить пленуму ЦК: как об уже состоявшемся решении Президиума или как о полемике в Президиуме. В первом случае его песенка была бы спета. Пленум бы, безусловно, одобрил решение: сталинские традиции были сильны еще долго после его смерти. Я всячески тянул. Потом прилетел Суслов, я его убедил, что Хрущев все равно выйдет победителем. То же с Ворошиловым, хотя тот и колебался. Фурцева была за Хрущева, но не имела достаточного авторитета, и ее роль была незначительной. Все же мы – а по сути дела я – добились того, чтобы выйти на пленум с вопросом, как решить разногласия в Президиуме? Пленум понял расстановку сил и поддержал Хрущева. Возврат к сталинским порядкам мало кого устраивал. И вот через год он поддерживает интригу против меня!

А как он поссорился с Маленковым? Молотов и Каганович – другое дело. Тут политика. Их не устраивала десталинизация. А Маленков хотел тоже быть реформатором. Ему с Хрущевым политически было по пути. Только он переоценил пост главы правительства (Ленин был Председателем Совнаркома) и недооценил роль руководителя партийного аппарата. Сам перешел в правительство, отдав партию в руки Хрущеву. Видимо, не представлял себе, на какое вероломство по отношению к нему мог пойти Хрущев. Непростительная ошибка! Ведь он сам при Сталине сделал этот аппарат всемогущим исполнителем воли генерального (первого) секретаря.

А причина их ссоры заключалась, по-моему, в следующем. В 1953 г. Хрущев первым выступил на пленуме о мерах для облегчения положения крестьян и о сельском хозяйстве вообще. И очень хорошо, правильно выступил, подняв давно назревшие проблемы. Конечно, большинство в Президиуме ЦК его поддержало. Это была его несомненная заслуга. Но потом на Верховном Совете с этим же выступил Председатель Совета министров Маленков. Вот народ и приписал ему всю славу. Этого Хрущев ему не забыл и не простил. Он не хотел ни с кем делить ни славы, ни – главное – власти. Уверен, именно по этой причине у них, давнишних друзей, пошел разлад.

Удивительно, каким неверным мог быть Хрущев. Например, в случае с Кириченко. Двадцать лет вместе работали. Сделал его вторым секретарем ЦК. Лучшая это была кандидатура или нет – другой вопрос. Уж конечно, не хуже, чем Брежнев или Кириленко. И безусловно, лучше Суслова, который вообще-то был работник областного масштаба, как, впрочем, и все они. Только в политическом отношении Суслов оказался гораздо хуже: не просто консерватор, а настоящий реакционер. Лично я с ним был в неплохих отношениях, на уровне членов Президиума он казался приличным человеком. Но очень скоро выяснилось, что он, по сути дела, саботирует десталинизацию, расправляется с неугодными ему прогрессивно настроенными работниками ЦК среднего уровня. Например, с Бурджаловым, который с благословения Льва Шаумяна опубликовал статью об отрицательных моментах роли Сталина на VI съезде. Я эту статью читал еще в гранках, и она мне понравилась. Суслов же начал гонения на Бурджалова. Вообще, крупной ошибкой Хрущева было сохранение Суслова на его прежнем посту – почти том же, что и при Сталине, только еще более ответственном, ибо при Сталине он в области идеологии никогда не был на такой высоте, над ним стоял член политбюро, в которое он не входил.

И вот Хрущев вдруг, без всякой причины снял Кириченко и послал на периферию с понижением. Почему? Никакой оппозиции, никаких заметных ошибок. Игнатов еще интриговал, а этот ведь нет! А падение куда ниже, чем для Игнатова. Или история с Фурцевой, то поднимал ее, как только мог, то наоборот. И все это без предупреждения, без предварительного разговора. Люди узнавали, что они уже не в Президиуме ЦК, только тогда, когда оглашался список. У Фурцевой был сердечный приступ, и она пыталась покончить жизнь самоубийством…

То ценил – то не ценил, то верил – то не верил. Сам не знал почему. Один раз был курьезный случай: после съезда он на пленуме огласил список членов Президиума ЦК, в котором не оказалось Кириленко. Я в перерыве спросил: «В чем дело? Ты вроде не собирался его убирать». А он говорит: «Как, разве я его не назвал? Да, верно. Его, оказывается, нет в моем списке. Я просто забыл его вписать. Хорошо, что ты напомнил». Удачно вышло, что еще не успели дать в газеты, вовремя исправили.

А организационная чехарда? Как будто со Сталина брал пример. Организация совнархозов была правильной – это опять его несомненная заслуга, так как это давало власть на местах и, что особенно важно, – в республиках. Так что совнархозы – очень хорошая идея Хрущева, основанная на опыте 20-х гг. Невозможно и не нужно руководить всем из центра, бездумно командовать. И

ведь команды шли не только из правительства, но и от чиновников общесоюзных ведомств, которые создали постепенно – при попустительстве или участии самого Хрущева. Новых бюрократических общесоюзных структур оказалось больше, чем мы распустили в 1953–1954 гг. (Госстрой, Комитет по печати и др.). В результате ущемлялось самолюбие республик, нарушались их права, зафиксированные в Конституции. Республики даже автономии подчас не имели, не то что суверенных прав, как записано.

Политику Хрущева в области сельского хозяйства невозможно оценить однозначно. Да, много хорошего предпринял и провел, особенно в первые годы после смерти Сталина. Мне однажды сказал с какой-то ревностью: «Ну уж в сельском хозяйстве-то я разбираюсь лучше тебя!» Может, в чем-то и лучше разбирался, не спорю, но сколько же органов новых Хрущев придумал, сколько старых распустил, перестроил!.. Потом и новые распускал и создавал другие. Людям на местах, наверное, невозможно было уследить за этой чехардой. И невозможно было работать нормально. Ведь достаточно в одном учреждении постоянно менять руководителя, как оно дезорганизуется. А тут еще хуже – новые учреждения с другими правами и функциями. И конечно, другие руководители. И так почти каждый год! Укрупняли колхозы, забрасывали деревни, делая их пустующими, вместо деревенского хлеба и молока, свежего и всегда под рукой, решили завозить из города. И конечно, начались перебои с подвозом. Появились очереди за хлебом и молоком в деревне – это раньше представить было невозможно! Потом начал кампанию за передачу скота в колхозные фермы – и опять ничего хорошего от этого не получилось. Чуть не отобрал приусадебные участки у колхозников, чем немедленно поставил бы страну на грань голода. Вовремя его остановили, я в том числе. Даже затеял превращение колхозов в совхозы без серьезного обоснования, просто с целью «заставить мужика работать». Исчерпал, видимо, все организационные меры, а мужик все не работал. Экономические меры и стимулы он серьезно не понимал, а ведь умный был человек. Но не хватало образования, политического опыта, глубины подхода. Как правило, у него преобладали поверхностный подход, желание немедленно свои идеи применить в жизни. Такая энергичность и напористость – бесценные качества, только направлялись они слишком часто по неправильному пути.

А разделение партийных органов на местах на сельские и городские? Вообще неразбериха началась – кто за что отвечает и где.

Все его перегибы – не только результат эмоциональности сверх всякой меры и непонимания, неспособности обдумывать вопросы со всех сторон. Ко всему этому он просто зазнался после 1957 г., почувствовал вкус власти, поскольку ввел своих людей в Президиум и решил, что может ни с кем не считаться, что все будут только поддакивать.

Личные же отношения между мной и Хрущевым после 1957 г. как раз нередко бывали натянутыми. Но для той группы, что начала борьбу против него, важно было другое. Он болтал при всех, что надо, мол, расширять Президиум за счет молодых – Шелепина, Семичастного и других, называя в их числе даже Сатюкова (из «Правды»), Горюнова (из ТАССа), Аджубея, своего зятя (из «Известий»). И долго ничего не делал. Конечно, некоторые из этих более молодых были способными людьми. Но не все созрели для Президиума ЦК. А те, кто уже был в Президиуме, поняли, что он хочет такого состава, который по его указке будет делать все что угодно. Правда, и прежний состав ему не перечил, кроме меня. Но принять большую группу новых означало, как и для Сталина в 1952 г., возможность легко и незаметно убирать любого. И они испугались.

Это был 1964 год.

Первые данные об опасности смещения у Хрущева появились от сына Сергея. Как всегда в трудную минуту, он вызвал меня. У него уже побывал по этому поводу Подгорный. Я сказал так: «Думаю, Брежнева и Подгорного пристегнули. А в отношении Шелепина и Семичастного – я их не знаю, не могу судить». Он возражал: «Нет, в Шелепине и Семичастном я уверен!»

Как он мог быть уверен, если обращался с людьми, как с пешками? Что он делал с Семичастным? Сначала утвердил его заворгом ЦК – это почти что должность секретаря ЦК. И вдруг послал вторым секретарем ЦК Азербайджана. И люди чувствовали себя неуверенно. А насчет Мжаванадзе? Сказал, что надо его менять. Тот вынужден был сказать об этом на пленуме Грузии. В Пицунде он жил на даче правительства Грузии, рядом с нашими государственными дачами, совсем убитый. Я обещал поговорить с Хрущевым. Плавали однажды вместе в бассейне, и я переубедил его. Сказал: «Куда спешить? Будет съезд, тогда новый состав будет, тогда и сделаешь». Мжаванадзе остался, но стал его врагом.

Он как будто нарочно создавал себе врагов, но даже не замечал этого. Многие маршалы и генералы – члены ЦК – были против него за его перегибы в военном деле. Например, считал, что с изобретением ракет авиация окончательно теряет значение; что подводные лодки полностью заменят наземные корабли,

поскольку последние – плавучие мишени для ракет. Думал только в масштабе большой войны, не учитывал особенности локальных войн. А именно они и надвигались, так как после Карибского кризиса обе стороны поняли, что надо избегать крайностей, которые могут незаметно подтолкнуть к третьей мировой войне, притом ядерной. Американцы раньше нас поняли, что локальные войны будут и именно к ним надо готовиться.

Местные лидеры были раздражены чехардой, диктуемой из Москвы Хрущевым. В общем, многое, что ставилось ему в вину на пленуме в октябре 1964 г., было правильно. Все же я считал, что Хрущев – это тоже наш политический капитал, который нельзя так просто терять. Он еще мог быть полезен. Его только надо было одернуть, поставить на место, лишить возможности управлять по-диктаторски, что имело место, по сути дела. Я это стал видеть отчетливо после 1957 г.

В некоторых вопросах он не соглашался со мной только потому, чтобы не признать меня правым. Ну и потому, что не понимал. Например, я еще задолго до войны, когда был наркомом снабжения, завел специальные хозяйства крупного рогатого скота и овец. Их не доили, а выращивали только для мяса. Выписали из Англии. Сталин тогда меня понял. А Хрущев отменил. «Вот, – говорит, – у нас молока не хватает, а он их не доит. Надо всех доить». Но скот на мясо от этого становится хуже и весит меньше. К тому же я завел эти хозяйства в степях, где не было рабочей силы. На 500 коров можно было иметь одного пастуха. А доить – одна доярка на каждые 10 коров.

Хрущев во второй половине 1950-х гг. их соединил в молочно-мясные хозяйства. Надо разъединять, а он объединил. Воронов, Председатель Совета министров России, между прочим, меня понял, он со мной был согласен. Сейчас восстановили кое-что.

Раньше, когда Хрущев работал на Украине, мы с ним мало сталкивались. Но однажды столкнулись. Это было связано с его идеей устанавливать план на гектар земли.

Я уже давно ввел бонификацию и ректификацию при сдаче продукции государству. Сталин даже однажды тост провозгласил: «За твои бонификации!» Это были стимулы для повышения качества сельскохозяйственной продукции. Для зерна – процент влажности, для свеклы – процент сахаристости, влажности и т. д. Хрущев же вместо доплат за хорошее качество, вычетов – за плохое, которые я вводил, ввел прием на вес – «за мужика ратовал». Но это с его стороны было не «за мужика», а за разложение мужика.

Одно время он стал нападать на подсолнух, но удалось его

убедить, что без подсолнечного масла нам не обойтись.

Надо сказать в его пользу – в политбюро конца 30-х гг. Хрущев был одним из самых работящих. Много и активно работали он, Каганович и я. Маленков – когда исполнял приказы Сталина. Молотов был барин, не любил «черновой работы», то есть предпочитал совещания, комиссии и указания. Булганин же совсем не политик – случайно попал в высший политический орган и работой себя не перегружал. Берия довольно ловко ухитрялся выполнять многие задания, пользуясь своим положением в НКВД и МГБ. Косыгин был опытным хозяйственником, хотя в нем слишком сильна была жилка администрирования. В политическом отношении он все же мало вырос за время работы в политбюро при Сталине, и потом, с 1965 г., при Брежневе, он явно выпадал из команды – это к его чести надо сказать. Но, наверное, поэтому он побоялся меня поддержать, когда я предложил принять предложение адмирала В.Ф. Трибуца, актера Н.К. Черкасова и министра Д.В. Павлова увековечить имя А.А. Кузнецова в связи с тем, что в начале 1965 г. ему бы исполнилось 60 лет.

Предлагалось присвоить Кузнецову звание Героя Советского Союза за оборону Ленинграда, назвать его именем улицу в Ленинграде и установить бюст. Письмо мне передал мой младший сын Серго, который и организовал это письмо предварительно, написал текст и разослал его видным в Ленинграде людям. Я его ругал, что он не сделал этого раньше, – при Хрущеве это было бы легко пробить. А тут Суслов возразил, а Косыгин, на мое удивление, промолчал: видно, поддерживать меня было ему нежелательно, или не хотел спорить с Сусловым. Кто-то еще усомнился, и решение не прошло. А ведь Косыгин и Кузнецов были и родственники, и друзья.

В целом политбюро до 1957 г. было более сильным по составу работников, чем после 1957 г.

Внешней политикой Хрущев очень увлекся после смерти Сталина. Многое делал правильно. Например, налаживал отношения с развивающимися странами, нормализовал отношения с Югославией. И было очень разумно именно нашей делегации во главе с самим Хрущевым поехать туда, чтобы хоть как-то загладить оскорбления в адрес этой страны со стороны Сталина.

В середине 50-х гг. Хрущев активно выступал за разрядку, но скоро похоронил ее военными действиями в Венгрии. Я возражал, а Суслов подначивал. Хрущев же очень боялся цепной реакции, вопрос решился, пока я летел из Будапешта в Москву и не мог

принять участия в его обсуждении. Я все равно высказался против, хотя войска уже вели бои в Будапеште.

В вопросе о Берлине Хрущев также проявил удивительное непонимание всего комплекса вопросов, готов был отказаться от Потсдамских соглашений и обо всем этом осенью 1958 г. заявил в публичном выступлении без предварительного обсуждения в Президиуме ЦК и Совете министров. Это само по себе вообще было грубейшим нарушением партийной дисциплины. Я сразу же поставил вопрос и попросил присутствовавшего Громыко (он не был тогда в политбюро) высказать мнение МИДа. Тот что-то промычал нечленораздельное. Я повторил вопрос – тот опять мычит: видимо, не смел противоречить Хрущеву, но и не хотел взять на себя ответственность за такой шаг. Я долго тогда говорил о значении соглашений, перечислил возможные отрицательные для нас последствия отказа от них, настаивал на том, что в спешке такие вопросы решать недопустимо! В конечном итоге предложил отложить обсуждение на неделю, обязав МИД представить свои соображения в письменной форме. Хрущеву пришлось это принять. Остальные просто молчали. Зато когда выходили, Булганин мне шепнул: «Ты уже выиграл!»

После этого Хрущев стал меня уговаривать поехать в США, чтобы рассеять враждебную конфронтацию, возникшую в результате его же речи. Я резко возражал: «Ты затеял, ты и поезжай! Кстати, меня никто не приглашает туда». – «Нет, мне нельзя. Я первое лицо. Поезжай как личный гость посла Меньшикова. Ведь все же знают, что он был долгое время твоим заместителем во Внешторге. Возьми младшего сына, чтобы подчеркнуть частный характер поездки. А он поработает твоим личным секретарем». В общем, пришлось ехать в первые же дни нового, 1959 г.

Очень хорошо прореагировал Хрущев на мои предложения установить тесные отношения с Кубой после моей первой поездки туда в феврале 1960 г. А в Нью-Йорке во время сессии Ассамблеи ООН в сентябре 1960 г. он сделал блестящий ход, поехав к Фиделю Кастро в гостиницу в негритянский район, где тот остановился. Такие вещи Хрущев умел делать очень хорошо.

Казалось, выводы из своей берлинской авантюры он сделал.

Но в мае того же 1960 г. Хрущев опять «похоронил разрядку», раздув инцидент с самолетом-разведчиком У-2. Так нельзя было поступать с Эйзенхауэром. Тот честно взял на себя ответственность, хотя мог бы этого и не делать. Сама поездка Хрущева в США в сентябре 1959 г. давала хороший старт разрядке, и ответный визит Эйзенхауэра в 1960 г. закрепил бы эту тенденцию ввиду большого авторитета Эйзенхауэра в США, у нас

и во всем мире. Другим в Америке было бы нелегко повернуть обратно после него. Даже Даллес готов был к переменам, как я убедился в январе 1959 г. (хотя он вскоре скончался).

Но из-за того, что наши ракеты наконец случайно сбили У-2, Хрущев устроил непозволительную истерику. Заставил всю Европу, жаждавшую разрядки (может быть, кроме ФРГ, в тот период), уговаривать его в Париже. А он просто наплевал на всех, включая де Голля, занявшего независимую от США позицию. Так что он виновен в том, что отодвинул разрядку лет на пятнадцать, что стоило нам огромных средств ради гонки вооружений.

Потом в 1961 г. Кеннеди поехал на встречу в Вену с Хрущевым с подобными идеями, до Карибского кризиса, но после неудачного вторжения на Кубу в апреле 1961 г. контрреволюционеров, организованных и вооруженных американцами. Хрущев же не оценил этого стремления. Он тогда зазнался необычайно – после полета Гагарина в космос и укрепления наших отношений в Африке и Азии. Решил подавить молодого президента, только что политически проигравшего при высадке на Кубу, вместо того чтобы использовать этот шанс для разрядки.

Чистой авантюрой Хрущева был Карибский ракетный кризис в 1962 г., который закончился, как ни странно, очень удачно. Я много спорил, говорил, что американцы обязательно обнаружат завозимые ракеты в момент строительства стартовых площадок. «Кубу защищать надо, – убеждал я, – но таким путем мы рискуем вызвать удар по ней и только все потеряем». Все решила поездка маршала Бирюзова в Гавану. Во-первых, Фидель Кастро, вопреки моим ожиданиям, согласился. Во-вторых, чтобы угодить Хрущеву, Бирюзов, видимо, не очень умный человек, сказал, что «местность позволяет скрыть все работы», под пальмами, мол, их будет не видно. Я-то видел эти пальмы – под ними ракетную площадку никак не укроешь. Бирюзов заменил на посту командующего стратегическими ракетными войсками погибшего в авиакатастрофе маршала Неделина, очень умного человека, прекрасного командующего, умеющего отстаивать свое мнение, трезво мыслящего. Тот, конечно, никогда такого бы не сказал. Все шло очень трудно, на грани третьей мировой войны.

Я не мог даже вернуться из Гаваны в Москву, когда Хрущев сообщил телеграммой о смерти Ашхен. Она уже долго болела. Врачи так боялись за ее сердце, что не давали ей вставать. А потом она уже и сама не могла вставать, тем более ходить. Была бледная как полотно, ей постоянно не хватало воздуха, даже когда окно было открыто, а жили мы на даче, воздух был прекрасный. Сейчас я понимаю, что врачи были не правы. Она

еще больше ослабла оттого, что не вставала и тем более не ходила. Развилась сердечная недостаточность. Она слабела на глазах.

Мне пришлось три недели потом уговаривать Фиделя не саботировать соглашение Хрущева – Кеннеди. А он вполне в силах был это сделать, и тогда нам было бы еще труднее вылезать из этой истории. Но все кончилось без войны и без каких-либо серьезных конфронтаций в других районах мира. Пожалуй, никогда раньше мы не были так близки к третьей мировой войне.

Даже получился некоторый выигрыш для советско-американских отношений в целом. Стало ясно, что продолжение конфронтации сулит большие опасности. Можно было развить этот сдвиг в мышлении и идти к разрядке.

Вообще, крайности мешали многим хорошим начинаниям Хрущева. Даже в десталинизации он допустил ошибки, которые ослабили его позицию. Например, эта фраза, что «Сталин руководил военными действиями по глобусу», абсолютно не верна. Глобус стоял вообще в другой комнате, я его только два раза и видел: когда Япония напала на Перл-Харбор в декабре 1941 г. и еще по какому-то случаю. Сталин следил за военными действиями по картам Генштаба. Кроме того, ему специально сделали карту, которую он носил за голенищем сапога. Такая синяя карта была, он ее доставал, делал пометки, вносил изменения и засовывал обратно. (Правда, непонятно, почему в сапоге. Видимо, крестьянская привычка, еще из Гори или из деревни в Сибири, из ссылки.) Другое дело, что он часто дезорганизовывал работу Генштаба, отправляя Василевского на несколько недель на фронт, что не вызывалось необходимостью, но оставляло Генштаб без этого прекрасного маршала. Начальник Генштаба может два-три дня провести на каком-либо фронте, но больше всего нужно его присутствие в Ставке. Василевский был порядочным, спокойным, умным. Только, может быть, слишком мягким со Сталиным, недостаточно решительно противостоявшим сталинским капризам вроде «Не отступать!» или «Взять к такому-то числу!».

После 1953 г. председателем КГБ (вместо МГБ) стал Серов. Хрущев долго питал слабость к нему и не хотел его убирать, хотя Серов был заместителем Берия и вообще прошлые дела его компрометировали настолько, что подрывали доверие к новым веяниям в КГБ, которые Хрущев старался поощрить. Отправляя партийных и комсомольских работников в КГБ, чтобы изменить атмосферу в этой организации, Хрущев сам же сделал Серова председателем. С годами разоблачение репрессий делало Серова еще более одиозной фигурой, невозможно было уже его держать.

Я Хрущеву об этом говорил. Думаю, он догадывался, что это всеобщее мнение. Но их дружба домами началась еще в то время, когда Серов был наркомом внутренних дел Украины.

Помимо личных отношений играло роль, видимо, и другое обстоятельство. Когда я настаивал на снятии Серова, Хрущев защищал его, говоря, что тот «не усердствовал, действовал умеренно». Конечно, это звучало неубедительно. Скорее всего, поскольку Хрущеву самому приходилось санкционировать аресты многих людей, он склонен был не поднимать шума о прошлом Серова. Это возможно, хотя точно сказать не могу.

Серов знал, что я против него. Он искал опоры у Игнатова, секретаря ЦК, имевшего тогда влияние на Хрущева, да и Игнатов искал сближения с Серовым. Игнатов сам рвался к реальной власти, хотел Хрущева свести к положению английской королевы. В этом Игнатову препятствовали сначала Кириченко, потом Козлов. Кириченко такой цели не ставил, но Игнатову тоже не хотел давать хода. А Козлов рассуждал точно так же, как и Игнатов, только главную роль отводил себе: «Пусть он ездит по всему миру, а мы будем управлять».

Именно Кириченко помог убрать Серова. Это было очень трудно. Насколько Хрущев стоял за Серова, видно из следующей скандальной истории. Шверник представил ему документы о том, что Серов награбил в Германии имущества чуть ли не на 2 млн марок – не помню точно. Потом я узнал, что эти материалы раскопала Шатуновская. Она сама мне рассказала. Шверник не знал об интригах. Он был честный человек, немного наивный, правда. Но даже после этого Хрущев упрямился. «Нельзя, – говорит, – устраивать шум. Ведь многие генералы были в этом грешны во время войны» (а Шверник подготовил проект решения об исключении Серова из партии). Я ему говорю: «Хорошо, не устраивай шум. Но хотя бы надо снять с этой работы. Нельзя терпеть вора на должности министра, да еще такого». Но Хрущев все-таки не уступал. Тут и Игнатов сыграл свою роль, поддерживая Серова против меня.

Но Кириченко, хоть и не очень одаренный, но порядочный, хороший человек, однажды прямо при Игнатове выразил удивление, что тот часто общается с Серовым, хотя по работе у них точек соприкосновения практически нет, так как председатель КГБ выходил прямо на первого секретаря – Хрущева. Речь шла о том, что Серов часто в рабочее время приезжает в кабинет Игнатова. «Конечно, это не криминал, – заметил Кириченко. – Просто как-то непонятно, несколько раз искал Серова и находил его по телефону у тебя». Игнатов стал утверждать, что ничего подобного не было, что он с Серовым не

общается. В этот раз прошло без последствий, хотя само такое яростное отрицание очевидного факта обычно выглядит хуже, чем сам факт.

Кириченко не успокоился и через некоторое время вернулся к этому вопросу уже при Хрущеве. «Как же ты говоришь, что не общаешься с Серовым? – спросил он Игнатова. – Я его сегодня искал, ответили, что он в ЦК, стали искать в Отделе административных органов – не нашли. В конечном итоге оказалось, что он был опять у тебя в кабинете». – «Нет, он у меня не был!» Тогда Кириченко называет фамилию человека, который по его поручению искал Серова и нашел его выходившим из кабинета Игнатова. Хрущев так искоса посмотрел на Игнатова, промолчал. Но все стало ясно.

Только после этого случая Хрущев согласился убрать Серова из КГБ. Перевели его в Генштаб начальником ГРУ. Эта должность не связана с политикой внутри страны. Но только после дела Пеньковского удалось нам настоять на том, чтобы уменьшить его генеральский чин и убрать с большой работы.

Козлов и Игнатов вели борьбу друг против друга. Между прочим, я сначала к Игнатову хорошо относился: выходец из рабочих, ловкий и активный в работе. Но он оказался неисправимым интриганом с непомерными амбициями. Поэтому вначале Козлов старался заручиться моей поддержкой, дружить со мной, когда работали в Совете министров. Конечно, дружбы у нас с ним быть не могло.

Козлов был неумным человеком, просталински настроенным, реакционером, карьеристом и нечистоплотным к тому же. Интриги сразу заменили для него подлинную работу. Вскоре после того, как Хрущев перевел его в Москву из Ленинграда, выведя из-под острой критики и недовольства им Ленинградской партийной организации, роль Козлова, введенного в Президиум ЦК, стала возрастать. Он был большой подхалим. Видимо, разгадал в Хрущеве слабость к подхалимам, еще будучи в Ленинграде. Тогда-то Хрущев и сказал знаменитую фразу: «Не делайте из Козлова козла отпущения». Между тем к нему были обоснованные претензии ленинградцев за его преследование тех лиц, которые уцелели в ходе «ленинградского дела» 1949–1950 гг.

Припоминаю эпизод, когда на Президиуме ЦК Козлов чуть не разрушил весь механизм СЭВа. Однажды, незадолго до его инсульта, на Президиуме докладывал Архипов о СЭВе. Видимо, интригуя против меня (я курировал наше представительство в СЭВе), Козлов выступил очень резко против нашей деятельности в СЭВе. Конечно, не по существу, не конкретно, так как он не знал сути работы этой организации, да и знать не хотел. У меня тоже

время от времени возникало неудовлетворение работой СЭВа, но я искал пути, как улучшить эту работу. Козлов же стал все огульно хаять, грубо обзывать Архипова, назвав дураком, что было недопустимо на официальном заседании. Более того, он предложил Хрущеву потребовать от социалистических стран Европы отказаться от правила единогласия в СЭВе и перейти к решению вопросов простым большинством, отменив право вето каждого из участников. Это был бы чрезвычайно опасный шаг: и так со стороны Польши, Румынии, Венгрии было недовольство навязыванием им определенных решений, а лишить их права вето означало бы пойти на риск прямого конфликта, саботажа деятельности СЭВа. Потенциально такой конфликт мог потянуть за собой и другие конфликты. Услышав такое, я решил опередить Хрущева – его реакция была непредсказуемой – и вмешался. «Это – суверенные государства, – сказал я. – Заставить их подчиняться большинству, которое мы, конечно, почти всегда себе обеспечим, значит посягнуть на их суверенитет. Мы уже имели события в Венгрии и Польше. Только право вето позволяет иметь СЭВ. Козлов не понимает простых вещей. Фрол, – сказал я, обращаясь уже непосредственно к нему, – ты называешь людей дураками, хотя в данном случае больше это слово относится к тебе самому». Я не на шутку рассердился, говорил очень горячо, сознательно пошел на грубость, чтобы защитить Архипова и спасти СЭВ, а Козлова поставить на место. Хрущев в такой обстановке уже не мог его поддержать – право вето в СЭВе было сохранено.

Тем не менее Хрущев продолжал называть Козлова своим преемником. Он абсолютно в нем не разобрался. Оставить Козлова в качестве первого человека было бы катастрофой для страны. Надеюсь, многие выступили бы против. Я бы сделал это первый. А если бы ему удалось добиться поста первого секретаря, я обязательно немедленно подал бы в отставку. Зная его, я хорошо представлял, насколько он был опасен: мог попытаться действовать сталинскими приемами без ума и силы Сталина и принес бы много бед в любом случае. Он уже успел внести в Устав партии изменения, которые, по сути, гарантировали избрание в партийные комитеты любого непопулярного деятеля.

Показательно его поведение в Новочеркасске в 1962 г. Там произошли серьезные беспорядки. Хрущев решил туда послать нас обоих. Я не хотел ехать вдвоем. «Кто-то один должен ехать: или он, или я. Один человек должен решать на месте». – «Нет, вдвоем вы все обсудите, если что – доложите нам в Москву, а мы здесь уже будем решать». Я не привык уклоняться от трудных поручений и потому согласился. А вообще, теперь жалею, что не настоял на своем.

Прибыв в Новочеркасск и выяснив обстановку, я понял, что претензии рабочих были вполне справедливы и недовольство оправданно. Как раз вышло постановление о повышении цен на мясо и масло, а дурак-директор одновременно повысил нормы, на недовольство рабочих реагировал по-хамски, не желая с ними даже разговаривать. Действовал, как будто провокатор какой-то, оттого что не хватало ума и уважения к рабочим. В результате началась забастовка, которая приобрела политический характер. Город оказался в руках бастующих. Козлов стоял за проведение неоправданно жесткой линии.

Пока я ходил говорить с забастовщиками и выступал по радио, он названивал в Москву и сеял панику, требуя разрешения на применение оружия, и через Хрущева получил санкцию на это «в случае крайней необходимости». «Крайность» определял, конечно, Козлов.

Несколько человек было убито. Козлов распорядился даже подать два эшелона для массовой ссылки людей в Сибирь.

Позорный факт! Прямо в духе Ежова – Берии. Я это решительно отменил, и он не посмел возражать.

Почему Хрущев разрешил применить оружие? Он был крайне напуган тем, что, как сообщил КГБ, забастовщики послали своих людей в соседние промышленные центры. Да еще Козлов сгущал краски. Поэтому в соседние города были направлены другие члены руководства, Шелепин – в Донбасс, кажется, остальных не помню. Такая паника и такое преступление для Хрущева не типичны, виновен Козлов, который его так дезинформировал, что добился хотя и условного, но разрешения.

Вот такой человек был Фрол Козлов. Явно стремился к власти и в какой-то момент столкнулся на этом пути с Игнатовым.

На XXII съезде партии Хрущев по совету Козлова решил не включать группу Игнатова в Президиум ЦК. Тот рассказал Хрущеву, что есть такая группа: Игнатов, Аристов, Фурцева. Я поддержал это предложение, хотя мне было жаль Фурцеву. Но невозможно было ее отделить: она была целиком с ними. Да и Аристов был неподходящий человек с большими претензиями. Правильно Брежнев позже убрал его из Польши и не включил в Президиум ЦК, на что тот, как я думаю, рассчитывал: не умел работать послом, проморгал все, что там происходило. Между прочим, он почему-то скрывал, что не русский, а татарин.

Когда Игнатов перестал для Козлова представлять опасность, он стал бороться против меня: я оставался последним, кто мог еще влиять на Хрущева. А цель Козлова была та же – свести Хрущева на чисто показную роль, все решать без него, за его спиной.

После XXII съезда Козлов видел главного противника во мне. Как я сказал, к Хрущеву он нашел подход подхалимством. Хрущев это любил. Козлов был ограниченный, но хитрый. Сговаривался с Хрущевым вдвоем. Иногда я ставлю какой-либо вопрос, а Хрущев говорит: «Мы с Козловым это уже обсудили и решили так». Это Козлов на этой стадии (после Суслова в 1950-х гг.) помешал опубликовать материалы, доказывающие неправильность процессов 1936–1938 гг., реабилитацию Бухарина и других. Документ был подготовлен и уже подписан Шверником, Шелепиным, Руденко. А он хитро подошел к Хрущеву. Вспомнил, как в 1956 г. французские коммунисты были в трудном положении. Им говорили: «Вы молились на Сталина. Теперь посмотрите, кто он был». Козлов внушал: «Отложим до лучших времен». – «До каких лучших? Нельзя дольше молчать», – возражал я. Когда я убеждал Хрущева наедине перед этим, он отвечал: «Вот Козлов считает, что надо подождать. И другие секретари считают, что большое недовольство будет среди коммунистов в Европе». Так и не согласился. А я понял, что Козлов уже договорился с Сусловым. Пономарев (заведующий международным отделом ЦК) вряд ли стал бы так отвечать Хрущеву, но противоречить Суслову он бы тоже не решился.

Конечно, жаль, что тот доклад XX съезду сразу же, без нашего ведома попал к американцам. И они его «раскрутили». Мы бы провели разъяснение так, как сочли наиболее правильным и наименее болезненным. Я до сих пор, когда вспоминаю, ругаю себя, что проголосовал за рассылку текста в правящие партии социалистических стран. Думаю – зачем так срочно? Им ведь здесь дали прочитать, рассказали. И из Польши документ попал на Запад. Голосование было опросом. Это вообще-то удобно. Пишешь «за» или «прошу обсудить». Но это и плохо потому, что иногда сомневаешься, колеблешься. При устном голосовании можешь сказать: «А стоит ли?» А тут, если просишь обсудить, надо иметь готовые аргументы, обоснование, альтернативное предложение. Так у меня и получилось. Вижу – все проголосовали за, даже такие, как Молотов, Каганович. Недолго думая, проголосовал за и я.

Я считал более важным последовательно проводить десталинизацию во многих направлениях у себя дома, в нашей стране. За границей постепенно бы сами разобрались. Вот как китайцы делают с образом Мао. А у нас как раз этот процесс натыкался на препятствия, да и сейчас еще дело полностью не доделано. Дело же не только в образе самого Сталина, а в сталинских порядках в партии, в обществе. Партийная жизнь даже еще не вернулась к нравам и нормам, к демократии времен

Ленина. И неизвестно, возможно ли это теперь вообще достичь. Даже Брежнев, человек примитивный и несильный, сумел стать почти что диктатором, на него молятся, как на Сталина когдато. А это ведь определяет обстановку во всем обществе.

А тогда, в 1950-х и даже 1960-х гг. встречалось и открытое сопротивление в расчете на откат назад. Пример – ход реабилитации в 1950-х гг., еще до XX съезда.

Хрущев ввел очень правильный порядок, когда в его отсутствие вели заседания и все текущие дела Президиума ЦК поочередно другие члены Президиума, а не просто какой-либо из секретарей ЦК. Два года это делал я, потом настал черед Кагановича. И вот до меня доходит информация, что реабилитация замедлилась. Я вызываю Руденко и спрашиваю: «Что происходит? У вас что, политика изменилась? Но политика ЦК не менялась». Он очень взволнованно говорит, очень откровенно (он был хороший человек, порядочный, но не оченьто самостоятельный и не из самого храброго десятка): «А вы знаете, Анастас Иванович, я был у Кагановича по делам реабилитации, а он мне сказал: «Сейчас ищут виновных в арестах. Но вы не думаете, что наступит время, когда начнут искать виновных в освобождении?» Вот я и подумал, что намечаются какие-то изменения». Я ему твердо заявил, что с полной ответственностью могу заверить: никто не менял политику ЦК, что это личные мысли Кагановича и надо продолжать работу по ускоренной реабилитации.

Возвращаюсь к Хрущеву. Он не любил статистику. Ему всегда делали выборку: низшие показатели, высшие показатели и т. д. Я же очень люблю статистику и до сих пор читаю и сообщения ЦСУ, и комментарии к ним, статистику в печати. Когда речь зашла у нас о новой Программе партии и туда предложили включить цифры, я протестовал. Цифры – не для программ. В программах, принятых раньше, только одна цифра – 8-часовой рабочий день (до него был 9-часовой). И не нужно. А тут записали 240 млн тонн стали. Зачем? Кому известно, что понадобится столько? Вот у США огромные мощности недогружены: омертвленный капитал. Делали 100 млн т, сейчас делают 130. Больше им не надо. Зачем нам вкладывать гигантские средства в то, что, может, и не понадобится? Надо действовать по обстоятельствам.

Но Хрущев не отступал: «Это же не скоро, только к 1980 г.». Я так понял его, что он не рассчитывал дожить до конца периода «строительства коммунизма» и ему не так важно, реальные это цифры или нет. А в результате мы уже не выполняем заданий программы. Ему же был нужен эффект для народа. Он не понимал, что народ потребует выполнения или объяснения. Я

понимаю – записать: «добиться производства высококачественного металла в количестве, полностью удовлетворяющем потребности» и т. д., но цифры?..

Легче было с формулировками Программы. Например, я предложил Пономареву изменить несколько формулировок по международным проблемам. Он, толковый в таких вопросах человек, сразу согласился. Я потом рассказал Хрущеву, и он легко согласился, даже не расспросив, какие конкретно формулировки мы изменили. В этом вопросе доверял мне, да и не считал это для себя важным.

Но вот никак не вышло у меня с формулировкой о роли партии. Там в проект вставили фразу о «постоянном росте руководящей роли партии». Вечно будет расти – так получалось. Почему должно быть так, если будет нормальное развитие общества? Партия должна контролировать, а не решать вопросы вместо других органов управления или общественных организаций. Нет, Хрущев этого не принимал. Руководящая роль партии – значит, все будет в руках у него и у каждого, кто придет на его место.

Теперь даже райисполком без райкома ничего не решает. Глупо! Так даже контролировать нельзя. Сказать – неправильное решение, ответят: «Куда же вы смотрели? Вы же сами утверждали». Свобода критики и исправления ошибок уменьшается, а ответственность за ошибки для партийных органов увеличивается. В общем, глупо.

Многое, что мне прочитали из американского издания мемуаров Хрущева, меня возмущает. Как можно говорить столько неправды? Зачем? Не понимаю и того, как он может говорить в этой книге: «Где они были при Зиновьеве, Бухарине и других?..» Это ведь, как бумеранг, бьет по нему самому, да еще сильнее, чем по нас. Мы были делегатами съездов, членами ЦК, я был секретарем крайкома. На пост наркома меня рекомендовал сам Каменев, подавший в отставку. Так я стал и кандидатом в члены политбюро. Членом стал в 1935 г., после смерти Куйбышева, убийства Кирова, но до арестов членов политбюро. А Хрущев ведь сделал карьеру в Москве за два-три года. Почему? Потому что всех пересажали. Ему помогла выдвинуться Алиллуева – она его знала по Промакадемии, где он активно боролся с оппозицией. Вот тут он и стал секретарем райкома, горкома, попал в ЦК. Он шел по трупам.

Хотя с Хрущевым было трудно, но все же я был искренне огорчен его отстранением. Все-таки он гораздо больше понимал, чем Брежнев, в политике, имел больший политический опыт работы в политбюро. Наконец, его военный опыт на высокой

должности члена Военного совета фронта был гораздо весомее, чем у Брежнева. Притом он был активным членом Военного совета, не то что некоторые. И вообще он болел за дело, был активным, твердым, когда надо было.

Видимо, «слава» Хрущева как непредсказуемого человека и сложившаяся вокруг него обстановка и помогли в Президиуме ЦК тем, кто решил его отстранить. Раньше это были почти все его люди. Но он и не сознавал, что они уже перестали быть «его людьми». У них же было другое беспокойство. Отнюдь не государственные соображения были для них решающими, а сугубо личные: они стали бояться изменчивости лидера – боялись за свои посты, чувствовали неуверенность, будучи целиком зависимы от его капризов и настроения. Поэтому и решились его убрать. Они были не храброго десятка, особенно сам Брежнев. Теперь я думаю, Хрущев сам их спровоцировал, пообещав после отпуска внести предложение об омоложении Президиума ЦК. Даже при наличии заговора они, возможно, долго бы еще не решились его реализовать, поскольку Брежнев был трусоват, как и Суслов. Косыгин же был не из их команды. Но некоторые и так рвались в бой, как, например, Игнатов, стремившийся вернуться в Президиум ЦК.

Мы собирались в Пицунду, когда сын Хрущева Сергей рассказал о заговоре со слов одного чекиста при Игнатове. Хрущев известие не принял всерьез, и, уж конечно, не стал из-за этого откладывать свой отпуск. Он на всякий случай поручил мне встретиться с этим чекистом и улетел отдыхать. Я должен был лететь туда же через несколько дней. Ни один из нас не принял достаточно серьезно рассказ чекиста. Вернее, я, выслушав его, понимал, что человек этот честный и говорит то, что думает. Но было и впечатление, что он может все сильно преувеличить. Большинство фактов – мелкие, недостаточно убедительные. Слова Игнатова о тех или иных людях были неопределенные – «хороший человек», «нехороший человек». Ругань в адрес Хрущева понятна, имея в виду амбициозность Игнатова и тот факт, что Хрущев не ввел его в Президиум ЦК, а надежды на приближение к власти у того всегда были. С другой стороны, от Игнатова можно было всего ожидать. Но все остальные? Хрущев еще в Москве, до отъезда в Пицунду, сказал мне, что не верит в участие в «заговоре» Шелепина и Семичастного; не верит, что Воронов мог объединиться с Брежневым – они друг друга ненавидели; Суслова он вообще идеализировал. Похоже, он принимал подхалимаж всерьез и не верил, что люди, поставленные им так высоко, способны против него пойти.

Я их хуже знал. Он же лет двадцать со многими из них

работал до того, как поднять их в руководство партией. Если он им больше верит, чем этому чекисту, почему я должен меньше верить? Поговорив с чекистом, я все еще не имел твердого мнения, прав ли он или заблуждается. Решил в Пицунде оставить на усмотрение Хрущева. Все равно мне делать было нечего по этому вопросу, он мне только поручил выслушать, никаких особых полномочий, естественно, не дал.

Прилетел я в Пицунду дня через три после него. Но он и там всерьез не думал об этом деле. Правда, он спрашивал некоторых людей, которых чекист называл участниками заговора, верны ли эти слухи: Подгорного – еще в Москве, Воробьева, встречавшего его в Адлере, и др. Все, конечно, отрицали. И мы с ним спокойно отдыхали, гуляли в чудесном реликтовом сосновом лесу, купались в бассейне. В такой обстановке у нас с ним обычно налаживались хорошие, доверительные отношения, с ним можно было обо всем говорить. Слушал, обсуждал спокойно.

И вдруг звонит Брежнев, вызывает в Москву на пленум по сельскому хозяйству, запланированный на более поздние сроки.

Сначала Хрущев недоумевал. Потом, повесив трубку, сказал: «Сельское хозяйство здесь ни при чем. Это они хотят обо мне поставить вопрос. Ну, если они все против меня, я бороться не буду». Я сказал: «Правильно». Потому что как бороться, если большинство против него? Силу применять? Арестовывать? Не то время, не та атмосфера, да и вообще такие методы уже не годились. Выхода не было.

Прилетели. Сначала был разговор в Президиуме ЦК. Кроме серьезных обвинений были и чепуховые: сына, мол, сделал доктором наук и Героем Социалистического Труда. Конечно, я бы никогда такому делу не протежировал. Уверен, что и Хрущев этого не делал. Просто подхалимы делали, а он не возражал. Кстати, оказалось, что сын его – кандидат наук, а не доктор. Это Шелепин придумал. Обвиняли еще, что взял у Насера в Египте в подарок пять автомашин. Я лично такие подарки отдавал в клуб завода «Красный пролетарий». Подарки из Японии передал в Музей восточных культур. Но у Хрущева сохранилось что-то крестьянское – он эти подарки себе и семье своей оставлял, тем более что общего положения на этот счет не было, и я поступал по традициям 20-х гг., когда крупные подарки не принято было принимать и оставлять себе. Но все-таки это не политический вопрос, а чисто бытовой. И норм никаких не было, какие он бы нарушил.

Я заступался за Хрущева из политических соображений. Но такие ретивые, как, например, Демичев, даже пытались мне угрожать. Демичев сказал что-то вроде: «Если вы будете

защищать Хрущева, мы и о вас поставим вопрос». Я его резко одернул, ответив, что, когда обсуждаются важные политические вопросы, я не думаю о своих личных интересах.

Уже когда обсуждение шло без присутствия Хрущева, видя, что вопрос о его освобождении с поста первого секретаря окончательно решен, я предложил сохранить его на посту Председателя Совета министров хотя бы на год, а там видно будет. Я имел в виду, что можно использовать его политический капитал во всем мире, его положительные качества и правильное отношение к десталинизации, но лишив возможности быть почти что полным диктатором, и таким образом иметь возможность противостоять его страсти к неоправданной административной чехарде.

Между прочим, Брежнев сказал, что это предложение он понимает и его можно было бы принять, если бы не характер Никиты Сергеевича. Его поддержали: очень уж они боялись его решительности и неуемности. Только жизнь Хрущева дома и на даче, да еще под надзором КГБ, их устраивала.

Глава 50
Времена Брежнева

После ухода Хрущева и последовавших перемещений в руководстве роли распределились следующим образом: Брежнев стал первым секретарем ЦК, Косыгин занял пост Председателя Совмина, Подгорный – второго секретаря ЦК, хотя официально такого поста в партии не было. Я оставался Председателем Президиума Верховного Совета СССР. На эту должность Хрущев уговорил меня перейти летом 1964 г. с целью превратить Верховный Совет в действующий парламент. Он говорил: «Почему буржуазия умнее нас? У них парламенты создают впечатление участия народа в управлении. Это, конечно, фикция, но очень здорово показывает народу, что он может влиять, и даже решающим образом. Почему же наш парламент только штампует решения ЦК и правительства? Министры чихать хотели на наш парламент, а в Англии они отчитываются перед парламентом, отвечают на их запросы и т. д. Почему нам тоже не сделать так, чтобы Верховный Совет вызывал для отчета, пропесочивал бы их. Более того, он может и вносить предложения в правительство об изменении каких-то решений». Хрущев рассуждал совершенно правильно. Это пример того, что у него появлялись прекрасные новаторские идеи.

«Чтобы осуществить это нелегкое дело, – продолжал далее Хрущев, – надо много энергии и труда вложить, сломить сопротивление аппарата. Для этого нужен авторитетный и решительный человек». По его мнению, с этим могли справиться только два человека: или он, или я. Но он не мог совмещать три должности. И вообще такое новое дело требовало, чтобы ему посвятить все время, ни с чем его не совмещая.

Мне его идея понравилась, я счел ее очень своевременной и полезной для демократизации в стране. Поэтому я согласился, и, пока Хрущев был у власти, я энергично взялся за это дело. С первых же дней для начала я превратил приемы послов с верительными грамотами из чисто протокольных в политические мероприятия. Потребовал у МИДа подробных справок по проблемам тех стран, о которых я мало знал и чьи послы просились на прием. С послами великих держав мне было легче, потому что как член Президиума ЦК я был в курсе основных проблем из шифровок наших послов и других материалов. И все равно требовал дополнительный материал из МИДа. Некоторые послы уже после моей отставки рассказывали мне на приемах, что

я их ставил в трудное положение: они не готовились к серьезному разговору, зная, что практика чисто протокольных бесед утвердилась в Верховном Совете.

Так, в конце 1960-х гг. английский посол на приеме в его посольстве в честь Гарольда Вильсона напомнил мне, в какое сложное положение я его поставил, когда он пришел вручать верительные грамоты и совершенно не был готов к серьезной беседе. Прежние Председатели Президиума беседовали о погоде, беседы шли, можно сказать, несколько минут, главным образом, чтобы сделать памятные фотографии. И английский посол ожидал того же. А я навязал ему трудную политическую беседу, в частности, как он вспоминал, по германскому вопросу.

Мои помощники собирали материал о правилах и нормах парламентской жизни в буржуазных странах, я даже поручил им собрать материал по статусу президента в тех разных странах, где он есть. Хрущев одобрил мою идею обдумать вопрос о переименовании Председателя Президиума в Президента. Соответственно каждый республиканский глава Верховного Совета становился бы президентом у себя в республике и вице-президентом СССР. Это должно было импонировать республикам, поднять их статус.

Но уже через несколько месяцев Хрущев ушел, а новое руководство не было заинтересовано в этих идеях. Эти руководители оказались даже меньшими демократами, чем «полудиктатор» Хрущев. Так новый стиль приема послов и остался практически единственным изменением в Верховном Совете. Такая работа мне была неинтересна.

Правда, я работал и в Президиуме ЦК, и это по-прежнему было важно. Но новый Первый секретарь оказался довольно безразличным к государственным делам, к работе. Вот тут я и вспомнил, как Гай Туманян, брат Ашхен, рассказывал мне, как он, будучи заместителем начальника Бронетанковой академии, попал однажды на прием к Леониду Ильичу Брежневу, когда тот в ЦК отвечал за военные дела. Гай вспоминал, что он основательно подготовился, выделил наиболее важные вопросы, требовавшие решения. Начал докладывать и вдруг увидел в глазах собеседника такую тоску и равнодушие, что резко свернул доклад и быстро его закончил, не задавая всяких сложных вопросов. Только тогда Брежнев оживился, стал говорить какие-то хорошие слова. А Гай удивлялся потом: «Я бы за такой доклад выругал, спросил бы: ну и что? В чем суть ваших проблем? Что вы предлагаете? Вообще, зачем пришли? А тот был очень доволен, что я не продолжил, как начал».

Кроме Гая мне и другие рассказывали о подобных случаях. На

Президиуме ЦК это было не так заметно, потому что Брежнев просто поддакивал Хрущеву. Правда, еще когда Молотов был там, то однажды так одернул Брежнева, что тому стало плохо, чуть не обморок у него был.

С приходом на пост первого секретаря Брежнева уровень ведения заседаний и обсуждений на Президиуме заметно понизился. Правда, тут я ощущал пока свою полезность, потому что иногда высказывались совершенно сумасбродные идеи, а Брежнев и некоторые другие просто не понимали по-настоящему, какие последствия могли бы быть. Приведу несколько примеров.

В середине мая 1965 г. США усилили бомбардировки Северного Вьетнама и начали вооруженную интервенцию в Доминиканскую Республику. Это вызвало резонанс в Президиуме ЦК и в правительстве. Многие были заметно возбуждены. На заседании Президиума ЦК КПСС выступил министр обороны Малиновский с оценкой положения и с предложениями, как потом оказалось, по поручению первого секретаря ЦК Брежнева. Доклад у министра был в письменной форме, он его зачитал, но кое-что добавил и от себя.

На мой взгляд, оценка положения была дана неправильная. Смысл того и другого события был искажен, значение преувеличено, оба события истолковывались, по сути дела, как шаг американцев к столкновению с нами. Утверждалось, что нам нельзя ограничиваться тем, что мы делаем сейчас, помогая Вьетнаму, что после доминиканских событий следует ожидать акций, направленных против Кубы. Поэтому мы должны активно противодействовать американцам.

Предлагалось на Западе (в Берлине и на границе с Западной Германией) провести военные демонстрации, перекинуть некоторые части – воздушно-десантные и другие – с нашей территории в Германию, в Венгрию. Министр подчеркнул, что нам нужно быть готовыми ударить по Западному Берлину. Потом от себя добавил, что «вообще нам в связи с создавшейся обстановкой следует не бояться идти на риск войны».

Эти слова Малиновского меня поразили.

Сославшись на позднее время и важность вопроса, я предложил предварительно обдумать и в следующий раз специально обсудить этот вопрос.

Через неделю это было сделано. Министр доклад повторил, но там уже не говорилось о риске войны и о Западном Берлине. Речь шла о демонстрационных мерах, об учениях войск и пр. Предложенные меры, конечно, могли быть проведены и какое-то впечатление могли произвести, но не имели бы никакого результата, кроме отрицательного.

После Малиновского в том же духе выступил Брежнев, затем выступил и я. Сказал, что требуется трезвая оценка обстановки. Что касается Вьетнама, то сами вьетнамцы говорят, что готовы вести борьбу 10 лет и дольше, до полного освобождения страны. Возможности китайцев же, естественно, еще большие. Поэтому не надо так горячо на это реагировать, надо быть более спокойными.

«К тому же, – подчеркнул я, – мы сами не можем принять никаких мер, поскольку без согласия и содействия Китая это невозможно. А он, конечно, не даст согласия на ввод наших частей во Вьетнам. Да и сами вьетнамцы, как вы знаете, отказались от наших сил, которые мы им предлагали. Что касается Кубы, то, конечно, американцы, и в первую очередь Джонсон, хотел бы с Кубой расправиться, но я не вижу данных, которые говорят о том, что американцы готовятся напасть на Кубу».

Говоря о Доминиканской Республике, я сказал, что мы с ней никакими обязательствами не связаны, но ведем всю необходимую борьбу против американцев в защиту Доминиканской Республики в Совете Безопасности политическими средствами. И Кастро очень доволен нашей позицией в этом конфликте.

Я выразил удивление и неудовольствие по поводу тона доклада и предложений министра.

«Все предложенные меры не дадут никакого эффекта, если не иметь сознательной целью начать третью мировую войну, но должны ли мы воевать в Европе против американцев, когда они повода прямого не дают, ведут себя вполне прилично и в Берлине, и в других странах, где находятся наши войска? И разве не ясно, что это станет началом третьей мировой войны?

Главный смысл всей нашей политики – сохранить мир для Советского Союза и тех социалистических стран, с которыми мы имеем прямые договоры об обороне. Если, например, нападут на ГДР, Чехословакию и другие соцстраны, то, конечно, мы должны будем воевать».

Я предложил никаких мер не принимать, а если есть планы учений войск и других подобных мероприятий, то провести их в назначенные ранее сроки. Что же касается предложения созвать Консультативный комитет Варшавского пакта, против этого я не возражал, поскольку созыв через полгода очередной сессии будет естественным. Там и обсудить с союзниками вопрос о нынешней обстановке и другие вопросы, но нам не следует им предлагать что-либо из того, о чем говорил министр обороны. Можно спросить, что они думают по поводу действий США, и выслушать их предложения. Я сказал, что убежден, что ни Польша, ни

Чехословакия, ни другие страны не поддержат предложения, высказанные нам здесь.

Выступил также Косыгин, сказав, что ведь когда-то Сталин начал блокаду Западного Берлина, но вынужден был отступить, при этом мы потеряли наш престиж. Неправильно сделал и Хрущев в 1958 г. и в 1961 г. после выступления Кеннеди по поводу увеличения количества оккупационных войск. Это не привело к поднятию нашего престижа, а наоборот.

Подгорный и Суслов высказались в том же духе.

Договорились через месяц-полтора провести очередное Консультативное совещание, но такого рода предложений не вносить.

После отстранения Хрущева кое-кто в Президиуме, например Шелепин – это я точно помню, высказал мысль, что отношения с КНР обострились по вине Хрущева. Поэтому было решено предпринять кое-какие меры по налаживанию межгосударственных отношений. Я был особого мнения о причинах конфронтации между КНР и СССР, но предпринять шаги к улучшению отношений считал правильным. Но то, что было предложено, меня просто поразило.

В середине июня 1965 г. на заседании Президиума ЦК был поставлен вопрос о том, что хорошо было бы передать ЦК компартии Китая и правительству Китая предложение о подписании договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Китаем, в котором было бы заявлено, что всякое нападение на Китай будет рассматриваться как нападение на Советский Союз. Тем более что фактически такое заявление было сделано Хрущевым в 1958 г.

Очень возможно, что китайцы это дело не примут в данных условиях, но зато отказ разоблачит их в еще большей степени и укрепит наш авторитет и влияние в других социалистических странах и коммунистических партиях.

По этому поводу я высказал следующее.

Между односторонним заявлением, сделанным Хрущевым семь лет тому назад, когда наши отношения с Китаем были хорошие, и формальным договором между нашими государствами сейчас – большая разница. Нужно иметь в виду, что китайцы всячески стараются нас столкнуть с американцами. Они могут использовать такой договор, чтобы втянуть нас в военные действия с Соединенными Штатами.

Нельзя исходить из того, что китайцы обязательно не примут этого договора, могут и принять. Поэтому лучше исходить из того, что примут, – хотя я лично склоняюсь к тому, что не примут.

Но могут принять и предложить, чтобы такой же договор был подписан одновременно с ДРВ. В нынешних же условиях такой договор с ДРВ означал бы прямое вступление наше в войну с американцами. Пойти на такой договор с Вьетнамом нельзя. И я думаю, что если нам это предложат, то нам придется тогда отказаться, а значит, поставить себя в очень трудное положение.

А могут китайцы и такой номер выкинуть: трехсторонний договор между СССР, Китаем и Вьетнамом. Вот почему рискованно такой шаг делать.

У нас уже есть договор с Китаем против агрессии Японии и союзнических держав.

Когда я был в Японии, то мне заявляли руководящие деятели правящей партии и государства, что, по их мнению, этот договор потерял силу, хотя, может быть, я неточно цитирую сейчас.

На реплику Косыгина, что по этому договору мы должны воевать против американцев в случае их нападения на Китай, поскольку они являются военными союзниками Японии, я заявил: «Этот их военный договор предусматривает только защиту со стороны США безопасности Японии и не предусматривает, чтобы Япония участвовала на стороне США в войне с другими государствами. Конституция Японии запрещает отправку японских войск за границу. Японцы не участвуют поэтому и во вьетнамской войне. А в случае войны Америки с другим государством также могут не участвовать, ибо это не вытекает из их договора. Так же это было и во время корейской войны, японцы в ней не участвовали.

Наконец, такое предложение, когда все наши предыдущие предложения о сближении с китайцами были отвергнуты ими в грубой форме, теперь повторенное в таком плане, будет истолковано китайцами как проявление нашей слабости. Они поймут так, что мы никак не можем без дружбы с Китаем держаться, поэтому ищем новые и новые средства.

К тому же они прямо призывают к свержению нынешнего руководства нашей страны и думают: не исключено, что могут прийти другие люди, которые будут согласны с китайской позицией и примут их условия. Прямо пишут, что наша партия и правительство уже переродились, стали буржуазные, отражают буржуазные интересы правящих кругов и интеллигенции и что борьба с нами – это классовая борьба. Ведь не случайно они открыто пишут теперь: «Чтобы уничтожить империализм, надо до этого уничтожить ревизионизм КПСС». Таким образом, КПСС является врагом № 1 в сравнении даже с империализмом.

К тому же заключение такого пакта с Китаем наш народ также не поймет, поскольку будет опасаться, что мы можем быть

вовлечены в большую войну через военный договор с Китаем».

Меня поразило тогда выступление Громыко, который сказал, что нынешняя международная обстановка аналогична предвоенной ситуации. Я высказал удивление такой оценкой нынешнего положения со стороны министра иностранных дел. Ведь американцы избегают всякого конфликта с нами в Европе и везде, где бы ни находились наши войска. И почему нужно считать – то, что они делают в Доминиканской Республике, направлено против нас? Это отражает их понимание своих интересов в Латинской Америке и вовсе не похоже на предвоенную ситуацию, когда готовилось нападение Гитлера на Советский Союз и другие страны.

Наконец, война во Вьетнаме также не показатель предвоенной ситуации. Во-первых, они давно ее ведут; во-вторых, сами вьетнамцы готовы воевать чуть не десять лет, а китайцы даже добиваются этого; ведь чем дольше останутся американцы связанными во Вьетнаме, тем лучше для них[18].

Неправильное толкование, неправильная оценка нынешней ситуации может привести к неправильному, даже опасному политическому шагу.

На заседании Президиума ЦК КПСС в августе 1965 г., где присутствовали члены Президиума ЦК, секретари ЦК и кандидаты в члены Президиума ЦК, в том числе и работающие на местах, поздно вечером, когда повестка дня уже была исчерпана, был поставлен вопрос о письме первого секретаря ЦК КП Украины Шелеста, разосланном членам Президиума ЦК КПСС раньше. В том письме Шелест, ссылаясь на то, что на международных форумах многие страны, которые не торгуют с Советским Союзом, обращаются к украинским представителям с предложением заключения торговых соглашений с Украиной, не называя при этом ни одной страны и ссылаясь на высокий международный престиж Украины – она членучредитель ООН, – предлагает предоставить право Украине выступить самостоятельно на внешнем рынке. Он критикует Минвнешторг и просит поручить заинтересованным организациям представить соответствующие предложения.

Письмо было послано в отсутствие Брежнева, когда тот находился в отпуске в Крыму. Замещавший его Подгорный, получив письмо Шелеста, поручил ВСНХ СССР, Госплану СССР и Минвнешторгу представить свои соображения.

Новиков, Ломако и Патоличев дали внешне корректную, а по существу резко отрицательную оценку этому предложению Шелеста.

Я выразил недоумение по поводу появления такого письма Шелеста и заявил, что оно противоречит принципам монополии внешней торговли СССР. Брежнев сказал, что не знал о поступлении этого письма и что Подгорный (как он ему уже говорил) не должен был посылать это письмо на заключение ведомствам.

Выступил Шелест. Он сказал, что, получив записку с резко отрицательной политической оценкой своего письма, был удручен и удивлен. Он не имел в виду такого смысла в своих предложениях, исходил из деловых интересов. Письмо ему подготовили товарищи из Министерства иностранных дел Украины.

Хотя этот вопрос на Президиуме ЦК КП Украины и не обсуждался, но члены Президиума знали, что он пишет такое письмо. «Сейчас я чувствую, – заявил он, – что это письмо ошибочное, понимаю ошибку и готов взять это письмо обратно».

Я взял слово и сказал, почему меня поразило это письмо Шелеста. Еще 42–43 года тому назад (я был участником обсуждения этого вопроса в ЦК) в партии были исчерпаны разногласия и отвергнуты все предложения против монополии внешней торговли в Советском Союзе. Очень удивляет, что этот вопрос теперь возникает. Считаю, что заявление товарищей резкое, но по существу они дают правильную политическую оценку предложению Шелеста. Однако ввиду того что Шелест сам признает ошибочность своего предложения, предлагаю принять к сведению, что Шелест берет обратно это свое письмо.

Обращаясь к Шелесту, я сказал: «Товарищ Шелест, вы обязаны, ваш долг, приехав в Киев, обсудить и сообщить обо всем этом членам Президиума ЦК КП Украины, навести настоящую самокритику в связи с той политической ошибкой, которая вытекает из вашего предложения, и сделать необходимые выводы в своей работе из этого».

Потом выступил Демичев, который, кроме того что присоединился к отрицательной оценке письма, развернул вопрос, утверждая, что на Украине и в самом ЦК КП Украины процветает национализм. Он говорил, что в аппарате ЦК КП Украины почти не осталось русских (Шелест дал реплику, что это неправильно), привел такой факт, что недавно сын Ивана Франко (ученый или писатель) и один врач обратились к депутатам Совета национальностей по вопросу о национальных языках в республиках, настаивая на том, чтобы национальные языки преподавались во всех школах республик, а также в вузах, то есть чтобы на Украине преподавался украинский язык, а не те языки, которые соответствуют желанию родителей учащихся. Демичев

обвинил в этом ЦК Украины, хотя это было письмо нескольких интеллигентов, не являющихся членами ЦК, и за их письмо ЦК не может нести ответственности, что я и отметил. Шелест также возмущался таким подходом.

Демичев заявил далее, что недавно в Киеве Московская и Советская улицы и ряд других переименованы, им дали имена украинских писателей (Шелест заявил, что он не знает об этом, не слыхал, приедет и разберется).

Демичев стал говорить, что секретарь ЦК Украины по пропаганде Скаба очень плохо выступил с точки зрения национальной политики на совещании в ЦК. На реплику Подгорного, что ведь недавно на его запрос Демичев сказал, что Скаба очень хорошую речь произнес на этом совещании, Демичев ответил: «Это правильно, но это касается последнего совещания, а то выступление Скабы, которое я критикую, было полгода тому назад, на другом совещании».

Дело дошло до того, что, критикуя уже Подгорного, Демичев сказал, что Подгорный предложил недавно министру кинематографии СССР поехать в Киев и обсудить там идеологические вопросы кинематографии. Выходит, что союзный министр должен получать указания по идеологическим вопросам в Киеве! (Подгорный дал реплику: он министра туда не посылал и просит, чтобы была учинена проверка по этому вопросу.)

Потом выступил Шелепин и заявил, что он согласен со всеми, но считает это дело более крупным, и нельзя поэтому отделываться таким предложением, которое внес Микоян. Он стал критиковать Подгорного за то, что он послал на заключение такое письмо Шелеста, а это значит по существу, что он был согласен с ним. За эту политическую ошибку несет ответственность не только Шелест, но и Подгорный.

Шелепин далее говорил с раздражением против Подгорного: на каком основании второй секретарь ЦК КПСС (я дал реплику, что у нас нет второго секретаря ЦК, и другие подтвердили, что нет второго секретаря) курирует Украину? Теперь невозможно ни в ЦК, нигде вмешаться в дела Украины из-за этого.

Он стал приводить факты, как украинские организации нарушают план поставок в другие республики, а для себя перевыполняют. Сильно критиковал Председателя Совмина Украины за нарушение союзных порядков. Оказалось, что у Шелепина подготовлена целая записка по украинским вопросам. В этой записке приведены факты нарушения поставок угля, металла и другого из Украины.

Он также стал нападать на Шелеста за то, что он внес предложение об уменьшении фонда поставок мяса в

общесоюзный фонд, чтобы увеличить торговлю на Украине.

Брежнев сказал, что Украина потребляет мяса на душу населения больше, чем другие союзные республики, – 45 кг, в то время как Узбекистан – 23 кг, Армения – 25 кг и т. д.

Шелепин заявил: дело дошло до того, что в Севастополе при вручении награды Черноморскому флоту, флоту русской славы, все выступления были на украинском языке. Подгорный дал реплику, что это неправильно, что он сам был на этом празднике, все выступления, в том числе и Шелеста, и секретаря Крымского обкома партии, и всех других товарищей, были на русском языке. Только приветствие от ЦК КП Украины было на украинском языке.

Шелепин сказал, что все-таки на Украине из 40 млн по переписи 9 млн человек других национальностей, из них 8 млн человек русских, а в Крыму русских больше, но передачи по радио, телевидению ведутся на украинском языке. Насаждается в ущерб русскому языку украинский.

Здесь явно националистическая линия во всех вопросах, сказал далее Шелепин, не только в отношении внешней торговли, но и в отношении внутренней политики, идеологии.

Необходимо выехать одному-двум членам Президиума ЦК на Украину, созвать пленум ЦК КП Украины и по-настоящему разобраться в этих вопросах. Здесь же необходимо принять развернутое решение с политической оценкой ЦК указанных ошибок Шелеста и Подгорного.

Затем выступил Рудаков, который стал вспоминать факты, которые были более 10 лет тому назад, когда он работал на Украине, в Донбассе, как заставляли старых рабочих изучать украинский язык. Словом, Рудаков стал подтверждать, что на Украине процветает национализм.

Выступил Подгорный. Оправдываясь, он сказал, что, когда получил письмо Шелеста, был очень занят и потому бегло посмотрел его.

Конечно, он считает ошибочным такое письмо Шелеста; ни тогда, ни теперь не разделял такие взгляды. Его ошибка лишь в том, что он не вник в суть письма и послал его на заключение. «Я должен был не рассылать это письмо, – сказал Подгорный, – а обсудить его в Президиуме, без требования заключения ведомств».

Устинов выступил в таком же духе. Косыгин и Брежнев, осуждая это письмо, выступали более умеренно. Брежнев сказал, что сомневается, надо ли созывать пленум ЦК КП Украины. Он высказался за то, чтобы было принято решение ЦК КПСС по этому вопросу, и предложил подготовить проект такого решения

Секретариату ЦК.

21 октября 1965 г. Президиум ЦК КПСС принял следующее решение:

> «О записке первого секретаря ЦК КП Украины т. Шелеста П.Е.
>
> от 2 августа 1965 г.
>
> Президиум ЦК КПСС считает, что предложение т. Шелеста П. Е., изложенное в его записке об организации непосредственных внешнеэкономических связей Украины с зарубежными странами, является неправильным и политически ошибочным.
>
> Президиум ЦК отклоняет это предложение.
>
> Принять к сведению заявление т. Шелеста П.Е. о том, что он признает неправильным внесенное им предложение и осуждает его.
>
> Ограничиться обсуждением этого вопроса на Президиуме ЦК».

Кроме низкого политического уровня и явного налета великодержавного шовинизма, как я потом понял, за этими резкими выступлениями скрывалось и другое: борьба группы Шелепина, которую кое-кто называл «группой молодых», против Брежнева и его окружения. Как известно, это окружение состояло в основном либо из украинцев, либо из людей, много лет живших на Украине. Сам Брежнев там родился и работал почти все время до Москвы. Мне не только претила такая явная и агрессивная борьба за власть, но и было крайне неприятно слышать такие шовинистические выступления на Президиуме ЦК. Я был лучшего мнения о Шелепине. Я считал, что он умнее Брежнева, больше работает, больше понимает. Но после такого эпизода я подумал, что одна группировка не лучше другой.

Это опять вернуло меня к мыслям об отставке, которые появились после октября 1964 г. и все время не давали мне покоя. Примитивизм и безответственность команды Брежнева и других в Президиуме ЦК мне претили. Мое мнение мало что могло изменить, так как они все спелись между собой, но я не намеревался быть с этой командой в любом случае. Работать, не имея возможности влиять на решения и события, оставаться, только чтобы числиться, я не умел и не собирался. Правда, трудно было, работая всю жизнь, не считаясь со временем и силами, остаться без дела, но я уже начал писать воспоминания, и это новое дело меня увлекло. В ноябре 1965 г., когда мне исполнялось 70 лет, я выступил перед сессией Верховного Совета СССР с просьбой об отставке. Просьба была удовлетворена.

Думаю, сделал я это вовремя.

Серость и цинизм, низкий политический уровень большинства Президиума ЦК и секретарей ЦК делали для меня бессмысленным продолжение работы в такой команде. Я им тоже уже казался, скорее всего, «инородным телом» и был не нужен. Сам Брежнев оказался человеком без своего мнения. Помню, как Суслов и его чиновники из отдела пропаганды ЦК начали «дело Даниэля и Синявского».

Это дело очень походило на позорную войну Хрущева против Бориса Пастернака. Тогда тоже со страниц газет не сходила площадная ругань в адрес поэта, которая уронила во всем мире престиж нашей партии и государства. Находясь в США в январе 1959 г., я мог убедиться, как ловко антисоветская пропаганда использовала эту историю. И было бы глупо ее не использовать. Хрущев удивительно умел настроить против себя интеллигенцию. Так что настоящий вред я вижу не столько в шумихе за рубежом, сколько в том, что вбивался клин между интеллигенцией и партией у нас в стране. Когда-то Сталин сделал это массовыми арестами и другими преследованиями творческой интеллигенции. Например, разносом Шостаковича и Хачатуряна за их музыку – а что он в ней понимал? Или Зощенко и Ахматовой?

Хрущев, как ни странно, пошел по его стопам. Он даже прямо говорил, что линия Сталина в искусстве и литературе была правильной. Не аресты, конечно, он имел в виду, а проработки то одних, то других по выбору отдела пропаганды ЦК. И здесь проявилась его непоследовательность: разрешил публикацию Солженицына, что было правильно, и преследовал молодых поэтов, получивших большую популярность. Я лично знал Евтушенко, и он мне понравился. Впервые мы близко узнали друг друга на Кубе в 1962 г. Талантливый, умный человек, с чувством ответственности за все, что происходит. В этом ведь вся традиция русской литературы XIX и начала XX в., еще до советской власти. Потом кто-то натравил Хрущева на художников, видимо, Ильичев с Сусловым. Я был на Кубе тогда, поэтому не знаю предыстории, но Хрущева легко было настроить при его недоверии к интеллигенции: сказывалась его неинтеллигентность и отсутствие образования. Одна история с выставкой в Манеже в 1962 г. чего стоила!

Я тогда только что прилетел с Кубы, прямо из аэропорта поехал на кладбище к могиле Ашхен с цветами, взятыми с собой из-за океана. Я был подавлен и утомлен перелетом после 25 дней трудных переговоров в Нью-Йорке, Гаване и Вашингтоне. Нехотя я пошел с Хрущевым и с другими членами Президиума ЦК в

Манеж. И уж лучше бы не ходил. Пришлось присутствовать при безобразных сценах, которые Хрущев устраивал там. Еще были встречи с творческой интеллигенцией на государственной даче под Москвой, где Хрущев обрушился на двух уважаемых и заслуженных женщин: Мариэтту Шагинян и Маргариту Алигер, уж не помню за что. Но я чувствовал стыд за руководителя нашей партии. Попытался приободрить их, провожая к выходу с территории. Я их знал лично и встречался с ними иногда уже после отставки Хрущева. Прекрасные люди, труженицы, настоящий цвет интеллигенции. Уж лучше не устраивать таких встреч, если они превращаются в скандалы для одних и обмен любезностями с другими.

И вот теперь, оказывается, то же самое: на этот раз – без Хрущева, при руководстве Брежнева, – обрушилось на двух писателей. Как будто все сговорились оттолкнуть интеллигенцию от партии. Невероятно! Я зашел к Брежневу (был еще членом Президиума ЦК и Председателем Президиума Верховного Совета), долго внушал ему, что никакой пользы не будет от такого разноса за публикации под псевдонимами за рубежом, а тем более суда над писателями, о чем уже говорили всерьез. Старался находить слова и аргументы, понятные для него. И убедил. Вместо уголовного суда он согласился ограничиться товарищеским судом в Союзе писателей. Но уже на следующий день узнаю, что уголовный суд будет – это решение Брежнев принял после того, как к нему зашел Суслов. Такая неустойчивость и безразличие к интересам дела меня просто поразили. С ним невозможно было работать. Он проявлял поразительное непонимание политических вопросов, как это видно и из эпизодов, описанных выше.

Совершенно неожиданно для меня группировка Шелепина в начале 1967 г. обратилась ко мне с предложением принять участие в их борьбе против группировки Брежнева. С июня 1966 г. я уже не был в составе Президиума ЦК, но членом ЦК и членом Президиума Верховного Совета оставался. И вот мне сообщили, что группировка Шелепина недовольна политикой Брежнева и что ее поддерживает большинство членов ЦК. В начале 1967 г. мне предложили принять участие в борьбе против Брежнева: выступить первым, исходя из моего авторитета в партии, после чего они все выступят и сместят Брежнева с поста первого секретаря. Это предложение сделали, конечно, тайком, через моего младшего сына. Сын добавил от себя, что его заверили, что я буду восстановлен в Президиуме ЦК и т. д. Я ему передал мой ответ примерно так: «У меня нет никаких личных оснований быть на стороне Брежнева и его окружения, а тем более защищать его.

Однако это вопрос политический, и я не вижу, с какими политическими аргументами и собственными намерениями группировка Шелепина выступает. Уже поэтому я не могу выступать застрельщиком в их борьбе. Пусть поставят вопрос на пленуме ЦК: выскажут претензии, сформулируют свою программу действий. Тогда каждый член ЦК, в том числе и я, сможет решать, как себя вести. И я буду выступать и голосовать, исходя из политических соображений, а не из личных, тем менее карьерных».

Кончилось же дело тем, что секретарь МК Егорычев, соратник Шелепина, выступил на пленуме ЦК с резкой, но малообоснованной критикой Министерства обороны и ЦК в руководстве этим министерством: Москва, мол, плохо подготовлена к внезапному нападению со стороны США. В ответ выступили маршалы и генералы, возразившие, что Егорычев не может судить, ибо ни разу не бывал на совещаниях по этим вопросам, хотя является членом Военного совета Московского военного округа. Брежнев понял эту вылазку как начало открытой борьбы против него. После этого пленума Шелепин был переведен в ВЦСПС, а позже выведен из руководства и отправлен на пенсию. Егорычев уехал послом в Данию, а Семичастный отправлен на партийную работу в Сумскую область на Украине.

В 1972 г. я возглавлял как член Президиума Верховного Совета СССР Совещание по лишению и восстановлению в правах на награды. В августе 1972 г. в аппарат Президиума Верховного Совета СССР обратился сын бывшего начальника Северо-Кавказской железной дороги И.И. Маевского, арестованного в 1937 г. В связи с посмертной реабилитацией отца он просил отменить решение о лишении его ордена Ленина.

Вопрос рассматривался на Совещании, и просьба сына Маевского была удовлетворена. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 г. ранее принятое решение о лишении награды И.И. Маевского отменено.

В ходе проверки этого дела оказалось, что Маевский и еще 23 руководящих работника НКПС были репрессированы на основании письма наркома путей сообщения Кагановича, который решил опередить НКВД и сам стал вскрывать «вредительство» в своем наркомате. Это, пожалуй, был единственный случай, когда сам нарком объявил 24 руководящих работника (начальников дорог, начальников главков и центральных управлений НКПС) врагами народа и потребовал их ареста.

После репрессирования этих товарищей в Президиум Верховного Совета СССР было направлено ходатайство о лишении

их наград. Тогда Горкин – секретарь Президиума Верховного Совета СССР автоматически оформил материал в отношении их. Раньше об этом я не знал, а тут впервые столкнулся с этим фактом. По моему поручению отдел наград Президиума Верховного Совета СССР проверил, реабилитированы ли остальные 23 человека и отменено ли решение о лишении их наград.

Выяснилось, что все они реабилитированы, но решение о лишении наград отменено только в отношении шестерых (не считая Маевского), в отношении которых были ходатайства родственников. (Этот вопрос, как правило, рассматривается Президиумом только при обращении заинтересованной стороны.) Материал на остальных семнадцать человек был затем рассмотрен на Совещании, и, хотя в отношении их не было обращений заинтересованных лиц, в Президиуме Верховного Совета СССР возникло предложение об отмене решения о лишении этих людей наград. Это и было сделано Указом от 9 марта 1973 г.

Случайно узнал, что Арам Хачатурян лежит в загородной Кремлевской больнице и, более того, на завтра ему назначена серьезная и опасная операция. Я созвонился с главным врачом больницы Живодеровым, чтобы проверить эти сведения. Все подтвердилось.

Я спросил о психологическом состоянии больного. Главный врач ответил, что состояние больного хорошее, он не волнуется. Я спросил: «Если я посещу сегодня, то есть накануне операции, это не окажет отрицательного влияния на больного?» – «Нет, наоборот, это будет хорошо». Тогда я взял хороший букет гвоздик и неожиданно зашел к Хачатуряну в палату. Он был очень рад этой встрече. Я там застал его сына с супругой, а жена Хачатуряна в тот момент была дома.

Я старался вести беседу в духе, его поддерживающем. Но он опасений не высказывал. Беседа затянулась, она не касалась политических тем, но затронуты были такие вопросы, которые могли его развлечь и помочь успокоению его душевного состояния.

Через день я позвонил снова Живодерову, который сказал мне, что операция была трудной и длительной. Я каждый день интересовался состоянием здоровья больного после операции и на десятый день, когда узнал, что для него не будет трудным мое посещение, я вновь его навестил. Он также встретил меня с радостью, но было видно, что боль его беспокоит. В этот раз у него была жена Нина Владимировна. Я хвалил врачей, что сделали удачно операцию. Он соглашался с этим, но жаловался

на продолжающиеся боли. А до этого мне врач сказал, что операция вообще прошла хорошо, но не исключено, что придется резать второй раз, так что я был предупрежден, что будет еще одна операция.

Так и оказалось. Более того, потом потребовалась третья операция – и это на протяжении примерно полутора месяцев!

Так что день рождения Хачатуряна и присвоение ему звания Героя Социалистического Труда совпали с его пребыванием в больнице, но он уже свободно ходил и чувствовал себя неплохо.

Я написал ему поздравление с 70-летием и, нарвав у себя на даче букет сирени и захватив подаренный мне когда-то 50-летний армянский коньяк, поехал к Хачатуряну в больницу поздравить его. Эта бутылка коньяка была прислана армянами моему брату Артему Ивановичу в подарок. Но он не пил крепких напитков, и его супруга переслала эту бутылку мне в подарок. Я оставил ее на случай кому-либо подарить. Вот такой хороший случай мне и выдался.

У Хачатуряна было хорошее настроение. Правительство дало очень высокую оценку его деятельности. Он был очень доволен. Он стал вспоминать о первых наших встречах. Как-то, когда я был в Ереване во время выборов, был устроен прием в честь моего прибытия от имени ЦК партии и Президиума Верховного Совета Армении. Тогда секретарем ЦК КП Армении был Арутюнов. Как вспоминал Хачатурян, он узнал, что я нахожусь в Ереване, но на прием не был приглашен. И вот в 2 часа ночи его разбудили и привезли на прием. Он так торопился, что забыл взять жену, которая также была с ним в Ереване. Я, как он вспоминал, был удивлен, что такого крупного музыканта, уважаемого человека не пригласили на прием. Убедительных доводов в оправдание мне не привели.

А Хачатурян мне объяснил, что тогда многие ереванцы считали его московским музыкантом, а не ереванским. И тогда в беседе с ним я раскритиковал такое отношение к нему как неправильное, потому что Москва – столица нашей Родины и работа в Москве не лишает человека того уважения, которым пользуются такие же работники в Ереване.

Наконец, он вспомнил, что как-то в беседе я ему сказал, что он может и должен написать музыку для армянского балета на современную тему. Он приехал в Ереван и в течение года написал музыку для балета «Гаянэ».

Во время армянской декады в Москве этот балет был поставлен и произвел большое впечатление. Армения была первой республикой, которая привезла на декаду армянского искусства в Москву свой национальный балет.

Он вспомнил также, как мы с ним обсуждали вопрос о написании музыки еще к одному балету. Тогда я предложил ему образ Спартака, вождя повстанцев, который очень подходил бы в герои революционного балета.

К тому же, несмотря на давность событий, образ не теряет черт современности. «Не случайно ведь, что немецкие коммунисты, уйдя от социал-демократов, новую партию назвали «Спартак». Да и мы, работая в Тбилиси над организацией молодежного марксистского союза в Закавказье, тоже назвали его «Спартак».

Хачатуряну все это очень понравилось, и он написал музыку к новому балету «Спартак», который не нуждается в похвале, потому что чем больше его показывают, тем больше он завоевывает симпатии и любовь зрителей и слушателей. Этот балет идет на сценах многих театров нашей страны и за границей.

Словом, этот разговор показал мне, на каком большом подъеме находится композитор.

Он сказал, что официальное его чествование будет проходить осенью. В связи с этим он собирается съездить на концерты в ряд городов, в том числе и в Закавказские республики. Просил присутствовать, когда будет отмечаться его 70-летие. Я поблагодарил его.

В печати, по телевидению и радио его юбилей был отмечен хорошо.

Я много ходил в театры, в Центральный Дом работников искусств, куда меня приглашал прекрасный актер и очень хороший, веселый человек Михаил Жаров. Он меня познакомил со многими своими коллегами, с писателями, драматургами, ходившими в Дом работников искусств. С ними было очень интересно разговаривать, я радовался, что при советской власти выросла такая талантливая творческая интеллигенция. Из театров особенно любил Таганку, ходил туда с внуками и внучками. И подружился с Любимовым. Он рассказывал мне о гонениях практически на каждую его постановку. Я посмотрел несколько спектаклей и так и не понял, чего партийные чиновники от него хотят: хорошие актеры, прекрасный режиссер, работают с энтузиазмом, поднимают важные социальные темы. Не так давно писатель Борис Можаев принес в театр пьесу, основанную на его романе о деревне. Меня пригласили на репетицию и рассказали, что судьба ее предрешена партийными идеологами. Я решил вмешаться, и добился, что пьесу все-таки разрешили. Мне было обидно, что эти люди имеют основания видеть в партийных идеологах своих врагов. Но они были правы – под влиянием

Суслова чиновники из ЦК и МК партии стали просто держимордами. Вместо того чтобы поощрять талантливых людей и их работу, они устраивали гонения и ставили им палки в колеса. А если учесть, что министром культуры стал Демичев, химик по образованию и настоящий держиморда по поведению, то что же от него остается ждать? Мне удалось помочь с пьесой Бориса Можаева, как и с пьесой Шатрова во МХАТе на темы о нашей революции. Но страна большая, и агитпроп везде присутствует. В одной Москве десятки театров. Кто же их выручит?

Когда в середине 60-х гг. я начал писать воспоминания, публикуя их в журналах, я с цензурой агитпропа столкнулся сам. Пока писал о дореволюционных временах, все было нормально. Только иногда придирались к мелочам. А вот когда я работал над второй книгой воспоминаний, на примере Политиздата я понял, в каком положении находятся наши историки. Был такой Котеленец, заведующий какой-то редакцией, неглупый человек, но запуганный агитпропом. Он приносил мне такие отзывы от работников ИМЛа, что я только удивлялся, до чего же можно дойти! Вспомнил «критику» Бурджалова. Но ведь то было спустя всего два-три года после смерти Сталина. А тут – начало 70-х гг.! То упрекают, что подменяешь историю партии, то обвиняют, что пишешь только о том, что видел сам, и опускаешь важные события в истории партии; о таком человеке нужно писать так, а о другом человеке – вот этак, а об этом вообще нельзя писать! Особенно грубой и подлой по претензиям к моей книге была рецензия некоего доктора наук Абрамова. Я его не знал и знать не хотел. Как-то я и Котеленец обсуждали эти претензии. «Я же сам там был, на съезде, в 20-х гг., – говорил я, – и прекрасно помню все. Почему же я должен писать так, как хочет Абрамов? Его же там не было! К тому же не понять, что он вообще хочет? Скорее всего, чтобы я вообще не писал». Котеленец отрицал, что это лично против меня направлено. Конечно, он не сказал бы, даже если бы знал, что было именно так. Он объяснял, что они таким образом всегда работают с рукописями, особенно с воспоминаниями. Я говорю: «Это же ненормально. Кто вас к этому приучил?» А он отвечает: «Вы, Анастас Иванович». – «Как это – я?» – с недоумением спрашиваю я. «Вы, Центральный комитет требует от нас, чтобы мы работали именно так». – «Не Центральный комитет, а некоторые работники его аппарата. Это разные вещи!» – ответил я.

Но потом подумал, что с легкой руки сначала Сталина и Жданова, потом Хрущева и Суслова, а затем Брежнева и Суслова получается, что он прав. Это же не отдельный эпизод, это целая

политика аппарата ЦК на протяжении более 40 лет. И просвета не видно. Никакой демократизации, которую я ожидал после войны, не видно и сейчас, почти через 30 лет после нашей победы, которая вселяла большие надежды. Ни в партии, ни в обществе. Остается только надеяться, что это не вечно.

notes

Примечания

1

Георгий Стуруа, друг и товарищ по работе в 1917–1918 гг. и по бакинскому подполью в 1919 г. Дважды в тюрьме спасал жизнь А.И. Микояну. Их дружба продолжалась десятки лет, до кончины Г. Стуруа. Во время и после Великой Отечественной войны Стуруа был председателем Президиума Верховного Совета Грузии. Как-то он сказал, что хотел бы написать мемуары, но трудность в том, что кого из товарищей ни вспомнишь – почти каждый – враг народа. Об этом было доложено Сталину, Стуруа был снят с работы и стал председателем республиканской коллегии адвокатов. (*Здесь и далее примеч. С.А. Микояна*).

2

Дядя Габо – отец Ашхен, Лазарь (настоящее имя Габриэл) Артемьевич Туманян. Маня (Маник) – младшая сестра Ашхен, мать двух племянников Ашхен, Серго и Бориса. Скончалась во время родов в 1936 г. в Баку. Гайк (которого потом стали называть Гай) – младший брат Ашхен, в дальнейшем офицер Главного разведывательного управления Генштаба, служил в Китае и в Испании, боевой генерал в ходе Великой Отечественной войны и войны с японской Квантунской армией на Дальнем Востоке, зам. начальника Бронетанковой академии в Москве. После выхода на пенсию преподаватель философии в МАИ со степенью кандидата философских наук. Похоронен на Новодевичьем кладбище в семейной могиле Микоянов и Туманянов.

3

В английской левой газете Daily Star в 1978 г. (сразу же после смерти А.И. Микояна) была опубликована статья, в которой анонимный автор, отбросив джентльменскую фразеологию, призывал покончить с мифом об участии британских офицеров в этом убийстве. Кроме того, он отметил, что в регистрационных книгах Национального архива не значится, что С. Микоян затребовал или получил соответствующие архивные материалы. Наш «джентльмен» не скрывает своего мнения о моем свидетельстве как о прямой лжи. К сожалению, я получил его статью от Зины Азизбековой, внучки расстрелянного комиссара, лишь в конце 1980-х годов. Было поздно откликаться на статью загадочного офицера, не поленившегося навести справки в архивах Дели. Может, это был тот самый Эллис? Теперь у меня есть возможность подтвердить мысли моего отца. Дела действительно изъяты. Я в этом убедился, придя в Национальный архив вместе со знакомым журналистом из АПН Леонидом Митрохиным, который и проделал все формальности запроса и получения необходимых нам с ним папок в Национальном архиве Индии.

4

Троцкий писал позже, что Сталин назвал ему неверную, более раннюю дату похорон, чтобы лишить его надежды успеть на похороны.

5

А.И. Микоян с тех пор никогда в жизни больше не курил, хотя до туберкулеза был заядлым курильщиком. Ашхен Лазаревна добилась того, что никто в нашем доме не курил, даже гости.

Его тогда назвали Микоян-Шахар. В 1944 г. в связи с высылкой карачаевцев район отошел к Грузии, и название поменяли на Клухори. С 1957 г., когда карачаевцы вернулись, по совету Микояна город стал называться Карачаевск. Хотя, как я сам мог убедиться, еще в 1980-х гг. местные жители, особенно пожилые, называли город по-старому Микоян-Шахар.

Екатерина Сергеевна Шаумян, вдова Степана Шаумяна. Жила также на даче в Зубалове. До последних своих дней оставалась близким другом семьи А.И. Микояна.

Зубалово – коллективная дача возле станции Усово и деревни Калчуга в Одинцовском районе, где семья А.И. Микояна жила с 1927 г. Там же проживали зам. наркома иностранных дел Карахан (Караханян), польский коммунист Варский, в других двух домах на той же территории – семья Ф. Дзержинского, начальник Главного политуправления Красной армии Я. Гамарник. Вскоре поселились и две семьи Аллилуевых – Павла Сергеевича и Анны Сергеевны (брат и сестра Надежды, жены Сталина), а также брат первой жены Сталина А. Сванидзе с женой и сыном. Дача Сталина была неподалеку и тоже называлась Зубалово, ибо до 1917 г. обе дачи с массивными кирпичными оградами и большой территорией принадлежали семье бакинского нефтепромышленника Зубалова.

Красин Л.Б. Вопросы монополии внешней торговли. М., 1928.

9

Джан – ласкательное окончание к имени в армянском языке.

10

Товстуха – помощник Сталина по политбюро.

11

Петровский Г.И. – старейший большевик, депутат Государственной думы до революции. «Старик» добавляется для отличия от его троих сыновей, занимавших видные посты. Все сыновья погибли в ходе репрессий 1930-х гг.

12

Угланов – в те годы секретарь МК ВКП(б), погиб в годы ре прессий.

13

Стоит отметить, что к этому времени Степан уже был женат и даже имел сына.

14

Ленд-лиз – краткое название закона, предложенного Рузвельтом и одобренного Конгрессом, о передаче Соединенными Штатами взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов и т. п. странам – союзникам по антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны.

15

Военные поставки производились по соглашению, подписанному А.И. Микояном и послом Великобритании сэром Арчибальдом Керром 27 июня 1942 г. в результате переговоров, продолжавшихся с 8 сентября 1941 г.

16

Пожалуй, только позднее, уже в мае 1945 г., когда мне довелось побывать в Дрездене, я увидел на левом берегу Эльбы примерно такую же картину: в результате бомбардировки союзнической авиацией от крупного промышленного города остались лишь груды развалин. Бомбардировка велась почти накануне нашей общей Победы, когда – с точки зрения военной необходимости – никакой нужды в такой чудовищной бомбардировке вообще не было. Видимо, американцы решили воспользоваться «подходящим случаем», чтобы уничтожить крупные промышленные базы своих давних конкурентов. Тем более этот немецкий город должен был войти в советскую зону оккупации. *(Примеч. авт.)*

17

Со слов Шатуновской, которая от имени КПК получила данные от КГБ, стало известно, что за 1934–1941 гг. расстреляно было около 1 млн чел., а репрессировано еще более 18,5 млн.

– Да и для нас тоже! – добавлял А.И. Микоян дома.